Министерство
образования и науки России

Российский Союз ректоров

Совет ректоров вузов
Дальневосточного
федерального округа

Министерство
транспорта России

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения»

СОЦИАЛЬНЫЕ
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Научно-теоретический журнал
издается с января 2004 года
выходит один раз в три месяца

№ 4 (32) 2011

Хабаровск, 2011

Ministry of Education and Science
of the Russian Federation

The Russian Rectors' Union

Council of Rectors of Higher Educational
Institutions in the Far Eastern
Federal District

Ministry of Transportation
of the Russian Federation

Federal State Budget
Educational Institution
of Higher Professional Education
«Far Eastern State Transportation
University»

THE HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES IN THE FAR EAST

Research-theoretical journal
published since January 2004
issued quarterly

№ 4 (32) 2011

Khabarovsk, 2011

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ю.М. Сердюков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

К.И. Воробьева, М.А. Ковальчук, Л.П. Лазарева, Р.Л. Лившиц,
О.А. Любицкая (ответственный секретарь), Н.Е. Мерецкий, С.В. Пишун,
З.Г. Прошина, В.В. Романова, Е.Н. Спасский (заместитель главного редактора),
А.М. Шкуркин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ларри Смит (США), Нобуюки Хонна (Япония), Чжан Байчун (Китай),
Кальво-Мартинез Томáс Мариано (Испания), Кэрол Джой Макрае (Австралия)

РЕДАКТОР ВЫПУСКА

З.Г. Прошина

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

А.С. Волков (web-мастер), Е.В. Листопадова (технический секретарь),
Т.Н. Тагирова (переводчик)

Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ

Печатается по решению Совета ректоров вузов Дальневосточного Федерального округа № СР/ДФО-54а от 9 октября 2002 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации:
ПИ №77-16283 от 29 августа 2003 г.
Адрес редакции: 680021, г. Хаба01ровск, ул. Серышева, д. 47, оф. 262,
тел./факс: (4212) 40-71-93, E-mail: journal@festu.khv.ru

Web-site: www.eastjournal.ru

EDITOR-IN-CHIEF

Y.M. Serdyukov

EDITORIAL BOARD

C.I. Vorobyova, M.A. Koval'chuk, L.P. Lazareva, R.L. Livshits,
O.A. Lyubitskaya (executive secretary), N.E. Meretsky, S.V. Pishun,
Z.G. Proshina, V.V. Romanova, E.N. Spassky (deputy editor),
A.M. Shkurkin

INTERNATIONAL EDITORS

Larry E. Smith (USA), Nobuyuki Honna (Japan), Zhang Baichun (China)
Calvo-Martinez Tomás Mariano (Spain), C. Joy McRae (Australia)

MANAGING EDITOR

Z.G. Proshina

EDITORIAL STAFF

A.S. Volkov (web-design), E.V. Listopadova (technical secretary),
T.N. Tagirova (translator)

Research-theoretical journal is published on the decision
of the Council of Rectors of Higher Educational Institutions
in the Far Eastern Federal District № CR/FEFD-54a of October 9, 2002

FOUNDER

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
«Far Eastern State Transportation University»
47, office 262, Seryshev Str., Khabarovsk, 680021
Media Registration Certificate PE №77-16283 of August 29, 2003
Editorial office address: 47, office 262, Seryshev Str., Khabarovsk, 680021
Phone/fax: (4212) 40-71-93
E-mail: journal@festu.khv.ru

Web-site: www.eastjournal.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Прошина З.Г. Предисловие 10

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИПАРАДИГМА

Боронин А.А. Семантическая иррадиация образа автора на персонажные субтексты в семиотической группе 11
Власова Т.М. Неартикулируемые звуки как компонент эмоционально-окрашенного дискурса (на материале английского языка) 16
Волощенко В.Г. Способы перевода японских фразеологизмов с зооморфным и антропоморфным компонентами 24
Воробьёва И.А. Содержание понятия «тоска» в русской языковой картине мира 31
Завьялова В.Л. Языковые корпуса в лингвистической педагогике и научных исследованиях (фонологические аспекты) 39
Иванкова Т.А. Индийский вариант английского языка в кинотексте 45
Карпец Е.В. Принципы культурологического анализа количественной и качественной составляющих социокультурного содержания современного учебника английского языка 51
Кульчицкая Л.В. Метафора в науке и научная метафора в аспекте когнитивной метафорологии: уточнение понятий 57
Мальнева Е.Ю. Dream как бездна, смерть и зубы: метафорические когнитивные модели в идиостиле Эдгара Аллана По 67
Паршуткина Т.А. Основные направления развития отечественного иноязычного образования в XVIII–XIX вв. 76
Рассоха М.Н. Лексические расхождения в вариантах английского языка в дискурсивной перспективе 80
Ривлина А.А. Языковой контакт в «наивном» метаязыковом отражении (на материале взаимодействия современного русского языка с английским) 85
Токарева Г.А. Поливалентные феномены в литературоведении: терминологический и функциональный аспекты 91
Фёдоров В.В. Механизмы создания экспрессивности американской газетной фразеологии 99
Хино Н. Странам «расширяющегося круга» тоже нужны собственные модели! Вопрос о равенстве вариантов английского языка (*перевод на русский язык д-ра филол. наук Прошиной З.Г.*) 104
Хохлова И.Н. Понятие «вариант языка» и особенности его вербализации в лексикографических источниках 111

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Анисимова С.Г. Наркотизация на Дальнем Востоке России: тренды в якутском социуме 115
Ахметова А.В., Бобышев С.В. Развитие системы здравоохранения и санитарно-гигиенического обслуживания традиционных этносов Дальнего Востока в 1950-е – первой половине 1960-х гг. 122
Бирюков А.А. Становление периферийного капитализма в России и его последствия для дальневосточных территорий 128
Жердев П.А. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 132

Завьялова С.В. Региональное законодательство о туристской деятельности как проблема гражданско-правового регулирования сферы туризма 135

Ковальчук М.А., Стрелкова Е.В. Организационно-правовые меры борьбы с революционным движением на железных дорогах Дальнего Востока России в начале XX в. 142

Кравчук С.А. Охрана советско-корейской границы во второй половине XX в.: проблемы и пути решения 146

Кротова М.В. Советско-китайское управление на КВЖД в 1924–1935 гг. 154

Морозова О.М. Изменение политических настроений Амурского казачества с февраля 1917 по апрель 1918 гг. 161

Пестушко Ю.С. Обсуждение Японией и Россией вопроса о назначении в Корею российского дипломатического представителя 166

Санцевич Я.С. Влияние религиозного фактора на политическую жизнь Республики Корея 172

РЕЦЕНЗИИ

Прошина З.Г., Романова Г.Р. К вопросу о достоверности научной критики (рецензия на монографию Е.А. Первушиной «Сонеты Шекспира в России: переводческая рецепция XIX–XXI вв.») 180

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СВЕДЕНИЯ О ДИССЕРТАЦИЯХ 184

СВЕДЕНИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ 186

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 191

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 192

Указатель статей, помещенных в журнале «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» за 2011 год 270

CONTENTS

Proshina Z.G. Editorial....10

CULTURAL-LANGUAGE PARADIGM

Boronin A.A. Semantic Influence of an Author's Image upon Characters' Microtexts in a Semiotic Group*....193
Vlasova T.M. Unarticulated Sounds as a Part of an Emotionally Coloured Discourse (Based on the English Language) (*translated by M.V. Yashchenko*)....194
Voloshchenko V.G. Ways of Translation of Japanese Idioms with Zoomorphic and Anthropomorphic Components*....201
Vorobiyova I.A. The Concept "Toska" in the Russian Language Picture of the World*....201
Zavyalova V.L. Language Corpora in Linguistic Pedagogy and Research (Phonological Aspects) *(translated by T.N. Tagirova)*....202
Ivankova T.A. Indian English in Subtitles (*translated by the author*)....208
Karpets E.V. Principles of Quantitative and Qualitative Analysis of the Socio-Cultural Contents of a Modern English Language Textbook*....213
Koulchitskaya L.V. Cognitive Approach to Metaphor in Science VS. Scientific Metaphor: a Quest for a Divide (*translated by the author*)....214
Mal'neva E.Y. A Dream as Abyss, Death and Teeth: Metaphorical Cognitive Models in the Individual Style of Edgar Allan Poe (*translated by the author*)....223
Parshutkina T.A. The Principal Trends of the Development of Foreign Language Education in Russia in the 18th–19th Centuries*....232
Rassokha M.N. Lexical Differences in Varieties of English from the Discursive Perspective (*translated by the author*)....234
Rivlina A.A. Language Contact in Folk Metalinguistic Reflection (Based on Modern English-Russian Interaction) (*translated by the author*)....237
Tokareva G.A. Polyvalent Phenomena in Study of Literature: Terminilogical and Functional Aspects....243
Fyodorov V.V. American Newspapers Phraseology: The Formation of Expressiveness (*translated by the author*)....251
Nobuyuki Hino. WE in the Expanding Circle Need our Own Models Too! Quest for Equality in World Englishes....256
Khokhlova I.N. Language Variety Definition in General and Special Lexicography (*translated by the author*)....261

PROBLEMS OF THE FAR EAST

Anisimova S.G. Drug Addiction in the Russian Far East: Trends in the Yakut Society*....264
Akhmetova A.V., Bobyshev S.V. The Development of Healthcare and Sanitation Services of Traditional Ethnic Groups of Far East Russia in the 1950s to the First Half of the 1960s.*....264
Biryukov A.A. Formation of Peripheral Capitalism in Russia and Its Consequences for the Far Eastern Territories*....265
Zherdev P.A. Specific Features of the Interaction between the Investigating Officer and Inquiry Bodies at the Initial Stage of Investigation of Forgery or Destruction of an Identification Number of Vehicle*....265
Zavyalova S.V. Regional Tourist Legislation as a Problem of Legal Regulation of the Tourist Industry*....266

Koval'chuk M.A., Strelkova E.V. Organizational Legal Measures of the Struggle with the Revolutionary Movement at the Railways of the Russian Far East in the Early 20th Century* 266
Kravchuk S.A. Border Protection of the Soviet-Korean Frontier in the Second Part of the 20th Century: Problems and the Ways of Resolution* 266
Krotova M.V. Soviet-Chinese Management of the Chinese Eastern Railway in 1924–1935* 267
Morozova O.M. Changes and Development of Political Moods of the Amur Cossacks from February 1917 till April 1918* 267
Pestushko Y.S. Russian-Japanese Discussions on the Assignment of the Russian Dyplomatic Representative in Korea* 267
Santsevich Y.S. Impact of the Religious Factor on the Political Life in the Republic of Korea* 268

AUTHORS GUIDELINES 269
Article Index «The Humanities and Social Studies in the Far East», 2011 274

*Abstracts only

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Перед Вами новый специальный выпуск журнала, тема которого – «Культурно-языковая полипарадигма». В самом деле, мы живем в период, когда особую актуальность получили междисциплинарные исследования, когда вопросы языка рассматриваются в неразрывной связи с вопросами культуры, для которой слово стало важнейшим средством выражения. В связи с этим полипарадигмальное рассмотрение культурно-языковой взаимосвязи, предполагающее множественность подходов к означенным проблемам, стало насущной потребностью научных изысканий и обобщений.

В нашем выпуске Вы найдете работы по когнитивной лингвистике – направлению, ставшему очень популярным в нашей стране в последние десятилетия, по дискурсивной лингвистике и, особенно по научному дискурсу, по вариантологии, контактологии и лингвокультурологии, по терминоведению, метафорологии, корпусной лингвистике, переводоведению, литературоведению, методике и истории педагогики, связанной с преподаванием языков и культур. По сути дела, ни одна из включенных в данный выпуск статей не может быть отнесена лишь к одному из указанных направлений – практически все наши авторы используют именно полипарадигмальный подход в исследовании своей проблемы. Важно то, что указанные научные парадигмы находятся между собой не в конкурентных, а в комплементарных отношениях, взаимодополняя друг друга, тем самым обогащая и развиваемую теорию, и читателя, которому адресованы данные работы.

Наши авторы – это и зрелые ученые, чьи имена уже известны научному сообществу, и молодые исследователи, представляющие Вашему рассмотрению фрагменты своих диссертационных изысканий. Хочется также обратить внимание на географию наших авторов, доказывающую растущий авторитет журнала и его признание. В данном выпуске приняли участие не только дальневосточные ученые, для которых журнал стал трибуной и источником распространения полипарадигмальных научных исследований, но также авторы из европейской части России. Очень близко с концепциями наших исследователей оказалась также теория нашего японского коллеги профессора Н. Хино, знакомство с которым стало возможным благодаря активному функционированию Дальневосточной общественной организации преподавателей английского языка, тесно сотрудничающей с Паназиатским консорциумом профессиональных ассоциаций. Статья, предложенная Н. Хино нашему журналу, касается злободневных вопросов современного статуса английского языка как языка межкультурного общения. Эти проблемы сегодня волнуют не только российскую и японскую научную общественность, они широко дискутируются на многих международных конференциях.

Очень надеемся, что материал, опубликованный в данном выпуске, найдет своего заинтересованного читателя, который сможет использовать его для продолжения развития соответствующих научных парадигм, для дальнейших дискуссий и новых творческих изысканий.

З.Г. Прошина,
доктор филологических наук, профессор,
зав. отделом «Филология»

EDITORIAL

Dear readers,

You are holding the new special issue of the journal “Cultural-Language Polyparadigm”. Actually, we are living in a period when the interdisciplinary research has become especially urgent and language issues are considered in their inseparable connection with cultural issues. Word has become the most important means of culture expression. In this connection a polyparadigmatic consideration of the culture-language interdependence, which assumes a multiplicity of approaches to problems to be discussed, has become an urgent demand of scientific research and generalizations.

In this issue you will find works on cognitive linguistics – a direction that has become very popular in our country during the latest decades; on discourse linguistics and especially on academic discourse; on World Englishes, contact linguistics and linguacultural studies; on terminology, metaphorology, corpora linguistics, translation studies, philology, methods and history of pedagogy associated with teaching languages and cultures. As a matter of fact, none of the papers included in this issue can be referred to as unidirectional – almost every our author employs the polyparadigm approach in research of their problem. What is important here is that the research paradigms are not in competitive but in complementary relationships; they mutually complement each other and enrich both the theory developed and the readers they are intended for.

Our authors are mature researchers whose names are widely known in the research community and young researchers who present to your consideration fragments of their dissertation research. I would also like to draw your attention to the geography of our authors, which proves that the journal authority is growing and it is gaining recognition from the research community. This particular issue presents the work of researchers from the Far East and the central parts of Russia. For Far Easterners the journal has become a medium and source of dissemination of polyparadigmatic research. The theory of our Japanese colleague Prof. Hino turned out to be very close to the concepts of Russian researchers. The meeting with Prof. Hino became possible thanks to the active work of the Far Eastern Association of English Language Teachers which closely cooperates with the Pan-Asian Consortium of Professional Associations. The paper offered by Prof. N. Hino touches upon topical issues of the present day status of the English language as a language of cross-cultural communication. It is not only that these issues are of paramount importance for Russian and Japanese research communities; they are also being widely discussed at many international conferences.

We do hope that the material published in this issue will find interested readers who will be capable of applying it to the further development of research paradigms, to further discussions and new creative investigations.

Zoya G. Proshina,
Doctor of Philology, Professor
Head of the Philology Section

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИПАРАДИГМА

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИРРАДИАЦИЯ ОБРАЗА АВТОРА НА ПЕРСОНАЖНЫЕ СУБТЕКСТЫ В СЕМИОТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

А.А. Боронин

Боронин Александр Анатольевич – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков Московского государственного медико-стоматологического университета, докторант кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета (г. Москва).

Контактный адрес: inloco@inbox.ru

В статье подводятся некоторые итоги лингвистического эксперимента, целью которого стало определение семантической иррадиации образа автора на персонажные субтексты. Выделены основные коммуникативно-речевые категории, репрезентирующие образ автора, установлены особенности интерпретативного процесса, исходным пунктом которого являются конкретные персонажные субтексты.

Ключевые слова: образ автора, персонажный субтекст, интерпретация художественного текста, психолингвистический эксперимент, семиотическая группа.

Экспериментальное изучение образа автора наиболее полно соответствует антропоцентрическому характеру современной лингвистической парадигмы и способствует пониманию этого образа как особого отдельного элемента проекции художественного текста, задающего, вместе с тем, общую тональность интерпретации текстового содержания. С одной стороны, автор «самоустраняется» в речевом «иконическом» плане, предоставляя слово фикциональному субъекту и позволяя себе лишь ситуативный комментарий, но, с другой стороны, его образ семантически иррадиирует и на сегменты, непосредственно передающие речевую активность действующих лиц – персонажные субтексты. В данной статье приводятся и анализируются результаты названной семантической иррадиации – реакции испытуемых, полученные при интерпретации фрагмента фикциональной коммуникативной ситуации, выраженной, главным образом, с помощью персонажных субтекстов.

В центре нашего внимания оказывается антропофактор, напрямую влияющий на вторичный семиозис, понимаемый в нашем исследовательском контексте как преобразование системы исходных знаков, протекаемое то с усилением субъективно-личностного начала, то с текстуальным замещением (когда испытуемый подвергается инерционной силе точного или вольного цитирования в самом широком смысле этого слова). В связи с этим весь состав испытуемых мы будем называть семиотической группой, которая определяется как группа людей, располагающая «относительно общим тезаурусом (в пределах заданной языковой подсистемы) и определённым комплексом речевых умений (т. е. умением так или иначе оперировать данным тезаурусом» [3: с. 38].

Для участия в эксперименте, *целью* которого стало определение семантической иррадиации образа автора (*предмет исследования*) на персонажные субтексты (*объект исследования*), был привлечён 121 испытуемый – в основном студенты неязыкового вуза, являющиеся гражданами РФ (82,64 % – русские, 17,36 % – представляют другие национальности); родным языком для большинства испытуемых является русский (88,42 %). Возрастной диапазон – от 16 до 45 лет, средний возраст – 23,5 года; 67 % испытуемых – девушки, 33 % – юноши.

Основным *методом*, позволившим обнаружить особенности предмета исследования, стало моделирование коммуникативной ситуации в семиотической группе. Исследование порождаемых в смоделированной ситуации вторичных текстов обусловлено методологией, присущей психолингвистической науке. Персонажные субтексты рассматриваются как средство, позволяющее реконструировать образ автора на основе реакций испытуемых.

Текстом-стимулом послужил отрывок из повести А. и Б. Стругацких «Сказка о тройке», в котором приводится описание словесного взаимодействия действующих лиц:

– Вот я и говорю, – сказал Хлебовводов. – Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

– Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные вместо методов административно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш, современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного Человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать [5: с. 265].

Стимульный материал, учитывая специфику произведения, из которого он был заимствован, возможно отнести к «сложным» текстам по классификации В.П. Белянина [1: с. 190–202], хотя в силу метонимической репрезентации текста классификационные признаки не могут проявлять себя в полной мере. Однако определённая аномальность содержания, присущая «сложным» текстам, так или иначе не может остаться незамеченной интерпретаторами.

Первое задание стало предварительным, оно формулировалось следующим образом:

• *Знаком ли Вам приведённый отрывок, содержащий персонажные субтексты («высказывания» персонажей)? Какой писатель является его автором?*

Ответы испытуемых, осуществивших правильную авторскую атрибуцию текста, исключались из корпуса ответов, который подлежал дальнейшему анализу. Из 121 испытуемого 11 правильно определили авторство текста. Получено 8 абсолютных отказов от выполнения предлагаемых заданий.

Предъявление текста сопровождалось предложением выполнить другое задание, сформулированное следующим образом:

Ознакомьтесь с ситуацией речевого взаимодействия между персонажами.

• *Какие внутренние и внешние качества присущи автору этого художественного текста? Перечислите их (не менее пяти).*

Жесткие формально-словесные ограничения при выполнении этого задания не вводились (в целях симметрии коммуникативно-речевых единиц), в то время как последующий ответ на второй вопрос (*в каком году написан этот текст?*) подразумевал указание предполагаемого года создания художественного произведения.

Полученные ответы мы представили в упорядоченном виде, выделив несколько семантических групп реакций, которые приводятся ниже (цифры рядом с выделенными курсивом ответами испытуемых указывают на число повторов реакции).

Семантическая группа когнитивных качеств: *образованный* – (19), *образованность* (3), *хорошо образован* (2), *умный* (9), *начитанный* (4), *интеллигентный* (3), *рассудительный* (2), *хорошо обучен, это говорит о его образовании (отличном), много знающая, глубоко мыслящий, научный склад ума, есть логичность рассуждений, развито логическое мышление, понятливый, имеет развитую фантазию, фантазёр, фантазёр с большой буквы, выдумщик, воображение, богатая фантазия, хорошая фантазия, особой фантазией не отличается, с богатым воображением.*

Семантическая группа мировоззренческих качеств: *идеалист* (4), *патриот* (2), *справедливый* (2), *патриотичен, коммунист, человек партийный, придерживается коммунистических или социалистических взглядов, в душе – революционер, с характером революционера, революционер, одержимый идеей мировой революции, консервативный, консерватизм, автор с умеренными политическими взглядами, человек, который высмеивает то время, в котором живет, стремящийся к перевороту, внутреннее неприятие системы, осуждает власть, не подчиняется законам, недоверчиво относится к окружающему обществу, недоволен строем, постсоветская идеология, идея представления мира в схемах, с большими идеями, борьба за справедливость, представитель пролетариата, защитник прав человека, сторонник научного прогресса, весь состоит из мечтаний, стремлений и желаний об осуществлении какой-то своей цели, верит в поддержку человечества, новейшие технологии, мирное существование, философ, думающий о будущем, свободомыслие, гуманизм.*

В следующих ответах конкретизируются сферы, в которых предполагаемый автор компетентен, что образует отдельную семантическую группу:

– имеет научную степень (2), *учёная степень, учёный, возможно, он связан с наукой, возможно, сотрудник НИИ, образование, наверное, научное;*

– политик, человек, который когда-то занимался политикой или до сих пор ею занимается, качества политика, агитатор;

– образование литературное (2), *советский писатель, талантливый поэт;*

– юрист, с юридическим образованием, возможно, имеет юридическое образование, адвокат;

– педагог (2), *воспитатель;*

– администратор, чиновник, составитель инструкций;

– путешественник, путешественница;

– семантически несистематизируемые реакции: возможно, автор психолог по образованию, образование техническое, скорее всего, писатель являлся врачом, критик.

Следующая семантическая группа выражает коммуникативно-речевую компетентность автора (включает в себя, помимо прочих, профессиональные навыки): *знание более чем одного языка, знает иностранные языки, знает латынь; вежливый* (2), *вежливость*; *грамотный* (2); *любит рассуждать* (2); *прямолинейный, прямолинейность; серьёзный оратор, хороший оратор, красноречие; ругань, чтение нотации, напутствие, критика, рассуждение, манера громко, сложно выражаться, спорщик; метафоричный, иносказатель; спокойно реагирующий на критику; у автора развита лексика, умеет излагать мысли, общительный, способность высказывать свою точку зрения.*

Семантическая группа «общие личностные качества предполагаемого автора» разделена на три подгруппы:

а) положительные: *справедливый* (6), *справедливость* (2), *серьёзный* (6), *серьёзность, современный* (7), *целеустремленный* (3), *трудолюбивый* (2), *трудолюбие, добрый* (2), *настойчивый* (2), *настойчивость, человечный, человеколюбивый, великодушный, добродушный, добродушие, мягкий* (2), *твёрдый* (2), *веселый* (2), *уравновешенный* (2), *интересный* (2), *педантичный* (2), *чуткий, индивидуальный, новатор, интересная личность, талант, талантливый, решительный, опытный, много знающая, деловой человек, стремится к лучшему, опрятный, любезный, умелый, воспитанный, воспитанность, спокойный, разносторонне развит, чистоплотный, терпеливый, компанейский человек, целенаправленный, напористый, с широким кругозором, не безразличный, любит точность, пунктуальность, пунктуален, наблюдательность, ответственный, добропорядочный, порядочный, уверенный, простой, внимательный, харизматичен, любознателен, уверенный, думающий, строгий, имеет своё мнение, обаятелен, активный, деятельный, честный, трудолюбивый, скромность, с отличными манерами, сильный человек, человек, следующий правилам, энергичный, полный жизни, экспрессивность, практичен, не теряет времени даром, компетентен в большинстве вопросов, снисходительный, волевой, внимательность, небезразличие, лидер, с огромным чувством юмора, чувство юмора, юмор, насмешливость, проницательность, наблюдательный, возвышенный, продвинутый, молодёжный, сочувствие, с активной жизненной позицией, не раздражительный, исполнителен, педантичен, раскрепощённый, жизнерадостный, уважающий себя, терпеливый, непоколебим, имеет чёткую жизненную позицию, умеющий рассмотреть существо человека, чувство прекрасного, опытный;*

б) отрицательные: *вспыльчивый* (2), *вспыльчивость, замкнутый* (2), *замкнутость, злой* (2), *резкий, резкость, завышенная самооценка, напряжённый, напряженность, грустный, пессимизм, догматизм, скептик, назойливый и скучный, нудный, местами занудлив, неприятный человек, агрессивно настроенный, жестокий, жалобщик, взбалмошная, неуравновешенная, психически неуравновешенный, не вполне психически нормальный, нервного склада, доморощенный, нетактичный, эгоист, самолюбив, конфликтность, вспыльчив, неуравновешенный, равнодушный, частично равнодушный, импульсивен, импульсивность, лукавый, небрежность, высокомерие, способен подложить свинью, язвительность, насмешка, критичность, нетерпеливый, малоначитанный, «холодный», самолюбив;*

в) амбивалентные и нерубрицируемые: *ироничный* 3, *ироничность, ирония, сатира, жесткий* (2), *жесткость, чудак* (2), *непонятный, наивный, наивность, властность, строгий, эмоциональность, эмоциональная, эксцентричность, критичен к другим, самокритичный, экстраверт, задумчивый, загадочный, административный, образ жизни одиночки, субъективный, не показывает истинных переживаний и чувств, человек, наблюдающий природу.*

Наименее представительна семантическая группа реакций, в которых делается предположение о пристрастиях и интересах автора: любит природу и историю, интересуется политикой и историей, садовод-любитель.

Семантическая группа реакций, отображающих происхождение, время и место жительства автора: *вырос в интеллигентной семье, возможно, относится к числу интеллигенции советских времён, среднестатистический советский мужчина, дворянин, принадлежность к именитому роду, человек из высшего сословия, гражданин Советского Союза – это очень сильно чувствуется, советский писатель.*

Визуальную характеристику образа писателя в существенной степени определяют указания на возрастной и гендерный параметры, образующие разные семантические группы. Возрастной статус в примерно половине ответов представлен предельно конкретизировано (*40–45 лет* (2), *30 лет, 35–45, 25–30 лет, около 30 лет, лет 40, не больше 45 лет, около 30, лет 30, ему от 30 до 40 лет*) и в

примерно половине – обобщённо (*средних лет* (6), *молодой* (4), *немолодой*, *пожилой*, *среднего возраста*).

Гендерный статус передаётся эксплицитным указанием (мужчина 12) и косвенным указанием, наиболее очевидно представленным в 9 ответах (бородатый, усатый, лысый и т. д.). Зафиксирован лишь один случай указания на то, что автор текста – это женщина.

Следующая семантическая группа представлена 22 ответами, в которых приводятся описания внешних параметров предполагаемого автора. Как правило, это детализированное описание: *высокий* (4), *носит очки* (4), *бородатый* (3), *темные волосы* (2), *карие глаза* (2), *худощавого телосложения* (2), *среднего телосложения* (2), *худой* (2), *стройного телосложения*, *упитанный*, *среднего роста*, *невысокий*, *черные волосы*, *брюнет*, *прямые волосы*, *коротко стрижен*, *редкие волосы*, *проплешина на темечке*, *лысый*, *зачесывает волосы назад*, *длинная борода*, *с бородой*, *гладко выбритый*, *усатый*, *имеет большой нос*, *курносый*, *лицо*, *сияющее здоровьем*, *устрашающий взгляд*, *узколицый*, *узкие губы*. *Крайне редки варианты обобщенного описания внешних параметров предполагаемого автора: красив*, *яркая внешность*, *славянской внешности*.

Особую семантическую группу составляют ответы, в которых образ автора актуализируется через понятие «текст», посредством указания на особенности текста:

Автор приближает свой текст к философским вставкам из произведений Гоголя. Возможно, автор наблюдал за людьми, старается описать модель поведения.

Писатель использует «говорящие фамилии», что говорит о нём как о сатирике. Кажется, текст написан в революционные или постреволюционные годы. Писатель иронизирует над событиями того времени.

Мне этот слог не очень нравится.

Автор силён в терминах …, текст явно сложен.

Обилие надуманных слов, также обилие критики политического строя…

Выполнение второго задания должно было показать влияние кортежа на темпоральную атрибуцию текста (временной аспект интерпретации художественного текста). С некоторой долей условности абсолютно корректными ответами были признаны те, в которых указывалось время создания художественного произведения в диапазоне от 1962 до 1972 гг.; корректными ответами были признаны те, в которых указывалось время создания художественного произведения в диапазоне от 1960 до 1974 гг. Было получено только 2 абсолютно корректных ответа и 10 корректных ответов, а коллективная темпоральная атрибуция выразилась в более ранней, чем фактическая датировка текста (1948 г.). Последнее обстоятельство свидетельствует не только о степени развития дискурсивного умения, но и том, что семиотическая группа воспринимает художественную коммуникацию как дистантный процесс, что накладывает определённый отпечаток на реконструируемый образ писателя.

Перейдем к анализу упорядоченно изложенных реакций. Прежде всего, эксперимент показывает, что авторский образ можно представить в виде смыслового «макета», устойчивость которому и придаёт каркас из выделенных семантических групп. По всей видимости, отражающие обобщённое значение этих групп имена позволительно считать коммуникативно-речевыми категориями, влияние которых не имеет жестких, чётко заданных границ (т. е. единицам, репрезентирующим эти категории, присуща диффузность в плане их содержания, нерубрицируемость, амбивалентность, они могут быть отнесены к разным семантическим группам, хотя при этом могут больше тяготеть к той или иной группе). Коммуникативные категории задаются ядерными и периферийными речевыми единицами. На сущностное качество первых указывает, прежде всего, семантическое соответствие наименованию категории, а также повышенная частотность реакций испытуемых (например, *идеалист* в семантической группе мировоззренческих качеств). На сущностное качество вторых указывает содержательная диффузность реакции, примерная равноудалённость от нескольких семантических групп, а также, как правило, низкая частотность (единичные реакции). На основе представительности корпуса реакций, репрезентирующих коммуникативно-речевые (интерпретативные) категории, выделяются предельно актуализированные (в частности, блок «общие личностные качества») и маргинальные категории (в частности, «пристрастия и интересы автора»). В этом аспекте мы признаём относительно высокорелевантными четыре интерпретативные категории («общие личностные качества», «когнитивные качества», «мировоззренческие качества», «конкретные сферы, в которых автор компетентен»), в неназванных категориях признак релевантности проявляет себя слабее.

Частое называние положительных качеств (семантический блок «общие личностные качества») может происходить из-за наличия интерферирующего ментального элемента, и тогда этот семантический блок видится проектом желаемого – испытуемые приписывают автору эталонные качества, воплощая в них свой идеал человечности или профессиональный стереотип, либо высказывают реакции с положительной оценочностью, используя их как средство саморепрезентации («каким бы я хотел быть в глазах других», «каким бы я хотел

видеть себя»). Такие интерпретативные установки принимают текст лишь за формальный повод к их реализации. Если же текст воспринимается как актуальный стимул для интерпретации, то обозначение в ответах положительных общих качеств предполагаемого автора призвано заретушировать речевую агрессию, выраженную в предъявленных испытуемым персонажных субтекстах, снизить её накал, вербально трансформировать ситуацию, переведя её из разряда дискомфортных в комфортные. Таким образом, допустимо рассматривать результаты, представленные в этом блоке, как инверсивную оценку дискурсивного типа, данную семиотической группой.

Эта же установка (текст как актуальный стимул для интерпретации) создаёт и иной вектор истолкования отрывка, изображённая речевая деятельность – непосредственное персонажное слово и его риторический пафос – позволяет спроецировать выводимые из неё положительные качества на саму личность писателя.

Обозначение в ответах семиотической группы отрицательных общих личностных качеств также связано с восприятием текста как актуального стимула для интерпретации и имеет своим основанием негативную оценку речевой агрессии действующего лица и – шире – выражение аксиологической позиции в отношении дискурсивного типа.

При выделении семиотической группой мировоззренческих качеств предполагаемого автора явным видится перенос качеств фикционального субъекта на личность (т. е. качества смоделированного результата приписываются субъекту моделирующей деятельности – это составляет существо регрессивной интерференции в интерпретирующей деятельности).

Семантический блок «когнитивные качества», видимо, формировался под преобладающим воздействием профессионального стереотипа (это составляет существо тезаурусной интерференции в интерпретирующей деятельности), тогда как для блока «коммуникативно-речевая компетентность автора» характерен «иконический» семантический вывод качеств (еще одно проявление регрессивной интерференции).

Единый, «монолитный» профессиональный образ, заданный изначально, детализируется, будто бы распадаясь на части, в блоке «конкретные сферы, в которых автор компетентен». Но если качества, упоминаемые в этом блоке, равно как и в блоке «происхождение, время и место жительства автора» по большей части обладают высокой семантической мотивированностью, то визуализация образа писателя произвольна, она не находится в непосредственной зависимости от содержания персонажных субтекстов, а зависит от тезауруса членов семиотической группы.

Итак, мы выделили несколько коммуникативно-речевых категорий, проявляющих себя в интерпретативной деятельности членов семиотической группы. Необходимо признать проницаемость, подвижность и неопределённость границ речевых «зон», на которые эти категории влияют. На интерпретативно-деятельностном уровне это допущение обосновывается следующим образом. Неотъемлемым этапом интерпретации текста является хаотическая фаза «гула», «шума», которые служат предвестниками структурированного смысла. Неслучайно Н.И. Жинкин говорил о становлении, развитии речи как о процессе «осмысления бессмысленного» [4: с. 128]. При пролонгации этой фазы возникает потенциально ретроспективное смещение – смыслопорождающим становится сам хаос: семантические «шумы», упорядочиваемые сознанием, приобретают новые качества, в целом сводимые к единому фундаментальному свойству – знаковости. По своим чертам раскрываемый процесс весьма близок к интерпретативной процедуре «аппроксимация», о которой в деталях мы говорим в [2: с. 65–72].

Именно знаки не просто регулируют поведение индивида, но и определяют его формирование как личности, поэтому преодоление хаотической интерпретативной фазы есть проявление сущностного индивидуального начала. Не будет преувеличением выделение семиозиса в социально значимую и одновременно ценную для каждой личности деятельность, непосредственно связанную с языковым сознанием. Проведённый эксперимент позволяет трактовать языковое сознание как процесс соотнесения разных устойчивых когнитивных структур, осуществляемого с помощью отдельных знаков и знаковых комплексов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Белянин, В.П.* Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних миров автора и читателя: монография / В.П. Белянин. – М.: Генезис, 2006. – 320 с.

2. *Боронин, А.А.* Интерпретация персонажных субтекстов: основы теории (на материале художественной прозы): монография / А.А. Боронин. – М.: Изд-во МГОУ, 2007. – 349 с.

3. *Дридзе, Т.М.* Язык информации и язык реципиента как факторы информированности (Опыт использования психолингвистических методик в социологическом исследовании) / Т.М. Дридзе // Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики ; отв. ред. А.А. Леонтьев. – М.: Наука, 1972. – С. 34–80.

4. *Жинкин, Н.И.* О некоторых вопросах работы мозга человека как семантического устройства / Н.И. Жинкин // АН СССР. Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика». Информационные материалы. – № 7. – М., 1968. – С. 120–134.

5. *Стругацкий, А.* Избранное / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – М.: Моск. рабочий, 1989. – 527 с.

НЕАРТИКУЛИРУЕМЫЕ ЗВУКИ КАК КОМПОНЕНТ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОКРАШЕННОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Т.М. Власова

Власова Татьяна Михайловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры профессионально ориентированных иностранных языков Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).

Контактный адрес: vlasova@vimo.dvgu.ru

Эмоции пронизывают всю жизнь людей и часто обусловливают их поведение и поступки. Важнейшим средством аудизации эмоций коммуникантов являются неартикулируемые звуки (смех, плач, фырканье, вздохи, покашливание, хмыканье и многие другие). В статье определяются их коммуникативные свойства и функции, а также описывается их использование в англоязычном художественном дискурсе.

Ключевые слова: коммуникация, параязык, неартикулируемые звуки, дискурс, эмотивы, невербальные средства общения.

Цель коммуникативной деятельности человека состоит не только в передаче реципиенту определенной информации, но и в трансляции эмоций. «Модальный план языковых выражений наиболее выпукло представляет человеческий фактор и дает право говорить о человеческом содержании абсолютно всех языковых единиц, поскольку в них неизбежно присутствует и …наслаивается оценочный, а следовательно, и индивидуально-человеческий фактор» [4: с. 92]. Эмоции пронизывают всю жизнь людей с самого их рождения и часто обусловливают их поведение и поступки. Закономерно поэтому появление специальной науки – эмотиологии, которая является, по сути, лингвистикой эмоций, разрабатывающей лингвистическую концепцию эмоций [8: с. 18].

Эмоции переживаются лично, но их выражение имеет стереотипные проявления. Каждая эмоция имеет свои характерные знаки, каталог которых формирует семиотику эмоций человека. Любой человек способен различать эмоции по ряду внешних характеристик. Существуют разнообразные средства репрезентации эмоционального состояния, которые обусловлены условиями общения и намерениями коммуниканта. В зависимости от способа их выражения их можно подразделить на две основные группы – вербальные и невербальные. Первые идентифицируют эмоцию, вторые – транслируют ее, не называя. К первым относятся слова, номинирующие эмоции или выражающие ее (например: злость, любить, негодяй, солнышко, увы!), ко вторым – язык тела и эмоциональная фонетика. В реальном человеческом общении его вербальный и невербальный коды обеспечивают единый коммуникативный процесс.

Хотя эмоциональный тип коммуникации сочетает в себе вербальные и невербальные знаки, в определенных коммуникативных актах, особенно эмоционально насыщенных, отражающих эмоциогенные жизненные ситуации, невербальным поступкам коммуникантов принадлежит функция доминанты [5: с. 66]. Активное применение невербальных знаков вызвано стремлением отправителя речи к эффективному воздействию на ее реципиента с целью выражения собственных эмоций или достижения определенных прагматических целей [5: с. 94].

Данная статья является попыткой описания выражения эмоций коммуникантов с помощью такого фонетического средства как неартикулируемые звуки, которые являются способом аудизации эмоций и их непосредственным выражением. К неартикулируемым эмоциональным реакциям мы относим невербальные реакции, в которых задействован голос (смех, плач, возгласы, вздохи, покашливание и т.п.), которые выдают эмоциональное состояние человека и отражают его психофизиологические реакции, например:

- «All right», Maggie *sighed*, recognizing the inevitable. «I'll come with you». [19: с. 32].
- Each time a fresh incident occurred, they *whooped* with joy [31: с. 512].
- Leo *snorted*. «If that kid's a kid, then I'm Greta Garbo» [22: с. 139].

Неартикулирумые звуки, наряду с интонацией, эмоциональными паузами, восклицаниями и характеристиками речи образуют фонетику эмоций. М. Финоккиаро называет неартикулируемые звуки, которые люди производят в процессе говорения или выражая эмоции, *параязыком* (the study of unarticulated sounds people make in speaking or in expressing emotions) [18: с. 7]. Традиционно, однако, понятие параязыка, трактуется шире: например, Цз. Чан определяет параязык как «нефонемическую составляющую речи» (the nonphonemic property of speech), которая используется для передачи опре-

деленных значений. К параязыковым проявлениям он относит темп речи, тон, громкость, высоту голоса и неартикулируемые звуки (“tsk, tsk”, clicking the tongue, sighing, laughing and sobbing) [12: с. 206]. Звуки такого типа он называет «голосовыми шумами» [12: с. 203]. У.Ду с соавторами отмечают, что параязык занимает место между вербальными и невербальными средствами общения: он имеет дело со звуками, но не со словами. Он существует только в устной коммуникации и связан с темпом и ритмом речи, высотой и громкостью голоса, логическим ударением, которые в значительной степени влияют на смысл передаваемого сообщения. Помимо характеристик голоса авторы включают в параязык молчание (паузацию) и вокализацию (vocalization) [16: с. 154], т. е. неартикулируемые звуки, которые вокализуют эмоции, а также коммуникативные намерения коммуникантов. Параязык может передавать информацию не только об эмоциональном состоянии человека, но и о его социальном статусе, уровне интеллекта, расовой принадлежности и т. д. [16: с. 154].

Существуют и другие подходы к обозначению этой группы коммуникативных знаков; например, плач, смех, вздох, кашель относят к *психофизиологическим реакциям* человека, которые образуют, наряду с речевыми паузами, *экстралингвистическую структуру невербального поведения*, связанного с акустическим каналом передачи информации, примыкая к просодической структуре, включающей темп, тембр, высоту, громкость голоса [7: с. 296– 297].

Л. Броснахан называет подобные реакции «*голосовыми рефлексами*» [10: с. 88], а также *голосовыми невербальными жестами* («vocal nonverbal gestures») и *звуковыми жестами* («sound gestures») [10: с. 89]. В.И. Шаховский пишет о *нефонематических звуках*, представляющих уровень эмоциональной рефлексии [8: с. 53]. В статье О.А. Александровой, посвященной коммуникативно-прагматической классификации пауз, такие неартикулируемые звуки, как покашливание, вздох, смех, прочищение горла, цоканье языком, называются *паралингвистическими паузами колебания* и относятся к группе невербальных пауз колебания [1: с. 14]. А.В. Олянич выделяет эмотивный тип просодико-фонационных презентем, которые сигнализируют о состоянии говорящего, и называет их *аффективами* [6: с. 208].

Неартикулируемые голосовые сигналы обладают следующими коммуникативными свойствами.

1. Являются *первичными* способами проявления эмоций (человек начинает ими пользоваться с первых моментов его жизни, задолго до освоения вербального канала коммуникации): «We are already born with the ability to vocalize our emotions which creates…bond with our mother» [28: с. 4]. Они также первичны и с точки зрения развития цивилизации, так как были среди первых средств общения в примитивном обществе: мимика, восклицания и нечленораздельные звуки («noises») использовались для общения 100 000 лет тому назад [16: с. 3]. Они носят обычно инстинктивный характер и универсальны. В эмоционально-заряженном дискурсе испытывающие сильные эмоции коммуниканты «теряют дар речи» и способны производить только нечленораздельные звуки, например: After the first shock they began to *make noises*, then words came… [33: с. 249].

2. Характерной чертой неартикулируемых голосовых эмоциональных реакций является *отсутствие в них логического*, пропозиционального *содержания*. В.И. Шаховский отмечает, что нефонематические звуки (выкрики, стон) представляют уровень эмоциональной рефлексии; они не пропускаются через мышление, не осмысляются и не анализируются [8: с. 53]. Л.С. Выготский также считает, что эмоционально-экспрессивная речь едва ли может быть отнесена к интеллектуальной деятельности [2: с. 102].

3. Среди важнейших характеристик неартикулируемых звуковых сигналов следует отметить их *кодифицированность*: каждый из них имеет свое, сформировавшееся в ходе развития человечества значение, зафиксированное в словарях, например: *To laugh* – 1. «to make the noise with your voice that shows you think something is funny». 2. «to show that you think someone or something is stupid and deserves no respect» [24].

Sigh – «a slow breath out that makes a long soft sound, especially because you are disappointed, tired, annoyed or relaxed» [24].

4. По утверждению В.И. Шаховского, все эмоции *дискурсивны*, поэтому вывод о выражаемой эмоции можно сделать только в конкретной ситуации [8: с. 19]. Это в полной мере относится и к голосовым эмоциональным реакциям: чтобы правильно идентифицировать характер транслируемой эмоции, необходимо учитывать коммуникативный контекст. Один и тот же звуковой сигнал может передавать разную эмоциональную информацию; например, смех может быть проявлением как негативных, так и позитивных эмоциональных реакций: «A laugh is not necessarily an expression of joy and happiness. Like a smile, the laugh often is an expression of being uncomfortable, nervous, and embarrassed» [16: с. 145]. Только знание ситуации общения обеспечивает точную идентификацию значения эмотивного звукового сигнала. Рассмотрим следующие примеры:

- She *laughs* and it is an *honest laugh*, a *laugh that feels good* [25: с. 253].

• «Louise has met with Professor Edgeley», Miriam said… «Edgeley!» Josie gave a *scornful snort of laughter*. Mo and Gilly *laughed* with her [20: с. 163].

(Если в первой ситуации смех отражает положительные эмоции – это добрый, радостный, искренний смех, то во второй ситуации смех транслирует отрицательное отношение к участнику коммуникативного акта – презрение и насмешку над недогадливой обманутой женой).

5. Эмоциональные реакции нередко носят *нерегулируемый характер* и с трудом поддаются контролю, например:

• Louise *could feel her laughter rising*. «Oh, she was dreadful! She was a wonderfully dreadful woman!» [20: с. 286].

• Louise *found* she *was laughing* with a wild delight at the thought of the intractable old lady… [20: с. 285] (Неконтролируемая реакция в форме веселого смеха неожиданна для самой героини, она воспринимает ее как будто со стороны).

Понимая, что неартикулируемые эмотивные сигналы, «вырывающиеся» непроизвольно, могут обидеть или расстроить партнера, коммуниканты иногда усилием воли пытаются подавить их, но это не всегда удается, например:

• Her *voice shook* a little on a *suppressed sob* [20: с. 194].

• Despite the seriousness of the situation Phoebe could not *suppress a giggle* [29: с. 73].

6. С помощью неартикулируемых голосовых сигналов человек может не только кодифицировано выражать свои эмоции, но и *имитировать или симулировать* их, маскируя свои истинные чувства и отношение к собеседнику или обсуждаемому предмету, например:

• «I wish I'd had that opportunity», Toby *sighed, hypocritically hiding* his pride in his own degree [20: с. 47].

• I *had to do a lot of laughing* and had to maintain a stream of unbelieving *Nos* and *you're kiddings*, but I didn't mind [9: с. 82]. (Слушая истории из жизни любимой девушки, герой осознанно выбирает средства эмоциональной реакции: они направлены на то, чтобы произвести максимально благоприятное впечатление и укрепить и развить психологический контакт с партнерами по коммуникации).

• «You'll need your head tested too».

Toby *managed a pleasant laugh* [20: с. 132] (не желая портить отношения с Розой, Тоби обращает ее грубое замечание в шутку).

Однако фонационная имитация выражения эмоций не всегда удается в силу того, что испытываемые эмоции настолько интенсивны, что они «захлестывают» коммуниканта и срывают планируемую им симуляцию, например:

• Toby *tried to laugh* again but *his heart was not in it*. «This is ridiculous» he said [20: с. 185].

7. Неартикулируемый голосовой сигнал может быть эквивалентен речевому высказыванию, замещая его, например:

• «Go on», he says and *laughs a «this is nonsense» laugh*. «I'm listening» [25: с. 188] (смех равен высказыванию «What you say is nonsense»).

Одним из наиболее доступных и широко применяемых средств фиксации как вербального, так и невербального кодов эмоционального общения является художественная литература, отражающая жизнь в субъективно-эмоциональном преломлении автора. Внимание к эмоциональной жизни героев является необходимым условием убедительной характеризации героев и достоверного отражения дискурсных ситуаций. Художественные тексты отражают жизнь, наполненную эмоциями, причем эмоции персонажей наблюдаются не прямо, а через специальные эмотивные знаки языка [8: с. 65]. В художественной коммуникации, которая является моделью реальной, воспроизводятся типичные эмоциональные ситуации общения. Если в ситуации реального общения коммуниканты могут непосредственно воспринимать невербальные компоненты речевого акта, то в письменном тексте автор должен использовать определенный арсенал языковых средств, чтобы отразить невербалику коммуникации, без чего невозможно точно передать атмосферу, в которой протекает дискурс, а также настроение партнеров. Автор вербализует невербальное, маркируя в тексте эмоциональные реакции коммуникатов, например:

• «You must go and see him».

She gave an *impatient click of her tongue*. «I'm not sure I want to see him» [11: с. 112].

• «And you remember it all?» «Remember it?» the old woman *laughed*. «I've got a trunk full of photographs and newspaper clippings» [20: с. 38].

В.И. Шаховский отмечает, что способы и средства авербальной экспрессии эмоций кодированы, и они семантичны не в меньшей степени, чем лексикализованные формы проявления эмоций [8: с. 39]. Рассмотрим невербальные эмоциональные реакции, выраженные неартикулируемыми звуковыми сигналами, которые наиболее часто отмечаются современными авторами в художественных англоязычных произведениях.

Смех

Лидером среди отраженных в художественном дискурсе неартикулируемых эмоциональных сигналов является смех, который чаще всего лексикализуется такими словами, как laugh, chortle, giggle, chuckle и cackle, причем в каждом из этих слов кодифицирован определенный вид смеха со своими специфическими характеристиками. Смех – это звук голоса, показывающий, что человек считает

что-то смешным, глупым или недостойным уважения, и имеющий ярко выраженное *эмоционально-оценочное* значение, например:

• Kids at West High would say, «Oh boy!» in a high-pitched voice and everybody *laughed* [22: с. 138].

• The control room was crowded with engineers who were all *chortling* at something, possibly him [22: с. 268].

• «I have metaphorical pigs. I have theoretical pigs».

Louise *giggled.*.. [20: с. 243].

• Rose *chuckled* richly. «I published», she said. «I'd have thought a clever lad like him would have looked me up» [20: с. 216] (Роуз смеется над недогадливостью героя, который давно мог бы все узнать, прочитав ее публикации).

Смех может также служить средством аудизации *эмоций* – как положительных (*счастье, радость*), так и отрицательных (*горечь, разочарование, отчаяние, обида*), например:

• I…caught Poppy *howling with laughter* at this latest example of his terrible jokes. Nathan *was laughing*, too, *with pleasure and satisfaction* [11: с. 143] (удовольствие).

• «And now he thinks his wife took it, and she's leaving him».

Rose *laughed, a thin guiltless cackle*. «He won't forget me, will he?» [20: с. 267] (злорадство).

• «I can't permit that. Even if there weren't also you».

He gave *a short laugh.* «Me? I deserve whatever I get» [27: с. 484] (горечь).

Смех может маскировать смущение или замешательство коммуниканта в тех ситуациях, когда он не может решить, как ему реагировать на поведение партнера. В этом случае смех выполняет адаптивную функцию, препятствуя разрыву коммуникации, например:

• «I want that one». Toby *laughed* again and looked at her for confirmation that she was *joking*. Her face was completely *serious.* [20: с. 106] (пожилая женщина требует украсть для нее халат, висящий на веревке; просьба настолько абсурдна, что герой решает, что это шутка).

• «Power to the people right now».

Andrew *chuckled* suddenly and turned away [20: с. 271] (Эндрю не знает, как реагировать на коммунистический лозунг собеседника, и реакцию заменяет короткий «смешок»).

Смех имеет самую богатую палитру выражаемых коммуникативных значений, которые автор нередко вербализует, чтобы сделать выражаемые героями эмоциональные оттенки смеха доступными для читателя, например:

• Rose gave a *brief sardonic laugh*, and got out of the car [20: с. 107].

• «How did your case go?» Chet gave a *short, scornful laugh* [15: с. 213].

• Louise *giggled irresistibly* and Andrew pulled her gently into his arms [20: с. 241].

• He gave a *guilty little chuckle* [20: с. 243].

Плач

Плач обычно является отражением отрицательных эмоций, испытываемых коммуникантами – *отчаяния, горя, обиды* и т. д. В отличие от смеха, который является голосовой реакцией по своей природе (беззвучный смех – отклонение от нормы), то плач может быть как звучащим, так и беззвучным. В последнем случае он представляет собой, скорее, кинесическую реакцию на поведение партнера и чаще всего выражается словами «tears», «cry» (have tears coming from your eyes [24]), «weep» (to cry [24]), например:

• The song made me *weep* though I was a child [22: с. 27].

• «It was a dream, Helena. Daddy's dead now. He died in an accident».

Elena shook her head, and *tears began* again, ragged and shuddering [27: с. 479].

Слова «tears», «weep» в данных примерах не содержат указания на звук; это реакции, воспринимаемые визуально. Тем не менее, автор может особо отметить звуковую составляющую плача, например:

• It was a hard *rattly* sort of *weeping*, more like *gnashing*, or the *grinding* of a gearbox when the clutch won't engage [22: с. 221].

Чаще всего, однако, звуковую трансляцию интенсивных отрицательных эмоций (страх, отчаяние, обида) передает слово «sob» (to cry noisily while taking short breaths [24]), например:

• «I never know what you want. I never know if you're mad or what». Gene *put his face in his hands* and *sobbed* [22: с. 221].

• «I'm sorry», Chris murmured. «I'm so sorry». As he reached for her, Terri crumpled. She *sobbed* against him uncontrollably, her body shuddering [27: с. 488] (на неконтролируемое чувство отчаяния героини указывают не только голосовые знаки, но и кинесические – «crumple», «shudder»).

• «*Kaaaaaate*, uh,uh,uh, *Kaaaaaate!*» he sobbed [26: с. 274] (ребенок ударился). Интенсивность его реакции на испытываемую им боль, испуг и отчаяние выражена автором кластерно, а именно: 1) лексикализована с помощью слова sob; 2) отражена в звукоподражательных словах, имитирующих плач; 3) отмечена автором указанием на увеличенную протяженность гласного в имени героини с помощью многократного повтора буквы; 4) выделением курсивом имени героини; 5) восклицательным знаком.

С плачем связан и такой звуковой сигнал, как шмыганье носом (sniff), например:

• «Fine», she mouthed, as mascara tear welled up out of her puffy right eye. She *sniffed*, and reached for her mug with an apologetic smile [9: с. 69].

• «Are you crying?…Listen», I said. «Are you listening?» She *sniffed* and nodded [9: с. 86].

Вздох

Данный звуковой сигнал (вербализованный в английском дискурсе с помощью слова *sigh*) свидетельствует обычно о том, что коммуникант испытывает *отрицательные эмоции (раздражение, разочарование, грусть, сожаление)*, например:

• «Think about how much she suffered when you and Ray walked out on her».

Isabel *sighed* [30: с. 152] (Изабелле стало грустно, когда ей напомнили о том, что пришлось пережить ее матери. Вздох отражает также ее сожаление о том, что она усугубила эти страдания).

• Art *sighed*. «I hope you make friends here,» he said [22: с. 178] (Арт переживает за своего племянника, который вступает во взрослую жизнь, но не очень готов к ней).

• «All right», Maggie *sighed*, recognizing the inevitable. «I'll come with you» [19: с. 32] (вздох выражает нежелание выполнить просьбу партнера).

• «The trees were so much younger then», the old woman *sighed* [20: с. 32] (женщина грустит, так как воспоминания наводят ее на мысль, что ее жизнь подходит к концу).

Вздох может также быть индикатором расслабленности или облегчения, испытываемого участниками дискурса, например:

• On those days Toby had laid his head in her lap and looked up at her face and *sighed*, «This is perfect. I wish I could stay here forever» [20: с. 7].

Вздох является и важным контактивным средством, способствующим установлению или поддержанию взаимоотношений между коммуникантами и тем самым – развитию дискурса, например:

• Maggie *sighed* ***in sympathy*** [19: с. 10].

• «Don't you think you could break away for a little while?..» «Oh, I wish I could», Mother said, with a *regretful little sigh* [14: с. 33] (вздох в данной ситуации носит этикетный характер: чтобы гость не обиделся на то, что героиня отказывается его сопровождать, нужно вздохом показать, как она сожалеет об этом, и этим сгладить неблагоприятный эффект).

Вздох относится к тем звуковым сигналам, которые легко поддаются симуляции; при этом коммуникант имитирует эмоциональное состояние, не испытываемое им, например:

• «And I've got the most wonderful daughter».

«Oh, how I envy you». She *sighed theatrically* [30: с. 99] (используемый автором модификатор вздоха подчеркивает неискренность эмоциональной реакции героини, рассчитанной на внешний эффект).

Покашливание

Покашливание (cough, clearing one's throat) также может нести коммуникативную нагрузку в дискурсе. В словаре отмечается такая его функция, как привлечение внимания [24]. В этом случае оно способствует установлению контакта с партнером по коммуникации, например:

Chet got his coat…and *cleared his throat several times*. Still Jack did not respond. Finally Chet resorted to speech [15: с. 305] (герою хочется поговорить, и он пытается обратить на себя внимание звуковым сигналом).

Кроме того, покашливание может свидетельствовать о таких эмоциональных реакциях коммуниканта, как *нервозность и беспокойство* [8: с. 32], о его *замешательстве* и *смущении*, например:

• The killer stared at Andrew. «Well?» he said. «You want to save these girls, mister?» Andrew *coughed*. I watched him [13: с. 161] (покашливание героя в стрессовой ситуации свидетельствует о его нервозности, растерянности).

• Sarah *cleared her throat*. «Then I could get in as a student» [20: с. 165] (звуковой сигнал выдает волнение героини).

• Tripoli, well – Ryder *gave one of his little coughs* – you had to be careful in Tripoli [11: с. 39] (герой не знает, как сказать жене об опасности посещения Триполи так, чтобы не дать ей повод волноваться за него).

• Albert didn't like to sit and he would get to *clearing his throat* if made to wait too long, a powerful BRRAACH– HEM! like a lion letting other lions to know he was here [22: с. 193] (звуковой сигнал, отражающий нетерпение и раздражение героя, лексикализован дважды: прямой номинацией и звукоподражательным словом).

Покашливание нередко сочетается с паузой, которая также является знаком волнения, замешательства, например:

• Again there was a *silence*. Eventually Nathan *cleared his throat*. «You have every right to be angry» [11: с. 57] (автор описывает трудный разговор между персонажами, и с помощью указания на неартикулируемый сигнал и молчание передает затруднение героя в выборе слов).

• «Please, Andrew. Maybe we need a change of scenery. A fresh start».

A pause. He *cleared his throat*. «Yes. All right» [13: с. 238] (герой не знает, как реагировать на предложение жены, и его замешательство и волнение находят выражение в невербальных знаках).

Данный звуковой сигнал может использоваться намеренно с целью замаскировать другие звуковые проявления эмоций, например, смех:

• «Are there nest-clearing contractors»?

He gave a *little cough to cover his laugh* [20: с. 147] (смех может обидеть собеседницу и нарушить общение, поэтому герой маскирует его покашливанием).

Стон

В английском тексте этот неартикулируемый звук лексикализуется словами *groan* и *moan*, которые кодифицированы в словарях, как звуки, показывающие, что человек *испытывает боль или несчастлив* [24], что он *страдает, переживает или чем-то недоволен* [23], например:

• He *groaned* audibly. He felt like the worst kind of fool [17: с. 117].

• Toby *moaned softly* and went to the garden gate and peered through the wrought-iron lilies [20: с. 107].

• He stared back at my face and suddenly threw his head back in a roar of black, anarchical laughter. *I groaned halitotically* at him [9: с. 43].

Коммуникативно-семантическое значение этого сигнала часто сочетает выражение эмоций с оценкой поведения или высказывания партнеров по коммуникации, которые спровоцировали данные эмоции, например:

• «We need a holiday». Andrew *groaned*. «Oh, Jesus. A holiday?» [13: с. 238].

• Then Dad jumped up and said he'd like to say a few words. Derek and I *groaned*. Dad's speeches went on for five or fifty minutes, depending on his mood [26: с. 306].

Поскольку данный звуковой сигнал полисемантичен, автор иногда вербализует его коммуникативное значение в тексте, например:

• My *disappointment and fatigue* seemed to prompt a *loud groan*, and I would have uttered it, if Rachel hadn't suddenly been saying: «Oh, Charles, I'd love to, really, but…» [9: с. 72].

Ворчание

В английском тексте ворчание чаще всего лексикализуется словом *grunt*. В словаре отмечается такой эмоционально-оценочный компонент значения данного неартикулируемого звука как *недовольство* [23]. Рассмотрим примеры:

• The thick wheels were too wide to go easily through doorways so there was plenty of *grunting*… [22: с. 242].

• «I promise you I'll think about it».

Rose *grunted in disdain* and stamped into her van and *slammed the door* behind her [20: с. 133] (презрительное отношение к собеседнику выражено не только неартикулируемым звуком, но и жестом).

В реальном дискурсе, однако, данный звуковой сигнал способен передавать самые разнообразные эмоциональные значения, например:

• Captain Frome got out (of the car). Andrew gave a *small grunt of annoyance* and straightened his cap on his head [20: с. 93] (раздражение).

• James made a sort of *grunting noise*, kind of like an animal in pain and Katie saw that this news had devastated him [17: с. 398] (отчаяние, боль).

• Toby got to his feet with a little *grunt of discomfort* [20: с. 119] (неловкость).

Рев

В словаре данный звуковой сигнал определяется как громкий шум, производимый обычно толпой людей, когда они испытывают *волнение или злость* [24], например:

• Suddenly a *roar* went up from the crowd of students. A small SE434 computer was held high from an open window by a rather beautiful bare-breasted girl [20: с. 209].

Поскольку читатель не всегда способен идентифицировать эмоцию, выражаемую этим звуком, автор лексикализует ее в тексте, например:

• There was something like a *muted roar of approval* as he came in [20: с. 252].

• Toby *bit back a roar of rage* at this woman daring to lecture him [20: с. 133].

Фырканье

Данный звук обычно лексикализуется в английском художественном тексте с помощью слова *snort* и обозначает такие эмоциональные состояния как *злость или раздражение*, например:

• «Who is Matthew Birch? »

Lon *snorted*. «On your way out buy a Wednesday Gazette» [33: с. 56].

• «Can you keep awake»? asked Frank. Red *snorted* [22: с. 318].

Чаще, однако, этот звуковой сигнал, выражая *насмешку или презрение*, свидетельствует об отрицательной оценке коммуникантом действий партнера, например:

• «I enjoy my work», Miriam said, steadfastly smiling. The old woman *snorted*. «Lady Bountiful,» she said *spitefully* [20: с. 77] (презрительное отношение к собеседнице выражено не только фырканьем, но и тоном голоса).

• «There may be more than one poet after all», said Dad, *snorting into his tea* [26: с. 305] (герой смеется над своим великовозрастным малообразованным сыном-рэппером, считающим себя большим талантом).

Цоканье языком

Этот неартикулируемый звук лексикализуется в английском тексте с помощью слова *cluck* и выполняет в дискурсе *эмоционально-оценочную* функцию, выражая сочувствие партнеру, например:

• He could *cluck* sympathetically when a woman told him how badly her ex-husband had behaved. *Clucking* was something he had got really good at [21: с. 176].

• Emma *clucked*. «Poor thing» [22: с. 173].

Помимо описанных выше неартикулируемых звуков, в английском художественном дискурсе используются такие эмотивные звуковые сигналы, как свист, улюлюканье (*whistle, hoot*), вопли (*scream, whoop*), напевание (*hum*), возгласы (*cry)* и другие нечленораздельные звуки, например:

• «How much would you need for that?» «Thirty thousand dollars. Forty thousand. Something like that». Dan *let out a long, low whistle* [14: с. 143].

• The writers snickered and *hooted* at him – it was pure green envy, he told Frank [22: с. 257].

• «He has fallen in love with someone else and has left home».

Poppy's *cry of disbelief* echoed down the phone [11: с. 86].

• You had to stand around in the sun and be bitten by flies while the other team beat the crap out of you and *hooted* and sneered [22: с. 119] (мальчик описывает игру в софтбол в ненавистном летнем лагере).

• He could only *hum* or *make a soft strangling sound* like a pigeon [22: с. 3].

• Toby gave a *short despairing wail* and dropped from the wall to the street [20: с. 109].

• He uttered a long low wolf *whistle* which embarrassed me terribly [14: с. 76].

• «And there first three choices to succeed Cavanagh are you, you and you».

Adam *let out a whoop* [30: с. 44].

He made a *sudden exclamation* and stepped back and pulled out from under the van a red can of diesel [20: с. 281] (герой понимает, что фургон подожгли, и реагирует на это эмоциональным возгласом).

Авербальная экспрессия эмоций может усиливаться вербальным компонентом в форме междометий, например:

•…And his brains sloshed, he *moaned* and said, «*Jesus*, this light is bright» [22: с. 230].

• «I can't get out», she hissed. 'There's no ladder this side.

Toby *groaned* a little louder. «*Oh, God*!» [20: с. 107].

В коммуникативной ситуации, в которой эмоциональный компонент становится доминантой, плотность эмотивов повышается: «Эмоции редко выражаются единственным способом, чаще они реализуются пучком (т. е. кластерно)» [8: с. 9]. В этом случае автор лексикализует пучок звуковых сигналов, например:

• «You lucky beggar. You've scored with the sexy farmer».

Louise *giggled a rich sensual chuckle*. «More or less» [20: с. 245] (смех героини выдает смущение, которое сочетается с нескрываемым удовольствием).

• «Victor's got his cottage for sale…» A *giggle of uncontrolled hysteria erupted from my mouth.* It could as easily have been *sobs*, but it was *giggles* that came out [32: с. 77] (сообщение о том, что ее дядя не только взял крупный заем, продал свою обожаемую машину, но и выставил на продажу любимый загородный домик, вызывает у героини неконтролируемую реакцию, в которой плач от отчаяния сливается с истерическим смехом).

• «I enjoy my work», Miriam said, steadfastly smiling. The old woman *snorted*. «Lady Bountiful,» she said *spitefully* [20: с. 77] (презрительное отношение к собеседнице выражено фырканьем и тоном голоса).

• Bingham *grunted* a reluctant *chuckle*, but any sign of amusement quickly faded [15: с. 298] (герой не сдержал смеха, хотя разговор серьезный и начальник старается сохранить строгий тон).

«Плотность эмоций» является продуктом интенсивности и продолжительности эмоций [8: с. 9] и может повышаться за счет использования в дискурсе других невербальных сигналов эмотивности, например:

• She *plopped down, hands to her face*, and *moaned* [22: с. 142].

• «You're balmy, you», she said. «There's never been an orgy in Wistley…Or at least there never was until you came here…» The captain's *forehead turned scarlet.* He *made an odd popping noise in his throat* [20: с. 97].

• «I promise you I'll think about it».

Rose *grunted in disdain* and stamped into her van and *slammed the door* behind her [20: с. 133].

• She had told Roy her great dream of pursuing a singing career on the radio… He *rolled his eyes* and *snorted* [22: с. 31].

• Louise let out a clear and *piercing scream of horror* and *dropped her files and papers* on the floor with a resounding crash [20: с. 183].

Итак, общее содержание общения складывается из совокупности лингвистических и паралингвистических средств, среди которых важную роль играют неартикулируемые (нефонематические) звуки. К ним относятся смех, плач, фырканье, вздохи, покашливание, хмыканье и многие другие издаваемые в процессе коммуникации нечленораздельные звуки, несущие определенную коммуникативную нагрузку. Как показало исследование, неартикулируемые сигналы служат чаще всего средством аудизации эмоций коммуниканта и являются, по своей функциональной сути, эмотивами; в этом

случае они используются неинтенционально. Но коммуниканты могут использовать звуковые сигналы интенционально, для того, например, чтобы замаскировать свои истинные чувства или манипулировать партнером по коммуникации. В этом случае неартикулируемые звуки не отражают, а имитируют эмоции коммуниканта.

В эмотивном дискурсе, в котором эмоциональный компонент становится доминантой, плотность эмотивов повышается за счет кластерного использования как неартикулируемых сигналов, так и других паралингвистических средств (громкость, тон голоса, пауза, междометие) и эмотивных кинесических знаков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Александрова, О.А.* Коммуникативно-прагматическая классификация пауз / О.А. Александрова // Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации: сб. научн. тр. по филологии № 2. – Астрахань : Изд-во Сорокин, 2008. – С. 5–16.

2. *Выготский, Л.С.* Мышление и речь / Л.С. Выготский. – М. : Просвещение, 1996. – 152 с.

3. *Дементьев, В.В.* Непрямая коммуникация / В.В. Дементьев. – М. : Гнозис, 2006. – 375 с.

4. *Колшанский, Г.В.* Объективная картина мира в познании и языке / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1990. – 104 с.

5. *Красавский, Н.А.* Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах / Н. А. Красавский. – М. : Гнозис, 2008. – 374 с.

6. *Олянич, А.В.* Презентационная теория дискурса / А.В. Олянич. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с.

7. Основы теории коммуникации / общ. ред. М. В. Василик. – М. : Гардарики, 2003. – 616 с.

8. *Шаховский, В.И.* Эмоции / В. И. Шаховский. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 124 с.

9. *Amis, M.* The Rachel papers / M. Amis. – London : Penguin Books, 1984. – 219 p.

10. *Brosnahan, L.* Russian and English Nonverbal Communication / L. Brosnahan. – Moscow : Bilingua, 1998. – 120 p.

11. *Buchan, E.* Revenge of the Middle-Aged Woman / E. Buchan. – London : Penguin Books, 2002. – 358 p.

12. *Chang, Z.* Comparative Studies in Language & Culture / Z. Chang. – Qing dao : Ocean University of China, 2004. – 434 p.

13. *Cleave, C.* The Other Land / C. Cleave. – London : Sceptre, 2009. – 378 p.

14. *Cohen, B.* The Innkeeper's Daughter / B. Cohen. – New-York : Beech Tree Books, 1990. – 160 p.

15. *Cook, R.* Contagion / R. Cook. – London : Pan Books, 1997. – 529 p.

16. *Dou, W.* Intercultural Business Communication / W. Dou, G.W. Clark, M.H. Prosser. – Beijing, 2007. – 402 p.

17. *Fallon, J.* Got You Back / J. Fallon. – London : Penguin Books, 2008. – 407 p.

18. *Finocchiaro, M.* Foreign Language Testing / M. Finocchiaro, S. Sako. – New-York : Regent Publishing Company, 1983. – 342 p.

19. *Gordon, L.* The Stand-In bride / L. Gordon // The 2000 Christmas Collection. – Barcelona : Mills&Boon, 2000. – 186 p.

20. *Gregory, Ph.* Perfectly Correct / Ph. Gregory. – London : HarperCollinsPublishers, 1997. – 294 p.

21. *Hornby, N.* About a Boy / N. Hornby. – London : Penguin Books, 2000. – 278 p.

22. *Keilor, G.* WLT: A Radio Romance / G. Keilor. – New-York : Penguin Books, 1992. – 401 p.

23. Longman Dictionary of Contemporary English. – London : Longman, 1987. – 1229 p.

24. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2002. – 1691 p.

25. *McCorkle, J.* The Cheer Leader / J. McCorkle. – New-York : Algonquin Books of Chapel Hill, 1992. – 268 p.

26. *Moriarty, S.* In My Sister's Shoes / S. Moriarty. – New-York : Penguin Books, 2008. – 314 p.

27. *Patterson, R.N.* Eyes of a Child / R.N. Patterson // Reader's Digest Condensed Books. – Vol 3. – New-York : the Reader's Digest Association, Inc., 1995. – P. 299–496.

28. *Ribes-Gil,* B. Multilingual emotions / B. Ribes-Gil // Voices. – 2007. – № 198. – P. 4–5.

29. *Rolls, E.* The Unexpected Bride / E. Rolls // The 2000 Christmas Collection. – Barcelona : Mills&Boon, 2000. – P. 1–283.

30. *Segal, E.* Prizes / *E. Segal* // Reader's Digest Condensed Books. – New-York : the Reader's Digest Association, Inc., 1995. – Vol 3. – P. 7–160.

31. *Sheldon, S.* Master of the Game / S. Sheldon. – London : Harper, 2005. – 673 p.

32. *Smith, J.* Capriccio / J. Smith. – New-York : Jove, 1989. – 185 p.

33. *Stout, R.* In the Best Families / R. Stout. – New-York : Bantam Books, 1995. – 256 p.

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЯПОНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООМОРФНЫМ И АНТРОПОМОРФНЫМ КОМПОНЕНТАМИ

В.Г. Волощенко

Волощенко Валерия Геннадьевна – соискатель кафедры японской филологии Восточного института Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток), доцент кафедры методики и второго иностранного языка Дальневосточного государственного гуманитарного университета (г. Хабаровск).

Контактный адрес: valeriav21@mail.ru

Данная статья посвящена исследованию способов перевода японских фразеологических сочетаний разных типов, содержащих имена живой природы и компоненты «душа / сердце» и «дух».

***Ключевые слова*:** ёдзидзюкуго, зооморфизмы, эквивалент, аналог, калькирование, экспликация, наиболее частотные и наименее частотные способы перевода.

Данная статья посвящена исследованию вопросов перевода японских антропоцентричных фразеосочетаний двух видов – первая группа включает фразеологические единицы (ФЕ), репрезентирующие универсальный суперконцепт «душа / сердце» и «Дух», вторая группа содержит фразеологизмы с зооморфной метафорой. Материалом практической работы послужили 377 фразеологических сочетаний – 137 ФЕ с лексемой 心 *кокоро* (в том числе 38 четырехиероглифичных композитов *ёдзидзюкуго*) и 240 ФЕ с лексемой 気 *ки* (в том числе 27 *ёдзидзюкуго*), а также 300 фразеологизмов, содержащих зооморфную метафору (в том числе 83 композита *ёдзидзюкуго*. Исследовались словарные статьи в источниках с 11 по 19, перевод давался словарный в случае, если данная единица была зафиксирована, и авторский, если данный фразеологизм не был приведен в словаре.

По мнению М.В. Пименовой, концепты, репрезентируемые данными двумя группами фразеологических единиц (концепт «душа / сердце» и «дух» и концепты живой природы) являются первичными (основными), ведущими, базовыми, постоянными, развивающимися, именно такого рода актуальностью и было продиктовано авторское решение в выборе материала [12].

На базе классификаций способов перевода фразеологических единиц, предложенных в трудах В.С. Гривнина [5], В.С. Виноградова [4], В.Н. Крупнова [9], А.В. Кунина [10], Л.Ф. Дмитриевой и др. [6], нами было выделено 4 основных способа перевода фразеосочетаний, отмечаемых всеми авторами – эквивалент, аналог, калькирование, экспликация [8]; и также была разработана классификация способов перевода японских фразеологических единиц двух типов – зооморфных единиц и единиц, репрезентирующих два концепта «душа / сердце» и «дух», представляющих собой по своей фразообразовательной способности единый суперконцепт. Эта классификация включает 8 основных способов.

1. Передача японского образного выражения полным фразеологическим эквивалентом в русском языке. Вслед за А.В. Куниным полным фразеологическим эквивалентом мы называем иностранные фразеологизмы, совпадающие с переводящими по значению, лексическому составу, образности, стилистической направленности и грамматической структуре [10].

По мнению В.С. Виноградова, к которому присоединяемся и мы, полная эквивалентность – величина относительная, у таких единиц возможна своя национальная специфика, различия в словосочетаемости, частотности употребления, стилевых и стилистических нюансах и т. д. [4].

При переводе ФЕ обоих типов полный эквивалент явился одним из наименее востребованных способов перевода.

В случае перевода пословиц и поговорок с культурной составляющей «душа / сердце» и «дух» (первая группа) мы прибегли к использованию полного эквивалента в 3 %. Например: 心に残る остаться в сердце, 心を入れる вкладывать душу.

При переводе ФЕ, содержащих зоонимы (вторая группа), полным эквивалентом было переведено 2 % единиц, например: 虎穴に入る входить в логово тигра, 馬車馬のように働く работать как ломовая лошадь, 白鳥の歌 лебединая песня, 蝿で象を作る делать из мухи слона.

2. Частичные фразеологические эквиваленты.

Перевод при помощи частичного фразеологического эквивалента не означает какой-либо полноты в передаче значения, а лишь содержит лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при наличии одинакового значения и одной и той же стилистической направленности исходного фразеологизма. Фразеологические эквиваленты иностранных фразеологизмов, совпадающие по значению, стилистической направленности и близкие по образности

(грамматическая структура может как совпадать, так и не совпадать), но несколько расходящиеся по лексическому составу называются частичными эквивалентами. Считается, что частичный фразеологический эквивалент по степени перевода равноценен полному эквиваленту [4]. В нашем случае при переводе ФЕ обоих типов частичный эквивалент также явился наименее востребованным способом перевода.

Мы считаем частичным эквивалентом те единицы, которые у В.С. Виноградова названы неполными и частичными эквивалентами (соответствиями), т. е. частичный эквивалент – способ перевода, при котором главный денотат сохраняется, а второй и последующие представляют собой стилистические синонимы (при переводе может использоваться грамматическая и лексическая антонимия) [4].

В случае перевода пословиц и поговорок с культурной составляющей «душа / сердце» и «Дух» мы прибегли к использованию частичного эквивалента в 5 %. Например: 心が軽い легко на сердце (*букв*. сердце легкое), 心に浮かべる всплывать в сознании (*букв*. всплывать в сердце).

При переводе ФЕ, содержащих зоонимы, частичный эквивалент был использован при переводе 1 % единиц, например: 老いたる馬は道を忘れず старый конь борозды не испортит (*букв*. старая лошадь дороги не забудет), (в русском языке при одинаковой грамматической конструкции есть лексические изменения – используется другой член гендерной оппозиции – лошадь – конь, предикат действия заменен предикатом состояния).

3. Следующим способом, в обоих случаях одним из наиболее продуктивных, явился полный фразеологический аналог (ФА). Полный ФА подразумевает использование русского фразеологизма, аналогичного по смыслу иноязычному, но основанного на полной замене образов.

В случае перевода пословиц и поговорок с культурной составляющей «душа / сердце» и «Дух» нами был произведен перевод при помощи полного аналога в 10 % случаев. Например: 心を悩ませる переживать из-за чего-либо (*букв*. заставить сердце страдать – замена побудительного залога ЯЯ действительным в РЯ), 心を打たれる быть взволнованным (*букв*. быть ударенным в сердце – также замена залогов – конструкция со страдательным залогом в японском языке заменена на конструкцию с глаголом состояния быть + причастие совершенного вида *взволнованный*), 心（気）が乱れる быть в смятении (*букв*. дух / сердце волнуется), 心に浮かべる всплывать в сознании (*букв*. всплывать в сердце).

При переводе ФЕ, содержащих зоонимы, полным аналогом было переведено 15 % единиц, например: 鷺を烏 выдавать черное за белое (*букв*. белую цаплю принимать за ворону), 烏の雌雄 как две капли воды (*букв*. самка и самец вороны), 飛鳥尽きて良弓蔵めらる дорога ложка к обеду (*букв*. когда нет перелетных птиц, лук не нужен, его выкидывают).

4. Частичный аналог, в нашем понимании, – способ перевода ФЕ с сохранением образной основы, при котором происходит замена образов частично (один из главных денотатов сохраняется, второй и следующие заменяются).

В случае перевода пословиц и поговорок с культурной составляющей «душа / сердце» и «дух» мы прибегли к использованию частичного аналога в 5 %, что позволяет включить этот способ перевода в наименее востребованные. Например: 心に刻む запечатлеться в душе (*букв*. резать в сердце), 心を合わせる всем объединить усилия (*букв*. объединить сердца).

При переводе ФЕ, содержащих зоонимы, частичным аналогом было переведено 31 % единиц, что включило данный способ перевода в наиболее востребованные. Пример: 一石二鳥 одним ударом – двух зайцев (*букв*. одним камнем – двух птиц), 虻蜂取らず за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь (*букв*. шмеля и пчелы не поймать), 河童に水練を教える учить ученого (*букв*. учить Каппу (водяного) плавать), 河童の屁 раз плюнуть – (букв. газы Каппы (водяного)), 鴛鴦の契り клятва новобрачных (*букв*. клятва уточек– неразлучниц).

5. Дословный перевод, калькирование фразеологических единиц. Следует отметить, что данный перевод может быть применен лишь в том случае, если в результате калькирования получается выражение, образность которого легко воспринимается русским читателем и не создаёт впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нормам русского языка:

При переводе исследуемых ФЕ с компонентами «душа / сердце» и «дух» мы использовали калькирование в 2 %, например: 心に銘じる запечатлеться в сердце.

При переводе ФЕ-зооморфизмов калькирование применялось в 1 % случаев, например: 鵲の橋 сорочий мост (по легенде на Млечном пути сороки крыльями сделали мост для Ткачихи и Волопаса – праздник Танабата).

6. При экспликации, или описательном переводе значение идиомы иностранного языка переда-

ется при помощи свободного сочетания слов (описания). Естественна некоторая утрата образности при передаче общего смысла [4], например: экспликация нами была применена в 25 % от всего количества вариантов перевода фразеологизмов с компонентами «душа / сердце» и «дух»: 心を汲む войти в чье-либо положение (*букв*. вычерпать сердце, понять кого-либо), 心を引かれる думать о ком–либо, направлять все свои помышления (*букв*. быть вытянутым за сердце), 心を傾ける сконцентрироваться на чем-либо, отдавать все силы (*букв*. направить сердце), 心を打たれる быть тронутым *(букв*. получить удар в сердце), 心を鬼にする изгнать из сердца жалость, не проявлять жалости; стараться быть жестокосердным (*букв*. делать сердце чертом), … に心を向ける уделять большое внимание чем-либо, сосредотачиваться на чем-либо, интересоваться чем-либо (*букв*. направлять сердце (на чем-либо)), 心も空に на седьмом небе от счастья; рассеянно, с отсутствующим видом *(букв*. сердце на небе); 心を躍らせる радоваться в предчувствии хорошего (*букв*. заставить сердце плясать), 心が騒ぐ сердце не на месте (*букв*. сердце шумит), 心の鬼が身を責める испытывать угрызения совести (*букв*. черт внутри сердца винит тело), 心を浮き立てる радовать, веселить *(букв*. заставить воспрянуть сердце).

Как средство перевода зооморфизмов экспликация была задействована в 17 %, что включает этот метод в группу наиболее востребованных приемов перевода: 烏の行水 короткое купанье, 鴛鴦夫婦 неразлучная пара, 鶏口牛後 лучше быть начальником в маленькой организации, чем в большой слушаться других (*букв*. клюв курицы и зад быка).

7. Модуляция. Прием модуляции – способ перевода, обычно относимый к переводу клише и других устойчивых выражений. Это понятие мы относим к приемам перевода фразеологизмов и вводим в данной статье на основании следующих признаков: модуляцией, или смысловым развитием, называется замена слова или словосочетания иностранного языка единицей переводящего языка, значение которой логически выводится из значения исходной единицы [11: с. 185].

Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно-следственными отношениями. Этот способ перевода еще называют косвенным, например: 心を鬼にする изгнать сожаление, стать безжалостным (*букв*. делать сердце чертом, демоном), 気を緩める ослабить бдительность, 気を許す снизить внимание и т. д.

Так как прием смыслового развития заключается в замене словарного соответствия контекстуальным, логически связанным с ним, к нему обычно относятся различные метафорические и метонимические замены, например: 臥竜 видный деятель в безвестности (*букв*. лежащий дракон), 河童の屁 раз плюнуть – (*букв*. газы Каппы) и т. д.

Если учесть, что все знаменательные части речи делятся на три категории: предметы, процессы и признаки, то в ходе перевода часто происходит значительное разнообразие замен как внутри каждой категории, так и между различными категориями. Для передачи одного и того же содержания средствами другого языка часто безразлично, какой формой слова будет выражено это содержание. Предмет может быть заменен его признаком, процесс предметом, признак предметом или процессом и т. д. При использовании приема модуляции причинно-следственные отношения часто имеют широкий характер, но логическая связь между двумя наименованиями всегда сохраняется [11: с.185], например: 心も空に с отсутствующим видом (*букв*. сердце на небе), 心（気）を浮き立てる радовать, веселить сердце (*букв*. заставить сердце (дух) всплыть и встать), 鵜呑み проглатывать целиком, жадно глотать, наспех зазубривать, поверхностно усваивать (*букв*. заглатывание бакланом), 鵜の真似をする烏 провал того, кто, подражая другому, забывает о своих корнях (*букв*. ворона, подражающая баклану), 心の鬼が身を責める угрызения совести (*букв*. черт, демон в сердце винит / терзает тело).

Мы использовали модуляцию в 16 % случаев перевода фразеологических единиц 1-й группы и в 25 % случаев единиц 2-й группы, что позволило отнести данный прием к наиболее распространенным видам перевода.

8. Перевод при помощи словесных эквивалентов.

Иногда приемлемым способом перевода фразеологизма является перевод его при помощи одного слова [4], например: 心が変わる передумать, быть непостоянным (*букв*. дух/сердце изменяется), 気にかかる заботить, тревожить (*букв*. повиснуть

на духе), 気の利いた сообразительный, порядочный, приличный (*букв.* дух подействовал), 気が焦る нетерпеливый (*букв.* дух торопится), ゆでだこのようになる покраснеть (*букв.* стать как вареный осьминог), きつね色に焦げた румяный (*букв.* поджариться до цвета лисы), 鳩首をする совещаться, положить головы рядом.

При переводе единиц первой группы выбор словесного эквивалента был зафиксирован в 17 %, что ввело данный прием перевода в число наиболее востребованных, во второй – в 6 %, в рамках данной группы этот прием принадлежит к числу менее востребованных.

9. Комбинированный перевод. При переводе исследуемых фразеологических единиц использовался также комбинированный метод перевода, как уже отмечалось выше, чаще всего комбинированный перевод заключается в применении экспликации в придачу к другому способу: 心を以て心に伝う передаваться телепатически (*букв.* используя сердце, передавать в сердце, калькирование с заменой переходности плюс экспликация). 鴨の浮寝 беспокойный, как сон у плавающей утки (добавление определения *беспокойный*, замена положения *плавающий*, плюс обыгрывание лексемы плавающий, – в оригинале плавающий сон, т. е. чуткий, беспокойный, также добавлена компаративная грамматическая конструкция), 鴨の脛 короткий, как лапки у утки, 白魚のような指 белые и тонкие пальцы (*букв.* пальцы, как белорыбица, экспликация с опущением компаративной конструкции), 猛虎伏草 перед сильным тигром трава стелется (калькирование плюс добавление предлога, происходит замена грамматического статуса – ФЕ в японском языке функционирует как слово, выступает в роли наречия или сказуемого, после перевода – это самостоятельное предложение. Это судьба всех китайских фразеологизмов с корнями из чэнъюй). 鳥交る брачные игры птиц (*букв.* птицы скрещиваются, калькирование плюс экспликация); 烏の濡れ羽色 как вороново крыло (о волосах) (*букв.* цвет мокрых крыльев вороны, в русском узусе обычно не используется понятие *мокрый* в отношении иссиня-черного цвета, при переводе добавление компаративной конструкции, опущение *ворона* и *мокрый*); 鶴は千年亀は万年 Желаю долголетия – (*букв.* журавль тысячу лет, черепаха – десять тысяч лет, замена фразеологизма на узуальное клише).

Общее количество единиц 1-й группы, переведенное методом комбинированного перевода, составило 6 %, 2-й группы – 2 %, обе группы показали, что данный метод не принадлежит к числу наиболее востребованных.

Отразим в диаграммах все вышеизложенное (рис. 1–3, табл. 1, 2).

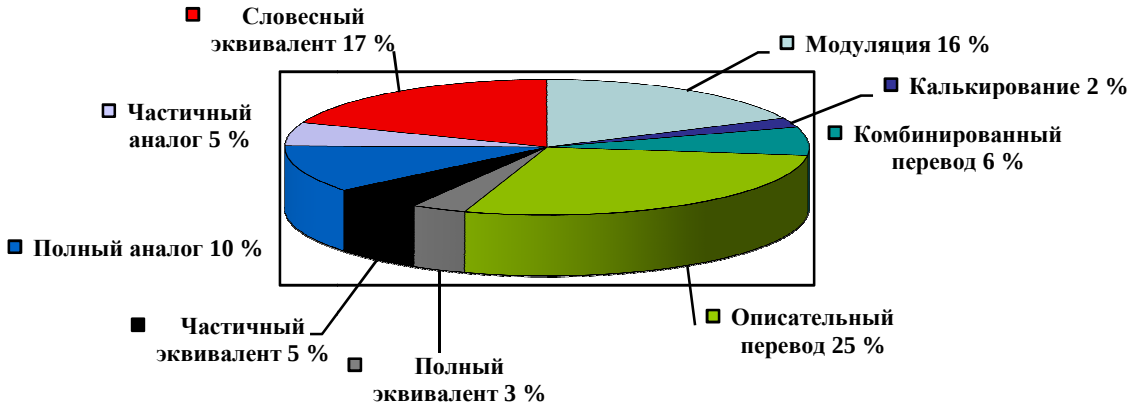

Рис. 1. Способы перевода фразеологической единицы «душа»

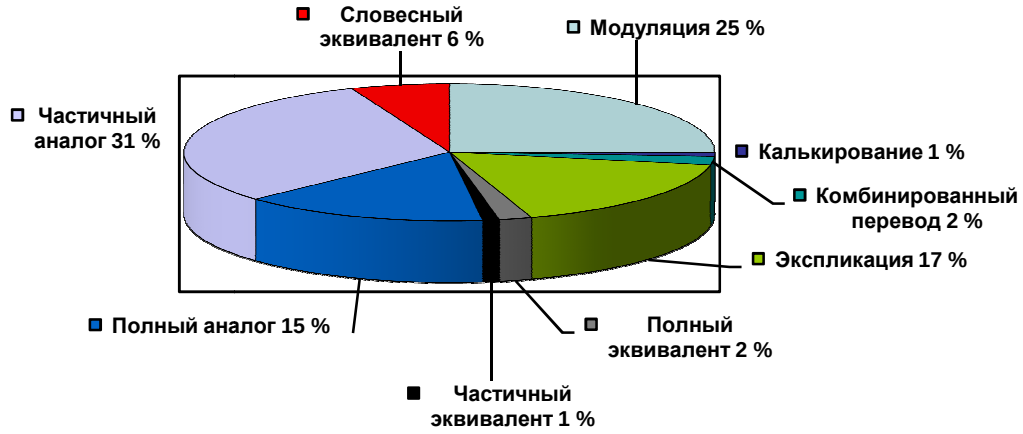

Рис. 2. Способы перевода японских зооморфных фразеологизмов

Таблица 1

Способы перевода японских фразеологических единиц с компонентами «душа / сердце» и «дух»

Наименование	Соотношение, %
1. Модуляция	16
2. Комбинированный перевод	6
3. Полный эквивалент	3
4. Частичный эквивалент	5
5. Полный аналог	10
6. Частичный аналог	5
7. Словесный эквивалент	17
8. Экспликация	25
9. Калькирование	2
Итого	100

Из вышеприведенных диаграммы и табл. 1 можно увидеть, что при переводе фразеологических единиц с компонентами «душа / сердце» и «дух» наиболее востребованными способами перевода оказались: экспликация (25 %), словесный эквивалент (17 %), модуляция (16 %), полный аналог (10 %).

Наименее востребованными оказались: калькирование (2 %), полный эквивалент (3 %), частичный эквивалент и частичный аналог (по 5 %), а также комбинированный перевод (6 %).

В процессе перевода ФЕ, переведенные методом экспликации и модуляции часто теряют свою оригинальную образность. Это связано с тем, что данные средства содержат яркий национально-культурный компонент. Анализ таких единиц позволяет сделать вывод, что они, как правило, не имеют полных фразеологических эквивалентов в русском языке. Во многом это объясняется экстралингвистическими факторами, такими как различные исторические условия, общественно-экономический уклад, условия развития обеих наций. ФЕ данного типа в большинстве своем основаны на образах, отсутствующих в русском языке, т. е. причиной их возникновения послужили события и явления, не имевшие места в России. Поэтому у многих японских национально окрашенных ФЕ нет не только полных, но и частичных соответствий в русском языке.

Таблица 2

Способы перевода японских зооморфных фразеологизмов

Наименование	Соотношение, %
1. Модуляция	25
2. Комбинированный перевод	2
3. Полный эквивалент	2
4. Частичный эквивалент	1
5. Полный аналог	15
6. Частичный аналог	31
7. Словесный эквивалент	6
8. Экспликация	17
9. Калькирование	1
Итого	100

Данные вышеприведенных диаграмм и таблиц позволяют увидеть, что при переводе фразеологических единиц-зооморфизмов наиболее востребованными способами перевода явились: частичный аналог (31 %), модуляция (25 %), экспликация (17 %), полный аналог (15 %).

Наименее востребованными оказались: калькирование и частичный эквивалент (по 1 %), пол-

ный эквивалент и комбинированный перевод (по 2 %) словесный эквивалент (6 %).

Низкий удельный вес таких приемов, как частичный и полный эквивалент, позволяет судить о том, что среди ФЕ-зооморфизмов обеих культур мало общих корней. Большое количество четырехкомпонентных *ёдзидзюкуго*-зооморфизмов (28 % от общего числа единиц данной группы) часто уходит в китайскую историю – упоминаются такие эпохи, как «Весны и осени» (VIII–V вв. до н.э.), «Эпоха воюющих царств» (V–III вв. до н.э.), источники конфуцианских преданий.

Многие фразеологические единицы-зооморфизмы могут переводиться несколькими способами в зависимости от контекста. Это так называемый окказиональный перевод. Так, одна и та же ФЕ в словарях и в большинстве литературных произведений может переводиться при помощи, например, описательного перевода, но в определенном контексте для ее передачи может потребоваться применение приема калькирования. Поэтому представляется невозможным выделить единственно возможный способ перевода той или иной ФЕ. Постараемся показать соотношение способов перевода фразеологических единиц двух групп в нижеследующей диаграмме.

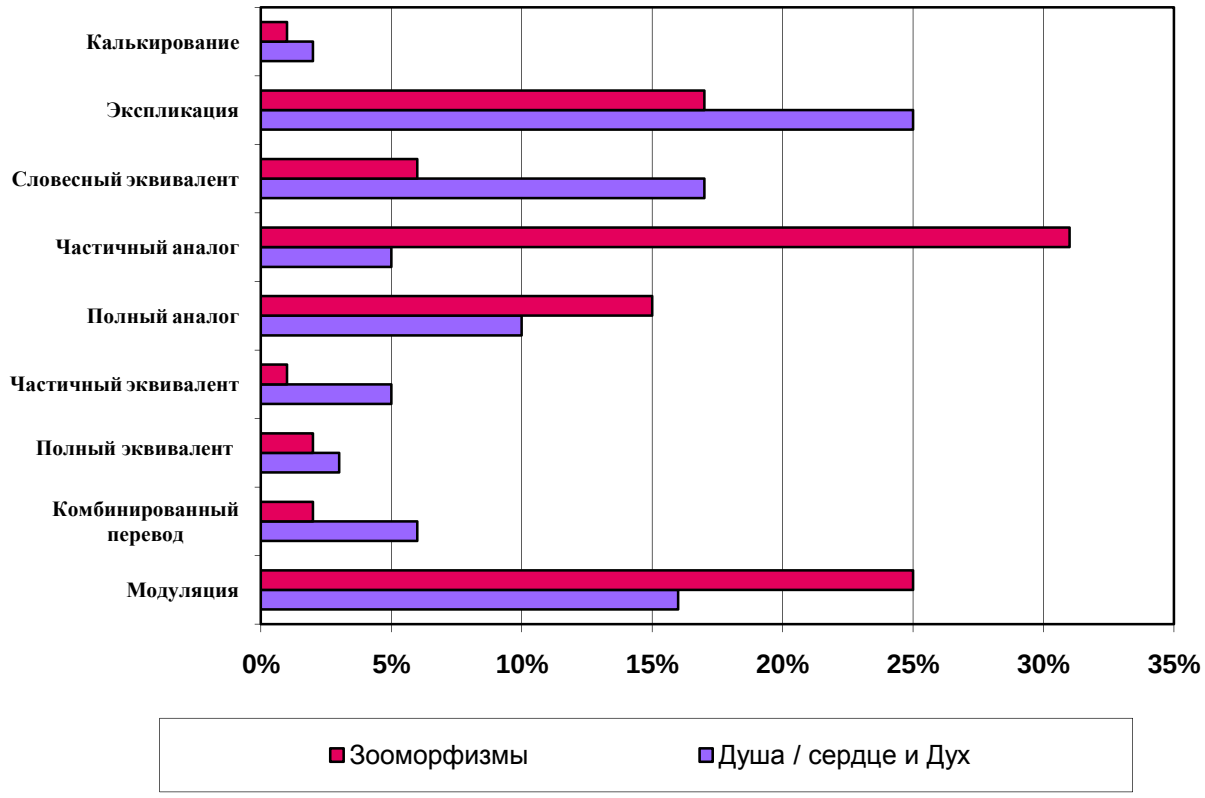

Рис. 3. Соотношение способов перевода японских ФЕ с компонентами «душа / сердце» и «дух» и фразеологизмов-зооморфизмов

Наиболее продуктивными способами перевода явились в обоих случаях модуляция (16 % : 25 %), экспликация (25 % : 17 %) и полный аналог (10 % : 15 %).

В обоих случаях калькирование, эквиваленция частичная и полная, а также комбинированный перевод выступают как наименее продуктивные способы перевода. По мнению автора, это связано с разными национально-культурными корнями русской и японской цивилизаций.

В первом случае одним из продуктивных способов также послужил словесный эквивалент, во втором – частичный аналог.

При исследовании фразеологических единиц двух данных типов не затронутым пока, но актуальным остался вопрос о фразеологических единицах, провоцирующих ошибки при переводе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Банк японских пословиц (ことわざデータバンク) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sanabo.com/kotowaza/.

2. *Быкова, С.А.* Японско-русский фразеологический словарь / С.А. Быкова. – М.: ИД «Муравей-Гайд», 2000. – 272 с.

3. *Виноградов, В.В.* Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В.В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. 140–161.

4. *Виноградов, В.С.* Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

5. *Гривнин, В. С.* Основы перевода. Курс лекций / В.С. Гривнин. – М., 1999. – 96 с.

6. Английский язык для студентов. Курс перевода / Л.Ф. Дмитриева [и др.]. – М. : МарТ, 2008. – 301 с. – (Серия «Иностранный язык для профессионалов»).

7. Иероглифический словарь Кандзигэн. – Т., Гаккэн, 2003. – Casio XD-FP6800, 2004.

8. *Комиссаров, В.Н.* Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.

9. *Крупнов, В.Н.* Практикум по переводу с английского языка на русский: учеб. пособие / В.Н. Крупнов. – М. : Высш. шк., 2005. –279 с.

10. *Кунин, А.В.* Курс фразеологии современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / А.В. Кунин. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк.; Дубна : Изд. центр «Феникс+», 1996. – 381 с.

11. *Латышев, Л.К.* Технология перевода: учеб. пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз.) / Л.К. Латышев. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.

12. *Пименова, М.В.* Концептуальный и когнитивный анализ языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kuzspa.ru/diss/conf_27_28/5_pimenova.doc.

13. Справочник по японской идиоматике 慣用句の参考書 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tantaka.com/kanyouku/.

14. Справочник японских пословиц ことわざの参考書 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tantaka.com/kotowaza/.

15. Словарь японских пословиц ことわざ辞典 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.plala.or.jp/wingwing/kototop.html.

16. Фразеологизмы в русской речи. Словарь: Около 1000 единиц. – 2– е изд., стереотип. – М. : Русские словари, Астрель, 2001. – 856 с.

17. Фразеологический словарь Ёдзидзюкуго дзитэн. – 2001. – Casio XD– FP6800, 2004.

18. Энциклопедия Кодзиэн. – 5-е изд. – Т., Иванами сётэн, 2004. – Casio XD-FP6800, 2004.

19. Японская идиоматика 慣用句 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://buna.yorku.ca/ japanese/idiom_ all.html.

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОСКА» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

И.А. Воробьёва

Воробьёва Ирина Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной деловой коммуникации Хабаровской государственной академии экономики и права.

Контактный адрес: VIA_76@mail.ru

В статье дано представление о содержании понятия «тоска» в русской языковой картине мира; выявлены синтагматические и парадигматические связи слова «тоска»; рассмотрен синонимический ряд слова «тоска»; представлен анализ слова «тоска» в русской и советской литературе.

Ключевые слова: внутренняя форма слова «тоска», семантическое значение, синтагматические и парадигматические связи, русская языковая картина мира.

Понятие тоски имеет глубокие корни в русской лингвокультуре. Смыслы, входящие в его содержание, фиксируются уже в древнерусском языке – в тексте «Слова о полку Игореве», оно употребляется два раза в значении «горе, печаль». Согласно словарю-справочнику «Слова о полку Игореве», в который вошло само «Слово о полку Игореве» и другие древние летописи, былины и т. д. [20: с. 44–46], понятие тоски имело следующие значения:

1. Горе, печаль: «Тоска разлияся по Русской земли» [22: с. 36]. В. Л. Виноградова отмечает, что у слова «тоска» элемент тревоги, беспокойства, душевного волнения был настолько силен, что переходил в самостоятельное значение: «…Туга и тоска сыну Глъбову!» [5: с. 96].

2. Тяжелое, трудное положение, невзгоды; притеснение: «Тогда князь велики Дмитрии Иванович и брат его Владимеру Андръевич полки погаными вьспятъ побъдих и гораздо на них поворотил и нача их бити гораздо, тоску им подаваше» (конец XV– начало XVI века).

3. Тревога, беспокойство: «И рече Давидъ къ Гаду пророку: «Тъска ли отвсюду зъло о трехъ сихъ; о баче да впаду въ руку господню, яко многы щедроты его, въ руку же человъка да не впаду» (XIII–XIV вв.).

Относительно внутренней формы слова «тоска» Е.В. Димитрова утверждает, что в ее основе лежит признак «стеснение, давление, натиск» [8: с. 9]. Это же значение находим в историко-этимологическом словаре современного русского языка: «тоска – тяжелое душевное состояние, характеризующееся томлением, грустью, тревогой, унынием и упадком сил». Однако здесь дано еще одно определение тоски, которое встречается в Хронике Геор. Амартола в древнем славяно-русском переводе: «тъска – морское волнение, шторм, теснота, тяжелое или трудное положение» [25: с. 253]. В этом же словаре дана этимология слова «тоска»: «Общеславянским является слово tъska, индо-европейская основа tŭs-sk-, база teus- – «опорожнять, делать пустым, осушать»; та же, что и тощий, тщета, тщательный. Старшее значение – «давление»; «теснота», «ощущение беспомощности», «волнение»» [25: с. 253]. Это же значение является основным в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля. Он дает следующее определение тоски: «Тоска – стъсненье духа, томленье души, мучительная грусть; душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь. Тоска по родине обращается иногда въ тълесную болъзнь, съ изнурительною лихорадкой» [7: с. 422].

А.Б. Лямин рассмотрел кластер «тоска» в русском фольклоре. В своей работе «Кластер "тоска" в русском фольклоре» [13] он обратил внимание на структурный и квантитативный аспект рассматриваемой группы слов. Он отмечает, что грамматические классы представлены только именами существительными и глаголами. Их общее количество и употребительность различны по жанрам. Грамматический класс имен прилагательных с корнем *тоск-* ни в одном сборнике отмечен не был. Грамматический класс имен существительных кластера *«тоска»* включает в себя не только простое, непроизводное слово *тоска*, но и составные наименования (репрезентативные пары): *печаль–тоска, тоска–горе, тоска–кручина* [13: с. 29].

Обращает на себя внимание тот факт, что существительные исследуемого кластера практически не образуют эпитетосочетаний. А.Б. Лямин объясняет данный факт семантической глубиной, емкостью основы слова *«тоск»*, которой не нужна дополнительная характеризация, – она самодостаточна.

По мнению А.Б. Лямина, при изучении глаголов кластера «тоска» открываются новые компоненты семной структуры семемы *«тоск»*. В песнях и былинах чувство тоски неразрывно связано с переживанием некой утраты. *Разлука* в песне каузиру-

ет состояние тоски. Он отмечает, что при глаголах *растосковаться*, *стосковаться*, *тосковать* почти всегда употребляются косвенные дополнения с предлогом *по: по мне, по <молодцу>* и т. д. В качестве субъекта при глаголе *растосковаться* отмечен соматизм *сердце.* Таким образом, подтверждается, что тоска – это «нойка сердца» (Даль) [13: с. 15–21].

В современном русском языке слово «тоска» имеет следующие значения: 1) душевное томление, тревога в соединении с грустью, унынием // Выражение такого чувства, состояния (в глазах, на лице и т. п.). // Выражение душевной угнетенности, безысходности, печали (в музыке, песне и т. п.). // Разг. О ноющем, тянущем, сосущем ощущении в теле, желудке и т. п. // Разг. Гнетущая скука, уныние, царящее где-либо, вызываемые однообразием обстановки, отсутствием интересов и т. п.; 2) безл. сказ. о скуке, унынии, царящих где-либо; о состоянии тоски у кого-либо [3: с. 705–708].

По материалам БАС А.В. Андриенко выявляет следующие парадигматические связи слова «тоска»: грусть, печаль, кручина, скука, уныние, томление, тревога, угнетенность, безысходность, апатия; состояние (психическое: душа), чувство (сердце, грудь), ощущение (физическое: тело, ноги, желудок).

По данным того же словаря она приводит синтагматические связи: тоска – смертная, смертельная; сердечная, душевная, сладкая, странная; безнадежная, невыносимая, острая, мрачная, смешанная со злобой, глубокая, жуткая, какая-то, такая, что…, неизбывная. Тоска души, сердца; тоска любви, отчаяния, одиночества. Тоска сжимает, давит, теснит (грудь, сердце, душу); тоска берет, грызет, одолевает; тоска нападает, находит, накатывает. Тоски припадки, минуты; бояться. Наводить, нагонять тоску. Разогнать, развеять, рассеять, размыкать тоску. В тоску вгонять, вводить [2: с. 38].

Нам представляется возможным на основе того же словаря добавить следующие синтагматические связи: тоска тяжкая; неясная, затаенная, терзающая, задушевная, приятная, зеленая; тоска смерти; тоска по дому; тоска гонит, закрадывается, томит; тоска обуяла; смягчилась. Тоску почувствовать. С тоски пропасть, удавиться, умереть.

Используя материал БАС, А.В. Андриенко в своей работе «Концепты русской культуры в поэтическом творчестве В.С. Высоцкого: между тоской и свободой» составила следующее представление о содержании понятия «тоска» в русской языковой картине мира: 1) психическое состояние (в душе); 2) чувство (в сердце); 3) физическое ощущение (в теле, желудке, в ногах и т. д.) человека (а также, очевидно, и общее – душевное и физическое – состояние); 4) существует и как нечто отдельное от человека, царящее вокруг, «пропитывая» какое-то пространство; 5) это состояние или чувство характеризуется как тяжелое, преходящее или постоянное, враждебное, агрессивное, сильное, опасное – смертельно; неприятное; неопределенное; если сладкое – то одновременно странное; ощущение может быть приятным, если речь идет о предвкушении обеда (в желудке); 6) болезнь: смертельная, смертная, припадки; удушье, теснота, – или порча – наводить; 7) активная, самостоятельно существующая сила (анализ глаголов: возможно, олицетворенная – царит, берет; вроде зверя – грызет, нападает; механизма или груза – сжимает, давит; или подобная стихии – накатывает как волны, шторм; разогнать, рассеять, развеять, нагнать тоску – как тучи, бурю); 8) среда или субстанция, само пространство с определенными характеристиками: вгонять в тоску, вводить в тоску [2: с. 38–39].

Глубоким отражением психологического смысла концепта «тоска» в концептуальной картине мира является художественная литература. Художественные произведения рефлексивно, в образной форме отражая субъективную семантику тоски, позволяют расширить и углубить психосемантическое пространство аффективной сферы личности, показать ее внутреннюю напряженность.

В начале XIX в. полагали, что скука, тоска являются болезнью аристократов. Скучающий взгляд являлся неотъемлемой чертой изысканности и благородства. Только у крестьян, живущих в нужде, в глазах горел огонек жадного и нескрываемого интереса. Человек пресыщенный, всем овладевший и всего достигший, не может не скучать. Похожую болезнь находим у русского народа в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина: «Недуг, которому причину / Давно бы отыскать пора, / Подобно английскому сплину, / Короче: русская хандра…» [16: с. 45]. Здесь А.С. Пушкин использует слово «хандра» для описания внутренних переживаний своего героя. Но эта хандра не является болезнью пресыщения. Она глубоко входит в душу всего народа и приобретает еще более сильное наименование: тоска, кручина. Однако тоска Онегина другая, не утонченно-высокомерная, он охвачен другим, более широким, чем его сословная принадлежность, недугом. Тоске подвластны все – и слуга, и барин. Хандра Онегина, с одной стороны, похожа на аристократический сплин; с другой стороны, имеет черты вековечной народной русской тоски. То, что в первой главе «Евгения Онегина» Пушкин называет хандрой, является зарождением другого, всепоглощающего чувства, которое позже, когда Онегин покинет Петербург и отправится в деревню, а затем в путешествие по России, автор называет своим подлинным именем: тоска. «Я молод, жизнь во мне крепка; Чего мне ждать? Тоска, тоска!...» [16: с. 241].

В советское время литература должна была быть наполнена оптимизмом, чтобы показать то,

что русскому народу не присуща тоска. Но даже у народного и неаристократичного писателя А. Платонова находим персонажи, главным всеобъемлющим чувством которых является тоска. В своей работе «Семантическое поле «тоска» и «скука» в произведениях А. Платонова» М.А. Дмитровская отмечает, что в творчестве А. Платонова слово «*тоска*» и его синонимы, вообще частотные в русском языке, употребляются чаще, чем обычно. Ссылаясь на Ю.И. Левина, она приводит результаты подсчетов по повести «Котлован», где даются только абсолютные величины, но интересно посмотреть на соотношение употребления слов одного поля. Так, *тоска* (с производными) употребляется 33 раза, *скука* – 35 раз, *печаль* – 22 раза, *горе* – 16 раз, *скорбь* – 8 раз, *уныние* – 7 раз [9: с. 41–42].

В произведениях А. Платонова, по мнению М.А. Дмитровской, значимость концепта «тоска» увеличена, подчеркнут ее философский и экзистенциальный смысл. Одной из явно выделяемых причин тоски у Платонова является отсутствие ответа на вопрос о смысле жизни, непроявленность смысла мира и человека. Это порождает зияющую пропасть между земным, разорванным, неполным существованием человека и его трансцендентным (полным, осмысленным) существованием. Поэтому вопросы и размышления героев о смысле мира и жизни (а также смерти, как ее оборотной стороны) сопровождаются чувством тоски. В произведениях Платонова тоскуют не только люди, но и животные, растения, вещи, предметы, природа, стихии, пространство.

На основе произведений русской литературы (А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.) Ю.С. Степанов собрал «черты образа русской тоски»: мокрый снег, желтый мутный; темнота; может быть огарок свечи, готовый погаснуть; теснота, давит что-то; тошнота, тошно; и тоска, и мысль о могиле. Внутренняя форма тоски – давление и удушение; отсюда образы тесноты: «комната узкая, тесная и низкая»; «где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто душил их, захрипели часы». Тоска связывается с желчью, смертью [24: с. 885].

А. Грахов [6] отмечает, что может показаться, что тоска по Родине особенно присуща русским. Особенность русской тоски по Родине, по мнению Грахова, неразрывно связана с особенностями исторической судьбы России. Во все времена. Сейчас, к примеру, для очень многих ее граждан это – тоска именно по прошлому. Плюс тоска по состоянию, которое могло бы быть, но его нет: богатство материальное и духовное – моральный, этический и эстетический достаток, достижению которых, оказывается, смогли помешать отдельные личности (и целые страны!) вследствие своих собственных пороков и комплексов. И – как, наверное, самая характерная особенность и отягчающий общее лихорадочное состояние симптом – тоска по будущему и по некой идее, которая смогла бы чудесным образом решить все проблемы, сделав это будущее возможным [6].

А.В. Андриенко считает, что русская тоска существует столько же, сколько существуют русские просторы и русская душа. Однако, по ее мнению, русская тоска является следствием не только степной шири, но вызвана и болью русского человека за все, что происходит с его страной, и осознанием себя причастным ко всему, что делается, думается и переживается в ней, а своих чувств – общими с чувствами соотечественников.

По мнению А.В. Андриенко, тоска и другие чувства – принадлежность внутреннего мира человека, они не могут быть изучены абсолютно «объективно», так как по сути своей глубоко субъективны. Кроме тоски общечеловеческой и тоски национальной, существует «индивидуальная тоска», вбирающая и общие составляющие, и неповторимые. Эта тоска воспринимается самим субъектом индивидуально, и сообщать о ней – что вероятнее всего в случае, если данный субъект – поэтическая личность, – он будет тоже совершенно по-своему, что справедливо также и в отношении адресата, воспринимающего поэтическое выражение тоски [2: с. 41].

Интересными, по мнению автора, являются словарные статьи, посвященные тоске, в «Словаре автобиографической трилогии М. Горького», в «Словаре языка Пушкина». На основе глубокого анализа контекста, приведенного в «Словаре автобиографической трилогии М. Горького» и использованного в качестве объемного иллюстрационного материала, дано следующее определение тоски: 1) чувство мучительной, невыносимой неудовлетворенности, томящего душу протеста ‖ Душевное страдание, боль по утрате ‖ Бередящее душу томление по чему-нибудь ‖ Томительное беспокойство;

2) тягостное томление от унылого, безрадостного существования, скука ‖ Душевное оцепенение, глубокое равнодушие ко всему;

3) гнетущая скука, унылость, нудность происходящего вокруг [17: с. 137–138].

В «Словаре языка А.С. Пушкина» тоска представлена как: Душевное томление, тревога в соединении с грустью и скукой / душевная, сердечная тоска, тоска души (тоска чего (вызванная чем-нибудь) // О состоянии того, кого томит скука, кому тоскливо [в значении сказ. безл. предлож. кому или без дополн. о том, что вызывает такое состояние] [21: с. 574].

В произведениях В. Высоцкого, по мнению В.П. Изотова, тоска имеет следующие значения: 1) тоска как скука; 2) тоска как бесшабашность;

3) тоска как тревога; 4) тоска как страдание, гнетущее чувство; 5) тоска как сожаление; 6) тоска как совокупность различных чувств [11].

Исследователь также выделяет тоску опредмеченную и олицетворенную, персонифицированную, являющую собой «сочетание чувства и предмета», «механизм», «жидкость», «тягучее вещество», а также состояние, обычно предшествующее разгулу. В.П. Изотов отмечает, что ему нигде не удалось найти обоснование цвета тоски, хотя выражение «тоска зеленая» достаточно частотно в разговорной речи [11: с. 9–11].

А.В. Андриенко продолжила исследование В. П. Изотова и составила такое представление о тоске в поэзии В. Высоцкого: 1) состояние – с тоски, от тоски, тоска по…; 2) среда – вещественная: в тоске, впасть в тоску; окружающая: у нас здесь тоска; пространство; 3) болезнь – как рукой снимет, сохнуть; 4) волны, флюиды – исходить тоской; 5) личная принадлежность человека – моя, Мишкина, красть; 6) живое существо: странное, фантастическое – змеиная, зеленая, ловкая (изловчась, прыгнула); подобно человеку – разумное (функция обращения, с императивом – просьбы в надежде, что поймет и выполнит), послать к черту; навязчивая женщина – приревновать, связался с ней, не желая; даже прыгнула (почти бросилась) на шею, как после разлуки – ждала; с другим переночуй. Тоска не только напоминает постылую женщину, от которой невозможно отвязаться, она подобна и самому герою; 7) часть самого героя, его второе Я. И по отношению к субъекту, и к тоске употребляется один и тот же глагол – сам себя бичую и не пикнет [тоска], как бичами ни бичуй. Не имеет значения, на кого воздействовать, – на грусть-тоску или на самого себя; 8) причина выпивки – с тоски по банке; 9) то, что может восприниматься слухом: звук – звенела, поется; 10) характеристика мира от сотворения, неотъемлемая часть космоса, творения и творца (сначала было Слово печали и тоски…) [2: с. 65–66].

На основе вышеизложенного А.В. Андриенко предлагает следующий состав «поля концептов», в которое помещена тоска: 1) духовность природы чувств; 2) теснота (физическая и внутренняя, духовная), преддверие, предощущение свободы, чувство («головокружение»), испытываемое на краю пропасти, бездны, перед падением; 3) направленность к высшему миру; 4) наполненность сознанием ничтожества, пустоты низшего мира; 5) одиночество перед лицом высшего мира; 6) богосознание; 7) оптимистичность; 8) богооставленность; 9) надежда; 10) спасение; 11) страдание [2: с. 37].

Следует обратить внимание на противоречивость составляющих концептосферы, которая создает напряженность внутри самого концепта: теснота – и свобода; падение в пропасть – и направленность к высшему миру; страдание – и спасение; духовность, богосознание – и богооставленность; страдание, бездна, одиночество – и оптимистичность.

Современные словари часто объясняют понятие тоски при помощи таких слов, как грусть, печаль, хандра, уныние. В то же самое время при объяснении этих понятий используется термин «тоска». Например, Большой толковый словарь русского языка дает такие определения: уныние – мрачное, подавленное состояние духа, чувство *тоски*, печали, скуки [4: с. 1390]; хандра – мрачное, *тоскливое* настроение, *тоска*, уныние [4: с. 1438].

Словарь синонимов предлагает следующие синонимы слову «тоска»: тоскливость, уныние, меланхолия, хандра, кручина [19: с. 557]. Новый объяснительный словарь в ряд синонимов включает следующие лексемы: тоска, уныние, печаль, грусть, меланхолия, хандра, сплин, депрессия; скорбь; скука; безнадежность, отчаяние; страдание; апатия [к уныние]; ностальгия; томление [к тоска]. В НОСС отмечены также дериваты: тоскливый, унылый, заунывный, печальный, грустный, тоскливо, печально, грустно; тосковать, истосковаться, унывать, приуныть, (о)печалиться, (о)печалить, грустить, взгрустнуться [15: с. 441–445]. Получается замкнутый круг: тоска объясняется посредством грусти, печали, уныния, хандры и т. п. и наоборот. Мы постараемся выявить разницу в этих понятиях.

Новый объяснительный словарь синонимов указывает ближайшими синонимами *тоски* слова «печаль» и «грусть», в то время как Словарь синонимов в 2 томах вообще не включает эти слова в синонимический ряд «тоски». Нам вслед за А.В. Андриенко ближе первая точка зрения, хотя бы потому, что именно эти лексемы используются для обозначения сложных наименований чувств: грусть-печаль, грусть моя, тоска моя и т. п. Лексемы «грусть» и «печаль» выражают концепты, которые сами по себе представлены исследователями культур как общечеловеческие и специфически русские (Вежбицкая, Степанов, Шмелев и др.). Они возводятся к мировой скорби и личной грусти, определяются как формы морального одиночества.

Рассмотрим этимологию слов русского языка, входящих в синонимический ряд «печаль» – *грусть*, *тоска* и *уныние*. Следует сразу указать, что в этимологических словарях последнему из них объяснение не дается.

Н.А. Красавский отмечает, что слово «*печаль*» (др.-рус. печаль), по М. Фасмеру, – дериват слова «*печа*». Изучив этимологические словари, он приходит к выводу, что современный номинант эмоции *печаль* генетически связан с понятиями попечения, заботы, что, как можно предположить, свидетельст-

вует об их причинно-следственных отношениях. Не исключено, что проявление заботы о другом человеке психологически сопряжено с переживанием определенной эмоции [12: с. 254].

Н.А. Красавский отмечает, что относительно полно в этимологических справочниках представлено происхождение слова «*грусть*», которое имеет своим производным ряд славянских глаголов «*грустить*», «*погрустить*», рус.-ц.-слав. *съгруститися* (загрустить), сербохорв. стар. *грустити* (тошнить), словен. *grustiti* (делать противным), *grustise mi* (меня тошнит) (ср. также со словен. *grust* – отвращение). Все эти слова исследователи связывают со словом *груда*, принимая во внимание словен. *skrb me grud i*-меня гнетет забота [12: с. 372].

В своей работе «Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах» Н.А. Красавский утверждает, что словом «грусть», обозначающим в современном русском языке конкретную эмоцию, ранее выражалось, по версии М. Фасмера, общее понятие заботы, обеспокоенности (груда), или же, согласно точке зрения А.Г. Преображенского, понятие неопределенной боязни, какой-то угрозы. В семиотическом пространстве русской лингвокультуры семантика слова сузилась, специализировалась на номинации эмоции. В современном русском языке слово *грусть* – моносемант [12: с. 152].

Слово «*тоска*» (др.-рус. *тъска* – стеснение, горе, печаль, беспокойство, волнение) не имеет подробного этимологического толкования. Известно только, что оно славянского происхождения: болгарское *тоскнщ* – тосковать, печалиться, ц.-слав. *сыпъснжти*, чеш. *teskny* – боязливый, *tesklivy* – пугливый, тоскливый. Некоторыми исследователями (Широкова и др.) утверждается, что этим словом выражалось понятие пустоты (тоска – > тощий). Сегодня оно употребляется в двух значениях – как обозначение эмоции и как номинация объекта, вызывающего соответствующую эмоциональную реакцию, эмоциональное отношение человека.

В начале XIX в. в русском языке появилось новое существительное, выражавшее понятие тоски или скуки – сплин. Заимствованное из английского (spleen), оно впервые, видимо, было введено в художественный текст Пушкиным в «Евгении Онегине». А.В. Алексеев отмечает, что поэт несколько раз употребил в «романе в стихах» чужое, иноязычное слово «сплин», так как последователи романтизма, к которым когда-то принадлежал и Пушкин, уделяли особое внимание изображению мира человеческих переживаний. Вместе с заимствованием литературных приемов и образов произошло заимствование русской поэзией этого слова. Следует отметить, что, помимо «романа в стихах», слово «сплин» не встречается больше ни в одном из художественных произведений Пушкина, мы встречаем только в одном из его писем [1].

Таким образом, *сплин* у Пушкина не только обозначает одно из основных чувств, владеющих Онегиным, но и указывает на нерусский, заимствованный характер такого эмоционального состояния: *английский сплин*. Следует отметить, что данное слово не распространилось в языке русской литературы и осталось особенностью романтической стилистики первой половины XIX века.

М.Ф. Мурьянов отмечает [14], что вместе со *сплином* в начале XIX в. появилось в произведениях литературы и другое существительное, противопоставленное *сплину* как русское, но столь же новое для языка поэзии и художественной прозы, *хандра*. Его первое упоминание в русской литературе выявил В.П. Степанов, указавший на стихотворение князя И.М. Долгорукова «Старинка», написанное не позже 1808 г.: «Печаль, как аспид, не сосала/ Души незлобивой моей,/ Хандра ума не посещала;/ О! – я и не знаком был с ней» [24: с. 162–163].

Чтобы понять историю этого слова, следует вспомнить о еще двух не очень употребительных существительных, имевших значение «подавленное состояние духа»: *меланхолия* и *ипохондрия*. Оба слова восходят к греческому языку. Melanholia (melas «черный» + hole «желчь») имело смысл «разлитие, переизбыток черной желчи» и «вызванная этим переизбытком болезнь: душевная угнетенность». Hypohondria (hypo «под» + hondros «грудная кость») значило «часть тела, орган, расположенный ниже грудной кости», а также «болезнь, развивающаяся в этом органе: подавленное состояние духа». Словарь Академии Российской давал следующее определение ипохондрии: «Ипохондрия. Греч. речен. врач. Есть степень меланхолии, и зависит от некоторых въ чревных внутренностях завалов, густою и притом острою кровию произведенных, от чего бывают боли, напыщение воздухов, судороги или корчи въ разных частях тела. Болезнь сия есть та же у мущин, что истерика у женщинъ» [18: с. 1156–1157].

В обоих случаях, по мнению А.В. Алексеева, формирование значения «душевная угнетенность» было обусловлено бытовавшими в средневековой медицине представлениями о тесной связи между физическим и психическим состояниями человека. Важно отметить, что и *сплин* восходит в конечном счете к греческому существительному *splen*, имевшему значения «селезенка» и «болезнь, связанная с душевной угнетенностью» [1] .

Из греческого «меланхолия» и «ипохондрия» перешли в средневековую медицинскую латынь, а в XVI–XVII вв. оказались заимствованы русским языком. В памятниках указанного периода они были представлены в различных орфографических вариантах (мелавхолия, меленколия, хипохондрия, похондрия, ипохондриум и т. д.) и употреблялись

как синонимы. Заимствование этих двух слов было связано с обогащением древнерусского понятия «скорбь, печаль, тоска».

А.В. Алексеев отмечает, что дальнейшая судьба двух существительных оказалась различной. Слово «меланхолия» распространилось в более широких контекстах и из естественно-научных сочинений проникло в сферу художественной литературы, где закрепилось в единственной форме, «меланхолия». В результате семантического взаимодействия с другими членами синонимического ряда (*горе*, *тоска* и др.) произошла смысловая трансформация слова: *меланхолия* стала обозначать чисто психическое, не имеющее отношения к физиологии явление; при этом исчезло указание на болезненность, патологический характер эмоции – развилось значение «легкая, незначительная печаль или тоска» [1].

Существительное «ипохондрия» не претерпело принципиальных смысловых изменений: осталось терминологическим обозначением определенного вида болезни. Однако в результате его вульгарной переделки в разговорном языке возникло новое слово – «хандра». Оно получилось из усеченного варианта исходного слова («похондрия»), из развившейся на его базе вторичной глагольной формы «похандрить». В литературный язык существительное проникло в начале XIX в., когда в творчестве Пушкина получил свое максимальное воплощение процесс демократизации языка, выразившийся, в частности, в пополнении синонимического ряда «печаль, скорбь, уныние» за счет народно-разговорной и народно-поэтической лексики.

Словарь языка Пушкина (2000) отмечает 19 случаев употребления «хандры», но большинство из них – 13 – приходится на различные письма поэта: он активно использовал слово в обычной речи, однако, считал не вполне еще допустимым и уместным его употребление в поэтических произведениях и в художественной прозе. Благодаря Пушкину смысл слова «хандра» в XIX в. заметно обогатился, произошло концептуальное наполнение лексического значения, существительное вступило в парадигматические отношения с членами различных синонимических рядов. Чаще всего хандра все же имела в литературе XIX в. стилистический оттенок разговорного слова [1].

Следует отметить, что и слово «меланхолия» приобрело в XIX в. особую стилистическую окраску, теперь уже не «сентиментальную», как прежде, а «романтическую». Слово стало указывать на такое душевное неудовольствие, которое присуще прежде всего персонажу, подверженному романтическим настроениям, на уныние или тоску, возникающие без видимых, существенных причин. И очень часто такая меланхолия рассматривалась уже как отрицательное явление [1].

Итак, «сплин» и «хандра», а также «меланхолия» и «ипохондрия» – все эти существительные служили средством выражения специфических понятий, порожденных той или иной «модной», актуальной для эпохи системой взглядов. В современном языке лексема *сплин* уже практически вышла из употребления. *Хандра* превратилась в стилистически нейтральное слово, однако, намного уступает в частотности таким существительным, как *печаль* или *тоска* (тот же смысл чаще передается глаголом *хандрить*). Достаточно редким словом остается и *меланхолия*.

М.Ф. Мурьянов отмечает [14], что одного лишь слова «*хандра*», даже употребленного троекратно, было бы недостаточно, чтобы обрисовать Онегина, сраженного недугом, во всех ситуациях. В лексической палитре Пушкина были для этой цели и другие слова. Среди них важнейшее место занимает *скука* со своими производными.

Слово «*скука*» и его производные не встречаются в русских памятниках письменности старше петровской эпохи. В феномене скуки есть неясности – понятийные и лексические. Были они и в пушкинское время, когда слово «*скука*» не дошло и до середины своего нынешнего возраста. Относительно его происхождения этимологи теряются в противоречивых догадках, обозначаемое им понятие имеет какие-то неуловимые границы, вряд ли стабильные во времени [14].

Если «*хандра*» и «*скука*» – слова новые, в допетровской Руси их не было, то как называлось в древнерусском языке соответствующее душевное состояние? Диахронических словарей восточнославянской синонимики пока не существует, поэтому М.Ф. Мурьянов обращается к средству, помогающему во многих случаях такого рода, – к данным библеистики. Он отмечает, что среди библеизмов «*скука*» и производные отсутствуют, нет их в языке патристики и гимнографии. Иначе говоря, церковь этими словами не пользовалась. Рождение слова «*скука*» – одно из лексических ухищрений эпохи Просвещения, направленное на то, чтобы выбить почву из-под ревнителей церковного благочестия, обличавших барские пороки. Войдя в систему имен, описывающих меланхолическое, бездеятельное состояние души, слово «скука» стало лазейкой: через нее ускользали от церковного покаяния и наказания за грех, который, будучи старым, как мир, теперь назывался по-новому – таким словом, какого нет в священных текстах, перечисляющих все предосудительное [14].

Слово «уныние» – с обновленным значением – входит в литературный язык в середине XVIII в. В 1755 г. А.П. Сумароков опубликовал в «Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащих» прозаическое сочинение «Сон» (возможно,

это перевод): «…Тихое увеселение, свойственное уединению спокойного нрава, проводило меня под сень древес, где я седши почувствовал некоторый род уныния, имеющий не знаю что-то в себе приятное; уныние такого спокойства, от коего Испытатели естества не удаляются, но сами его ищут» [10: с. 270]. Читатели отрывка – современники Сумарокова, по всей видимости, могли удивиться не только тому, что уныние характеризуется как «приятное», но и унынию как «спокойствию» и «тихому увеселению». Необычным было и то, что такое уныние – это состояние, к которому следует стремиться. Традиция церковно-славянского употребления слов «уныние», «унылый», наоборот, предполагала, что «уныние» – это состояние, которого следует избегать. Слово «унылый» имело значения «печальный, скорбный», «угрюмый», «склоняющийся к унынию, лености»; «уныние» – «печаль», «уныние», «вялость»; «небрежность, бесконечность», «расслабление, слабость» [23: с. 1233–1234].

Переход от «уныния скорбного» к «унынию приятному» в языковом сознании середины XVIII в. связан с новыми представлениями о любви. Ф. Эммин, известный писатель второй половины XVIII в., объяснял любовь как «болезнь, которой мы сами причиною находимся», о чем он пишет в своем романе «Приключения Фемистокла» (1763). Об унынии он пишет следующее: «уныние… есть действие испорченной крови, и оно не имея места в каналах кровных к центру крови, т. е. к сердцу подходит, и кругом оного обвивается, и делает в округ пустоту необыкновенную, чрез которую оно потребной охлады скоро принять не может; тогда и мысли несоответствующие с сердцем, своих обращений оному сообщить немощи, в пути сбиваются; и тогда в человеке рождается меленколия» [26: с. 131–133]. В духе этого описания можно утверждать: уныние и меланхолия – это заболевания, свойственные влюбленным или своего рода симптомы единой «болезни любви». Такое восприятие уныния и меланхолии, по-видимому, предшествовало осознанию их «приятности».

Н.А. Красавский, ссылаясь на Русский ассоциативный словарь, отмечает, что слово «*тоска*» ассоциативно связано со следующими понятиями: зеленая – 18, по дому – 12, по Родине – 8, грусть – 5, скука, черная – 3, берет, печаль, смертная, ужасная – 2. В качестве реакции она выступает по отношению к словам: зеленая – 18 , грусть – 15 , печаль, скука – 9, одиночество – 6, разлука – 5, мука – 5, жалость, мучение, сожаление – 3 [12: с. 411].

Слова «*печаль*», «*тоска*», «*грусть*», входящие в единый синонимический ряд, как можно видеть из приведенного тезаурусного материала, ассоциативно связаны друг с другом. Н.А. Красавский считает, что в «наивном» представлении русских они обнаруживают корреляции с другими эмоциями (скорбь, скука, сожаление, жалость, обида, сочувствие, гнев, радость, любовь), что вполне естественно: все эти эмоции принадлежат единой концептосфере.

Н.А. Красавский [12] отмечает антропоморфный характер печали. Она, подобно живому существу, может приходить и проходить. Родственная печали грусть также антропоморфна (ср. прийти, напасть, налететь, одолеть). Грусть русским этносом мыслится как нежелательное переживание (разлука, слезы, обида и т. п.). Она может вызываться изменениями погоды (дождь), сменой времени года (осень). Грусть, как и печаль, градуируется: она может быть легкой и большой. Причинами появления грусти могут быть расставание с другим человеком, одиночество.

Аналогичными характеристиками, по его мнению, обладает и тоска. Однако он указывает, что особенностью тоски является тот факт, что она, во-первых, ассоциативно связана с цветовым спектром – «зеленая» (максимальный коэффициент 18) и негативным черным цветом (релевантный коэффициент 3) и, во-вторых, она активно корреспондирует с понятиями смерти, ужаса, душевной муки.

Русская печаль имеет вкусовые (горькая) и цветовые характеристики (светлая). В русском сознании ее переживание связано с четко выраженной негативной оценкой (плохое чувство). Иными словами, данная эмоция по сравнению с другими базисными эмоциями (страх, гнев, радость) оказывается для русских психологически наиболее актуальной.

Самое неприятное и тяжелое из синонимического ряда *тоски*, по мнению НОСС, – это само слово «тоска». Она воспринимается как физическая боль, иногда даже как болезнь. Способность слова «тоска» употребляться с глаголами в настоящем, прошедшем и будущем времени, например, «у него тоска; будет тоска; у него тогда была тоска», и выражение «у него тоска», которое похоже на «у него ангина», сближают его с названиями болезней. Это же демонстрируют такие сочетания как «мучительная, невыносимая, нестерпимая тоска», «острая, жгучая тоска», «глухая, тупая, тяжелая тоска» [15: с. 442].

В ходе данного исследования мы пришли к выводу, что составляющие концептосферы ТОСКА имеют амбивалентную природу и представлены биполярными значениями: теснота – свобода; падение в пропасть – направленность к высшему миру; страдание – спасение; богосознание – богооставленность; надежда – страх; одиночество – любовь, ужас смерти – обретение себя и др. Основными каузаторами и объектами тоски являются: «тоска по родине», «тоска по правде», «тоска по близким людям»; страх, конфликт между жизнью чело-

века и трансцендентным, стремление к целостности и свободе; утраты (близкого человека, надежды, смысла жизни и ее ценности).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алексеев, А.В.* Английский сплин или русская хандра [Электронный ресурс] / А.В. Алексеев. – Режим доступа: http://www.mhpi.ru/tutor/pages/alekseev/articles/spleen.php.
2. *Андриенко, А.В.* Концепты русской культуры в поэтическом творчестве В.С. Высоцкого: между тоской и свободой: дис. … канд. филол. наук / А.В. Андриенко. – Владивосток, 2003. – 296 с.
3. БАС – Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. – М.-Л. : АН СССР, 1950–1965. – Т. 15, 1963.
4. Большой толковый словарь русского языка: А–Я / Рос. Акад. наук, Институт лингв. исслед; авт. и рук. проекта, сост., гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 1998. – 1534 с.
5. *Виноградова, В.Л.* О методе лексикологического изучения текста «Слово о полку Игореве» / В.Л. Виноградова // Вопросы языкознания. – 1978. – № 6. – С. 96.
6. *Грахов, А.* Человек ищущий [Электронный ресурс] / А. Грахов // Сибирские огни. – № 4, апрель 2004. – Режим доступа: http://www.sibogni/ru/archieve/34/385/
7. *Даль, В.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4 / В. Даль. – М. : Русский язык, 1998. – 688 с.
8. *Димитрова, Е.В.* Трансляция эмотивных смыслов русского концепта «тоска» во французскую лингвокультуру: автореф. дис. … канд. филол. наук / Е. В. Димитрова. – Волгоград, 2001. – 16 с.
9. *Дмитровская, М.А.* Семантическое поле «тоска» и «скука» в произведениях А. Платонова / М.А. Дмитровская // Семантические единицы русского языка в диахронии и синхронии: сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский университет, 2000. – 237 с.
10. Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. – СПб., 1755, март. – С. 270.
11. *Изотов, В.П.* Высоцкий и рубеж тысячелетий : сборник статей / В.П. Изотов. – Орел, 2000. – 56 с.
12. *Красавский, Н.А.* Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: монография / Н.А. Красавский. – Волгоград : Перемена, 2001. – 495 с.
13. *Лямин, А.Б.* Кластер «тоска» в русском фольклоре / А.Б. Лямин // Лингвофольклористика I: сб. науч. статей. – Курск : КГПУ, 1992. – 75 с.
14. *Мурьянов, М.Ф.* Онегинский недуг / М.Ф. Мурьянов // Вестник Российской Академии Наук.– М., 1995. – Т. 65. – № 2. – С. 153–163.
15. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина ; под общ. рук. Ю.Д. Апресяна; Рос. Акад. Наук. Институт рус. языка им. В.В. Виноградова. – 2-е изд., испр. – М. : Языки русской культуры, 1999. – Вып. 1. – 552 с.
16. *Пушкин, А.С.* Евгений Онегин. Роман в стихах / А.С. Пушкин; вступ. статья П.Г. Антольского; Ил. В. Свитальского. – М. : Худ. литература, 1984. – 255 с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека).
17. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – Вып. 6. – Т. 2. – С. 137–138.
18. Словарь Академии Российской. Ч. 2. – СПб., 1809. – С. 1156–1157.
19. Словарь синонимов русского языка. В 2 т. Т. 2. О–Я / гл. ред. А.П. Евгеньева. – Л. : Наука, 1971. – 856 с.
20. Словарь-справочник «Слово о полку Игореве» / сост. В.Л. Виноградова. – Л. : Наука; Ленинградское отделение, 1984. – Вып. 6. – 278 с.
21. Словарь языка Пушкина. В 4 т. Т. 4. / отв. ред. акад. АН СССР В.В. Виноградов // Рос. Академ. наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградов. – 2-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 2000. – 1232 с.
22. Слово о полку Игореве / вступ. ст. и подготовка древнерусского текста Д. Лихачева; сост. и коммент. Л. Дмитриева. – М. : Худ. литература, 1987. – 222 с.
23. *Срезневский, И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка / И. И. Срезневский. – Т. 1–3. Т. 3. – СПб., 1895–1903. – С. 1233–1234.
24. *Степанов, Ю.* Константы: Словарь русской культуры / Ю. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академический проект, 2001. – 990 с.
25. *Черных, П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка / П.Я. Черных. В 2 т. Т. 2: 13560 слов. – М. : Русский язык, 1993. – 560 с.
26. *Эммин, Ф.* Приключения Фемистокла. Ч. 1–2 / Ф. Эммин. – СПб., 1763. – С. 131–133.

ЯЗЫКОВЫЕ КОРПУСА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)*

В.Л. Завьялова

Завьялова Виктория Львовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры фонетики английского языка, докторант Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).

Контактный адрес: zavyal@mail.ru

В статье освещаются вопросы создания и использования языковых корпусов, рассматривается специфика корпусов звучащей речи с точки зрения вариативности способов представления фонетической информации. Делается акцент на необходимости использования ресурсов речевых корпусов (фонетической информации) в обучении фонетике/фонологии, а также при проведении комплексных многоуровневых исследований в фонологии и сравнительно-сопоставительном языкознании. В качестве примера рассматривается практическое использование корпуса речевых образцов английской речи носителей русского и восточных языков в обучении фонетике и переводу, а также в исследованиях, связанных с описанием фонетических систем мировых разновидностей английского языка и с проблемами освоения иностранного языка.

Ключевые слова: языковые корпуса, корпуса звучащей речи, фонетическая информация в речевом корпусе, использование в обучении фонетике / фонологии, применение в научных исследованиях.

Корпусный подход (*Corpus-Based Approach*) – относительно новый метод в лингвистических исследованиях, однако, уже невозможно представить современную лингвистику без обращения к массивным текстовым корпусам, представленным в сети Интернет. В корпусном методе во главу угла ставятся прикладные аспекты изучения языка, его функционирование в реальных коммуникативных ситуациях, что позволяет изучать тексты большой представительности как в отношении вариативности употребления языковых единиц, так и с точки зрения специфики различных жанров и стилей [1; 2].

Большинство исследователей едины в определении термина «языковой корпус» как представительного набора текстов в электронной форме, снабженных определенной разметкой (аннотацией) [10]. По мнению В.П. Захарова, лингвистический или языковой корпус текстов – это большой, представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач [4]. О.Ф. Кривнова полагает, что языковые ресурсы или корпуса создаются в виде больших наборов лингвистических данных и описаний, представленных в электронном виде и специально организованных для разработки, совершенствования и оценки систем и алгоритмов обработки речевого и языкового материала в технологических приложениях [5]. Однако некоторые авторы считают возможным называть корпусом любой набор электронных текстов, сопровожденных аннотацией, независимо от их количества [7].

Своим рождением в шестидесятых годах 20-го столетия корпусная лингвистика обязана появлению компьютера и разнообразных компьютерных программ, представляющих собой многофункциональные текстовые редакторы разного рода. Первым языковым корпусом считается так называемый американский брауновский корпус [6]. Мощным фактором развития этого нового направления послужило также существование внутренних потребностей теории и практики языка. На сегодняшний день общепризнано, что корпусы текстов являются действенным средством для изучения языка и проведения лингвистических исследований. Методы корпусной лингвистики применимы в практике обучения и при проработке теоретических аспектов таких областей лингвистической науки, как лексикология, фразеология, морфология, фонетика и фонология, синтаксис, семантика, прагматика и т. д. Корпуса позволяют получить статистические данные относительно частотности употребления тех или иных языковых единиц, их сочетаемости, а также грамматических конструкций в текстах разных жанров. Более того аннотация или разметка текстов в составе корпуса несет дополнительную метатекстовую информацию.

В настоящее время в сети Интернет размещено множество электронных корпусов текстов на русском и иностранных языках. Самым известным в мире до сих пор признается созданный в 90-е годы XX в. Британский национальный корпус английского языка (*BNC*). При подготовке и проведении

* Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (ГК-П733).

занятий в распоряжении преподавателя иностранных языков сегодня имеются ресурсы Национального корпуса русского языка, BNCS, The Longman Corpus, корпусы новостей CNN, BBC, электронные архивы газет и журналов (*The Economist, The Times, China Daily*), специализированные корпуса для изучения иностранных языков (*Learner corpora around the world*).

Несмотря на то, что достижения зарубежных исследователей в плане создания и использования языковых корпусов, а также применения методов корпусной лингвистики признаются перспективным направлением в области лингвистических исследований и преподавания иностранных языков, в Российском языкознании они до сих пор не находят должного приложения.

На современном этапе развития корпусной лингвистики наблюдается поворот к исследованию устной речи. Так как в лингвистике устная форма функционирования языка всегда признавалась первичной и определяющей, большинство лингвистических описаний до недавнего времени основывалось на материале письменных текстов. Актуальность анализа реальных речевых явлений в контексте естественных коммуникативных условий не вызывает сомнения. Однако формирование корпусов таких явлений становится возможным только при условии привлечения новейших достижений в области информационных и речевых технологий. По мнению О.Ф. Кривновой, создаваемые сегодня корпуса звучащей речи, в иной терминологии – речевые базы данных, представляют собой «важнейший тип языковых ресурсов» [5: с. 81]. Речевой корпус – это структурированная совокупность речевых фрагментов, которая обеспечена программными средствами доступа к ним. Речевой фрагмент как базовая единица корпуса представляет собой оцифрованный фрагмент речевого сигнала, который сопровождается ассоциированной информацией определенного типа. Исследователь отмечает, что создание речевых корпусов было вызвано потребностями в речевой информации при проведении исследований по разработке программ автоматического распознавания речи. Именно в этой сфере исследователям приходится сталкиваться с огромной акустической вариативностью звуковых единиц языка, вызванной различными факторами: контекстной вариативностью вследствие законов коартикуляции, психофизиологическим состоянием говорящего, техническими характеристиками звукозаписывающего устройства, фоновыми шумами и т. д. [5].

В настоящее время интерес к созданию речевых баз данных сохраняется вследствие сохранения потребности в исследованиях по автоматическому синтезу речи. В рамках современного подхода, при осуществлении синтеза речи по тексту используется принцип конкатенации акустических фрагментов разной размерности, которые задействуются из массивных речевых корпусов [15]. Конкатенация представляет собой сцепление /склеивание объектов линейной структуры, т. е. предполагает последовательное соединение соответствующих звуковых сегментов, извлекаемых из звукового корпуса. Специалисты считают, что корпусной подход (*corpus-based approach*) является определяющим для развития технологий синтеза, особенно при моделировании просодических характеристик речи и индивидуальных особенностей говорящего. При этом следует отметить недостаточно высокий уровень разработок в области синтеза русской речи, по сравнению с уровнем моделирования речи на английском языке (см., например, опцию озвучивания текста в программе *Google переводчик*).

Помимо потребности в совершенствовании программ синтеза речи по тексту, существует необходимость в использовании ресурсов многоуровневых речевых корпусов при решении ряда других научных задач, связанных с анализом и описанием звучащей речи на разных языках. Речевые корпуса используются как для чисто научных, так и для прикладных исследований. Подобные базы данных содержат электронно-информационные ресурсы для проведения фундаментальных исследований языков мира. Речевые корпуса содержат богатейшие источники данных о произносительной вариативности в том или ином языке, а также в разных речевых стилях. В структуру корпусов могут входить звуковые файлы, представляющие собой образцы подготовленной речи (чтение письменного текста вслух), квази-спонтанной речи (сообщение на заданную тему), спонтанной речи (дружеские беседы, деловые встречи) и др. Так, создаваемый в Дальневосточном федеральном университете корпус разновидностей английского языка, функционирующих на Дальнем Востоке России и в странах АТР (*RACE – Russian-Asian Corpus of English*), включает образцы английской речи, звучащей на международных экономических, политических, образовательных и культурных форумах, проводимых на Дальнем Востоке России и в странах АТР, в деловых переговорах, в учебной среде и других ситуациях межкультурного и межъязыкового общения [3].

Обязательным условием создания корпусов устной речи является составление транскрипции звукового файла и/или его разметки. В существующих речевых базах данных английского языка звуковые файлы транскрибируются, как правило, согласно принятым конвенциям (*mark-up conventions*). Традиционно звуковой файл сопровождается орфографической записью в текстовом формате, внутри которой приводится определенная разметка или вводится гиперссылка с указанием адреса разметки. Условные обозначения, используемые в разметке, разъясняются в отдельно

прилагаемом файле. Выбор тех или иных категорий разметки для транскрибирования определяется целями создания базы данных. Так, Венско-Оксфордский корпус английского языка (*VOICE – Vienna-Oxford International Corpus of English*) разрабатывался с целью обеспечения общей базы для изучения коммуникации на английском как лингва франка на всех языковых уровнях. В силу того, что главной задачей разработчики ставили сохранение баланса между теоретическими потребностями, методологическими соображениями и ограничениями практического характера [11], в разметке данного корпуса выделяются 24 категории транскрипционной разметки, включающие широкий спектр маркеров: от идентификации говорящего (*Speaker IDs*) – *S1, S2, SS*, интонационных вариаций (*Intonation*) – *?*, ., до невербальных реакций (*Non-verbal feedback*) – *<nods>*, *<shakes head>* и контекстуальной информации (*Contextual effects*) – *{mobile rings}*, *{S7 enters room}* (рис. 1).

В случае если база данных создается для учебно-образовательных целей, предполагающих проведение студентами фонетических исследований, то при транскрибировании зачастую используются программы анализа речевого сигнала, в которых аннотация осуществляется на базе системы международного фонетического алфавита (*International Phonetic Alphabet – IPA*). В обучающем корпусе китайского английского ESCCL [12], например, применяется компьютерная программа PRAAT[1], позволяющая проводить многоуровневую сегментацию и разметку визуализованного речевого сигнала. Ниже представлен пример транскрипции в указанном корпусе, выполненной на шести ярусах и представляющей собой комбинацию Британской и Американской систем аннотирования интонационных явлений (Prehead ¨*Head* ¨*Nucleus* – *Tail* и *ToBI* соответственно) (рис. 2).

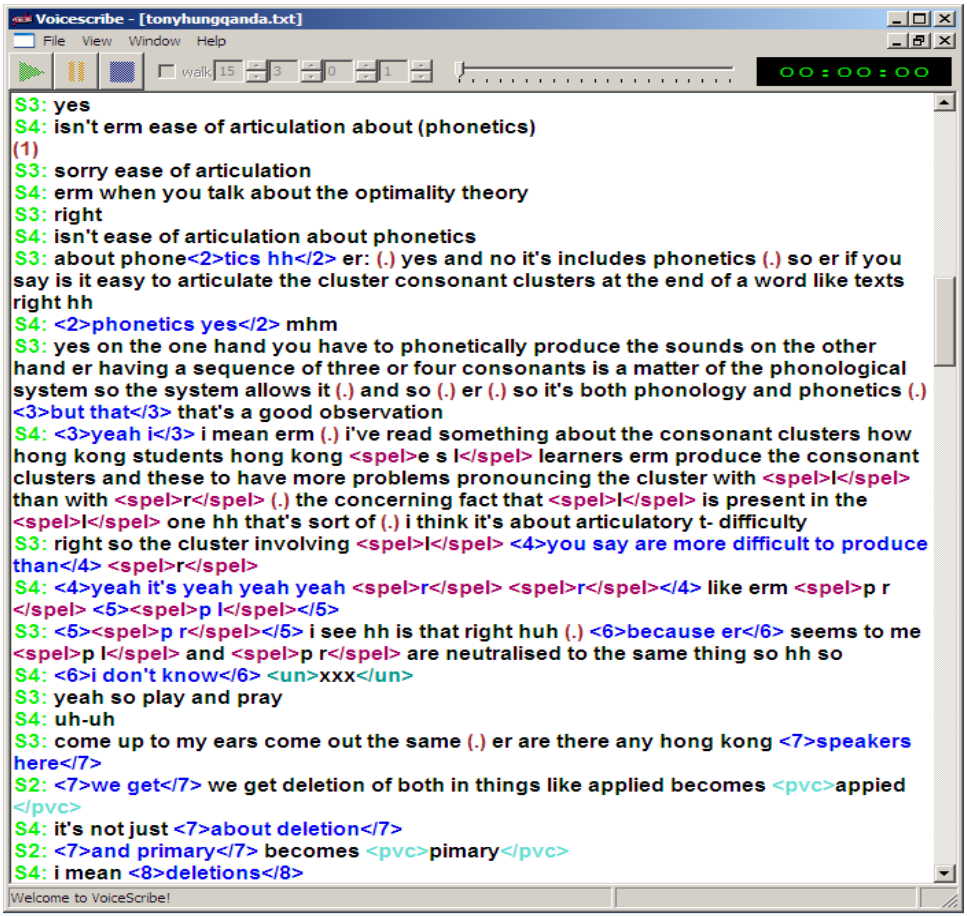

Рис. 1. Пример транскрипции / аннотации текста в базе данных VOICE с использованием авторской программной оболочки VoiceScribe

[1] PRAAT – программа для фонетистов, находящаяся в режиме свободного доступа [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.praat.org

В речевом корпусе RACE (ДВФУ) используется комплексная модель транскрипции звуковых образцов, включающая маркирование системой символов в орфографической записи, транскрипцию фрагментов с использование символов международной фонетической ассоциации, а также многоуровневое сегментирование и транскрибирование отдельных фраз с использованием программы PRAAT [3] (рис. 3).

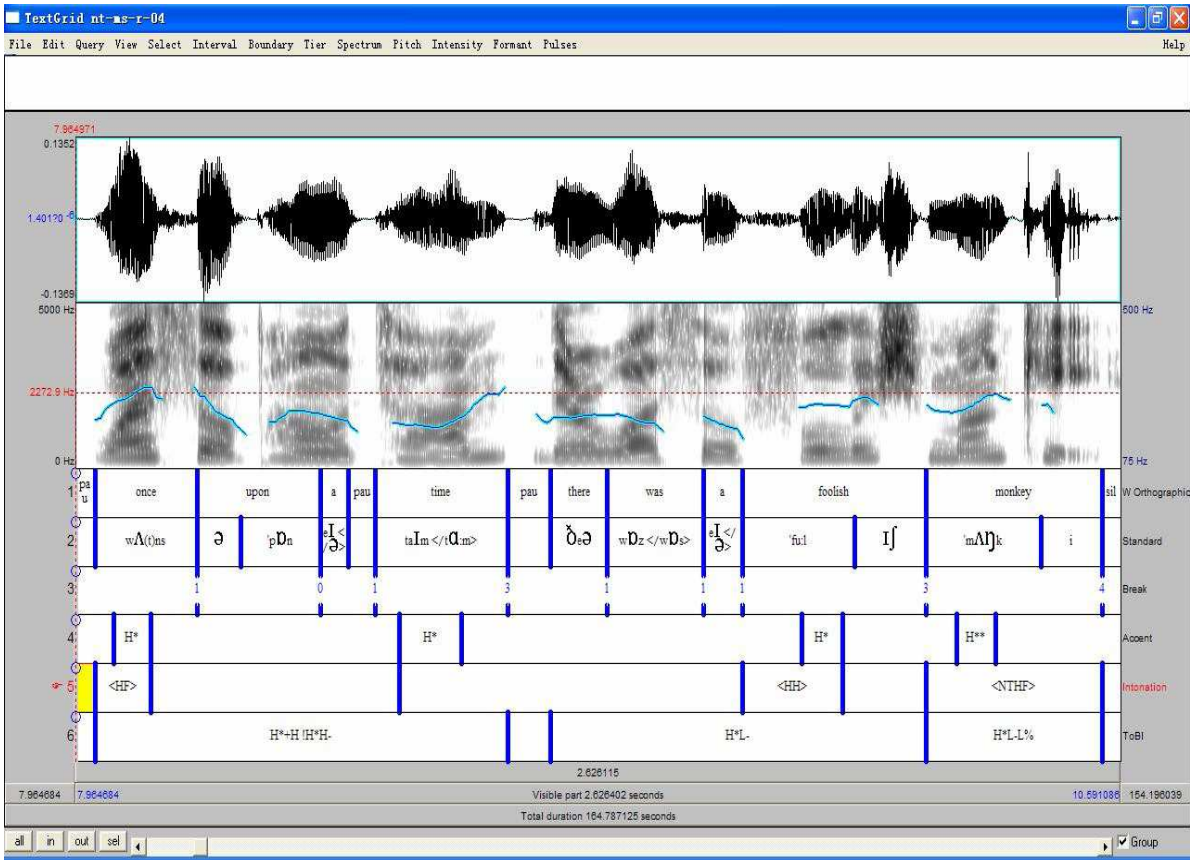

Рис. 2. Пример транскрипции в корпусе ESCCL с применением программы PRAAT

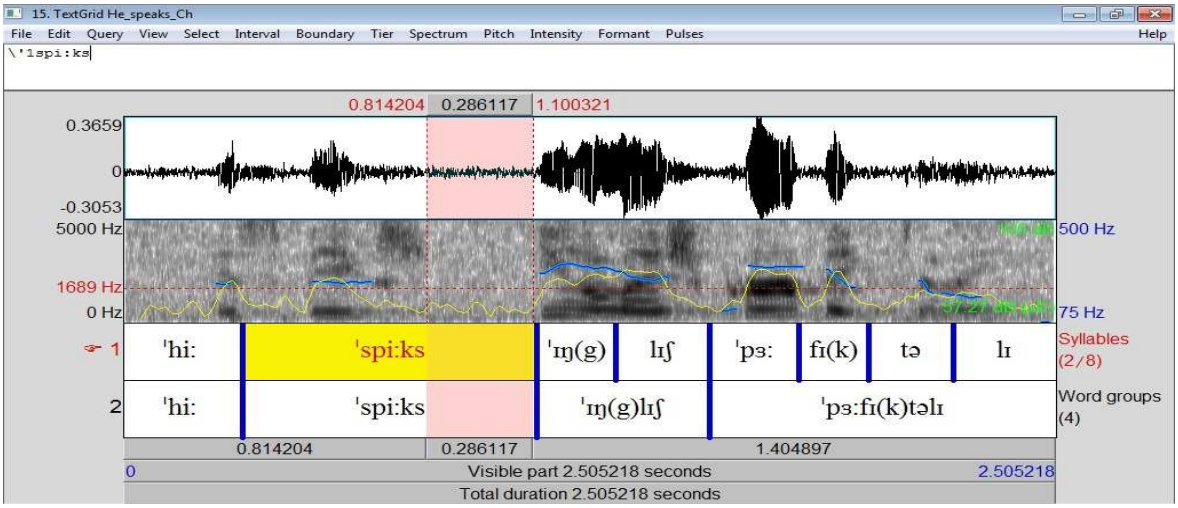

Рис. 3. Пример транскрипции фразы в корпусе RACE с применением программы PRAAT (китайский английский). S1Ch: *He speaks / English perfectly*

Применение программы PRAAT в базе данных RACE позволяет систематизировать многоуровневые дескрипторы произносительной специфики основных региональных вариантов английской речи, а значит описать весь комплекс характеристических фонетических и просодических признаков последних (на сегментном и супрасегментном уровне).

Транскрипция звуковых файлов баз данных представляет особую ценность для фонологов, изучающих произносительные закономерности и вариативность акустической информации. Значимость речевых корпусов для развития теории фонетики и фонологии подтверждается исследованиями Д. Принслоо и Дж. Де Шривера в области языков Африки [13]. Авторы отмечают, что корпусная фонетика (*corpus-based phonetics*) открывает новые перспективы фонетических исследований [13: с. 112]. Лингвисты отмечают возможность использования новых методик выделения инвентаря базовых фонетических единиц того или иного языка. Традиционно, фонетические исследования осуществлялись исключительно для проведения фонологического анализа. Совсем недавно фонетические исследования стали проводится в целях получения результатов для сравнительной характеристики звуковых систем различных языков. Говоря о некорректности этноцентрического подхода к изучению фонетических явлений (традиционно описание фонетической системы языков мира ведется по аналогии с ранее описанными системами европейских языков) и необходимости исключению случайного фактора (*random factor*), исследователи предлагают не переносить обобщения, сделанные для одного языка, на другой язык, а подходить к исследованию каждого отдельного языка эмпирически, т.е. снизу-вверх (*corpus-based phonetics from below*) [13].

Ресурсы речевых баз данных необходимы также экспертам различных областей знания, включая специалистов, занимающихся вопросами слухового распознавания речи, психолингвистов, социолингвистов, исследующих вопросы влияния возрастных и гендерных факторов произносительной вариативности, а также компьютерных инженеров, которые изучают влияние фонетической вариативности на автоматическое распознавание речи.

В настоящее время корпусы устных и письменных текстов успешно применяются при обучении иностранному языку и в лингвистической педагогике. Использование корпусного подхода для преподавания языка демонстрирует высокую эффективность в мировой практике, поскольку методы лингвистического исследования языковых корпусов ориентированы на прикладное изучение языка, с учетом его функционирования в реальных средах и текстах. Актуальным в последнее время стало применение в переводческой практике и в методике обучения студентов межъязыковому переводу специализированных учебных корпусов, в частности, параллельных текстов (*Learner Parallel Corpora*) [8; 9]. В корпусах такого типа текст на одном языке выравнивается с текстом его перевода на другой язык по предложению. В качестве примера можно привести обширный набор параллельных текстов на русском и английском языках (англо-русский параллельный корпус), представленных в составе Национального корпуса русского языка. Важно отметить, что ресурсы параллельных корпусов представляют большую ценность не только при обучении переводу, но и при проведении многоплановых исследований в области лингвистической типологии.

Корпусы устных текстов наиболее широко используются для обучения фонологии [16]. Еще в 1984 г., под руководством И. Мэдисона в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес, была разработана крупнейшая база данных звуковых моделей, содержащая инвентарь фонем 317 языков мира – UPSID (акроним соответствует названию проекта – *University of California LA Phonological Segment Inventory Database*) [14]. Составление электронных произносительных справочников – один из многообразных способов применения ресурсов речевых корпусов в области преподавания и обучения иностранным языкам. Учащиеся могут совершенствовать навыки владения языком быстрее, если в их распоряжении имеются образцы звучания наиболее употребительных слов, словосочетаний и клишированных фраз. Так, особую актуальность сегодня имеет проведение фундаментальных фонетических исследований мировых разновидностей английского языка с целью определения особенностей их звучания и использования результатов для расширения перцептивной базы специалистов-коммуникантов в сфере международного общения. Создание в ДВФУ информационной системы и электронной базы данных азиатских произносительных разновидностей мирового английского языка (включая русский английский) (RACE), находящейся в стадии разработки с 2010 г., позволит разработать мультимедийный справочник по произносительным разновидностям английской речи для студентов, аспирантов,

переводчиков и всех изучающих английский язык [3].

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что достижения в области корпусной лингвистики способствуют развитию лингвистической теории в целом. Ресурсы корпусов устных и письменных текстов находят все большее применение в лингвистической педагогике и в практике научных исследований, проводимых в различных областях знаний. Особая роль отводится речевым корпусам, сопровождаемым специальной фонетической разметкой, при обучении фонетике/фонологии, а также при проведении комплексных многоуровневых исследований в фонологии, сравнительно-сопоставительном языкознании, лингвистической типологии. Корпусы параллельных текстов незаменимы при обучении переводу. Кроме того, внедрение методов корпусной лингвистики в образовательный, научно-исследовательский и инновационный процессы в российских вузах способствует освоению студентами современных мировых технологий, а значит подготовке компетентных пользователей информации, владеющих методами многоаспектной информационной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Асиновский, А.С.* Полевая лингвистическая практика : учебно-методический комплекс сложной структуры (УМК СС) / А.С. Асиновский [и др.]. – Ч. 1. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 98 с.

2. *Асиновский, А.С.* Полевая лингвистическая практика : учебно-методический комплекс сложной структуры (УМК СС) / А.С. Асиновский [и др.]. – Ч. 2. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 113 с.

3. Корпус образцов английской речи ДВ России и стран АТР: Russian-Asian Corpus of English (RACE) [Электронный ресурс] : база данных / сост. В.Л. Завьялова, С.А. Горбенко, Л.П. Бондаренко, М.А. Полянская, Н.Л. Ищенко; Свидетельство о государственной регистрации базы данных в Реестре баз данных РФ № 2011620408 от 01.06.2011. – М., 2011.

4. *Захаров, В.П.* Корпусная лингвистика : учеб.-метод. пособие / В.П. Захаров. – СПб. : Издательство СПбГУ, 2005. – 48 с.

5. *Кривнова, О.Ф.* Области применения речевых корпусов и опыт их разработки / О.Ф. Кривнова // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации : сб. трудов XVIII сессии Российского акустического общества. – Т. 3. – М. : ГЕОС, 2006. – С. 81–85.

6. *Плунгян, В.А.* Зачем мы делаем Национальный корпус русского языка? [Электронный ресурс] / В.А. Плунгян // Отечественные записки. – 2005. – № 2. – Режим доступа: http://www.lekcion.narod.ru/articles/philology/linguistics2/plungyan-05.html.

7. *Плунгян, В.А.* Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов [Электронный ресурс] / В.А. Плунгян. – Стенограмма лекции в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру», 2009 – Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html.

8. *Соснина, Е.П.* Использование компьютерных конкордансов при обучении иностранным языкам / Е.П. Соснина // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов XXXV научно-технической конференции. – Ч. 3. – Ульяновск, 2001. – 67 с.

9. *Соснина, Е.П.* Электронные корпусы в языковом обучении [Электронный ресурс] / Е.П. Соснина. – Режим доступа: http://ling.ulstu.ru/linguistics/resourses/literature/articles/corpus_linguistics_language_teaching/.

10. Что такое Корпус? [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Национального корпуса русского языка. – Режим доступа: www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html.

11. *Breiteneder, A.* "VOICE recording – Methodological challenges in the compilation of a corpus of spoken ELF" / A. Breiteneder, M.-L. Pitzl, S. Majewski, T. Klimpfinger // Nordic Journal of English Studies. – 2006. – № 5/2. – P. 161–188.

12. *Chen, H.* A Learner Corpus – ESCCL / H. Chen, Q. Wen, A. Li // Speech Prosody 2008. – Campinas, Brazil, 2008. – P. 155–158.

13. *Prinsloo, DJ.* Corpus applications for the African languages / DJ. Prinsloo, G-M. de Schryver //Southern African Linguistics and Applied Language Studies. – Pretoria : NISC Pty Ltd, 2001. – № 19. – P.111–131

14. *Maddieson, I.* Patterns of Sounds [Electronic resource] / I. Maddieson. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984. – 432 p. – Available at: http: //www.linguistics.rdg.ac.uk/staff/Ron.Brasington/UPSID.interface/Interface.html.

15. *Hunt, A.* Unit selection in a concatenative speech synthesis system using a large speech database / A. Hunt, A.W. Black // ICASSP-96. – 1996. – Vol. 1. – P. 373–376.

16. *Hume, E.* Corpus-Based Phonology: Exploring Phonological Variation In Conversation / E. Hume // Presentations at Mid-West Conference on Phonology. – University of Iowa, MCWOP, 2001. – 8 p.

Список рекомендуемых корпусов

1. Национальный корпус русского языка – http://ruscorpora.ru/.
2. Англо-русский параллельный корпус – http://ruscorpora.ru/search-para.html.
3. English as a Lingua Franca in Academic settings (ELFA), English department of Tampere University, Finland – http://www.uta.fi/laitokset/kielet/engf/research/elfa/.
4. British National Corpus – http://www.natcorp.ox.ac.uk /getting/sampler.html
5. The Longman Corpus – http://www.longman.com/ dictionaries/corpus/lccont.html.
6. LIMAS Corpus – http://www.ikp.uni-bonn.de/Limas.
7. Michael Barlow ParaConc: A Parallel Concordancer – http://paraconc.com/.
8. Learner corpora around the world – http://www.uclouvain.be/en-cecl-lcWorld.html.
9. Speech Resources Consortium, «UME-ERJ English speech database read by Japanese students» – http://research.nii.ac.jp/src/eng/list/index.html.
10. ViC (Variation in Conversation) – Corpus of Conversational English http://buckeyecorpus.osu.edu/.
11. Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE) – http://www.univie.ac.at/voice).

ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КИНОТЕКСТЕ*

Т.А. Иванкова

Иванкова Татьяна Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).

Контактный адрес: ivatanya@rambler.ru

В настоящей статье с позиций социолингвистики и лингвоконтактологии характеризуются статус английского в Индии и его роль в кинопроизводстве страны. Поскольку фильмы, снятые в Болливуде, в основном предназначены на экспорт, английский язык Индии становится важным средством межкультурной коммуникации как со странами Азии, так и всего мира и нуждается в лингвистическом описании. В данной работе классифицируются и анализируются лексические черты индийского варианта английского языка на материале субтитров к кинофильму.

Ключевые слова: вариант английского языка, языковые контакты, кинотекст, индийский английский.

Вариативность английского языка вследствие его распространения в мировом масштабе и функционирования в различных культурно-языковых сообществах уже в течение нескольких десятилетий является объектом анализа российских и зарубежных лингвистов.

Рассматривая предпосылки становления вариантологии языка как направления социолингвистики, О.А. Домашнев писал о том, что «…неидеентичность языка при наличии двух или более национальных носителей привела языкознание к признанию вариативности такого языка, что, в свою очередь, выявило необходимость определения этой системы, обладающей устойчивостью и перспективой, как национальных вариантов языка» [1]. При этом, по определению Г.В. Степанова и О.А. Домашнева, «…национальным вариантом языка является форма приспособления единого литературного языка как к традиции, так и к современным потребностям нации, т. е. национальный вариант является особой формой функционирования единого языка» [1; 10].

Конституция Индии с 1930-х гг. признаёт английский язык вторым официальным языком государства (Associate official language) [21], наряду с хинди, который также является официальным языком. Английский сосуществует с национальными языками (хинди, урду, марати, тамильским языком и др.).

По классификации Н.Б. Никольского, предлагающей, в частности, различать функциональные типы языковых образований по вхождению в те или иные сферы коммуникации, английский язык в Индии представляет собой заимствованный макропосредник, поскольку «это язык бывшего колониального управления, который является национальным языком в современном развитом государстве» [2]. Профессор Никольский отмечает, что характерной чертой заимствованных языков-макропосредников является то, «…что в данной стране язык-макропосредник не выполняет максимального количества коммуникативных функций. Он не имеет в стране этнической базы, т. е. социально-этнической общности, которая использует его во всех формах общения» [2]. Его наблюдения о том, что такой язык «…находит опору в определённых социальных слоях, преимущественно в верхушечных слоях местного общества и среди интеллигенции» [2], совпадают с описанием функционирования индийского варианта английского языка, данного Б. Качру, который указывал, что в Индии английский язык широко используется во всех сферах жизни людей высшего класса, элиты [18].

Американский исследователь индийского происхождения Брадж Качру выделил индийский вариант наряду с другими новыми вариантами и разновидностями английского языка. Вместе со своими сподвижниками и учениками Ларри Смитом, Ямуной Качру, Сесилом Нельсоном и др. профессор Качру создал научную школу лингвоконтактологии, под которой понимается «учение о связи и взаимодействии различных языков в определенный период становления общества, особое внимание уделяющее взаимодействию английского языка и других контактирующих с ним языков планеты» [6]. Новые формы английского языка, возникающие в результате распространения в мире и влияния автохтонных языков на его систему, Б. Качру обозначил как *«World Englishes»* [16]. З.Г. Прошина, разрабатывающая парадигму контактной вариантологии английского языка в российском языкознании, предложила именовать подобные языковые образования «региональными вариантами и разновидностями английского языка» [5; 8].

* НИР проводится в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.

В Индии, где насчитывается более полутора тысяч языков при численности населения более миллиарда [22], билингвизм или мультилингвизм воспринимаются как абсолютно нормальное явление. Многие индусы владеют, как минимум, тремя языками, причём английский язык является наиболее престижным и играет важную роль в образовании, науке, политике. Региональные языки Индии функционируют в местном образовании, правительстве и СМИ; диалекты занимают самую низкую ступень лингвистической иерархии, используясь, главным образом, в межличностном общении [27].

Важным фактом, касающимся английского языка в Индии, является то, что его использование разрешает конфликт региональных языков Индии [18] и снижает риск исчезновения этих языков и диалектов, позволяя им гармонично сосуществовать, выполняя разные роли. Английский служит языком-посредником между людьми разных регионов, родные языки которых отличны. Таким образом, в настоящее время английский воспринимается не как колониальная обязанность, а как национальный и международный язык, отражающий образовательный и экономический прогресс [18], который «является инструментом деколонизации и обеспечивает городской бедноте доступ к глобальной экономике» [28]. Согласно противоположной точке зрения «колониальность» английского языка сохраняется и проявляется в том, что он поддерживает классовое разделение общества Индии и Южной Азии в целом, являясь средством доступа к материальным благам [29]. Получение хорошего образования, занятие престижных должностей и рабочих мест, продвижение по социальной лестнице, доступ к информационным ресурсам невозможны или ограничены без знания английского языка, изучение которого, к сожалению, не всем по карману [11]. Без грамотной языковой политики и постоянного внимания к вопросам влияния английского языка в качестве средства «религиозного и культурного ‘просвещения’ населения, инструмента колониальной эксплуатации и политической консолидации», а также «угрозы уничтожения других языков и культур» английский язык Индии не сможет восприниматься иначе, чем символ престижа и элитарности [17]. При должном подходе он будет доступен широким массам и станет элементом лингвистической компетенции индийцев в ситуации многоязычия.

При неоднозначном отношении ученых к оценке статуса английского языка Индии, существование этого национального варианта не подвергается сомнению.

С. Парашер определяет индийский английский как «вариант английского языка, изучаемый и используемый большинством образованных индийцев в качестве второго языка» [26].

В 1960-х гг. профессор Бансал [12] предложил термин General Indian (GI) как модель для индийского английского, основанную на критерии его понятности на международном уровне, однако, этот термин не прижился.

Существуют попытки выделить региональные варианты английского языка Индии в соответствии с контактным языком: панджабский английский (Punjabi English), тамильский английский (Tamil English), бенгальский английский (Bengali English), гуджаратский английский (Gujarati English) и др. [23]. В рамках более крупной языковой группы определяют индоарийский английский (Indo-Aryan English), дравидийский английский (Dravidian English) [23]. С этой точки зрения, разновидностей английского языка в Индии столько же, сколько самих языков. Тем не менее существуют определённые языковые характеристики, свойственные всем этим разновидностям. Их мы и имеем в виду, говоря об индийском английском, нормы которого закреплены в СМИ, образовании, политике и других сферах жизни Индии.

Индийскому английскому, как и всем новым вариантам английского языка, свойственен ряд особенностей, возникших в результате языковой интерференции, под влиянием автохтонных языков в процессе языкового контакта. Такой процесс Брадж Качру назвал нативизацией, а в применении к Индии – индианизацией английского языка [19]. Результатом такого воздействия является возникновение в новом варианте языка различного рода отклонений от норм его первичных вариантов. Подобные отклонения лингвисты подразделяют на инновации и девиации. Они затрагивают все уровни языка, проявляются систематически, являются продуктивными и типичными, принимают статус узуальной нормы и не мешают взаимопониманию коммуникантов [5; 7].

Мы поставили перед собой цель определить лексические особенности индийского варианта английского языка на материале субтитров к кинофильму, поскольку через кинематограф индийский английский становится средством не только внутринационального, но и межкультурного общения и нуждается в лингвистическом описании.

Значение английского языка в кинопроизводстве и экранной культуре невозможно переоценить. Голливуд, центр киноиндустрии, выпускающий ежегодно сотни фильмов, доминирует на мировом кинорынке. Однако, начиная с 1970-х годов, благодаря международным кинофестивалям, а в дальнейшем и развитию интернета и появлению DVD, большое число зрителей смогло познакомиться с национальными кинематографами Латинской Америки, Африки, Азии и Австралии [4]. При этом фактически крупнейшей в мире кинопромышлен-

ностью располагает Индия, выпуская ежегодно свыше 900 игровых лент, в то время как Голливуд – в среднем около 270. Режиссеры Индии начали активно проявляться на международных кинофестивалях с середины 1970-х годов [4]. Что касается национального спроса на кинопродукцию, то индийские зрители предпочитают традиционное кино Индии, выпускаемое киностудиями Бомбея, которые известны под общим названием «Болливуд». Индийские фильмы также пользуются популярностью и в Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что в последние годы там получили развитие собственные национальные кинематографии (например, Китай и Гонконг с его специализацией на остросюжетных боевиках, посвященных боевым искусствам Востока).

Важно отметить, что если раньше индийские фильмы создавались исключительно на хинди или урду, то в последнее десятилетие такое чёткое разграничение отсутствует. Герои современных индийских фильмов не говорят на одном наречии, а используют несколько языков и диалектов, смешивая их, что отражает тенденции развития разговорного языка жителей Индии. Профессор Сигорский, специалист по социолингвистике хиндиязычного ареала, отмечает, что «…Болливуд развил свою собственную разновидность хинди, которая ближе всего стоит к понятию «хиндустани» как языка индусов и мусульман, вобравшего в себя то общее, что существует в хинди и урду вне зависимости от конфессиональных различий» [9]. Как говорит известный индийский кинорежиссер Хуссейн, «…Такова жизнь. Старый язык умирает, новые языки рождаются. Язык, как человек, имеет право измениться» [14]. Все больше места в индийском кинематографе занимают фильмы на английском языке. При этом англоязычные индийские фильмы, как и литература, предназначены не только и не столько для индийской аудитории, сколько на экспорт [9]. Следовательно, индийский вариант английского языка становится средством межкультурной коммуникации.

Художественный фильм «Firaaq», субтитры к которому были выбраны для анализа, – это фильм 2008 г., снятый в Болливуде, с оригинальным языком хинди. Картина основана на рассказах очевидцев событий, происходивших через месяц после Гуджаратского погрома 2002 г.

Гуджаратский погром – это серия межрелигиозных конфликтов между индусами и мусульманами в индийском штате Гуджарат, произошедших в феврале-марте 2002 г. Наиболее ожесточенные столкновения наблюдались в Ахмадабаде. Поводом к погрому стал поджог пассажирского поезда с индуистскими паломниками возле станции Годхра 27 декабря 2002 г., когда заживо сгорели 58 человек. В поджоге был обвинен мусульманин, мотивом которого была религиозная неприязнь. Акция возмездия произошла в штате Гуджарат, где взаимные акты насилия между членами мусульманской и индуистской общины имеют давнюю историю.

Кинофильм завоевал несколько наград международных кинофестивалей в Сингапуре, Корее, Англии, Греции, США, штате Керала (Индия), Дубае и в России (Москва, Владивосток). В 2009 г. на Владивостокском Международном кинофестивале «Меридианы Тихого» режиссер фильма «Firaaq» Нандита Дас получила специальный приз жюри «За то, как режиссер передает отношение мирового сообщества к напряженности, существующей между индусами и мусульманами. За попытку поднять вопрос социального конфликта в штате Гуджарат» [25].

Приступая к анализу субтитров выбранного фильма, нужно отметить, что само его название *«Firaaq»* на урду означает разделение (*separation*) и поиск (*quest*). Изначально фильм планировали назвать на английском *«In such times»*, но такое название переводилось на хинди громоздко, некрасиво. *«Firaaq»* – слово из строки поэта Вали (Wali) (о котором упоминается в фильме), в переводе на английский звучащее как *«The separation of Gugarat is killing my heart»*. На Международном Московском кинофестивале фильм вышел под названием *«Разлука»*, а на Владивостокском Международном кинофестивале – *«Раскол»*, что соответствует смыслу слова, взятого из контекста вышеупомянутого стихотворения.

Лексические особенности новых форм английского языка в первую очередь привлекают внимание исследователей, поскольку они являются наиболее наглядными и придают уникальный «колорит», национально-культурную окрашенность речи говорящих на них.

Кингсли Болтон и Сьюзен Батлер, известные своими работами по описанию национальных вариантов и региональных разновидностей английского языка, особенно их лексического состава, отмечают, что новые единицы создаются в ходе ряда лингвистических процессов, а именно: 1) заимствование слов из местных языков; 2) заимствование из других вариантов английского языка; 3) создание новых слов и словосочетаний на материале английского языка; 4) адаптация лексикона британского или американского вариантов английского языка [13]. Среди лексических черт индийского варианта английского языка, выделенных на материале кинотекста фильма «Firaaq», представлены семантические трансформации (переосмысление значений) и новая сочетаемость лексических единиц английского языка; заимствования (из хинди и урду). Рассмотрим их подробнее.

1. Семантические трансформации английских слов. Семантические различия как результат ин-

терференции проявляются в несовпадении объема значений, в разных способах выражения одного понятия, в различных границах употребления слова и в особенностях сочетаемости [3]. В материале исследования выявлено 6 подобных случаев трансформации значений английских слов в индийском варианте, например: *Softly (=quiet(ly)), others will wake up*. Здесь имеет место семантическая интерференция, так как на хинди слово *«aista»* может иметь оба значения – *softly* и *quiet(ly)*. *– Hanif, since when did you start smoking? – Recently, out of tension.* Слово *tension* в индийском английском означает не только *«психологическое напряжение, волнение»*, но также имеет смысл *«стресс»* [24]. Индийцы же практически не используют слово *stress*, повсеместно заменяя его словом *tension*.

Частным случаем такой лексической особенности индийского английского как переосмысление значений является употребление *«too»* перед глаголом в значении *«also» (тоже, также)* и *«that too»* в значении *«besides that» (кроме того)*. Очевидно, что в случае с *«too»* речь идет о структурно-семантическом изменении по сравнению с системой английского языка Великобритании и США, так как отклонение связано не только с объемом значения слова, но и его позицией в предложении. В материале исследования встретились 4 подобных высказывания, например: *In any case, we too have had our own share of loss; After marriage you didn't become a Muslim, but your husband has just become a Hindu, and that too with your surname!*

2. Изменение объема значения слова и границ его употребления приводит к нестандартной сочетаемости, которая становится особенностью того или иного варианта английского языка. В субтитрах анализируемого кинофильма отмечено 8 примеров новой сочетаемости английских слов, в частности: *Shut the TV and draw the curtains (= «Turn/switch off TV); Don't worry, we'll reach soon (=we'll get there soon).*

3. Заимствования. Лексический состав новых форм английского языка, а также семантические свойства входящих в них элементов в значительной степени определяются экстралингвистическими факторами. Среди этих факторов немалая роль отводится нормам этикета, принятым в языковом обществе. Большую группу заимствований составляют национально-специфичные обращения, которые становятся яркой и значимой особенностью индийского варианта английского языка, связанной с социально-культурным контекстом.

К национально-специфичным обращениям можно отнести как отдельные слова, так и суффиксы, по форме совпадающие с этими словами и выражающие отношение говорящего к собеседнику, а также отражающие пол, возраст и статус собеседника. Важно отметить, что в кинотексте такие слова / суффиксы были выделены курсивом. По этой категории примеров насчитывается больше всего (39).

Заимствования представляли собой как семантические и структурные кальки лексических единиц языков Индии, так и их транскрипции / транслитерации. Например: *Uncle, come here*. В данном побуждении *«uncle»* используется не как морфема, присоединяемая к имени, а как отдельное слово, в отличие от следующих примеров с этой единицей и обращением к женщине *«aunty»*. Сравните: *Then Yusuf uncle took me to Shahpur camp; Happy to meet your Anu aunty?*

Обычно английские слова *«uncle»* и *«aunty»* употребляются индийцами при обращении к дальним родственникам, соседям, родителям друзей, знакомым или незнакомцам (например, продавцам в магазине), тем, кто значительно старше говорящего. В приведенных контекстах эти слова использовались для обращения к соседям и знакомым.

Обращения *«Sahib / Saheb»*, в переводе с хинди имеющие буквальное значение *«friend» («друг»)* или *«companion» («компаньон»)*, соответствуют английским *«Mister / Mr.»* или *«Boss»* и выражают уважение к собеседнику (Indian English Dictionary). В контексте рассматриваемого кинофильма это слово адресовалось человеку, занимающему более высокое социальное положение: *Didn't Sameer Saheb shelter us all of last month; You know, Doctor sahib, only you were there for the last three music gatherings.*

«Bhai» буквально переводится с хинди как *«brother»*, соответствуя английским неформальным обращениям *«man»*, *«dude»* [15]. Герои картины используют его для обращения к людям примерно одного возраста и социального положения, в основном, к друзьям или хорошим знакомым: *You… Sameer bhai, forget who's at fault; Bhai, I really don't know*.

В кинотексте встречаются также обращения, заимствованные из урду, в частности, *«miyan»*, которое мусульмане используют в значении *«husband»*, либо в качестве формы вежливого обращения к человеку мужского пола. В фильме *«Firaaq»* используется именно второй вариант: *Want to speak to Shafiq miyan?*; *People are killing people, that bothers me, Karim miyan.*

Аппелятив *«bibi»* мусульмане используют для уважительного обращения к женщине, особенно старшей по возрасту: *And you wanted to help Sakina bibi.*

Формы обращения *«miyan»* и *«bibi»* акцентируют внимание на том, что использующие их люди – мусульмане, и становятся, таким образом, религиозно-культурными детерминантами.

Приветствие и прощание в индийском английском также отличаются от принятых в стандартном

английском. Так, вместо того, чтобы сказать *«Hello! How are you?»* (с возможным откликом *«How are you?»*), индийцы-герои фильма говорят при встрече на улице: *Greetings, Khan Saheb!*, получая ответ *God bless you!*

При встрече гостя звучат вежливые фразы: *Welcome. You'll live a hundred years!*, а также *I'm going to meet Joshi bhai. Thought I'll stop by. How is he keeping? «How are you keeping?»* – употребительный аналог «How are you?» в индийском варианте английского языка.

Ответное прощание, используемое в индийском английском, может выглядеть следующим образом: (*I better go!) God bless you!*

Как отмечает Б. Качру, подобного рода приветствия и благословения используются в Индии для обозначения начала или конца разговора [18].

Хинди является настолько богатым источником заимствований в индийский вариант английского языка, что это приводит некоторых лингвистов к выделению так называемого *хинглиш*, смесь хинди с английским, определяемого как социолект, язык среднего городского класса, преимущественно больших городов [9]. В рассматриваемом кинотексте заимствования из хинди были представлены рядом тематических групп:

– географические названия (топонимы) и названия архитектурных комплексов (имеющие отношение к событию, последствия которого раскрываются в фильме (5 примеров)): *Bloody hen-pecked husband ran away to Surat* (*Сурат* – город на западе Индии в штате Гуджарат); *Pamphlets had been distributed in villages that said: «Sarkhej is mini–Pakistan. Finish it off». Саркхеж / Саркхеж Рауза* – архитектурный комплекс, расположенный в 8-ми километрах от Ахмедабада;

– антропонимы, называющие ярких деятелей культуры Индии (5 примеров): *Just like Shahrukh! Шах Рух Хан* – известный индийский киноактёр, продюсер и телеведущий.

Wali's shrine was here. Вали (1668–1744) – последний и крупнейший поэт деканского периода литературы на урду.

– Реалии, связанные с культурой Индии. В анализируемом кинотексте такие лексические единицы чаще всего передавались способом транскрипции (11 примеров): *Don't worry, bindi is there on your forehead. «Бинди»* (в переводе с хинди *«точка»*, *«капля»*) – цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба, так называемый «третий глаз», в индуизме считается знаком правды.

You weren't going to repair the sofa before Eid? В данном примере *«Eid»* – это сокращение от *«Eid ul-Fitr», «Праздник разговения» (Ид аль-Фитр)* – исламский праздник, завершающий пост в священный месяц Рамадан.

Некоторые реалии представляли собой сочетание заимствованного элемента с лексической единицей английского языка, т. е. являлись полукальками (всего 7 примеров): *When your maid ran away with all your jewellery, you didn't go and torch the whole Chhara community, did you? «Chhara Community»* – известная группа рецидивистов.

Now it feels like a henna night. «Henna night» (*«ночь хны»*) – церемония, проводимая за день до свадьбы в доме невесты, на которой собираются друзья и ближайшие родственники девушки. В этот день на руки невесты наносится специальный рисунок хной в знак верности и преданности новой семье.

При киноперевоже, если позволяет ограниченное место, выделенное для субтитров, топонимы и антропонимы транскрибируются с минимальным пояснением, например, *city of Surat* или *poet Wali*. Реалии же, связанные с культурой Индии, требуют подбора аналога либо объяснительного перевода. Довольно известные реалии, которые могут быть понятны для кинозрителя за счёт фоновых знаний или контекстуального осмысления, транскрибируются без пояснений, неизвестные могут быть выделены курсивом для облегчения их восприятия в общем потоке текста (как это было сделано в субтитрах к кинофильму «Firaaq»).

Наличие в индийском английском заимствованных из хинди антропонимов, топонимов и культурно-бытовых реалий, т. е. безэквивалентной лексики, выражающей этнокультурные особенности индийской нации, объясняется необходимостью передать своеобразие исторического, общественно-политического и религиозного контекста, в котором функционирует английский язык Индии.

На основании проделанного анализа теоретических источников и практического материала можно сделать вывод о том, что индийский английский – это вариант английского языка, обладающий смешанным лексическим составом, в котором, помимо общего для всех вариантов ядра, присутствуют единицы, заимствованные из языков и диалектов Индии (в основном хинди), а часть английских слов подверглась семантическому переосмыслению. Использование лексических инноваций индийского варианта английского языка в субтитрах фильма, предназначенного для международной аудитории, не только позволяет придать картине аутентичность, но и способствует трансляции культурных ценностей индийского социума.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Домашнев, О.А.* О лексикографическом отражении американского стандарта английского литературного языка / О.А. Домашнев // Лингвистические исследования. Структура языка и языковые изменения. – М., 1985. – С. 70–79.

2. *Никольский, Л.Б.* Синхронная социолингвистика (Теория и проблемы) / Л.Б. Никольский. – М., 1976. – 167 с.

3. *Павлова, И.П.* Методика работы над лексикой английского языка с применением программированных пособий (на 2 курсе языкового вуза) : дис. … канд. пед. наук / И.П. Павлова. – М. : МГПИЯ, 1991. – 203 с.

4. *Паркинсон, Д.* Кино: пер. с англ. / Д. Паркинсон. – М. : Росмэн, 1996. – 160 с.

5. *Прошина, З.Г.* Английский язык и культура народов Восточной Азии / З.Г. Прошина. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2001. – 476 с.

6. *Прошина, З.Г.* Лингвоконтактология: статус, проблемы, перспективы / З.Г. Прошина // Социальные и гуманитарные проблемы на Дальнем Востоке. – 2005. – № 1 (15). – С. 124–128.

7. *Прошина, З.Г.* Передача китайских, корейских и японских слов при переводе с английского языка на русский и с русского языка на английский: Теория и практика опосредованного перевода: пособие по переводу / З.Г. Прошина. – 2-е изд., испр. – М. : АСТ: Восток-Запад, 2007. – 160 с.

8. *Прошина, З.Г.* World Englishes Paradigm, или контактология английского языка / З.Г. Прошина, Т.А. Иванкова // Личность. Культура. Общество. – Т. XII. Вып. 1 (53–54). – 2010. – С. 173–174.

9. *Сигорский, А.А.* Все смешалось в хиндиязычном ареале: языки, диалекты, говоры / А.А. Сигорский // Язык до Индии доведет. – М. : Восточная литература, 2008. – С. 345–368.

10. *Степанов, Г.В.* Испанский язык в странах Латинской Америки / Г.В. Степанов. – М. : Высш. шк., 1963. – 203 с.

11. *Agnihotri, R.K.* Identity and Multilinguality: The Case of India / R.K. Agnihotri // Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts. Lawrence Erlbaum Associates, 2007. – 283 p.

12. *Bansal, R.K.* The intelligibility of Indian English: measurements of the intelligibility of connected speech, and sentence and word material, presented to listeners of different nationalities / R.K. Bansal. – Hyderabad : Central Institute of English, 1969. – 186 p.

13. *Bolton, K.* Lexicography and the description of Philippine English vocabulary / K. Bolton, S. Butler // Philippine English: Linguistic and Literary Perspectives. Manila : Anvil, 2009. – P. 175– 200.

14. *Chopra, S.* Shudh Hinglish / S. Chopra // Screen. – 2003 [Electronic resource] – Available at: http://www.screenindia.com/fullstory.php?content_id=1133.

15. *Indian English Dictionary* [Electronic resource] – Available at: http://www.amritt.com/IndianEnglish.html

16. *Kachru, B.B.* Varieties of American English / B.B. Kachru // Language in the USA. – Cambridge : Cambridge University press, 1981. – P. 44–66.

17. *Kachru, B.B.* Asian Englishes: Beyond the Canon / B.B. Kachru. – Hong Kong : Hong Kong University Press, 2005. – 135 p.

18. *Kachru, B.B.* The handbook of World Englishes / Edited by B.B. Kachru, Y. Kachru, C.L. Nelson. – Oxford : Blackwell Publishing, 2006. – 811 p.

19. *Kachru, B.B.* The Indianization of English: The English Language in India / B.B. Kachru. – New York : Oxford University Press, 1983. – 140 p.

20. *Kachru, Y.* Cultures, Contexts, and World Englishes / Y. Kachru, L.E. Smith. – New York : Routledge, 2008. – 231 p.

21. *Lee, J.S.* Symposium on world Englishes in popular culture / J.S. Lee, Y. Kachru // World Englishes. – 2006. – Vol. 25. – №. 2. – P. 191–308.

22. *Mallikarjun, B.* Language according to Census of India 2001 / B. Mallikarjun // Language of India. – 2001. – Vol. 1. – № 2. – Available at: http://www.languageinindia.com/april2001/ indiancensus.html.

23. *McArthur, T.* The English Languages / T. McArthur. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 247 p.

24. *Online Oxford English Dictionary (OED)* [Electronic resource]. – Available at: http://www.oed.com.

25. Pacific Meridian. Международный кинофестиваль стран АТР. Кинопрограмма фестиваля 2009 года. Конкурсная программа. Раскол. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viff.vl.ru/ru/archive/?laureate,8,723.

26. *Parasher, S.V.* Indian English: Functions and Form / S.V. Parasher. – New Delhi: Bahri Publications, 1991. – 193 p.

27. *Sridhar, K.K.* English in Indian Bilingualism / K.K. Sridhar. – New Delhi : Manohar Publications, 1989. – 177 p.

28. *Vaish, V.A.* Peripherist View of English as a Language of Decolonization in Post– Colonial India / V.A. Vaish // Language Policy. – 2005. – Vol. 4. – № 2.

29. *Verma, M.K.* English in India: Whose English, for whom, and what about Indian languages? / M.K. Verma // IJOAL. – 2002. – Vol. 28. – № 2. – P. 101–120.

ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Е.В. Карпец

Карпец Елена Витальевна – старший преподаватель кафедры английского языка и межкультурной коммуникации Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета.

Контактный адрес: elenakarpets24@mail.ru

Современный учебник английского языка рассматривается автором статьи как культурное явление, а репрезентативная функция учебника возводится в разряд ведущих, в связи с чем предлагается культурологический подход к такой педагогической и лингвистической категории, как учебник. В статье отражены принципы культурологического анализа количественной и качественной составляющих социокультурного содержания учебно-методического комплекса на примере «English Unlimited» издательства Cambridge University Press и представлены результаты данного анализа.

Ключевые слова: учебник английского языка, репрезентативная функция, социокультурное содержание, национально-специфический компонент, поликодовый текст, английский язык, культурологический анализ.

Вопросы учебника имеют непосредственное отношение к методике преподавания. Учебник считается, прежде всего, средством обучения и рассчитан на достижение определенных результатов в учебном процессе, а создание учебника традиционно рассматривается как работа по проектированию учебно– воспитательного процесса (В.Г. Бейлинсон, В.П. Беспалько, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина). Например, основной целью учебника английского языка является обучение английскому языку как средству коммуникации и формирование необходимых для успешной коммуникации компетенций. Данный фактор играет главенствующую роль при отборе материала в процессе создания учебника. Мы предлагаем культурологический подход к такой категории, как учебник (в нашем случае это учебник английского языка), что представляется актуальным и вызывает интерес по нескольким причинам:

– межкультурный подход к изучению языка обеспечивает понимание его не как автономного образования, существующего в отрыве от социально-культурного контекста, который ранее (на протяжении большей части XX в.) относился к экстралингвистическим факторам, а как одно целое с культурой говорящих на нем людей;

– во второй половине 90-х гг. XX в. на российском рынке появились учебно-методические комплексы иностранных издательств (Pearson Education Limited, Cambridge University Press, Oxford University Press, Macmillan), предназначенные для обучения английскому языку. Данные международные учебники стали активно использоваться в российском среднем и высшем образовании, так как главным их преимуществом является обилие аутентичных текстовых и аудитивных материалов, отражающих современное состояние языка и культуры;

– данные учебники являются не только источником знаний и информации, но и феноменом иноязычной культуры. Реализуя функции, присущие культуре вообще, такого рода учебники способствуют вхождению обучающихся в мир инокультуры и его специфику;

– учебники зарубежных издательств репрезентируют инокультуру, и соответственно функция репрезентативная становится одной из ведущих функций данных учебников, отличающих их от учебников других учебных дисциплин;

– учебник иностранного языка определяется как один из базовых и массовых элементов ознакомления с иной культурой и формирует целостное первичное, так сказать, матричное представление о ней.

В связи со сказанным выше представляется целесообразным проанализировать содержание учебника на наличие социокультурного компонента, его количественную и качественную составляющие. Отдельные аспекты указанной проблемы освещались в отечественных лингвистической и методической науках. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров занимались страноведческой проблематикой в связи с методическими задачами, рассматривали критерии отбора учебного страноведческого материала для преподавания иностранного языка [2]. Диссертация М.А. Богатыревой посвящена проблеме интеграции социокультурного компонента в содержание учебника иностранного языка для неязыковых гуманитарных вузов. В ней разрабатывается методика реализации социокультурного подхода к организации содержания про-

фессионально-ориентированного учебника иностранного языка [1]. В диссертационной работе Л.М. Орбодоевой исследуется ряд проблем теории учебника иностранного языка, осмысляются вопросы, связанные со структурой и содержанием учебника, ориентированного на обучение практике межкультурного общения [5]. М.А. Кулинич прослеживает развитие методической мысли и смену лингвистической парадигмы в учебниках иностранного языка. Она утверждает, что учебники отражают реалии культуры изучаемого языка, дают картину чужой действительности и поэтому ценны как источники лингвострановедческой информации [3].

Однако необходимо отметить тот факт, что проблема социокультурного компонента содержания учебников иностранного языка с культурологической точки зрения не рассматривалась. В данной статье представлены результаты культурологического анализа социокультурного компонента содержания учебно-методического комплекса «English Unlimited» издательства Cambridge University Press [12]. Наряду с культурологическим анализом качественной составляющей социокультурного компонента содержания, использовался метод контент-анализа для исследования количественной составляющей данного компонента.

Были проанализированы такие компоненты учебно-методического комплекса, как книга для студента и прилагаемые к ней аудиоматериалы, которые представляют собой основу данного комплекса с точки зрения репрезентируемой ими культурологической информации. Современные учебники английского языка многокомпонентны и представляют собой комплексы, состоящие из книги для учителя (Teacher's Book), книги для студента (Course Book или Student’s Book), рабочей тетради (Workbook), аудио иди даже видеоматериалов. Все компоненты комплекса дополняют друг друга и играют важную роль в репрезентации инокультуры.

Краткий обзор книги для учителя и рабочей тетради показал, что данные компоненты комплекса также заслуживают внимания в связи с культурной маркированностью их содержания и показывают необходимость провести более тщательное исследование всего учебно-методического комплекса, что мы и собираемся проделать в последующих работах. Более того, следует рассматривать учебник как гипертекст, так как многие национально-специфические компоненты учебника требуют социокультурного комментария, который частично дается в книге для учителя и обеспечивает более полное понимание текста, восполняя недостаток фоновых знаний как учителя, так и учащегося. Необходимость в социокультурном комментарии побуждает обращаться к интернет-источникам и делает тексты учебника нелинейными и разветвляющимися. Рассмотрение учебника как гипертекста требует отдельного исследования.

Как было выявлено, книга для студентов состоит из 14 разделов. Единицами содержания книги для студента (далее учебника) являются тексты и иллюстрации. В структуру учебника входят типологически разнородные тексты. Типология текстов относится к области лингвистики текста, в которой до сих пор по множеству причин не существует однозначного мнения относительно отнесения текстов к тому или иному таксономическому разряду. Поэтому, не стремясь провести типологизацию текстов, дадим лишь несколько примеров типов текстов, взятых за единицу содержания учебника. Здесь присутствуют такие типы текстов, как статьи, электронные сообщения, легенды, скрипты (тексты к аудитивным материалам), отзывы, профайлы (компьютерная репрезентация информации о пользователе), брошюры, объявления, деловые письма и т. д. Кроме этого, в структуру учебника входят упражнения, направленные на развитие тех или иных навыков, и справочные лексико-грамматические материалы, которые остались за пределами проведенного исследования, так как не представляют интереса с культурологической точки зрения. Что касается иллюстративного материала учебника, в который входят фотографии с подписями и без, картинки с подписями и без и карты, он является проявлением общей тенденции к визуализации сообщения, характерной для всех сфер современной человеческой коммуникации.

Тексты учебника воспринимаются как единство языковой составляющей и сопровождающей ее картинки. На наш взгляд, иллюстративный материал учебника содержит не только эстетический, но и информативный потенциал. Например, читаем о Шпиле тысячелетия (англ. The Millennium Spire) в Дублине, Ангеле Севера (англ. Angel of the North) в Гейтсхеде или скульптуре Сайго Такамори в токийском парке Уэно, одновременно рассматриваем фотографии и получаем представление о том, как выглядят эти достопримечательности (четвертый раздел книги для студента учебно-методического комплекса «English Unlimited»). То есть, фотографии здесь усиливают информационный вес языкового сообщения. Более того, иллюстрация или подпись к ней делают текст культурно маркированным. Например, одна из фотографий одиннадцатого раздела имеет подпись: Энди Харпер и Антониа Брикел работают телеведущими на радиостанции BBC. Данная подпись, содержащая имена собственные, привносит национально-специфический компонент в интервью универсального характера. О различных отношениях между вербальной и визуальной составляющей пишет В.Е. Чернявская [11].

Большая часть текстов учебника сопровождается иллюстрациями. Кроме того, скрипты имеют звуковую составляющую, которую нельзя отделить от содержания текста. Все это свидетельствует о неоднородности учебных текстов и целесообразности рассмотрения данных текстов как поликодового феномена. Термином «поликодовый текст» характеризуется, по Е.В. Чернявской, явление текстовой гетерогенности на уровне формы, достигаемой через соединение различных семиотических систем (в нашем случае, вербальной, визуальной и аудиальной).

Наличие или отсутствие национально-специфического компонента в поликодовых текстах позволило классифицировать таковые следующим образом: поликодовые тексты с универсальным содержанием (области культуры полностью совпадают в родном и иностранном языках обучающегося), поликодовые тексты, имеющие национально-специфический компонент (области культуры частично совпадают), поликодовые тексты с национально-специфическим содержанием (области культуры не совпадают). Для удобства выражения принята следующая терминология: универсальные, смешанные и национально-специфические тексты.

Универсальные тексты следует принять за основной источник общекультурной информации «…в разных языках и культурах почти всегда можно обнаружить сходные элементы нормативного характера, определяемые общими принципами организации человеческого бытия и собственно человека как социально-культурной особи» [6: с. 86]. Пример универсального текста, где обнаруживаются «сходные элементы нормативного характера», может быть продемонстрирован текстами об опыте изучения иностранного языка (восьмой раздел исследуемого учебника) [12: с. 69], о процессе книгопроизводства (девятый раздел) [12: с. 71], о приеме на работу (одиннадцатый раздел) [12: с. 88] и другими.

Смешанные тексты содержат национально-специфический компонент, который делает их культурно маркированными. К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, С.Г. Тер-Минасова предлагает отнести следующие: а) традиции, обычаи и обряды; б) повседневное поведение; в) «национальные картины мира»; г) художественную культуру [10: с. 34–35]. Примером текстов, содержащих национально-специфический компонент, может служить текст диалогического жанра из первого раздела исследуемого учебника. Двое друзей обсуждают организацию вечеринки. Содержание диалога само по себе является универсальным, так как представленная ситуация являет собой область быта, совпадающую в нашей и инокультуре. Один из участников диалога предлагает принести мексиканское «как-его-там, которое подвешивается к потолку и, если по нему ударить, выпадают сладости, игрушки и тому подобное». Другой уточняет, что это украшение называется «пината». Фотография, сопровождающая текст, дает нам представление о том, как выглядит пината – мешок в виде звезды, сделанный из папье-маше или гофрированной бумаги. Языковой и иллюстративный материал предложенного текста привносит в текст национально-специфический компонент. Пинату можно отнести, следуя классификации С.Г. Тер-Минасовой, к мексиканской бытовой культуре.

Полностью национально-специфические тексты имеют целью рассказать о каком-либо инокультурном феномене; некоторые из текстов являются собственно-культурными проявлениями, например, народная легенда о соляной шахте в городе Величка (Польша). Данная шахта является объектом мирового культурного и природного наследия, который работает со средневековья по наше время. Легенда гласит о том, что открытие больших залежей соли совпало с венчанием добродетельного польского короля Болеслава Стыдливого и набожной дочери венгерского короля Бэли IV принцессы Кинги (второй раздел книги для студента) [12: с. 17, 142–143]. Текст сопровождается фотографией соляной шахты и имеет звуковую составляющую.

Всего проанализировано 159 единиц содержания учебника. Результаты исследования представлены в таблице.

Таблица

Типологизация единиц содержания учебно-методического комплекса «English Unlimited»

Типы текстов	Номер раздела учебника														Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Универсальные	2	2	1	0	0	3	2	1	3	1	1	3	1	5	25
Смешанные	6	4	9	0	4	4	11	10	5	4	3	3	11	3	77
Национально-специфические	0	3	1	13	6	0	4	5	0	10	1	9	0	5	57

В процентном соотношении 25 единиц содержания составляют около 15,7 % от общего количества (100 % исследуемого социокультурного содержания учебника), 77 единиц – 48,4 %, 57 единиц – 35,8 %. Из таблицы видно, что наименьшую часть социокультурного содержания учебника «English Unlimited» составляют универсальные тексты, около половины текстов являются смешанными, довольно большую часть содержания учебника составляют национально-специфические тексты.

При анализе социокультурного компонента содержания учебно-методического комплекса возникли некоторые трудности. Во-первых, мы столкнулись с проблемой делимитации и идентификации текста – отграничения его от других языковых единиц, в частности слов и предложений. Например, было сложно определить, следует ли считать предложения из упражнения на формирование лексических навыков однофразовыми текстами или нет. Приведем в качестве примера следующие высказывания из первого раздела исследуемого учебника:

I find that thinking aloud helps me to solve problems.

Where I live people think highly of doctors but they don't think much of teachers.

The best school teachers encourage children to think for themselves.

Сложность такой категории, как текст, объясняется множественностью подходов к тексту и интересом к нему многих наук. Проанализировав различные определения текста, текстуальные признаки (характеристики текста, критерии, которым он должен отвечать), мы определили несколько инвариантных признаков, которые позволили нам выделить тексты в общей массе языковых единиц. Одним из основных признаков, по нашему мнению, является когерентность – содержательно-смысловая связанность текста, которая необязательно материализована, но идентифицируется через субъективное представление и восприятие. Ю.М. Лотман под текстом понимает «любое отдельное сообщение, отчлененность которого интуитивно ощущается с достаточной определенностью… Аморфное скопление знаков текстом не является» [4: с. 17]. Интересно заметить, что, по Лотману, выделение некоторого количества текстов из общей массы языковых сообщений может рассматриваться как признак появления культуры, которая есть «совокупность текстов или сложно построенный текст». Следующие несколько признаков, которыми мы руководствовались при идентификации текста – это интенциональность (наличие коммуникативной цели, направленной на адресата), информативность (содержательно-смысловая нагруженность) и соотнесенность с тем или иным типом текста (статья, брошюра, деловое письмо и др.). Однако вопрос делимитации текста не решен нами в полной мере и требует более детального изучения, что могло бы послужить материалом для отдельной статьи.

Следующая проблема, возникшая в процессе анализа социокультурного компонента содержания учебника, – это отнесение текста к универсальному или смешанному типу. Было решено относить тексты универсального характера в информационном плане, но содержащие имена собственные, как в самом тексте, так и в подписях к иллюстрации, а также тексты, имеющие звуковое сопровождение, к текстам смешанного типа, то есть имеющим национально-специфический компонент. Имя собственное, так же как и национально-специфический акцент, проявляющийся в звучащей речи, придают тексту особую окраску, делают его культурно маркированным. Имена собственные образуют значительную часть социокультурного компонента содержания учебника, они присутствуют практически в каждом тексте, так как являются опорными точками в межъязыковой коммуникации людей. Изучение имен собственных, как известно, позволяет не только проникать в языковую систему, но и знакомиться с мифологией, бытом, миропониманием и жизненными ценностями того или иного этноса. Звуковое сопровождение текстов знакомит нас с разными вариантами английского языка, что является ярким примером проявления теории, называемой в отечественной науке контактной вариантологией английского языка [7], а в зарубежной – World Englishes Paradigm.

В процессе исследования качественной составляющей социокультурного компонента содержания учебника было выявлено разнообразие культур, представленных в учебнике посредством английского языка, что также демонстрирует проявление теории контактной вариантологии. Э. Сепир писал, что «…языки могут распространяться далеко за пределы своей первоначальной родины, захватывая территории новых рас и новых культурных зон» [9]. Данное утверждение относится в полной мере к английскому языку, который распространился далеко за пределы свой родины, захватив множество «новых рас и новых культурных зон». З.Г. Прошина пишет о том, что мы живем в эпоху, когда один язык преодолел все возможные национальные границы и проник в различные сферы нашей жизни: бизнес, средства массовой информации, образование, культуру, науку и многие другие. Этот язык – английский. Распространение английского языка подразумевало распространение англоязычной культуры. Однако распространение этого языка происходит также благодаря желанию тех или иных этнических групп «предлагать» ему свою культуру, чтобы он донес сведения о ней до международного сообщества. Так как английский

язык является языком международного общения, он используется для продвижения национальных культур. Не зная китайского или корейского языка, мы можем прочитать о китайской и корейской культуре на английском языке. Распространяя различные культуры, английский язык обогащает людей, которые хотят знать больше о других странах и сообществах. Знание и понимание других культур, в свою очередь, воспитывает терпимость и уважение к иным культурам, а также способствует культурной самоидентификации, осознанию принадлежности к той или иной культуре [8]. Английский язык приобрел способность выражения и обозначения реалий чуждых для него культур. Правомерность данного утверждения подтверждается многочисленными примерами из учебника «English Unlimited».

В первом разделе учебника, содержащем в основном смешанные поликодовые тексты, мы получаем знания о пинате – мексиканском украшении; Джобиме Антонио Карлосе, бразильском композиторе, пианисте, гитаристе и вокалисте, одном из самых знаменитых «создателей» босса-новы; об индийской попмузыке болливуд; типичном мексиканском соусе сальса; меренге – пирожном из взбитых яичных белков и сливок с сахаром [12: с. 12].

Второй раздел содержит текст о путешествии Карлоса в Индии, откуда нам становятся известны названия таких индийских городов, как Дели, Дера Дан (расположен рядом с Гималаями), названия станций Нью Дели и Оулд Дели. Здесь же мы читаем о фестивале Холи, во время которого люди поливают друг друга краской и водой [12: с. 15]. В другом тексте Сиори ведет подругу Джесику в японский музей и рассказывает о Сен-но Рикю – самом известном чайном мастере Японии, а также о том, что Япония славится своей чайной церемонией. Из их беседы мы узнаем об одном из японских полководцев Хидэоси и режиссере Тэсигара, который сделал фильм о Рикю [12: с. 16, 142]. В этом же разделе представлена народная легенда о соляной шахте в городе Величка в Польше [12: с. 17, 142–143]. В следующем тексте Дэвид рассказывает о португальской культуре [12: с. 19, 143–144]: характерных чертах португальцев (дружелюбные, открытые, улыбающиеся), манере вести беседу, языках, которые они учат, традициях, еде. Текст сопровождается картой, на которой отмечены основные португальские города.

Четвертый раздел учебника особенно богат национально-специфическими текстами и собственно культурными проявлениями, которых в данном разделе тринадцать. Здесь нам представлено большое разнообразие достопримечательностей мира: Шпиль тысячелетия в Дублине (Ирландия), скульптура Энтони Гормли «Ангел Севера» в Гейтсхеде (Англия), скульптура Сайго Такамори в токийском парке Уэно (Япония), искусственная пальма в центре Варшавы (Польша), Эйфелева башня (Франция) [12: с. 30–31, 145]. Кроме этого, мы знакомимся с такими историческими памятниками Китая в Пекине, как Запретный город, Великая китайская стена, «Птичье гнездо» (Пекинский национальный стадион), Храм Неба [12: с. 34, 146]. Далее размещена информация об известных местах паломничества туристов в Японии, а именно о храме Сэнсодзи, театре Кабуки (Токио), саде Рёандзи, Золотом павильоне Кинкакудзи, храме Киёмидзу (Киото), бронзовой статуе Будды (Камакура).

В том же самом разделе представлены различные факты из жизни и жизнедеятельности субъектов инокультуры: египетской певицы, известной в арабском мире Умм Кульсум, чешского писателя Богумила Храбала [12: с. 32, 119], южнокорейской актрисы Джанги Нара [12: с. 146], шотландского писателя Яна Ранкина, работающего в детективном жанре [12: с. 37]. В данном разделе получаем представление о мировых традициях, таких, как Ночь Гая Фокса (англ. Guy Fawkes Night), известная как Ночь костров (англ. Bonfire Night) или Ночь фейерверков (англ. Fireworks Night) [12: с. 35, 146], а также о свадебных традициях в Польше [12: с. 35, 146].

Интересно отметить, что русская культура также нашла свое отражение в исследуемом УМК. В десятом разделе учебника рассказывается о космонавте Валентине Терешковой: даны некоторые факты из ее биографии, сообщается о ее заслугах и наградах. В том же самом тексте упоминается еще одна женщина-космонавт Светлана Савицкая, которая полетела в космос через 19 лет после Валентины Терешковой. Более того, узнаем о том, что Валентина Терешкова была приглашена в резиденцию российского президента Владимира Путина для празднования своего 70-летия [12: с. 127].

Предложенные примеры демонстрируют богатство мира и многообразие человеческого бытия, представленного посредством английского языка в исследуемом учебнике, и подтверждают тот факт, что английский язык приобрел способность передавать национально-специфические черты разнообразных культур мира.

Итак, были разработаны принципы культурологического анализа количественной и качественной составляющих содержания учебно-методического комплекса по английскому языку. В процессе исследования социокультурного содержания была составлена классификация единиц содержания на основе наличия или отсутствия национально-специфического компонента.

Данные принципы легли в основу анализа современного учебно-методического комплекса «English Unlimited» издательства Cambridge University Press. Анализ количественной составляющей

содержания социокультурного компонента учебника показал, что большинство единиц содержания, которыми являются поликодовые тексты, имеют национально-специфический компонент, а, значит, являются культурно-маркированными. Проведенный анализ качественной составляющей подтвердил тот факт, что английский язык приобрел способность выражения и обозначения реалий различных культур мира, а не только англоязычных культур, что находит яркое проявление в современных учебниках английского языка. В перспективе представляется возможным провести классификацию национально-специфического компонента по роду содержащейся в нем информации, определить принципы включения национальных культур в УМК, а также составить культурную карту мира на основе исследований культурной картины мира, формирующейся у обучающихся посредством учебников английского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Богатырева, М.А.* Социокультурный компонент содержания профессионально-ориентированного учебника (английский язык, неязыковой вуз) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / М.А. Богатырева. – М., 1998. – 22 с.

2. *Верещагин, Е.М.* Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Русский язык, 1983. – 269 с. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного).

3. *Кулинич, М.А.* Учебник английского языка и основные этапы его эволюции / М.А. Кулинич // Учитель, ученик, учебник: материалы V юбилейной Всероссийской науч.-практ. конф.: сб. ст. Т. 1 ; отв. ред. Л.А. Городецкая. – М. : КДУ, 2009. – С. 29–38.

4. *Лотман, Ю.М.* Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю.М. Лотман; сост. Р.Г. Григорьева; пред. С.М. Даниэля. – СПб. : Академический проект, 2002. – 544 с. (Серия «Мир искусств»).

5. *Орбодоева, Л.М.* Теретические основы структуры и содержания учебника по практике межкультурного общения (языковой вуз, немецкий язык): автореф. дис. … канд. пед. наук / Л.М. Орбодоева. – М. : Моск. гос. лингвист. ун–т., 2003. – 31 с.

6. *Прохоров, Ю.Е.* Четыре свободных размышления о языке и культуре в свете книг С.Г. Тер-Минасовой / Ю.Е. Прохоров // Язык. Культура. Общение: сб. науч. тр. в честь юбилея заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасовой. – М. : Гнозис, 2008. – С. 84–95.

7. *Прошина, З.Г.* Контактная вариантология английского языка – основа для опосредованного перевода / З.Г. Прошина // Язык. Культура. Общение: сб. науч. тр. в честь юбилея заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасовой. – М. : Гнозис, 2008. – С. 198–207.

8. *Прошина, З. Г.* The ABC and Controversies of World Englishes = Основные положения и спорные проблемы теории вариантности английского языка : учеб. пособие / З.Г. Прошина. – Хабаровск, 2007. – 172 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ffl.msu.ru/img/pages/File/Proshina/the abc.doc.

9. *Сепир, Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологи: пер. с англ. / Э. Сепир; общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. – М. : Прогресс, 1993. – 656 с. (Филологи мира).

10. *Тер-Минасова, С.Г.* Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова.– 2-е изд., дораб. – М. : МГУ, 2004. – 352 с. – (Классический университетский учебник).

11. *Чернявская, В.Е.* Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, итердискурсивность: учеб. пособие / В.Е. Чернявская. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 248 с.

12. *Tilbury, A.* English Unlimited : B 2 Upper Intermediate Coursebook / A. Tilbury, L A. Hendra, D. Rea, T. Clementson; course consultant A. Doff. – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – 170 p.

МЕТАФОРА В НАУКЕ И НАУЧНАЯ МЕТАФОРА В АСПЕКТЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРОЛОГИИ: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Л.В. Кульчицкая

Кульчицкая Лариса Валентиновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, докторант Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).

Контактный адрес: koulchitskaya@mail.ru

С позиций концептуального подхода в статье предложен способ дифференцировать метафоры в рамках общего понятия «метафора в науке» с выделением научных метафор в особый класс. В качестве упорядочивающего фактора использованы обеспечивающие институциональность науки понятия научной парадигмы и научного дискурса. В работе затронута проблема отмежевания научной метафоры от аналогии, модели и парадигмы. Материалом для анализа метафор послужил язык современных физических теорий.

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафора в науке, научная метафора, ядерная метафора, метафорические следствия, метафорическая концептосфера, парадигма, модель, аналогия, эпистемно-дискурсивная практика, парадигмальная метафора, дискурсивная метафора.

На протяжении существования теории метафоры со времен учения Аристотеля метафора признавалась орнаментальным средством, недопустимым в языке науки, но вопреки запретам проникала туда. А. Ричардс писал: «[М]етафора вездесущий принцип языка… Даже в строгом языке точных наук можно обойтись без метафоры ценой больших усилий» [13: с. 46]. Сформированная в рамках когнитивной науки теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа-М. Джонсона (вместе с положениями теории смешанного пространства Ж. Фоконье и М. Тернера) вполне убедительно позволяет обосновать присутствие метафоры в науке [35; 41], впрочем, уточнив при этом само понятие метафоры как концептуальной сущности и значительно сместив границы ее предметного поля. Тем не менее, споры об эпистемной значимости метафоры в науке и ее допустимости не прекращаются по сей день. Объяснение видится в том, что метафора стала объектом междисциплинарных исследований и в науке накопилось множество конфликтующих теоретико-исследовательских подходов относительно данного феномена. Сегодня можно выявить три существенных для теории научной метафоры момента, являющиеся следствием междисциплинарности, многоаспектности и неопределенности метафоры:

– непрекращающиеся споры об эпистемной значимости метафор и, следовательно, допустимости – недопустимости метафоры в науке;

– сосуществование в одном смысловом ряду терминов и понятий *научная метафора* и *метафора в науке* без их дифференциации;

– сопряженность и отождествление метафоры как ментальной сущности с научной моделью, научной парадигмой и аналогией.

Философ Е. Гоголенкова пишет, что сегодня «…рассуждения о "метафоричности" науки стали уже общим местом. Мода на метафоры порой граничит просто с дурновкусием. Метафоры кочуют по научным и околонаучным текстам, вызывая подчас недоумение и раздражение. И пусть присутствие метафор в научном дискурсе – признанный факт, следует всё же поставить вопрос о том, в каких контекстах оно правомерно…» [7: с. 141]. Полагаем, вопрос следует ставить не о контекстах. По авторитетному мнению Н.Д. Арутюновой, «[м]етафора дисгармонирует со многими параметрами … научного дискурса» [1: с. 15]. Вопрос следует ставить иначе: о присутствии какой метафоры в научном дискурсе как о признанном факте идет речь? Разногласия об эвристической ценности метафоры и ее недопустимости в языке науки имеют под собой самые разные основания, но в целом являются результатом несогласия о предмете мысли, который именуют общим словом «метафора».

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы уточнить понятия метафоры в науке, научной метафоры и метафоры в языке науки, а также разграничить понятия модели, парадигмы и аналогии. Начнем с изложения основных положений теории концептуальной метафоры. Пользуясь её постулатами, уточним понятие метафоры в науке, соотнеся его с аналогией, научной моделью и парадигмой. Затем на конкретных примерах (в основном из физики) покажем, какие метафоры встречаются в науке и какими единицами они реализуются в языке научного описания с тем, чтобы ответить на вопрос, какие метафоры неизбежны и оправданы.

Отправной точкой сущности метафоры в науке может стать концептуальная теория метафоры в том виде, в каком она сформулирована в работах

Дж. Лакоффа и М. Джонсона [36–39] для первичных метафор и развернутых метафор как совокупности первичных [38: с. 45–59, 60–73].

Концептуальная метафора признается одним из ведущих когнитивных механизмов осмысления одного через другое [38: с. 45]. Это закрепившаяся опытом в структурах головного мозга нейронная связь-проекция между областью источника и областью цели («cross-domain mappings from a source domain to a target domain» [38: с. 58]).

Концептуальная метафора – это в первую очередь ментальный конструкт, а затем уже явление языка и практической деятельности. Языковые / речевые реализации (instantiations) концептуальной метафоры называются «метафорическими выражениями». Последние позволяют судить о процессах, реализующих недоступные прямому наблюдению структуры сознания. Процедура исследования метафор, реализованных в естественном языке, состоит в следующем. Берется репрезентативный объем текстов с метафорически употреблёнными словами. Эти употребления затем группируются тематически в соответствии с задаваемым ими фрагментом картины мира. Например, высказывания о любви:

Look how far we've come. It's been a long bumpy road. We can't turn back now. We're at a crossroads. Our relationship is off the track. The marriage is on the rocks. We are spinning our wheels. The marriage is out of gas.

В этих выражениях буквальные значения понятийной сферы ПУТЕШЕСТВИЕ регулярно соотносятся с соответствующими элементами понятийной сферы ЛЮБОВЬ. Любовь осмысляется в понятиях путешествия. Так моделируется главная «ядерная» метафора (в теории Лакоффа-Джонсона ей нет названия). Эта сложная метафора любви-путешествия состоит из более простых метафорических проекций, именуемых следствиями (entailments):

ЛЮБОВЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЛЮБЛЕННЫЕ – ЭТО ПУТЕШЕСТВЕННННИКИ

ЦЕЛИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ – ЭТО СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ

ОТНОШЕНИЯ – ЭТО ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ТРУДНОСТИ – ЭТО ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ [38: с. 64–69].

Исследовательская процедура «выведения» концептуальной метафоры из метафорических выражений противонаправлена процессу вербализации метафор. Концептуальная метафора первична, она *воплощается* в языковых формах. Лингвистическая метафора вторична, она *восходит* к структурам сознания, *выводится* из них. По этим соображениям последователи Дж. Лакоффа и М. Джонсона процесс воссоздания концептуальной метафоры именуют метафорическим моделированием, а саму концептуальную метафору и ее условную запись в виде проекции – метафорической моделью. Лакофф и Джонсон отдают предпочтение термину «концептуальная метафора», их последователи – правильно «ориентированному» термину «метафорическая модель», подчеркивая цель анализа – моделирование мыслительных процессов [4; 11].

Запись концептуальной метафоры в виде проекции и сам переводной русский термин *проекция* для *mapping* может вызвать ложное представление о том, что в теории Лакоффа-Джонсона понятие метафоры сводится к традиционному переносу от источника к цели. Это не так. Во-первых, термин *mapping* указывает на характер проекции – она трехмерная, картографическая (впервые перевод «картографическая проекция» предложен М.Г. Лебедько [9: с. 91]). Во-вторых, картографическая проекция применяется в отношении структур мозга, в которых «хранится» информация. Основой для теории Лакоффа-Джонсона [38: с. 46–47] послужили четыре источника, в частности, нейронная теория С. Нараянан [38: с. 569–572] и теория М. Тёрнера-Ж. Фоконье о смешанном пространстве в том виде, как она представлена в работе 1985 г. [26]. Суть теории смешанного пространства (др. названия: теория блендинга, теория концептуальной интеграции) изложена также в последующих работах [25; 28; 27]; пояснения к ней и анализ можно найти у Э.В. Будаева и А.П. Чудинова [5: с. 59–60], Дж. Тейлора [42: с. 197–198], З. Кёвечеша [32: с. 267–284]. Вклад указанных выше теорий в «интегрированную теорию первичной метафоры» состоит в том, что концептуальная метафора понимается не как перенос, а как взаимодействие нейронных областей источника и цели, в ходе которого формируется многомерная сеть нейронных связей (нейронной теории метафоры посвящена отдельная подробная статья [35]). Связи эти пространственные, что и объясняет выбор термина *mapping*. В результате такого взаимодействия формируется смешанная область, общая для области источника и области цели – «блендинг». В этой смешанной области в процессе смыслового восприятия метафоры (декодирования) формируется новое знание. Теория Лакоффа-Джонсона не противостоит теории Тёрнера-Фоконье, она основана на ней; в работах более позднего периода эта связь тоже прослеживается, в том числе в ссылках на их труды [35]. Результатом понимания метафоры, таким образом, становится принципиально новое знание.

На данном этапе рассуждений можно с определенностью сказать, что термин «метафора в языке науки» относится ко всем метафорам, которые могут встретиться в языке научного описания независимо от оправданности их присутствия.

Примеры в пользу эпистемной значимости и допустимости метафоры в науке. Допустимость метафоры и ее эпистемная значимость постулируются философами, лингвистами и наиболее убедительно (потому что ретроспективно) – историками науки. Исследователь научной метафоры Г.С. Баранов пишет: «Немногие исследования, касавшиеся вопроса о роли метафоры в науке, в конечном счёте отрицали какую-либо значительную когнитивную и эвристическую ее роль в сфере научного познания» [2: с. 3].

Философы науки приводят ряд неоспоримых примеров того, как метафоры становились основой будущих теорий. Р.М. Янг, исследовавший метафоры Ч. Дарвина в «Происхождении видов», сообщает, что тот многократно переписывал свой труд, тщетно пытаясь освободиться от метафор. По свидетельству Моса Пэкхэма, занимавшегося подсчетами, «…из 3 878 предложений первого издания «Происхождения видов» (1861), около 3 000 (75 %) были переписаны от одного до пяти раз» [44: с. 375]. Дарвин не мог подобрать буквальных выражений для воплощения в языке новаторской идеи (в современных терминах концептуальной метафоры) естественного отбора. Множество подобных свидетельств предоставляет физика. «В свое время Лейбниц поставил под сомнение закон всемирного тяготения из-за того, что Ньютон так и не смог показать, что же такое гравитация» [44: с. 378] и далее: «Применяя понятие тяготения (gravitas) к взаимодействию тел, Ньютон … выражался метафорично. Слово «тяготение» не имело тогда своего современного значения «взаимное притяжение двух тел», означая человеческое качество» [44: с. 390].

Современный метаязык обязан Ньютону целым рядом метафор, что, однако, вовсе не означает, будто именно Ньютон ввел их в обиход. Речь идет о концептуализации физического явления через нечто понятное и данное человеку в чувственных ощущениях, о чём можно судить по отобранным нами примерам:

(1) ***Pushmepullyou*** [33: с. 18] – *досл. «тяни-толкай»,* о силе всемирного *тяготения;*

(2) *[T]he ground* ***pushes us*** *when we walk* [33: с. 26];

(3) *Action and reaction forces* ***act on*** *different bodies* [33: с. 25];

(4) *[T]he table* ***pushes back*** *just as hard as we push against it* [33: с. 24];

(5) *[T]he earth* ***is pulling*** *you* ***down*** *with a force* [33: с. 23];

(6) *[T]he* ***resistance*** *the two balls* ***offer*** [33: с.17];

(7) *[T]he floor* ***presses upward*** *on the chair* [33: с.25].

На этой же метафоре строится теория движения небесных тел. Движение планет по орбите, если упростить, подчиняется гравитации *(pushmepullyou*) и центро*стремительной* силе, в английском – *centripetal, от лат centripetus,* где *centrum – центр, petus – ищущий, petere – искать* [43: с. 150];

(8) *The gravitational* ***attractive force on*** *a planet must provide the* ***centripetal force*** *needed* ***to hold it in*** *orbit* [33: с. 46];

(9) *Either the law of gravitation, on which the calculations were based, was not accurate, or else some unknown body* ***was attracting*** *Uranus* ***from its*** *predicted* ***path*** [33: с. 60].

Кажется, что выделенные лингвистические метафоры будто бы параллельно подключаются к объяснению (педагогическая функция) научно обоснованного знания. Однако это те самые метафоры, на которых изначально строились гипотезы. Показателен пример, описываемый Р.М. Янгом: «…Вспоминается мой первый курс физики. На третий день я подошел к преподавателю и спросил: "Что такое сила?" Он не без лукавства ответил: "Это некорректный вопрос. Единственно, что я могу Вам ответить, сила – это произведение массы на ускорение. Оставаясь в рамках науки, мы не углубляемся далее"» [44: с. 380]. Метафоры не нужны состоявшейся теории, но присутствуют в ней концептуально и ценны способностью воссоздать проделанный научной мыслью путь к закрепленному в формулах и законах знанию. Метафорические термины получают строгие научные определения, и метафоры уходят в небытие: «Рано или поздно практическая речь убивает метафору» [1: с. 9], но не концептуальную. Понятие силы, например, по сей день сохраняет свое метафорическое осмысление, в чем можно убедиться, обратившись к теориям, в рамках которых исследователи пытались с единых позиций объяснить всё сущее в мире. Это теории гравитации и электромагнетизма в физике Ньютона и Максвелла и современные теории, именуемые обобщенно «теориями великого объединения»[1] (Grand Unified theories). В основе последних лежит идея подчинения природы единому действию трёх из четырех основных сил за исключением гравитации: электромагнитных, внутриядерных (удерживают протоны и нейтроны внутри атомных ядер) и сил слабого взаимодействия (действуют в ***мире*** субатомных частиц). Слабыми силами, проявляющимися в различных ипостасях, занимается теория, известная под названием ***суперструн*** (досл. *суперрезинок*) [24; 6].

Каждая из предшествующих теорий имела в своей основе доминирующую метафору, которая, «отмирая», готовила почву для появления последующих учений. Так, донаучное атомистическое

[1] *Paul Davies. The search for a Grand Unified Theory of Nature* [6].

учение Левкиппа и Демокрита (V в. до н.э.), в котором ещё не было места силе, руководствовалось представлением о том, что всё в мире состоит из элементарных (т. е. неделимых) ***атомов*** (греч. *atomos* – неделимый [43: с. 54]) и пустот между ними; свободное перемещение атомов в пустоте и их случайное соединение дают всё многообразие форм материи [24: с. 2, 4]. Первая атомистическая теория утратила со временем научную значимость, однако, ее отголоски сохраняются в обиходно-бытовом сознании и объективируются, как подметила В.Н. Телия, в выражениях «до мельчайшего атома», «атомизм восприятия», «атомистическая концепция» [18: с. 175].

Современный язык науки осознанно или неосознанно сохраняет «рудименты» присутствия других теорий. Так, теория электромагнетизма унаследовала понятие ***electron*** (греч. *янтарь*) от Фалеса Милетского, который 2500 лет назад экспериментировал с янтарем. Сегодня ***электрическим зарядом*** называют «то, что происходит при трении янтаря или эбонита о мех» [33: с. 148]. В данном случае для сформированного понятия или представления о ранее неизвестном явлении найдено метафорическое имя. Другой пример – не оправдавшая себя флюидная теория электричества и создание лейденской банки для сбора электрической «жидкости» [34] напоминают о себе выражениями:

(10) *The moving electrons are the* ***current****; electric* ***current****; the* ***flow*** *of electrons* [33: с. 159].

Значимые для физики разделы рождались из предположения условной тождественности онтологически несовместимых вещей. ***Квантовая механика*** и ***квантовая*** электродинамика берут начало с предположения М. Планка (1900) о том, что электромагнитное излучение исходит в виде *дискретных пучков* (packets, или quanta), которые сегодня называются фотонами [24: с. 18]. Усовершенствованная модель *атома* Бора-Резерфорда, в которой атом уже вовсе и не атом (неделимый), а имеет сложное строение, называют «планетарной моделью» атома, указывая на сходство атома с Солнечной системой. Наконец, в мире субатомных частиц мионы, лептоны, адроны и проч. удерживаются благодаря действию сил, уподобленных эластичным резинкам, откуда название теории – the superstring theory:

(11) *…the gluon force resembles* ***a string of elastic*** [24: с. 33], ***pieces of elastic*** *joining the quarks* [24: с. 68].

История физики – это история сменяющихся этапов на пути поиска единства физического мира [24: с. 8], поиска единого для него объяснения, а также связей и аналогий между онтологически несходными сущностями. С уверенностью можно признать, что опредмечивание непредметных сущностей относится к сфере действия метафоры, именуемой на языке Лакоффа-Джонсона онтологической. Например:

(12) *The complication arises in that unlike electromagnetism, which is a* ***two-body*** *force, the strong force is responsible for binding three quarks together in baryons* [24: с. 28].

Электромагнитная сила уподоблена двухтелесной сущности (частица+волна). Примером метафорической онтологизации могут служить научно-исторические факты о том, как исследователю удалось что-то (весьма неосязаемое) ***связать***, установить между этим чем-то ***связь***. Максвелл теорией электродинамики ***связал*** математически (1850-е годы) законы электричества и магнетизма и установил связь (***link***) между теорией электромагнитного *поля* (*magnetic* ***field***) и оптикой, показав, что свет состоит из электромагнитных *волн*, объединив в теории, казалось бы, несовместимое: корпускулярные и волновые свойства. Так косвенно выражается метафорическое осмысление сил, мнимых воспринимаемых как физические предметы.

Частным доказательством правомерности исходной метафорической онтологизации непредметных сущностей в науке в принципе может служить знаменитая формула Эйнштейна $\Sigma = mc^2$, указывающая математически на возможность перехода энергии в материю и обратно. Ставшая законом, сама идея первоначально граничила с фантастикой и сегодня не вполне осознается неспециалистами, настолько велик разрыв между сведенными воедино сущностями.

На приведенных выше примерах мы хотели показать, насколько велика роль метафорического осмысления научных объектов в такой науке, как физика, истинность положений которой высоко верифицируема. Сказанное подводит к мысли о том, что науку можно рассматривать как познавательную (эпистемную) ситуацию в единстве деятельностного и коммуникативного аспектов. Наука направлена на *получение нового знания* (деятельностно-эпистемный аспект), и *распространение* его между членами научного сообщества (коммуникативно-дискурсивный аспект). Совместно эти два аспекта делают науку институциональным явлением. Полагаем, что научно-институциональные понятия парадигмы с одной стороны и научного дискурса с другой помогут дифференцировать понятие метафоры в рамках родовой категории «метафора в науке».

Парадигма. В *деятельностном* аспекте научное сообщество руководствуется, по Т. Куну (1962), «набором общепринятых теоретических взглядов и убеждений, которые составляют основу для научной инициации и пропуска обучающегося в профессиональную научную деятельность» [34: с. 5].

Иными словами, рядом «признанных всеми научных достижений, которые в течение определенного времени дают научному сообществу образец (model) постановки проблем и их решений» [34: с. 10] – научной парадигмой. В этой связи говорят о парадигмальных моделях (образцах) науки – системах научных пресуппозиций и установок, определяющих направление научных исследований.

Нерасчлененное понятие парадигмы Т. Куну потребовалось для выявления этапов развития науки. Однако понятие разложимо на компоненты: 1) научные достижения прошлого (решённые головоломки), служащие исходными допущениями; 2) закон, теория, её объекты (онтологический компонент); 3) необходимое оборудование и 4) практика применения результатов. Для нас такое членение полезно в целях разграничения неоднородных явлений, объединяемых общим понятием «научной метафоры / метафоры в языке науки».

Понятие парадигмы тесно связано с метафорой, аналогией и моделью. «Большинством историков науки сегодня … признан тот факт, что конкретное исследование всегда основывается на определенных парадигмах, которые сами в значительной мере метафорически ориентированы» [20: с. 184]. Часто между концептуальной метафорой и парадигмой различия едва уловимы, как и различия между метафорой и аналогией, метафорой и моделью. Нередко в разных источниках одни и те же примеры служат иллюстрацией и метафоры, и аналогии, и модели, и парадигмы. Лингвистическая метафора *солнце всходит и заходит* является рефлексом концептуальной *метафоры*, а также рефлексом геоцентрической планетарной *модели* Птолемея. В другой терминологии – это рефлекс донаучной *парадигмы*. Такое положение дел только запутывает. Очевидно одно: все эти понятия указывают на способ, которым информация находит свое выражение в языке и речи (лингвистический подход), и способ, которым она обрабатывается сознанием (когнитивный подход). Мы попытаемся показать соотношение этих понятий и определить каждому из них место на ментальном и лингвистическом уровнях, с тем чтобы обратиться к ним позднее при анализе отобранных из научных текстов метафор.

Аналогия в переводе с греческого (αναλογια) значит «пропорция», например, 2 относится к 4, как 4 к 8. Аналогию понимают как указание на сходство между объектами или их отношения в двух разных областях, т. е. А относится к В как С относится к D. Аналогии могут выражаться алгебраически, и тогда они рациональны. Аналогии могут быть гипотетическими, и тогда они метафоричны. Гипотетические аналогии, согласно Д. Гентнер и ее коллегам, могут оказаться правильными, а могут изначально быть ложными [29]. Рассмотрим пример Н.Р. Кэмпбелла (1920), цитируемый Д.М. Бэйлер-Джоунз [22: с. 111]. Кинетическая теория газов (объект области цели) – это гипотеза, сформулированная в виде предположений. Объектом области источника тогда будет «движение огромного числа бесконечно малых и в высшей степени эластично-упругих шариков». В современной терминологии эти шарики в коробке будут моделью, хотя Н.Р. Кэмпбелл и не употребляет данного термина. М. Хесси предлагает считать такие научные модели аналогиями [30], различая «формальные» и «материальные». Формальные аналогии указывают на отношения между некоторыми идентичными или, по меньшей мере, сопоставимыми элементами из двух различных областей (доменов). В «материальных» аналогиях элементы из двух различных областей проявляют сходство некоторых свойств объектов [31]. Примером формальной аналогии может служить описанный П. Серио исследовательский метод «русских пражан» Якобсона и Трубецкого. Он пишет, что идеи конвергентного и дивергентного развития естественных языков, а также понятия *Sprachmischung (смешение языков), Sprachbund (языковой союз), и понятия гибридизации* формировались под влиянием острой полемики, развернувшейся в биологии в связи с появлением теории эволюционного развития Дарвина. «Не проводя аналогии между объектами исследования, как это делал Шлейхер, для которого языки – это живые организмы, Якобсон проводит аналогию между *исследовательскими методами*: эволюцию языков можно исследовать подобно тому, как исследуется эволюция живых организмов» [17: с. 328].

Модель. Считается, что одной из первых о моделях в науке заговорила М. Хесси (1953), о научных моделях и научных метафорах – Р. Харре (1960) и М. Хесси (1966) [23: с. 126]. Аналогию между литературной метафорой и научной моделью в 1962 г. провел М. Блэк [8: с. 49]. Между метафорой и моделью существуют различия. Ж. Мартэн и Р. Харрэ видят их в следующем: «Метафора – это фигура речи; модель – это нелингвистическая аналогия, связывающая объект или положение вещей с некоторыми другими объектами или положениями дел. Примером модели служит образ жидкости для объяснения предполагаемого действия электрической энергии. В этом случае жидкость служит моделью для нашего представления о природе электричеств. Если, однако, мы затем говорим об «оценке потока» или об «электрическом токе», то мы используем метафору, основанную на модели жидкости… Модель порождает множество метафорических терминов (*поток, количество электричества, конденсатор, сопротивление* и т. д.), которые мы используем при формулировании

теории электричества; при этом понятно, что отсутствует намерение точь-в-точь сравнивать жидкость и электрическую энергию» [40: с. 100]. Такое объяснение удовлетворяет, если считать метафору лингвистическим явлением, но в нём не уточнено, следует ли понимать модель как исключительно ментальное явление. Если модель ментальна или ментально-материальна, то с позиции когнитивистики, признающей локус метафоры в сознании, различия между концептуальной метафорой и моделью в такой трактовке стираются.

Сходная позиция у Д.М. Бэйлэр-Джоунз с тем отличием, что её концепция, судя по рассуждениям, ближе постулатам когнитивной теории метафоры. Как следствие, расхождения проявляются в том, что у нее модель 1) может существовать идеально и материально; 2) материальной формой модели может выступать помимо прочего текст; 3) модель определяется через аналогию. Она пишет: «…Большинство научных моделей далеко не столь материальны, как материальны соединенные стержнями шарики для изображения молекулы…; они теоретичны» [22: с. 109; 23: с. 29]. «Модель представляет собой интерпретативное описание феноменов (объектов и процессов), которое облегчает познавательный доступ (перцептивный и интеллектуальный) к этому явлению [22: с. 108–109]. «Модель всегда частична». «Модели основаны на аналогиях, но они не аналогии. Аналогия – это отношение между объектами и процессами, а модель – описание или материальная репрезентация (e.g. макет молекулы). <… > Как только аналогия описана и интерпретирована (материально оформлена в виде графиков, алгебраических выражений, текстов и т. д.), она становится моделью» [22: с. 113]. Наконец, «научные модели – это метафоры» [22: с. 114, 118].

Из сказанного можно сделать **выводы о соотношении понятий «метафора» – «модель» – «аналогия» – «парадигма».**

1. Аналогия, как и концептуальная метафора и рациональное мышление, является когнитивным инструментом обработки информации. И метафорическое, и рациональное мышление коренятся в аналогии – умении схватывать сходство в различии. Аналогия отличается от метафоры тем, что может быть не только метафорической, но и рациональной [3: с. 73].

2. На наш взгляд, концептуальная метафора, хотя и не сводима к научной модели, всё же может быть уподоблена ей, но лишь *в некотором отношении*. Модель, как и метафора, существует и ментально и материально: если модель получила описание, прежде того она была в мышлении. Что касается отношения между моделью и научной метафорой (но не метафорой в науке!), то они находятся в отношении частичного перекрещивания. Одной из форм материального овнешнения модели может служить текст / дискурс (как вербальная интерпретация метафорической аналогии). Тогда совокупность метафор (часть от всех речевых средств) в когнитивно-лингвистическом аспекте как раз и дадут искомую область пересечения. Это будет когнитивно-метафорическое пространство, представленное ядерной метафорой и всеми её следствиями. В таком понимании и научная теоретическая модель как когнитивно-лингвистическая интерпретация метафорической аналогии окажется ядерной научной метафорой в совокупности своих метафорических следствий. В отличие от аналогии – голой схемы рассуждения – модель наполнена содержанием, объяснена.

3. Модели, доказавшие свою научную состоятельность, становятся собственно научными теориями и законами. Одни модели проходят долгий путь, прежде чем заложенные в них метафорические гипотезы приведут к знанию, другие оказываются нерелевантными для научного открытия. Еще в конце XX в. считалось, что компьютерная метафора (уподобление структур мозга компьютеру) исчерпала себя [8: с. 66–67] и даже недопустима [19: с. 113]. Моделирование компьютерной деятельности по образцу *частичного* функционирования структур головного мозга прошло проверку временем и превратило компьютер в неотъемлемую часть жизни человека. Сегодня снова слышны возражения против «компьютерной метафоры» уже от биологов, но предлагающих новую научную парадигму [10: с. 149], а вместе с ней, вероятно, новую метафору и, очевидно, новую постановку научных проблем.

4. Материальная аналогия может реализоваться «теоретической метафорой», указывая на научные объекты, а формальная аналогия – метафорической концептуализацией исследовательского метода (пример П. Серио [17]).

5. Парадигма связана с моделью, метафорическим плюс рациональным мышлением и аналогией как целое и его части, при этом модель соотносится с онтологическим компонентом парадигмы «теория и ее объекты» и компонентом «исходные допущения», что покажем ниже на примерах. При этом следует помнить, что ведущим механизмом научного познания выступает преимущественно рациональное мышление, метафорическое же действует там, где требуется «удлинить "руку" интеллекта» [12: с. 72].

Начнем с того, что покажем, как метафорически концептуализируется целая *теория* (13–18) и ее объекты (14–16), а также *действия* с ними и *процессы*, вызванные действием сил (14, 17, 18):

(13) ***Superstring theory*** [24: с. 67-69];

(14) …*the physical world is* ***made out*** *of nothing but little* ***strings*** [24: с. vii];

(15) *the gluon force resembles* ***a string of elastic*** [24: с. 33];

(16) ***pieces of elastic*** *joining the quarks* [24: с. 68];

(17) … *make a solitary quark* ***stick out*** *like a sore particle* [24: с. 25];

(18) … *attempts* ***to smash*** *hadrons by collision* ***into*** *their constituent quarks* [24: с. 33].

Эти метафоры можно назвать «теоретическими». В свете сказанного выше об аналогиях и моделях, аналогия между функционированием сил взаимодействия субатомных частиц (область цели) и действием резинок-струн (область источника), описанная средствами языка, является моделью. Метафора физического взаимодействия как резинок-струн, будучи ядерной, главной метафорой (архиметафорой) является также и парадигмальной метафорой, поскольку она задает направление исследованию. Остальные метафоры (14–18) – ее следствия. Совместно с архиметафорой «суперрезинок» её следствия формируют понятийный каркас модели, которой предстоит стать теорией, и соотносятся с компонентом парадигмы «теория и ее феномены», пересекая частично в указанном выше смысле «предметное поле», точнее концептосферу понятия «модель». Следует предположить, что адронный коллайдер как теоретико-материальная модель будет соотноситься с компонентом парадигмы «методы и инструменты» (проверки теории).

Что касается метафор, соотносимых с компонентом «исходные допущения и установки», то они указывают на степень, в которой привлекаются понятия и термины из других парадигм или областей знания. Связь с теориями предшественников в бо́льшей мере рациональна. Поэтому, даже используя метафору, исследователи склонны логически оправдывать её присутствие, указывая на источник, как в примерах ниже (эксплицированное выражение допущения подчеркнуто в тексте).

(19) In Einstein's theory there is no gravitational force as such (though *we shall continue to refer loosely to the* ***«force of gravity»***) [24: с. 16].

Метафоры ньютоновской механики применяются для описания, например, разницы потенциалов (20, 21), а также действия совсем иной силы – слабого взаимодействия (22):

(20) *A* ***push behind*** *a current* [33: с. 160];

(21) *We may think of the potential difference between two points as the amount of '****push'*** *available to* ***move*** *charge* ***between*** *the points* [33: с. 161]*;*

(22) *pushing power* of neutrinos [24: с. 28].

Слабое взаимодействие осмысляется в терминах теории электричества:

(23) *It is possible to understand the weak force in terms of a weak '****charge'*** *and a weak '****current'*** *in many ways analogous to the concepts of electric charge and current.* [24: с. 53].

Понятно, что эти метафоры вторичны по числу научных концепций (теорий), в которых они фигурировали.

Таким образом, теоретические метафоры двух групп – «теория и ее объекты» и «исходные допущения» – обязаны своим происхождением научным парадигмам и соотносятся с метафорическими моделями. Их можно считать собственно научными метафорами, однозначно указывающими на породившую их парадигму. Сюда же можно отнести метафоры-рудименты из утративших научную актуальность «теорий», но по-прежнему встречающиеся в тексте в строгом научном значении, отличном от первоначального (*атом*).

Коммуникативно-дискурсивный аспект. Утверждение новой парадигмы стимулирует дискурсивную практику – совокупность коммуникативных актов, направленных на обмен научными достижениями. Свойствами, определяющими понятие научного дискурса, являются «диалогичность» и интертекстуальность. Исследователь-коммуникант «обязан вступать в диалогические отношения с уже имеющимися концепциями, теориями, идеями» [11: с. 41]. Диалогичность изложения выражается в коммуникативной направленности, с одной стороны, на адресата, а с другой – на исследователей, позиция которых поддерживается или оспаривается. Интертекстуальность ([21: с. 48-62]) – система межтекстовых связей (ссылок, цитат) – обеспечивает взаимосвязанность всех дискурсивных событий и преемственность научного знания, она обращает совокупность текстов в дискурсивную практику, формирующую в понятийно-содержательном плане единое научно-специфическое когнитивное пространство. Текст выступает не изолированным речевым произведением, а частью этой целостной системы коммуникативных актов, то есть компонентом общей дискурсивной практики в рамках сложившейся научной парадигмы. Система концептуальных метафор в научном дискурсе формирует метафорическое когнитивное пространство, смыкающееся с моделью в оговоренном выше смысле.

Общность эпистемно-коммуникативных целей научного сообщества требует для дискурсивных действий *нормативного способа*, каковым является специфическая *подсистема языковых средств*, обслуживающая данный дискурс (*научный стиль речи*). Эта подсистема выявлена и исследована в рамках функциональной стилистики М.Н. Кожиной, Н.М. Разинкиной, В.Л. Наером; в сопоставительно-прикладном аспекте – Н.К. Рябцевой [15; 16]. Словарь Н.К. Рябцевой активного типа предлагает стандартные способы представления научных действий, принятые в английской и русской практике научной речи [14]. Среди них имеются основанные на метафорах идиоматичные выражения, такие как

I now turn to illustrate P, leaving aside P, to cast light on the ways in which P, the theory hinges on P и др.

Мы считаем возможным говорить о метафорической дискурсивной практике применительно к научному дискурсу по следующей причине. Научный коллектив на данном отрезке истории науки руководствуется «совокупностью … представлений о том, «как должна выглядеть хорошая научная работа» [16: с. 282], и выбор речевых средств поэтому носит нормативный характер. Это должно относиться и к метафорам – рефлексам той части метафорической концептосферы, которая не соотносится с рассмотренными выше компонентами парадигмы. Назовем их условно дискурсивно-коммуникативными метафорами, в отличие от рассмотренных выше парадигмальных метафор.

В языке научного текста принято выделять три пласта лексики: частнонаучные термины, общенаучную (метанаучную) лексику и общеупотребительную, в том числе метатекстовую. Термины служат указаниями на онтологическую часть теории – ее объекты. Метанаучные выражения описывают исследовательскую деятельность и общие свойства исследуемых объектов в отвлечении от специфики конкретных наук: процесс исследования, обработка данных, получение выводов и результатов, причина и следствие, влияние, изменение, развитие. Метатекстовые выражения характеризуют структуру текста (*во-первых, во-вторых, перейдем к*) и способы обращения с текстом (управление вниманием читателя, выделение главных мест и т. д.) [16: с. 283 и далее].

Здравый смысл подсказывает, что для каждой из этих групп буквальных выражений найдется его метафорический «антипод» в «репертуаре» метафорической концептосферы. В нашем материале встретились следующие метанаучные метафоры, роль которых состоит в передаче знаний эффективным, но стандартным для английского языка способом с привлечением метафор ТЕОРИЯ – ЭТО СТРОЕНИЕ (24, 25), ОПОРА (30), ИССЛЕДОВАНИЕ – ЭТО ПУТЬ (26, 27, 28), ТЕОРИИ – ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЕ СУЩНОСТИ (29):

(24) *quarks and leptons represent* ***the bottom level of structure*** [24: с. 26];

(25) *The* **arrows** *of explanation always* ***point downwards to …*** [24: с. 1];

(26) *[Quantum physics] ... has a proven* ***track record…*** [24: с. 52];

(27) *... the problem had to* ***be sidestepped*** *by assuming that…* [24: с. 64];

(28) *… to offer promising* ***avenues*** *of investigation* [24: с. 67];

(29) *The theory is* ***recast*** [24: с. 62];

(30) *Those models* ***based upon*** *a mathematical conception…* [24: с. 14].

Метафорические термины и выражения связей между метафорически терминированными объектами соотносятся с парадигмальной частью метафорической концептосферы. Метанаучные выражения и метатекстовые средства (появление последних маловероятно) можно соотнести с остальной областью метафорической концептосферы – коммуникативно дискурсивной. Сюда же относятся и встречающиеся в научном тексте общеупотребительные метафоры, появление которых, хотя и нежелательно, но диктуется прагматикой отправителя.

Так, вместо того чтобы сказать нейтрально ***лишить*** *теорию предсказательной силы*, говорят более образно: (31) ***robbing*** *the theory* **of** *predictive power* [24: с. 66]. Другой пример: в мире субатомных частиц мионы, лептоны, адроны и проч. именуются зверинцем (32) *a* ***zoo*** *of objects, particle* ***species*** [24: с. 21]. Это так называемые «возмущающие рассудок» украшательства общеупотребительного языка, предмет исследования стилистики. Злоупотребление такого рода метафорами недопустимо. Такие метафоры можно назвать метафорами в языке науки по факту их присутствия там, но не научными метафорами. Критика в адрес метафор, по сути, направлена против них. С точки зрения концептуальной теории метафоры лингвистические метафоры ***лишить*** *теорию чего-либо* и ***rob*** *the theory* в равной мере восходят к одной и той же концептуальной онтологической метафоре опредмечивания теории-идеальной сущности. Концептуальная метафора неизбежно присутствует в науке – познании и научном дискурсе – особенно на этапе зарождения новой парадигмы, однако форма ее реализации в тексте подчинена законам стиля. Это требование относится в первую очередь к дискурсивным метафорам, и во вторую – к метафорам, выражающим связи и отношения между научными объектами.

Известно, что общенаучный язык значительно разнится в зависимости от того, предмет какой науки подвергается описанию – естественно-научной или гуманитарной. Это относится и к метафорической составляющей. Можно предположить, что в естественнонаучном дискурсе соотношение научно-теоретической (парадигмальной) и коммуникативно-дискурсивной составляющих метафорической концептосферы будет иным, чем в научно-лингвистическом дискурсе.

Совокупность парадигмальных и коммуникативно-дискурсивных метафор в когнитивно-лингвистическом аспекте формирует общую лингво-когнитивную категорию метафор в науке / метафор в языке науки. К собственно научным метафорам можно отнести парадигмальные метафоры и их следствия («метафорический каркас» научной модели), особенно метафорические категоризации

научных объектов. Метанаучные и метатекстовые метафоры, а также общеупотребительные метафоры можно причислить к дискурсивно-коммуникативным. Класс метафор для концептуализации *отношений* между метафоризируемыми объектами представляет собой нестрогое множество (fuzzy set) объектов, и его элементы могут занимать промежуточное положение между парадигмальными и дискурсивными метафорами. Это положение требует дальнейшего теоретического уточнения и практического подтверждения, что не входит в задачи статьи. Встречающиеся в современных теориях объективированные в языке реликты ныне утративших былое влияние концепций можно считать парадигмальными метафорами.

В завершение следует пояснить, чем вызвано обращение к научно-популярным (для физиков) и научно-учебным, а не строго теоретическим материалам. Поиск метафор в узкоспециализированных теоретических трудах потребовал бы гораздо большего по объёму материала и иного уровня анализа, несовместимого с форматом данной статьи. Научно-популярный и научно-учебный материал в относительно малом объемё текстов предоставлял метафоры, определившие развитие физики и указывающие на смену парадигм.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арутюнова, Н.Д.* Метафора и дискурс. Вступительная статья / Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 5–34.
2. *Баранов, Г.С.* Научная метафора: модельно-семиотический подход. Современные лингвофилософские концепции метафоры / Г.С. Баранов. – Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 1992. – Ч. 1. – 112 с.
3. *Баранов, Г.С.* Научная метафора: модельно-семиотический подход. Теория научной метафоры / Г.С. Баранов. – Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 1992. – Ч. 2. – 200 с.
4. *Баранов, А.Н.* Метафорические модели как дискурсивные практики / А.Н. Баранов // Известия АН, 2004. – Т. 63. – № 1. – С. 33–43. (Сер. «Литература и язык»).
5. *Будаев, Э.В.* Метафора в политической коммуникации: монография / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. – М. : Флинта, Наука, 2008 – 248 с.
6. *Девис, П.* Суперсила: поиски единой теории природы : пер с англ. Ю.А. Данилова и Ю.Г. Рудого / П. Девис. – М. : Мир, 1989. – 272 с.
7. *Гогоненкова, Е.* О месте метафоры в научном дискурсе: постнеклассический подход / Е. Гогоненкова // Высшее образование в России, 2005. – № 1. – С. 141–147.
8. *Гусев, С.С.* Наука и метафора / С.С. Гусев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 152 с.
9. *Лебедько, М.Г.* Время как когнитивная доминанта культуры. Сопоставление американской и русской концептосфер: моногр. / М.Г. Лебедько. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – 240 с.
10. *Матурана, У.Р.* Древо познания: биологические корни человеческого понимания : пер с англ. Ю.А. Данилова / У.Р. Матурана, Ф.Х. Варела. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 224 с.
11. *Мишанкина, Н.А.* Метафорические модели лингвистического дискурса / Н.А. Мишанкина // Вестник Томского государственного университета. – Томск : Изд-во Томского государственного ун-та, 2009. – № 324. – С. 41–48.
12. *Ортега-и-Гассет, Х.* Две великие метафоры : пер. с исп. Н.Д. Арутюновой / Х. Ортега-и-Гассет // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 68–81.
13. *Ричардс, А.* Философия риторики : пер. с англ. Р.И. Розиной / А. Ричардс // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 44–67.
14. *Рябцева, Н.К.* Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению / Н.К. Рябцева // Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: Новый словарь-справочник активного типа (на английском языке). – 2-е изд. – М. : Флинта, Наука, 2000. – 600 с.
15. *Рябцева, Н.К.* Теория и практика перевода: когнитивный аспект / Н.К. Рябцева // Перевод и коммуникация. – М. : Институт языкознания РАН, 1997. – С. 42–63.
16. *Рябцева, Н.К.* Компьютерная система «Версия»: лингвистическая поддержка авторского перевода научных текстов / Н.К. Рябцева, В.А. Плунгян // Перевод и коммуникация. – М. : Институт языкознания РАН, 1997. – С. 280–295.
17. *Серио, П.* Лингвистика и биология у истоков структурализма: биологическая дискуссия в России / П. Серио // Язык и наука конца XX века. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С. 321–341.
18. *Телия, В.Н.* Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира / В.Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / В.Н. Телия [и др.]. – М.: Наука, 1988. – С. 173–204.
19. *Фрумкина, Р.М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? / Р.М. Фрумкина // Язык и наука конца XX века. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С. 74–117.
20. *Цилл, Р.* «Субструктуры мышления». Границы и перспективы истории метафор по Хансу Блюменбергу : пер. с нем. / Р. Цилл // История понятий, история дискурса, история метафор : сб. статей под ред. Х.Э. Бёдекера. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – С. 155–188.
21. *Чернявская, В.Е.* Интерпретация научного текста: учеб. пособие / В.Е. Чернявская. – М. : ДомКнига, 2006. – 128 с.
22. *Bailer-Jones, D.M.* Models, Metaphors, and Analogies / D.M. Bailer-Jones // The Blackwell Guide to the Philosophy of Science ; edited by P.K. Machamer, M. Silberstein. – Blackwell publishers, 2002. – P. 108–127.
23. *Bailer-Jones, D.M.* Models in Philosophy of Science/ D.M. Bailer-Jones. – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2009. – 235 p.
24. *Davies, P.C.W.* Introduction // Superstrings: A theory of everything? / P.C.W. Davies / Edited by P.C.W. Davies and J. Brown. – Melbourne : Cambridge University Press, 1988. – P. 1–70.
25. *Fauconnier, G.* Mappings in Thought and Language / G. Fauconnier. – Cambridge, New York : Cambridge University Press, 1997. – 219 p.
26. *Fauconnier, G.* Mental Spaces: Aspects of Meaning: Construction in Natural Language / G. Fauconnier. – Cambridge, New York : Cambridge University Press. – 2nd ed., 1994. – 240 p.
27. *Fauconnier, G.* Rethinking Metaphor / *G. Fauconnier*, M. Turner // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought / Edited by Raymond W. Gibbs, Jr. – New York : Cambridge University Press, 2008. – P. 53–66.
28. *Fauconnier, G.* The way we think: conceptual blending and the mind's hidden complexities / G. Fauconnier, M. Turner. – New York : Basic Books, 2003. – 464 p.

29. *Gentner, D.* The shift from metaphor to analogy in Western science / D. Gentner, M. Jeziorski // Metaphor and thought ; edited by A. Ortony, 2nd ed. – Cambridge, England : Cambridge University Press, (1979) 1993. – P. 447–480.

30. *Hesse, M.B.* Models and Analogies in Science / M.B. Hesse. – Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1966. – 184 p.

31. *Hesse, M.B.* Models and Analogy in Science / M.B. Hesse // The Encyclopedia of Philosophy ; edited by P. Edwards. – New York : Macmillan, 1967. – P. 354–359.

32. *Kövecses, Z.* Metaphor: a practical introduction / Exercises written with Réka Benczes et al / Z. Kövecses. – 2nd ed. – New York : Oxford University Press, 2010. – 375 p.

33. *Krauskopf, K.B.* The physical Universe / K.B. Krauskopf, A. Beiser. – New York : McGraw Hill, 1986. – 760 p.

34. *Kuhn, T.S.* The Structure of Scientific Revolutions / *T.S Kuhn*. – Chicago, London : The University of Chicago Press, 3nd ed., 1996. – 212 p.

35. *Lakoff, G.* Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being / G. Lakoff, R.E. Núñez. – New York, NY : Basic Books, 2001. – 492 p.

36. *Lakoff, J.* The Neural Theory of Metaphor / J. Lakoff // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought ; edited by Raymond W. Gibbs, Jr. – New York : Cambridge University Press, 2008. – P. 17–38.

37. *Lakoff, G.* Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind / G. Lakoff. – Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987. – 614 p.

38. *Lakoff, G.* Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – New York, NY : Basic Books, 1999. – 624 p.

39. *Lakoff, G.* Metaphors We Live by / J. Lakoff, M. Johnson, 2nd ed. – Chicago : University of Chicago Press, 2003. – 276 p.

40. *Martin, J.* Metaphor in Science / J. Martin, R. Harré // Metaphor: Problems and Perspectives. – Brighton, Sussex : Harvester Press, 1982. – P. 89–105.

41. *Núñez, R.* Conceptual Metaphor, Human Cognition, and the Nature of Mathematics / R. Núñez // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought ; edited by Raymond W. Gibbs, Jr. – New York : Cambridge University Press, 2008. – P. 339–362.

42. *Taylor, J.* Ten Lectures on Applied Cognitive Linguistics / J. Taylor. – Beijing : Foreign language teaching and research press, 2007. – 292 p.

43. The Concise Oxford Dictionary of Current English – 7th edition, editor J.B. Sykes. – Bombay : Oxford University Press, 1988. – 1265 p.

44. *Young, R.M.* Darwin's Metaphor and the Philosophy of Science / R.M. Young // Science as Culture, 1993. – № 16. – P. 375–403.

DREAM КАК БЕЗДНА, СМЕРТЬ И ЗУБЫ: МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ИДИОСТИЛЕ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

Е.Ю. Мальнева

Мальнева Екатерина Юрьевна – старший преподаватель кафедры переводоведения и межкультурной коммуникации, аспирант кафедры английской филологии Дальневосточного государственного гуманитарного университета (г. Хабаровск).

Контактный адрес: aspire9@rambler.ru

Концептуальная/когнитивная метафора считается универсальным когнитивным механизмом, характеризующим функционирование мозга Homo Sapiens и способствующим процессу концептуализации последним окружающего мира. Концептуальная метафора проливает свет на специфику изначально метафорической природы человеческого сознания. Учет одного из постулатов когнитивной лингвистики, именуемого «Метафоричность мышления», в исследованиях индивидуально–авторских стилей позволяет проследить, какие когнитивные конструкты и формируемые на их базе метафорические когнитивные модели обретают манифестацию в текстах исследуемого автора, и что из данных когнитивных структур можно расценить как уникальные неконвенциональные модели концептуализации действительности.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, художественный концепт, Dream, метафорическая когнитивная/ментальная модель, концептуальная/когнитивная метафора.

Лингвистика со второй половины XX века претерпела значительные изменения, утратив определенную степень ранее свойственного ей изоляционизма, и из традиционной дисциплины – науки исключительно о языке – постепенно все больше и больше становится наукой о сущности человека, об особенностях ментальности Homo Sapiens, о способах его взаимодействия с другими людьми и с окружающим миром, т. е. в настоящий момент ей свойственен ярко выраженный антропоцентрический характер[1].

Будучи «сознательным интеллектуальным движением» («a self-conscious intellectual movement» – в терминах именитого лингвокогнитолога Р. Лэнекера [28]), лингвистика *когнитивная* открывает новые перспективы в тех областях филологического знания, где точкой приложения является человеческий интеллект в высшем своем проявлении – сфере создания и анализа художественной литературы. В свою очередь, художественная литература являет собой естественное, уникальное *окно в человеческое сознание*; соответственно, знание когнитивных процессов, свойственных человеку как Homo Sapiens и Homo Loquens – человеку говорящему, является необходимой предпосылкой продуктивного филологического чтения и адекватной интерпретации художественных текстов[2].

Художественный текст, продукт, порожденный в рамках эстетико-творческой системы писателя, его художественного мира[3] – результат и следствие уникального авторского мировоззрения – неминуемо обладает *стилем* – стилем своего создателя. Принципиальный парадокс стиля заключается в том, что, с одной стороны, стиль неминуемо подчиняется определенным нормам и речевым привычкам, а с другой – в нем обнаруживаются некоторые – иногда значительные – индивидуальные особенности [26], вследствие чего можно утверждать, что стиль – a priori амбивалентное понятие, так называемый «двуликий Янус» (*das Janusgesicht des Stils*).

Именно индивидуальные компоненты стиля предопределяют существование той лингвистической категории, что именуется стилем индивидуальным, иначе – *идиостилем*. Не будет преувеличением сказать, что идиостиль – это, по большому счету, идиосинкретичный/уникальный (idiosyncratic) и в большей степени *бессознательный* процесс отбора разного рода экспрессивных форм. Идиостиль – это всегда «отклонение от нормы» (deviation from the norm) [30: с. 11].

Следует отметить, что многие исследователи на сегодняшний день разделяют мнение, что компонен-

[1] По большому счету, современный этап в становлении научной мысли можно охарактеризовать как «новое Возрождение с его интересом к человеку и с его мировоззрением, в центре которого стоит человек» [12: с. 12].

[2] В. Дильтей – один из основателей современной герменевтики, утверждал, что жизнь и литература – это единая психическая структура [цит. по 1: с. 15].

[3] Художественный мир писателя предстает как проекция авторского *тезауруса* (здесь – иерархической системы понятий, смысловых доминант художественной системы автора, поэтического словаря ассоциативного типа, выстроенного по принципу «от смысла к средствам его вербализации (лексическим единицам)), воплощенного определенным образом выстроенным в семантическом массиве, имеющем материальное воплощение в виде текста [11]. Художественный мир текста есть система всех образов и мотивов, присутствующих в данном тексте. Частотный тезаурус языка писателя (или произведения, группы произведений) и есть «художественный мир в переводе на язык филологической науки» [8: с. 125].

ты идиостиля не адекватны элементам языковой системы, т. е. нормированного литературного языка [4; 9; 18; 19]. Н.А. Фатеева, например, рассматривает идиостиль как «совокупность глубинных текстопорождающих доминант и констант», что отсылает к иным, экстралингвистическим сущностям [19: с. 17].

Представляется актуальным, что подобный комплексный подход к пониманию стиля (индивидуального стиля) не является прерогативой современной филологической науки. Люди искусства, художники слова издавна задавались вопросом о природе индивидуального творчества и стиля. Согласно М. Прусту, стиль (авторский стиль) – это «вопрос не техники, но *видения* вещей» [10: с. 79]. Уильям Годвин определил стиль как обрамление *мысли*: «Style should be the transparent envelop of our thoughts» [30: с. 202]. Модернист Генри Миллер был убежден, что в стиле находит отражение сам *человек*: «A man is revealed in his style, the language which he has created for himself» [30: с. 263][4]. Это высказывание, в свою очередь, не может не вызывать в памяти известный афоризм знаменитого французского естествоиспытателя, крупнейшего биолога XVIII в., одного из «40 бессмертных» – Жоржа Луи Леклерка де Бюффона, за заслуги в развитии французского языка избранного во Французскую Академию, который гласит: *«Le Style c'est l'homme même»* («Стиль – это человек»). Подобное утверждение приобретает совершенно особый резонанс в свете современных достижений когнитивной науки. По большому счету, «…на смену представлению о стиле как ‘разновидности (литературного) языка’ приходит представление о стиле как о *когнитивной программе* формирования текстов» [3: с. 28].

Суммируя ряд наблюдений относительно специфики смыслового наполнения термина «идиостиль», отметим, что последний представлен как *когнитивная величина* в работах В.А. Пищальниковой (система логико-семантических способов репрезентации доминантных личностных смыслов автора художественного текста, объективированная в эстетической речевой деятельности) [17], И.А. Тарасовой (система средств выражения, которая соотносит внутренний мир поэта – поэтическое мировидение, ментальный мир[5]– с художественной действительностью, художественным миром текста, творимым поэтическим языком) [18: с. 50], Н.С. Болотновой (система «концептуально значимых для писателя, коммуникативно и эстетически обусловленных принципов организации текста, диктующих не только отбор и сочетаемость языковых средств, но также использование определенных стилистических приемов» [4: с. 64], Л.О. Бутаковой[6] (2001), вследствие чего можно сделать вывод о становлении когнитивного подхода к изучению индивидуального стиля в отечественном языкознании. Данный когнитивный подход к исследованию идиостиля с его преимущественным вниманием к ментальной стороне языковых явлений можно рассматривать как развитие теоретических положений А.А. Потебни, Л.В. Щербы, Г.О. Винокура и В.В. Виноградова о взаимосвязи языка и мышления. «Исследование *стиля*, поэтики писателя, его *мировоззрения* невозможно без основательного, тонкого знания его *языка*» [6: с. 6]. Соположение терминов в приведенном высказывании указывает на осознание взаимосвязи, существующей между ментальными и языковыми элементами художественного мира автора.

«Мир, по большому счету, создается гениями» (*The world is essentially what men of genius make of it*) (Josiah Royce); [23: с. 267]. Индивидуально-авторский стиль Эдгара Аллана По, выдающегося американского поэта, новеллиста, философа и литературного критика, представляется крупным и универсальным по своей значимости литературным и историко-культурным явлением, которое получило творческое преломление в разных национальных языках и культурах, оказав воздействие на формирование идиостилей огромного числа писателей и художников[7], а также на многочисленные художе-

[4] Парадоксально звучит определение стиля, предложенное Р. Бартом: «Стиль – некий феномен растительного развития, проявление вовне *органических свойств личности*» [20: с. 208].

[5] *Ментальный мир* может трактоваться в когнитивной терминологии как индивидуальная поэтическая концептосфера, или концептуальная система автора [18, op.cit.].

[6] Психолингвистический подход «вооружает исследователя методологией, позволяющей вскрыть внутренние механизмы творчества «изнутри», показать мотивировку выбора формы для представления смысла и таким образом раскрыть категорию идиостиля не просто как лингвоэстетическую, системную, но и как мотивационно-деятельностную, формально-содержательную» [5: с. 43].

[7] Представим лишь некоторые из легендарных имен: французские «проклятые поэты» Ш. Бодлер, С. Малларме, А. Рембо, П. Верлен; русские писатели Ф.М. Достоевский и В. Набоков и поэты-символисты В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Блок; А. Конан Дойл, Ж. Верн, Г. Уэллс, Р.Л. Стивенсон, О. Уайльд, Дж.Б. Шоу, А.Ч.Суинберн, Д.Г. Росетти, У. Уитмен, Г. Мелвилл, М. Твен, Дж. Лондон, У. Фолкнер, Ф. Кафка, Х.Л. Борхес, Х. Кортасар, Т. Манн, Р. Брэдбери; композиторы С. Рахманинов, К. Дебюсси, М. Равель; современные рок-музыканты Б. Дилан, The Alan Parsons Project, The Beatles; художники Г. Доре, Э. Моне, Э. Мунк; кинорежиссеры-визионеры А. Хитчкок, Ф. Феллини, Д. Линч и др. Все это позволяет рассматривать творчество Э. По как своего рода интертекст, вернее, источник интертекстуальных связей, пронизывающих современный лингвокультурный и социальный континуум.

ственные течения и литературные школы[8]. Роль Э. По в развитии мирового литературного процесса определяется его выдающимися достижениями в сфере профессионального мастерства: стилистическим и формально-идейным совершенством его произведений, равно как и безусловным новаторством; он создал новые, доселе не существовавшие литературные жанры (новеллы (короткого рассказа), детектива и научной фантастики) и новый «интеллектуальный мир» (заложил основы криминалистики как науки, криптографии, предсказал Теорию Большого Взрыва (The Big Bang Theory), etc.)[9].

Несомненной доминантой идиостиля Э.А. По выступает определенный когнитивный конструкт – художественный концепт ***Dream***[10]. Художественный концепт (далее – ХК) ***Dream*** представляет собой один из структурообразующих ментальных принципов поэтики По, определяющих архитектонику его индивидуально-авторской концептуальной системы.

Концепт суть идеальное образование, операциональная единица языка мозга, квант знания, ментальный конструкт, ментефакт, когнитивный и культурный артефакт, характеризующий когнитивный универсум Homo Sapiens; это единица сознания, в которой структурируются знания человека о мире. Концепт *художественный*, в свою очередь, можно позиционировать как ментальную единицу поэтического сознания автора, «синтез национального и индивидуального в авторской концептосфере, вербализованную в тексте одного или всех произведений творчества писателя» [14: с. 5], характеризующуюся высокой степенью ассоциативности, художественной запредельностью и неоднозначностью интерпретации.

По сути, индивидуальные авторские стили можно описывать на основании именно того, какие когнитивные конструкты / модели обретают манифестацию в текстах автора, и что из данных когнитивных структур можно расценить как уникальные неконвенциональные модели концептуализации действительности.

Положения когнитивной лингвистики гласят, что переживаемые человеком события, весь физический и психологический опыт Homo Sapiens находит свое воплощение в определенных продуктах концептуализации, в частности, – в *метафорических структурах* («идеализированных когнитивных моделях» – Idealized Cognitive Models [13]), которые, в свою очередь, манифестируются в языке в виде метафорических выражений, как общепринятых, конвенциональных, так и уникальных, творческих, идиосинкретических [13: с. 91]. Данный исследовательский принцип, именуемый Metaphorical Thought (*Метафоричность мышления*), постулирует, что метафора – метафора концептуальная/когнитивная – представляет собой не просто лингвистическое средство экспрессии, риторическую фигуру, троп, но, в первую очередь, универсальный когнитивный механизм, позволяющий осмыслять абстрактные феномены в терминах конкретных явлений и объектов. Более того, метафора столь глубоко и повсеместно проникла в язык именно потому, что она отражает устойчивые и систематические процессы, составляющие метафорическую природу человеческого сознания.

Учет принципа *Метафоричности мышления* в идиостилевых исследованиях, по большому счету, просто необходим; особенно релевантно привлечение данного постулата при анализе сложных абстрактных «калейдоскопичных» концептов, a priori противящихся типологизации, к числу которых принадлежит и ХК ***Dream***. Концептуальная структура (conceptual structure) сложных (абстрактных, эмоциональных и др.) концептов обязательно включает в себя следующие концептуальные «составляющие» (conceptual ingredients): 1) концептуальные метафоры; 2) соотносимые с исследуемым, родственные концепты (related concepts) и 3) когнитивные модели (cognitive models) [27]. Лингвокогнитивный анализ не в последнюю очередь ориентирован на поиск и анализ концептуальных/когнитивных метафор, которые формируют определенные ментальные модели[11] на основе исследуемого концепта.

Регулярно встречающиеся, рекуррентные метафорические модели в рамках определенной сис-

[8] Прерафаэлиты составили список *Бессмертных* в истории человеческой культуры, в который вошли Иисус Христос, Уильям Шекспир, Гомер, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, И.В. Гете, Рафаэль Санти, Христофор Колумб, Жанна д'Арк, Дж. Мильтон, Ф. Бэкон, И. Ньютон и *Эдгар По* [15: с. 207 – выделено нами]. В свою очередь, русский символист В. Брюсов сказал: «Ради того, чтобы читать в подлиннике Эдгара По, стоит и должно изучить английский язык» [16: с. 386].

[9] «Astrophysicists very recently have commended Poe's *Eureka* for predicting black holes, pulsar stars, and an expanding-contracting Universe, and for explaining the paradox of the dark sky at night» [25].

[10] В большинстве современных филологических работ, рассматривающих когнитивный аспект идиостиля, центральной категорией является индивидуально-авторский художественный концепт.

[11] Ментальная модель, или *концептуальная структура* (структура знаний) – это некоторое знание в долговременной или кратковременной памяти, структура которого соответствует структуре репрезентируемой ситуации (Johnson-Laird, 1993) [17: с. 62].

темы (объективированные в виде метафорических выражений в пространстве художественного текста), несомненно, отражают каркас концептуальной системы автора [34: с. 109]. Более того, систематическое использование писателем определенной метафорической модели отображает идиосинкретическую когнитивную «привычку» (an idiosyncratic cognitive habit), т. е. уникальный индивидуальный способ концептуализации мира, способ осмысления и вербализации данной информации, иными словами – определенный идиостиль как стиль, в первую очередь, мышления [34].

Метафорические выражения в текстах Эдгара Аллана По позволяют нам судить о метафорической природе ХК ***Dream***, переосмыслению которого посвящены многие его произведения, включая критические и философские; вышеупомянутый абстрактный концепт входит в ряд весьма неортодоксальных когнитивных схем.[12] Данные схемы можно представить в виде ряда следующих метафорических моделей: *Dream is a Fabric; Dream is a Web; Dream is a Veil; Dream is a Painting; Dream is a Region/Territory; Dream is a Living Being; Dream is an Evil Spirit, a Monster; Dream is an Abyss; Dream is a Maze; Dreams are Teeth; Dream is a Woman (Anima); Dream is Death; Dream is an Ocean.*

Корпус анализируемых текстов демонстрирует специфический авторский отбор лингвистических средств, соотносимых с концептом ***Dream***. Предваряя лингвокогнитивное исследование собственно метафорических моделей, формируемых на основе ХК ***Dream***, следует отметить, что в новеллах, эссе и поэмах Э.А. По ***Dream*** как родовое понятие (предполагающее множество разноплановых проявлений) представлено следующими лексическими манифестациями:

а) в первую очередь, посредством собственно *имени концепта* – ***Dream*** – и соответствующих дериватов/сложных слов: *существительных* Dreamer, Dreaming, Dreaminess, Dream-land, Day-dreamer, Dreaming-book; *прилагательных* dreamy, dream-like; *глаголов* to dream, to dream away, to dream of, to dream about, to dream a dream, to daydream; *наречия* dreamily;

б) иные лексические средства объективации ХК ***Dream*** включают следующие номинации:

Глаголы: to fancy, to imagine, to image, to conjure up, to conceive, to apprehend, to slumber, to sleep, to swoon, to muse, to meditate, to speculate, to contemplate, to mesmerize, to contrive, to entrance, to fathom, to delude, to sleepwalk, to sleepwake, to rave, to feign.

Прилагательные/Причастия (ppr.): fancy, fanciful, fantastic, phantom, phantasmagoric(al), imaginary, imaginative, imaginable, slumbering, sleepy, sleep-producing, shadowy, spectral, chimerical, illusive, deluding, delirious, lethargic, imaginative, ideal, romantic, visionary, capricious, sublime, grotesque, arabesque, bizarre, fairy, mystical, ethereal, somnolent, cataleptic, mesmeric, mesmerizing, (in/un)conceivable, meditative, contemplative, monomaniac, rhapsodical.

Наречия: fancifully, fantastically/phantastically, (un)imaginably, conceivably, ideally, romantically, deliriously, sleepily, contemplatively, grotesquely.

Причастия (pp.): fancied, imagined, entranced, (pre)conceived, contrived, (un)conceived, feigned, conjured.

Существительные: Reverie, Phantasy (Fantasy), Fantasia, Fancy, Phantasm, Phantom, Phantasmagoria, Imagination, Imagining, Imaginativeness, Image, Idea, Ideality, Conception, Notion, Conjecture, Conjurer, Crotchet, Contrivance, Speculation, Meditation, Musing, Contemplation, Fiction, Impression, Apprehension, Psychal Impression, Mind's Eye (Eye of the Mind), Illusion, Vision, Visionary, Mental Vision, Spiritual Vision, Eidolon, Thule, Eldorado (El Dorado**)**, Vagary, Whim, Caprice, Freak, Hallucination, Trance (Tränce), Delusion, Fiction, Figment, Shadow (Shade), Spectrum (Specter), Apparition, Ghost, Chimæra, Incubus, Slumber, Half-slumber, Conscious Slumber, Slumberer, Day-dream, Opium dream, After– dream, Waking dream, A Dream within a dream, Nightmare, Lunacy, Raving, Stupor, Delirium, Lethargy, Sleep, Sleeper, Sleep-walking, Sleep-walker, Mesmerism, Mesmerist, Mesmeric trance, Mesmeric state, Mesmeric Process, Mesmeric sleep, Mesmeric Condition, Mesmeric Perception, Mesmeric Exaltation**,** Mesmeric Phenomenon, Sleep-waking, Sleep-waker, Somnolency (Somnolence), Morphine, Opium, Catalepsy, Cataleptic Trance, Swoon, Half-swoon, Syncope, Semi-syncope, Monomania, Bizarrerie, Grotesqueness, Nepenthe, Romance, Romancer, Romanticist, Outré.

Проанализируем некоторые из эксплицированных в процессе анализа авторских метафорических моделей. Ниже представлены примеры контекстов из произведений автора, которые содержат лексико-семантические варианты ***Dream***, синонимы лексемы ***Dream*** и глаголы, относящиеся к определенным семантическим полям, которые помогают осознать, в терминах каких объектов / действий осуществляется концептуализация ХК ***Dream***:

Dream is a Fabric

- «One night <…> finding every one **wrapped** in *sleep*…» [William Wilson]. «…**wrapped** in a cloud of morbid *speculation*» [ibid].[13]

[12] Схема есть психологический термин, означающий *ментальную модель*, с помощью которой происходит категоризация определенного опыта; схема предполагает *метафорическое* осмысление определенного концепта [31: с. 184].

[13] Здесь и далее в приводимых примерах жирным и курсивом выделено нами.

• «And now it was, fairest and dearest, that we **wrapped** our spirits, daily, in *dreams*» [The Colloquy of Monos and Una].

• «…yet left him half **enveloped** in *dreams* [ibid].

• «The whole **fabric** of our *fancy*» [Eureka].

Dream is a Web

• «Arousing from the most profound of *slumbers*, we break the gossamer web of some *dream*. Yet in a second afterward, (so frail may that **web** have been) we remember not that we have *dreamed*» [The Pit and the Pendulum].

• «We gave the Future to the winds, and slumbered tranquilly in the Present, weaving the dull world around us into dreams» [The Mystery of Marie Roget].

• «As the evening wore away he became more and more absorbed in reverie, from which no sallies of mine could arouse him» [The Gold- Bug].

• «Then, upon the velvet sinking, I betook myself to **linking** *fancy unto fancy*…» [The Raven].

Становится очевидным, что ***Dream*** в индивидуальном стиле Э.А. По может концептуализироваться как что-то подобное *паутине* (weaving the world into dreams; linking fancy unto fancy; the gossamer web of some dream), равно как и *ткани* (wrapped in dreams; enveloped in dreams; the fabric of fancy), то есть абстрактное понятие осмысляется автором в терминах конкретных физических объектов. Однако концептуализация феномена ***Dream*** может осуществляться за счет апелляции и к иным сущностям, не столь сугубо материальным. Прокомментируем более подробно метафорическую модель **Dream is an Abyss**, которая в идиостиле Э. По представлена следующими метафорическими выражениями:

• «…I had **fallen** into the *trance*…» [The Oval Portrait].

• «I <…> **fell** into a profound *slumber* forthwith» [Some Words with a Mummy]. «I fell into *catalepsy*» [ibid].

• «I fell into a species of *lethargy*» [The Narrative of Arthur Gordon Pym]. «Presently I **relapsed** into my *stupor*» [ibid].

• «…my soul sickened and became **giddy** with the **giddiness** of one who gazes **downward** into some dreary and **unfathomable abyss**…» [Morella].

• «…made me feel **sick** and **dizzy**, as if I was **falling** from some lofty mountain– top in a *dream*» [A Descent into the Maelström]. «…the **sickening** sweep of the **descent**; the sense of **falling** <…> into the chaos of foam below…» [ibid].

• «…the state of seeming nothingness into which my soul had **lapsed**» [The Pit and the Pendulum]. «…**down – down – still down** – till a hideous **dizziness** oppressed me at the mere idea of the interminableness of the **descent** <…> all was blackness and vacancy» [ibid].

• «…the pit from whose jaws I had escaped; **the pit**, typical of **hell**, and regarded by rumor as the Ultima Thule of all their punishments» [The Pit and the Pendulum].

Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что «язык воображения» – метафора – необходим для выражения уникальных и наиболее важных для отдельной личности аспектов опыта [13: с. 212]. В этой связи отметим, что Эдгар По одним из первых среди западных мыслителей подошел к осознанию того, насколько «глубока кроличья нора» (*how deep the rabbit hole is* – в терминологии Л. Кэрролла и современной школы психоанализа), то есть, каков субстрат нашего сознания, что ему предлежит: человеческая психика, подсознание (Id по З. Фрейду), таящая в себе неосознанные страхи, комплексы, предрассудки, все то, что не поддается разумному истолкованию и воле разума. Не будет преувеличением сказать, что подобные паттерны в творчестве писателя (в данном случае, даже сам факт частотности апеллирования к теме «погружения в бездну», «падения в бездонную пропасть», а также способы манифестации данного когнитивного мотива: подбор соответствующих глаголов (to fall, to lapse (to tumble, to descend), прилагательных (dizzy, sick, giddy, unfathomable) и существительных, соотносимых с полубессознательными состояниями – catalepsy, lethargy, stupor) свидетельствуют не только о важности подобного механизма метафорической проекции (metaphorical mapping) в рамках индивидуально-авторской картины мира, но и о значительном вкладе Э. По в создание психологической прозы как самостоятельного жанра, равно как и о становлении, закладке им краеугольного камня в фундамент современной школы психоанализа.

Собственно сама когнитивная модель **Dream is an Abyss** представляет собой разновидность *ориентационной* концептуальной метафоры **Unconscious is Down** (которая выстраивает оппозицию с другой конвенциональной метафорой **Rational is Up),** а также **Emotional is Down** [13: с. 41]. Осмысление **Dream** как чрезвычайно *эмоционального*, гипертрофированного, болезненного, патологического состояния, в которое человек буквально «падает», как в бездну, представляет собой еще одну характерную идиостилевую черту Э. По. Не случайными представляются слова Ф. Ницше, который очень много почерпнул из наследия По для своей эстетико-философской системы: «Если слишком долго смотреть в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя». В свою очередь, Г. Башляр в книге «Грезы о воздухе» рассуждает о *единстве бездны*, «онтологическом падении», вертикальной оси *воображения*: «Падать в обморок, терять сознание – вот великие синонимы воображения и морали» [2: с. 135]. Дж. Лакофф отмечает, что маргиналь-

ные метафорические проекции, встречаемые в художественной литературе, оказывают влияние и на конвенциональные метафорические модели, и на язык в целом («impose a structure on real life»), буквально создавая новые соотношения между явлениями и предметами. «Будучи созданными в одном поколении, они служат базой для этой метафоры в следующем поколении» [13: с. 226].

Проанализируем иную метафорическую модель, актуализируемую в рамках идиостиля По, которую можно расценить как уникальную/идиосинкретическую – **Dreams are Teeth**:

- «But from the disordered chamber of my brain, had not, alas! departed, and would not be driven away, the white and ghastly *spectrum of the teeth*. They – they alone were present to the *mental eye*, and they, in their soul individuality, *became the essence of my mental eye*. I shuddered as I assigned to them *in imagination a sensitive and sentient power*, and even <…> *a capability of moral expression.* Of Mademoiselle Sallé it has been well said, «Q*ue tous ses pas étaient des sentiments*» (That all her steps were feelings), and of Berenicë I more seriously believed *que tous ses dents étaient des idées (that her teeth were ideas). Des idées!* <…> and I still sat motionless in that solitary room, and still I sat buried n meditation, and still the *phantasma of the teeth* maintained its terrible ascendancy…» [Berenicë – подчеркиванием выделено нами].

Большая часть процесса идентификации, самопознания – это поиск подходящих *индивидуальных* метафор, которые придают смысл нашей жизни. Зубы, призрачный образ, преследующий Эгея, героя новеллы «Береника», стали буквально квинтэссенцией его внутреннего мира, его воображения. Приписывая им разумное начало, способность морального суждения (a sentient power, a capability of moral expression), он, в сущности, приравнивает их к *Идеям*, заведомо лишая их материальности. Подобная полярная метаморфоза – трансформация зубов в *идеи* (призраки, галлюцинации, грезы) – осуществляется посредством следующих метафорических переносов: **Teeth are Ideas → Ideas are Dreams → Teeth are Dreams → Dreams are Teeth,** то есть происходит как одухотворение/идеализация нематериальных предметов, так и де–материализация духовных сущностей.

Данный пример метафорического осмысления *Idea* (вне всякого сомнения, неконвенциональный) в русле теории концептуальной метафоры попадает в категорию так называемых «метафор канала связи» (*Conduit metaphors*), в рамках которых наши суждения об идеях (ментальных конструктах) структурируются сложной метафорой **Ideas are Objects.** Особенности авторской концептуализации **Idea (Dream)** как **Teeth** есть пример крайней выраженности данного принципа, который представляет собой проекцию так называемого *фантастического мышления* (в терминах Дж. Лакоффа, М. Джонсона).

Метафорические модели, образующие метафорическую систему идиостиля По, многообразны; однако некоторые из них имеют тенденцию формировать те когнитивные модели, которые можно подвести под категорию *архетипических*.[14] Одной из самых значимых структур подобного рода можно считать модель **Dream is Death:**

- *Death* approaches; and the *shadow* which foreruns him has thrown a softening influence over my spirit. I long, in passing through *the dim valley*, for the sympathy…Have I not indeed been living in a *dream*? And am I not now *dying* a victim to the horror and the mystery of the wildest of all sublunary *visions*? [William Wilson].
- «Ah, *Death*, the *spectre* which sate at all feasts! <…> Above all, I burn to know the incidents of your own passage through the *dark Valley and Shadow*» [The Colloquy of Monos and Una].
- «Words are impotent to convey any just *idea* of the fierceness of resistance with which she wrestled with the *Shadow*» [Ligeia].

Анализ вышеприведенных контекстов демонстрирует определенный набор лексических средств, репрезентирующих данную ментальную модель. Семантически *Shadow* и *Spectre* соотносятся с **Dream**, будучи включенными в перечень номинаций данного концепта; при этом лексема *Shadow* сама обладает спектром значений, из которых определенные соотносятся концептуально с феноменом *Death* («Shadow – slight or faint appearance, as a Shadow of Death; terrible darkness; trouble or death

[14] Во многих текстах можно обнаружить особый так называемый «экзистенциальный» слой», который отражает глубинную структуру человеческой психики, соотносимую с *коллективным бессознательным.* Следует заметить, что изначально сосуществующие в термине *архетип* понятия «первообраз», «праобраз», «праформа», «первичная идея» способствовали его приложению к различным явлениям и сферам гуманитарного знания, прежде всего, к поэтике. Карл Густав Юнг, который и ввел термин в употребление, отмечая при этом, что «архетип» – не что иное, как встречающееся уже в античности выражение, синонимичное «идее» в платоновском смысле [22: с. 44], был также первым, кто использовал *архетип* в качестве литературоведческой категории. Он полагал, что в основе возникновения замысла и его преобразования в художественном произведении лежит художественная обработка архетипа, благодаря чему содержание коллективного бессознательного изменяется, становясь осознанным и воспринятым. Тот, кто говорит архетипами, утверждал психоаналитик, глаголет тысячей голосов.

(Job iii)» [37: с. 1016]), равно как и *Spectre* («Lat. *Spectrum*, from specto «to behold» – an apparition; the appearance of a person who is dead, a ghost; something made preternaturally visible» [35]). Определенные метафорические / перифрастические номинации *Death*, представленные в анализируемых отрывках (*The Dark Valley of Shadow*, *The Dim Valley*), являют собой известные библейские аллюзии (Psalm 23: 4, The Old Testament: «…though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me»; Job 10: 24 – «Before I go – and I shall not return – to the land of darkness and deep shadow») и предоставляют мифологические / религиозные основания для формирования воззрений относительно изначальной соотнесенности феноменов ***Dream*** и ***Death***.

Универсальное суждение, что смерть есть *вечный сон*, а сон традиционно является прообразом смерти, характерно, предположительно, для большинства лингвокультурных сообществ мира, что свидетельствует об архетипической природе данной когнитивной модели.[15] Манифестация подобной концептуализации феноменов проявляется и в авторских контекстах:

- «At length, as often happens to the *sleeper* (by *sleep* and its world alone is *Death imaged*) – at length, as sometimes happened on Earth to the *deep slumberer*, when some flitting light half startled him into awaking, yet left him half enveloped in *dreams* – so to me, in the strict embrace of the *Shadow*…[The Colloquy of Monos and Una].
- «I was awakened form the *slumber* like the *slumber of Death*…» [Eleonora].
- A *deep sleep* fell upon me – a *sleep like that of death* [The Pit and the Pendulum].

Следующий пример демонстрирует прямую связь феноменов ***Dream*** и ***Death*** в рамках идиостиля Э. По:

- «After some days of pain, and many of *dreamy delirium* replete with ecstasy…there came upon me, as you have said, a breathless and motionless *torpor*; and it was termed *Death*…» [The Colloquy of Monos and Una].

Однако те художественные трансформации, которые претерпевает данная архетипическая когнитивная модель с компонентами ***Dream*** и ***Death*** в идиостиле По, заключаются не только в обогащении коллокационных связей лексем, манифестирующих данные ментальные конструкты: «…sad and solemn *slumbers with the worm*…» [ibid]; не только в создании идиоспецифичных, основанных на художественном сравнении, метонимических номинаций *Death*: «Sorrow which is the most lasting of impressions as the Cypress is the most enduring of trees…» [Morella] (*кипарис* символизирует печаль, скорбь, и – по смежности – *смерть*; в Древней Греции кипарис являлся символом смерти из-за темной окраски листьев [21: с. 384]). Собственно феномен *Death* обретает специфическую *калейдоскопическую* структуру:

- «What we call «*death*» is but the *painful metamorphosis*. At *death*, the worm is the butterfly – still material, but of a matter unrecognized by our organs…» [Mesmeric Revelation].
- «The rationale of *mesmerism*…an abnormal condition, of which the phenomena resemble very closely those of *death* [Mesmeric Revelation]; «The *mesmeric condition* is *so near death*...» [ibid].
- «Had the *sleepwalker*, indeed, during the latter portion of his discourse, been addressing me from out *the region of the shadows?*» [ibid].

Смерть предстает неким сложным явлением, которое автор определяет как «метаморфоза», трансформация, переход одного состояния в другое; при этом, определенные разновидности ***Dream***: *Mesmerism*, *Sleepwalking*, – не только граничат с *Death* («The *mesmeric condition* is *so near death*...»), но и, вероятно, взаимопроникают один в другой («Had the *sleepwalker*, indeed, during the latter portion of his discourse, been addressing me from out *the region of the shadows?*»).

Идею подобного кросс-концептного взаимодействия в рамках архетипической структуры **Dream is Death** наглядно демонстрирует следующий контекст:

- «I had *swooned*; but still will not say that all of consciousness was lost. <…> yet all was not lost. In the deepest *slumber* – no! In *delirium* – no! In a *swoon* – no! In *death* – no! even in the *grave* all is not lost» [The Pit and the Pendulum].

Из данного контекста, где сополагаются существительные, имеющие в своем семном составе компонент значения «Отсутствие сознания/отсутствие контроля со стороны сознания», можно уяснить специфику авторского осмысления концепта ***Dream***, которое сводится к тому, что *сон*, равно как и *смерть*, – лишь виды какого– то родового психофизиологического феномена, который не исключает возможности наличия сознания. Как можно наблюдать, в отличие от достаточно универсального для разных лингвокультур представления о смерти как о *вечном сне* (наиболее наглядным примером служит известная аббревиатура RIP – IN PACE REQUIESCAT – *Rest in Peace*), Э. По видит в смерти в определенной степени возможность перевоплощения и обретения высшей истины:

- «In *Death* we have both learned *the propensity to define the indefinable*» [The Colloquy of Monos and Una].

[15] См., в частности, следующую цитату из «Энеиды» Вергилия (70–19 до н.э.): «*Death's* brother, *Sleep*».

И, наконец, самая парадоксальная трансформация в рамках архетипической когнитивной модели **Dream is Death**, которая осуществляется в континууме авторского идиостиля, – это замена полярности, абсолютный оксюморон и парадокс, который соотносит, уравнивает два взаимоисключающие друг друга состояния:

• «When I say that it resembles *death*, I mean that it resembles *the ultimate life* <…> At *death*, or *metamorphosis*, these creatures enjoying *the ultimate life*…» [Mesmeric Revelation].

Иными словами, данный стилистический прием, вследствие которого Смерть парадоксально определяется как *Жизнь*, нарушает архетипический паттерн в целом, но может объясняться особенностями романтического миросозерцания (Эдгар Аллан По, как известно, был ярчайшим представителем американского романтизма), в рамках которого концепт *смерть* может осмысляться не буквально, но символически; смерть в романтических легендах символизирует не конец, но является провозвестником глубинных изменений и превращений. Это есть симптом трансформации общественного сознания и переоценки ценностей, поскольку, когда в культуре возникает новая система ценностей и становится возможным новый синтез, старое мировоззрение разрушается. Подобное разрушение ощущается как *смерть*.

Более того, определенным следствием также является жизнеутверждающий вывод, что в рамках идиостиля Э.А. По **Dream Defies Death – *Dream*** одерживает победу над *смертью*:

• «It was evident that, so far, *death* (or what is usually termed death) has been *arrested* by the *mesmeric process*. It seemed clear to us that *to awaken* M. Valdemar would be merely *to ensure* his instant, or at least his speedy *dissolution*» [The Facts in the Case of M. Valdemar].

Mesmeric process – разновидность ***Dream*** – буквально приостановил наступление *небытия* (соответственно, разбудить (to awaken) – значит непременно способствовать разложению (Dissolution)). Это – аллегорическое утверждение Бытия Духа, победы *Идеального* над сугубо *Материальным*. ***Dream*** суть знак, симптом того огромного потенциала, который таит в себе человеческий мозг («… it is an indication of the vastness of the potential that lies wholly within our minds» [29]). Воззрения, подобные вышепредставленным, что характерны для определенных религиозных систем и философских доктрин, провозглашающих существование иной – неподвластной обычным органам чувств – реальности, получают фактические подтверждения в рамках современной сомнологии и нейрофизиологии: «Spiritual teachings tell us that we have *a reality beyond that of this world* <…> The *worlds we create in dreams*…are *as real as this one*…the only limit is the imagination <…> Freed of the constraints imposed by physical life, expanded by awareness that limits can be transcended, who knows what we could be, or become?» [ibid – выделено нами]. Миры, созидаемые человеческим воображением во сне, миры, к которым не применимы ограничения физического порядка, столь же объективно *реальны*, как и сама *объективная реальность*.

Подводя итог, отметим, что способность метафоры – метафоры концептуальной – творить новую реальность, а не просто обеспечивать возможность концептуализации уже существующей реальности, на данном этапе становления научной мысли не вызывает сомнений. Многие изменения в культуре возникают как следствие усвоения новых метафорических моделей и, соответственно, исчезновения старых. «Способность понимать опыт с помощью метафоры – это как одно из чувств, как зрение, осязание и слух; обращение к метафорам остается единственным способом восприятия и осознания в опыте большей части нашей действительности» [13: с. 253].

В свою очередь, исследование ментальных конструктов, осуществляемое в рамках современных гуманитарных дисциплин, в частности идиостилистики и когнитивной лингвистики, повсеместно демонстрирует огромную роль *Личности* в истории, точнее, насколько существенна роль гения в формировании концептуальных систем наций. Э.А. По не просто «давно и прочно вошел в общественное сознание западного общества, но и по настоящий момент является своего рода *иконой*» [24: с. 380]. Некоторые исследователи берутся утверждать даже, что сама современная западная лингвокультура несет на себе отпечаток личности великого американского романтика, являя собой сюрреальное смешение поэзии, чувства, символизма, экзистенциализма и «Башни из Слоновой Кости», всей своей структурой неизбывно напоминая об Эдгаре Аллане По, уникальном создателе сновидческой реальности и фантастического реализма.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аствацатуров, А.Г.* Памятники и история европейского романтизма / А.Г. Аствацатуров, В.М. Жирмунский // Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб. : Аксиома, Новатор, 1996. – 232 с.

2. *Башляр, Г.* Избранное: Поэтика грезы : пер. с фр. / Г. Башляр. – М. : РОССПЭН, 2009. – 440 с.

3. *Беляевская, Е.Г.* Когнитивные параметры стиля / Е.Г. Беляевская // Вопросы когнитивной лингвистики; гл. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – № 1. – С. 22–29.

4. *Болотнова, Н.С.* Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль / Н.С. Болотнова [и др.]; под ред. проф. Н.С. Болотновой. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2001. – 331 с.

5. *Бутакова, Л.О.* Авторское сознание в поэзии и прозе: когнитивное моделирование / Л.О. Бутакова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2001. – 283 с.

6. *Виноградов, В.В.* О языке художественной литературы / В.В. Виноградов. – М. : Гос. изд. худ. лит-ры, 1959. – 656 с.

7. *Воронцова, Т.И.* Концептуальная картина мира текста баллады (на материале английских и шотландских баллад) / Т.И. Воронцова. – Хабаровск : ИВЭСЭП, 2004. – 139 с.

8. *Гаспаров, М.Л.* Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус функциональный / М.Л. Гаспаров // Проблемы структурной лингвистики : сб. науч. трудов; отв. ред. д-р филол. наук. В.П. Григорьев. – М. : Наука, 1988. – С. 125–137.

9. *Григорьев, В.П.* Грамматика идиостиля. В. Хлебников / В.П. Григорьев. – М. : Наука, 1983. – 223 с.

10. *Женетт, Ж.* Фигуры. Работы по поэтике : пер. с фр. Е. Васильевой / Ж. Женетт. В 2 т. Т. 1. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 472 с.

11. *Карпинец, Т.А.* Концепт как способ смысловой организации художественного текста (на материале повести А.С. Пушкина «Метель»): дис. ... канд. филол. наук / Т.А. Карпинец. – Кемерово, 2003. – 223 с.

12. *Красных, В.В.* Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация) / В.В. Красных. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 352 с.

13. *Лакофф, Дж.* Метафоры, которыми мы живем : пер. с англ. / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; под ред. А.Н. Баранова. – 2-е изд. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 256 с.

14. *Литвинова, В.В.* Индивидуально-авторские концепты в структуре художественного мира Рэя Брэдбери: автореф. дис. …канд. филол. наук / В.В. Литвинова. – Волгоград, 2009. – 11 с.

15. *Лихачев, Д.С.* Русская культура / Д. С. Лихачев. – М.: Искусство, 2000. – 440 с.

16. *Нестерова, Е.К.* Эдгар По в России / Е.К. Нестерова // Э.А. По. Стихотворения. Сборник (на англ. яз. с параллельным рус. текстом); составитель Е.К. Нестерова. – М. : Радуга, 1988. – 414 с.

17. *Пищальникова, В.А.* К основаниям психопоэтики / В.А. Пищальникова // Hermeneutics-in-Russia. Vol. 1. 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/1998-1/1998-1-57.pdf.

18. *Тарасова, И.А.* Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (на материале поэзии Г. Иванова и И. Анненского) : дис. …д-ра филол. наук. / И.А. Тарасова. – Саратов, 2004. – 484 с.

19. *Фатеева, Н.А.* Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов / Н.А. Фатеева. – М. : Агар, 2000. – 280 с.

20. *Фатеева, Н.А.* Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза) / Н.А. Фатеева // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыты описания идиостилей. – М. : 1995. – С. 208–305.

21. *Фоли, Дж.* Энциклопедия знаков и символов : пер. с англ. / Дж. Фоли. – М. : Вече, 1997. – 509 с.

22. *Юнг, К.Г.* Структура психики и архетипы : пер. с нем. Т.А. Ребеко / К.Г. Юнг. – 2-е изд. – М. : Академический проект, 2009. – 303 с.

23. American Poetry and Prose / Edited by Norman Foerster; Fourth Edition. Part One. – Boston : The Riverside Press Cambridge, 1957. – 861 p.

24. *Blackmur, R.P.* Afterword / R.P. Blackmur // Poe, E.A. The Fall of the House of Usher and other Tales: with an afterword by R.P. Blackmur. – New York : New American Library, 1960. – 384 p.

25. *Elder, M.S.* «Never otherwise than Analytic»: Poe's Science of the Divine / M.S. Elder. – Raleigh : The North Carolina State University, 2005. – 88 p.

26. *Eroms H.W.* Stil und Stilistic: Eine Einführung / H.W. Eroms. – Berlin : Erich Schmidt, 2008. – 255 S.

27. *Kövecses, Z.* Metaphor: A Practical Introduction / Z. Kövecses. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 375 p.

28. *Langacker, R.W.* Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar / R.W. Langacker; 2nd ed. – Berlin; New York : Mouton de Gruyter, 2002. – 395 p.

29. *Levitan, L.* Other Worlds: Out-Of-Body Experiences and Lucid Dreams [Electronic resource] / L. Levitan, S. LaBerge. – Nightlight 3 (2– 3), 1991. – Available at: http://www.lucidity.com/NL32.OBEandLD.html.

30. *Milic, L.T.* Stylists on Style: A Handbook with Selections for Analysis / L.T. Milic. – New York : Charles Scribner's Sons, 1969. – 527 p.

31. Oxford Concise Dictionary of Linguistics / Edited by P.H. Matthews; Second Edition. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 443 p.

32. *Poe, E.A.* Complete Stories of Edgar Allan Poe / E.A. Poe. – International Collectors Library American Headquarters; Garden City, New York : Doubleday & Company, 1966. – 737 p.

33. *Poe, E.A.* Collected Stories and Poems / E.A. Poe. – London : CRW Publishing Limited, 2006. – 376 p.

34. *Semino, E.* Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis / E. Semino, J. Culperer. – J. Benjamins Publishing Company, 2002. – 333 p.

35. *Webster, N.* An American Dictionary of the English Language [Electronic resource] / N. Webster. – 1828. – Available at: http://machaut.uchicago.edu/websters.

36. *Webster, N.* Webster's Revised and Unabridged Dictionary of the English Language / N. Webster. – Springfield; Mass.: G & C. Merriam, 1840. – 1486 p.

37. *Webster, N.* An American Dictionary of the English Language / N. Webster: Rev. and enlarged by Ch.A. Goodrich. – Springfield; Mass.: G & C. Merriam, 1847. – 1367 p.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XVIII–XIX ВВ.

Т.А. Паршуткина

Паршуткина Татьяна Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков педагогического профиля Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елецк).

Контактный адрес: tparshutkina@mail.ru

В данной статье раскрываются основные направления развития отечественного иноязычного образования в XVIII–XIX вв., определяется место новых языков в учебных планах и программах учебных заведений рассматриваемого периода. Роль предмета «иностранные языки», согласно позиции большинства методистов и педагогов, заключалась в становлении морально-нравственных приоритетов личности, развитии ее духовных сил.

Ключевые слова: образование, гимназия, коммуникативный, личностно-ориентированный подходы, гуманистическая направленность образования, педагогические идеи и дидактические принципы обучения.

Введение

Выход на современный уровень иноязычной подготовки требует осмысления накопленного педагогического опыта, который раскрывает логику развития и становления иноязычной подготовки, факторы, повлиявшие на это развитие. Такой опыт позволяет не только понять, что происходило в образовательной и воспитательной действительности, но и осмыслить эту практику в контексте тех или иных историко-педагогических явлений и обстоятельств. Отсутствие такого осмысления снижает эффективность использования опыта прошлого, отрицательно влияет на реализацию историей педагогики своей прогностической функции [3: с. 4].

Обращение к историко-педагогическому анализу процессов становления и развития обучения иностранным языкам позволило выделить период XVIII–XIX вв. как особо важный в плане иноязычной подготовки. Этот период характеризовался приоритетным переводом иностранных языков в разряд первостепенных дисциплин во всех общих и специальных учебных заведениях. Изучение иностранных языков наполнилось новыми целями, все четче прослеживалась ориентация на профессиональные знания.

Цель статьи – раскрыть основные направления развития иноязычной подготовки в XVIII–XIX вв. Объектом исследования является институциональное иноязычное образование в России.

Научная новизна исследования заключается: в воссоздании целостной исторической картины развития институционального иноязычного образования в меняющихся условиях развития российского общества; в осуществлении анализа организационных и содержательных аспектов иноязычной подготовки с целью показать приоритетное положение иностранных языков в рассматриваемый период.

Материал статьи представляет интерес для специалистов, занимающихся изучением языков, а также историей становления и развития методики обучения иностранным языкам.

Формирование целостной картины, отражающей совокупность подходов к содержанию, организации и методам обучения иностранным языкам в дореволюционной России, прослеживается в исследованиях Е.П. Ветчиновой, А.В. Камызиной, Е.М. Лупановой, С.Н. Максимовой, А.В. Матюшиной, Е.Г. Поповой и др.

Расцвет языкового образования в дореволюционной отечественной школе приходится на начало XVIII века, когда начинает складываться школьная государственная система и закрепляются традиции в изучении древних и иностранных языков. Систематического обучения иностранным языкам до реформ Петра I не существовало. При Петре I отношение к европейской культуре изменилось кардинально.

В это время значительно возросла потребность государства в людях, владеющих иностранными языками, особенно для армии и флота, и постепенно знание языков становится показателем принадлежности к образованному, культурному слою – дворянству и аристократии. Само дворянство в этот период состояло из множества разнородных, многообразных групп: от аристократов, придворных, многие из которых не знали родного, но блестяще владели иностранным языком, до помещика из провинции, зачастую не владеющего ни родным, ни иностранным языком и отличающегося абсолютной безграмотностью.

В XVIII в. образование становится предметом внимания и государства, и общества. В.Н. Татищев (1685–1750), сотрудник Петра I, в трактате «О пользе наук и училищ» (1733) выразил просветительские стремления петровского окружения. К «полезным наукам» он относил также иностранные языки.

В первой половине XVIII в. открылось более 130 школ различного типа. Содержание обучения в них очень сильно отличалось от училищ XVII в. Оно имело ярко выраженное реальное направление.

Важным событием в жизни России было Учреждение в Петербурге Академии наук в 1725 г. Ее задачей была не только забота о «размножении наук», но и подготовка ученых и образованных людей. При академии были учреждены два учебных заведения – гимназия и университет.

В середине XVIII в. в каждом богатом доме учителями и воспитателями служили иностранцы, немцы или французы. Детей обучали не только языкам, но и вводили их в круг европейского общения, мир литературы и философии.

Открытый в 1731 г. в Петербурге Сухопутный шляхетский кадетский корпус обеспечивал государство руководящими армейскими кадрами. Вслед за ним в 1752 г. на базе Морской академии образовался Морской шляхетский кадетский корпус. Такой же сословный характер приобрели Артиллерийская и Инженерная школы, объединенные в дворянский корпус (1756). К концу века в России существовало более 60 учебных заведений, в которых обучалось 4,5 тысячи дворянских детей [11: с. 30].

Русские молодые люди, обучаясь корабельному, архитектурному и военному делу за границей, естественным образом приобщались к иной культуре, проникались желанием перенести европейские порядки и языки в Россию.

Изучение иностранных языков способствовало формированию таких личностных качеств, как коммуникативность и толерантность. Последнее было особенно актуально в первой половине XVIII в., поскольку в допетровский период, когда религиозные убеждения играли очень важную роль, отношение православных русских к представителям иных конфессий было очень настороженным, а иногда и враждебным [7: с. 13].

Во второй половине XVIII в. государство обратило внимание на просвещение простого народа. Это был период интенсивного развития научно-методических основ изучения иностранных языков и становления практики иноязычной подготовки в условиях ориентации образовательной политики на европейские просветительские идеи. Указанная ориентация отражала курс Екатерины II на воспитание «новой породы» людей. Данный период характеризовался проникновением в страну европейского методического опыта и началом отечественных разработок в области методики преподавания иностранных языков [3: с. 9].

Русская классическая педагогика закономерно обращала большое внимание на место и значение иностранных языков в воспитании. М.В. Ломоносов разработал теоретические основы обучения иностранным языкам, ориентированные не только на развитие практических навыков чтения и разговорной речи, но и на формирование целостного представления о фонетике, грамматике, этимологии, синтаксисе, стилистике изучаемых языков. Н.И. Пирогов критиковал практику преждевременного обучения иностранным языкам детей из привилегированного сословия. К.Д. Ушинский высказал следующие идеи, касающиеся обучения иностранным языкам:

1) родной язык является самой широкой основой для изучения любого иностранного языка;

2) при обучении иностранным языкам необходимо соблюдать принцип единства образовательных, воспитательных и практических целей;

3) главной является познавательная ценность иностранного языка;

4) изучение грамматики родного языка должно предшествовать грамматике чужого;

5) приступать к изучению второго иностранного языка, необходимо получив основные знания в первом.

Особенно значимой явилась идея о том, что ученику следует передавать не только те или иные знания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые знания, а также дать ученику средства извлекать полезные знания не только из книг, но и из жизненных событий. В практике обучения иностранным языкам развитие преимущественно практических умений часто выдвигается на передний план, и реальная сторона преподавания сводится лишь к случайным сведениям из упражнений, а познавательные возможности изучаемого иностранного языка ограничиваются или содержанием, играющим служебно– подсобную роль, или текстами упражнений, не имеющими единого содержательного направления. Многие общедидактические положения, которые выдвинул К.Д. Ушинский, не утратили своего значения в настоящее время. Весьма значимым является положение о единстве преподавания и учения при соблюдении принципа воспитывающего обучения. В содержании образования педагог должен избегать абстрактных теоретических понятий. Главным является не столько количество знаний, сколько то, на что они пойдут, в какие взгляды и убеждения сложатся и какое окажут они влияние на образ мыслей, чувств и поведения школьника [4: с. 3–7].

В развитие идей К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерев, раскрывая психологические основы обучения, обосновал целесообразность изучения детьми как родного, так и иностранного языка в целях обеспечения психического и речевого развития детей. В то же время он обсуждал особенности отечественной иноязычной образовательной практики, подчеркивая успехи, промахи и недостатки, характерные для того периода времени. Суждения, оценки и обобщения П.Ф. Каптерева в процессе анализа отечественной практики обучения иностранным языкам в конце XIX века оформились затем в виде двух концептуальных позиций, повлиявших на процесс развития теории и практики обучения иностранному языку. Это – практико-ориентированная концепция

(перцептивно-рецептивная), основная идея которой выражается в доминирующей направленности обучения на реальное овладение языком; и систематизированная концепция (трансляционно-репродуктивная), ориентирующая не только на реальное владение лингвистическим опытом, но и знание лингвистических закономерностей построения используемого языкового материала [9: с. 20].

Формирование новой системы образования в целом и гимназического образования в частности создало предпосылки для системной организации учебного процесса, позволило сконцентрировать научные силы страны на решение проблем обучения и воспитания подрастающих поколений [3: с. 9].

План нового воспитания был реализован путем реорганизации прежних и создания новых учебно-воспитательных учреждений, активным проводником которых в жизнь стал И.И. Бецкой. В зависимости от типов учебных заведений (общеобразовательных женских и мужских, военных, специализированных), особенностей содержания их учебной деятельности, отбирались и соотносились методические схемы и требования в иноязычной подготовке. Так, учебные программы кадетских корпусов приобретают энциклопедическую направленность. В число основных предметов вводятся древние и новые языки. В высших народных училищах иностранные языки также занимали доминантные позиции, а их выбор и изучение определялся потребностями обучаемых и зависел от наместничества. На базе Главного училища был внедрен метод Д. Локка, включавший использование наглядного материала и такую специализированную форму работы как диалог, что способствовало поддержанию внимания детей и облегчению усвоения лексического материала. Примечательно, что метод Д. Локка исключал необходимость овладения грамматикой, но при этом требовал обогащения учебного процесса чтением, переводческими упражнениями [3: с. 14].

Новый импульс классическое языковое образование получило при министре образования Д.А. Толстом, в дальнейшем было поддержано министром И.Д. Деляновым и Н.П. Боголеповым. Параллельно развивалась идея реального образования, тоже предусматривающая языковую подготовку, но с акцентом на новые иностранные языки, изучавшиеся более как разговорные.

К концу XIX столетия официально признанными, законодательно закрепленными стали два главных типа средней образовательной школы: классические гимназии с двумя древними и двумя новыми иностранными языками и реальные училища, где изучался один древний (обычно латинский) и два новых языка (самыми распространенными стали немецкий и французский).

В 1803–1804 гг. правительством Александра I была проведена полная реформа просвещения. Россия делилась на учебные округа, в центре которых были Университеты, они должны были контролировать учебный процесс в округе.

Ступенчатость образования состояла в следующем: окончившие приходское училище могли поступить в уездное, а оттуда в гимназию, а её выпускники могли попасть в университет. Считалось, что таким образом в университет могли пробиться даже крестьяне. Эти ступени были разорваны при Николае I, при нём образование стало сословным. Такая ситуация начала изменяться только при Александре II. Было проведено реформирование типов школ, появилось множество их разновидностей. Начальные общеобразовательные учебные заведения включали: приходские училища, воскресные школы, земские школы, уездные училища, городские пансионы и др. Средние общеобразовательные учебные заведения состояли из различного рода гимназий (классические и реальные) и прогимназий. Лицеи и гимназии высших наук, благородные пансионы давали образование, которое было близко к университетскому.

Из средних учебных заведений необходимо рассмотреть, прежде всего, гимназии. 1864 год ознаменовал серьезную реорганизацию в системе гимназий. По различию предметов, содействующих общему образованию, и по различию целей гимназического обучения гимназии разделяются на классические и реальные. В гимназиях осталось прежнее число лет обучения, им полагалось 7 классов с годичным курсом для каждого класса.

В 1870 г. правительство Александра II начало отход от проводимых раннее либеральных реформ. Министром просвещения был назначен отличавшийся консервативными взглядами Д.А. Толстой, благодаря которому были изданы новые уставы средних учебных заведений. В 1871–1872 гг. реальные гимназии отделяются от классических и становятся реальными училищами, цель которых была «доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических познаний» [1: с. 52].

Находящиеся в управлении министра И.Д. Делянова оба типа средней школы, классическая гимназия и реальное училище, столь резко разделенные реформою 1871–1872 гг., начали постепенно сближаться друг с другом. С одной стороны, была осознана необходимость сгладить крайности классической системы и обратить большее внимание на преподавание в гимназиях других важных предметов; с другой стороны, реальные училища в значительной степени утратили характер профессиональных училищ. К началу XX в. выпускников реальных училищ стали принимать на физико-математические и медицинские факультеты университетов, в учебных заведениях усилилось преподавание новых языков [10: с. 12].

Уставом 1804 г. были утверждены программы для вновь учрежденных учебных заведений. Эти программы были очень обширными: «курс вообще страдал энциклопедизмом и необходимым его последствием – поверхностью выносимых из него знаний» [8: с. 140]. Положительным было то, что новые языки входили в перечень новых курсов в учебной программе гимназий. Постепенно становилось ясно, что отсутствует не только возможность преподавать такие программы, но и смысл в этом. 27 марта 1819 г. Главное Правление Училищ утвердило составленные Ученым Комитетом новые планы гимназий, уездных и приходских училищ. Латинский и немецкий языки стали обязательными только для готовящихся в гимназию. Изменения коснулись и гимназического учебного курса. По Уставу 1828 г. основное внимание уделялось латинскому и греческому языкам (они и составляли по новому Уставу ядро гимназического курса).

С новыми реформами, принятым новым уставом средних учебных заведений 1864 г. были утверждены и новые учебные программы. В ставших классическими гимназиях греческий язык был сделан обязательным, но и иностранные языки не утратили своего значения. Немецкий и французский языки были обязательными предметами.

Следующие уставы учебных заведений были связаны с изменением во внутренней политике Александра II, его отходом от реформ. В 1871 г. утверждена новая, хотя и не сильно измененная программа классических гимназий.

При изучении таблицы недельных часов уроков, положенных по первому уставу реальных училищ, Высочайше утвержденному 15 мая 1872 г. [11: с. 12], можно увидеть, что программа их отличалась от программы классических гимназий. Иностранные языки здесь преподавались только новые (и кроме того, в отличие от классических гимназий, новых языков было два), церковно-славянский не преподавался вовсе.

С конца XIX в. началась подготовка к новым реформам образования, наметилось сближение классической гимназии и реального училища по программам в низших классах. Значительное время было выделено на преподавание новых языков – немецкого с первого класса и французского со второго.

Анализ исторических источников позволил сделать вывод о том, что система гимназического образования часто подвергалась реформированию. До середины XIX в. существовали только гимназии классического типа, целью которых являлась подготовка к поступлению в университеты. Социально-демократические преобразования середины 1860-х годов, экономические потребности страны, развитие науки обусловили дифференциацию гимназического образования на реальное и классическое. Но уже в конце 1870-х годов наметилась тенденция к свертыванию реформ и признание 7-классной классической гимназии единственным типом среднего учебного заведения. Экономический подъем Российского государства в 80–90-х годах XIX века вновь привели к пониманию значимости реального образования и восстановлению реальных гимназий в форме училищ.

Выводы

Место иностранных языков в учебных планах и программах отечественных гимназий изучаемого периода было обусловлено потребностью российского общества в грамотных, высококвалифицированных специалистах во всех областях деятельности государства. Основными направлениями развития иноязычного образования рассматриваемого периода явилась определяемая социокультурными факторами динамика целей, содержания, методов, их специфическое преломление в теории и практике изучения иностранных языков различных типов учебных заведений; гуманистическая направленность процесса обучения; усиление образовательной и воспитательной функции дисциплины «Иностранный язык».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алешинцев, И.А.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX в.) / И.А. Алешинцев. – СПб.: Издание О. Богдановой, 1912. – 346 с.

2. *Ветчинова, М.Н.* Теория и практика иноязычного образования в отечественной педагогике второй половины XIX – начала XX века: дис. … д-ра пед. наук / М.Н. Ветчинова. – М., 2009. – 194 с.

3. *Камызина, А.В.* Становление и развитие иноязычной подготовки в школе дореволюционной России: автореф. дис. … канд. пед. наук / А.В. Камызина. – Майкоп, 2007. – 21 с.

4. К.Д. Ушинский об обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1974. – № 2. – С. 3–7.

5. *Лупанова, Е.М.* К вопросу о методике преподавания иностранных языков в России XVIII века / Е.М. Лупанова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 1. – С. 3–7.

6. *Максимова, С.Н.* Тенденции развития преподавания древних языков в русской классической гимназии XIX – начала XX века: автореф. дис. … канд. пед. наук / С.Н. Максимова. – Ижевск, 2002. – 22 с.

7. *Матюшина, А.В.* Приобщение личности к иноязычной культуре в процессе изучения иностранных языков: историко– педагогический аспект: автореф. дис. … канд. пед. наук / А.В. Матюшина. – М., 2003. – 21 с.

8. *Попова, Е.Г.* Культурологические функции изучения иностранных языков в отечественной гимназии: автореф. дис. … канд. пед. наук / Е.Г. Попова. – М., 1999. – 23 с.

9. *Тылец, В.Г.* Психология обучения иностранным языкам (историко-теоретический аспект): автореф. дис. … д-ра психол. наук / В.Г. Тылец. – СПб., 2006. – 46 с.

10. Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения (30 июня 1871 г.) // Журнал министерства народного просвещения. – 1871. – № 8. – 48 с.

11. Учебные планы и примерные программы предметов, преподаваемых в реальных училищах МНП. – СПб., 1898. – 12 с.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ В ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДИСКУРСИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

М.Н. Рассоха

Рассоха Марина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры истории английского языка Института иностранных языков Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).

Контактный адрес: mrassokha@gmail.com

Статья обращается к трактовке лексических расхождений в британском и американском вариантах английского языка в рамках дискурса о «своем» языке. Исследуется общая дискурсивная стратегия акцентирования различий и выявляется ряд приемов метаязыкового комментирования, актуализирующих языковую идентичность коммуникантов.

Ключевые слова: британский и американский варианты английского языка, дискурс о «своем» языке, дискурсивная стратегия акцентирования различий, метаязыковое комментирование, языковая идентичность.

Лексические расхождения американского и британского вариантов английского языка давно стали предметом изучения и относятся к довольно исследованной проблеме лингвистики. Однако обращает на себя внимание тот факт, что лексическая нетождественность этих вариантов рассматривалась преимущественно в одной плоскости – языковые единицы фиксировались и описывались, прежде всего, как лексикографический материал. Разумеется, подобные исследования принесли свои положительные результаты. В то же время рассмотрение особенностей названных двух лексических систем в дискурсе открывает новые возможности для интерпретации этого материала. Сошлемся и на мнение Дж. Чешир, справедливо указывающей, что сама структура дискурса (discourse structure) и дискурсивные стратегии (discourse strategies) на материале данных вариантов все еще остаются за рамками интереса исследователей [8: с. 13].

В последнее время, правда, появились отдельные работы, в фокусе которых находилось коммуникативное поведение британцев и американцев [2; 5]. В этих и других исследованиях были описаны некоторые характерные отличия в речевом общении представителей двух лингвокультур. Тем не менее целый ряд явлений, связанных с реализаций дискурсивных стратегий, и соответственно разным использованием языкового материала, требует своего исследования и интерпретации.

В настоящей статье мы обратимся к вопросам англо-американского коммуникативного взаимодействия и дискурсивного освоения лексических расхождений представителями двух указанных лингвокультур.

Еще А. Марквардт обратил внимание на то, что лексические расхождения между британским и американским вариантами особенно часто встречаются в хорошо известных и предсказуемых ситуациях, в которых речь идет о характеристиках, свойственных только одной культуре. Он упоминает природную среду, черты повседневной культуры, политическое устройство и тому подобное [10: с. 27]. Любая из этих сфер может дать любопытный материал для исследователя лексической специфики, особенно в плане культурной детерминированности словаря.

В данной статье материал исследования ограничен дискурсом, разворачивающимся в сфере повседневного, преимущественно бытового, общения. Наш выбор обусловлен тем, что именно в бытовой коммуникации американцы и британцы сразу сталкиваются со значительным количеством лексических особенностей. Проиллюстрируем сказанное отрывком из книги Б. Брайсона *Notes from a Small Island* [7]. Автор описывает свой первый день в Англии, в Дувре следующим образом:

Everything that lay before me was new and mysterious and exciting in a way you can't imagine. England was full of words I'd never heard before – streaky bacon, short back and sides, Belisha beacon, serviette, high tea, ice cream cornet... [7: с. 14].

Здесь, прежде чем продолжить достаточно внушительный список подобных примеров, автор вводит постраничную сноску, в которой комментирует значения этих слов и выражений (Respectively, a type of bacon, a style of haircut, ...a fancy name for dinner, and what we would call an ice cream cone), и указывает, что такого рода лексика объясняется в специально составленном глоссарии к данной книге (For the rest, here and throughout the book, you will find a helpful glossary) [7: с. 14].

Приведенный отрывок являет собой пример *дискурса о «своем» языке.* Он относится к идентифицирующему типу дискурса, целью которого является манифестация языковой идентичности (нетождественной в данном случае), которая, в том числе, базируется и на существовании своей особой лексической культуры, осознаваемой массовым пользователем языка. В общей структуре англо–американской коммуникации дискурс о «своем»

языке играет заметную роль и проявляется в дискурсивных приемах общепринятой практики общения. Одним из ключевых признаков данного дискурса является четкое представление *Другого* через вербальную характеристику его коммуникативного поведения, которая передает культурно-обусловленные и национально-закрепленные отношения и стереотипы. При этом *Другой* также является носителем английского языка, но иного варианта, и здесь как раз и актуализируется смысловая бинарная оппозиция идентификации «мы-они» (см, например, выше: ice cream cornet...what *we would call* an ice cream cone). Таким образом, наличие *Другого*, говорящего по-английски, не может не влиять на восприятие своего языка, на формирование собственной языковой идентичности пользователя английского языка как родного.

Дискурс о «своем» языке, как дискурс, указывающий на принадлежность к определенному языковому коллективу, отражает основные направления идентификации: либо сближение при выявлении тождественных признаков, либо дистанцирование при наличии различий. На основании этого нами выделены две общие стратегии дискурсивного взаимодействия в рамках англо-американской коммуникации:

– дискурсивная стратегия игнорирования различий;

– дискурсивная стратегия акцентирования различий.

Любая коммуникация обычно стремится быть эффективной в плане оптимизации речевого контакта. Характеризуя англо-американскую коммуникацию, отметим, что она не направлена в целом на поиски и выявление языкового несходства. Несмотря на наличие частично различающихся языковых (и особенно лексических) систем, как правило, коммуникативный контакт не затруднен. Он протекает достаточно легко, и рядовые представители британской и американской лингвокультур не сталкиваются с большими трудностями, общаясь друг с другом. В этом случае превалирует дискурсивная стратегия игнорирования имеющихся языковых различий.

Однако в то же время в рамках англо-американского дискурса отмечается и наличие четко выявляемой дискурсивной стратегии акцентирования различий. Данная стратегия основывается на метаязыковой рефлексии пользователей языка в отношении языковых расхождений двух национальных вариантов. При этом рефлексии подвергается как сама структура дискурса, который конструируется носителями иного варианта английского языка, так и его фонетические, грамматические и лексические особенности. Данная стратегия начала формироваться в условиях исторического расхождения вариантов и стала признаком англо-американских языковых контактов. Значительное количество ранних, но уже показательных примеров, собраны у Г. Менкена. Приведем отрывок из статьи англичанина Чарльза Уибли *The American Language*, опубликованной в Нью Йорке в 1908 году:

«To the English traveler in America», he said, «the language which he hears spoken about him is at once a puzzle and a surprise. It is his own, yet not his own. It seems to him a caricature of English, a phantom speech, ghostly yet familiar, such as he might hear in a land of dreams» [11: с. 36–37].

Подобные тексты способствовали сложению стереотипического восприятия английского языка *Другого*. Они также отражают становление традиции метаязыкового комментирования. Безусловно, не только отличающееся произношение, грамматические особенности, лексический материал придают специфические черты иному варианту. Сама структура дискурса в целом имеет значительные отличия. Например, могут различаться и объем, и продолжительность коммуникации. В этом плане необходимо учитывать и количество коммуникативных усилий, и то, каким образом тема получает развитие в дискурсе, то есть плотность ее топикализации. Для иллюстрации обратимся опять к тексту Б. Брайсона:

If you mention in the pub that you intend to drive from, say, Surrey to Cornwall, a distance that most Americans would happily go to get a taco, your companions will... look knowingly at each other ...and then they'll launch into a lively and protracted discussion...Within minutes the conversation will plunge off into a level of detail that leaves you, as a foreigner, swiveling your head in quiet wonderment. «You know that lay-by outside Warminster, the one with the grit box with the broken handle?» one of them will say. «*You* know, just past the turnoff for Little Puking but before the B6029 mini-roundabout.» At this point, you find you are the only person in the group not nodding vigorously. <...> «Well, if you follow that road past the reservoir and under the railway bridge, and take a sharp right at the Buggered Ploughman –» <...> Give two or more men in a pub the names of any two places in Britain and they can happily fill hours [7: с. 1–2].

Мы позволили себе привести этот развернутый пример, чтобы показать дискурсивные особенности английского речевого поведения и то, как они воспринимаются американцем. В данном примере автор, американец, отмечает, что коммуникативные усилия собеседников-англичан, продолжительность и объем дискурса имеют значительные отличия.

И.А. Стернин подчеркивает, что вербальное поведение – это, по сути, совокупность правил и традиций речевого общения, связанных тематикой

и особенностями организации речевого общения в определенных условиях. К ним относятся речевые этикетные формулы и ситуации их употребления; принятые в определенных ситуациях темы общения, развернутость/свернутость общения; продолжительность общения; соблюдение временных рамок коммуникации; интервалы общения различных групп людей; частота общения определенных групп; приоритеты общения различных коммуникативных групп и т. д. [4: с. 231]. В приведенном примере английского дискурсивного поведения обращается внимание на такие особенности, как тематическая детализация, которая влечет за собой значительное увеличение времени коммуникации (*protracted discussion, they can happily fill hours*). Таким образом, культурно обусловленными в рамках темы «поездка на машине из А в В» для представителей британской и американской лингвокультур будут и разная топикализация, или тематическая проработанность, особая заинтересованность в теме, обуславливающая продолжительность коммуникации. Вербальное выражение темы также будет отличаться: данный отрывок насыщен английскими топонимами, британизмами (*pub, lay-by, grit, roundabout* и др.), маркирующими «свой» дискурс. Вербальная проекция темы и дискурсивное поведение коммуникантов указывают на специфические лингвокультурные признаки дискурса, проистекающие из особого восприятия пространства в британской культуре, а именно: «the idea that Britain is a big place» [7: с. 1].

Говоря о культурной специфичности структуры дискурса в целом, следует отметить, что каждый языковой коллектив характеризуется «своими» темами, получающими особую лексическую разработанность. Они вызывают большую степень коммуникативного энтузиазма собеседников и вследствие этого имеют насыщенную и плотную дискурсивную структуру, выраженную, прежде всего, в особой лексической наполненности.

Лексике, как известно, принадлежит ведущая роль в маркировании «своего» языка. Действительно, в англо-американской коммуникации сталкиваются два лексических репертуара, которые содержат как общую, так и лакунарную лексику. Кроме того, значительный пласт составляют слова, различающиеся только отдельными значениями или представляющие собой разные обозначения одного явления/объекта. Указанные лексические дивергенции получили широкое освещение в литературе и дают полное представление о системных лексических расхождениях двух вариантов [6; 10; 11; 14; 15].

В условиях англо-американского коммуникативного взаимодействия дискурсивное освоение лексических расхождений представителями двух лингвокультур может производиться, как было указано выше, в рамках общей дискурсивной стратегии акцентирования различий. Лексический материал при этом подвергается коммуникативной «обработке» с помощью ряда дискурсивных приемов. Довольно частотным является прием выяснения значения лексической единицы с помощью вопроса, и при этом нередко маркируется иная языковая идентичность. Рассмотрим пример, представляющий собой отрывок из разговора англичанки, недавно приехавшей в Америку, и американца, работника строительной компании. Речь идет о неполадках с водостоком на крыше:

«When it rains the water seeps through the sliders and down through the roof and it all sort of trundles along somewhere...» «Trundles?» <...> «Trundles? You English girls, you have such a crazy way of talking. What does trundles mean exactly? I paused. When spoken in isolation the word did sound rather odd. «Well, it sort of means the sound wheels make when they move, like the tumbrels trundling along towards the guillotine in the French Revolution». «Tumbrels trundling? The French Revolution?» He was laughing at me and I didn't blame him. It was rather ridiculous talking about the French Revolution in the middle of a discussion about a leaking roof» [17: с. 205].

В целом достаточно длинный диалог (свыше 700 слов) протекает без коммуникативных затруднений. В приведенном отрывке представлен единственный случай, когда потребовалось уточнить значение непонятного слова, оформив это с помощью вопросно-ответных единств. В данной ситуации, отметим, единица *trundles* имеет важное для коммуникации значение, строителю действительно нужно знать, как именно течет вода: сочится или идет потоком. Поэтому коммуниканты здесь прибегают к дискурсивному приему развернутого дефинирования неизвестной единицы. Но характерно здесь и другое. Обратим внимание, что такая единица не только сразу же привлекает внимание носителя другого варианта английского языка и возникает интерес к семантической дешифровке, но она служит средством для лингвокультурной идентификации, возможности прокомментировать язык *Другого*, при этом американцем используется обобщенный стереотипичный образ *Другого*. Такие образы-стереотипы сложились в американской культуре для идентификации носителей британского варианта и реализуются в обобщенных языковых выражениях как, например, в данном отрывке: You English girls. В целом здесь в дискурсе реализуется «культурно-обусловленный сценарий» (термин Вежбицкой) [1: с. 38] языкового взаимодействия англичан и американцев, в основе которого лежит акт языковой идентификации. Важно также указать, что данный акт, как правило, сопровождается оценкой – you have such a crazy way of talking. Ча-

ще, как очевидно, эта оценка негативная – для маркирования языковой и культурной дистанции между представителями двух культур.

Интерес представляет также продолжение диалога: «You got a cellar? Is it dry? «We have a crawl space, I think it's called. I've never been down there» [17: с. 205]. После означивания языковой принадлежности – *мы* (американцы) vs. *вы* (англичане), языковое сознание активируется и возникает, как очевидно, повышенная языковая чувствительность в отношении лексического конструирования дискурса. Англичанка не уверена, принято ли так называть помещение в доме (a crawl space, I think it's called), и дискурсивно переводит сообщение в модус кажимости, означающего, что говорящий начинает оценивать себя с позиции своего собеседника [3].

Еще один распространенный прием в рамках дискурсивной стратегии акцентирования лексических различий – это прием пояснения с использованием языковой единицы иного варианта. Этот прием достаточно частотен в контексте англо-американской коммуникации. Приведем в качестве иллюстрации обращение к английской аудитории американского профессора В. Фрэнсиса: «You probably can't see it from where you sit, but some of you may have noticed that I am wearing a tie clip in the shape of a *monkey wrench* – or what I believe is called *an 'adjustable spanner'* in the curious dialect of this country» [16: с. 6]. Обратим внимание на то, что данный прием схож с переключением языковых кодов. Семантизация лексической единицы здесь, по сути, осуществляется по принципу англо-английского словаря. Целью данного приема является пояснение, раскрытие смысла лексической единицы, которая, по мнению говорящего, может быть неизвестна представителю другой лингвокультуры. Дискурсивная инициатива при этом исходит от самого говорящего. В других случаях единица «своего» языка может активироваться спонтанно. Например, в приведенном ниже диалоге коммуникация в целом протекает беспрепятственно, и только один раз говорящий прибегает к спонтанному использованию лексического элемента *идентифицирующего лексического фонда*. Последнее, заметим, практически не снижает эффективности коммуникативного контакта.

Someone tapped on the window of the telephone kiosk. It was the fat man with the fat cigar he had seen in the limousine. …'If you had finished in there,' said the fat man, waving his cigar, 'I have an urgent call to make.' He spoke with an American accent.

<....> Do you have any small change?'

'How much do you want?' said Adam.

'I want to call Denver, Colorado.'

'Not that much,' said Adam. 'You'd need about sixty shillings. ...

<....> 'Yes, well…if you want to use the phone.' Adam gestured politely to the empty booth. «Perhaps you could reverse the charges.'

'Collect? That's a good idea. You're a great nation,' said the fat man, as he squeezed himself unto the booth.' [9: с. 43].

Очевидно, что контекстуально расхождения на лексическом уровне снимаются достаточно легко. Значение британизма to reverse the charges становится для американца ясным из ситуации и коммуникативная реакция 'Collect? (AmE to call smb. collect) является, по сути, вопросом, не требующим ответа. Но, тем не менее, это тоже манифестация иной языковой идентичности.

Сопоставление языковых выражений двух вариантов, взаимодействие их в дискурсе позволяет показать, как сополагаются два лексических репертуара. Следующий пример является иллюстрацией дискурсивного приема сравнения лексических номинаций в британском и американском вариантах. Данный контекст передает языковой «опыт» английской семьи в Нью Йорке. И, как уже было показано выше, в нем метаязыковое комментирование также сопряжено с яркой эмоциональной оценкой.

The Churchill Hotel where they were staying had no room service, and so Robert's father went out to buy a kettle and some 'basic provisions'. When he got back, Robert could smell the fresh whiskey on his breath.

'Jesus,' said his father, fishing a box out of his shopping bag, 'you go out to buy a kettle and you come back with nothing less than a Travel Smart Hot Beverage Maker.'

Like Linda's and Mom's unconstrained tushes, phrases seemed to feel entitled to take up as much room as they could [13: с. 202].

Данный контекст показывает, что сравниваются не просто две лексические системы, но сопоставляются также стратегии использования языка и его прагматические ресурсы. Здесь, как представляется, мы имеем дело с восприятием англичанином американской языковой идентичности. В последней фразе автор-британец использует аллюзию, соотнося размеры американских выражений – в данном случае Travel Smart Hot Beverage Maker' для обозначения чайника – с нездоровой полнотой многих американцев. В данном акте идентификации говорящий дистанцируется от линейности и пространственной протяженности чужого словесного знака, обусловленных рекламным энтузиазмом, присущим американскому английскому.

Дискурсивная стратегия акцентирования лексических расхождений вырабатывает особую языковую чувствительность носителей вариантов английского языка. Существование своей особой лексической культуры, отличающейся от чужой, осоз-

нают все носители иного варианта языка. Однако, взаимодействуя в дискурсе, эти два лексических репертуара проникают друг в друга, и при интенсивном интеркультурном общении происходит, как представляется, формирование параллельных лексических кодов. Они существуют, очевидно, в виде некоего пассивного запаса, к которому можно прибегнуть в случае коммуникативной потребности. Дискурсивное усвоение чужого словаря идет в контексте, который снимает семантические трудности, а коллокации – нередко сходные – способствуют запоминанию еще одной единицы. Таким образом, лексикон англоговорящих расширяется за счет единиц, используемых в рамках англо-американской коммуникации, вследствие чего возникают случаи особой *лексической синонимии вариантов английского языка*. К таким лексическим единицам относятся давно известные flat-apartment, lift-elevator, baby buggy-pram и многие другие. Но, помимо того, что данный феномен способствует повышению социолингвистической и межкультурной адаптивности носителей вариантов английского языка, у которых складывается особая лингвистическая компетенция носителя варианта языка, лексические единицы нередко, как было показано выше, используются для индикации иной лингвокультурной идентичности.

В заключение, или, скорее, вместо заключения приведем еще один пример, являющийся яркой иллюстрацией основных идей данной статьи:

A porter in a British hotel comes upon an American tourist impatiently jabbing at the button for the lift.

«Sir, the lift will be here in a moment».

«Lift? Lift?" replies the American. "Oh, you mean the elevator».

«No sir, here we call it a lift».

«Well, as it was invented in the United States, it's called an elevator».

«Yes sir, but as the language was invented here, it's called a lift» [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вежбицкая, А.* Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
2. *Кузьменкова, Ю.Б.* От традиций культуры к нормам речевого поведения британцев, американцев и россиян / Ю.Б. Кузьменкова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 316 с.
3. *Семенова, Т.И.* Модус кажимости как способ репрезентации внутреннего мира человека / Т.И. Семенова // Вестник НГУ. – Т. 2. – Вып. 1. – Новосибирск, 2004. – С. 84–89. (Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация»).
4. *Стернин, И.А.* Нормы коммуникативного поведения / И.А. Стернин // Нормы человеческого общения: Тезисы докладов межвузовской научной конференции. – Горький: ГГПИИЯ, 1990. – С. 230–232.
5. *Стернин, И.А.* Очерк английского коммуникативного поведения / И.А. Стернин, Т.В. Ларина, М.А. Стернина. – Воронеж: Истоки, 2003. – 184 с.
6. *Швейцер, А.Д.* Литературный английский язык в США и Англии / А.Д. Швейцер. – 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 200 с.
7. *Bryson, B.* Notes from a Small Island / B. Bryson. – N.Y.: Perennial, 2001. – 325 p.
8. *Cheshire, J.* English around the World: Sociolinguistic Perspective / J. Cheshire. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 684 p.
9. *Lodge, D.* The British Museum is Falling Down / D. Lodge. – London: Penguin Books, 1983. – 174 p.
10. *Marckwardt, A.* A Common Language. British and American English / A. Marckwardt & R. Quirk. – London: Cox and Wyman., 1966. – 79 p.
11. *Mencken, H.L.* The American Language / H.L. Mencken. – New York: Alfred & Knopf, 1963. – 777 p.
12. Reader's Digest (The) [Electronic resource]. – Available at: http://www.americansc.org.uk/Online/berube.htm.
13. *St. Aubyn, E.* Mother's Milk / E. St. Aubyn. – London: Picador, 2006. – 279 p.
14. *Strevens, P.* British and American English / P. Strevens. – London: Collier – Macmillan Publishers.1972. – 97 p.
15. *Tottie, G.* An Introduction to American English / G. Tottie. – Oxford: Blackwell Publishing / Peking University Press, 2005. – 293 p.
16. *Thomas, J.* Using Corpora for Language Research / J. Thomas & M. Short. – Longman, 1996. – 310 p.
17. *Upcher, C.* The Asking Price / C. Upcher. – London: Orion Books Ltd., 2000. – 401 p.

ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТ В «НАИВНОМ» МЕТАЯЗЫКОВОМ ОТРАЖЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА С АНГЛИЙСКИМ)

А.А. Ривлина

Ривлина Александра Абрамовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка при факультете менеджмента Национально-исследовательского университета – Высшая школа экономики (г. Москва).

Контактный адрес: rivlina@mail.ru

Давление глобального английского языка на другие языки, включая русский, порождает в них ряд новых языковых особенностей, в частности, усиливает метаязыковую рефлексию говорящих по поводу языкового контакта. В статье анализируются причины исследовательского интереса к метаязыковой рефлексии в современной лингвистике, обосновывается необходимость выделения метаконтактологии как особого раздела металингвистики, дается трактовка и классификация обиходных метаконтактологических высказываний, намечаются основные направления дальнейшего развития метаконтактологии, в том числе, в контексте исследований глобализации английского языка.

Ключевые слова: метаязык, метаязыковая рефлексия, «англизация», метаконтактологическая рефлексия, «наивная» контактология/ метаконтактология.

Введение

Интерес к метауровневой деятельности и метауровневому анализу прослеживается во всех сферах современного общества и науки: о роли рефлексивных процедур в современном мире пишут многие исследователи (показательно название книги Ю.В. Громыко – «Век мета…» [5]). В работах зарубежных исследователей интерес к «мета» тематике обосновывается с позиций «теории рефлексивной современности», согласно которой все социальные структуры и взаимоотношения становятся все более подвержены «постоянной ревизии в свете новой информации и новых знаний» [24: с. 6]. Усиление языковой рефлексии, как и усиление интереса к ее изучению в лингвистике являются одной из граней этого более широкого процесса [1; 3; 7; 18; 23; 24].

В узком представлении метаязык предстает как язык научного описания, по отношению к которому естественный человеческий язык выступает как «язык-объект» [4: с. 297]. Профессиональному метаязыку при более широкой трактовке этого понятия противостоит «наивный» (непрофессиональный, обыденный, обиходный) метаязык, отражающий языковую рефлексию обычных носителей языка. Часть его составляют спонтанные представления о языке и речевой деятельности, зафиксированные в значении металингвистических языковых единиц, таких как *язык*, *речь*, *слово*, *значение*, *говорить* и т. д. [1], которые входят в состав так называемой «языковой картины мира». Этот аспект языковой рефлексии, как правило, не осознаваемый самими говорящими, определяется как «имплицитный» метаязык. Эксплицитное проявление метаязыка и взаимосвязанных с ним речевых явлений, определяемых как «метаречь», «метатекст», «метадискурс», «метакоммуникация», связывается с выделением Р. Якобсоном метаязыковой функции языка и особого рода «высказываний, ориентированных на код» [19: с. 203]. Имлицитные и эксплицитные метаязыковые представления определяются как «наивная» (т. е. непрофессиональная) лингвистика, «стихийная лингвистика» или «народное языкознание» [2; 3: с. 72–79; 7; 23; 24]). Именно во втором, обиходном смысле, связанном с языковой рефлексией непрофессиональных носителей, будет рассматриваться метаязыковое осмысление языкового контакта в данной статье.

Об усилении языковой рефлексии в современном русскоязычном дискурсе

Вся история коммуникации характеризуется последовательной интенсификацией метаязыковой рефлексии говорящих, расширением состава метаязыковых средств и их большей употребительностью в связи с последовательным возрастанием интеллектуально-семиотической насыщенности жизни и дифференциацией форм общения [11: с. 296]. При этом отмечают, что как собственно языковая рефлексия говорящих, так и интерес к ней лингвистов заметно активизируются в исторически переломные периоды жизни языкового сообщества, сопровождающиеся высокодинамичным типом развития языка. Именно так характеризуют состояние русскоязычного сообщества конца XX – начала XXI вв.: значительные изменения в словарном составе современного русского языка, вызванные изменениями в социальной, политической и экономической жизни страны, усиление личностного начала и общая коммуникативная демократизация обострили языковую рефлексию носителей русского языка и повысили частотность метаязыковых комментариев

в русскоязычном дискурсе[1]. Кроме того, возрастающий интерес лингвистов к метаязыковой проблематике обусловлен и рядомвнутринаучных причин, в частности, анропоцентризмом современной лингвистики, проявляющимся в том, что в центр исследований ставится «человек говорящий», его языковая и речевая деятельность [3: с. 7–8].

На наш взгляд, одним из существенных факторов способствующих интенсификации языковой рефлексии в последние годы становится глобализация английского языка, которая естественным образом помещает билингвов на «границе культурных сред» (пользуясь выражением С.Е. Ячина [20]), конкретнее, на «границе культурно-языковых сред». Значимость «границы» как «обязательного условия рефлексии» широко описана в философии культуры [20: с. 111] [2]. Давление, которое глобальный английский язык оказывает на все языки мира, в том числе и русский, порождает не только ряд новых языковых единиц, включая обширные англоязычные заимствования, вкрапления, кодовое смешение и кодовое переключение и т. п. (то, что в зарубежной литературе обозначается как Englishization/Anglicization, «англизация» местных языков), но и усиление метаязыковой рефлексии носителей языка по поводу этих явлений.

Как представляется, языковая рефлексия по поводу взаимодействия родного языка с глобальным английским универсальна для носителей всех современных языков; однако, присущая русской ментальности словоцентричность и традиционно повышенная эмоциональность в отношении родного языка не могут не влиять на то особое место, которое занимает метаязыковой дискурс на тему влияния английского языка, в современном русскоязычном общении.

Метаконтактология или «наивная» контактология как часть «наивной» лингвистики

В описании языковой картины мира принято выделять сферы обиходно-языковых представлений, большая часть из которых имеет соответствия в научной картине мира: «наивную астрономию», «наивную анатомию», «наивную геометрию», «наивную лингвистику» и т. д. Внутри этих структур знаний и представлений возможно дальнейшее разбиение, которое в значительной степени соответствует разбиению внутри отдельных научных отраслей: так, наиболее разработанный аспект «народной лингвистики» – «народная этимология» описывается какрезультат «этимологической рефлексии» (термин Г.О. Винокура); в отдельных исследованиях выделяют «метаграмматику» и «метаграмматическую рефлексию» [13: с. 52], «метапрагматику» [25: с. 173–205], обыденный «метапереводческий дискурс» [7] и т. п.

Если говорить о контактно-языковых явлениях, они традиционно являются объектом языковой рефлексии говорящих: например, естественно обиходное комментирование значений заимствований, их оправданности/неоправданности в речи на родном языке, их оценка, например, *нравится – не нравится* и т. п. В последние годы, как было отмечено, эта сфера «наивного» осмысления языка неуклонно расширяется в связи с усилением глобальных информационных потоков и культурно–языковых контактов. Поэтому, на наш взгляд, назрела необходимость специального изучения того, что можно назвать «контактологической рефлексией» или «метаконтактологической рефлексией» носителей языка[3], а также выделения «метаконтактологии» как особого раздела металингвистики и «наивной контактологии» как одной из составных частей «наивной» лингвистики.

Как показывает анализ, объектом метаконтактологической рефлексии чаще всего становится

[1] В большинстве работ по проблемам языковой рефлексии, как и в настоящей статье, анализируется обиходный и/или публицистический русскоязычный дискурс, т. е. повседневная речь обычных, непрофессиональных носителей русского языка. Интересно, однако, что и современный художественный русскоязычный дискурс, по наблюдению Н.А. Николиной, также характеризуется значительным усилением метаязыковой рефлексии: во многих художественных произведениях, включая поэзию, все чаще объектом осмысления и дополнительным источником образности становятся фонические особенности русской речи, семантика отдельных слов, употребление грамматических форм, отдельные лингвистические термины и т. п., что позволяетсделать вывод о своеобразном «лингвоцентризме» как одной из отличительных особенностей современной поэтической речи [13: с. 49–79].

[2] Интересные параллели в этой связи можно проследить в исследованиях, посвященных творчеству оказавшихся в эмиграции русских писателей: отмечается, что для него характерно обилие метаязыковых комментариев и особая значимость разнообразных языковых оценок [8: с. 143].

[3] Строго говоря, термин «метаконтактологическая рефлексия», как и термин «метаязыковая рефлексия», тавтологичен, поскольку компонент «мета-», как отмечалось, уже предполагает наличие рефлексии по поводу некоторого объекта. Очевидно, более корректен термин «языковая рефлексия», как в [3]. Однако, опираясь на сложившуюся терминологическую практику (упоминания о «метаязыковой рефлексии», «метаграмматической рефлексии» и т. п. [11: с. 296; 13: с. 52]), мы считаем возможным использовать оба варианта терминов – «языковая рефлексия» и «метаязыковая рефлексия», «контактологическая рефлексия» и «метаконтактологическая рефлексия».

наиболее типичное проявление языкового контакта – заимствование лексических единиц. Важно подчеркнуть, что внимание обычных, непрофессиональных носителей языка, в отличие от лингвистов, привлекают не столько различия контактно-лексических проявлений (например, разграничение заимствований, иноязычных вкраплений, калек, гибридных слов, псевдозаимстований и т. п.), сколько то, что все их объединяет – собственно «иноязычность» или, как определяет это Н.Б. Мечковская, «привкус чужеязычности» [11: с. 226]. Интересно, что в современной русистике прослеживается отход от употребления термина «заимствование»/ «заимствованное слово» в пользу предложенного еще в конце 1960-х гг. Л.П. Крысиным термина «иноязычие»/«иноязычное слово» [9; 10; 12], который позволяет охватить более широкий круг контактно-языковых проявлений и снять ряд терминологических разногласий. Необходимо признать, что во многих работах в подобном расширенном понимании используется и термин «заимствование», в рамках которого рассматриваются собственно лексические заимствования, грамматические заимствования, семантические и фразеологические кальки и многое другое, вплоть до заимствования сюжетов, образов, речевых жанров, формул этикета и т. п. [14: с. 154]. Какой бы из терминов – «заимствование» или «иноязычие» – ни использовался, с точки зрения исследуемой нами темы, нельзя не заметить, что на первый план в их толковании все больше выходит признак метаязыковой рефлексии носителей языка, т. е. сам факт осознания некоторых языковых явлений как обусловленных иноязычным влиянием. Ср.: «… на формирование столь широкого представления об иноязычности влияет именно факт **восприятия** того или иного слова как иноязычного» [10: с. 23]; «… **иноязычие слова может осознаваться** так же, как, к примеру, могут осознаваться другие языковые свойства слова – производность (мотивированность), эстетика звучания (благозвучие), стилистическая окраска и т. д.» (выделение автора) [10: с. 22]. Таким образом, использование иноязычий в речи на родном языке (как и языковая деятельность билингвов в целом), вне зависимости от наличия или отсутствия ихэкплицитного метаязыкового комментирования, по определению, металингвистично, поскольку предполагает более или менее осознанную рефлексию по поводу использования единиц разных языковых систем[4].

[4] Ср.: собственно межъязыковой перевод зачастую определяется как «метатекст» по отношению к исходному тексту [6: с. 307], а наличие любого иноязычия в тексте само по себе рассматривается как текстовый метакомпонент [12].

Контакт с глобальным английским языком в метаязыковых комментариях носителей современного русского языка

Экспликация метаконтактологической рефлексии начинается с появлением в речи билингвов-приемов, направленных на уточнение и прояснение смысла используемых иноязычий, на элиминацию межъязыковых лакун с помощью параллельного использования языковых трансформаций типа перевода, синонимических замен, толкований, парафраз, сравнений, аналогий и т. д. Вот некоторые из примеров на материале англо– русского языкового контакта: *Да вы* ***lucky, счастливчик*** («Давай поженимся», ОРТ, март 2011); … ***райдер*** *(список требований звезды – ред.) у актрисы оказался в пределах разумного*; … *профессиональные американские* ***няни*** *(ожидается от двух до четырех* ***беби–ситтеров)*** («Комсомольская правда», 2010).

Максимальная эксплицитность метаконтактологической рефлексии достигается при использовании особых метаязыковых операторов, которые сопровождают подобные тактики, типа *от английского слова …, в переводе …, англицизм/американизм …, т. е. …, так называемый…, другими словами* … и т. п., например:*Об этом свидетельствуют данные экзит-пулов* ***(это*** *опрос избирателей при выходе с избирательных участков)* («Комсомольская правда», 2007); *Чтобы у нас появились дискаунтеры,* ***или, как их еще называют,*** *lowcost авиакомпании, нужны большие объемы перевозок* («Комсомольская правда», 2008); *Пикаперы (****от английского*** *pick-up – «клеить, знакомиться»),* ***если кто не в курсе****, учат парней профессионально снимать девушек* («Комсомольская правда», 2008). Чаще всего, подобные метаязыковые комментарии минимальны, состоят из одного-двух слов или небольшого придаточного предложения, поскольку представляют собой «метатекст», трактуемый А. Вежбицкой как своеобразные «метатекстовые нити», которые лишь «проясняют «семантический узор» основного текста» [2: с. 421] и не должны отвлекать от основного текстового содержания. С другой стороны, метаконтактологический комментарий может становиться самостоятельной темой сообщения и выражаться в рамках отдельного предложения, например: ***Их тут называют*** *«лузерами», неудачниками* («Комсомольская правда», 2008), или может даже разрастаться по объему до протяженных текстовых фрагментов и целых отдельных текстов, посвященных заимствуемым иноязычным единицам и обозначаемым с их помощью социальным и культурным явлениям; например, по поводу заимствования *гламур*-эссе Т. Толстой «Я планов наших люблю гламурье…» (http://scripts.online.ru/misc/news/98/09/10_229.htm) или «Гламур – новая идеология или старые раны?» (http://www.drugaya.ru/content/doc592.html).

Содержательный анализ метаконтактологических комментариев позволяет сделать вывод об их принципиальной общности с другими видами метаязыковых высказываний или, как их еще называют в металингвистических исследованиях, рефлексивов. Общая характеристика рефлексивов заключается в их трактовке как особого адаптационного механизма, позволяющего «снять очаги речевого напряжения в дискурсивном пространстве, которые могут вызвать непонимание и требуют особой языковой бдительности говорящего» [3: с. 102]. При ослаблении «языковой бдительности» происходит коммуникативный сбой и тогда метаязыковой комментарий в виде постреакциипозволяет исправить коммуникативную ошибку и компенсировать непонимание postfactum. Например: *Нельзя золотовалютные резервы ЦБ называть резервами страны. Иначе они сразу становятся touchable. – Что, простите? –* ***Я говорю,*** *на них может быть обращено взыскание в случае принятия соответствующего судебного решения.* ***Иногда одним иностранным словом легче сказать. Это не от выпендрежа*** (интервью с В. Геращенко, «Аргументы и факты», 2001). Использованное в данном примере английское слово *touchable* вызывает непонимание, коммуникативный сбой (*Что, простите?*), поэтому интервьюируемый вводит с помощью базового метатекстового оператора «*я говорю*» пояснение–дефиницию иноязычного слова (*на них может быть обращено взыскание в случае принятия соответствующего судебного решения*); далее он комментирует причину появления данного англицизма в своей речи как результат отсутствия адекватного эквивалента в русском языке (*иногда одним иностранным словом легче сказать*) и открещивается от возможных распространенных обвинений в использовании иноязычий из-за их престижности, в угоду речевой моде (*это не от выпендрежа*). В подавляющем же большинстве случаев метаязыковой комментарий выступает как «опережающая», «проективная» рефлексивная реакция говорящего [3: с. 103–104].

Среди основных типов метаконтактологических комментариев, используя общий подход к классификации рефлексивов, предложенный И.Т. Вепревой [3: 105–110], можно выделить следующие:

а) комментарии динамического типа, отражающие временну́ю характеристику употребления заимствованной языковой единицы, изменение лексического состава языка, моду на слово, перераспределение активного и пассивного запасов словаря и т. п., например: ***Они теперь все говорят, как в американских сериалах****: «у меня проблемы» и «я сделал это!»* (С. Поляков, «Грибной царь»);

б) комментарии стилистического типа, связанные с оценкой иноязычия в аспекте его стилистической окраски как книжного, разговорного, просторечного, характерного для речи тех или иных социальных групп и т. д., а также с точки зрения его стилистической уместности в тех или иных контекстах, например: *Этот чулан, в котором вечно царит хаос, в редакции* ***принято называть модным и гламурным словом*** *«фэшнрум»* («Yes!», 2008);

в) комментарии деривационного типа, связанные с уточнением значений иноязычий, с пояснением их внутренней формы в исходном языке, формальной и семантической деривации, модификации и реструктуризации смысла и т. п., как в вышеприведенном примере: *Пикаперы* ***(от английского*** *pick-up – «клеить, знакомиться»)…*;

г) комментарии личностного типа, в которых выражаются личные предпочтения адресанта по поводу использования заимствований или ориентация на предполагаемую точку зрения адресата по этому вопросу, например: *Чтобы в главе «дела сделанные» поубавилось, а в пункте «свободна», наоборот, выросло, примерь на себя основные правила тайм-менеджмента, или разумного управления временем,* ***если тебе не милы англицизмы*** («Yes!», 2008).

Важным основанием для дальнейшего разграничения типов метаконтактологических рефлексивов является коммуникативный модус говорящего. Субъект речи может просто сообщать некоторую информацию об иноязычном слове, а может высказывать свое отношение к нему, давать его оценку. Исследования показывают, что для современной русской речи в целом характерна «усиленная модализация сообщения» [3: с. 161], поэтому в корпусе рефлексивов, включая метаконтактологические рефлексивы, довольно часто встречаются оценочные высказывания. Оценка иноязычия может быть положительной, например: *Collaboration… Я* ***очень люблю*** *это буржуазное слово. Уж не знаю, чем оно* ***мне нравится****, наверное, все-таки не фонетическими особенностями, а значением, смыслом* («Комсомольская правда», 2000) (пример И.Т. Вепревой [3: с. 303]). Однако в подавляющем большинстве случаев метаконтактологическая оценка является негативной, чему есть целый ряд объяснений. В частности, с точки зрения сопоставительной лингвокультурологии, как мы уже отмечали в ряде статей [16; 17], неизбежный подсознательный этноцентризм, особенно в сочетании с традиционно трепетным отношением русскоязычной культуры к родному слову, часто порождает восприятие «чужого слова» как «чуждого», «неправильного», представляющего угрозу для «своей» системы ценностей, что ведет к его отторжению. Например: *А бойфренд у тебя есть? – Бойфренда нет. – Почему? – Потому что бойфренд –* ***это английское слово****. Это* ***что-то чужое****. Оно* ***мне не нравится****.*

У меня есть любимый человек («Народный артист», РТР, 2006). Сопоставление стоящих за подобными оценками культурно-обусловленных систем ценностей и представлений, анализ возникающего и выявляемого в результате метаконтактологической рефлексии лингвокультурного конфликта [17] отдельная увлекательная тема лингвокультурологии и метаконтактологии.

В отличие от наиболее заметных лексических и лексико-стилистических аспектов языкового контакта, другие виды англизации русского языка, такие как заимствование отдельных грамматических конструкций, фонетическое влияние, заимствование коммуникативных клише, прагматических норм общения и т. п., реже попадают в поле метаязыкового сознания и реже подвергаются метаязыковой оценке. Тем не менее, так же как и собственно лексические иноязычия, они чаще всего вызывают негативную реакцию. Например: *Нерусские дикторы и телеведущие, говорящие с акцентом, картаво, гнусаво и шепеляво…; дикторы машут ручкой и нагло говорят «пока», как будто все зрители их собутыльники* (пример И.Т. Вепревой [3: с. 303]); *стыдно говорить (и это не западничество, а колониальное просматривается): «новости от Пупкина», «галстуки от Диор». Давайте говорить тогда: картины от Репина, роман от Достоевского, симфония от Чайковского. Я негодую, когда так коверкают великий и могучий русский язык!* (из интервью И. Глазунова, «Аргументы и факты», 2005).

Заключение

В заключение подчеркнем, что рассмотренные в данной статье аспекты метаконтактологии далеко не исчерпывают данную тему. В частности, помимо англизации контактирующих с глобальным английским языком местных языков, которая была описана в ее обиходно-метаязыковом представлении на примере русского языка, в изучении межкультурной коммуникации и контактной вариантологии английского языка (WorldEnglishes) метаконтактологический речевой материал привлекается в связи с самыми разными сторонами культурно-языковых контактов, ср.: наблюдения билингвов относительно расхождений в их родном языке и в английском, попытки «наивного» культурно-типологического объяснения подобных расхождений, например [26: с. 26–27]; описание участниками процесса межкультурной коммуникации собственного опыта срывов коммуникации из-за расхождения и непонимания культурно-обусловленных смыслов, например [26: с. 9]; отношение к использованию английского языка как глобального в его соотношении с местными языками, оценка его влияния (положительного или отрицательного) на местные языки и культуры, например [22: с. 89, 107]; отношение к местным вариантам английского языка (включая фонетические, грамматические и др. особенности), прежде всего, с точки зрения их престижности, например [15: с. 61; 21: с. 130–141, 180–181; 22: с. 60–61] и т. п. В контактной вариантологии широко используются метаязыковые комментарии, собранные не только на основе чисто лингвистического текстового анализа, как в данной статье, но и в результате применения социолингвистических методов включенного наблюдения, анкетирования, интервью и т. п. [15; 21]. Все это еще раз подтверждает актуальность данного направления контактологических исследований, широкие перспективы и необходимость специального более глубокого изучения метаконтактологической рефлексии носителей языка, в том числе на материале контакта современного русского языка с глобальным английским языком.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арутюнова, Н.Д.* Наивные размышления о наивной картине языка / Н.Д. Арутюнова // Язык о языке. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 7–22.

2. *Вежбицкая, А.* Метатекст в тексте / А. Вежбицкая // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8. Лингвистика текста. – М. : Прогресс, 1978. – С. 402–424.

3. *Вепрева, И.Т.* Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / И.Т. Вепрева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с.

4. *Гвишиани, Н.Б.* Метаязык / Н.Б. Гвишиани // Лингвистический энциклопедический словарь ; ред. В.Н. Ярцева [и др.]. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 297–298.

5. *Громыко, Ю.В.* Век мета: современные деятельностные представления о социальной практике и общественном развитии / Ю.В. Громыко. – М. : АРКТИ, 2006. – 504 с.

6. *Карасик, В.И.* Языковая кристаллизация смысла / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2010. – 351 с.

7. *Кашкин, В.Б.* Концептуализация перевода в обыденном сознании и научном представлении / В.Б. Кашкин, Е.А. Княжева // Вестник ВГУ. – 2010. – № 1. – С. 36–141. (Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация»).

8. *Кожевникова, Н.А.* О языке художественной литературы русского зарубежья / Н.А. Кожевникова // Русский язык зарубежья. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – С. 119–287.

9. *Крысин, Л.П.* Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин. – М. : Эксмо, 2007. – 944 с.

10. *Маринова, Е.В.* Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования / Е.В. Маринова. – М. : ЭЛПИС, 2008. – 495 с.

11. *Мечковская, Н.Б.* История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета / Н.Б. Мечковская. – М. : Флинта, Наука, 2009. – 584 с.

12. *Николаев, С.Г.* Иноязычие как метакомпонент художественного текста (к вопросу о билингвеме в поэзии) / С.Г. Николаев // Relga. Научно-культурологический журнал. – № 2 [104]. – 07.02.2005. – Режим доступа: http://refrefer.ru/08/dok.php?id=0016.

13. *Николина, Н.А.* Активные процессы в языке современной русской художественной литературы / Н.А. Николина. – М. : Гнозис, 2009. – 336 с.

14. *Панькин, В.М.* Языковые контакты: краткий словарь / В.М. Панькин, А.В. Филиппов. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 160 с.

15. *Прошина, З.Г.* Основные положения и спорные проблемы теории вариантности английского языка = TheABCandControversiesofWorldEnglishes / З.Г. Прошина. – Хабаровск: Дальневосточный ин-т иностранных языков, 2007. – 120 с. – Режим доступа: http://www.ffl.msu.ru/img/pages/File/Proshina/the%20abc.doc.

16. *Ривлина, А.А.* О явлении «глокализации» в семантическом развитии англоязычных заимствований / А.А. Ривлина // Россия и Запад: диалог культур : сб. статей XIII международной конф. – Вып. 15. – Ч. I. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – С. 299–308.

17. *Ривлина, А.А.* «Лингвокультурный конфликт» и его «наивная» метаязыковая интерпретация (на материале взаимодействия современного русского языка с английским) / А.А. Ривлина // Личность. Культура. Общество. – 2011. – № 4 (в печати).

18. *Трошина, Н.Н.* Культура языка и языковая рефлексия: Аналитический обзор / Н.Н. Трошина. – М.: РАН ИНИОН, 2010. – 62 с.

19. *Якобсон, Р.* Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 193–230.

20. *Ячин, С.Е.* Метакультура – место творчества личности на границе культурных сред / С.Е. Ячин // Личность. Культура. Общество. – 2010. – Т. XII. – Вып. 1 (№ 53–54). – С. 108–122.

21. *Jenkins, J.* English as a Lingua Franca: Attitude and Identity / J. Jenkins. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 284 p.

22. *Kirkpatrick, A.* World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching / A. Kirkpatrick. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 257 p.

23. *Maschler, Y.* Metalanguage in Interaction: Hebrew Discourse Markers / Y. Maschler. – Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2009. – 258 p.

24. Metalanguage: Social and Ideological Perspectives / Ed. by Adam Jaworski, Nikolas Coupland and DariuszGalasiński. – Berlin & New-York: Mouton de Gruyter, 2004. – 324 p.

25. *Mey, J. L.* Pragmatics / J. L. Mey. – Malden & Oxford: Blackwell Publishers Inc., 2001. – 350 p.

26. *Wierzbicka, A.* English: Meaning and Culture / A. Wierzbicka. – Oxford & New-York: Oxford University Press, 2006. – 352 p.

ПОЛИВАЛЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Г.А. Токарева

Токарева Галина Альбертовна – доктор филологических наук, заведующая кафедрой литературы и журналистики Камчатского государственного университета им. В. Беринга (г. Петропавловск-Камчатский).

Контактный адрес: tga41@yandex.ru

Статья посвящена теоретической проблеме описания так называемых поливалентных феноменов и их функционирования в художественном тексте. Ряд терминов в дискурсивной практике современной гуманитаристики имеет различное наполнение в различные поэтологические эпохи, что определено развитием сознания и соответственно различными способами художественного отражения действительности. В статье излагается гипотеза о закономерности формирования в литературоведческой практике тенденции к переходу мировоззренческих понятий в поэтологические и возвратного их движения к реконструированным формам архаической поэтики. Процесс прослеживается на материале таких междисциплинарных феноменов (и соответственно междискурсивных терминов), как миф, ирония, гротеск, пародия и др.

Ключевые слова: поливалентные феномены, междискурсивные термины, нормативная поэтика, поэтика индивидуальных стилей, гротеск, миф, ирония, пародия, макабрические мотивы, реконструированные формы архаической поэтики.

Серия означающего является избыточной, поскольку язык (знаковая система) всегда больше достигнутого уровня знаний, зафиксированного в понятиях (означаемых).
Ж. Делёз

Терминология литературоведения, как и многих гуманитарных наук, складывается на основе постоянного уточнения семантического поля терминов в процессе исторического осмысления феноменов, а также на основе взаимовлияния терминологических регистров смежных дисциплин гуманитаристики. Принципиально важным в данном случае является тщательная проработка в ходе исследования различных, в том числе и контекстуальных значений термина и учет его исторических трансформаций. Опыт исследования показывает, что продуктивный анализ текста может быть осуществлен только после освоения всех возможных значений теоретико-литературного термина и осуществленного исследователем терминологического выбора. Такая предварительная работа крайне необходима во избежание терминологических претензий.

Методологические подходы в современном литературоведении меняются стремительно, что влечет за собой радикальное изменение терминологии, порой неоправданное ее дублирование, но в ряде случаев и необходимое ее уточнение. Это связано и с более медленным, но не менее важным фактором развития – развитием самого человеческого сознания и учетом изменения этого сознания в процессе исследования культурных феноменов. «Категории поэтики подвижны, – утверждают специалисты. – Даже тогда, когда в длительной исторической перспективе они сохраняют свою актуальность, от периода к периоду и от литературы к литературе они меняют свой облик и смысл, вступают в новые связи и отношения, всякий раз складываются в особые и отличные друг от друга системы» [1: с. 3]. Процесс изменения содержания понятия, связанного с тем или иным теоретико-литературным феноменом, занимает достаточно много времени. Его новое наполнение осознается, как правило, постепенно, но может стать и результатом конкретного открытия, получающего статус революционного.

Предпринятое рядом известных ученых современности подразделение развития литературы на три масштабных этапа проясняет процесс трансформации самого феномена и научной его оценки. В известной статье коллектива авторов, на которую мы ссылались выше, было выделено три периода развития поэтики: архаический, нормативный (традиционалистский) и индивидуально-творческий (исторический). Этим этапам в классификации С. Бройтмана (а она положена в основу структуры курса исторической поэтики, созданного автором) соответствуют поэтика эпохи синкретизма, эйдетическая поэтика и поэтика художественной модальности. Каждый из художественных феноменов функционирует по-разному на различных этапах развития сознания человека, но неизменность термина, принятого на вооружение на определенном этапе, приводит к необходимости каждый раз уточнять его номинативное или функциональное значение в зависимости от эпохи, к которой он привязан. Об этом необходимом уточнении специалисты слишком часто забывают, что приводит к терминологической путанице, к разговору о

разных вещах как об одном и том же, что, как известно из практики древней комедии, приводило только к абсурду и порождало комический эффект.

Поэтому есть смысл говорить о поливалентности художественных феноменов как об основании для терминологической дифференциации или, по крайней мере, о более обязательном для исследователя уточнении значения каждого феномена применительно к различным этапам развития человеческого сознания. Стремление совершенствовать литературоведческую терминологию с учетом вышеназванных факторов является нашим основным намерением.

Самый классический пример терминологических «блужданий» – история термина *миф* и соответственно изменение рецепции самого феномена. Некоторая степень понятийной устойчивости, наметившаяся в науке, в последнее время позволяет выделить, по крайней мере, три значения слова «миф»: миф как повествовательная структура, рассказ; миф как особая форма мышления, формирующая представления древних о мире; и миф как иллюзия, вненаучное построение. Весьма точно В. Хализев определил последнее как «мифоподобный феномен» [15: с. 13]. Мы будем говорить о двух первых значениях. Нет необходимости напоминать, что первоначально в теоретико-литературных работах термин «миф» функционировал в основном в первом значении (повествовательная структура), о мифе как особой форме сознания древних заговорили ученые лишь после того, как в эпоху романтизма миф стал объектом пристального научного внимания.

«Миф не вымысел, а результат *психического акта*» А.Н. Веселовский [14: с. 347].

«Миф – необходимая *категория сознания* и бытия вообще» [5: с. 25].

«Мифологический материал был для народов-мифотворцев и формой самовыражения, и *формой мышления*, и формой жизни» [18: с. 15].

«Миф – …определенный способ *опыта реальности*» [16: с. 41].

«Миф – всеобщая и единственно возможная *форма восприятия мира* на известной стадии его развития» [14: с. 17] и т. д.

Несмотря на то, что «чистая…модель мифологического мышления, вероятно, не может быть документирована» [7: с. 533], исследователи, пользуясь методом этнологической, культурологической и лингвистической реставрации, а также на основе изучения детского мышления, соотносимого с мифологическим, постарались восстановить основные принципы мифологического мышления: прелогизм, или особая логика мифа, подразумевающая неразделенность субъекта и объекта, субъекта и его признаков, идеального и реального, естественного и сверхъестественного и т. п. – то, что Е. Мелетинский называет «диффузностью сознания» [8: с. 165]; нарушение закона исключения третьего; замена определения явления рассказом о процессе его создания и т. д. В мифе персонифицируются родовые категории, гипостазируются абстрактные понятия, идеи скорее переживаются, чем мыслятся; свойства человеческой природы переносятся на предметы и явления окружающего мира. Специфически строится в сознании первобытного человека и пространственно-временная модель мира. Пространство мифа трактуется исследователями как парадоксальное, гомогенное в его локальных формах и дискретное в целом, Ю. Лотман и Б. Успенский говорят о «лоскутном характере мифологического пространства» [7: с. 530]. Оно упорядочивается через систему бинарных оппозиций (верх–низ, право–лево); центром пространства мыслится некая точка или линия (ось), приобретающая различные формы: гора, дерево столп, при этом понятия «центр» и «периферия» обнаруживают свою релятивность в силу универсальной идеи изоморфизма. Время мифа циклично и имеет тенденцию возвращаться к истоку, проецируя «сегодня» в первовремя и, тем самым выходя на категорию «всегда».

Все эти уже достаточно устоявшиеся представления о свойствах первобытного мышления помогают выявить наиболее существенные характеристики и функциональные особенности мифа. Именно прикладной, функциональный аспект явления позволил отдифференцировать его от номинативного феномена, который, по сути, есть продукт этой функциональной деятельности. Наполнение термина новыми смыслами стало возможным относительно недавно, после ряда открытий в различных научных областях, связанных с исследованием коллективного бессознательного.

Такую же «двойную» или даже «тройную» жизнь ведут и по сей день многие литературоведческие категории, такие как ирония, гротеск, парадокс, пародия, абсурд и многие другие. Мы предлагаем говорить о поливалентности тех феноменов, которые под одним именем выступают в разных функциях на различных этапах развития художественного сознания, и называть соответственно междискурсивными термины, их обозначающие. К некоторым из них мы обратимся и попробуем проследить их историю с тем, чтобы отграничить, по крайней мере, мировоззренческое понятие от художественного приема.

Понятие «ирония» – один из самых ярких образцов полифункционального понятия, и даже в области устоявшейся терминологии имеет несколько значений. Нет оснований углубляться в доказательство необходимости различения иронии как философской категории и иронии как художествен-

ного приема. Здесь исследователи достаточно единодушны. Однако во избежание смешения этих двух значений термина, приведем несколько наиболее известных определений иронии как приема, что позволит нам далее более органично выйти на мировоззренческое понятие иронии романтической.

В литературоведческом энциклопедическом словаре ирония определяется следующим образом: «Ирония [греческое eironeia – притворство] – явно-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде, чтобы путем доведения до абсурда самой возможности положительной оценки осмеять и дискредитировать данное явление, обратить внимание на тот его недостаток, который в ироническом изображении заменяется соответствующим достоинством» [4]. « Ирония, – находим в "Литературной энциклопедии", – вид насмешки, отличительными чертами которого следует признать: спокойствие и сдержанность, нередко даже оттенок холодного презрения, а, главное, личина вполне серьезного утверждения, под которой таится отрицание достоинства того предмета или лица, к которому относится ирония и которая сообщает ей особую, подчас уничтожающую силу» [3]. М.И. Стеблин-Каменский называет иронию одним из изощренных видов смеха, отмечая, что «ирония, т. е. осмеяние под маской одобрения» – «интеллектуальный вид» направленного смеха [12: с. 4].

Для иронии как приема (как в риторике, так и в художественном произведении) характерна некая «двуслойность» высказывания, сведение противоположностей в одну точку, и не менее важна дистанция между слоями высказывания (если выразиться точнее, то структура иронического высказывания предполагает дистанцию, определяемую не принципом «между», а принципом «над»). Эти структурные особенности иронического высказывания давали основания для вычленения иронии в особый тип оценочного смеха, имеющего не только атрибутивную (доброжелательный, обличительный, горький), но и структурную («двуслойный») характеристику. Специфика иронического высказывания провоцировала споры о пафосе (модусе художественности), называемом ироническим (Г. Поспелов, В. Тюпа, Н. Фрай).

В жизни поливалентных понятий принципиальным является тот факт, что мировоззренческое явление, будучи осознано в своей эстетической функции (как художественный прием), возвращается к своей более архаической онтологической функции, но уже осмысленной и оформленной в научном дискурсе, и это можно уподобить тому, как известный мольеровский герой начинает осознавать, что он всю свою жизнь говорил ***прозой,*** не ведая того. Историческое бытование термина «ирония» как раз – один из ярких примеров такого «возвратного» движения.

Исторически термин «ирония» связан с понятием мировоззренческим, соответственно с явлением, имеющим гносеологическую функцию, а именно с «сократовской иронией». А.Ф. Лосев этимологически возводит иронию к семантике говорения, заговаривания, игры словами. «Слово «ирония» (eiröneia) – от слова eirö, что значит «говорю». От этого слова происходят слова «ироник», «обманщик», «сбивающий с толку при помощи слов», «тот, кто думает одно, а говорит другое» (Lex. Gud. 171) [6, ч.VIII, гл.11, § 5][*]. В эпоху формирования романтической эстетики Ф. Шлегель сформулировал понятие иронии, впоследствии получившей название романтической, во многом опираясь на гносеологическую методику античности. Как известно, Сократ побуждал собеседника к движению мысли, задавая «простые» вопросы, провоцирующие проблемную ситуацию, и тем самым помогал рождению идеи. «Сократовская ирония», – пишет немецкий романтик, – есть единственный случай, когда притворство и непроизвольно, и в то же время совершенно обдуманно. Одинаково невозможно как вызвать ее искусственными ухищрениями, так и отойти от ее тона. Кому она не дана, для того и после самого откровенного признания она останется загадкой. Она не должна никого вводить в заблуждение, кроме тех, кто считает ее иллюзией и либо радуется, видя это *великолепное лукавство, которое посмеивается над всем миром*, либо злится, подозревая, что и для них не делается исключения. В иронии все должно быть шуткой и все должно быть всерьез, все простодушно откровенным и все глубоко притворным. Она возникает, когда соединяются чутье к искусству жизни и научный дух, когда совпадает друг с другом и законченная философия природы, и законченная философия искусства. В ней содержится и *она вызывает в нас чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, чувство невозможности и необходимости всей полноты высказывания.* Она есть самая свободная из всех вольностей, так как *благодаря ей человек способен возвыситься над самим собой* (везде курсив наш – *Г.Т.*), и в то же время ей присуща всяческая закономерность, так как она безусловно необходима. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда попеременно нужно то верить, то не верить, покамест у них не начнется головокружение, шутку принимают всерьез, а серьезное принимают за шутку» [6: ч. VIII, гл. 11, § 5].

[*] Ссылка дается на электронный источник издания.

Ф. Шлегель видел в романтической иронии не просто возможность опровержения всякой претензии на идеальность, но и путь к воссозданию целостности мира. «Суть иронии в том, чтобы не было полужизни на одной стороне и полужизни на другой…. Ирония хочет единой жизни, в которой факты в их прозаизме и поэзия, за ними таящаяся, сошлись бы друг с другом. Ирония – устремленность к целокупной истине» [17: с. 238]. При этом совершенно ясно, что Шлегель дает термину «ирония» смысловое наполнение, отличное от современного – диалектически-философское и соответственно более широкое.

Исследователи неоднократно отмечали, что в работах немецких романтиков одно и то же понятие фигурирует под разными именами (например, у К. Зольгера и Ф. Шлегеля – «ирония», у Жана Поля – «юмор»), что свидетельствовало о неустойчивости новой терминологии. Содержание обоих этих терминов не тождественно их наполнению в современном литературоведении и современной философии. Однако мысль теоретиков романтизма ясна: речь идет об определенной мировоззренческой концепции романтиков, связанной с идеей бесконечного стремления к идеальному. Романтическая ирония предполагает постоянную проверку мира на динамичность его развития. Романтическая ирония обуславливает невозможность фиксации на абсолютном состоянии явления, мира в целом и требует регулярного разрушения абсолюта как предела развития, взывая к постоянному движению от разрушенного абсолюта к новому.

Комическое и трагическое сопряжены в точке достижения абсолюта, ибо разрушение очередного предела развития, смена парадигмы – это одновременно трагедия умирания и радость обновления. Таким образом, в романтической иронии уместны как трагический, так и комический тип рефлексии.

В истории культуры существует понятие «гомерического смеха», т. е. смеха богов над несовершенством смертных и их деяний. А.Ф. Лосев, трактуя труды неоплатоника Прокла (412–485 гг. до н. э.), обратил внимание на определение гомерического смеха, данное древним философом – «неугасимый» (asbestos) и его трактовку божественного смеха как «щедрой энергии, направленной на всё». И далее у Прокла: «Смех же относится к универсальным и вечно тождественно движущимся полнотам универсальной энергии» [6: ч. 9: гл. 1][*] . Как некую плерому, аналогичную первовеществу, с его творческим потенциалом (например, огонь) воспринимал смех, очевидно, и романтики, многие из которых испытывали интерес к учениям неоплатоников.

Романтическая ирония в философской традиции эпохи выступает как форма человекобожия: романтик, дистанцируясь от низкого мира с помощью презрительной усмешки, отчасти принимает на себя функцию Бога, смеющегося гомерическим смехом. Но в смехе романтических героев всегда есть трагический надрыв, не позволяющий отождествить смех свободного божества со смехом поднявшегося над тварным миром романтического героя. Эти герои знаменуют смехом свою победу над конечным существованием человека и духовно побеждают Смерть как главного врага телесно воплощенного человека.

Термин «романтическая ирония», воспринятый уже в контексте диалектической теории Гегеля или аполлонически-дионисийской концепции Ницше, к концу XIX в. начинает осмысляться уже философски широко, а в литературоведении становится синонимом диалектического типа мышления, который предполагает *осмеяние*, иначе – ритуальное уничтожение предыдущей, отжившей системы (идеологической, социальной, поэтологической), что и заставляет специалистов сохранять в новых дискурсах термин «ирония» как концептуально значимый.

Приведем еще один пример поливалентного понятия – гротеск. Представим генезис понятия «гротеск» и соответственно возникновение и трансформацию термина, его обозначающего. Как известно, первоначально *гротеск* обозначал конкретный феномен – причудливый орнамент, фигуры которого представляли собой существа гибридного типа. Этот орнамент был найден на рубеже XV–XVI вв. при раскопках «Золотого дворца» (Domus aurea) императора Нерона. Орнаменты получили название «grottesche» от итальянского слова «grotta», что означает грот, пещера. Последующее расширение значения понятия было стремительным и вполне предсказуемым, ибо в истории гуманитарных наук, склонных метафорически использовать конкретные определения, такая метаморфоза не редкость.

На сегодня понятие «гротеск» включает в себя, по крайней мере, три значения.

Гротеск – 1 – артефакт, орнамент с причудливыми формами.

Гротеск – 2 – характер восприятия действительности, при котором явления действительности предстают в гипертрофированной, причудливой форме.

[*] Ссылка дается на электронный источник издания.

Гротеск – З – прием, предполагающий преувеличение и смешение составляющих явление частей.[1]

Исходя из определения три, гротеск может быть обозначен как вид художественной образности (образ, стиль, жанр), при этом чрезвычайно важно помнить, что гротеск был обозначен также и как характер восприятия действительности, поскольку художественный образ, например, может формироваться как сознательно, так и с опорой на бессознательное (архетипическая образность).

Различные исследователи стремились выделить базовую черту гротеска, которая могла бы лечь в основу его дефиниции. Для большинства ученых это сочетание чужеродных элементов (гибридность) и гипертрофированность образа. Весьма часто цитируется утверждение Л. Пинского о том, что «гротеск в искусстве родственен парадоксу в логике» [10: с. 120]. Не менее часто авторы отсылают к определению М.М. Бахтина, который пишет, что гротеск связан с «вечной неготовностью бытия» [2: с. 40], предполагающей бесконечную череду переходов мира из одного состояния в другое. Ни то, ни другое определение в отрыве от авторского контекста не дает однозначного прояснения феномена «гротеск».

Конвенциональность термина «гротеск», имеющего разное наполнение в различных эпохах (гротеск архаический и новый, что в хронологическом плане может соответствовать в первом случае – средневековому и ренессансному гротеску, во втором – гротеску в искусстве Нового времени), здесь очевидна, и его функционирование требует обязательного уточнения термина, например, «виталистский» (архаический) гротеск. В архаическом гротеске крайне важен феномен телесности, понятие «родового тела» (термин М. Бахтина).

Гротеск амбивалентен дважды: онтологически (соединение различных форм) и рецептивно (оценка явления на уровне восприятия – страшно или смешно). Для архаического гротеска выбор эстетической реакции предопределен: именно потому, что, что изобилие плоти, ее деформация не связывается с отдельным организмом, а отнесены к родовому телу, нивелируется понятие безобразного. Отдельные части родового тела дисгармоничны, но как целое, оно прекрасно, ибо в нем сосредоточена сама идея бурлящей жизни. Выпуклости, наросты, провалы, смешение форм и разрушение границ индивидуального тела – суть пузыри брожения в колоссальной, разбухающей на этих дрожжах ***производительной*** массе.

Витальная сила таких гротесковых образов зафиксирована особенно ярко культурой средневековья (И. Босх, Питер Брейгель Старший, Ф. Рабле). Причудливые формы этих гротесков скорее удивляют, чем шокируют. «Гримасы» гротесковых фигур вызывают смех, целительный эффект которого известен с древности. М. Бахтин связывал это явление с феноменом карнавальности. Нет сомнения, что в таком восприятии гротескных образов существенную роль играют языческие атавизмы, сохраняющиеся, как известно с поразительной настойчивостью в сознании христианизированных масс, то есть, прежде всего, в народной культуре.

Гротескный образ – знак цельности мира на этапе его перехода из одного состояния в другое. Одновременно активизация гротескных форм – напоминание о необходимости восстановления объема мира, напоминание о его диалектическом единстве, знак необходимости установления равновесия.

В романтической культуре наблюдается изменение содержания понятия «гротеск». Чем более одинок герой (в романтизме он, как правило, одинок), тем стремительнее разрушается идея родового тела, а следовательно, и ослабевает психологическая защита индивидуального сознания, которую обеспечивала идея причастности человека к оцельненному миру. Романтизм порождает принципиально иной тип гротескных образов, трагических и страшных, и по другой причине: романтическое сознание оказывается на стыке не только нового и старого мира (время), но и миров физического и метафизического (пространство). Устрашающий гротеск – порождение рефлексирующего сознания, сомневающегося во всемогуществе разума.

Смешение частей родового тела видится уже безобразным и устрашающим: аномалия форм перестает быть обещанием новой гармонии, и мир словно застывает с комической гримасой на лице. Отсутствие дальнейшего движения превращает мимические ужимки шута в маску ужаса (Ф. Гойя, Э. По). Причудливость сочетаний в гротеске XX в.,

[1] Обратим внимание на то, что, например, в БЭС есть указание на онтологический статус гротеска, но как отдельное значение термина этот смысл не прописан.

Гротеск – (франц. grotesque букв. – причудливый; комичный):

1) орнамент, в котором причудливо, фантастически сочетаются декоративные и изобразительные мотивы (растения, животные, человеческие формы, маски).

2) вид художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры. Резко смещая формы самой жизни, создает особый художественный мир, который нельзя понимать буквально или расшифровать однозначно, как в аллегории: гротеск устремлен к целостному и многогранному выражению основных, кардинальных проблем человеческой жизни. Издревле присущ художественному мышлению (мифология, произведения Ф. Рабле, Н. В. Гоголя, Ф. Кафки, М. А. Булгакова, Х. Босха, П. Брейгеля, О. Домье, М. Шагала и др.).

в литературе неоромантической перерастает в абсурдизм, выражающий экзистенциальную беспомощность человека (Ф. Кафка, Ф. Сологуб, Х. Кортасар, С. Дали и др.).

Следующий вопрос связан с отнесенностью гротеска к сфере комического. Теоретики, стоящие у истока изучения проблемы, склонны были связывать гротеск с комическим неразрывно, и, трактуя его как художественный прием, неизбежно приходили к признанию гротеска инструментом сатирического изображения. В последнее время достаточно убедительно было доказано, что гротеск может быть связан и с трагическим, и с возвышенным, а не только с комическим. Для этого необходимо было снять отождествление гротеска и безобразного, что наблюдалось, например, в размышлениях о гротеске у В. Гюго в предисловии к драме «Кромвель». На этапах востребованности гротеска как способа сатирического изображения на первый план в нем выходит принцип гипертрофированности изображения, намеренного преувеличения, выпячивания каких-либо сторон явления. Гиперболизация усиливает эффект безобразия, что и дает основания воспринимать образ как комический, ибо даже очень страшное, доведенное до абсурдных размеров, становится смешным. Гиперболизация способствует и концентрации негативных черт явления, которые незаметны в реальной ситуации, но оказываются различимыми при их укрупнении. Реалистический гротеск нового времени – по преимуществу гротеск сатирический. Его можно назвать «приручeнным». Гротесковый образ начинает послушно выполнять эстетические функции. Следует отметить, что гротеск сатирический (Д. Свифт, М. Салтыков-Щедрин) не менее востребован, чем гротеск мистико-фантастический.

Напрашивается вывод, что сатирический гротеск следует расценивать как категорию эстетическую, а мистико-фантастический, «неприрученный» гротеск – как категорию экзистенциональную. Это расхождение, вероятно, и порождает многочисленные споры теоретиков литературы о статусе гротеска: является ли он категорией формы или содержания. Сосуществование мистико-фантастического и сатирического гротеска в литературе и искусстве возможно даже в творчестве одного писателя – например, Н. Гоголь, Э.Т. Гофман.

Мы убедились в том, что термин «гротеск» приобретает различное наполнение на различных этапах его функционирования. Анализ этой метаморфозы показывает, что, как и в случае с понятием «миф» или «ирония», расширение семантического поля термина происходит за счет отказа от простой номинации явления (как артефакта в случае с гротеском или повествовательной структуры как в случае с мифом) и осмысления его как мировоззренческой категории (миф=мифосознание) или как части картины мира (виталистский гротеск), или как мировоззренческого принципа (романтическая ирония). Все стадии трансформации понятия объяснимы с точки зрения законов развития человеческого сознания: от чувственно– конкретного восприятия мира к абстрагированию понятий и вычленению типологических закономерностей; одновременно от архаической нерасчлененности субъекта и объекта и соответствующих форм его изображения к формированию оценочно- эстетического отношения к нему. На последнем этапе явление признается *приемом* изображения, соответствующим определенному модусу художественности.

Выстраивается следующий типологический ряд:

Гротеск (артефакт) – гротеск (характер мировосприятия) – гротеск (художественный прием).

Ирония (гносеологическая методика) – ирония (мировоззренческий принцип) – ирония (художественный прием).

Те же закономерности улавливаются и в трансформации значения терминов «макаброс» (пляски смерти), «пародия» и ряда других. В случае с пародией (а мы рассматривали, прежде всего, феномен parodia sacra), казалось бы, явление осмысляется эстетически уже на ранних этапах развития искусства (например, parodia sacra, квалифицируемый как *жанр* средневековой литературы), однако следует помнить, что в эту эпоху еще сильны отголоски ритуально-мифологической практики, особенно в литературе массовой, имеющей в эпоху Средневековья выраженную религиозную направленность, и жанр выступает как стихийно сложившаяся художественная структура, тесно слитая с ритуально-мифологической традицией.

По нашему ощущению, parodia sacra в эпоху позднего средневековья была серьезной попыткой удержать эту традицию, законсервировать ритуальный характер смеха в разнообразных формах карнавала. Это, наверное, последнее усилие мифологизированного сознания сохранить свои позиции. В последующие эпохи карнавал постепенно оттесняется на социальную периферию в иерархии эстетических ценностей, становится маргинальным явлением, признаком плебейской культуры. Таким образом, только в Новое время формируется то, что мы называем литературной пародией, т. е. собственно жанр как эстетическая категория, и при таком подходе предложенная триадическая структура остается в силе.

Итак, за пределами архаического периода происходит распадение первоначального синкретизма, и возникает настоятельная необходимость разделения мировоззренческой и эстетической функции явления, что в терминологическом плане просто

требует дифференциации, хотя бы на грамматическом уровне. Например, весьма удобно было бы называть миф в его втором значении *мифосознанием*, а пародию *пародийностью*, что уже бы привело к определенным смысловым уточнениям.

Как поливалентный феномен может быть рассмотрено такое специфическое явление в истории культуры, как макаброс (пляски смерти). Здесь для подобного рассмотрения есть еще большие основания, так как мы имеем дело с междисциплинарным понятием, выводящим нас на общефилософский (если быть точным, на культурологический) уровень.

Мотив «плясок смерти» претерпел значительные изменения при переходе его из языческого контекста в христианский. Принципиально различные смыслы «танца мертвецов» в языческих обрядах и назидательного характера жанра *dance macabre* в эпоху средневековья позволяют рассмотреть это явление как поливалентное, а термин как многофункциональный. В «Словаре средневековой культуры» дается следующее определение понятия *макаброс*: «Пляска смерти (нем. Totentanz, фр. dance macabre, исп. danza de la muerte, нидерл. doodendans, итал. ballo della morte , англ. dance of death) – синтетический жанр, существовавший в европейской культуре с середины XIV по первую половину XVI в. и представляющий собой сопровождаемый стихотворным комментарием иконографический сюжет, *танец скелетов с новопреставленными* (курсив наш – Г.Т.)» [11: с. 361].

Далее автор статьи словаря, М.Ю. Реутин предполагает, что иконографический вариант сюжета плясок смерти перекочевал в Англию из Франции. «Во время английской оккупации Парижа, – пишет он, – фрески кладбища Невинноубиенных Младенцев были перерисованы монахом Джоном Лидгейтом. Несколько лет спустя, около 1440 г., Пляска Смерти появляется в Лондоне, на кладбищенской стене монастыря св. Павла, а позже в одной из приходских церквей Стратфорда. В Тауэре находился гобелен с вытканными силуэтами новопреставленных и скелетов» [11: с. 361]. Тема смерти для средневековой дидактической литературы или иконографии была средством нравственного осмысления жизни и деятельности личности на основе христианской традиции противопоставления тела и духа. Нас интересует *форма* представления мотива смерти – танец, пляска – как восходящая к более древней языческой ритуальной культуре, и соответственно указывающая на его онтологическую функцию. Пляски смерти в истории литературы и искусства стали восприниматься как жанр в связи с формированием системы этических ценностей христианства и, по сути, явились адаптацией языческих представлений о борьбе жизни и смерти к этической системе христианства.

Древняя природа ритуальных плясок с участием Смерти-персонажа очевидна. Ц.Г. Нессельштраус пишет: «В "Плясках смерти" (имеется в виду средневековый жанр – Г.Т.) живут отзвуки дохристианских народных поверий о кладбищенских плясках мертвецов» [9: с. 147]. Нет сомнений, что в мотиве пляски, триумфального веселья заложен древнейший смысл борьбы жизни со смертью. Ритуальная практика древности дает многочисленные примеры сопровождения погребения танцами, имеющими магическую природу. Смысл такого танца мог быть двояким: это либо воинственный танец, символизирующий сопротивление силам смерти, либо танцевальный ритуал, призывающий новое рождение через веселье и обильные возлияния и еду (собственно эти два мотива семантически связаны). Второй смысл более распространен и приводится в пример многими исследователями мифологической и мифоритуальной школ.

О.М. Фрейденберг связывает танец «со светом, с сиянием солнца, с его новым рождением, а затем с половым актом» [14: с. 123]. Пляска с ее ритмом абсолютно знаковы и интуитивно онтологичны: ритм и многие фигуры в танце (например, древний хоровод) – признак возвращающегося действия, обязательный элемент циклической модели мира. Этот же ритм – напоминание о половом акте и зачатии. Само название «пляска смерти» – уже оксюморонно в своей основе, и этот факт закономерно приводит к мысли о древнейшей природе этого мотива, подразумевающей амбивалентность понятия. Скорбь и радость как взаимосвязанные (а не взаимоисключающие) понятия, как известно, нашли отражение в поминальных обрядах, где обильная еда и питье призваны символизировать возрождение плоти. По этой же логике «пир» становится метафорой смерти. Интересно отметить, что в покаянной литературе, собственно и составляющей основной корпус произведений в жанре «плясок смерти» и напоминающей о равенстве всех живущих перед Всевышним, звучат монологи, по форме напоминающие частушечные куплеты в народном площадном театре. Отголоски ритуальных плясок, в которых веселье соседствует с серьезностью, мы находим и в народном театре, и в находящейся под властью этой театральной традиции комедийной драме, о которой У. Теккерей пишет так: «Без музыки мы не можем понять пляску комедии прошлого века – ее странную серьезность и одновременно ее веселость, ее чопорность и вместе с тем бесстыдство» [19: с. 59–60].

Средневековый жанр макаброс скорее можно назвать иллюстрацией к назидательным мистериям о смерти, о чем говорят практически все специалисты-культурологи. «Пляски смерти» как некий философский мотив в творчестве таких романтиков,

как У. Блейк («Мильтон», «Иерусалим») или Э. По («Маска Красной смерти»), лишены назидательности и мистериальности и настойчиво возвращают читателя к онтологическому смыслу архаических обрядов. Языческий хоровод объединяет, христианское моралите разделяет и подчиняет, точно так же, как объединяет витальный смех и создает дистанцию сатира (в назидательных Плясках смерти достаточно явственно проступает сатирический элемент).

Мы убеждаемся, что даже в истории такого специфического явления, как макаброс, просматриваются те же тенденции, что и в истории целого ряда литературоведческих терминов: мировоззренческий феномен дает название феномену поэтологическому, в данном случае становится названием жанра, а его ритуальное происхождение с его онтологической функцией реставрируется в эпоху разрушения нормативной поэтики как знак нового осмысления архаических представлений о законах бытия. И вновь триадический принцип оказывается применим к истории на этот раз культурологического феномена.

Макаброс /пляски смерти (магический ритуал) – макаброс (диалектическая концепция бытия) – макаброс (жанр).

Таким образом, периодически возобновляемая трехчастная структура иллюстрирует обозначенные выше процессы трансформации сознания в системе, наглядно демонстрируя этапность формирования понятия, «возвратность» движения смыслов и неизбежное приобретение целым рядом феноменов поливалентности как обязательного и неизбежного качества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Категории поэтики в смене литературных эпох / С.С. Аверинцев [и др.] // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М. : Наследие, 1994. – С. 3–38.

2. *Бахтин, М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1990. – 543 с.

3. Литературная энциклопедия: словарь литературных терминов. В 2 т. Т. 1 / под ред. Н. Бродского [и др.]. – М.; Л. : Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. – 576 с.

4. Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 752 с.

5. *Лосев, А.Ф.* Философия. Мифология. Культура / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991. – 525 с.

6. *Лосев, А.Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития / А.Ф. Лосев // История античной эстетики. – Т. VIII, кн. I и II. – М. : Искусство, 1992, 1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/losef/iae8/index.htm.

7. *Лотман, Ю. М.* Миф – имя – культура / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Семиосфера. – СПб. : Искусство, 2000. – С. 525–543.

8. *Мелетинский, Е.М.* Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. – М. : Восточная литература РАН, 1995. – 408 с.

9. *Нессельштраус, Ц.Г.* «Пляски смерти» в западноевропейском искусстве XV в. как тема рубежа средневековья и Возрождения / Ц.Г. Нессельштраус // Культура Возрождения и средние века. – М., 1993.

10. *Пинский, Л.М.* Ренессанс. Барокко. Просвещение / Л.М. Пинский. – М. : Изд-во РГГУ, 2002. – 829с

11. *Реутин, М.Ю.* Пляска смерти / М.Ю. Реутин // Словарь средневековой культуры. – М., 2003. – С. 360–364.

12. *Стеблин-Каменский, М.И.* Апология смеха / М.И. Стеблин-Каменский // Известия АН СССР. – М., 1978. – Т. 37. – № 2. – С. 149–156. (Серия «Литература и язык»).

13. *Топорков, А.Л.* Теория мифа в русской филологической науке XX века / А.Л. Топорков. – М. : Индрик, 1997. – 456 с.

14. *Фрейденберг, О.М.* Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг. – М. : Лабиринт, 1997. – 448 с.

15. *Хализев, В.Е.* Мифология XIX – XX веков и литература / В.Е. Хализев // Вестник МГУ. Серия 9. – 2002. – № 3. – С. 7–21.

16. *Хюбнер, К.* Истина мифа / К. Хюбнер. – М. : Республика, 1996. – 448 с.

17. *Шлегель, Ф.* Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. Т. 1 / Ф. Шлегель. – М. : Искусство, 1983. – 447 с.

18. *Юнг, К. Г.* Душа и миф. Шесть архетипов : пер. с англ / К.Г. Юнг. – М. : Совершенство; Киев : Порт-Рояль, 1997. – 384 с.

19. *Thackeray, W.* The English Humourists of the Eighteenth Century / W. Thackeray. – Leipzig, 1853. – P. 57–67.

МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

В.В. Фёдоров

Фёдоров Виталий Викторович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой переводоведения и восточных языков Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (г. Петропавловск-Камчатский).

Контактный адрес: vvfyodorov@mail.ru

В статье рассматриваются лингвистические механизмы формирования экспрессивности американской газетной фразеологии.

Ключевые слова: газетная фразеология, фразеологическая единица, экспрессивность, эффект образности, метафора, образ, символ, метонимия.

Одним из основных требований, предъявляемых в современном мире к языку прессы, является его выразительность. В большей степени, чем лексика, потребность в выразительности призвана удовлетворить фразеология. В отличие от слов, фразеологические единицы выражают понятия в специфической, абстрактной, образно-отвлеченной форме.

В работах современных лингвистов узколексический взгляд на фразеологию сменился изучением мира образов, отражаемых в их содержании, создающих экспрессивность, соотносимую с типичными для этноса ситуациями. Исследователи выделяют два объекта в маркировании культурно-национальной специфики фразеологизма: лексико-грамматический состав и модель образно-мотивированной внутренней формы. Проблема изучения взаимодействия общественно-значимой информации и её знакового отражения сплетается с поисками в исследовании человеческого сознания механизмов восприятия мира и путей его осознания, отраженных в языке.

Таким образом, многие лингвистические вопросы рассматриваются в аспекте национального мировидения, позволяющего определить язык как когнитивный процесс, включенный в общий когнитивный механизм в качестве основной формы фиксации знаний о мире [5: с. 100–150].

Картина мира лингвокультурного общества в целом формируется языком как средством воплощения тех или иных культурных установок, стереотипов, символов, эталонов и т. п., которые организуют данный социум в сообщество. Все, что создается в языке и воспринимается человеком, проходит когнитивную обработку – интерпретацию через систему экстралингвистической информации. Информация, которую несет в себе фразеологизм, интерпретируется с помощью знаний, путем когнитивных процедур, к которым относятся: денотативная обработка (операции со знаниями о свойствах обозначаемого в мире), оценочная, мотивационная (операции с воображаемыми или существующими реально структурами образа), эмотивная (эмоционально-оценочная реакция на образную структуру), стилистическая обработка.

Таким образом, носитель языка, обладающий определенными знаниями культуры, активизирует структуры сознания, хранящие соответствующие фоновые знания. Это снимает проблему вариативности интерпретации и приводит к осуществлению прагматической цели автора, что возможно только при сходстве картин мира, фоновых знаний и, следовательно, общих стереотипов у отправителя и получателя информации.

При анализе механизмов создания экспрессивности фразеологизма различают два её типа: экспрессивность узуальную, присущую фразеологической единице в парадигматическом плане, и экспрессивность окказиональную, которая может возникнуть в процессе актуализации фразеологизма в тексте. При этом следует признать правомерность утверждения Н.Л. Шадрина, который считает, что «окказиональное изменение представляет собой не аномалию, не случайное нарушение узуальных языковых норм, а реализацию одной из допустимых форм употребления фразеологических единиц и поэтому должно рассматриваться как явление, находящееся в пределах языковой нормы» [6: с. 6].

Анализ выборки фразеологических единиц из текстов современной американской прессы позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенным средством, создающим их экспрессивность, является образность. Это определяется самим характером данных единиц, большая часть которых возникла именно за счет переноса значения.

Термином «эффект образности» обозначают «свойство образа как лингвистического экспрессивного средства создавать особого рода восприятие денотативного значения, благодаря опосредованному (переносному) выразительно-изобразительному способу его передачи» [2: с. 1].

У большей части газетных фразеологизмов эффект образности достигается широким использованием тропов, основная роль среди которых принадлежит метафоре, являющейся чисто прагматическим образованием, так как через образ, через ассоциативно-образное представление, создаваемое внутренней формой, фразеологические единицы отражают/вызывают эмотивно-оценочное отношение адресата/адресанта к обозначаемому.

В газетной речи наиболее продуктивными являются субстантивные и глагольные фразеологизмы-метафоры, имеющие предметное значение и значение действия.

Метафорический процесс в языке американской прессы богат и разнообразен. Метафора возникает благодаря глубинным особенностям человеческого мышления, которое постигает глубинные связи, скрытые за ним смыслы и закономерность их трансформации в ходе организации высказывания. Понять газетную метафору – значит определить, какие из свойств обозначаемого объекта выделяются в ней и как они поддерживаются за счет ассоциативного комплекса, какова ее идеологическая направленность.

Анализ фразеологизмов-метафор языка американской прессы позволяет утверждать, что их расхождение с разговорными, научными (техническими) и художественными метафорами отражает неодинаковость проявления ими отдельных общеязыковых метафорических черт (в плане семантико-структурной организации и языкового функционирования), а не их конститутивные отличия. Не существует особой «газетной» метафоризации, фундаментально отличающейся от других. Метафора газетной речи имеет в своей основе тот же механизм образования, что и любая другая. Она способна выполнять в языке прессы главные функции метафоры языка (индикативную, когнитивную, экспрессивно-оценочную, экспрессивную); к ней применимы общепринятые в теории метафоры типологические подходы, основанные на семантическом, структурном и функциональном критериях; в газетной метафоре прослеживаются все основные направления и виды метафорических процессов; наконец, газетная метафора во всех отношениях антропоцентрична.

По определению А.Ф. Артемовой, «метафору характеризуют и создают новое содержание две сущности: ее фокус, или основной субъект (референт) метафорического выражения, и фильтр или вспомогательный субъект – образ или представление, которое соответствует прямому значению лексической единицы, дающей имя продукту метафоры» [1: с. 20]. Под фокусом, применительно к газетной фразеологии, понимается та общественно–политическая реальность, которая обозначается метафорически.

Метафора уже на уровне замысла пишущего нацелена на то, чтобы за счет образа вызвать эмотивно-оценочное отношение к характеризуемой реалии, она сигнализирует о том, что фокус (обозначаемый субъект) относится к фильтру (обозначающему), как если бы он был тем, что соответствует ассоциациям, вызываемым образом, представленным внутренней формой фразеологизма. Она, как правило, апеллирует к интуиции, тем самым оставляя адресату возможность творческой интерпретации. Набор образов, использующихся при образовании газетной метафоры, как правило, отражает соотношение специфически-национального и типологически сходного в сознании представителей различных социумов.

Так, в языке американской прессы существует тенденция избегать использования в качестве фильтра метафоры абстрактных образов, затрудняющих ее декодирование, а применять образы хорошо знакомых, «близких» человеку физических объектов, процессов, признаков. Наличие подобных образов придает метафоре наглядность, доступность, а в ряде случаев некоторую «приземленность», что упрощает процесс ее восприятия и декодирования.

В американской прессе в большом объеме в качестве компонентов газетной метафоры используется именной потенциал животного мира, переосмыслению подвергаются практически все биологические классы фауны: **животные**: *cat (fat cat; thing cat); dog (top dog; under dog; war dog; watch dog); horse (dark horse; dead horse; man on the horse back; stalking horse; war horse);* **птицы**: *duck (lame duck; sitting duck); pigeon (stool pigeon*); **рыбы, насекомые, а также называния частей тела животных:** *fish (fishing expedition; fish-bowl diplomacy); bee (presidential bee); bug (big bug); paw (cat's paw); etc.*

Употребление фаунонимов тесно связано с бытом, историей, культурой любого народа, с представлениями и верованиями, зачастую являющимися вариантами мифологических и библейских представлений, с фольклором, легендами, сказаниями. Употребляя фаунонимв составе фразеологизма, пишущий вызывает в сознании адресата газетного текста определенный образ, соотносящийся с представлением о данном образе, активизирует устойчивые ассоциации, определяющиеся фактом принадлежности адресанта и адресата газетного текста к одному социуму, к единому культурному пространству.

Так, **общественно-политическая реальность «активного» типа** ассоциируется у американцев с такими образами, как: *dog, horse*. Образы собаки (пса), лошади создают динамические характеристики явлений общественно-политической жизни,

политических деятелей, процедур и т. п.: *man on the horse back; stalking horse; top dog; war dog; war horse; watch dog; etc*. Образы кота, утки, рыбы (*cat, duck, fish*), в свою очередь, характерны для метафорического обозначения **общественно-политической реальности «неактивного»** типа, они ассоциируются у американцев с нединамичностью, двойственностью, скрытностью: *fat cat; lame duck; fish-bowl diplomacy; etc.*

Неизвестность для большинства носителей языка представителей «мелкой» (птиц, рыб, насекомых) и экзотической фауны, а также растений обусловливает редкое обращение в газетной метафоризации к их названиям. Если образ не обладает привычным характером, то его должна отличать какая-то особенность, он может быть необычных размеров, очень красивым, занятным и т. п.*: kangaroo (kangaroo ticket); ostrich (ostrich policy); etc.*

Однако основным критерием пригодности образа для его использования в качестве фильтра газетной метафоры является его привычность для большинства адресатов газетного текста. Вероятно, по этой же причине в основе многих газетных метафор лежат образы, относящиеся к тематической группе «Человек». Во фразеологическом фонде языка американской прессы находим фразеологизмы, возникшие на основе метафорического переосмысления названий человеческого тела и физических характеристик человека: *arm (arm– twisting policy; blood (blood bath); body (body snatcher); brain (brain drain; brain trust); head (head hunting); jaw (jaw boning);* названий профессий, рода деятельности, должностей: *advocate (advocate of peace); broker (political broker); captain (captain of industry);doctor (spin doctor); etc.*

Образному переосмыслению подвергаются также наименования объектов, окружающих человека в повседневной жизни, названия: предметов обихода: *bag (bag of ideas); umbrella (nuclear umbrella);* продуктов питания: *carrot (carrot-and-stick policy); potato (hot potato);* одежды: *belt (black belt; corn belt; rust belt; sun belt); glove (kid-glove diplomacy); gum-shoe (gum-shoe campaign); pocket (pocket veto);* помещений, сооружений и т. п.: *bridge (bridge of friendship); fence (fence sitting; fence mending); kitchen (kitchen cabinet); room (smoke-filled room); etc.*

Специфически национальный колорит фразеологии американской прессы придает использование образов, отражающих подход американцев к жизни, как к захватывающему действу, отличающемуся динамизмом, быстротой смены обстановки, яркостью. Образы игры (честной и нечестной), представления, шоу, действия вообще являются близкими любому американцу и читаются на всем культурном фоне жизни американской нации. В связи с этим компонентами газетных фразеологизмов становятся такие лексемы, как: *game, goal, play, race, tricks, etc.: big game; congressional race; dirty tricks; goal hanger; name of the game; own goal; presidential race; play of forces; etc.*

Технократизм американской нации отражается в образах, переосмысленных в основе метафорических фразеологизмов, связанных с различного рода механизмами, транспортом, оружием, достижениями технического прогресса, производства и т. п.: *big gun; big wheel; grid lock; launching pad; loose cannon; salami technique; spook factory; steam roller; etc.*

Безусловный интерес представляет также типология фокуса газетной метафоры. Анализ собранного материала позволяет утверждать, что метафорическому обозначению в американской прессе в первую очередь подвергаются: политика, проводимая государством: *gag law; kid-glove diplomacy; loyalty purge; shirt-sleeve diplomacy; etc.*, характеристика политического деятеля, политической партии: *all outer; black biter; living legend; merger maniac; page oner; swallow tail; etc,* деятельность политика, политической партии: *gum-shoe campaign; political racketeering; to look after one's fence; to play politics; yellow fund; etc,* парламентская деятельность: *floor leader; gag rule; gavel rule,* процедура выборов: *fat frying; kiss of death; off years; running mate; solid South; spoils system; watch dog; etc.,* социально-экономические проблемы американского общества*: brain drain; corn belt; feather bedding; quality circle; rat race; social escalator; wild cat strike; yellow contract; etc.*, деятельность средств массовой информации: *body snatching; brass check; dope story; flash bulletin; Fourth estate; hot copy; scandal sheet; etc.*

При этом необходимо отметить, что в метафорических фразеологизмах наблюдается преобладание негативизма в переосмыслении образа метафоры.

Особый интерес представляет использование символов в американской газетной фразеологии. Символ шире, чем образ, он приводит к расширению значения образа, к появлению дополнительного смысла, неразрывно связанного с образом. В структуру символа, таким образом, входят и предметный образ, и глубинный смысл. Как отмечает А. Шафф, «...глубочайший смысл символов ... состоит в том, что они приближают абстрактное понятие к человеку, показывая ему абстрактное содержание в образе материального предмета, т. е. в форме, более легкой для восприятия разумом и сохранения в памяти» [7: с. 194].

В качестве абстрактных понятий, выражаемых символом, могут выступать такие понятия, как мужество, справедливость, любовь, ревность, печаль и т. д. В структуре символического значения наблюдается сближение двух разнородных денотатов,

один их которых представляет конкретный предмет (символизирующее), а другой отвлеченную мысль, абстрактную идею (символизируемое).

Таким образом, под символическим значением понимается особая разновидность значения слова, в которой устойчивая ассоциативная или конвенциональная связь символизирующего и символизируемого мотивирована особой социальной функцией символизируемого.

Анализ американской газетной фразеологии позволяет выделить две основные группы фразеологизмов с символическим значением: единицы, имеющие в своем составе компоненты с символическим значением, и единицы, передающие символическое значение всем своим составом.

Как правило, фразеологизмы первой группы содержат в своем составе компоненты, символическое значение которых заимствовано из системы общеязыковых общекультурных символов. Так, голубь *(dove)* традиционно является символом мира, а ястреб *(hawk)* – войны, агрессии. Символическое значение этих лексем обнаруживается в таких газетных фразеологизмах как *doves and hawks* «сторонники мира и прогресса и сторонники радикальных мер в области политики», *hard hawk* «ярый реакционер» и т. п.

Интерес представляет функционирование в качестве компонентов газетной фразеологии прилагательных *left* и *right*. Изначально прилагательным *left* обозначались все реакционные силы общества. В этом смысле *left* получило символическое значение «неверный, неправый, отличный от правого (верного)», прилагательное *right*, напротив, имело символический смысл «правый, верный». Однако, с течением времени оппозиция «правые – левые» в системе американской демократии утратила первоначальный смысл. Представители как крайне левых, так и крайне правых течений в общественно-политической жизни США воспринимаются одинаково негативно. В языке современной американской прессы *left* и *right* имеют символическое значение «нелояльный к существующей власти, отличающийся определенным радикализмом»: *right-wing party; right-wing crazies; new left; left-wing activist; to have a swing to the left; etc.*

Кроме того, символическое значение имеет ряд цветообозначений. Например, черный цвет символизирует печаль, утрату, беду, а желтый – неверность, измену. На основе данных символических значений созданы такие газетные фразеологизмы, как *Black Monday; yellow fund.*

Широко используется в образовании фразеологии американской прессы символическое значение золота, металла, олицетворяющего наивысшее качество, наибольшую ценность, важность чего-либо: *gold card; golden cross; golden goodbye; etc.*

Фразеологические единицы, передающие символическое значение всем своим составом, являются уникальными образованиями газетной речи. Символом, как правило, становится объект, понятие, непосредственно связанное с общественно-политической практикой. Так, единицы *red button; finger on the red button* символизируют «непрочность мира в условиях масштабного наращивания ядерных вооружений, опасность, угрожающую человечеству». Символическое значение возникает на основе образного: красная кнопка – это метафорическое переосмысление факта способности главы государства, обладающего ядерным потенциалом, начать военные действия путем «нажатия красной кнопки» – быстрой и простой процедуры применения засекреченных ядерных кодов, подачи сигнала о начале ядерной войны.

Фразеологическая единица *red carpet* имеет символическое значение «высший уровень», где традиционный атрибут государственных встреч на высшем уровне – красная ковровая дорожка становится символом особой важности политической встречи, любой другой встречи. В обоих случаях также проявляются символические значения прилагательного *red:* «чрезмерно опасный» или «чрезмерно важный, интенсивный».

Интересны с этой точки зрения газетные фразеологизмы, содержащие в своем составе компонент *table*. В системе фразеологии прессы данный компонент употребляется, в первую очередь, не в значении «место приема пищи», а как «место разрешения определенных вопросов, место переговоров». Роль переговоров, важность обсуждения и решения в ходе дискуссии актуальных проблем современности трудно переоценить. Именно поэтому фразеологизм *round table* приобретает актуальное символическое значение: «взаимодействие и равноправие» участников переговорного процесса: *round table conference; round table negotiations; round table talks; etc.*

Значительную роль в процессе формирования символа также играет метонимия. Л.Б. Савенкова отмечает, что «метонимический характер символа нельзя отрицать, так как некоторые действия, символизирующие какие-либо другие действия или состояния, первоначально постоянно им сопутствовали в реальной действительности, а метонимия отражает реальную смежность (или просто связь) предметов и явлений реальной действительности» [3: с. 29]. Примерами, иллюстрирующими это утверждение, являются такие фразеологические единицы, как *to offer the olive branch; to saber the rattle.*

Ю.М. Скребнев полагает, что метонимия лежит в основе формирования символа в тех случаях «…когда конкретное понятие, выраженное в значе-

нии слова, приобретает другое значение – абстрактное» [4: с. 173]. На основе метонимического переноса образовались следующие фразеологические единицы американской прессы с символическим значением, например: *blue collar* – «рабочий класс США», *green Beret* – «морская пехота США», *swallow tail* – «фрачник» – политик высшего света», *White House* – «исполнительная власть США», *white collar* – «класс служащих США» и т. п.

Экспрессивность газетной фразеологии также достигается путем использования имён собственных. Существует объективная тенденция называть именами собственными явления общественной, социальной жизни общества, ассоциирующиеся с определенным кругом людей, с их общественной деятельностью, с различными географическими названиями. Ассоциации, как правило, возникают на основе сходства или смежности понятий каких-то признаков, свойств.

Сохраняя внешнюю форму в составе фразеологизмов, имена собственные в результате деонимизации, качественно преобразуются и сближаются с именами нарицательными, что приводит к появлению нового значения.

Черты, присущие носителю имени, переносятся на объект общественно-политической реальности, характеризуемой посредством фразеологической единицы, вызывая у адресата газетного текста через различного рода ассоциации определенное чувство-отношение к нему, акцентируя в поле языкового сознания оценку, как самого объекта, так и его действий, поступков.

Например, фразеологизм *Lake Wobegon effect* восходит к названию романа американского писателя Г. Кейлора *«Lake Wobegon days»* (1985), в котором в городе с названием *Lake Wobegon «the women are strong, the men good looking and all the children above average»* [8: с. 222]. В языке прессы данная единица приобрела значение «иметь склонность к преувеличению». *Casper Milquetoast* является персонажем популярного мультсериала, а фразеологизм *Casper Milquetoast* означает «очень застенчивый человек». *Wall Street* – название улицы в Нью-Йорке, на которой находится Американская фондовая биржа, а фразеологизм *Wall Street* – «финансовый мир Америки».

Факторами, усиливающими экспрессивность газетной фразеологии, также являются необычное сочетание компонентов в составе фразеологической единицы, непривычное сложение смыслов, выступающее в виде внутренней формы, создающей парадоксальный образ, отражающий то или иное отношение адресанта текста газетного текста к обозначаемому: *brain wash; honest graft; paper tiger; retail politics; wholesale politics;* а также оформленность фразеологической единицы при помощи рифмы, ритма и аллитерации: *fudge and mudge; high and dry; fishing expedition; etc.*

Таким образом, следует признать, что лингвистические механизмы создания экспрессивности американской газетной фразеологии разнообразны. Наиболее распространенным из них является создание эффекта образности путем широкого использования тропов, главная роль среди которых принадлежит метафоре. Система образов и символов, использующихся в газетной фразеологии американского варианта английского языка, является отражением менталитета американской нации. Национальный динамизм, технократизм получают свое воплощение в образности, лежащей в основе мотивации фразеологической единицы. Образы игры, действия, шоу; образы, связанные со сферами технического прогресса, оружия и производства, являются национально-маркированными, отражающими дух американской нации. Средствами создания экспрессивности газетной фразеологии также являются: метонимия, использование в составе фразеологической единицы имени собственного, необычное сочетание компонентов фразеологизма, его оформленность при помощи рифмы, ритма и аллитерации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Артёмова, А.Ф.* Значение фразеологических единиц и их прагматический потенциал: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / А.Ф. Артёмова. – СПб., 1991. – 34 с.

2. *Болдырева, Л.М.* Стилистические особенности функционирования фразеологизмов (на материале современной художественной немецкой литературы и прессы ГДР): автореф. дис. ... канд. филол. наук / Л.М. Болдырева. – М., 1967. – 25 с.

3. *Савенкова, Л.Б.* Фразеологические единицы, основанные на метонимии / Л.Б. Савенкова // Образование и функционирование фразеологических единиц. – Ростов-на-Дону, 1981. – С. 25–29.

4. *Скребнев, Ю.М.* Стилистика английского языка / Ю.М. Скребнев. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1985. – 300 с.

5. *Телия, В.Н.* Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Изд-во «Школа «Языки русской культуры», 1996. – 284 с.

6. *Шадрин, Н.Л.* Перевод контекстуально-преобразованных фразеологических единиц как семантико-стилистическая проблема: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ю.М. Скребнев. – Л., 1969. – 22 с.

7. *Шафф, А.* Введение в семантику / А. Шафф. – М.: Изд-во иностр. Лит-ры, 1973. – 376 с.

8. *Ayto, J.* The Longman Register of new words / J. Ayto. – М.: Русс. яз., 1990. – 434 с.

СТРАНАМ «РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ КРУГА» ТОЖЕ НУЖНЫ СОБСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ![*] ВОПРОС О РАВЕНСТВЕ ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Н. Хино

Хино Нобуюки – профессор Высшей школы языка и культуры (уровень магистратуры) Университета Осаки (Япония), член Международной ассоциации исследователей вариантов английского языка.

Автор данной статьи утверждает, что английский язык, изучаемый как иностранный, должен иметь статус полноправного варианта, подобно постколониальным трансплантированным вариантам, являющимся вторым официальным языком своих государств, поскольку англо-американские модели обучения, навязываемые изучающим английский язык в других странах, не могут в полной мере способствовать выражению этнических ценностей и культуры других народов.

Ключевые слова: вариант, региональные варианты, английский как лингва франка, английский как международный язык, модель обучения.

Мы сможем ускорить этот день
Мартин Лютер Кинг, мл.

Новая форма разграничения, созданная в теории вариантов английского языка (WE Paradigm)

Согласно теории вариантов английского языка, изучающие этот язык во Внешнем круге могут иметь свои собственные модели обучения. С другой стороны, считается само собой разумеющимся, что моделью английского языка в Расширяющемся круге должны быть носители английского языка[1]. Другими словами, если пользователи во Внешнем круге говорят по-английски не так, как носители английского, для которых он родной язык, их употребление считается все-таки правильным. Напротив, если пользователи Расширяющегося круга говорят по-английски не так, как носители языка, это рассматривается как ошибка. Таким образом, пользователи английским языком в Расширяющемся круге считаются второклассными членами мирового сообщества вариантов английского языка. Это форма несправедливой дискриминации, от которой надо избавляться.

Несмотря на то, что контактная вариантология английского языка сыграла значительную роль в устранении дискриминации между Внутренним и Внешним кругами, в этой теории появился, как это ни странно, новый тип дискриминации между Внешним и Расширяющимся кругами. В данной статье этот вопрос будет рассмотрен с точки зрения японца, использующего английский язык в Расширяющемся круге.

В поисках оригинальной модели английского языка для японцев

История поиска незаимствованной модели английского языка в Японии имеет давнюю историю. Еще в 1928 г. в своем предисловии к японско-английскому словарю лексикограф Хидэдзабуро Саито выразил надежду на то, что у японцев будет свой собственный английский: «Владение языком предполагает в качестве конечной цели выражение точного оттенка значения, задуманного говорящим. Одним словом, японец, говорящий на английском языке, должен быть оригинальным… …Короче говоря, английский язык японцев должен быть, в определенной степени, японизированным» [17: предисловие].

Примерно в 1970 г., когда японцы столкнулись с усилением необходимости иметь средство для самовыражения в процессе международной коммуникации, некоторые японские ученые указывали на то, что английский язык можно использовать как средство для выражения японских ценностей, а не только англо-американской культуры. Масао Кунихиро, известный своим предложением осуществить «де-англо-американизацию английского языка», был первым, кто предложил японское слово «кокусай эйго» (международный английский) до того, как в Британии и США появились такие концепты, как «варианты мирового английского» (WE) и «английский как международный язык» (EIL) [18]. Его замечание заключалось в следующем: «…Представ-

[*] Более ранняя версия этой статьи была представлена на XIV ежегодной конференции Международной ассоциации исследователей вариантов английского языка (International Association for World Englishes) в Городском университете Гонконга, Гонконг (Особый Административный Район), Китай. 3–5 декабря 2008 г. Перевод данной версии сделан по тексту: *Hino, N. (Ed.)* Eigo-kyoiku no atarashii riron to jissen (New theories and practice in English language teaching). – Osaka: Graduate School of Language and Culture, Osaka University, 2009. – P. 1–10. (перевод З. Г. Прошиной).

[1] Внешний круг соотносится со странами, где английский язык используется как второй язык, а Расширяющийся круг включает страны, где английский изучается как иностранный язык.

ляется возможным говорить, что де-англо-американизированный английский язык, а не язык, глубоко укоренившийся в англо-американскую культуру, с большим успехом передает наши чувства и наш образ мыслей»[2] [14: p. 262].

Такао Судзуки, выдвинувший свою версию английского как международного языка (EIL), который он назвал Englic, дал новое положительное определение японскому английскому: «По мере того как мы начинаем использовать английский все шире, было бы странно, если бы черты японского варианта английского языка не были бы признаны в международном масштабе. Когда японцы начинают в полной мере пользоваться английским языком, неизбежно то, что английский, который они используют, будет гибридным образованием, Japlish, на который оказывает влияние японский язык» [24: p. 224].

В Японии 1980-х гг. Такэсато Ватанабэ также рекомендовал изучающим английский язык японский вариант английского, или «Japalish»: «…Поскольку японцы активно используют английский язык, не считая англо-американский английский единственной моделью, у них обязательно появится оригинальное средство международной коммуникации» [25: p. 9].

К сожалению, желание японцев иметь свои собственные модели английского языка не получило поддержки последователей Качру – теоретиков вариантологии английского языка (WE paradigm). Исследователи вариантов английского языка обычно полагают, что варианты английского в Расширяющемся круге не могут иметь своих собственных норм.

Негативное отношение исследователей вариантов английского языка к моделям Расширяющегося круга

Ранние исследования вариантов английского языка проводились, главным образом, британскими лингвистами, которые обычно были индифферентны к английскому языку бывших британских колоний. Область интересов этих исследователей составляли преимущественно проблемы развития и внутринационального функционирования новых вариантов английского языка в бывших британских колониях.

Например, такое отношение обнаруживаем в работе под редакцией Прайда [16], под названием «Новые варианты английского языка» (New Englishes), одной из первых работ в области контактной вариантологии. Все варианты английского языка, которые обсуждались в этой работе, позднее названные вариантами Внешнего круга, или постколониальными вариантами английского языка – это был индийский английский, шриланкийский английский, сингапурский английский, малазийский английский, филиппинский английский, нигерийский английский, замбийский английский и камерунский английский. Другими словами, только варианты Внешнего круга, исключая варианты Расширяющегося круга, признавались «новыми вариантами английского языка».

Аналогичное отношение исследователей-вариантологов обнаруживается и в корпусных исследованиях, представляющих собой значительную часть современных контактологических работ. Ярким примером может стать Международный корпус английского языка (International Corpus of English, или ICE). Этот крупный проект корпуса языка, цель которого – создать лингвистическую базу для вариантологии, имеет дело только с вариантами Внешнего круга. Варианты Расширяющегося круга нашли свое место только в Международном корпусе языка учащихся (International Corpus of Learner English, или ICLE), а не в ICE. Это значит, что варианты Расширяющегося круга рассматриваются только как «интеръязыки».

Стревенс, еще один основоположник вариантологии английского языка, ясно выразил это различие между Внешним и Расширяющимся кругами. Термин «английский как иностранный язык» в нижеследующем дискурсе синонимичен вариантам Расширяющегося круга: «…В английском как иностранном языке нет местной формы английского как второго языка (L2): соответственно, наиболее приемлемая образовательная модель – это обычно модель носителей языка» [23: p. 90].

В самом начале зарождения своей концепции Брадж Качру уже настаивал на различии между этими двумя группами в вопросах используемой модели. В его цитате, приведенной ниже, термины «речевые варианты» («the performance varieties») и «институциональные варианты» («the institutionalized varieties») соответствуют понятиям, которые впоследствии были названы «Расширяющийся круг» («the Expanding Circle») и «Внешний круг» («the Outer Circle») соответственно «…мы четко можем разделить, как было сказано выше, функционирование английского языка как неродного на две большие категории, а именно: речевые варианты и институциональные варианты. Это разграничение чрезвычайно важно и непосредственно связано с вопросом модели (обучения)» [11: p. 38].

Ключевым для оригинальной модели варианта английского языка оказывается концепт укорене-

[2] Позже, однако, Кунихиро писал, что он предпочитает в качестве цели обучения модель английского носителей этого языка, в то же время он верит в значимость специфичного японского английского [15].

ния, или нативизации (indigenization, or nativization), соотносящийся с социолингвистическим процессом изменения языка в соответствии с культурной необходимостью его местных пользователей. В теории Качру предполагается, что внутринациональное функционирование английского языка является необходимым условием его нативизации, отсюда понятие нативизации используется по отношению к вариантам Внешнего круга, но не выходит до рамок вариантов Расширяющегося круга: «…важно разграничивать национальное и международное функционирование английского языка. Нативизации институциональных вариантов способствует, прежде всего, их национальное функционирование» [11: p. 51].

С точки зрения Качру, внутринациональное использование английского языка – это основа, на которой строится легитимность нативизированных моделей английского языка. Именно этот аргумент составлял основную посылку Качру при защите его собственного варианта, индийского английского, как цели обучения индийцев английскому языку: «Индийский английский используется как средство языкового взаимодействия индийцев при коммуникации, главным образом, с другими индийцами» [10: p. 235].

Дихотомия Качру «варианты Внешнего круга – варианты Расширяющегося круга» стала одним из главных принципов вариантологии, что видно из следующих положений: «Норморазвивающие варианты (внешний круг): …Они одновременно и эндонормативны и экзонормативны… Нормозависимые варианты (расширяющийся круг): этот круг в значительной степени экзонормативен» [13: p. 17].

В течение многих лет эта позиция не раз выделялась самим Качру, став неотъемлемой частью качрувианской теории: «Нормозависимые варианты используются в Расширяющемся круге (например, в Корее, Иране, Саудовской Аравии). Эти нормы в значительной мере внешние (американские или британские)» [12: p. 221].

Следуя взглядам Качру, многие исследователи вариантов английского языка принимают модели Внешнего круга и отрицают модели Расширяющегося: «…Говорящий на английском языке во Внешнем круге будет стараться говорить так, чтобы его или ее культурная идентичность стала явной. В Расширяющемся круге, наоборот, идеальная цель – максимальная имитация носителя, говорящего на нормативном языке… Соблюдение стандарта носителей языка в Расширяющемся круге не является проблематичным» [1: p. 401–402].

Вопреки утверждению Адриссон, «соблюдение стандарта носителей языка» все-таки представляет проблему для тех пользователей языком в Расширяющемся круге, которые хотят выразить свои не англо-американские ценности по-английски. Для осуществления межнациональной коммуникации, одинаково важно и для говорящих Внешнего круга, и для говорящих Расширяющегося круга выражать свою собственную культуру.

Айо Бамгбосе, выдающийся ученый-вариантолог из Нигерии, одной из крупнейших стран Внешнего круга, также поддержал позицию Качру: «…Проблема модели также часто обсуждается в отношении разговорного английского, и обычно проводят разграничение между ситуациями английского как иностранного языка (EFL) и как второго языка (ESL). Для первого типично придерживаться модели носителей языка как родного, а вот для второго компетентное мнение будет заключаться в поддержке необходимости использования модели неносителей языка» [2: p. 8].

В самом же деле, «компетентное мнение» будет заключаться «в поддержке необходимости использования модели неносителей языка» не только для английского как второго языка (Внешнего круга), но и английского как иностранного языка (Расширяющегося круга), поскольку цель изучения английского языка – это выражение своих собственных ценностей, а не англо-американских образцов мышления.

Как мы заметили выше, исследователи-вариантологи просто полагают, что варианты Расширяющегося круга нормозависимы, и на этом ставят точку. Они не считают целесообразным рассматривать эту проблему дальше. Однако что касается межнациональной коммуникации, вполне очевидно, что пользователям английским языком из Расширяющегося круга нужно средство для выражения их собственной культуры, так же как и коммуникантам из Внешнего круга. Тот факт, что пользователи из Расширяющегося круга, как правило, не говорят по-английски со своими соотечественниками, что является одним из главных аргументов теоретиков вариантологии, на самом деле несущественно в отношении использования модели для самовыражения в ситуации международного общения.

Необходимость нативизированных моделей для изучающих английский язык в Расширяющемся круге

Изучающим английский язык в Расширяющемся круге не нужны модели для выражения своей культуры. В этом разделе мы проиллюстрируем это на примере проблемного письма. Проще говоря, если японец хочет выразить японские ценности в дискуссии, необходимо использовать нативизированную японскую модель проблемного письма, отличающуюся от американской модели.

«Американской моделью» проблемного письма я называю тот стиль, с которым мы знакомимся

во многих учебниках по письму ESL/EFL и который можно описать следующим образом: текст начинается с вывода, за ним идут поддерживающие аргументы (обычно три), и в конце – усиленный вывод. С другой стороны, «японской моделью» я называю перенос организации текста на японском языке, и в этой модели упор делается на сбалансированную аргументацию, а не на четкий вывод. Эта модель базируется на японских ценностях, в частности – вере в гармонию. Ее структура может быть представлена следующим образом: «Открытие темы – Развитие – Размышление с другой стороны – Заключение».

Чтобы проиллюстрировать значительные различия в этих двух моделях, я написал два текста, обсуждающих одну и ту же проблему – один по американской модели, а другой – по японской модели.

Американская модель

We should change the Article 9 of the Constitution which prohibits Japan from possessing a military.

Firstly, the Constitution was imposed upon Japan by the United States. Secondly, the Article 9 is overly idealistic. Thirdly, any country has a right to have its own military force.

For these reasons, I am convinced that the Article 9 of the Japanese Constitution should be revised.

Нам необходимо изменить Статью 9 Конституции, которая запрещает Японии иметь свои вооруженные силы.

Во-первых, эта конституция была навязана Японии Соединенными Штатами. Во-вторых, Статья 9 является явно идеалистичной. В-третьих, любая страна имеет право иметь свои вооруженные силы.

В связи с этим я убежден, что Статья 9 Конституции Японии должна быть пересмотрена.

Японская модель

There is a growing demand among Japanese people for changing the Article 9 of their Constitution.

This movement is based on the idea that this Constitution was imposed upon them by the United States. Many also argue that its Article 9 is overly idealistic and that any country has a right to have its own military force.

However, when we turn our eyes to the roles that the Constitution of Japan has played all these years after the war, the matter may not be that simple. It is a solid fact that Japan has not entered into a single warfare under the present Constitution.

Although I understand the need for reexamining the value of the Constitution drafted over 60 years ago, I suggest that we should carefully discuss if it is really necessary to revise its unique Article 9 right now.

Среди японского народа усиливается требование изменить статью 9 Конституции.

Это мнение основано на идее о том, что данная конституция была навязана Японии Соединенными Штатами. Многие также считают, что Статья 9 явно идеалистична и что любая страна имеет право иметь вооруженные силы.

Однако, если мы посмотрим на роль Конституции Японии в послевоенные годы, вопрос оказывается не столь прост. Абсолютно точно, что, согласно настоящей конституции, Япония не принимала участия ни в каких боевых действиях.

Хотя я понимаю необходимость пересмотра сущности Конституции, созданной более 60 лет назад, я полагаю, что нам нужно тщательно обсудить, нужно ли в действительности пересматривать сейчас ее специфичную Статью 9.

Как видно из вышеприведенных примеров, американская модель, доминирующая в школах Японии, ориентируется на одностороннюю аргументацию. С другой стороны, японская модель обеспечивает сбалансированную аргументацию путем рассмотрения проблемы с другой точки зрения.

На своих занятиях по английскому языку в Японии после представления вышеприведенных образцов, я прошу своих студентов выбрать любую проблему по их желанию и обсудить ее, согласно этим двум разным стилям. Многие студенты с удивлением обнаруживают, что содержание их сообщения коренным образом изменяется в зависимости от выбранного стиля. Вот некоторые устные комментарии студентов:

«Что я написал по японской модели, было моим исходным мнением, которое я действительно хотел выразить. То, что я написал по американской модели, отличалось от моей собственной идеи. Сегодня я с изумлением узнал, что до этого мне запрещали выражать то, что я действительно хотел сказать» (студент Осакского университета, ноябрь 2007, исходный текст – на японском языке).

«Сегодня я обнаружил, что я не могу писать очень хорошо ни по-английски, ни по-японски. Мои учителя всегда учили меня четко выражать

определенную позицию в письме на английском языке. Когда я начал писать по-английски несколько лет назад, я сначала писал, как японец, но затем преподаватели сказали мне: «Так по-английски писать нельзя». Теперь я испытываю психологическое сопротивление тому, чтобы представить альтернативные взгляды, когда пишу по-английски, даже если я действительно хочу это сказать» (магистрант Университета Тюкё, август 2007, исходный текст – на японском языке)

Эти комментарии японских студентов показывают, что навязывание им американской модели может стать формой контроля за мышлением. На своих занятиях я говорю своим студентам, что они не должны быть связаны американской нормой, самовыражаясь по-английски в межнациональной коммуникации.

Вопреки постулату вариантологии английского языка о том, что нативизация английского языка происходит только там, где язык используется внутри государства, нет доказательств тому, что нативизация английского языка не осуществляется через его международное функционирование. Ограничение моделей английского языка в Расширяющемся круге только моделями носителей языка замедляет развитие нативизированных вариантов Расширяющегося круга.

Альтернативные парадигмы

Существует ли теория, которая могла бы служить альтернативой вариантологии? В этом разделе мы кратко рассмотрим две другие теоретические концепции.

Одним из значительных подходов, выдвинутых в последнее время, к обучению английского языка для межнациональной коммуникации стала концепция английского как лингва франка (English as a Lingua Franca, или ELF), выдвинутая Дженнифер Дженкинс [6; 8; 9]. Концепт ELF зиждется на идее ядра языка-посредника (Lingua Franca Core), призванного обеспечить понимание между народами, и делает упор на необходимости взаимодействия между неносителями языка.

Концепция английского как лингва франка (ELF) представляется особенно значимой по двум соображениям. Первое – это то, что эта концепция не проводит различий между вариантами Внешнего и Расширяющегося круга. Используя «неядерные» черты для выражения своей идентичности, говорящие в обоих кругах в полной мере могут пользоваться своими вариантами английского языка. В самом деле, как отмечает сама Дженкинс, концепция английского как лингва франка – это «попытка расширить права членов Расширяющегося круга – права, которыми всегда был наделен Внутренний круг и которыми, в значительной степени, обладают представители Внешнего круга» [7: p. 38].

Эта важная философия английского как лингва франка лежит в основе создания корпуса английского языка, создаваемого под руководством Барбары Зайдлхофер (Barbara Seidlhofer). Эта языковая база данных, известная под названием VOICE (Vienna – Oxford International Corpus of English)[3], в отличие от Международного корпуса английского языка (ICE), не делает различий между вариантами английского языка Внешнего и Расширяющегося кругов.

В моем представлении, другой важной характеристикой концепции английского как лингва франка является то, что этот подход вовсе не предполагает существования «национальных» вариантов. Согласно данной теории пользователи английского языка могут свободно говорить на своих собственных вариантах до тех пор, пока они придерживаются ядерных признаков, обеспечивающих понимание в международном масштабе. Если это так, концепция английского как лингва франка дает Расширяющемуся кругу значительные преимущества, поскольку в большей части различие между Внешним и Расширяющимся кругами вызвано точкой зрения о том, что первый представляет сложившиеся национальные варианты, в отличие от второго.

Тем не менее у концепции английского как лингва франка есть и свои недостатки. Внимательное изучение ядра лингва франка обнаруживает, что все ядерные черты английского как лингва франка по-прежнему базируются на стандарте носителей английского языка [5: p. 96–97]. Таким образом, концепция английского как лингва франка, по крайней мере, в ее нынешней форме, вовсе не свободна от ориентации на носителя языка.

Другая концепция, которую стоит обсудить как противостоящую вариантологии (WE) – это теория английского как международного языка (English as an International Language, или EIL), предложенная Ларри Смитом [18; 21]. Несмотря на то, что сам Смит сегодня считает, что его теория английского как международного языка слилась с теорией вариантов (WE) [19], английский как международный язык в исходном представлении Смита, в действительности, коренным образом отличался от понятия вариантов (WE). Существенно то, что в концепции английского как международного языка, варианты Расширяющегося круга не рассматривались как нормозависимые. Смит утвер-

[3] Информацию об этом корпусе можно найти на сайте: http://www.univie.ac.at/voice/index.php (дата обращения : март 2009).

ждал, что моделью английского как международного языка, в применении к ситуациям Расширяющегося круга, может быть «…любой образованный англоязычный говорящий (носитель языка, локальный или региональный)» [21: p. 15].

Данное положение концепции английского как международного было доказано в эксперименте, проведенном Ларри Смитом и Халилулла Рафикзадом [22]. В этом исследовании, где проверяли международную понятность вариантов английского языка, они не делали ненужных различий между вариантами английского Внешнего и Расширяющегося кругов. В этом эксперименте принимали участие говорящие и слушающие из обоих кругов, например, Индии и Пакистана (Внешний круг), Кореи и Японии (Расширяющийся круг). Философия вытекает из их вывода. Не проводя различий между двумя кругами, они обобщили наиболее существенные результаты следующим образом:

«Поскольку фонетика носителя языка не является более понятной, чем фонетика неносителей языка, нет оснований настаивать на том, чтобы целью исполнительского мастерства на уроках английского языка был носитель английского как родного языка» [22: p. 57].

В отличие от сторонников теории вариантов, Смит и Рафикзад не видят необходимости противопоставлять варианты английского как иностранного (EFL) (Расширяющегося круга) вариантам английского как второго языка (ESL) (Внешнего круга). В рамках их концепции для японского английского, так же как и для индийского английского «…нет необходимости настаивать на том, чтобы целью речевого уровня на уроках английского языка был носитель языка»[4].

Основываясь на этой ранней концепции Смита английского как международного языка, автор попытался создать новую концепцию английского как международного языка [3; 4].

Заключение

Несмотря на то, что теория вариантов английского языка отказывает пользователям Расширяющегося круга в существовании их собственных нативизированных моделей английского языка, они, как и представители Внешнего круга, нуждаются в таких моделях для выражения своих неанглоамериканских ценностей. Чтобы добиться этой цели, целесообразно обратиться к альтернативным концепциям, таким как теория английского, как лингва франка (ELF) и теория английского как международного языка (EIL), хотя, возможно, эти концепции и не дадут окончательного ответа.

Нативизация английского языка в Японии должна быть закреплена признанием японизированного английского как модели для японцев, изучающих английский язык, понятной коммуникантам разных стран. Иначе еще долгое время японцы не будут иметь такого варианта английского языка, который бы мог выражать их культурные ценности в межнациональной коммуникации.

К какому бы «кругу» ни относились говорящие на английском языке, они равны между собой. Они должны быть наделены одинаковым правом самовыражаться в межнациональном сообществе.

[4] Хотя некоторые исследователи различают понятия «модель» и «цель обучения», автор считает, что эти понятия неразрывны.

Слово благодарности

Это исследование получило поддержку от Японского общества научного стимулирования, предоставления грантов на научные исследования (Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research) (C) 20520548, 2008– 2010.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Andreasson, Anne-Marie*. Norm as a Pedagogical Paradigm / A.-M. Andreasson // World Englishes. – 1994. – 13:3. – P. 395–409.

2. *Bamgbose, Ayo*. Torn between the Norms: Innovations in world Englishes / A. Bamgbose // World Englishes. – 1998. – 17:1. – P. 1–14.

3. *Hino, Nobuyuki*. Kokusai-eigo Kenkyu no Taikeika ni Mukete: Nihon no Eigokyoiku no Shiten kara («Toward a Systematization of EIL Studies for ELT in Japan», in Japanese) / *N. Hino* // Asian English Studies. – 2003. – № 5. – P. 5–43.

4. *Hino, Nobuyuki*. Organizing EIL Studies: Toward a paradigm / N. Hino // Asian Englishes. – 2001. – 4:1. – P. 34–65.

5. *Jenkins, Jennifer*. A Sociolinguistically Based, Empirically Researched Pronunciation Syllabus for English as an International Language / J. Jenkins // Applied Linguistics. – 2002. – 23:1. – P. 83–103.

6. *Jenkins, Jennifer*. English as a Lingua Franca: Attitude and identity / J. Jenkins. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

7. *Jenkins, Jennifer*. Global Intelligibility and Local Diversity: Possibility or paradox? / J. Jenkins // Rubdy, Rani and Mario Saraceni (eds.) English in the World: Global rules, global roles. London: Continuum, 2006. – P. 32–39.

8. *Jenkins, Jennifer*. The Phonology of English as an International Language / J. Jenkins. – Oxford: Oxford University Press, 2000.

9. *Jenkins, Jennifer*. World Englishes / J. Jenkins. – London: Routledge, 2003.

10. *Kachru, Braj B.* Models of English for the Third World: White man's linguistic burden or language pragmatics / Braj B. Kachru // TESOL Quarterly. – 1976. – 10:2. – P. 221–239.

11. *Kachru, Braj B.* Models for Non-native Englishes / Braj B. Kachru // Kachru, Braj B. (ed.) The Other Tongue. Oxford: Pergamon Press, 1982. – P. 31–57.

12. *Kachru, Braj B.* Resources for Research and Teaching / Braj B. Kachru // Smith, Larry E. and Michael L. Forman (eds.) World Englishes 2000. Honolulu: University of Hawaii Press. 1997. – P. 209–251.

13. Kunihiro, Masao. Eigo-no-Hanashikata (English Works for you, in Japanese) / M. Kunihiro. – Tokyo: Simul Press, 1970.

14. *Kachru, Braj B.* Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English language in the Outer Circle / Braj B. Kachru // Quirk, Randolph and H.G. Widdowson (eds.) English in the World: Teaching and learning the language and literatures. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – P. 11–30.

15. *Kunihiro, Masao.* 'Takokuseki-eigo' wo Kangaeru («On 'multinational' English», in Japanese) / M. Kunihiro // ELEC Bulletin 74. – 1981. – P. 3–5.

16. *Pride, John B.* (ed.) New Englishes / John B. Pride. – Rowley, MA: Newbury House, 1982.

17. *Saito, Hidezaburo*. Saito's Japanese– English Dictionary. / H. Saito. – Tokyo: Nichieisha, 1928. (Reprinted in 2002. Tokyo: Nichigai Associates.)

18. *Smith, Larry E.* English as an International Auxiliary Language / Larry E. Smith // RELC Journal. – 1976. – 7:2. – P. 38–53. Also in Smith (1983). 1–5.

19. *Smith, Larry E.* From English as an International Auxiliary Language to World Englishes / Larry E. Smith // Otsubo, Yoshiko and Giles Parker (eds.) Development of a Teacher Training Program. – Tokyo: Soueisha/Sanseido, 2004. – P. 72–80.

20. *Smith, Larry E.* (ed.) Readings in English as an International Language / Larry E. Smith. – Oxford: Pergamon Press, 1983.

21. *Smith, Larry E.* Some Distinctive Features of EIIL vs. ESOL in English Language Education / Larry E. Smith // The Culture Learning Institute Report June issue. – 1978. – 5–7 & 10– 11. Also in Smith (1983). 13–20.

22. *Smith, Larry E.* English for Cross– Cultural communication: The question of intelligibility / Larry E. Smith, K. Rafiqzad // TESOL Quarterly. – 1979. – 13:3. – P. 371–380. Also in Smith (1983). 49– 58.

23. *Strevens, Peter*. Teaching English as an International Language: From practice to principle / P. Strevens. – Oxford: Pergamon Press, 1980.

24. *Suzuki, Takao*. Tozasareta Gengo Nihongo no Sekai (A Closed Language: The world of Japanese, in Japanese) / T. Suzuki. – Tokyo: Shinchosha, 1971.

25. *Watanabe, Takesato*. Japalish no Susume: Nihonjin no Kokusai-eigo (A Proposal on Japalish: English as an International Language for the Japanese, in Japanese) / T. Watanabe. – Tokyo: Asahi Shimbunsha, 1983.

ПОНЯТИЕ «ВАРИАНТ ЯЗЫКА» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВЕРБАЛИЗАЦИИ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ

И.Н. Хохлова

Хохлова Ирина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английской филологии, декан Факультета иностранных языков Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга (г. Петропавловск-Камчатский).

Контактный адрес: irisha.n.56@mail.ru

В статье освещаются проблемы отражения вариативности национального языка в общей и специальной лексикографии. Дается понятие национального языка, анализируются такие разновидности национального языка, как «диалект», «форма», «вариант», «разновидность»; прослеживаются пути их становления и изменения.

Ключевые слова: разновидность языка, национальный язык, социальный, профессиональный, территориальный диалект, вариант.

Современное состояние некоторых языков таково, что национальный язык может иметь несколько разновидностей. В силу многих геополитических условий национальные языки наций, имевших в своем подчинении территории чужих государств, закреплялись в качестве государственных. Естественное сосуществование языка господствующего государства и языка (языков) захваченных народов привело к формированию нового вида языка. Самым показательным в этом отношении является английский язык, который представлен в настоящее время множеством разновидностей, к числу наиболее ярких из которых следует отнести американскую разновидность английского языка, а также австралийскую, южноафриканскую, канадскую, индийскую и другие разновидности.

Истории известны случаи, когда государства при получении независимости не спешат освободиться от языка метрополии. Подобную ситуацию комментирует В.А. Гречко: «Освободившись от английского колониального владычества, индийское руководство решило не отменять применение английского языка в качестве одного из литературных языков страны (наряду с хинди и урду), понимая, что такая отмена нанесла бы ущерб национальным (культурным, экономическим, научным, социальным и др.) интересам государства. Второй язык в этих странах стал средством общения и использования духовных достижений того народа, который волею судьбы оказался исторически связанным с данными народами» [3: с. 319].

Появление разновидностей языка связано со множеством актуальных вопросов, решение которых в современном языкознании представлено разнообразными и неоднозначными теориями. Чаще всего проблема разновидностей языка возникает при рассмотрении статуса английского языка в современном мире и его особенностей, связанных с территорией распространения и социально-политическими условиями его функционирования. Общеизвестно, что английский язык занимает особое место в числе национальных языков на планете как по количеству говорящих, так и по территории распространения.

Все большее распространение получает термин «английские языки», объединяющий разнообразные варианты английского языка как в Великобритании, так и за ее пределами. Кроме того, исследователи пользуются терминами «семейство английских языков» или «английские языки мира». По утверждению ряда ученых, как средство метакоммуникации, английский язык утрачивает исторические корни, его разновидности отличаются таким своеобразием, что термин «английские языки» можно считать вполне обоснованным.

Как подчеркивает Б. Качру (B. Kachru), а за ним и Т. Макартур (T. McArthur), название «английские языки мира» (World Englishes) свидетельствует о терпимом отношении к английскому языку во всем мире. Оно объединяет все существующие и вновь возникающие разновидности английского языка как равноправных членов некоего клуба – «семейства английских языков», что подчеркивается формой множественного числа слова «английские» (Englishes) или «языки» (Languages) [12, 13].

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, есть все основания предполагать, что множественное число «английские языки» скоро вытеснит единственное число «английский язык» [7: с. 269].

Возможно также, что термин «английские языки» позволяет точнее анализировать динамику развития, меняющиеся функции и статус многочисленных диалектов, вариантов и разновидностей английского языка.

Одной из серьезных проблем диалектологии и вариантологии, как и многих других наук, является проблема терминологическая – уточнение значений используемых этими отраслями лингвистики терминов.

Национальный язык – явление неоднородное. В его составе выделяются разновидности, обозначаемые в современной лингвистике терминами «диалект», «форма», «вариант», «разновидность», «жаргон» и т. д. Так, согласно данным словаря О. С. Ахмановой «разновидность языка – любое подразделение языка: диалект, говор, наречие, идиолект и т. п.» [2: с. 378]. Следует отметить, что в определении «подразделений языка» (термин О.С. Ахмановой) у лингвистов нет единого мнения.

Анализ лингвистической литературы показывает, что термином «диалект» могут быть обозначены разные понятия.

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова дается такое определение: «диалект – местное или социальное наречие, говор» [5: с. 146]. Не трудно заметить, что словарь дает толкование одного подразделения языка через другие подразделения, поскольку для лингвиста «говор», «наречие» и «диалект» – это разные понятия. В данном словаре термин «говор» определяется как «местная разновидность территориального, областного диалекта» [5: с. 121]. Словарь С.И. Ожегова не является профессиональным лингвистическим пособием, поэтому тонкости лингвистической терминологии в нем не учитываются.

В профессионально ориентированном словаре Л.Л. Нелюбина определения термина «диалект» и его разновидностей выстроены очень четко и лексикографически точно: «Диалект – разновидность (вариант) данного языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, связанных тесной территориальной, профессиональной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте» [4: с. 45]. Согласно приведенному определению *диалект* – это такое подразделение языка, которое может возникать при территориальной или профессиональной общности говорящих. Следовательно, можно говорить о наличии *территориальных диалектов* и *профессиональных диалектов*, между которыми имеются различия. Сравним приводимые дефиниции:

- «профессиональный диалект – разновидность *социального диалекта*, объединяющего людей одной профессии или одного рода занятий» [4: с. 169–170];
- «социальный диалект – форма языка, употребляемая более или менее ограниченным кругом людей, связанных специальной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном контакте. В каждом языке существует множество социальных диалектов» [4: с. 207];
- «территориальный диалект – 1) диалект, распространенный в определенной местности; 2) форма существования языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, связанных территориальной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном контакте» [4: с. 225].

По определениям, которые приведены в анализируемом словаре, можно говорить о том, что термин «диалект» соотносится с разными понятиями. Прежде всего, диалект – это форма существования языка, объединяющая людей по каком-либо признаку.

Профессионально ориентированным словарем является словарь О.С. Ахмановой, в котором анализируемые термины снабжены следующими дефинициями:

- «диалект – 1) разновидность (вариант) данного языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, связанных тесной территориальной, профессиональной или социальной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте; 2) совокупность однородных говоров, обладающих относительным единообразием; 3) то же, что говор; 4) то же, что наречие II» [2: с. 131];
- «диалект профессиональный – разновидность социального диалекта, объединяющая людей одной профессии или одного рода занятий» [2: с. 131];
- «диалект социальный – диалект, принадлежащий какой-либо социальной общности или группе людей» [2: с. 131];
- «диалект территориальный (диалект местный, диалект областной) – диалект, распространенный в определенной местности» [2: с. 131].

Нетрудно заметить, что термин «диалект» определяется в словаре посредством терминов «говор», «разновидность», «наречие», «вариант». И таким образом создается развернутый синонимический ряд, позволяющий использовать перечисленные слова в качестве замены одного другим.

Диалект – центральное понятие научной дисциплины диалектологии, возможно, поэтому в классической диалектологии понятия «диалект», «говор» и «наречие» различаются родовидовыми отношениями. Авторы учебного пособия «Русская диалектология» указывают, что «*говором* обычно называют самую мелкую, далее неделимую разновидность языка. Совокупность говоров, обладающих некоторыми общими чертами, представляющая в то же время лишь часть данного языка, называется *наречием*. Термин «диалект» употребляется как в значении *говора*, так и в значении *наречия*» [6: с. 5].

В цитируемом учебном пособии дается уточнение, согласно которому «для социальных диалектов разграничение понятий наречия, говора и т. д. не установлено» [6: с. 5–6].

Необходимо также принять во внимание следующее замечание: «Диалектами называются разновидности внутри одного языка. Разграничение понятий языка и диалекта не столь просто и не все-

гда опирается на чисто лингвистические основания. Если мы имеем дело с двумя достаточно близкими друг другу языковыми системами, не всегда так просто решить, имеем ли мы дело с двумя диалектами одного языка или с двумя родственными языками» [6: с. 16]. Следовательно, понятие «диалект» в рассматриваемом учебном пособии практически приравнивается к понятию «язык».

Иное отношение складывается к социальным диалектам: «Социальные диалекты внутри какого-либо языка, в частности русского, специфически отличаются от территориальных. В то время как последние могут различаться между собой фактами любой стороны языка, социальные диалекты характеризуются прежде всего особенностями словаря, словоупотребления, некоторыми фразеологическими оборотами, да и различия в словаре относятся главным образом к области специальной терминологии» [6: с. 17].

Обзор лексикографической литературы показал, что в современном языкознании термин «диалект» используется для обозначения нескольких понятий, связанных с разными подразделениями языка (по терминологии О.С. Ахмановой), не имеет четких границ своего определения. Являясь членом синонимического ряда, термин «диалект» способен в речевом употреблении выступать вместо терминов «говор», «наречие», «разновидность», «вариант», так же, как перечисленные термины способны заменить собой термин «диалект».

Важным является установление границ значения часто используемых терминов *вариант* и *диалект*, уточнение их отношений с *национальным* и *литературным* языком.

В теории вариативности оба термина используются в равной мере. Так, например, Дж. Брук (G. Brook) в книге «Английские диалекты» (English Dialects) определяет диалект как «любую разновидность языка, которая ассоциируется с определенной группой говорящих на ней людей, меньшей по своему размеру, чем группа людей, говорящих на общем языке» [11: p. 13]. В соответствии с этим определением Дж. Брук относит американский английский и британский английский к диалектам английского языка. Такое использование термина «диалект» представляется слишком широким.

Что касается соотношения «язык – диалект – вариант», то здесь необходимо отметить, что различие между языком и диалектом/вариантом может быть определено как различие между общим и конкретным. Определение диалекта/варианта является конкретизацией понятия «язык». Эта конкретизация достигается введением экстралингвистической характеристики в определение диалекта/варианта. В качестве экстралингвистической характеристики выступает указание на территориальную ограниченность, а также на специфику коллектива говорящих. Кроме того, немалую роль в определении той или иной разновидности языка играют политика и государство. Данный факт хорошо отражен в афоризме «диалект – это тот же язык, но только без армии», а вот в случае с вариантом, на наш взгляд, уже можно говорить о наличии армии, т. е. понятие *вариант* гораздо шире понятия *диалект*.

Кроме того, различие между *диалектом* и *вариантом* достигается степенью удаленности от бывшей метрополии (в случае с Южной Африкой, например, речь идет о такой удаленности, следствием которой являются совершенно иные физико-географические условия проживания, что не могло не отразиться на языке), а также количеством говорящих (по данным сайта Посольства ЮАР, в стране проживает около 45 миллионов человек).

Под *диалектом* А.Д. Швейцер понимает «территориальную разновидность национального языка, ограниченную сферой народно-разговорной речи и противостоящую нормированному литературному языку» [9: с. 19]. Вариант литературного языка ученым определяется как «территориальная разновидность единого нормированного языка» [9: с. 19]. Вариант национального языка означает «совокупность территориально ограниченного варианта литературного языка и распространенных в пределах его ареала территориальных диалектов» [9: с. 19].

На наш взгляд, «южноафриканский английский, американский английский и британский английский не могут рассматриваться как диалекты, поскольку применение термина «диалект» в данном случае создает неправильное представление о структуре литературного и диалектного языка в Англии и США» [8: с. 50]. Известно, что как в Англии, так и в США, существуют местные диалекты, над которыми возвышается нормированный литературный язык.

Для называния вариантов часто используется термин «новые английские» (new Englishes). Эти «новые английские» напоминают диалекты, существующие внутри страны, но взятые в мировом масштабе. Ими пользуются миллионы, а не тысячи, как в случае с региональными диалектами. Они являются неизбежным следствием распространения английского языка по всему миру.

В этой связи В.М. Широких отмечает: «Язык отражает различия поведения национальных групп и их стремление отделиться друг от друга, поэтому естественно, что появляются варианты. Варианты существуют во всех языках, и потому изучение языка является иногда задачей более сложной, чем представлялось вначале. Лингвисты уже давно обратили внимание на то, что язык сохраняет свои идентичные черты лишь на определенной части территории своего распространения и лишь при

определенных условиях» [10: с. 33].

Следует согласиться с мнением Л.И. Аполлоновой, утверждающей, что «…становление варианта предполагает изменение социальных условий его функционирования, включая изменение экологической среды и социально-лингвистической базы. Кроме того, оказавшись в новых условиях, язык продолжает изменяться в соответствии с заложенными в нем тенденциями развития, а также под действием новых экстра- и интралингвистических факторов, т. е. адаптируется к новым условиям функционирования» [1: с. 134].

Региональные варианты, выполняя функцию языка межкультурного общения, способствуют обогащению международного английского языка. В настоящее время уже не представляется возможным говорить об английском языке только одной культуры. Английский язык получил беспрецедентное распространение во всем мире и стал средством выражения культур многих регионов мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аполлонова, Л.И.* Особенности лексико-семантической системы австралийского варианта английского языка: дис. … канд. филол. наук / Л.И. Аполлонова. – Л., 1991. – 202 с.

2. *Ахманова, О.С.* Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: КомКнига, 2007. –576 с.

3. *Гречко, В.А.* Теория языкознания: учеб. пособие / В.А. Гречко. – М.: Высш. шк., 2003. – 375 с.

4. *Нелюбин, Л.Л.* Толковый переводческий словарь / Л.Л. Нелюбин. – 3-е изд., перераб. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 320с.

5. *Ожегов, С.И.* Словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. чл.-кор. АН СССР Н.И. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1990. – 921 с.

6. Русская диалектология. – М.: Просвещение, 1973. – 279 с.

7. *Тер-Минасова, С.Г.* Война и мир языков и культур / С.Г. Тер-Минасова. – М., 2007. – 269 с.

8. *Хохлова, И.Н.* Способы выделения южноафриканского лексического компонента в тексте / И.Н. Хохлова // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. – Вып. 8. – Нижний Новгород: ГОУ ВПО НГЛУ, 2009. – С. 48–63.

9. *Швейцер, А.Д.* Современная социолингвистика / А.Д. Швейцер. – М.: Наука, 1976. – 176 с.

10. *Широких, В.М.* Лингвострановедческая окрашенность общественно-политической лексики австралийского варианта английского языка: дис. … канд. филол. наук / В.М. Широких. – М., 1998. – 200 с.

11. *Brook, G.L.* English Dialects / G.L. Brook. – New York: Oxford, 1965. – 323 p.

12. *Kachru, B.* World Englishes / B. Kachru, C. Nelson // Sociolinguistics and Language Teaching / Ed. By Sandra Lee McKay, Nancy H. Hornberger. – Cambridge, New York, Melbourn: CUP, 1996. – P. 71–102.

13. *McArthur, T.* The English languages / T. McArthur. – Cambridge, New York, Melbourn: CUP, 1998. – 217 p.

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

НАРКОТИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: ТРЕНДЫ В ЯКУТСКОМ СОЦИУМЕ

С.Г. Анисимова

Анисимова Светлана Геннадьевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова (г. Якутск).

Контактный адрес: fomas2003@list.ru

Статья посвящена наркомании, которая охватывает всё большое количество молодежи и влияет на экономическое, политическое и культурное развитие общества. На основе данных конкретного социологического исследования, сравнительного анализа, анализа средств массовой информации и официальных источников автор выделяет особенности наркоситуации в отдельном субъекте Российской Федерации – Республике Саха (Якутии). Полученные данные позволили определить реальные «группы риска», факторы наркотизации, «зоны» приобщения и проблемы профилактики наркомании в республике.

Ключевые слова: наркотизм, наркотики, психоактивные вещества, наркоситуация, молодежь, группы риска, профилактика, неформализованное интервью, экспертный опрос.

В публичном дискурсе на протяжении прошедших двух десятилетий наркомания занимает одно из первых мест среди других социально-проблемных девиаций. За время, прошедшее с «открытия» наркомании для российского общества, наркологами, социологами, криминологами, накоплен обширный материал о различных аспектах потребления в немедицинских целях психоактивных веществ. Авторы выявили факторы и условия наркотизации молодежи, каналы распространения в различных регионах, типологию отношения к наркотикам и др. [2; 5; 7]. Специалисты различных отраслей научного знания и практики прогнозировали, что именно наркотизация – как разновидность потребления психоактивных веществ будет охватывать все большое количество молодежи и оказывать огромное влияние на экономическое, политическое и культурное развитие общества [12]. В публикациях указывается, что наибольший рост наркотизма происходит на Дальнем Востоке России. Это объясняется тем, что этот регион территориально близок к странам Юго-Восточной Азии, откуда осуществляется завоз психотропных и сильнодействующих веществ расширение с ними торгово-экономических и культурных связей влечет увеличение каналов наркотраффика [6]. Кроме того, во многих субъектах Дальнего Востока (Приморский край, Амурская область, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и др.) в изобилии произрастает дикая конопля, что даёт широкие возможности получения из неё наркотических веществ.

Показательным является тот факт, что по результатам общероссийского опроса 2008 г. усиление алкоголизма и наркомании (47 %) занимала второе место вслед за безусловным лидером российских опасений – ростом цен на товары и услуги (63 %). Проблемы преступности, в том числе среди детей и подростков (26 %), коррупция и засилье бюрократии (24 %) замыкали список тревог [3]. Между тем по данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, количество наркопотребителей выросло в «нулевые годы» приблизительно на 2 %. Руководитель службы В. Иванов считает, что «…число наркоманов в России сегодня в 20 раз больше, чем было во времена Советского Союза… но рост пришелся, прежде всего, на 1990-е годы, в последние десять лет число наркоманов практически не увеличивается» [9].

Подобный парадокс вызывает необходимость уточнения наркоситуации в России и отдельных административно-территориальных образованиях, определение трендов употребления ПАВ в связи с реальной опасностью и очевидной сенсационностью этой социальной девиации.

Естественно, что динамика наркомании непосредственно связана с объективными противоречиями общественного развития и социокультурными условиями существования людей, но степень воздействия того или иного фактора может иметь различную степень выраженности в различных территориальных образованиях.

Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федерации, отличается экстремально-суровым климатом, неразвитой инфраструктурой, крайне малой плотностью населения – 0,31 чел. на 1 кв. км. Основной интерес республика представляет как сырьевой регион: на территории находятся богатейшие запасы полезных ископаемых (по приблизительным подсчетам – 1/3 мировых запасов алмазов) и природных ресурсов. В настоящее время

Якутия не входит в число регионов Дальнего Востока с нарастающей наркотизацией, что позволяет говорить о явной дифференциации наркоситуации.

Распространение наркомании происходило в Якутии по сценарию, типичному для многих регионов России, исключая республики Северного Кавказа и области, прилегающие к Средней Азии. Первые наркоманы были взяты на учет в 1970-е годы. В основном это были наркозависимые от медицинских препаратов, получившие «привычку» в результате назначения врачами сильно действующих обезболивающих. Среди них были онкологические больные, лица, имеющих тяжелые боевые ранения и травмы и т. п. В 1980-х годах появились «любители» конопли и её составляющих. Интерес к производным каннабиса был спровоцирован войной в Афганистане, где участники боевых действий приобщились к канабиоидам как седативным средствам. В обиходе стала использоваться как местная конопля, которая культивировалась на протяжении столетия для нужд промышленности, так и поступавшая из республик Средней Азии и Приморья. В период реформ стремительно расширился «спектр» наркотических средств, а затем и психотропных препаратов, психостимулирующих веществ и т. д.

В конце 80–90-х гг. двадцатого столетия наиболее значимыми причинами ухудшения накроситуации в республике стали:

– массированные сведения о наркотиках и психоактивных веществах, появившиеся в СМИ и подогревавшие интерес к новым видам «кайфа»;

– снижение количества населения, разрушение демографического и трудового потенциала, потеря групп населения, имеющего профессионально–квалификационные навыки, адекватные экстремальной среде жизнедеятельности;

– люмпенизация, дисквалификация значительных групп работников, в советское время освоивших северных территории;

– формирование ареалов бедности и социальной неуспешности;

– возрождение архаичных социализирующих структур – «землячеств», часть которых имела асоциальную и криминальную направленность;

– увеличивающаяся миграция из стран ближнего зарубежья, где имеются традиции потребления токсиманических веществ типа насвая и др.;

– активизация деятельности криминальных сообществ;

– проживание в экстремальных условиях, вызывающее перманентный стресс, и резкое снижение (за счет отказа от социальных гарантий для северян) возможностей для полноценного досуга и рекреации.

По данным официальной статистики на протяжении «нулевых годов» наркоситуация имела волнообразный характер. Количество наркоманов уменьшалось до середины 2000-х годов: от 922 человек в 2000 г. до 604 – в 2004 г. Затем начался небольшой подъем и в 2008 г. были зарегистрированы 766 диагностированных наркоманов [8]. В то же время стабильно (и довольно заметно) увеличивалось количество лиц, потреблявших наркотики с вредными последствиям, т. е. сопряженных с психическими и поведенческими расстройствами: в 2000 г. таких было 280 человек, в 2004 – 407, а в 2008 – 587.

Во второй половине 2000-х годов произошло распределение республиканских «лидеров» в области наркомании. Наибольшее количество наркоманов состоит на учёте в Мирнинском районе – центре «алмазной провинции», на втором месте находится столица Якутск (административный, культурный, образовательный центр) и третье место занимает Нерюнгри (главный железнодорожный узел, связывающий Якутию с другими регионами, а также крупный центр промышленного строительства).

Динамично изменяется структура потребления психоактивных веществ в соответствие с законами спроса-предложения [10: с. 107]. В качестве «основных» наркотиков в течение последних лет выступают конопля и её производные, завоз которых (гашиш, гашишное масло и марихуана) осуществляется в основном из Дальневосточного региона и Западной Сибири. В середине 2000-х гг. зафиксировано проникновение стимулирующих средств, обладающие эффектом возбуждения нервной системы (экстази, ЛСД и т. д.) и использование кустарных наркотиков. В 2007–2008 гг. происходило увеличение потребителей героина и маковой соломки инъекционным способом, что показывало увеличение изъятия «тяжелого» наркотика – героина. К концу 2008 г. произошло небольшое увеличение диагностированных наркоманов, большая часть употребляла наркотики внутривенным способом [4]. В это время в республике заговорили о дезоморфине – наркотическом веществе, которое при определенном навыке изготовляется из лекарственных средств, продающихся в любой аптеке.

Так, 2009–2010 гг. прошли в республике под «знаком» курительных смесей. Курительные смеси («Спайс», «Юкатан», «Киллер микс» и множество других) содержат такие компоненты, как лист шалфея, семена розы гавайской, цветок и листья голубого лотоса, синтетические каннабиноиды. В течение 2009 г. курительные смеси предлагались потребителям через электронные средства связи и позиционировались как «легкий и безопасный» наркотик. Они продавались через сеть дилеров и, в связи с пробелами в законодательстве, были практически в свободном обороте до 22 января 2010 г., когда вступило в силу постановление, которое при-

равняло эти прекурсоры к наркотикам и ввело за них уголовную ответственность. Однако «свято место пусто не бывает» и в обиход любителей кайфа опять вошел дезоморфин. Удовлетворение спроса продолжалось также за счет нелегальной продажи миксов. Так, только за первое полугодие 2010 г. якутскими наркополицейскими курительная смесь изымалась 119 раз, общий вес изъятого дошел до 5 кг [11].

Автор считает, что в силу конспиративности и деликатности темы, невозможно определить точное соотношение людей, употребляющих или пробовавших наркотики. В связи с этим статистические данные дополняются эмпирическими исследованиями на материале региона для изучения информированности молодежи о наркотизме, а также эффективности мер и мероприятий по противодействию наркомании. Автором в 2009–2010 гг. было проведено социологическое исследование, целью которого стало определение групп, имеющих больший потенциал приобщения к психоактивным веществам и возможные «каналы» и «точки» распространения наркотических вещества среди молодежи, а также способы и методы противодействия наркотизации. Исследование состояло из двух блоков: во-первых, опрос молодых людей (46 юношей и девушек) в возрасте от 14 до 20 лет, живущих и обучающихся в г. Якутске; во вторых, экспертные оценки сотрудников правоохранительных органов, по роду деятельности сталкивающихся с лицами, употребляющими наркотические вещества. В роли экспертов выступили 10 сотрудников МВД России по Республике Саха (Якутия), Северо-Восточного управления внутренних дел на транспорте России и Федерального управления исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия).

На этапе пилотажа была подтверждена гипотеза, что в связи с опасениями по поводу огласки, либо наступления санкций со стороны административных и правоохранительных органов, молодые люди неохотно обсуждают проблемы наркомании и с незнакомыми, и со знакомыми людьми, в особенности облаченными официальной ролью – преподавателя, психолога, социолога, практического педагога и, тем более, сотрудника правоохранительных органов. Использование в качестве интервьюеров сверстников – студентов увеличило степень доверительности и позволило получить более искренние ответы на вопросы, связанные с употреблением психоактивных веществ. В ходе неформализированного интервью были опрошены студенты и школьники, обучающиеся в различных учебных заведениях г. Якутска: студенты 1-го и 2-го курсов вузов – 26 человек, 10 студентов техникума и 10 старшеклассников.

Представление о психоактивных веществах, наркотиках и их видах имеют все опрошенные молодые люди, независимо от пола. Респондентами были названы анаша, конопля, героин, кокаин, опиум, марихуана, морфий, гашиш, ЛСД, экстази, эфедрин с классификацией на «тяжелые» и «опасные», «колеса» и «дурь» и т. д. Одиннадцатиклассники назвали такое «экзотическое» для Якутии психоактивное вещество как мускат (мускатный орех). В целом студенты проявили более глубокие теоретические знания наркотиков, их видов, группировки и происхождения, а учащиеся школ лучше знакомы с жаргонной терминологией и психоактивными веществами, которые могут быть получены из медицинских препаратов (эфир, декстрометорфан, кодеин, кетамин и др.) с помощью некоторых знаний в области химии или относятся «к легким» – насвай, анаша. При этом опасность потребления «тяжелых наркотиков» (героин, кокаин, ЛСД) осознаётся практически всеми молодыми людьми.

По ответам на вопрос: где можно приобрести наркотики? – респондентов можно разбить на несколько групп. Небольшая часть студентов вузов (4 человека) не имеют представления, где можно приобрети наркотики, и не знают мест их распространения. Ими были высказаны предположения, что наркотики можно купить на рынках, в тюрьме и «у хачиков». Знания незаинтересованных в основном получены из открытых источников в Интернете и СМИ. 22 студента вуза и 10 студентов техникума сообщили, что самый простой способ получить наркотик – это знакомые знакомых, друзья. Это «любознательные», которые имеют одно- двукратный опыт употребления «легких наркотиков» – анаши или «колес». Впрочем, учащиеся уверяют, что эксперименты у них в прошлом. Школьники назвали такие места получения наркотиков, как «через знакомых», «через барыг», «на стройке», «в других городах», «пригородах», где находятся крупные плантации дикорастущей конопли. Старшеклассники проявили знание мест распространения наркотика и сайтов в Интернете, где сообщаются рецепты «хоум»-производства психоактивных веществ из медицинских препаратов, находящихся в свободной продаже в аптеках, в то же время из них лишь четыре человека сказали, что имеют опыт употребления ПАВ, причем двое ознакомились с ними за пределами республики, во время отдыха на юге России. Четверть всех опрошенных (около 25 %) утверждают, что никаких наркотиков и психоактивных веществ не употребляли. Отсутствие интереса к «наркоте» объяснили тем, что «лучше выпить пива». Школа, «хата» и подъезд – это три основных места, где респонденты пробовали психоактивные вещества.

Наши данные по поводу мотивации употребления наркотических веществ близки к результатам, полученными другими исследователями.

Л.А. Журавлева указывает сопутствующие ситуации мотивы первоначального употребления наркотиков: «давление со стороны сверстников (чтобы не быть «белой вороной»), алкогольное опьянение, желание снять стресс, забыть неприятности, ради интереса, ради заполнения досуга, назло взрослым, для поднятия настроения» [5: с. 46]. Мотивы опрошенных из числа тех, кто употреблял наркотики, не отличаются разнообразием – «любопытство, скука, серая жизнь, интересно». По мнению респондентов, не имеющих опыта наркотизации, наркотики употребляют для «поиска новых ощущений и эмоций», для «интереса, чтобы прикольно было», «в компании, чтобы оторваться».

Надо отметить, что давление референтной группы как мотив употребления наркотиков занимает одно из последних мест в иерархии установок опрошенных. Это согласуется с тем, что «компания, среда общения (микросреда), безусловно, формирует установки, предпочтения индивида, но нельзя игнорировать тот факт, что индивид селективно, избирательно формирует свое окружение, организует его сообразно своим интересам, жизненному опыту и т. д.» [7: с. 53]. Лишь два респондента назвали конфликты с родителями или другими взрослыми как повод к употреблению психоактивных веществ, т. е. «назло взрослым»: респонденты ставят его «на одно из самых последних мест в рейтинге причин» [7: с. 52].

Ответы на вопросы «надо ли бороться с наркоманией?» и «эффективны ли меры по противодействию наркомании?» разделили опрошенных на несколько групп. «Равнодушные», у которых нет опыта употребления, близкого контакта с наркоманами и информации о наркотических проблемах кого-нибудь из знакомых высказали мнение о «более или менее» эффективной борьбе с наркоманией и внесли предложения вести индивидуальную работу с наркоманами и группами риска. Сами же противодействовать наркомании они не планируют, так как не видят вокруг себя «проблемных личностей». «Лояльные» респонденты (имеют однократный или двукратный опыт употребления «легких» или «синтетических» наркотиков) считают профилактику наркомании неэффективной, проблемы пока не видят и всю ответственность перекладывают на самого наркомана. Основной лейтмотив ответов: «каждый сам выбирает собственный путь и отвечает за себя». Большинство учащихся демонстрирует модель противодействия наркомании. В неё вошли и «любознательные» (имевшие опыт потребления), и «назаинтересованные» (знающие о наркотиках лишь теоретически из СМИ), и те, кто сам не употреблял, но имеет довольно глубокие знания о местах распространения и «эффектах» наркотизма. Они считают, что бороться с наркоманией необходимо и меры по противодействию наркомании среди молодежи недостаточно эффективны. Именно от этой группы были получены некоторые конкретные предложения по профилактике и противодействию наркомании в республике. Предложения по профилактике были практические – «показывать фильмы и ролики о последствиях приема наркотиков» (8 респондентов), «улучшить контроль за границами» (10 респондентов), «контролировать приезжих из других стран» (9 респондентов) и агрессивно-наивные («уничтожить страны, где производят наркотики»).

Эксперты-сотрудники правоохранительных органов, проживающие в столице республике – г. Якутске, где все проблемы, включая наркоманию, стоят довольно остро, единодушно высказались о том, что в республике наблюдается рост наркопотребления и обостряется наркоситуация. «*Ситуация несомненно обострилась. В различные подразделения стало доставляться больше правонарушителей с признаками наркотической или смешанной – алкогольно-наркотической. Причем вторых становится больше… Идет усиление модной среди молодежи тенденции – выпитое пиво «лакировать» таблетками-психостимуляторами...*» «*Эта проблема у нас стоит и надо ожидать обострения. Резкий рост наркомании будет связан со строительством железной дороги, которая откроет новый канал поставки и увеличит количество лиц с криминальной направленностью…*» «*Идет увеличение потребления… Во время работы в милицейских подразделениях, куда доставляют задержанных по разным причинам, можно заметить, что наркоманы явно выделяются расторможенностью, алкоголики могут быть или заторможенными, спящими, или агрессивно-буйными, а нарки- те веселятся…*»

По мнению сотрудников правоохранительных органов, меры противодействия наркомании явно недостаточны и связывают это с недооценкой ситуации. «*…В Нерюнгри и Мирном проблема разрастается, так они стали призывать граждан проявлять гражданскую активность, усилили контроль в аэропортах, а раньше…*» «*У нас явно недостаточно информации для родителей, которые не имеют представления о признаках наркотического опьянения, а часто и не хотят этого видеть. Наркологи должны через школы и институты распространять памятки для семьи о признаках и последствиях наркомании*». «*Сейчас обратили внимание на то, что у нас многие, кто работает вахтовым методом, или на новых производствах, получают приличные деньги, а внимания детям не уделяют. С другой стороны, родители, которые ничего не получают или получают копейки, тоже впадают в апатию и не пытаются с*

детьми как-то общаться». «*Сейчас никто не обращает внимание на широкое распространение насвая, завозимого из Средней Азии, а он находится практически в свободной продаже в любой торговой точке мигрантов…Они приехали деньги зарабатывать и чем торговать им всё равно…И хотя они говорят, что "нас" безвреден, но я думаю, что они что-то туда подмешивают для усиления привыкания...*»

Один из экспертов заметил, что агрессивная антиреклама наркотиков в школах влечет повышение интереса к «запретному плоду», т. е. вызывает обратный эффект. Противоположную точку зрения высказал другой эксперт: «*…реальные действия по профилактике наркомании проводят наркологические службы города, которые распространяют материалы по освещению наркоситуации и дают практические рекомендации для родителей и педагогов*». Большинство экспертов указали на недостаточный контроль в местах распространения ПАВ – в школах и культурно-развлекательных учреждениях, а также через аптечные сети.

Эксперты внесли ряд предложений по противодействию наркомании, среди которых: «*…ужесточение продажи психостимуляторов и препаратов, содержащих наркотические вещества*», «*разъяснительная работа в школе*», «*формирование в семье здоровой атмосферы, поддержка спорта и молодежных организаций*», «*создание и возрождение спортивных и досуговых учреждений*», «*усиление миграционного контроля*», «*превентивная деятельность с жителями будущих транспортных узлов республики*», «*контроль за торговыми точками мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые параллельно с овощами-фруктами торгуют «насом»*, «*активизация оперативно-розыскной работы в развлекательных центрах, особенно в ночных дискотеках*», «*постоянный контроль в школах*» и др. Прозвучало даже предложение остановить строительство железной дороги, которая должна принести с собой именно всплеск потребления ПАВ.

Результаты эмпирического исследования, анализ средств массовой информации и данных правоохранительных органов, медицинских учреждений позволяет выделить особенности современной наркоситуации в Якутии.

Криминогенная ситуация в республике характеризуется теми же тенденциями, что и в целом по стране: рост зарегистрированных преступлений, в основном за счет увеличения правонарушений корыстной направленности и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В то же время в Якутии имеется определенная специфика: во-первых, в связи с географической отдаленностью и неразвитостью коммуникаций республика не представляет интереса как транзитный коридор для нелегальных миграций, поставок наркотиков и т. п. Во-вторых, рост «миграционной преступности» в Якутии происходит в основном за счет граждан бывших советских республик – Украина, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, контактирующих с «квазиэтническими» группировками, объединяющими граждан России и постсоветских государств [1: с. 57].

Наркологическая ситуация характеризуется резко нарастающим трендом в динамично развивающихся промышленных районных, где происходит активное строительство крупных промышленных объектов – гидроэлектростанций и нефтегазопроводов (Нерюнгринский и Мирнинский). Так, число нерюнгринцев, употребляющих наркотики с 2006 до 2008 г. увеличилось в 2 раза. В то же время в республике много лет сохраняется дефицит» психиатров-наркологов, имеющих соответствующую квалификацию.

Преступные сообщества используют всё более изощренные способы доставки наркотиков, все виды транспорта, почтовых и грузовых отправлений, а также расширяют и качественно изменяют сеть перевозчиков наркотиков. Происходит постоянное перекрытие каналов поставки наркотиков на территорию и параллельное создание новых.

Происходит «стратификация» наркоманов в социально-профессиональном плане: увеличивается количество потребителей ПАВ среди работников объектов, имеющих социальную значимость или на техногенно-опасных производствах.

Важнейшей латентной проблемой, по мнению экспертов, стало немедицинское использование снотворных веществ (барбитураты и т. п.).

Большинство наркоманов составляют мужчины, однако, наблюдается небольшое увеличение количества женщин.

Основное количество наркоманов относятся к возрастной категории от 20 до 39 лет, между тем, в Нерюнгринском районе поставлены на учёт два подростка (15 и 17 лет), т. е. можно говорить о зафиксированном омоложении наркомании.

Наиболее «рисковая» группа для приобщения к психоактивным веществам – это учащиеся школ, что показывает продемонстрированное ими глубокое знание «легких» и «синтетических» наркотиков, стоимость которых невысока по сравнению с наркотиками элит-класса, а доступ к различным модификациям которых значительно облегчен (производные конопли, насвай, «синтетики»). Школьники, кроме того, отметили наличие большого количества сайтов, где ведется реклама наркомании.

Большинство студентов и школьников не интересуются местами распространения и покупки

наркотиков, ориентируются в основном на сведения из СМИ и Интернета. Студенты имеют представления о наркотиках, их видах и т. п., но при проведении досуга предпочитают употреблять слабоалкогольные напитки в основном пиво.

Самые опасные точки распространения и потребления наркотиков находятся в пределах «пошаговой доступности» от молодежи (двор/дом и образовательные учреждения). По объяснениям опрошенных, взрослые не реагируют на поведение подростков, находящихся в подъездах. Кроме того, для употребления «легких» и «синтетических» наркотиков вполне подходят квартиры, где взрослые находятся на работе и не могут (часто не стремятся) контролировать поведение молодежи. В качестве мест распространения и получения наркотиков респонденты выделили точки «розничной торговли наркотиками» – рынки, торговые павильоны и стройки, т. е. объекты, на которых работают представители территорий традиционного потребления «легких» наркотиков – выходцы с Кавказа и Средней Азии. Кроме того, несколько раз упоминались «знакомые знакомых», что позволяет говорить о сетевых сообществах «барыг» в городе. Требует внимания тот факт, что чаще всего предложения попробовать наркотические вещества поступали студентам ссузов. Не характерен для провинциальных городов вариант распространения наркотиков в ночных развлекательных заведениях (бары, клубы, дискотеки), преподносимый населения СМИ и детективной литературой.

Мотивация употребления наркотических веществ довольно ограниченная: 1) любопытство, отсутствие досуговых и других увлечений; 2) получение удовольствия; 3) принадлежность к определенной компании (группе). Учащиеся чаще всего видят в изменении сознания за счет психоактивных веществ гедонистические мотивы – «кайф-драйв» (по выражению одного из опрошенных). Однако надо отметить интерес к «расширению сознания» с помощью психоактивных веществ, на наш взгляд, спровоцированный среди «продвинутой» молодежи изучением произведений К. Кастанеды, О. Хаксли и их последователей.

Наименьшее число респондентов могут быть отнесены к «равнодушным». Они считают борьбу с наркоманией более-менее эффективной, с наркоманами и их проблемами не сталкиваются и предлагают индивидуальную работу с молодежью из групп риска. «Лояльные» респонденты (в основном, имеющие опыт знакомства с психоактивными веществами), считают профилактику наркомании неэффективной, но переносят всю ответственность с государственных и общественных структур на самого наркомана, который «выбрал свой путь». Однако большая часть опрошенных считают, что бороться с наркоманией необходимо, есть возможности для повышения эффективности противодействия наркомании административно-правовыми способами и психолого-педагогическими методами.

Эксперты-сотрудники правоохранительных органов считают, что в республике для профилактики и противодействия наркомании принимаются в основном меры медицинского и правоохранительного характера. В настоящее время в связи с реализацией программ социально-экономического развития Северо-Востока (компьютеризация школ, распространение сети Интернет в самых отдаленных поселениях, повышение уровня благосостояния населения и т. п.) и активным строительством объектов международного значения, на которых используется труд иностранных рабочих из ближнего и дальнего зарубежья, проблема наркомании в регионе может существенно обостриться среди различных категорий граждан. В связи с чем в «группу риска» попадают мужчины трудоспособного возраста, а также студенты вузов, СПТУ и ссузов, живущие и работающие в промышленных районах.

Обобщая позиции экспертов и респондентов по поводу профилактической работы в сфере противодействия наркотиков, можно сделать вывод, что она ведется посредством акций и компаний. Все отметили невысокий уровень координации работы различных ведомств по профилактике наркомании и отсутствие информации по единой политике в этой области.

На наш взгляд, к приоритетным направлениям профилактики наркомании среди молодежи можно отнести следующие:

– создание единой информационной базы о наркоситуации в республике и её отдельных районах;

– мониторинг уровней и структуры наркомании, проведение социологических и криминологических исследований в образовательной среде;

– контроль со стороны правоохранительных органов за сайтами и форумами Интернет, имеющими наркотическую направленность;

– организация социально-позитивного досуга и создание возможности для отдыха всех категорий молодежи, проживающих и работающих в республике;

– ужесточение контроля за продажей психотропных препаратов и препаратов, используемых как основа для кустарного приготовления наркотиков, а также медицинских препаратов, применяемых для усиления действия алкоголя;

– принудительное тестирование студентов всех образовательных учреждений на употребление наркотиков. Тестирование уже проводится среди

абитуриентов специализированных вузов системы МВД России. В проекте имеется намерение о тестировании на наркозависимость в ряде вузов Москвы, чтобы не допускать наркоманов на работу в опасных профессиях;

– создание системы занятости для подростков и молодежи на возмездной основе с использованием гибких и дистанционных форм.

Предлагаемые меры должны быть основаны на создании комплексной программы с учетом информации о наркоситуации среди молодежи и, в особенности в образовательных учреждениях. Среди перспективных направлений междисциплинарного исследования наркотизма можно выделить: изучение влияния семьи на наркотизацию молодежи; воздействие миграционных потоков на наркоситуацию и механизмы внедрения профилактических мер в образовательную среду.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Анисимова, С.Г.* Девиантность и миграция: опыт социологического анализа адаптации граждан Китая в Якутии / С.Г. Анисимова // Вестник ЯГУ. – 2008. – Т. 4, № 4. – С. 52–59.

2. *Арефьев, А.Л.* Поколение, которое теряет Россия / А.Л. Арефьев // Социс. – 2002. – № 8. – С. 97–105.

3. *Добрынина, Е.* Синица в руках, буревестник в небе. Социологи выяснили, чего всерьез боятся россияне и так ли страшен для них кризис / Е. Добрынина // Российская газета от 22 декабря 2008 г. – № 260п (4817). – С. 10.

4. Доклад министра А. Пахомова о деятельности наркопостов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования на заседании антинаркотической комиссии за 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minnauki.sakha.ru/press4.php?id=13.

5. *Журавлева, Л.А.* Факторы и условия наркотизации молодежи / Л.А. Журавлева // Социс. – 2000. – № 6. – С. 43–48.

6. *Лунеев, В.В.* Терроризм и организованная преступность: национальные и транснациональные аспекты / В.В. Лунеев // Организованная преступность, терроризм и коррупция. Криминологический ежеквартальный альмахан. – 2003. – № 2. – С. 21–39.

7. *Маликова, Н.Н.* Типология отношений студентов к наркомании / Н.Н. Маликова // Социс. – 2000. – № 9. – С. 50–57.

8. Пресс-релиз Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия) от 22.10.2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ykt.ru.

9. С распада СССР число наркоманов в России выросло в 20 раз: интервью с руководителем ФСИН РФ В. Ивановым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.mail.ru/incident/5725799/.

10. *Тимофеев, Л.* Наркобизнес: Начальная теория экономической отрасли / Л. Тимофеев. – М. : РГГУ, 1998.

11. *Чеширский, А.* «Спайс» повержен, дезоморфин – нет / Общественно-политический еженедельник «Наше время» от 13 мая 2011 года №18 [Электронный ресурс] / А. Чеширский. – Режим доступа: http://nvpress.ru/?id=23071018&dates=23/7/2010.

12. *Щербакова, Е.М.* Нарконашествие в России. О чем говорит статистика / Е.М. Щербакова // Социс. 2004. – № 1. – С. 70–77.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЭТНОСОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1950-е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.

А.В. Ахметова
С.В. Бобышев

Ахметова Анна Валинуровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и архивоведения Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Контактный адрес: wyrds@rambler.ru

Бобышев Сергей Васильевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск).

Контактный адрес: history@ festu.khv.ru

В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы здравоохранения коренного населения Дальнего Востока в 1950-е – первой половине 1960-х гг. Мероприятия советского государства были направлены на снижение инфекционной и общей заболеваемости, улучшение санитарно-бытовых условий жизни коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

Ключевые слова: медицина, здравоохранение, коренные малочисленные народы, советское государство, Дальний Восток.

Необходимость поступательного развития системы медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания коренных народов Дальнего Востока являлась актуальной задачей российского правительства на разных исторических этапах. В условиях Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и после ее окончания многие мероприятия в этом направлении были свернуты. Отдаленность территорий с коренным населением, кочевой образ жизни, тяжелые условия труда и проживания содействовали сохранению высокого роста числа хронических заболеваний среди аборигенов. Лишь в начале 1950-х гг. удалось несколько стабилизировать положение и приступить к совершенствованию системы здравоохранения коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

Одним из основных средств улучшения здравоохранения провозглашалось изменение уклада жизни, направленное на консолидацию коренных этносов в укрупненные села. Развиваясь в духе патернализма, сущность государственной политики в сфере здравоохранения заключалась в реализации повседневной заботы о состоянии здоровья коренных малочисленных народов, улучшении условий быта и медицинского обслуживания. Перед государством стояли задачи, связанные со строительством и ремонтом медицинских пунктов на удаленных территориях, оснащением их медицинской техникой и аппаратурой, количественным и качественным ростом персонала, обслуживавшим коренные народы, привлечением в медицинскую практику национальных кадров, борьбой с туберкулезом и гельминтозом, которыми было подвержено население национальных районов. Нередко эти вопросы требовали обдуманных и решительных действий.

С целью улучшения медицинского обслуживания у традиционных этносов Дальнего Востока правительством был принят ряд постановлений. Особое внимание уделялось привлечению к строительству объектов здравоохранения различных министерств и ведомств, которые уже имели собственные объекты на территории Дальневосточных регионов и осуществляли производственную деятельность. Так, в постановлении Совета Министров РСФСР № 1190 от 19 октября 1950 г. «О мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания населения Камчатской области» Министерству геологии поручалось строительство больницы на 10 мест для обслуживания населения отдаленных территорий [14].

Другой важной составляющей являлась шефская помощь над местным аборигенным населением, которую также оказывали хозяйственные субъекты, обладавшие мощной материальной базой. Например, Северное горнопромышленное управление контролировало ход строительства больницы в национальном селе Таскан Среднеканского района, здание которой было возведено без учета природно-климатических особенностей местности и нуждались в реконструкции. Административно-гражданский отдел Дальстроя Магаданской области регулярно перечислял денежные средства на строительство туберкулезных больниц в поселках Ола, Таскан, переоборудование больницы в поселке Наянах. В сельских районах Колымы строительство

осуществляло Управление подсобных хозяйств Дальстроя, Юго-западное и Западное Горнопромышленное управление [4].

Для разрешения проблемы недостатка медицинских кадров требовалось увеличение плана набора выпускников национальных школ из числа коренных малочисленных народов в специализированные учебные заведения. На заседании бюро Хабаровского крайкома для представителей коренных народов было решено создать подготовительные классы по 20 человек при Петропавловской фельдшерско-акушерской школе и Николаевской школе медсестер. Хабаровский медицинский институт должен был принять для обучения 10 человек в счет плана набора студентов. В итоге к 1953 г. было выпущено только 6 специалистов со среднеспециальным медицинским образованием из числа коренных народов и ни одного врача [10].

Общее руководство, контроль за ведением лечения, охраной здоровья коренных малочисленных народов, ростом числа врачей и среднего медицинского персонала осуществляли Министерство здравоохранения и его региональные органы. Они контролировали соблюдение санитарно-гигиенических норм в проектировании, строительстве или реконструкции всех общественных сооружений. Типовые нормы на проектирование больниц, аптек, яслей, бань и санаториев, разработанные в Москве, предусматривали применение каменного строительства с центральным отоплением и водопроводом. В перспективе подобное благоустройство сооружений должно было облегчить техническое обслуживание и эксплуатацию объектов здравоохранения.

Однако в условиях недостатка строительных материалов, краевое управление здравоохранения, распределявшее плановые задания по строительству, допускало широкое применение древесины, которая являлась самым доступным материалом. Для строительства многие колхозы своими силами осуществляли сплав леса и подвоз его на лошадях за 10–20 км. Наиболее успешно возведение благоустроенных зданий проходило в районах бассейна р. Амур. К середине 1950-х гг. в каждом национальном селе были созданы фельдшерско-акушерские пункты [10].

В отдаленных районах Хабаровского края сложилась иная ситуация. Из-за отсутствия местных материалов и специалистов, а также большого расстояния до центра было крайне затруднительным сооружение зданий в отведенные сроки. Например, в Корякский округ было завезено 110 т стройматериалов вместо 250 т, 6 720 кг кровельного железа вместо 30 000 кг, 20 т гвоздей вместо 35 т [12]. Не только проблемы, связанные с поставками материалов, затрудняли строительство. Типовые проекты зданий, разрабатываемые для национальных районов Дальнего Востока, доставлялись в северные районы с большим опозданием. Это приводило к тому, что многие строительные организации либо не приступали к работе в запланированные сроки, либо возводили сооружения с грубыми техническими ошибками. Так, в 1950 г. Совет Министров СССР обязал Министерство рыбной промышленности РСФСР построить в северных районах три больницы на 10 коек, две больницы на 15 коек и 4 больницы на 25 коек, однако, к 1954 г. только по трем объектам были начаты строительные работы [14].

В 1950-е гг. Министерство здравоохранения РСФСР регулярно проводило медицинские экспедиции, в результате которых было обследовано 12 поселков. Они засвидетельствовали ряд негативных тенденций, связанных с дальнейшим ростом заболеваемости туберкулезом, низким уровнем просветительской работы, недостатком контроля за торгово-коммунальными и детскими учреждениями [5]. В целях профилактики роста заболеваемости туберкулезом среди коренного населения 20 ноября 1951 г. был издан приказ Управления строительства Дальнего севера МВД «Об улучшении противотуберкулезной работы и общего медико-санитарного обслуживания населения Ольского, Северо-Эвенского и Среднеканского районов Хабаровского края» [4].

В постановлении Совета Министров РСФСР № 62 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания населения Чукотского национального округа» от 22 января 1953 г. предусматривались мероприятия, направленные на создание стационарной сети медико-санитарных сооружений. Медицинские экспедиции, работавшие в Чукотском округе, одной из основных проблем, провоцировавших количественное развитие заболеваний, считали санитарно-гигиеническое состояние национальных поселков. Грязь, отбросы, нечистоты в надворных постройках, подсобных помещениях и колхозных строениях были частым явлением [15].

Нехватка среднего медицинского персонала и врачей оставалась характерным явлением во всех национальных районах Хабаровского края. Тяжелые условия жизни приводили к перераспределению медицинского персонала по районам страны по истечении срока контракта. В связи с этим, каждые три года менялись врачи в участковых больницах, и краевые органы здравоохранения вынуждены были направлять в отдаленные районы новых специалистов [6].

С целью улучшения положения с медицинским персоналом в 1955 г. на Чукотку было отправлено 30 врачей, 30 фельдшеров, 20 медицинских сестер. Однако отсутствие кадров не позволяло направлять в национальные районы специалистов необходимой квалификации. Например, на Камчатку планировалось отправить 16 прошедших стажировку врачей по специализации (фтизиатры, венерологи, акушеры, окулисты), но на полуостров прибыли 10 молодых специалистов без опыта работы и специализации [14].

Характерной чертой здравоохранения в северных районах оставалось невыполнение многих законодательных положений. Так, в постановлении «О мерах по улучшению культурно-бытовых условий населения Корякского национального округа Хабаровского края» в течение 1954–1955 гг. Министерству здравоохранения РСФСР было поручено изготовить проекты сборных зданий на 7 больниц (10 коек) и 5 детских яслей (44 места), соответственно строительство объектов возлагалось на Хабаровский крайисполком. Однако Министерство здравоохранения переадресовало работу над проектами в Ленгипроздрав, который не был заинтересован в ускоренном выполнении заказа. Отсутствие готовой сметы привело к тому, что Совет Министров РСФСР в плане капиталовложений на 1954 г. не утвердил запланированные объекты и не выделил финансы на их строительство.

Официально с 1954 г. для народностей Чукотского национального округа, Северо-Эвенского, Среднеканского и Ольского районов планировалось проводить бесплатную выдачу медикаментов по рецептам врачей, но в связи с их нехваткой, отсутствием аптек и медицинских учреждений в национальных районах решение проблемы не было реализовано в полной мере [11].

Для более действенной помощи малочисленным этносам в центральных усадьбах национальных колхозов и совхозов требовалась организация стационарных медицинских пунктов. Однако в отдаленных, малочисленных и маломощных национальных селах открытие социальных учреждений оказалось нерентабельным. Это являлось одним из последствий переселенческой политики, предусматривавшей объединение колхозов и слияние сел (*о чем было отмечено выше – от авт.*). Политика переселения и укрупнения национальных колхозов оказала неоднозначное влияние на развитие коренных народностей. Позитивными результатами стали усиленное строительство новых современных зданий и совершенствование культурно-массовой сферы. С другой стороны, дома сооружались без учета национально-территориального менталитета местных жителей, что делало их неудобными для проживания. Нередко оленеводы, кочующие со стадами оленей, только числились перешедшими на оседлость. По возвращении в село, они ставили яранги во дворах, где и проводили большую часть дня.

Главной целью переноса сел в более благоприятные условия являлось улучшение медицинского обслуживания коренного населения и изменение эпидемиологической ситуации. Например, колхоз «Светлая жизнь» Среднеканского района из поселка Нелемное, в котором не было в достатке питьевой воды, был перемещен в Амук-Аронгестах Якутии. Тем не менее на практике запланированные результаты оборачивались новыми проблемами. В частности, медико-санитарное состояние в переселенных селах Северо-Эвенского района в период 1951–1955 гг. существенно ухудшилось. Переселение из села Таватум в село Меренгу и из села Камешков в село Гижигу-Кушку и переход на оседлость привели к значительному росту заболеваемости туберкулезом. В корякском поселке «Парень» вспышка заболевания корью привела к гибели 10 % населения. Это произошло в связи с увеличением частоты и продолжительности контактов больных и здоровых. В застраиваемых поселках не существовало непрерывной профилактики и лечения данного заболевания. Эпидемии гриппа, проходившие в 1941, 1947, 1955 гг., привели к массовой гибели больных туберкулезом и уменьшили сопротивляемость организма у здорового населения [3].

В январе 1956 г. на заседании бюро Хабаровского крайкома КПСС рассматривался вопрос «О мероприятиях по улучшению быта, культуры и воспитательной работы среди населения национальных сел района». Во многих национальных колхозах санитарно-гигиеническое обслуживание населения продолжало находиться в неудовлетворительном состоянии. В Нанайском районе колхозы «Нанайский партизан», «Рыбак Севера» им. XVII партсъезда, «Красная заря», «Третий Интернационал» не имели бань, что провоцировало рост числа заболеваний. Краевой отдел здравоохранения был вынужден начать комплексное медицинское обследование национальных сел и поднял вопрос о строительство социально-бытовых объектов перед партийно-советскими и хозяйственными органами.

В середине 1950-х гг. были подведены общие итоги послевоенного восстановительного периода, отмечены положительные черты и недостатки культурного строительства, определены долгосрочные перспективы национальной политики государства. 16 марта 1957 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера», в котором одним из основополагающих показателей качественного социально-культурного роста у малочисленных народов признавался переход их к оседлости. Благодаря изменению образа жизни, появлению благоустроенных поселков, облегчалась культурно-массовая и лечебная работа среди коренных этносов Дальнего Востока. Приоритетное внимание уделялось анализу деятельности Министерства здравоохранения РСФСР, имеющих непосредственное отношение к уровню и образу жизни малочисленных народов, их здоровью.

В июле 1957 г. Совет Министров РСФСР принял постановление № 501 « О дополнительных мероприятиях по развитию экономики и культуры народностей Севера». В нем указывалось, что национальные районы Хабаровского края нуждаются в постоянно действующих мобильных медицин-

ских отрядах и станциях санитарной авиации. Для реализации директивы правительства исполкомы национальных районов увеличили нормы расходов для приобретения медикаментов и перевязочных материалов на 25 %, нормы питания больных в городских и сельских больницах, а также детей в детских учреждениях на 30 %. Хабаровский краевой комитет здравоохранения начал открывать стационары (на три койки) при фельдшерско-акушерских пунктах в национальных селах Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Тахтинского, Ульчского, Нанайского, Комсомольского, Верхне-Буреинского районов [7].

Особое внимание краевые органы здравоохранения уделяли борьбе с распространением туберкулеза. В постановлении Хабаровского крайисполкома № 263 «О мерах по снижению заболеваемости населения северных народностей края» от 20 июня 1957 г. были определены меры по борьбе с туберкулезом [13]. В национальных селах при фельдшерских пунктах организовывались стационары на 2–3 койки. При поступлении детей в учебные заведения проводилось их обследование с целью недопущения контактов между здоровыми и больными воспитанниками. Для детей больных туберкулезом, создавались специализированные школы-интернаты, в которых осуществлялось регулярное лечение. Вместе с тем, осуществляя указанные мероприятия, местные власти порой нарушали родительские права. Так, в колхозе «Коммунист» Чукотского округа из семей Энеткау и Ранотургыне дети, больные туберкулезом, были отправлены в санаторий без согласия родителей [8]. Подобные жесткие меры были исключительным событием и вызывали резкое неодобрение, тем не менее, обследование и изоляция при лечении туберкулезных больных способствовали снижению уровня заболеваемости среди детей. В 1961 г. были проведены прививки всему аборигенному населению.

Начиная с 1958 г., в национальных районах сеть лечебно-профилактических учреждений стала расширяться. Если на 1 января 1958 г. функционировало 2570 больничных коек и 234 фельдшерско-акушерских пунктов, то на 1 октября 1964 г. больничных коек было 3240, фельдшерско-акушерских пунктов – 246. Рост числа коек составил 36,5 % [16]. В Чукотском национальном округе за период 1960–1965 гг. количество больничных коек увеличилось на 395 коек (710 до 1105 ед.) [1; 2].

В строительство учреждений здравоохранения в 1957–1964 гг. было вложено 2570 тыс. руб., а на капитальный ремонт израсходовано 1257 тыс. руб. [16]. За этот период были построены и введены в эксплуатацию терапевтический корпус и две больницы в г. Советская Гавань в 1959 г. на 200 коек, в 1962 г. – противотуберкулезный диспансер на 35 коек. В 1961–1962 гг. в селе Богородском Ульчского района открылось туберкулезное отделение на 25 коек и больница «Анненские воды» на 100 коек. В г. Николаевске-на-Амуре были построены инфекционная больница на 100 коек (1963), Дом ребенка на 40 мест (1959), поликлиника на 250 посещений (1963). В Николаевском районе больница в пос. Маго на 50 коек (1960). В Охотском районе были введены в эксплуатацию участковые больницы в селах Новое Устье и Улья на 40 коек (1960), противотуберкулезный диспансер на 35 коек (1963), в Тугуро-Чумиканском районе – больница в п. Чумикан на 35 коек (1959), в Нанайском районе – туберкулезное отделение на 30 коек (1961) [16]. В Чукотском национальном округе за период 1960–1965 гг. количество больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий увеличилось с 155 до 188. В Корякском национальном округе за тот же период было построено 17 больниц и 35 детских садов и яслей [2, 3].

В Хабаровском крае активизировалось строительство детских яслей в селах Арка Охотского района, Кальма, Кольчем Ульчского района, Астрахановка в пригородной зоне г. Николаевска-на-Амуре и др. Были открыты два фельдшерско-акушерских пункта в национальных селах Уська-Орочи пригородной зоны г. Советская Гавань и Владимировка района им. Полины Осипенко [16].

Проводилась реконструкция помещений, которые изначально предназначались для административных и других нужд. Так, в г. Николаевске-на-Амуре административное здание было переоборудовано под детскую соматическую больницу на 100 коек, три здания под родильный дом, туберкулезную больницу, кожно-венерологический диспансер. В Охотском районе жилой дом, введенный в эксплуатацию, был передан для организации поликлиники, здание рыбозавода – под туберкулезное отделение в п. Иня, в Нанайском районе в с. Троицкое здание райисполкома – для расширения районной больницы [16].

В течение 1958–1963 гг. был проведен капитальный ремонт имеющихся больниц, а за счет сверхплановых капитальных вложений были расширены районные больницы в с. Богородское Ульчского района, в п. Охотск Охотского района, в с. Троицкое Нанайского района, в с. Тахта бывшего Тахтинского района, с. Воскресеновка Комсомольского района. Капитальной реконструкции и переоборудованию с увеличением пропускной способности подверглись поликлиника в с. Троицкое Нанайского района, в с. Ново-Куровка бывшего Кур-Урмийского района, в с. Уська-Орочи пригородной зоны г. Советская Гавань. Проводились работы по переводу больниц с печного на центральное отопление. Так, на 1 января 1960 г. в национальных районах Хабаровского края было 48 больниц с печным отоплением. За 1960–1963 гг. было переведено на центральное отопление 25 больниц, в трех больницах сел Али, Богородское, П. Осипенко велись

необходимые работы, а в 20 больницах имелось еще печное отопление [16].

В результате строительства новых помещений для больниц, приспособления зданий, отводимых исполкомами, а также проведенного капитального ремонта, ряд лечебных учреждений перешел в новые помещения, что позволило повысить обеспеченность койками, улучшить качество медицинской помощи. Обеспеченность больничными койками в этих населенных пунктах, как в городской, так и в сельской местности в начале 1960-х гг. была выше существующих нормативов. Так, в городской местности количество больничных коек на 1000 чел. населения составляло в г. Николаевске-на-Амуре – 20,7; в г. Советская Гавань – 11; в Верхне-Буреинском районе – 25; в Хабаровском районе – 20. Соответственно в сельской местности количество коек было в пригородной зоне г. Николаевска-на-Амуре – 7,8; в пригородной зоне г. Совгавань – 8,3; в Верхне-Буреинском районе – 9; Охотском районе – 9; Тугуро-Чумиканском районе – 20; Аяно-Майском районе – 16; им. Полины Осипенко – 12; Ульчском районе – 16 и Комсомольском районе – 14 [16].

Ежегодно увеличивалось финансирование системы здравоохранения. Так, на Чукотке в 1959 г. на эти цели было израсходовано 5111 тыс. руб. К 1965 г. Чукотский национальный округ был полностью обеспечен медицинским обслуживанием. Здесь насчитывалось 49 больниц, 68 фельдшерских и 10 врачебных пунктов. На здравоохранение в 1965 г. было израсходовано 8 млн. руб. Если в 1963 г. в среднем на каждые 10 тыс. жителей страны приходилась 81 больничная койка, то на Чукотке – 153 койки. На одного врача в СССР, включая средний медицинский персонал, – 250 чел., на Чукотке – 65 [19]. В середине 1960-х гг. в Чукотском национальном округе один врач обслуживал 204 чел. из числа коренного населения, а один медработник со средним медицинским образованием – от 50 до 65 чел. В Корякском округе (Алеутский район) на здравоохранение в 1963 г. было выделено 75 тыс. руб. [17].

Несмотря на высокую обеспеченность населения больничными койками, коечная сеть оставалась недостаточной ввиду большой территориальной разбросанности населенных пунктов внутри районов и бедственного состояния путей сообщения. По этой же причине в этих районах вынужденно открывались мелкие участковые больницы. Необходимо отметить, что в Хабаровском крае постановление Совета Министров РСФСР № 264 от 1960 г. в части строительства противотуберкулезных и детских учреждений полностью выполнено не было [16].

В начале 1960-х гг. лечебные учреждения значительно пополнились медицинским оборудованием. Все районы и участковые больницы от 25 коек и выше были оснащены рентгеновским и физиотерапевтическим оборудованием, клиническими лабораториями. Лечебные учреждения в районах Севера имели 76 рентгеновских аппарата, 55 клинико-диагностических лабораторий, 42 физиотерапевтических кабинета, бактериологические лаборатории в участковых больницах в селах Санники, Новокуровка, Нижние Пронги, поселке Маго [16].

Большие трудности имелись в обеспечении лечебно-профилактических учреждений районов, где проживало аборигенное население, санитарным автотранспортом. На 1 октября 1964 г. было только 98 автомашин различных марок, хотя по установленным нормативам и приказу МЗ СССР № 329 от 28 июля 1960 г. должно было быть свыше 160 машин. Совершенно отсутствовал автотранспорт с высокой проходимостью. В основном автомобили были сосредоточены в районных центрах и отдельных участковых больницах. В Хабаровском крае северные районы и приравненные к ним располагались на водных магистралях, поэтому в период с мая по октябрь связь осуществлялась только водным путем, а в учреждениях здравоохранения водный транспорт вообще отсутствовал, что затрудняло транспортировку больных с острыми заболеваниями и проведением консультативной помощи [16].

В связи с этим, было крайне необходимо выделить национальным районам достаточное количество единиц водного транспорта и автомашин с большой проходимостью. Помимо этого, наличие ряда отдаленных районов, связь с которыми зачастую зависела от сезона года, нуждалось в самолетах или вертолетах. Так, в Приморском крае в осенне-весенний период, а часто и летом, особенно во время дождей, экстренная медицинская помощь оказывалась жителям отдаленных пунктов (с. Красный Яр, с. Олон) только посредством вызова самолета или вертолета [9].

На территории районов с коренным населением имелись две станции и одно отделение санитарной авиации, которые находились в гг. Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и Верхне-Буреинском районе. Из-за большого радиуса обслуживания, производимого станцией санитарной авиации г. Николаевска-на-Амуре, крайздравотдел с 1963 г. предусматривал необходимые ассигнования на нужды санавиации жителям Аяно-Майского и Охотского районов. Врачам Чукотки также большую помощь оказывала санитарная авиация, созданная в 1960 г. Бесплатно обслуживая население, санитарная авиация только в 1963–1965 гг. перевезла 18 199 больных и медработников и 302,5 т медицинских грузов [18: с. 370]. Совместно с авиаторами работники здравоохранения проводили большую профилактическую работу среди населения. Самолеты и вертолеты периодически оборудовались, как лаборатории. В них проводилось медицинское обследование пастухов-оленеводов и жителей отдаленных поселков.

В середине 1960-х гг. в районах проживания аборигенов, работал 451 врач и около 2 тыс. средних медицинских работников. Показатель обеспеченности врачами составлял на 1000 чел. населения – 34,5. Все районные больницы были укомплектованы шестью основными специалистами, за исключением Аяно-Майского района, где не хватало санитарного врача, обязанности исполнял младший медицинский персонал.

Из общего числа работающего медицинского персонала 95 человек являлось представителями коренного населения, в том числе нанайцев – 37, ульчей – 26 и т. д. (из них 10 врачей). Кроме того, в начале 1960-х гг. из народностей Севера в Хабаровском мединституте обучение проходили 65 чел., в Николаевском-на-Амуре училище – 30 чел. Медицинских работников из числа народов Севера также готовили медицинские училища и фельдшерско-акушерские школы Магадана, медицинские институты Ленинграда и Москвы. К середине 1960-х гг. в Чукотском национальном округе 4 врача и 79 чел. среднего персонала были представителями коренного населения [16]. С целью увеличения числа медицинских работников из народностей Севера были открыты подготовительные отделения в Хабаровском мединституте и Николаевском-на-Амуре медицинском училище с полным содержанием учащихся на государственном обеспечении. Для того чтобы население северных районов получало зубоврачебную и зубопротезную помощь, при Хабаровском и Комсомольском училище были открыты зубоврачебные отделения и отделения зубных техников-протезистов.

За период 1960–1963 гг. в национальные районы Хабаровского края было направлено 164 врача и 253 медработника со средним медицинским образованием. В Чукотском национальном округе с 1960 по 1965 гг. количество врачей увеличилось с 204 до 315, количество среднего медицинского персонала – с 457 до 848 [1; 2]. Уделялось большое внимание повышению квалификации медработников, работавших в районах Севера. За 1960–1963 гг. прошли специализацию и усовершенствование на местных и центральных базах 166 врачей и более 100 средних медицинских работников. Вместе с тем в районах отмечалась текучесть медицинских кадров, которая объяснялась окончанием срока работы по договору, семейными обстоятельствами, а в ряде случаев неудовлетворительными бытовыми условиями.

Таким образом, мероприятия советского государства в сфере здравоохранения в 1950-е – середине 1960-х гг. были направлены на снижение инфекционной и общей заболеваемости коренных малочисленных народов Дальнего Востока, улучшение санитарно-бытовых условий жизни. К 1960 г. деятельностью центральных и местных органов власти было преодолено вымирание традиционных этносов, и их численность стала расти. В этот период значительно улучшились условия жизни аборигенов, были решены многие проблемы сферы здравоохранения национальных территорий, такие как строительство и ремонт медицинских пунктов на удаленных территориях, оснащение их медицинской техникой и аппаратурой, количественный и качественный рост персонала, обслуживающего коренное население, привлечение к данной работе национальных кадров, санитарно-просветительская работа и т. д. Несмотря на то, что в национальных округах и районах Севера проводилась большая работа по специализации и усовершенствованию деятельности медицинских работников, ощущался дефицит как врачей, так и среднего медперсонала. Высокой оставалась и текучестью кадров. Из-за отдаленности многих населенных пунктов от центра важнейшие лекарственные препараты вовремя не довозились. Вопрос о медицинском обслуживании коренных малочисленных народов Дальнего Востока стоял еще очень остро.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Государственный архив Магаданской области (ГАМО). – Ф. 22. – Оп. 12. – Д. 4. – Л. 57.
2. ГАМО. – Ф. 22. – Оп. 15. – Д. 21. – Л. 185.
3. ГАМО. – Ф. Р-38. – Оп. 1. – Д. 45. – Л. 1, 2.
4. ГАМО. – Ф. Р-38. – Оп. 1. – Д. 54. – Л. 71, 157.
5. ГАМО. – Ф. Р-38. – Оп. 1. – Д. 56. – Л. 131.
6. ГАМО. – Ф. Р-119. – Оп. 1. – Д. 45. – Л. 1.
7. ГАМО. – Ф. Р-119. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 61.
8. ГАМО. – Ф. Р-146. – Оп. 1. – Д. 288. – Л. 119.
9. Государственный архив Приморского края (ГАПК). – Ф. 877. – Оп. 3. – Д. 110. – Л. 92.
10. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). – Ф. 35. – Оп. 43. – Д. 60. – Л. 7, 71.
11. ГАХК. – Ф. 119. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 5.
12. ГАХК. – Ф. 137. – Оп. 14. – Д. 85. – Л. 10.
13. ГАХК. – Ф. 137. – Оп. 14. – Д. 652. – Л. 4 – 5.
14. ГАХК. – Ф. 353. – Оп. 6. – Д. 200. – Л. 14, 16.
15. ГАХК. – Ф. Р-683. – Оп. 2. – Д. 338. – Л. 52.
16. ГАХК. – Ф. Р-683. – Оп. 2. – Д. 1032. – Л. 55–59, 61, 65.
17. Из доклада председателя Алеутского райисполкома С.И. Сушкова на районном партийном собрании о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» от 22 февраля 1963 г. // Летопись жизни народов Северо-Востока РСФСР. – Петропавловск-Камчатский: Дальневосточное книжное издательство. Камчатское отделение, 1986. – С. 157.
18. Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней / под ред. Н.Н. Дикова. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1974.
19. Советская Чукотка. – 1966. – 18 января.

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

А.А. Бирюков

Бирюков Александр Александрович – аспирант кафедры философии и социально-политических дисциплин Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре).

Контактный адрес: abir-nabir08@yandex.ru

В статье рассматриваются последствия включения России в систему мирового капиталистического разделения труда для ее дальневосточных территорий: деиндустриализация, падение численности населения, ухудшение демографических показателей, деградация техносферы, рост преступности.

Ключевые слова: дальневосточные территории России, периферийный капитализм, сырьевая модель экономики, деиндустриализация, криминализация.

Проблемы современного российского Дальнего Востока сегодня активно обсуждаются как в высших политических кругах, так и в научном сообществе. Признавая наличие негативных явлений в развитии данного региона, исследователи часто ссылаются на неразвитость рыночных механизмов, отсутствие эффективных управленцев, удаленность региона от центра страны [4]. Действуя сообща, эти факторы препятствуют выходу дальневосточных территорий на траекторию стабильного, поступательного развития. Заслуживает внимания и точка зрения авторов, рассматривающих ситуацию на российском Дальнем Востоке в связи с глобальными геополитическими рисками и вызовами современности [13]. Между тем проблемы дальневосточных территорий не могут быть осмыслены без учета изменения положения России в структуре мировой капиталистической системы. Рассмотрев процесс становления периферийного капитализма в России, мы попытаемся определить его последствия для дальневосточных территорий.

Процесс активной интеграции России в структуры современной капиталистической системы начался сразу же после распада Советского Союза. На языке обуржуазившейся советской номенклатуры данный процесс был обозначен как «прорыв железного занавеса» и «присоединение к цивилизованному миру». После десятилетий «тоталитарного ужаса» Россия вернулась в «общеевропейский дом», в котором ее, по мысли новой элиты, должны были встречать хлебом-солью.

Однако реальность оказалась намного сложнее. Никто и не думал предоставлять ей членство в закрытом клубе сильных мира сего. Напротив, Западу была нужна слабая, покорная Россия, не способная играть на мировой арене ту же роль, что и Советский Союз. Глупо было бы думать, что целью борьбы США и их союзников против СССР было превращение России в процветающее демократическое государство с мощной экономикой, способной на равных конкурировать с Западом.

Все вакансии в центре капиталистической системы давно уже заняты, поэтому интеграция СССР в мировую капиталистическую экономику не могла произойти иначе, как на правах периферийного региона. Не составляет секрета тот факт, что «…в мировой капиталистической системе существует жесткая иерархия труда, на вершине которой находятся могущественные агенты системы, блокирующие различными дискриминационными мерами доступ на рынки передовых технологий с высокой нормой прибыли… Поэтому СССР мог выйти на мировой рынок только в качестве периферийного контрагента, предложив свои энергоносители и другие природные ресурсы» [6: с. 194].

Руководству страны не составило бы особого труда спрогнозировать последствия вхождения Советского Союза в мировую капиталистическую систему на правах периферийного анклава. Для этого достаточно было проанализировать опыт ряда стран «третьего мира», переживших в 1980-е гг. процесс реинтеграции в структуры глобального капитализма. После непродолжительного периода прогресса, вызванного деколонизацией и общим ростом мировой экономики, эти страны столкнулись с нехваткой средств для дальнейшей модернизации. В подобных условиях они оказались перед выбором стратегии своего развития: либо самостоятельно двигаться вперед в условиях почти полной изоляции, либо войти в структуры мировой капиталистической системы на условиях, навязываемых центром. Важнейшим среди этих условий было согласие на проведение так называемых «программ структурных перестроек». Разрабатываемые представителями Всемирного банка и Международного валютного фонда, эти программы

включали в себя требования обеспечить свободу передвижения капитала, провести тотальную приватизацию, установить высокие процентные ставки по кредитам, сократить до минимума или ликвидировать все социальные программы, сократить зарплаты трудящихся и ограничить их права, устранить контроль над импортом и т. д. [1; 3; 7; 8: с. 114; 12]. Целью внедрения подобных программ реструктуризации было налаживание механизмов, обеспечивающих четкую и своевременную выплату странами-должниками внешних займов, а также создание условий, облегчающих эксплуатацию местных природных и социальных ресурсов [2: с. 126–127].

Большинство политических лидеров развивающихся стран выбрали для своих стран второй путь. Проведенные в результате этого выбора неолиберальные структурные преобразования и экономические реформы повсеместно включали в себя тотальную приватизацию и безжалостное сокращение госсектора, что привело к исчезновению городского среднего класса, появлению массовой бедности, катастрофическому социальному расслоению, росту преступности, самоустранению государства из всех сфер общественной жизни.

Никаких выводов из опыта стран «третьего мира» по переходу к «свободному рынку» правящей элитой Советского Союза, а впоследствии и Российской Федерации, сделано не было. Некритически воспринятые положения либеральной доктрины считались универсальным средством для решения любой социально-экономической проблемы. Поэтому после распада СССР российское руководство взяло курс на проведение комплекса неолиберальных реформ (более известных как «шоковая терапия»), т. е. массовую приватизацию, демонтаж системы социальных гарантий и либерализацию цен. Результаты этого, выражаясь словами Карла-Хайнца Рота, «…несозидательного разрушения» таковы: «…драматическое падение уровня жизни огромной части населения, резкая общественная поляризация с массовой безработицей, быстро попадающими в состояние негарантированных трудовых отношений рабочими и обнищавшими крестьянами, с одной стороны, и отвратительным новым классом спекулирующих капиталистов, с другой» [11].

Последствия реформ по неолиберальным рецептам не заставили себя долго ждать. Распад хозяйственных связей, существовавших в рамках бывшего СССР, отсутствие инвестиций в долгосрочные программы развития и резкое снижение покупательной способности населения привели в 1990-х гг. к коллапсу внутреннего рынка и деиндустриализации. В сложившейся ситуации Россия перешла к периферийной модели развития, предполагавшей зависимый способ интеграции в мировое хозяйство [9: с. 3–4]. Главной составляющей этой модели стала экспортно-ориентированная экономика, основанная на продаже сырьевых ресурсов за границу. Хотя Советский Союз еще в 1970–1980-е гг. (после так называемого «нефтяного шока») занимался экспортом нефти, для него это было лишь дополнительным источником средств из-за рубежа. Для новой России же экспорт сырья стал основой всей экономики, следовательно, теперь все развитие страны было поставлено в зависимость от колебаний цен на энергоносители на мировых рынках. Социальная структура российского общества в 1990-е гг. также стала эволюционировать по направлению к модели, характерной для стран периферийного капитализма. В таких странах средний класс малочислен, основная масса трудящихся пребывает в нише бедности, количество социальных «маргиналов» велико и постоянно растет, а слой «передовой элиты», интегрирующейся в транснациональный правящий класс, чрезвычайно узок [9: с. 3–4].

Переход к периферийной модели развития с экспортно-ориентированной сырьевой экономикой означал для России изменение стратегического курса движения страны, смену исторического вектора ее развития. Из страны с единым хозяйственным фундаментом, ориентированной на внутренний рынок экономикой, развитым военно-промышленным комплексом и наукоемким производством, Россия путем «позитивных рыночных преобразований» была превращена в сырьевой придаток ведущих экономик мира, лишенный собственной индустрии.

Изменение общего стратегического курса развития страны не могло не отразиться и на региональном уровне. В этом отношении показателен пример дальневосточных территорий России. Для Советского Союза освоение районов крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока было стратегической задачей, от решения которой зависела геополитическая безопасность страны. Конечно, полноценное хозяйственное освоение указанных регионов требовало очень больших усилий и немалых средств. Например, суммарные затраты на производство единицы продукции здесь в четыре раза превышали аналогичные показатели в европейской части страны [6: с. 183]. Лишь государственные субсидии и льготные транспортные тарифы позволяли стимулировать развитие производства на дальневосточных территориях.

Кроме того, советская власть проводила активную социальную политику, направленную на привлечение и удержание населения на Дальнем Востоке. Льготы, оплачиваемые из госбюджета, преимущество в доходах (до 1989 г. Дальний Восток был одним из лидирующих регионов России по данному показателю) привлекали сюда людей со

всего Советского Союза [4: с. 135]. Численность населения Дальнего Востока плавно росла все послевоенные десятилетия, достигнув своего пика к 1990 г. − 8,06 млн. чел. Рост численности населения происходил в основном за счет увеличения числа жителей городов, что говорило о высоком уровне развития промышленного производства. Если в 1958 г. в городах проживало 3,026 млн. человек, то в 1988 г. − уже 5,2 млн. человек [5: с. 209]. Стоит добавить, что многие из этих городов − Амурск, Арсеньев, Зея, Находка − были построены, что называется, с нуля, в местах создания промышленных объектов и транспортных узлов.

Таким образом, Дальний Восток являлся органической частью страны. В отношении дальневосточных территорий СССР руководствовался, прежде всего, соображениями геополитической безопасности, а не экономической эффективности [10: с. 246]. Экономически Дальний Восток никогда не был и не мог быть самостоятельным и самоокупаемым. И в царские времена, и в годы советской власти он был дотационным регионом. Однако уникальные природные ресурсы Дальнего Востока, пусть и добываемые в тяжелейших природных условиях, шли на пользу всему народнохозяйственному комплексу Советского Союза. Такой «кооперативный эффект» обусловлен спецификой плановой организации экономической деятельности, для которой «…убыточность отдельного предприятия не может служить критерием. В единой системе разделения труда если один субъект деятельности несет убытки, то только потому, что получает прибыль другой хозяйственный субъект. Но часть получаемой последним прибыли в социалистической системе, так или иначе, перераспределяется в пользу проигрывающих от такого разделения труда» [6: с. 182]. Именно благодаря этим особенностям плановой экономики и осваивались «убыточные» территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Интеграция России в мировую капиталистическую систему нанесла по дальневосточным территориям сокрушительный удар. Передел собственности, распад единого народнохозяйственного комплекса, отказ от системы государственных субсидий, рост тарифов на транспорт, отсутствие госзаказа − вот лишь немногие из последствий рыночных преобразований, оказавшихся губительными для развития Дальнего Востока. За годы реформ объем промышленного производства уменьшился в 2,4 раза, а численность занятых на 64,2 % [4: с. 68]. Скачкообразный рост цен на железнодорожные тарифы и топливо резко снизил конкурентоспособность дальневосточных производителей на местных рынках (не говоря об общероссийском и зарубежном рынках). Практически всё, что ранее выпускалось на Дальнем Востоке, выгоднее стало вести из других регионов страны или из-за границы. Сильнее всего в этом отношении пострадала легкая промышленность, не выдержавшая натиска дешевого китайского ширпотреба (объем производства в ней снизился в 22 раза) [4: с. 68]. Многие предприятия, оказавшиеся неконкурентоспособными в новых условиях, просто-напросто закрывались. Оставшиеся же «на плаву» влачили жалкое существование, перебиваясь случайными заказами или сражаясь за получение госзаказа.

Не следует забывать, что развал хозяйственной инфраструктуры Дальнего Востока имел негативные последствия не только для экономической жизни, но и для социальной сферы региона [4: с. 89]. Многие дальневосточные города были замкнуты на одно-два главных градообразующих предприятия, дававших работникам и их семьям определенные социальные гарантии: работу, стабильную зарплату, возможности для проведения досуга и т. д. Поэтому закрытие данных предприятий не только влекло за собой экономические трудности, но и подрывало все основы стабильного социального воспроизводства.

Негативные социальные последствия реформ наиболее отчетливо проявляются при рассмотрении демографической ситуации в дальневосточном регионе. Число жителей Дальнего Востока неуклонно снижалось все пореформенные годы, составив к 2010 г. – 6,28 млн. человек. Ухудшение демографических показателей идет по всем параметрам: увеличивается смертность, падает рождаемость, сокращается средняя продолжительность жизни, растет отток населения в другие регионы страны [4: с. 130–140]. Что касается такого традиционного для Дальнего Востока фактора роста демографического потенциала, как приток внутренних мигрантов, то в 1990-е годы, с исчезновением льгот, социальных гарантий и преимуществ в доходах, регион потерял свою привлекательность для потенциальных переселенцев.

Говоря о социальных последствиях вхождения России в мировую капиталистическую систему, необходимо упомянуть и о резком обострении криминальной обстановки в стране. Речь идет не столько о росте числа «…бытовых» преступлений или преступлений, связанных с падением уровня жизни людей, сколько о развитии организованной преступности и криминализации целых отраслей российской экономики. Дальний Восток в этом отношении не отставал от остальной страны (скорее, напротив, был на голову выше). Удаленность региона от центра лишь способствовала формированию криминальных империй, паразитировавших на хозяйстве и торговле региона. Наибольшей криминализации подверглись рыбная и лесная промышленность Дальнего Востока, кроме того, «в тень»

ушли ряд направлений внешней торговли (например, экспорт подержанных автомобилей из Японии). Не стоит рассматривать данную ситуацию как некое специфическое событие, произошедшее лишь в России. Напротив, это закономерность, свойственная «развитию» любой периферийной страны, переживающей процессы перераспределения власти и собственности.

Кроме того, последствия распада Советского Союза затронули не только социально-экономическую сферу региона, но и духовные основы жизни дальневосточников. В советские годы люди были сопричастны процессам, происходящим в стране. У жителей Дальнего Востока имелось ясное понимание общественных целей, ради которых они покоряли и обживали новые территории. Вместе с распадом СССР ушел энтузиазм, свойственный советской эпохе. Героический подъем сменился пессимистическим настроением. Регион постепенно погружался в болото провинциальности. Таким образом, дальневосточники оказались «в изгнании» не только в структурном, но и в экзистенциальном отношении.

Итак, интеграция России в структуры мировой капиталистической системы имела для дальневосточных территорий негативные последствия. Для рыночной экономики, функционирующей в условиях периферийного капитализма, поддерживать жизнеспособность слаборазвитого и малозаселенного региона – «непозволительная роскошь». Не удивительно, что разработка ресурсов на территории Дальнего Востока сегодня все чаще осуществляется при помощи вахтового метода, не предполагающего закрепления населения и активного освоения региона. Не стоит уповать и на потенциальных зарубежных инвесторов, которых всегда интересует лишь получение максимальных прибылей за минимальное время, что в условиях российского Дальнего Востока практически невозможно. Продолжающийся постепенный отток населения и сохранение экспортно-сырьевой ориентации экономики региона могут в скором времени оказаться угрозой для национальной безопасности [13: с. 29–31]. Если брать во внимание реально существующие тенденции, а не официальную риторику властей, то угроза утраты Россией своих дальневосточных территорий весьма вероятна, и вряд ли среди крупнейших региональных и мировых геополитических игроков найдутся страны, безучастно взирающие на данный процесс.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Альтфатер, Э.* Продовольственный кризис [Электронный ресурс] / Э. Альтфатер. – Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_2042.html.

2. *Арриги, Дж.* Неравенство в доходах на мировом рынке и будущее социализма / Дж. Арриги // Скепсис. – 2008. – № 5. – С. 113–130.

3. *Белло, У.* Как устроить продовольственный кризис [Электронный ресурс] / У. Белло. – Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_2162.html.

4. *Быстрицкий, С.П.* Дальний Восток России: становление новой экономики / С.П. Быстрицкий, В.К. Заусаев, А.В. Хорошавин. – Хабаровск : Изд-во ДВАГС, 2008.

5. *Власов, С.А.* Жилищное строительство и его роль в социальном развитии Дальнего Востока / С.А. Власов // История освоения Россией Приамурья и современное социально-экономическое состояние стран АТР: материалы международной науч.-практ. конф. – Комсомольск-на-Амуре, 2007. – Ч. 1. – С. 207–210.

6. *Готнога, А.В.* Прогнозирование истории: теория и методология / А. В. Готнога. – М. : Владос, 2007.

7. *Грот, А.* Договор о свободной торговле – европейское оружие массового уничтожения [Электронный ресурс] / А. Грот. – Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_1744.html.

8. *Дэвис, М.* Планета трущоб / М. Дэвис // Логос. – 2008. – № 3. – С. 108–129.

9. *Кагарлицкий, Б.Ю.* Россия на периферии / Б.Ю. Кагарлицкий // Логос. – 2003. – № 6. – С. 3–13.

10. *Лившиц, Р.Л.* Оптимальный тупик, или Как не следует писать научные труды / Р.Л. Лившиц. – М. : Владос, 2009.

11. *Рот, К.-Х.* Возвращение пролетариата [Электронный ресурс] / К.-Х. Рот. – Режим доступа: http://avtonom.org/old/lib/theory/ rot_globalisation.html?q=lib/theory/rot_globalisation.html.

12. *Тарасов, А.Н.* Аргентина – еще одна жертва МВФ [Электронный ресурс] / А.Н. Тарасов. – Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_738.html.

13. *Ярулин, И.Ф.* Российский Дальний Восток: геополитика, геостратегия, геоэкономика, геополитические риски / И.Ф. Ярулин // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2011. – № 2.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕЛКИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

П.А. Жердев

Жердев Павел Александрович – преподаватель кафедры криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России, майор полиции (г. Хабаровск).

Контактный адрес: pashkhv@mail.ru

В статье рассмотрены отдельные вопросы, посвященные взаимодействию следователя и органов дознания на первоначальном этапе расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Автор предлагает решение наиболее сложных, малоизученных вопросов, касающихся данной проблемы.

Ключевые слова: транспортные средства, идентификационный номер, взаимодействие следственно-оперативной группы.

Как показывает анализ правоприменительной деятельности в современных условиях развития общества и государства, особое распространение получили видоизмененные способы совершения мошенничества, контрабанды, а также случаи неправомерного завладения транспортными средствами. На сегодняшний день представляется очевидным тот факт, что процесс раскрытия и расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства в условиях Дальнего Востока, где в собственности граждан и юридических лиц находится большое количество импортных транспортных средств различной модификации, одному следователю без взаимодействия с другими участниками осуществлять задержание и изобличение преступников практически невозможно. В связи с этим, имеющая место в практической деятельности проблема взаимодействия следственно-оперативных групп, расследующих обозначенные преступления, нуждается в необходимой, дальнейшей разработке системы тактических приемов и правил. Организация работы субъектов, находящихся в орбите следствия, должна постоянно оставаться объектом исследования в научно-практической деятельности.

Анализируя правоприменительную практику раскрытия и расследования обозначенных преступлений, можно констатировать тот факт, что вопрос взаимодействия между следователем и органами дознания регионов Дальнего Востока, а также получившими развитие государственными организациями и ведомствами, которые в силу своей профессиональной деятельности связаны с регистрацией и обслуживанием транспортных средств, на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, является особенно актуальным.

Так, вышесказанное подтверждается мнениями В.М. Мешкова и Н.В. Строгой, которые подчеркивают, что «…при правильном детальном взаимодействии с оперативными подразделениями следователь не только сможет собрать необходимую информацию для возбуждения уголовного дела, но и использовать ее для организации проведения отдельных следственных и процессуальных действий, а также в доказывании по уголовному делу» [2: с. 20].

Кроме того, расследование вышеуказанных преступлений не возможно без взаимодействия с полицией зарубежных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Дело в том, что на протяжении ряда лет в РФ ввозятся автомобили японского, корейского и в последнее время китайского производства, доля которых значительно преобладает над общим числом автомобильного парка Дальнего Востока, отечественного производства.

Существенные особенности имеет специфика разрешения проблем, возникающих в процессе взаимодействия межтерриториальных подразделений следствия и органов дознания. В силу того, что ввозимая в Россию автотехника распространяется в городах Дальневосточного региона: Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, в дальнейшем подвергается хищению, и является объектом преступного посягательства для эксплуатации или сбыта.

Основная работа по установлению и розыску преступников, а также похищенного транспорта, возлагается как на отдельного оперативного работника, так и создаваемые специализированные группы. Согласно ведомственным нормативным актам, он (лицо, осуществляющее розыск) в ходе осмотра места происшествия, во-первых, осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступления; во-вторых, установлению очевидцев, способных дать показания об обстоятельствах преступления и о преступнике; в-третьих, организует розыск преступника «по горя-

чим следам». По поручению следователя оперативный работник иногда производит неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. По мнению В.Е. Сидорова «…в соответствии с ведомственными нормативными актами взаимодействие с дежурной частью в период осмотра возлагается на оперативного работника. Он должен сообщить в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых, похищенного, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников» [5: с. 39].

Для решения перечисленных проблем необходимо отметить следующие особенности взаимодействия участников уголовного процесса на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе осмотра места происшествия по факту кражи (угона) транспортного средства. В этом случае следователь должен обеспечивать необходимую координацию следственных и оперативных действий, что в дальнейшем позволит наиболее эффективно использовать в следственной и оперативно-розыскной работе материальные следы преступления, выявленные и изъятые на месте происшествия.

В обязанность следователя входит задача не только собрать воедино разнообразные информационные данные после проведенного осмотра и проанализировать их в связи с полученными результатами, но и решить вопрос о дальнейшем направлении расследования. Он должен быстро и оперативно определить обстоятельства, при которых было совершено преступление. Следователь обязан решить и другую задачу – в зависимости от результатов осмотра места происшествия и оперативных данных, принять меры к установлению и задержанию преступника.

Взаимодействие по делам, возбужденным в результате реализации оперативных материалов, происходит в наиболее тесном контакте следователя и специалиста с оперативными работниками различных регионов Дальнего Востока и Сибири, так как в данном случае проведение следственных действий без участия сведущих лиц практически не возможно. Наши исследования показали, что транспортные средства японского и корейского производства переправляются вплоть до Урала.

Примером указанного случая являются факты, когда по обстоятельствам дела обвиняемый в совершении преступлений задержан на похищенном транспортном средстве далеко от места кражи. В связи с этим проведения предварительного расследования, этапирование обвиняемого и доставка изъятого транспортного средства в место жительства собственника (потерпевшего) или производства предварительного расследования сопряжено со многими трудностями, и как показывает практика, занимает длительный период времени. В такой ситуации особое значение приобретает необходимость во взаимодействии с территориальными органами дознания и ЭКЦ УМВД РФ в Федеральном округе, а также в производстве предварительного исследования идентификационных номеров похищенного транспортного средства.

Кроме того, в процессе взаимодействия следственно-оперативной группы возникает необходимость в привлечении соответствующих специалистов-программистов, в рамках производства компьютерно-технической экспертизы. В связи с тем, что на автотранспортных средствах могут присутствовать электронные носители информации (бортовые компьютеры или диагностические процессоры), следовательно, они наравне с программным обеспечением (например, «круиз контроль») содержат информацию о некоторых маркировочных обозначениях, в первую очередь идентификационный номер. Электронные носители информации (ЭНИ) – это электронные блоки управления (ЭБУ), установленные на автомобиле, которые осуществляют контроль за состоянием и обеспечивают управление различными его системами.

В связи с этим возникает необходимость об истребовании у фирмы-производителя транспортного средства, во-первых, справочного материала, во-вторых, специальных технических устройств и компьютерных диагностических программ, которые в свою очередь позволят расшифровывать цифровые ключи и подписи идентифицирующих транспортное средство, в-третьих, способы снятия информации с электронных носителей – бортовых компьютеров автомобиля, чипа или иммобилайзера.

Данная информация о маркировочных обозначениях носит весьма специфический характер, доступна лишь специалистам фирменных станций сервисного обслуживания, на которых имеется специальное оборудование, но все-таки может быть использована при изучении конструкции автотранспортного средства и исследовании его маркировок [4: с. 9].

По мнению Е.А. Китайгородского, В.Е. Чеснокова и Е.В. Чесноковой: «…существуют следующие способы несанкционированного внесения изменений в содержание информации, записанной в электронных блоках управления:

1) замена электронного блока управления с последующим внесением вторичной маркировки;

2) замена отдельных элементов электронного блока управления или изменение их свойств (путем перепрограммирования и т. п.);

3) перезапись данных (информации), записанных в электронный блок управления, путем подключения к основному диагностическому разъему транспортного средства;

4) перезапись данных (информации), записанных в электронный блок управления, путем непосредственного подключения к контактам микросхемы» [1: с.15].

Дополнительно к ним наши исследования позволили установить способы и приемы завладения транспортом, посредством внесения в идентификационные характеристики и параметры бортового компьютера заведомо ложных данных, с целью дальнейшего изменения маркировочных обозначений кузова, двигателя или шасси транспортных средств. Приведем их с учетом степени распространенности:

а) создание и использование программной копии (эмулятора). Этот способ позволяет преступникам использовать защищенную программу, в том числе неограниченное количество раз копировать ее вместе с эмулятором на различные машинные носители;

б) модификация (переработка) защищенной программы, путем исключения или добавление новой информации в бортовой компьютер транспортных средств;

в) удаленное, беспроводное управление бортовым компьютером современных транспортных средств, с целью внесения изменений параметров в данные технических характеристик номерных агрегатов;

г) злоумышленный вывод из строя механической защиты;

д) комбинированный способ (комплексное использование способов первой и второй группы).

Анализ практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев причиной отказа экспертов по поводу производства экспертизы, связанной с установлением идентификационного номера от дачи заключений и их вероятных заключений является недоброкачественное представление на экспертизу материалов, а также отсутствие информационного обмена (в виде консультаций) между следователем и специалистом. Консультация у специалиста является одной из форм взаимодействия. В связи с этим мы рекомендуем в ряде случаев, перед вынесением постановления о назначении экспертизы, обратиться в соответствующее экспертное подразделение для уточнения формулировок и согласования перечня вопросов.

Данные консультации могут охватывать самый обширный круг вопросов: от методики применений научно-технических средств, разъяснений возможностей того или иного вида экспертиз, технических способов хранения вещественных доказательств, тактики проведения следственных действий – как получить образцы для сравнительного исследования, как провести следственный эксперимент или осмотр собранных доказательств и т. д.

Иногда при недостатке информационной базы о местах нанесения маркировки транспортных средств и их расшифровки, мы рекомендуем обращаться с официальным запросом в существующую в правоохранительной деятельности европейских государств, а также в странах Японии, Республики Кореи, КНР, международную информационную систему «Интерпол». Данная система оказывает правовую помощь сотрудникам полиции и призвана решать следующие задачи:

1) повышения эффективности и оперативности обмена официальной и конфиденциальной (оперативно-розыскной) информации по вопросам борьбы с международной преступностью.

2) организации системы доступа правоохранительных органов Российской Федерации к информации, хранящейся в международных банках (данные криминальной информации);

3) реализации информационной стратегии Генерального секретариата Интерпола на базе новых информационных технологий.

4) повышения надежности и обеспечения бесперебойности международного информационного обмена.

5) обеспечения информационной безопасности банков и баз данных российского Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола.

Порядок и правила доступа сотрудников правоохранительных органов к информационным ресурсам АИС (НЦБ) Интерпола регламентируются межведомственной Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола [3].

Дальнейшее совершенствование сложной работы следователя и органа дознания предполагает четкое разграничение их полномочий и вместе с тем установление надлежащих действенных контактов в их деятельности по раскрытию преступления. Особенно актуальны в связи с этим вопросы, связанные с оптимизацией процесса управления взаимодействием следственно-оперативной группы, направленной к достижению общей цели – раскрытию и расследованию сложных преступлений, установлению объективной истины по уголовным делам.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Китайгородский, Е.А.* Современные методы экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств : метод. рекомендации / Е.А. Китайгородский, В.Е. Чесноков, Е.В. Чеснокова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2009. – 48 с.

2. *Мешков, В.М.* Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: науч.-практ. пособие / В.М. Мешков, Н.В. Строгая. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2008. – 24 с.

3. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН, ФТС Российской Федерации от 06.10.2006 г. № 786/310/470/454/333/971.

4. *Родионов, П.А.* Криминалистическое исследование маркировочных обозначений грузовых автомобилей и автобусов иностранного производства: учеб. пособие / П.А. Родионов. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. – 184 с.

5. *Сидоров, В.Е.* Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика / В.Е. Сидоров. – М.: Российское право, 1992. – 176 с.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА

С.В. Завьялова

Завьялова Светлана Валерьевна – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Камчатского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса (г. Петропавловск-Камчатский).

Контактный адрес: s_zavyalova@mail.ru

Статья посвящена анализу нормативных актов федерального и регионального уровней, касающихся сферы туризма (на примере Дальневосточного федерального округа). Выявлен ряд коллизий норм. Представлена позиция нелегитимности регионального законодательства о туристской деятельности.

Ключевые слова: туризм, туристская деятельность, правовое регулирование, легитимность, коллизия норм, злоупотребление властью субъектом Российской Федерации.

Принятие народным голосованием 12.12.1993 г. Конституции Российской Федерации [9] (далее – Конституция РФ) ознаменовало возникновение нового на политической карте мира демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, признающего человека, его права и свободы высшей ценностью, а их соблюдение и защиту – обязанностью государства (ст. 1, 2, п. 1 ст. 8 Конституции РФ).

Россия становится на путь не только формирования законодательной базы государства с рыночной экономикой, но и коренных трансформаций всей системы органов государственной власти, радикальных реформ методов управления общественными процессами, товарно-денежными отношениями и всей экономикой в целом. Становление свободного рынка в России сопровождалось медленным, со временем поступательно-прогрессивным развитием как базисных отраслей экономики, так и ряда перспективных отраслей непроизводственной сферы, одной из которых стал туризм.

Туризм в Российской Федерации, обеспечивая реализацию гражданами конституционного права на отдых, окончательно утрачивает свойственное ему в СССР идеологическое содержание, но сохраняет характер межотраслевого комплекса, что позволяет говорить о нем, как о специфической сфере общественных отношений.

Заметим, что туризм в СССР был признан одной из крупнейших сфер народного хозяйства, объем поступлений от которой только в части международных прибытий (млрд. долл.), составлял: 1950 г. – 2,1; 1960 г. – 6,8; 1965 г. – 11,0; 1970 г. – 17,9 [1: с. 334; 34: с. 296, 301]. При этом туристско-экскурсионная индустрия при всей ее массивности и сложности возникающих общественных отношений являлась сферой абсолютно монополизированной со стороны государства. Население реализовывало свое конституционное право на отдых, используя один из двух возможных способов – плановый туризм: приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, турбазы, находящиеся с иными объектами туристско-экскурсионной индустрии в собственности государства [10: с. 353, 370, 382] [1]. Вторым способом организации отдыха был самодеятельный туризм, т. е. походы выходного дня и многодневные путешествия, организуемые его участниками самостоятельно, с помощью туристских секций, клубов туристов предприятий, учреждений, учебных заведений и т. д. [31].

Таким образом, в силу имеющей место монополии государства в туристско-экскурсионной индустрии превалирующее большинство вопросов ее функционирования в СССР были урегулированы ведомственными нормативными актами Центрального совета по туризму и экскурсиям Всесоюзного центрального совета профессио-

[1] Согласно данным Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в среднем в 1988 г. Бюро международного молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ обслуживало более 3 млн. туристов, туристские базы Минобороны СССР – около 1 млн., а на турбазах профсоюзов СССР отдыхало ежегодно свыше 41 млн. [5: с. 8].

нальных союзов[2] (ЦСТЭ ВЦСПС). На пути становления рыночной экономики в России при повсеместном позиционировании отрицания советского опыта, в том числе и в правовом регулировании различных сфер хозяйствования, страна столкнулась с проблемой отсутствия законодательного регулирования и сферы туризма, что еще больше усложнялось отсутствием какого-либо опыта такого регулирования непосредственно туристско-экскурсионной индустрии в СССР, а позднее сферы туризма в России.

Сложившаяся в стране ситуация в то же время послужила толчком к совершению активных действий по созданию национального туристского законодательства Российской Федерации.[3] Однако формирование его системы в России стало возможным лишь с принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и, как отмечает Н.И. Волошин, именно с его принятием в стране «…намечен путь к становлению цивилизованного рынка туристских услуг» [2: с. 56.]. ГК РФ представляет собой основу построения рыночной экономики, охватывающую своими нормами и сферу туризма, не только выделяя в качестве одного из объектов гражданских прав услуги (ст. 128 ГК РФ), но и относя туристское обслуживание к числу возмездно оказываемых услуг (ст. 779–783 ГК РФ).

В то же время для регулирования всего объема туристских отношений норм лишь ГК РФ было недостаточно. Участники отношений нуждались в принятии специального (отраслевого) государственного акта, которым мог быть Федеральный закон о туризме, разработка проекта которого началась еще в 1991 г., но только в июне 1996 г. проект Федерального закона о туризме представлен в Государственную думу РФ, а впервые за всю историю существования туристско-экскурсионной сферы в СССР (сферы туризма в России) Президентом РФ подписан Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [13] (далее – Закон о туристской деятельности).

В силу отмеченного закона туризм впервые признается государством приоритетной отраслью экономики [13: ст. 3], что, на наш взгляд, объясняется его растущим экономическим значением для государства в силу высокой доходности.[4]

Исходя из исследуемой нами проблематики сконцентрируем внимание непосредственно на анализе отраслевого федерального акта и актов регионального уровня (субъектов ДФО), регулятивное и охранительное воздействие норм которых распространяется на сферу туризма в Российской Федерации.

Итак, система источников правового регулирования сферы туризма в России начала формироваться, как было замечено ранее, с принятием ГК РФ и позитивной реализации содействующих предпосылок формирования законода-

[2] Постановление бюро ЦСТЭ ВЦСПС от 21.10.1982 г. № 32-13 «О порядке организации обслуживания туристов на предприятиях питания системы ЦСТЭ»; Постановление бюро ЦСТЭ ВЦСПС от 22.10.1981 г. № 36-4 «Об организации контроля за музыкальной пропагандой в туристских учреждениях и на транспортных туристских маршрутах»; Постановление бюро ЦСТЭ от 10.05.1978 г. «Об экскурсионном обслуживании на туристских базах и маршрутах»; Постановление Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры № 68/2-4 от 14.01.1974 г. «Об улучшении использования памятников культуры и истории в экскурсионной работе»; Генеральное соглашение между Министерством гражданской авиации СССР и Центральным советом по туризму и экскурсиям ВЦСПС «О перевозке советских туристов и экскурсантов по внутренним воздушным линиям Союза ССР». Утверждено Министерством гражданской авиации СССР 23.04.1985 г. № 13/И и ЦСТЭ ВЦСПС 24.04.1985 г. № 1462/4; Должностная инструкция работников туристских речных и морских маршрутов. Утверждена постановлением президиума ЦСТЭ от 26.06.1979 г.; Рекомендации по составлению методической разработки экскурсий. Одобрено Постановлением бюро ЦСТЭ 10.08.1973 г. (протокол № 23, п.7); Положение о методической секции экскурсоводов экскурсионного бюро, бюро путешествий и экскурсий системы ЦСТЭ. Утверждено Постановлением президиума ЦСТЭ от 28.03.1978 г. (протокол № 4, п. 15) и др. [11: с. 272–279, 163, 169; 33: с. 188–192, 36, 92–101, 103–108, 132–139, 80–86, 197–218, 192–195, 17–31].

[3] 22.12.1995 г. Президентом РФ одобрена Концепция реорганизации и развития туризма в Российской Федерации, устанавливающая в качестве мер по созданию современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса «…выполнение Федеральной целевой программы "Развитие туризма в Российской Федерации"; создание нормативно-правовой базы развития туризма, соответствующей мировому опыту и правовой практике…» [23].

[4] В частности, показатели доходности сферы туризма в российской экономике (в млрд. долл. США) в динамике составляют: 1991 г. – 2,9; 1999 г. – 6,5; 2006 г. – 6,3; 2009 г. – только от въездного туризма около 8,5; в 2010 г. – 3 % от ВВП РФ. При том, что поступления от мирового туризма в рамках мирового сообщества (в млрд. долл. США) составляют: 993 г. – 323,1; 1998 г. – 444,7; в 2000 г. – 476; 2002 г. – 474; 2006 г. – 733; 2009 г. – 852 [4: с. 37; 6: с. 32–35; 7: с. 24].

тельной базы в сфере туризма, некоторые из них следует отметить. Во-первых, принятие Президентом РФ Указа от 25.04.1994 г. № 813 «О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской Федерации и об упорядочении использования государственной собственности в сфере туризма», который не только рассматривал всемерную поддержку туризма, как одну из приоритетных задач государства, но и определял главной целью деятельности Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму и Координационного комитета по физической культуре, спорту и туризму при Президенте РФ «…создание в России современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в туристских услугах, а с другой – значительный вклад в развитие экономики страны...» [20].

Во-вторых, одобрение Президентом РФ в своем Указе от 22.12.1995 г. № 1284 «О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации» Концепции реорганизации и развития туризма в Российской Федерации [23] (далее − Концепция), которая в качестве меры по созданию в России современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса предполагала «…выполнение Федеральной целевой программы «Развитие туризма в Российской Федерации»; создание нормативно-правовой базы развития туризма, соответствующей мировому опыту и правовой практике…» [23]. Стоит заметить, что Федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации» была утверждена только 26 февраля 1996 г., и действительно была разработана с учетом международного практики [30]. Программа послужила фундаментом построения механизма фактического государственного регулирования сферы туризма. Именно во исполнение положений Концепции о создании нормативно-правовой базы развития туризма в России принят Закон о туристской деятельности, представлявший необходимый правовой базис, позволяющий персонифицировать самостоятельный специфический кластер социально-экономических отношений.

Существенно, что со временем практика покажет несовершенство принятого Закона о туристской деятельности, выявит наличие пробелов, несоответствий в его содержании, а также коллизий норм закона при их соотношении с иными нормами национального и международного права, попытки устранить которые не раз предпринимались законодателем. Одними из последних являются: Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 28.06.2009 г. № 123-ФЗ «О внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 30.07.2010 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта» [15–19]. Однако до настоящего времени остается неточными, недостаточно проработанными и противоречивыми целый ряд норм Закона о туристской деятельности.

Например, Закон о туристской деятельности позиционируется законодателем как базовый отраслевой нормативный акт, определяющий принципы государственной политики, направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в России, и регулирующий отношения, возникающие при реализации права на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий. В то же время, ставя столь высокую цель, законодатель в ст. 2 отмеченного акта к законодательству России о туристской деятельности не относит Гражданский кодекс РФ.

Иными словами, не отнесен акт, непосредственно регулирующий договорные отношения всех участников туристских отношений, устанавливающий основания ответственности контрагентов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, определяющий понятие, виды и порядок реализации финансового обеспечения, и др. В связи с указанным необходимым представляется устранение сохраняющегося до настоящего времени в ст. 2 Закона о туристской деятельности упущения и внесение в указанную статью в качестве акта, составляюще-

го законодательство России о туристской деятельности, Гражданский кодекс РФ.

До настоящего времени не разрешен вопрос и о легитимности существования регионального законодательства, регулирующего одну из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации − туризм.

Данная проблема уже поднималась в литературе, но авторам так и не удалось прийти к консенсусу. В частности, сторонники одной из позиций выдвигают доводы об абсолютной справедливости рассмотрения законодательства о туристской деятельности как сферы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, указывая на то, что ст. 16 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФЗ «О Правительстве Российской Федерации» [21] относит туризм к социальной сфере, т. е. в соответствии с п. «е» ст. 72 Конституции РФ к предмету совместного ведения [4: с. 3–8]. Сторонники обратного, отмечают первостепенность гражданско-правовой сущности туристских отношений, поскольку последние представляют собой имущественные отношения как отношения туроператора (турагента) с туристом, так и отношений туроператора (турагента) с контрагентами[5], опосредованные конструкцией договора. В настоящее время, именно посредством гражданско-правовых норм созданы условия осуществления туристской деятельности как деятельности предпринимательской [3: с. 39–40; 10; 32: с. 79]. Кроме того, более верным представляется необходимость исходить из важности позиционирования туризма как приоритетной отрасли экономики, которой социальная сфера быть не может.

Отмеченное в то же время не означает отрицание социальной сущности и значимости сферы туризма, а, напротив, подчеркивает его комплексный характер, поскольку именно туризм, будучи приоритетной отраслью экономики, является одним из способов реализации конституционного права на отдых. Благодаря развитию туризма создаются тысячи рабочих мест, привлекаются инвестиции для развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к объектам туристского показа, индустрии досуга, питания и размещения регионов[6] и страны в целом, предпринимаются меры по сохранению па-

[5] Ст. 779 ГК РФ туристское обслуживание опосредуется в форме договора возмездного оказания услуг; ст. 1, 4.1, 9, 10 Закона о туристской деятельности: комплекс услуг входящих в турпродукт оказывается за общую цену, определенную в договоре; в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц осуществление туроператорской деятельности допускается при наличии договора страхования гражданской ответственности, либо банковской гарантии; общая цена туристского продукта – существенное условие договора; формирование туристского продукта – деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт; туроператор обеспечивает оказание туристам и (или) иным заказчикам всех услуг, входящих в туристский продукт.

[6] Например, только в Камчатском крае среднесписочная численность работников туризма и сопутствующих сфер (питание, размещение, досуг и отдых) составляет в 2007 г. – 4 432 чел.; 2008 г. – 4 370 чел.; 2009 г. – 4 379 чел.; 2010 г. – 5 800 чел.; при общей численности населения в трудоспособном возрасте – 229 117 чел. За первые три квартала 2011 г. в рамках программы ДКЦП «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010–2012 годы» проведены социальные туры субсидирования Правительством края – 3 500 млн. рублей. Открыты спортивно-туристический комплекс «Снежная долина», база отдыха «Колумб», гостиница эконом-класса «Чайка» – 130 млн. руб. Ведутся работы по устройству электроосвещения и асфальтобетонного покрытия улиц, а также по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, и др. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&mcont=2656&menu=4& menu2=0&id=164. В Хабаровском крае численность занятых в туризме: 2006 г. – 1 345 чел.; 2007 г. на предприятиях туристской отрасли было занято 3,3 тыс. человек, непосредственно в туризме – 1,7 тыс. чел.; при общей численности населения в трудоспособном возрасте на 2007 г. 922 400 чел. В 2009 г. туристская инфраструктура края насчитывала 145 коллективных мест размещения из них 129 гостиниц. По состоянию на 2010 г. в рае зарегистрировано 250 турпредприятий. Реализация мероприятий, направленных на развитие туристского комплекса территории, позволила привлечь объем туристских услуг за 2003–2007 гг. в размере 1,4 млрд. руб., обеспечить поступление налогов в бюджет Хабаровского края – 378 млн. руб. Доходы от использования иностранными туристами дополнительных услуг музеев, ресторанов, баров, городского транспорта, связи, а также приобретения сувениров, произведений искусства, товаров и т. д. в указанный период составили свыше 1 230 млн. руб. Ежегодно расширяется география международных чартерных рейсов из г. Хабаровска, выполняемых в Таиланд, Индонезию, Сингапур, США и КНР. Активизации внутреннего и въездного туризма в крае способствовал приток инвестиций в туристскую инфраструктуру и улучшение сервиса. За период с 2003 по 2007 год на развитие объектов индустрии туризма и гостеприимства привлечено более 1 500 млн. руб. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://khabrayon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:--06032008--72----------2008-2012-&catid=48:2011-09-07-03-48-46&Itemid=161//http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&mcont=2656&menu=4&menu2=0&id=164. Отмеченные тенденции развития, увеличения количественных и качественных показателей свойственны и иным субъектам ДФО.

мятников истории и культуры и др. Однако социальная сущность сферы туризма, исходя из рассматриваемого контекста, представляется вторичной, напрямую зависящей от экономического ее содержания, урегулированного нормами гражданского законодательства.

Таким образом, будучи частью гражданского законодательства в силу п. «о» ст. 71 Конституции РФ, законодательство, регулирующее отношения в сфере туризма, находится в исключительном ведении Российской Федерации и, следовательно, принятие субъектами Российской Федерации каких бы то ни было нормативных актов, регулирующих туристскую деятельность, является, на наш взгляд, незаконным.

Исходя из вышесказанного, следует исключить из ст. 2 Закона о туристской деятельности правомочие законотворчества субъектов Российской Федерации в сфере туризма, тем самым устранив не только неоднозначность толкования норм, но и бессмысленное копирование норм федерального законодательства региональным и возможность злоупотребления властью субъектами Российской Федерации.

В качестве примера, иллюстрирующего приведенные нами доводы, опишем ситуацию, сложившуюся в Камчатском крае. Советом народных депутатов Камчатской области принят закон от 24.02.2004 г. № 159 «О туристской деятельности на территории Камчатской области» [25]. В содержании отмеченного акта приведены нормы (и их большинство), дублирующие статьи соответствующего федерального закона, а также ряд норм, которые пусть и имеют своей целью учет специфики региона, но, в конечном счете, носят исключительно бланкетный характер.

В связи с образованием Камчатского края и внесением в 2007 г. в Закон о туристской деятельности существенных изменений в мае 2009 г. [12] Агентством по туризму Камчатского края создана рабочая группа по разработке проекта закона Камчатского края «О туристской деятельности в Камчатском крае» [26] (далее − проект). При этом работа над проектом консолидировала в себе как перегруппировку норм соответствующего федерального закона с уточнением компетенции органов исполнительной власти Камчатского края в сфере туризма, так и внесение в него норм, не имеющих нормативного значения (например, туристская символика в Камчатском крае (ст. 8 проекта). Кроме того, Агентством по туризму Камчатского края разработаны нормы еще более выходящие за пределы, как отмечено ранее, без того весьма спорных полномочий краевого законодателя.

Выделяя лишь некоторый из них, отметим, что в ст. 1 проекта содержатся дефиниции, отличные от основных понятий ст. 1 Закона о туристской деятельности. В частности, реализация туристского продукта в проекте определена только как «…деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком» (п. 10 ст. 1 проекта). Тогда как «деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором», установленная Законом о туристской деятельности как составляющая часть реализации туристского продукта, из проекта исключена.

Таким образом, «реализация туристского продукта» в контексте проекта сводится исключительно к заключению договора, который исходя из данной трактовки опосредует отношения туроператора (турагента) с туристом или иным заказчиком исключительно в рамках купли-продажи, что не только противоречит ст. 779 ГК РФ, но и приводит к освобождению туроператора от обязанности обеспечения оказания туристу услуг в соответствии с договором и от ответственности перед туристом (иным заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 9, 17.1–17.6 Закона о туристской деятельности).

В проект внесены и новые понятия, например, «экскурсия − посещение (осмотр) достопримечательных мест, ознакомление экскурсантов с туристскими ресурсами, осуществляемое в познавательных, культурно-просветительских и иных целях по определенному маршруту под руководством экскурсовода без предоставления услуг по размещению (ночевки)» (ст. 1 проекта). Стоит заметить, что данное определение не предусмотрено Законом о туристской деятельности и государственными стандартами в сфере туризма.

Статья 2 проекта определяет экстремальный туризм как туры, походные экскурсии, связанные с прохождением туристами маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). При этом региональным законодателем не учтено, что понятие тур из Закона о туристской деятельности в трактовке предыдущей редакции исключено, а иной дефиниции не предусмотрено. То же стоит отнести и к ст. 9 «Права субъектов туристкой индустрии». В п. 6 данной статьи закреплено: «туроператор обязан составлять программу пу-

тешествия, не нарушая основных условий тура. В п. 1 ст. 14 установлено, что «обеспечение выполнения комплекса необходимых видов работ по безопасности туристов (экскурсантов) – туроператор, турагент… должны обеспечивать исчерпывающими сведениями об особенностях тура.

Статья 2 проекта также определяет спортивный туризм как организацию путешествий по маршрутам определенных категорий сложности и проведение спортивных соревнований. Однако, на наш взгляд, в данном контексте туризм не может быть определен как «процесс организации», поскольку это характеризующая составляющая туроператорской и турагентской деятельности. Немаловажно и то, что определение отдельного вида туризма, а в данном случае спортивного, как «процесса организации» противоречит закрепленному в ст. 1 Закона о туристской деятельности понятию туризма.

В п. 9. ч. 2 ст. 5 проекта «Принципы государственного регулирования туристской деятельности в Камчатском крае» закреплено, что в качестве одного из путей государственного регулирования туристской деятельности в крае, является создание органами государственной власти Камчатского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Заметим, что в данном случае региональный законодатель превышает свои полномочия согласно ст. 2 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»[14]. Представляется, что такого рода законодательное закрепление можно расценивать как попытку злоупотребления властными полномочиями со стороны регионального законодателя.

В п. 3 ст. 17 проекта содержится норма, обязывающая туроператоров и турагентов осуществлять обязательное страхование туристов (туристских групп) на территории края. Также следует заметить, что в случае ее закрепления краевой законодатель не только еще больше вторгнется в сферу гражданско-правового регулирования, находящуюся в исключительном ведении Российской Федерации, но и прямо нарушит п. 2 ст. 935 ГК РФ, устанавливающую запрет возложения на гражданина обязанности страховать свою жизнь или здоровье по закону.

Анализ регионального законодательства не был ограничен лишь проектом закона Камчатского края «О туристской деятельности в Камчатском крае» (который по сей день находится в разработке), были проанализированы следующие нормативные правовые акты: закон Сахалинской области от 27.03.2009 г. № 23-ЗО «О туризме и туристской деятельности в Сахалинской области» [28], закон Приморского края от 18.05.1999 г. № 45-КЗ «О туристской деятельности на территории Приморского края» [27], закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2007 г. № 114 ЗАО «О туристкой деятельности в Ямало-Ненецкого автономного округе» [29] и др. В каждом из них имеют место дублирование значительного объема норм Закона о туристской деятельности.

Например, из 19 статей закона Приморского края от 18.05.1999 г. № 45– КЗ «О туристской деятельности на территории Приморского края» ст. 8–9, 12, абз. 1 ст. 13 дублируют нормы закона о туристской деятельности, абз. 6 ст. 16 ему противоречит, а ст. 1, абз. 3–4 ст. 4, ч. 6 ст. 6, ст. 7, ст. 10, ст. 11, ч. 2– 3 ст. 12, ст. 12, ч. 5 ст. 13, ст. 17 признаны утратившими силу. Тогда как Закон Сахалинской области от 27.03.2009 г. № 23-ЗО «О туризме и туристской деятельности в Сахалинской области» состоит из 14 статей, в семи из них определены принципы государственной политики и полномочия органов исполнительной власти субъекта и местного самоуправления, а ст. 3 «Принципы государственной политики» дублирует положения Закона о туристской деятельности.

Проведенный таким образом анализ правового регулирования туристской деятельности, в том числе на территории субъектов ДФО, позволяет не только выразить солидарность с позицией Е.Л. Писаревского, Н.И. Волошина, О.В. Кузнецовой о том, что туристские отношения в большей степени характеризуются гражданско-правовой и только отчасти социальной сущностью [3: с. 39–40; 10; 31: с. 79]. Но и говорить о необходимости исключения возможности принятия субъектами Российской Федерации каких бы то ни было нормативных актов, регулирующих туристскую деятельность, как в силу закона[7], так и в целях устранения возможных злоупотреблений с их стороны, обеспечив при этом необходимый и достаточный уровень правового регулирования данной сферы общественных отношений.

[7] Будучи частью гражданского законодательства в силу п. «о» ст. 71 Конституции РФ, законодательство, регулирующее отношения в сфере туризма, находится в исключительном ведении Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 26. / гл. редактор А.М. Прохоров. – 3-е изд.– М. : Сов. энциклопедия, 1977. – С. 334.

2. *Волошин, Н.И.* Туристская деятельность как предмет правового регулирования / Н.И. Волошин // Экономика и право. – 1999. – № 11. – С. 56.

3. *Волошин, Н.И.* Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности / Н.И. Волошин // Журнал Российского права. – 2002. – № 11. – С. 39–40.

4. *Губенко, Н.Н.* Туризм в России и за рубежом / Н.Н. Губенко, Е.Л. Писаревский // Закон. Услуги : туризм. – 2003. – № 4. – С. 3–8.

5. Информационный бюллетень ВЦСПС. – 1988. – № 7. – С. 8.

6. Иностранный туризм в России (по материалам Статкомитета России) // Вопросы статистики. – 2001. – № 4. – С. 32–35.

7. Интернет-интервью с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Е.Л. Писаревским [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ia/forsmi/247938/.

8. *Квартальнов, В.А.* Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 320 с.: ил.

9. Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. – С. 1–5.

10. *Кузнецова, О.В.* Настольная книга туриста. Новое в законодательстве о туризме: порядок оформления документов, защита прав туриста, таможенные правила : практическое пособие [Электронный ресурс] / О.В. Кузнецова. – М. : Деловой двор, 2009. − Электр. прогр. – М. : Гарант-Сервис, 2009. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) − (Электронная книга).

11. Нормативные акты по туристско-экскурсионной работе. Том 2 / ЦСТЭ для служебного пользования / составители: С.С. Деноткин, Г.В. Белош. – М. : Профиздат, 1988. – 439 с.

12. Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа [Текст] : федер. конституционный закон от 12.06.2006 г. № 2-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 29. – Ст. 3119.

13. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в ред. Федерального закона № 242 от 30.07.2010 г.) // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5491.

14. Об особых экономических зонах в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (в ред. Федерального закона № 169– ФЗ от 01.07.2011 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 30. – Ст. 3127.

15. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [Текст] : федер. закон от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 833.

16. О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 17.

17. О внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [Текст] : федер. закон от 28.06.2009 г. № 123-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 26. – Ст. 3121.

18. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления [Текст] : федер. закон от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 52 (ч. I). – Ст. 6441.

19. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта Федеральным законом от 30.07.2010 г. № 242-ФЗ [Текст] : федер. закон // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 32. – Ст. 4298.

20. О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской Федерации и об упорядочении использования государственной собственности в сфере туризма [Текст]: указ Президента РФ от 25.04.1994 г. № 813 // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 1. – Ст. 2.

21. О Правительстве Российской Федерации [Текст] : федер. конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2– ФКЗ (в ред. Федерального закона № 8– ФКЗ от 08.12.2010 г.) // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.

22. О прекращении реализации некоторых Федеральных целевых программ и признании в связи с этим утратившими силу актов Правительства Российской Федерации [Текст] : Постановление Правительства РФ от 27.08.2003 г. № 528 // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 35. – Ст. 3444.

23. О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации [Текст] : указ Президента РФ от 22.12.1995 г. № 1284 // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 52. – Ст. 5137.

24. Отдел новостей UNWTO. − [Электронный ресурс] – Режим доступа. – http://unwto.org/ru.

25. О туристской деятельности в Камчатском крае : проект Закона Камчатского края (опубликован не был). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kamchatka.gov.ru/old/index.php?option=com_content&tas k=view&i =3357&Itemid=40.

26. О туристской деятельности на территории Камчатской области [Текст] : закон Камчатской области от 24.02.2004 г. № 159 // Официальные ведомости. – 2004. – № 15–16. – С. 1–2.

27. О туристской деятельности на территории Приморского края [Текст] : закон Приморского края от 18.05.1999 г. № 45-КЗ (в ред. Закона Приморского края № 458-КЗ от 06.07.2009 г.) // Ведомости Думы Приморского края. – 1999. – № 34. – С. 3.

28. О туризме и туристской деятельности в Сахалинской области [Текст] : закон Сахалинской области от 27.03.2009 г. № 23-ЗО // Губернские ведомости. – 2009. – 20 мая. – № 62 (3269). – С. 9.

29. О туристкой деятельности в Ямало-Ненецкого автономного округе [Текст] : закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2007 г. № 114-ЗАО // Ведомости Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа. – 2007. – № 9/1. – С. 1–4.

30. О Федеральной целевой программе «Развитие туризма в Российской Федерации» [Текст] : постановление Правительства РФ от 26.02.1996 г. № 177 // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 11. – Ст. 1038.

31. *Пасечный, П.С.* Основы организации и управления самодеятельным туризмом: учеб. пособие [Электронный ресурс] / П.С. Пасечный, Б.Г. Фадеев. – Режим доступа: http://www.skitalets.ru /books/metod/stur_org/#010.

32. *Писаревский, Е.Л.* Туристская деятельность : Проблемы правового регулирования / Е.Л. Писаревский. − Владивосток, 1999. – С. 79.

33. Сборник нормативных актов по туристско–экскурсионной работе. Т. 1. / ЦСТЭ для служебного пользования // составители С.С. Деноткин, Г.В. Белош. – М.: Профиздат, 1988. – 359 с.

34. *Соколова, М.В.* История туризма : учеб. пособие / М.В. Соколова. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.

35. Хрестоматия по истории государства и права России / составитель Ю.П. Титов. – М. : Проспект, 2001. – 472 с.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.

М.А. Ковальчук
Е.В. Стрелкова

Ковальчук Михаил Александрович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск).

Стрелкова Елена Викторовна – аспирант Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск).

Контактный адрес: ma.kovalchuk@gmail.com

В статье дается характеристика чрезвычайного законодательства царской России, направленного против революционного забастовочного движения железнодорожников. Представлен историко-правовой анализ данного законодательства.

Ключевые слова: жандармское полицейское управление, чрезвычайное законодательство, забастовка, военно-полевой суд, закон, подзаконный акт.

В 1893 г. еще при строительстве Уссурийской железной дороги было создано жандармское полицейское управление. По существовавшим тогда правилам оно сформировано одновременно с началом работ, должно было состоять:

1) из начальника Управления;

2) участковых офицеров на каждые 200 верст по одному;

3) нижних чинов в унтер-офицерском звании на каждую станцию по два (в Москве и Санкт-Петербурге по три человека).

Расходы, необходимые на учреждение и ежегодное содержание проектируемых Управлений относились на счет владельцев дорог (казны или частных обществ). В данном конкретном случае расходы по содержанию перечислялись к министерству путей сообщения.

Через шесть лет, после введения указанной железной дороги в строй, ее жандармское полицейское управление имело три отделения: Владивостокское, Муравьево-Амурское и Хабаровское [10]. В служебные обязанности железнодорожных жандармов входило производство дознания по политическим преступлениям, а в зоне железной дороги – общеполицейские функции охраны порядка [17: с. 342–343]. Накануне первой русской революции на Дальнем Востоке появился тайный сыск, который вел филерское (наружное) наблюдение и секретную агентуру [18: с. 6].

Административно-полицейская опека носила всеобъемлющий характер. Создание любой маломальски самодеятельной организации транспортников, будь-то кооперативное потребительское товарищество или библиотечное общество, требовало специального разрешения со стороны начальства. Так, в 1898 г. приказом начальника Уссурийской железной дороги оформляется Общество потребителей служащих железной дороги, а на следующий год таким же образом – библиотечное общество на ст. Вяземская [9].

В 1905 г. на Дальнем Востоке сформировалось три очага сопротивления существующему режиму, в которых активная роль принадлежала транспортникам: 1) Благовещенск – центр речников Амура; 2) Владивосток (грузчики, моряки-транспортники); 3) Никольск-Уссурийск – месторасположение Главных железнодорожных мастерских. В течение 1905 г. ими были созданы профессиональные союзы, крупнейшим из которых был Союз служащих Уссурийской железной дороги во главе с главным врачом дороги В.Н. Ланковским. Характерно, что в его правление вошли члены руководства потребительского общества [12]. Отдельную организацию имели инженеры-железнодорожники.

Руководство профсоюзов составило ядро стачечного комитета железной дороги. В ходе забастовки было выдвинуто требование о передаче власти на дороге стачкому как полномочному представителю рабочих и служащих. К этому требованию рабочие Главных мастерских присовокупили требования ликвидации системы штрафов, немедленного увольнения злостных прогульщиков, увеличение заработной платы китайским рабочим до уровня русских [13]. Последнее позволяло устранить преимущества «желтого труда» из-за его дешевизны, сплачивало рабочих разных национальностей. Таким образом, «идейные» противники режима имели в лице кадровых рабочих массовую социальную базу.

Полицейских сил оказалось совершенно недостаточно как для подавления забастовки железнодорожников, так и восстания во Владивостоке (январь 1906 г.). В последнем активное участие приняли транспортники (железнодорожники, грузчики и моряки-транспортники). И в том, и другом

случае «правительственный лагерь» был вынужден прибегать к услугам армии. В результате действий карательной экспедиции генерала П.И. Мищенко 17 железнодорожников УссЖД были переданы военно-полевому суду, а 40 – высланы за пределы Приморской области [1].

Деятельность таких судов регламентировалась Военно-судным уставом (1869) и в дополнении к нему изданных в виде Высочайшего указа «Правил о военно-полевом суде» от 20 августа 1906 г. [16: 1906: ст. 1362]. Военно-полевые суды учреждались по приказу военных начальников в местностях, объявленных на военном положении в составе председателя и четырех членов из офицеров от войск. При этом приказ об учреждении военно-полевого суда должно следовать безотлагательно в тех случаях, когда, согласно указу, «… учинение преступного деяния лицом, подсудным военному суду, является настолько очевидным, что нет надобности его расследовать». На формирование суда отводилось не более суток. В приказе указываются лица, предаваемые суду, и предметы предъявленного обвинения. Суд приступал к рассмотрению дела немедленно после сформирования и должен был окончить рассмотрение дела не более, чем через двое суток. Разбирательство дела происходило при закрытых дверях. Приговор вступал в законную силу немедленно до его объявления на суде или не позже суток.

Издание Правил и деятельность военно-полевых судов вызвало бурю возмущения, так как рассмотрение дел «по очевидности» и без расследования в кратчайшие сроки означало не что иное, как узаконенную расправу.

Железнодорожные забастовки тоже вызвали необходимость применения мер чрезвычайной охраны на железных дорогах; но так как существующие меры оказались малоприменимыми к железным дорогам, то Высочайшим Указом Правительствующему Сенату от 14 декабря 1905 г. установлены исключительные правила чрезвычайной охраны на железных дорогах.

В случаях возникновения опасности прекращения или замешательства в правильности движения железных дорог и телеграфных на них сообщений, на отдельных линиях железных дорог Империи, или на отдельных их участках, предписывалось принимать чрезвычайные меры охраны, с доведением до сведения министра внутренних дел. В экстренных случаях правом применения на дороге или ее участке чрезвычайных мер охраны наделялся также начальник управляющего этой дорогой. Однако начальник соответствующей железной дороги должен донести о применении таких мер министру путей сообщения, а также поставить в известность генерал-губернаторов и губернаторов местностей в пределах, которых находится железнодорожная линия или ее часть. С принятием чрезвычайных мер дорога или ее участок поступает в ведение Особого комитета при Управлении дороги, под председательством Начальника (Управляющего) этой дороги. В состав комитета также входят заведующий передвижением войск и Начальник полицейского управления, однако, вместо этих двух членов непосредственному их начальству предоставляется право назначить двух других лиц.

В обязанности Комитета входит охранение в пределах полосы отчуждения: внешнего порядка, непрерывности и правильности действия дороги и всех железнодорожных устройств, а также наблюдение за должным исполнением всеми служащими лежащих на них обязанностей. Для исполнения возлагаемых на Комитет дороги обязанностей ему предоставляются следующие права:

1) издавать обязательные постановления по предметам предупреждения нарушений общественного порядка и безопасности в полосе отчуждения под железную дорогу, а также по предметам железнодорожной службы и развитие «Полицейских Железнодорожных Правил», изложенных в разд. 3 Общего устава Российских железных дорог;

2) устанавливать за нарушение таких обязательных постановлений взыскания, не превышающие трехмесячного ареста, или денежного штрафа до пятисот рублей, и карать собственной властью виновных в нарушении этих постановлений;

3) обращать к административному разрешению, с предварительным объявлением (во всеобщее сведение), о преступлениях и проступках, имеющих отношение к железнодорожной службе и влекущих за собою наказания в виде ареста на время от семи дней до трех месяцев;

4) воспрещать в полосе отчуждения всякие собрания;

5) делать распоряжения о закрытии в полосе всяких торговых и промышленных заведений на известный срок, или на все время действия чрезвычайных мер охраны;

6) приостанавливать продажу в полосе отчуждения различного рода произведений печати и тиснения;

7) увольнять от службы железнодорожных служащих, не исключая и состоящих на государственной службе;

8) воспрещать пребывание в полосе отчуждения отдельным лицам как частным, так и должностным, кроме находящихся при исполнении служебных обязанностей лиц судебного ведомства, сообщая каждый раз немедленно о принятой в отношении должностных лиц мере непосредственному их начальству;

9) выселять отдельных лиц из полосы отчуждения, с извещением об этом местной полиции, обращаясь за содействием войск;

10) учреждать из служащих дороги вооруженную охранную стражу, с кругом прав и обязанно-

стей, указываемых при самом учреждении этой стражи. По прекращении чрезвычайного положения охранная стража немедленно упраздняется и выданное служащим оружие ими возвращается.

Все служащие как казенных, так и частных железных дорог, на которых приняты чрезвычайные меры охраны, не вправе оставлять без разрешения Комитета свои должности. За самовольное оставление службы или неявку в назначенный срок без уважительных причин для исполнения служебных обязанностей, железнодорожные служащие подвергаются в общеустановленном порядке наказанию, определенному в статье 384 , ч. 2 Уложения о наказаниях.

В полосе отчуждения железной дороги, к которой применены чрезвычайные меры охраны, лица гражданского ведомства подлежат за преступления, предусмотренные в статье 226 Устава уголовного судопроизводства, военному суду по законам военного времени:

1) за бунт против Верховной власти и государственную измену;

2) устройство стачек, предусмотренных статьями 1359–1359 Уложения о наказаниях, и возбуждения к ним;

3) умышленный поджог или умышленное истребление, либо приведение в негодность предметов воинского снаряжения и вооружения и вообще всего принадлежащего к средствам нападения или защиты, а также запасов продовольствия и фуража;

4) умышленное истребление или повреждение всех устройств, служащих для правительственного пользования:

а) телеграфного, телефонного или иного снаряда, употребляемого для передачи известий;

б) железнодорожного пути и сооружений, подвижного состава, водоснабжения, мастерских и других железнодорожных устройств, а также предостерегательных законов, установленных для безопасности железнодорожного движения, и складов материалов и железнодорожных грузов;

5) за нападения на часового или военный караул, за вооруженное сопротивление военному караулу или чинам полиции, а также за убийство часового или чинов караула и полиции.

Рассмотрение и разрешение дел о вышеперечисленных преступлениях производится в военных судах по правилам, установленным в разделе 4 Свода военных Постановлений 1869 г. (кн. XXIV, изд. 3), но с тем, чтобы к лицам, виновным в вооруженном сопротивлении властям и нападении на чинов войск и жандармской полиции и на всех вообще должностных лиц при исполнении ими обязанностей службы, или же вследствие исполнения этими лицами своих обязанностей, если эти преступления сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом – определялись наказания, предусмотренные в статье 279 Воинского устава о наказаниях.

Обжаловать распоряжения Комитета можно было в двухнедельный срок со дня объявления обжалуемого распоряжения. Жалобы эти подавались министру путей сообщения и разрешались по соглашению с министром внутренних дел или подлежащим главным начальником ведомства. Принесение жалобы не останавливало исполнения обжалуемого распоряжения.

Действие принятых на железной дороге чрезвычайных мер охраны прекращается распоряжением министра путей сообщения.

Рассмотренные нами «Правила чрезвычайной охраны на железных дорогах» не только по названию, но и по сути относятся к чрезвычайным законам, под которыми принято понимать специальные нормативные акты, принимаемые государством при особых (чрезвычайных) обстоятельствах, которыми глава государства или по его поручению государственные чиновники наделяются исключительными полномочиями, ограничивающими или приостанавливающими действия общих законов в целях, предотвращения развития деструктивных социальных процессов и обеспечения общественного порядка, вводимыми в стране в целом или в пределах ее отдельных территорий, когда иными мерами сделать это не представляется возможным. Однако царское правительство, вероятно, посчитало эти чрезвычайные нормативные акты универсальным инструментом решения острых социальных проблем, возникших в обществе. По этой причине, видимо, оно включило их в качестве дополнительного раздела в Общий устав Российских железных дорог. Отменены они были только в 1917 г. Временным правительством.

В 1907–1917 гг. усиливается полицейский надзор за транспортниками. Численность полицейских за 1903–1913 гг. возросло на УссЖД с 72 до 189 человек [7; 8]. К имеющимся охранным службам добавилось еще и жандармско-полицейское управление Амурской железной дороги, организовавшее политический сыск среди железнодорожников. В управлении насчитывалось в 1916 г. 226 офицеров и унтер-офицеров [15].

Нормативные акты законодательного характера подкреплялись подзаконными актами. Еще в 1905 г. Главное управление Особого корпуса жандармов разработало циркуляр «О порядке действия чинов корпуса жандармов при железнодорожных забастовках», в котором жандармам предписывалось «... принимать безотлагательные решительные меры к пресечению забастовок и охране имущества» [4]. В последующие годы эта инструкция была дополнена соответствующими «Правилами о порядке перемещения и увольнения политически неблагонадежных железнодорожных служащих по требованию жандармской полиции» [3]. Накануне Первой мировой войны Министр путей сообщения

С. Рухлов подписал «Общие указания о порядке приема служащих и рабочих на железные дороги», предоставляющие жандармским чинам широкие права. В частности, им вменялось в обязанность полная проверка на политическую благонадежность всех железнодорожных служащих, годовое жалование которых превышало 320 рублей в год. Последние перед приемом на работу были обязаны явиться в жандармское управление для получения соответствующего разрешения к жандармскому офицеру. То же самое предписывалось и квалифицированным рабочим Службы тяги и Главных мастерских железных дорог. Функции контроля над ними осуществляли жандармские унтер-офицеры. Жандармы могли высказать свое пожелание об отклонении в приеме на работу, а работодатель обязан был «учесть это пожелание или мотивировать свое нежелание увольнять». В марте 1914 г. в порядке обобщения существующего опыта были выработаны соответствующие «Особые правила для борьбы с железнодорожными забастовками», подписанные шефом жандармов Н. Маклаковым, предписывавшие введение чрезвычайного или военного (там, где были воинские гарнизоны) положения, военной подсудности для всех участников забастовок и другие весьма жесткие меры [2].

В послереволюционные годы охранке удалось загнать «радикальные» партии в глубокое подполье, до минимума ограничить их влияние на транспортников. В одном из жандармских донесений о настроениях железнодорожников за 1909 г. говорилось: «Ликвидации в 1905 и 1906 годах, сопровождавшиеся обысками, арестами и высылками из полосы отчуждения железных дорог Сибири наиболее революционных деятелей, почти в корне разбили движение в пользу забастовки, против которого настроен подавляющий процент железнодорожных служащих, опасающихся неизбежных за это репрессий со стороны правительства» [4].

Забастовки среди транспортников, как и среди других рабочих региона, – не только политические, но и экономические – редкое явление. Тем не менее память о революционных событиях 1905–1907 гг. была жива в рабочей среде.

С началом Первой мировой войны среди трудящихся была широко развернута патриотическая пропаганда, которая имела определенный успех среди рабочих-транспортников. Даже в 1915 г., по свидетельству начальника жандармско-полицейского управления Уссурийской железной дороги, «... рабочие по прежнему горячо стоят за доведения войны ... до победного конца и из своих последних достатков охотно жертвуют деньгами на разные нужды, связанные с войной» [5]. В 1915–1916 гг. в работу местных военно-промышленных групп были вовлечены рабочие. Так, от Главных мастерских Уссурийской железной дороги в них вошли слесари-сборщики К.Н. Мешков и Г.М. Михайлов, токарь Г.П. Антошкин – наиболее уважаемые и «благонадежные», с точки зрения полицейских чинов, рабочие данного предприятия [6].

Но это было «затишье перед бурей». В декабре 1916 г. заведующий Никольск-Уссурийским розыскным пунктом отдельного корпуса жандармов доносил, что «…в рабочей среде железнодорожных мастерских... преобладает течение чисто социал-демократическое. Особой активностью оно не отличается, оно активно сдержанное, но по характеру своему таково, что при первом удобном всеобщем моменте оно может принять внушительные результаты и довольно организованный характер» [6]. Профессионалы знали, о чем писали. Жандармско-полицейское управление Уссурийской железной дороги возглавляли такие мастера политического сыска, как полковники Р.П. Щербаков, Меренвиль де Сент-Клер. Они успешно взаимодействовали с территориальным управлением Особого корпуса жандармов – Владивостокским охранным отделением. Но они были призваны лишить проявления социальной болезни, а не саму социальную болезнь. Предотвратить надвигавшуюся революцию они не смогли.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. *Голионко, В.* Революционные события 1905–1907 гг. в Приморье / В. Голионко // 1905 г. Революционное движение на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1925. – С. 191.
2. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). – Ф. 600. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 25.
3. ГАИО. – Ф. 600. – Оп. 1. – Д. 38. – Л. 70.
4. ГАИО. – Ф. 600. – Оп. 1. – Д. 445. – Л. 8.
5. ГАИО. – Ф.600. – Оп. 1. – Д. 904. – Л. 14
6. Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). – Ф.П– 44. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 12
7. Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке. – 1913. – № 43. – С. 1.
8. Отчет об эксплуатации Уссурийской железной дороги. 1903 г. Б/М, 1904.
9. Приказ по Уссурийской железной дороге. –1899. – № 1. – 2 января.
10. Приказ по Уссурийской железной дороге. – 1899. – № 87. – 13 февраля.
11. Приказ по Уссурийской железной дороге. – 1899. – № 289. – 9 октября.
12. Рабочий путь. – 1927. – № 11. – С. 25.
13. Российский Государственный архив Дальнего Востока. – Ф. 31. – Оп. 1. – Д. 402. – Л. 5.
14. Свод законов Российской империи. Т. 7. Ч. 1. – Петроград, 1916.
15. Смета по временной эксплуатации Амурской железной дороги на 1916 г. – Чита, 1916. – С. 55–56.
16. Собрание Узаконений и распоряжений Правительствующего Сената. 1905– 1906.
17. *Тимофеев, Л.* Общие обязанности жандармской железнодорожной полиции / Л. Тимофеев. – СПб., 1908.
18. *Чукарев, А.Г.* Царская охранка в борьбе с революционным движением на Дальнем Востоке и в Забайкалье в период первой русской революции (1905–1907 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук / А.Г. Чукарев. – Владивосток, 1970.

ОХРАНА СОВЕТСКО-КОРЕЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

С.А. Кравчук

Кравчук Сергей Александрович – кандидат исторических наук, доцент Института береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).

Контактный адрес: krafff@inbox.ru

Охрана советско-корейской границы после Второй мировой войны была неотъемлемой частью формировавшейся системы обеспечения пограничной безопасности на Дальнем Востоке СССР. Исторический опыт советско-корейских пограничных отношений особенно ценен для Российской Федерации, выстраивающей свою современную пограничную политику.

Ключевые слова: Дальний Восток, советско-корейская граница, КНДР, приграничное население, Хасанский пограничный отряд, территориальные воды СССР.

После Второй мировой войны межгосударственные отношения между СССР и КНДР стали основой стабильной и в целом спокойной оперативной обстановки в приграничье. Это было вполне закономерным явлением. Советский Союз оказывал политическую, военную и экономическую помощь северокорейскому народу. Корейцы, в свою очередь, поддерживали политику СССР, проводимую в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также выстраивали экономику, ориентированную на социалистический курс развития. Стабильные и добрососедские отношения прямым образом отражались на благоприятных тенденциях приграничного существования.

Линия государственной границы между странами была определена Пекинским договором [21: с. 34–40] в 1860 г. и проходила по реке Туманная, впадающей в Японское море [41: с. 62]. Общая протяженность совместной границы составляла 39,4 км, в том числе 17,3 км по реке и 22,1 км по морю [1: с. 276]. За весь послевоенный период северокорейской стороной территориальных притязаний не выдвигалось. Пограничная политика обоих государств на советско-корейской границе базировались на принципах добрососедства, дружбы и являлась прямым отражением межгосударственных отношений. Железнодорожный переход через пограничную реку Туманная до сих пор осуществляется по мосту с названием «Дружба».

Вместе с тем разница в уровнях социально-экономического развития СССР и КНДР была ощутима и на приграничных территориях. После корейской войны, в начале 1950-х гг. КНДР находилась в состоянии разрухи, голода и тяжелого состояния социально-бытовой необустроенности. Приграничное население Кореи в основном занималось сельским хозяйством и рыболовством. Оказание экономической помощи корейскому народу со стороны СССР в виде кредитов для восстановления народного хозяйства КНДР [14: с. 150] способствовало в основном осуществлению политического влияния СССР на Корее, но не реальному развитию экономики страны.

Политика «железного занавеса» на границе, жесткий внутренний административно-репрессивный режим в Корее усугубляли и без того тяжелые условия жизни корейского населения, способствовали миграционным настроениям корейцев, подталкивали их к решению покинуть страну любыми способами и обустроиться на территории СССР, тем более что возможность легального трудоустройства в СССР существовала. Развивавшийся после войны советский Дальний Восток уже имел крепкую промышленную базу и инфраструктуру, требовавшую притока значительного количества рабочих рук. Кроме организованного переселения советского населения из западных регионов страны, одним из источников трудовых ресурсов стала миграция корейского населения в Дальневосточный регион. Советское правительство рассматривало миграционные процессы как вполне приемлемый вариант разрешения имеющейся проблемы недостатка трудовых ресурсов в экономике СССР, тем более что после Второй мировой войны на Дальнем Востоке уже находилось значительное количество иностранных граждан. Например, после окончания боевых действий на Южном Сахалине проживало 25 148 японцев, 121 китайцев, 140 айнов, 22 817 корейцев [17: с. 215].

В 1946–1947 гг. между правительствами СССР и КНДР были заключены двусторонние соглашения о привлечении около 22 000 корейцев на работу в рыбную промышленность Дальнего Востока [18: с. 107]. Только на Камчатке к концу 1946 г. в данной отрасли основную рабочую силу составляли корейцы – 14 000 чел., завербованных в Северной Корее [23].

Другой отраслью экономики Дальневосточного региона, куда привлекались корейские рабочие, была лесная промышленность. 30 июля 1957 г. ме-

жду СССР и КНДР было заключено соглашение о работе на лесозаготовках рабочих из КНДР, которое действовало на территории Хабаровского края до 1964 г. [26].

В соответствии с соглашением 1958 г. в Хабаровский край прибыли 4 460 граждан Северной Кореи, в том числе 4 188 рабочих. Они были размещены в поселках Комсомольского, Сахалинского леспромхозов, в лесных поселках Болен, Дидон, Октябрьский, Сироки, Первомайский, Харпичан, Клюквенный и др. [5].

Однако масштабное привлечение иностранных граждан на территории советского Дальнего Востока влекло за собой и определенные трудности. Во-первых, Дальний Восток являлся территорией, на которой находилось большое количество военных, военно-промышленных объектов, в том числе и стратегические транспортные коммуникации. Все они были размещены в основном в приделах приграничных территорий и являлись потенциальным целями для ведения разведок иностранных государств, и в первую очередь США и Японии. Советские органы безопасности и пограничники опасались использования каналов трудовой миграции для ведения разведки на территории советского Дальнего Востока иностранными спецслужбами, которые привлекали агентуру, оставленную японскими и гоминьдановскими спецслужбами после Второй мировой войны на территории Северной Кореи и Китая. Кроме того, чекистами не исключалась возможность проникновения на советскую территорию преступных элементов среди корейцев. Поэтому корейские рабочие, которые направлялись на работу в основном на предприятия, расположенные вблизи государственной границы, и вели автономную производственную деятельность, являлись объектами пристального внимания органов безопасности и пограничных войск. Архивные источники подтверждают многочисленные факты активного привлечения труда иностранцев и производственной деятельности в пограничной зоне, например, в рыбной промышленности и лесопереработках.

Кроме того, советское правительство опасалось создания иностранных колоний и диаспор на территории СССР. Органы государственной безопасности четко отслеживали настроения иностранцев и своевременно принимали меры по недопущению каких-либо националистических проявлений среди трудовых мигрантов. В качестве превентивной меры спецслужбы осуществляли оперативный контроль за передвижением граждан КНДР по советской территории. Учитывая, что в первые послевоенные годы размещение иностранной рабочей силы происходило в основном на территориях, прилегавших к государственной границе, пребывание корейцев в регионе строго регламентировалось и контролировалось органами КГБ СССР. Велся персональный учет мигрантов, прибывавших из Северной Кореи по вербовке, в целях недопущения повторного въезда в СССР под видом вербованных других лиц, а также исключения проникновения уголовных и антисоветских элементов. Органами внутренних дел СССР всем корейцам, вербуемым для работы и переселявшимся на постоянное жительство на Сахалин, выдавались специальные временные удостоверения [16: с. 240]. В целях усиления охраны границы с Японией специальным указанием МГБ СССР от 28 октября 1951 г. из пределов Невельского, Анивского, Корсаковского районов были выселены антисоветски настроенные лица из числа корейцев, прибывших из Северной Кореи по вербовке, а также корейцев и японцев, оставшихся в указанных районах после репатриации японцев. Всех их переселяли на жительство и работу в другие районы Сахалинской области [16: с. 241].

В политике советского правительства просматривается четкая позиция по поводу того, что участие иностранцев в развитии экономики советского Дальнего Востока не должно предусматривать массовое закрепление мигрантов на территории СССР. В ходе проведения в 1946–1959 гг. репатриации иностранцев с территории Дальнего Востока доля корейцев, работавших в экономике региона, постепенно снижалась. Об этом сообщалось в докладе об итогах служебной деятельности пограничных войск Тихоокеанского округа в Москву за 1954 г.: «Из СССР в КНДР было возвращено более 12 тыс. корейских рабочих, работавших на предприятиях лесной, рыбной и металлургической промышленности Хабаровского, Приморского краев, Камчатки и Сахалина. Все они проживали на территории Дальнего Востока в течение 7 лет, хорошо владели русским языком, взрослые и дети получили советское образование» [24]. На Сахалине к середине 1960 г. остались жить и работать 15 948 иностранцев, в основном граждане КНДР – 15 918 чел. [2]. Однако специальных и жестких мероприятий по замене рабочих не проводилось. Процесс возвращения корейцев на родину хотя и был организованным, но большинство из них старались остаться в СССР. Так, в 1960 г. желание продолжить работать на предприятиях рыбной отрасли Приморского края изъявили 3 793 гражданина КНДР. Выехать на родину согласились всего 365 чел. из числа оставшихся в то время и уже хорошо обустроившихся в СССР [4].

С 1947 г. все организованные миграционные процессы северокорейцев осуществлялись через советско-корейскую государственную границу на единственном контрольно-пропускном пункте «Подгорная», с 1957 г. получившем наименование «Хасан». Транспортное сообщение между СССР и

КНДР через пограничную реку Туманная проходило по железнодорожному мосту. Ежегодно пункт пропуска регистрировал в среднем до 3 тыс. пересечений государственной границы корейскими гражданами [11].

Охрану Государственной границы СССР с Корейской Народно-Демократической Республикой осуществлял Хасанский Краснознаменный и ордена Кутузова пограничный отряд, дислоцировавшийся в пос. Посьет Приморского края. Кроме того, советские морские пространства, граничащие с территориальными водами КНДР, помимо береговых подразделений Хасанского отряда, охранялись сторожевыми кораблями и катерами морских частей пограничных войск на Тихом океане.

Основные усилия пограничников Хасанского отряда были направлены на недопущение массовых нарушений государственной границы со стороны Северной Кореи, осуществление организованного пропуска корейских граждан через границу на территорию СССР и возвращения их на родину, предотвращение активного промысла морских ресурсов корейскими рыбопромысловыми судами в советских территориальных водах, граничащих с территориальными водами КНДР.

Можно отметить тот факт, что организованная трудовая миграция корейского населения в Дальневосточном регионе практически никоим образом не отражалась на оперативной обстановке на государственной границе двух стран.

Относительно спокойной обстановке на приграничной территории способствовала обособленная и сдержанно-стабильная пограничная политика корейцев. В отличие от бурно развивающихся советско-китайских приграничных отношений, активных социально-экономических успехов в приграничных связях населения СССР и КНДР, например в приграничной торговле, за весь послевоенный период не просматривалось. Всё межгосударственное сотрудничество приграничных районов ограничивалось редкими контактами в рамках культурного обмена делегациями, проведением совместных спортивных соревнований и оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем итоги оперативно-служебной деятельности пограничников в первые послевоенные годы, свидетельствуют о напряженной оперативной обстановке на самой советско-корейской границе, что было связано с участившимися фактами нарушений границы корейскими гражданами. Например, в 1950-х гг., после переезда через советско-корейскую границу в КНДР первых партий корейцев, стали отмечаться случаи нелегального их возвращения на жительство и для работы в СССР [25]. Поэтому в донесениях штаба Хасанского пограничного отряда в управление округа основными причинами нарушений государственной границы между СССР и КНДР назывались поиск лучших условий жизни, тяжелое социально-экономическое положение в Корее, поиск мест работы, учебы [25].

Надо учесть и то, что к самим корейцам, проживавшим в СССР, советские граждане относилось спокойно и миролюбиво. Терпимое отношение к корейцам, задержанным за нарушения границы, проявляли и пограничники. Корейцы не рассматривались как враги СССР на том основании, что пришли из дружественной страны. «Нередко на задержанных было жалко смотреть. Как только их доставляли на пограничную заставу, им накрывали стол, хорошо кормили, одевали и содержали в хороших бытовых условиях» [27]. Такое дружеское отношение простых советских пограничников к корейским нарушителям было характерно только на советско-корейской границе. Фактов такого миролюбивого отношения со стороны советских граждан, например, к китайцам, задерживаемым за нарушения советско-китайской границы, в донесениях советских органов безопасности не отмечалось.

На наш взгляд, это было связано с тем, что даже в период благоприятных советско-китайских отношений в 50-х гг. XX столетия в поведении китайцев на границе нередко просматривалось пренебрежение правилами режима границы, спекуляциях на дружественных отношениях стран. Они проявляли дерзкие, порой агрессивные выпады в отношении пограничников, вели себя свободно на советской приграничной территории. Самовольное проникновение на советские острова для производства сельхозработ, сбора дикоросов, а также рыбная ловля в водах СССР для китайских граждан были вполне нормальным явлением. Это происходило при полном попустительстве китайских пограничных властей. Советские пограничники предпринимали многочисленные попытки по выдворению нарушителей режима за пределы территории СССР, но серьезных конфликтов старались не допускать.

На советско-корейской границе, напротив, корейские пограничники своих граждан к ведению хозяйственной деятельности вблизи границы не подпускали. Нарушителями границы были, как правило, простые бедные люди, которые шли в СССР в поисках нормальных условий жизни. При задержании они не проявляли агрессивности и не оказывали сопротивления. Поэтому и к ним советские пограничники проявляли большую терпимость.

Но миролюбие к корейским нарушителям, по мнению командования пограничных войск, было недопустимым и подвергалось жесткой критике. Так, в докладе начальника штаба Тихоокеанского пограничного округа полковника Иванова на партийном собрании управления в июле 1955 г. отме-

чалось, что «…отношение к нарушителю границы должно быть иным. Если даже у него нет каких-либо коварных замыслов в отношении нашей страны, он является, прежде всего, дезертиром, трусом, испугавшимся трудностей строительства коммунизма в своей стране, и который хочет прийти к нам в СССР на все готовое. Это люди без чести, без совести, у них нет чувства патриотизма к своей Родине» [28]. Несмотря на критику, отношение к корейцам-нарушителям принципиально не изменилось. И это отражалось на динамике оперативной обстановки на участке советско-корейской границы. Например, в первое послевоенное десятилетие она существенно отличалась от обстановки на советско-китайской границе. Количество нарушений границы со стороны КНДР было значительно меньше (см. табл.) [22]. Но здесь следует учесть тот факт, что протяженность государственной границы СССР и КНДР по реке Туманной составляла всего 17,3 км, а граница СССР и КНР по рекам Амур и Уссури и озеру Ханка имела протяженность 4209,3 км.

Таблица

**Количество задержанных нарушителей
Государственной границы СССР на Дальнем Востоке**

Год	Количество задержанных на советско-корейской границе, чел.		Количество задержанных на советско-китайской границе, чел.	
	в СССР	из СССР	в СССР	из СССР
1946	нет данных	нет данных	2170	454
1947	25	7	3281	302
1948	158	3	1805	113
1949	4	1	1029	39
1950	17	–	513	6
1951	9	1	343	18
1952	39	–	1085	25
1953	11	–	236	27
1954	3	–	148	10
1955	260	–	Нет данных	Нет данных
Итого	**527**	**11**	**10610**	**1002**

Поток нарушителей советско-корейской границы был направлен в сторону СССР. Так, на владивостокском совместном заседании погранпредставительских аппаратов СССР и КНДР в январе 1960 г. отмечалось, что «…нарушителями границы являлись, в основном, молодые люди 18–25 лет, которые пытались пересечь границу нелегально в целях места жительства, устройства на учебу, работу в Советском Союзе» [33].

Усиление охраны границы, предпринятое советской стороной, ведение активной погранпредставительской работы несколько снизили уровень напряженности на границе, но ненадолго. Результаты служебной деятельности пограничников свидетельствуют об эпизодических всплесках активности нарушителей на границе. Это было связано, в первую очередь, с позицией корейских пограничных властей, которые не проявляли особого интереса к выстраиванию жесткой охраны границы. В основном они принимали строгие репрессивные меры в отношении нарушителей границы и проводили идеологическую работу среди населения. Но это не могло остановить бегства граждан на территорию СССР «в поисках лучших условий жизни».

Принятые в 1957 г. Конвенция о порядке урегулирования пограничных вопросов [15: с. 67], Договор о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный в июле 1961 г. сроком на 10 лет [17], а также Договор о торговле и мореплавании [7] не сняли проблему нарушений границы. Они юридически закрепляли уже сложившиеся добрососедские отношения между странами, укрепляли экономические и культурные связи и были направлены на улучшение и стабилизацию обстановки на границе и в приграничных районах. Но конкретных мер по усилению охраны границы с целью недопущения нелегального пересечения границы корейскими властями не принималось. Все ограничивалось проведением оперативной и пропагандистской работы среди приграничного населения, а также репрессивным воздействием на нарушителей, переданных из СССР.

Следует подчеркнуть, что охрану государственной границы с СССР корейцы выстраивали с учетом сильной системы охраны границы совет-

скими пограничными войсками. Поэтому до октября 1959 г. на границе со стороны Кореи не было сплошной охраны. Существовали только отдельные пограничные посты. Но и они впоследствии были ликвидированы. Корейский пограничный представитель на встрече с советскими коллегами прокомментировал это решение властей тем, что «от них не было пользы в охране границы» [32]. Вместо постов были созданы отделения МВД, а из местного населения – группы самоохраны. Отсутствие охраны границы способствовало нелегальному пересечению границы корейцами на советскую территорию. Но корейские власти были уверены, что советские пограничники задерживали всех нарушителей и, как правило, возвращали назад в Корею.

Совсем другой ситуация была на границе между КНДР и Китаем. Её охрана осуществлялась северокорейскими пограничниками в полном объеме. Корейцы, пытавшиеся бежать в Китай, задерживались на границе. Те, кому удавалось уйти за кордон, задерживались китайскими пограничниками и немедленно возвращались назад, а затем подвергались жестоким репрессиям на родине. Поэтому основной поток нарушителей границы был направлен в сторону СССР через советско-корейскую границу. После снятия в январе 1971 г. корейцами охраны на китайском участке у нарушителей появилась возможность выходить на территорию СССР через Китай [29]. Это еще больше усугубило ситуацию с возвращением корейцев на родину. Учитывая, что Китай охрану границ осуществлял менее жестко, чем СССР, поток корейских граждан в сторону Советского Союза направился через китайскую территорию. После их задержания на советской земле вернуть их в Корею стало для пограничников проблематичным. Пограничные представители КНДР старались не признавать, что было отчасти логично, факта нарушения советско-корейской границы, тем самым не признавая и нарушителей. Китайская сторона также не принимала корейцев, потому что они не были гражданами Китая. В 60-х гг. XX столетия ситуация осложнялась тем, что напряженные отношения между СССР и КНР не позволяли вести добрососедский диалог по корейским проблемам.

Кроме всего, КНДР по идеологическим соображениям не признавала своих граждан и отказывалась принимать их назад. Например, в январе 1960 г. на совместном заседании погранпредставителей СССР и КНДР на пункте пропуска «Хасан» корейские пограничники отмечали: «Корейские граждане не могли бежать в другие страны, им очень хорошо было на родине. А кто убегал из страны, считались предателями, и если они вернутся назад, будут расстреляны» [31].

Вследствие этих трудностей напряженно приходилось работать погранпредставительскому аппарату Хасанского пограничного отряда, усилия которого были направлены на урегулирование пограничных инцидентов и возвращение корейских нарушителей. Ежегодно проводилось по 15–17 встреч с корейскими представителями [3; 6]. В основном встречи проводились по инициативе советской стороны. Диалог советских и корейских погранпредставителей, как правило, проходил сложно и напряженно. Корейская сторона редко шла на компромиссы и не признавала вины за нарушения границы корейскими гражданами. Вместе с этим «сотрудники погранаппарата КНДР проявляли полное понимание задач, готовность их лучше решать и в разговорах и перерывах встреч говорили дружелюбно и откровенно» [31]. Но ситуация с решением проблемы нарушений границы существенно не менялась. Например, в 1960–1965 гг. советскими пограничниками было задержано 387 корейцев, пытавшихся пересечь границу нелегально [8]. Благодаря активной работе советских пограничных представителей, большинство задержанных были возвращены в Северную Корею.

Одной из постоянных тем для обсуждения и разрешения конфликтных ситуаций между СССР и КНДР на встречах пограничных представителей была проблема систематических нарушений морской границы и незаконного промысла северокорейскими рыболовецкими судами в территориальных водах СССР. Пользуясь лояльным отношением к корейцам со стороны советских граждан и пограничников, корейские рыбаки нередко демонстративно нарушали границу на море и вели промысел в советских территориальных водах, высаживались на советский берег [38]. Советские моряки-пограничники, ведя борьбу с ними, испытывали противоречивые чувства и находились в сложном положении. С одной стороны, они задерживали рыболовецкие суда Кореи как нарушителей границы, с другой стороны, из-за дружественных отношений между СССР и КНДР приходилось на многие нарушения закрывать глаза. Нарушителей отпускали без каких-либо санкций. Страна несла значительные экономические убытки [39].

Принимаемые Советским Союзом меры имели в основном силовой характер. Действия пограничных морских соединений в акваториях Тихого океана и дальневосточных морей были направлены в основном на эпизодический контроль за промыслом иностранных судов в районах массового добычи биоресурсов. Пограничных кораблей и катеров было недостаточно для полномасштабной охраны морских пограничных пространств. Но статистика задержаний иностранных нарушителей советского законодательства свидетельствует о массовом браконьерстве корейских рыболовецких судов в водах СССР.

Министерство иностранных дел СССР неоднократно обсуждали проблему незаконной добычи морских ресурсов с корейскими коллегами. Это позволяло несколько сокращать количество нарушений, совершаемых рыболовецкими судами КНДР, но ненадолго. Находящиеся на промысле в районах побережья Камчатки, Сахалина, Северо-Западной части Охотского моря и залива Петра Великого рыбаки продолжали заходить в наши воды с целью незаконного промысла. Например, в 1965 г. морскими частями Тихоокеанского пограничного округа было задержано в территориальных водах СССР 6 707 корейских шхун [40]. Только в советских водах на участке Хасанского пограничного отряда нарушителями советского законодательства стали 274 корейских судна [9]. При этом допускались нарушения общепринятых норм международного права, при выходе из наших вод суда не выполняли требований пограничных кораблей об остановке. При задержании корейцы не предъявляли судовых документов, самовольно подходили к советскому берегу и заходили в закрытые порты [10]. В районе Камчатки с начала 1970-х гг. лидирующее место среди морских браконьеров прочно заняли рыбаки КНДР. В 1970–1976 гг. кораблями Камчатской бригады пограничных сторожевых кораблей за нарушения правил промысла было задержано 124 северокорейских судна и всего 12 японских шхун [19: с. 254].

Экономические интересы СССР прямым образом были связаны с разрешением территориальных проблем на Дальнем Востоке. Так, неурегулированость разграничения морских пространств между СССР и КНДР являлась дестабилизирующим фактором в оперативной обстановке на тихоокеанских пространствах в 1970–1980-е гг. Напряженность ситуации обострили корейцы, приняв 26 июня 1977 г. указ о введении с 1 августа 1977 г. у побережья Северной Кореи 200-мильной экономической зоны. Этот документ закреплял разграничение морских пространств с СССР по исторически сложившейся линии морской границы от устья р. Туманная до кромки 200-мильных районов. В данном случае не учитывалась равноудаленность границы от побережий обоих государств, что привело к отклонению конечной точки на 46 км в сторону побережья СССР. На это несоответствие МИД Советского Союза обратил внимание корейцев в своих нотах от 2 июля 1979 г. и 20 октября 1979 г. Но корейская сторона осталась при своем мнении [30]. Возник еще один спорный участок на границе морских районов.

Активная позиция советского правительства в разрешении территориальных проблем позволила выйти на конструктивный диалог о юридическом закреплении границ двух государств. Это привело к переговорам, состоявшимся в 1984 г. по инициативе СССР в Пхеньяне. На них обсуждались проблемы прохождения границы по р. Туманная и на море. Итогом работы стало подписание 17 апреля 1985 г. Договора между СССР и КНДР о прохождении линии государственной границы. Для демаркации границы на местности, за период с 1986 по 1990 г., было проведено 11 сессий и 5 рабочих встреч смешанной советско-корейской комиссии. Прохождение государственной границы было подробно описано в правительственном протоколе, подписанном в Пхеньяне 3 сентября 1990 г. Но это не гарантировало стабильности в определении четкого её прохождения, так как из-за подвижного русла реки Туманная постоянно нарушался принцип прохождения границы по середине водного потока. Поэтому договором были предусмотрены совместные проверки прохождения границы (редемаркации) через каждые 10 лет.

Юридическое разрешение территориальных споров на советско-корейской границе стало в 1980-х гг. залогом стабильной и в основном благоприятной оперативной обстановки в приграничье. Нарушения границы происходили только с корейской стороны и носили эпизодический характер. Например, в 1982 г. на участке Хасанского пограничного отряда было задержано в 5 случаях 114 чел. Из них 1 нарушитель перешел пограничную реку Туманная в поисках лучших условий жизни. Остальные задержания касались 4 браконьерских шхун, проводивших промысел в территориальных водах СССР, и 113 чел. команд. Все нарушители были выдворены за пределы советских вод [34]. Такие положительные тенденции на советско-корейской границе были характерными для 1980-х годов.

Широкое участие корейских граждан в строительстве экономики советского Дальнего Востока отразилось на напряженности служебной деятельности КПП «Хасан», увеличившего пропуск корейцев через границу на советскую территорию. Например, за 1983 г. было пропущено в СССР 8 840 чел., выехало 628 [35]. В 1983 г. въехало в Советский Союз 8 039 корейцев, а вернулось обратно в Северную Корею 236 чел. [37]. Увеличение миграционного потока, двигавшегося через контрольно-пропускной пункт, способствовало снижению нелегального пересечения границы, что благоприятно влияло на оперативную обстановку в советском приграничье.

Кроме того, расширилось взаимодействие органов власти приграничных районов, пограничных структур двух государств. На границе проводились мероприятия с участием общественности Хасанского района, советских пограничников и представителей корейской стороны, в первую очередь, в рамках культурного обмена, спортивных соревнований, обмена делегациями и др.

Целенаправленная работа внешнеполитических ведомств СССР и КНДР по регулированию морского промысла биологических ресурсов в советской части Тихого океана и дальневосточных морей позволила существенно снизить браконьерский лов, осуществляемый корейскими судами. Заключенный в январе 1986 г. Договор между СССР и КНДР о разграничении экономической зоны и континентального шельфа полностью был основан на принципах Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. КНДР хотя и подписала, однако, пока не ратифицировала эту конвенцию [20]. Но это положительным образом отразилось на обстановке морских пространствах. Например, ежегодно в 1980-х гг. в Японском море советскими пограничниками задерживалось по 3–4 корейских шхуны за нарушение законодательства СССР [36]. В сравнении с 1950–1970 гг. это было несомненным достижением всей проведенной работы.

Таким образом, советско-корейские пограничные отношения после Второй мировой войны выстраивались в духе дружбы, взаимопомощи и добрососедства. За весь послевоенный период корейская сторона не предъявляла каких-либо территориальных претензий СССР. Нормативно-правовое оформление линии государственной границы между странами основывалось на договорах прошлого. На границе прочно установился статус-кво, что устраивало правительства обоих государств.

Стабильность на границе обеспечивалась положительно направленными тенденциями межгосударственных отношений между СССР и КНДР после войны. Северная Корея являлась частью геополитического пояса безопасности вокруг Советского государства. Поэтому советская экономическая помощь Корее и политическое влияние на процессы внутри неё создавали стабильность в межгосударственных отношениях и, соответственно, на государственной границе. Для КНДР эта помощь являлась единственной возможностью выжить в условиях послевоенного восстановления страны и, в дальнейшем, ее развития. Жесткий, административно-репрессивный внутренний режим обеспечивал устойчивость государственной власти. Бежавшие из страны в поисках лучших условий жизни граждане признавались предателями, от них отказывались и не принимали назад.

Дружественные отношения между Советским Союзом и КНДР стали основой стабильной и в целом спокойной приграничной обстановки. Этому способствовали усилия, направленные Советским правительством по линии Министерства иностранных дел СССР для урегулирования межгосударственных проблем и по линии погранпредставительской деятельности с целью разрешения пограничных инцидентов. Отсутствие до 1990 г. документов о режиме государственной границы между странами не мешало сохранять надежные и добрососедские отношения на границе и поддерживать в пограничных районах уровень взаимопонимания и доверия.

К началу 90-х гг. XX в. уровень межгосударственных отношений в целом оставался прежним. Изменившаяся политическая ситуация в СССР, связанная с «перестройкой», положительно отразилась на договорном процессе и привела к подписанию в сентябре 1990 г. Договора о режиме границы [13]. Это был еще один шаг к подтверждению добрососедского характера советско-корейских отношений.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Военно-географическое описание приграничных регионов Российской Федерации / под рук. А.Д. Шерстнева. – М. : ЦОПИ ФПС России, 2000. – 451 с.
2. Государственный архив Сахалинской области (ГАСО). – Ф. 53. – Оп. 7. – Д. 283. – Л. 5.
3. Государственный архив Приморского края (ГАПК). – Ф. 658. – Оп. 7. – Д. 45. – Л. 12–16.
4. ГАПК. – Ф. 658. – Оп. 7. – Д. 45. – Л. 17.
5. Делопроизводство Гродековского пограничного отряда (ДГПО). – Д. 24. – Т. 4. – Л. 56.
6. Делопроизводство Хасанского пограничного отряда (ДХПО). – Д. 18. – Т. 4. – Л. 34.
7. ДХПО. – Д. 44. – Т. 1. – Л. 63–105.
8. ДХПО. – Д. 44. – Т. 1. – Л. 84.
9. ДХПО. – Д. 44. – Т. 1. – Л. 85.
10. Делопроизводство Находкинского пограничного отряда (ДНПО). – Д. 203. – Л. 21.
11. Договор о торговле и мореплавании между СССР и КНДР : подписан в Москве 19 ноября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1961. – № 10.
12. Договор о дружбе, содружестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-демократической Республикой : подписан в Москве 6 июня 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1961. – № 38.
13. Договор между СССР и КНДР «О режиме советско-корейской государственной границы» от 3 сентября 1990 г. // Бюллетень международных договоров. – 1997. – № 8.
14. За мир, разоружение и безопасность народов: летопись внешней политики СССР. – М. : Политиздат, 1983. – 432 с.
15. *Земцов, В.И.* Формирование государственных границ России : монография / В. И. Земцов. – М. : АПС России, 2001. – 41 с.
16. Из истории Советских Пограничных войск: документы и материалы. 1946–1955 гг. / под ред. И. Г. Борец. – М. : Военное изд-во МО СССР, 1980. – 368 с.
17. *Кузин, А.Т.* Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы / А.Т. Кузин. – Южно-Сахалинск, 1993. – 368 с.
18. Лоция северо-западного берега Японского моря: от реки Туманная до мыса Белкина. – СПб. : ГУНиО МО, 2005. – 396 с.
19. *Мошков, Ф.А.* Морская пограничная охрана России: от Петра I до наших дней / Ф.А. Мошков. – М. : Граница, 2003. – 349 с.

20. Пограничное урегулирование между Россией и КНДР [Электронный ресурс] // Азиатская библиотека. – Режим доступа: http://www.asia-times.ru/countries/koreas/border_regulation.htm.

21. Русско-китайские отношения. 1689–1916 гг.: официальные документы / под ред. Л.И. Думан. – М. : Наука, 1958. – 682 с.

22. Центральный пограничный архив ФСБ России (ЦПА ФСБ России). – Ф.14. – Оп. 5. – Д. 6198. – Л. 152–178.

23. ЦПА ФСБ России. – Ф. 14. – Оп. 5. – Д. 6340. – Л. 1–48.

24. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 170. – Л. 3.

25. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 170. – Л. 4.

26. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 170. – Л. 34–38.

27. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 170. – Л. 63.

28. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 170. – Л. 69.

29. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 203. – Л. 21.

30. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 216. – Л. 96.

31. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 486. – Л. 22–27.

32. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 997. – Л. 26.

33. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 1. – Д. 997. – Л. 27.

34. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 7. – Д. 14. – Л. 24.

35. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 7. – Д. 14. – Л. 183.

36. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 7. – Д. 48. – Л. 8–97.

37. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 7. – Д. 49. – Л. 103.

38. ЦПА ФСБ России. – Ф. 221. – Оп. 7. – Д. 58. – Л. 16–35.

39. ЦПА ФСБ России. – Ф. 221. – Оп. 7. – Д. 58. – Л. 36.

40. ЦПА ФСБ России. – Ф. 231. – Оп. 7. – Д. 197. – Л. 9.

41. Этномиграционные процессы в Приморье в XX в. / А.С. Ващук [и др.]. – Владивосток : ДВО РАН. 2002. – 228 с.

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВЖД В 1924–1935 гг.

М.В. Кротова

Кротова Мария Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

Контактный адрес: mary_krot@mail.ru

Советско-китайское управление КВЖД в 1924–1935 гг. было довольно смелым экспериментом, который показал все опасности и ловушки такого совместного владения. Каждая сторона отстаивала свои собственные интересы, примирить которые оказалось непросто. В конечном итоге это привело к обострению напряжения в советско-китайских отношениях и потере КВЖД как советской, так и китайской стороной.

Ключевые слова: КВЖД, Китай, Северная Маньчжурия, советско-китайские отношения.

Соглашения, заключенные СССР с китайским и мукденским правительствами 31 мая 1924 г. и 20 сентября 1924 г., положили начало совместному управлению КВЖД на паритетной основе. Согласно соглашению СССР и Китайской республики 31 мая 1924 г., дополненного соглашением 20 сентября 1924 г. с автономным провинциальным правительством Трех Восточных Провинций Китайской республики, КВЖД являлось предприятием исключительно коммерческого характера [26: с. 459]. По этому соглашению высшее управление делами дороги было возложено на Распорядительный комитет (потом – Правление КВЖД) в составе 10 членов, из которых 5 назначались китайским правительством и 5 – правительством СССР. Китайское правительство назначало одного из них Председателем Правления КВЖД, правительство СССР – товарища Председателя. Должность Управляющего дорогой замещалась гражданином СССР, должности двух его помощников – гражданами СССР и Китая. Начальники различных служб и отделов дороги назначались Правлением КВЖД, причем, если начальником службы являлся китайский гражданин, его помощником должен был быть советский гражданин и наоборот. Таким образом, на КВЖД должен был соблюдаться принцип равномерного распределения.

Уже в самом договоре 1924 г. крылись противоречия, статьи его были названы «эластичными, если не двусмысленными» [7: л. 26]. Специалисты высказывали сомнения в возможности управлять предприятием двумя государствами со значительными политическими, социальными, культурными различиями без какой-либо инстанции, разрешающей возможные разногласия. Дело в том, что все вопросы, касавшиеся дороги, по которым Правление КВЖД не могло прийти к единогласному решению, должны были быть предоставлены на «благоусмотрение двух правительств». Этот пункт соглашения 1924 г. означал, что все противоречия между русскими и китайскими членами Правления дороги пришлось бы решать дипломатическим путем. В результате получилось так, что деятельность дороги стала предметом нескончаемых дипломатических споров между советским и китайским правительствами в течение всего десятилетнего периода совместного управления КВЖД. Также неясным из договора остался вопрос о выкупе дороги китайской стороной. В соглашении не был предусмотрен принцип, определявший условия и размер выкупа. Говорилось лишь, что «…действительная и справедливая стоимость дороги должна быть определена обеими договаривающимися сторонами». Этот пункт стал впоследствии предметом споров и спекуляций как с советской, так и с китайской стороны.

Советская сторона всячески подчеркивала отличия новой советской политики в отношении КВЖД: полное признание суверенной власти Китая на своей территории, превращение КВЖД в чисто коммерческое предприятие, установление в ее управлении равенства двух сторон и признание за китайским правительством права досрочного выкупа. Харбинская «Новая жизнь» в передовой статье «Доказательство миролюбия» указывала, что китайскому народу надлежит оценить по достоинству миролюбие и бескорыстие советской власти и понять, что политика СССР в отношении Китая диаметрально противоположна «…тем путям, по которым идут остальные державы» [8: с. 2]. Но несмотря на заверения СССР, в отличии царской миролюбивой политики, с самого начала отношения между советской и китайской сторонами складывались весьма непросто. Смелый эксперимент показал опасности и ловушки такого совместного владения КВЖД. Обе стороны подозревали друг друга в превышении полномочий. Советская сторона считала, что китайцы постоянно пытаются помешать работе КВЖД, не оставляют попыток отнять дорогу. Китайская сторона, в свою очередь, была недовольна вмешательством во внутренние дела страны и боялась, как бы вслед за советскими представителями в Маньчжурию не последовали

бы советские войска. Каждая сторона отстаивала свои интересы, примирить которые так и не получилось.

Советская администрация КВЖД прекрасно понимала необходимость держаться линии дружественных отношений с китайскими властями, демонстрируя единство целей советского и китайского народа. В закрытом письме харбинского губкома ВКП(б) отмечалось: «Одно из двух: или мы должны научиться мирно работать с китайцами и, развивая КВЖД, усиливать наше экономическое и политическое влияние в Северной Маньчжурии, или уйти с КВЖД. В противном случае, при первом же нашем осложнении на западе – нас "уйдут" с КВЖД китайцы» [32: с. 173]. Формально паритет на КВЖД соблюдался: число рабочих и служащих было приблизительно одинаково, вся документация велась на русском и китайском языках. Однако руководящие должности занимали в основном советские граждане, а китайцы выполняли в большинстве своем неквалифицированную работу. Так, на 1 января 1927 г. из общего числа 22 405 служащих в Управлении и Правлении дороги работало 2 055 чел., из них 1480 были советскими гражданами, 567 – китайскими, в том числе 291 русского происхождения. На линии работало 20 350 человек, из них 8 945 советских граждан, 9 993 китайских (русских – 985) и 1 412 человек без гражданства [15: с. 2]. Китайская сторона была недовольна составом служб, считая это «умалением» прав китайцев. Для контроля за действиями начальников отделов и служб Управления дороги (начальниками служб были обыкновенно русские, а помощниками – китайцы) китайская сторона предлагала предоставить право вето на любое решение начальника службы или отдела его китайскому помощнику, но так и не добилась принятия этого предложения [28: л. 17].

С советской и китайской стороны главным стало соблюдение равных прав на дороге. Харбинская просоветская газета «Новая жизнь» писала: «Ваши 50 % – ваши 50 %. Но и наши 50 % – не 49, а ровным счетом 50! Нам не нужен 51 %. Но на 49 долей нельзя абсолютно согласиться!» [34: с. 3]. Китайцы также ревностно следили за соблюдением паритета. Когда 1 мая 1925 г. на вокзале Харбина были вывешены флаги, не соответствующие «установленному образцу», – красный флаг СССР с серпом и молотом посередине, а пятицветный флаг китайской республики по краям – китайцы выразили протест. В письме из канцелярии Дубаня (начальника) по делам КВЖД в Правление КВЖД от 15 мая 1925 г. выдвигались требования найти того, кто распорядился изменить установленный образец флага, провести расследование и не допускать произвола, вывешивать только «правильные» флаги – в верхней части – флаг китайской республики, в нижней – Советской России [21: л. 20]. В объяснительной записке от 25 июля 1925 г. начальник службы пути КВЖД, оправдываясь, разъяснял, что 1 мая 1925 г. были вывешены не флаги, а «декоративные панно, состоящие из материи в комбинации цветов, соответствующих флагам СССР и Китая», и никаких намерений исказить флаг не было [21: л. 30]. Во время установленных государственных праздников (а таковыми являлись как советские, так и китайские праздники) на всех зданиях должны были вывешиваться три флага: КВЖД, государственный китайский и советский флаги. Но начальник Департамента народного просвещения Чжан Гочен, в ведении которого были с 1926 г. все железнодорожные школы, разрешил вывешивать советский флаг размером ½ на ¾ аршина, в то время как китайский флаг был размером 2 на 3 аршина. Это, в свою очередь, стало предметом выяснения и разбирательств уже со стороны советского Управляющего дорогой Емшанова [24: л.10].

Совместное советско-китайское управление КВЖД осложнялось неустойчивым политическим климатом в Маньчжурии в этот период. Советским руководителям приходилось лавировать между китайскими коммунистами и реальной властью в лице генерала Чжан Цзолина. Как образно выразился известный эмигрантский публицист Н.А. Цуриков в письме из Праги в Харбин 22 декабря 1926 г., «…поведение "товарищей" на Дальнем Востоке, благодаря близости Чжан Цзолина напоминало больше всего "поведение жениха (скрывающего, что он беглый каторжник) и прикидывающегося до поры до времени – в доме невесты с хорошим приданым – приличным джентльменом"» [23: с.141].

С первых дней совместного управления КВЖД – 3 октября 1924 г. – начались трения между советской и китайской частью Правления. Сразу после подписания советско-мукденского соглашения 1924 г. доктор Ван Цзин-чунь, проработавший на КВЖД 5 лет, заметил, что если «…китайские и русские члены Правления не будут надлежащим образом подобраны и им не будут даны надлежащие полномочия и определенные инструкции относительно направления деятельности дороги, … то много затруднений, несомненно, возникнет» [7: л. 28]. Так оно и случилось. Китайская и советская части правления не могли иметь одного мнения и общей точки зрения по различным вопросам. Китайские члены Правления постоянно подозревали советскую часть в превышении полномочий. Примечательно, что китайцы вступались за незаслуженно, по их мнению, уволенных и лишенных «заштатного пособия» белых русских, усматривая здесь действия «политического характера» [29: л. 134–138].

Самый незначительный вопрос вызывал длительные прения на заседаниях Правления, часть

неразрешенных проблем откладывалась на потом или не решалась вовсе из-за отсутствия кворума из 7 членов Правления. Советские члены Правления часто отсутствовали, иногда одного из них отзывали в СССР, а с кандидатурами новых представителей Москва постоянно затягивала. В одном из японских докладов о положении дел в Маньчжурии говорилось, что такая тактика советской стороны была создана, чтобы «защитить русские интересы против возраставших требований китайцев», воодушевленных «…новым духом республики, выраженным в лозунге «возвращение суверенных прав» [35: p. 33]. Таким образом, работа Правления практически была парализована, оставляя контроль над дорогой в руках советского Управляющего КВЖД, что очень раздражало китайских членов Правления, считавших, что таким образом нарушается паритет. Дело в том, что Управляющий дорогой имел право назначать служащих с окладом до 3 600 рублей в год. Все должности с более высоким окладом утверждались Правлением КВЖД. Но «в интересах дела» Управляющий имел право «допущения» временно к исполнению обязанностей служащих с окладом свыше 3600 рублей и этим правом активно пользовался. Китайская сторона требовала обязательную совместную с Правлением подпись по всем распоряжениям и приказам Управляющего дорогой по личному составу, на что советская сторона возражала, что в таком случае Управляющий не сможет «руководить оперативной деятельностью дороги» [28: л. 14]. Также китайцы хотели ограничить функции Управляющего дорогой, связанные с финансовыми операциями дороги, – сношения с банками по хранению денежных сумм, валютные операции, заключение займов, выдача ссуд. Китайское требование о подписи чеков Управляющим совместно с Главным контролером дороги (с 1926 г. – китайцем), вызвало протест советской стороны: «логический абсурд», «возмутительное требование», «средство для терроризирования советской стороны» [28: л. 15]. Таким образом, слабость Правления, зависимость его от советского и китайского правительств, отсутствие четкой единой политики в отношении развития КВЖД, противоречия внутри высшего руководства привели к возникновению серии конфликтов между советской администрацией и китайскими властями.

В январе 1926 г. китайскими властями был арестован Управляющий дорогой А.И. Иванов, были закрыты советские профсоюзы, и нарком иностранных дел Чичерин оценил это как «грубейший вызов по отношению к СССР» [10: с. 75]. В сентябре 1926 г. китайцы взяли речной флот КВЖД, а Учебный отдел КВЖД перешел под китайское управление. Летом 1927 г. мукденское правительство потребовало от Правления КВЖД передать денежные средства дороги (около 300 млн. иен) на «хранение» в Китайский банк в Маньчжурии. Советская сторона расценила этот шаг как прямую подготовку к захвату КВЖД. По временному соглашению от 13 августа 1927 г. советское правительство сочло возможным передать «на хранение» половину денежных средств КВЖД в маньчжурские банки [12: л. 86]. Таким образом, денежные средства дороги хранились на текущих счетах в китайских и советских банках. В начале 1929 г. была закрыта газета советских граждан «Молва», захвачена харбинская телефонная станция. 27 мая 1929 г. был совершен налет на советское консульство, а в июле захвачен телеграф КВЖД, прервана связь с СССР, смещено советское руководство дорогой.

С приходом на КВЖД советские управленцы делали акцент на противопоставлении старой российской политики «безудержного грабежа и эксплуатации населения» и новой политики, основанной на дружественных отношениях и открывающей «широкие перспективы экономического и политического сотрудничества с Китаем». Напротив, китайские власти в ОРВП не верили в искренность часто повторяемых слов о дружбе советских представителей и считали, что КВЖД является источником «…систематического кормления большевизма и разрушения китайского авторитета» [27: л. 249]. Китайские интеллектуалы писали о новом, «советском» империализме в Северной Маньчжурии, о «советской агрессии, осуществляемой под маской «мирного сосуществования» [33: с. 20]. Советчиков подозревали в готовящемся новом захвате Маньчжурии. И небезосновательно: Харбин и полоса отчуждения КВЖД были наводнены советскими агентами различных разведок. Члены Правления КВЖД Д.Д. Киселев, А.Я. Грандт, А.И. Геккер, Б.Н. Мельников и другие были связаны с советскими спецслужбами [31: с. 138–140]. Генеральное консульство СССР в Харбине было центром резидентуры советской военной разведки. На различных должностях на КВЖД, в Торгпредстве, советских представительствах различных кампаний находились советские разведчики. Один из них, И.Ц. Винаров (псевдоним «Ванко»), проработавший на «спецработе» в Харбине 3 года, писал потом в своей автобиографии: «Главная работа была сосредоточена на подготовке к конфликту как с китайцами, так и с японцами. Она заключалась в подготовке боевых групп и устройстве тайников, где мы хранили оружие и взрывматериалы. Во время конфликта на КВЖД все это было использовано, т. е. люди, оружие и взрывматериалы. Вели также большую работу по использованию китайских партизан «хунхузов» против реакционно настроенных китайских генералов» [3: с. 135]. Не

удивительно, что популярными лозунгами среди китайцев были «долой империализм» и «долой коммунизм».

Неприязнь китайских властей к советским гражданам в ОРВП была весьма ощутимой. Все советские организации в Маньчжурии, особенно профсоюзные, как единственные легальные, постоянно испытывали давление со стороны китайских властей, недовольных «красной активностью» в Китае. Во всех советских гражданах китайская администрация видела агентов Коминтерна. С декабря 1924 г. были начаты полицейские преследования – закрыты местные профсоюзные комитеты на станциях КВЖД, арестованы профработники, изъята коммунистическая литература и плакаты из библиотек и красных уголков. Была закрыта советская газета «Трибуна». В сентябре 1925 г. генерал Цзинь – начальник Главного полицейского управления ОРВП[1] – издал приказ о самоликвидации профсоюзов, так что 3 съезд профсоюзов КВЖД был проведен 19–21 сентября нелегально. В январе 1926 г. на основании распоряжения китайских властей были закрыты все профессиональные союзы за «пропаганду большевизма» и «противозаконные замыслы», арестован весь состав ответственных работников Дорпрофсожа. За период с 1 августа 1928 г. по 20 мая 1929 г. на КВЖД было произведено 15 обысков в учреждениях союза и арестовано 37 человек [14: л. 3]. Необходимо отметить, что аресты членов профсоюза и закрытие месткомов и клубов приносили китайцам ощутимые дивиденды, так как за освобождение профработников или открытие профсоюзного учреждения необходимо было откупаться – официально штрафом или неофициально взяткой. А так как «наводчиками» и главными консультантами китайцев были бывшие белые офицеры, служившие в китайской полиции, это противостояние носило политический оттенок, а также позволяло сводить счеты с идеологическими противниками.

Советская пресса писала о произволе китайских властей в том стиле, что «…враждебные к СССР империалистические силы стремились вызвать обострение отношений между СССР и Китаем» [11: с. 36]. Между тем не только на официальном, но и на бытовом уровне отношения между русским населением и особенно китайскими военными, были напряженными. Китайские полицейские и солдаты в основном на линии вели себя нагло и безнаказанно. В Управлении КВЖД в службе общих дел существовал специальный отдел происшествий, который фиксировал различные конфликты на КВЖД. Заведующий отделом Н. Афанасенко составлял сводки о нарушении чинами охранных войск железнодорожных правил. За 1926–1928 гг. было зафиксировано 1 862 нарушения правил китайскими военными и полицейскими, в том числе безбилетный проезд по железной дороге, нарушение санитарных правил, самовольное занятие квартир и зданий, принадлежавших дороге, порча пути, дорожных сооружений, воровство топлива, продовольствия и железнодорожного имущества. Отдельной строкой заполнялись случаи самоуправства и применения насилия по отношению к агентам дороги. Таких случаев за указанный период было 279 [подсчитано по: 22]. Вот отдельные примеры из списка: «27 января 1925 г. на ст. Мейшацзы китайские солдаты местной охраны целыми толпами посещали станционные помещения и бесцельно пользовались жезловыми телефонами. А на замечания агентов дороги отвечали дерзостями. Кроме того, один из солдат расположился в комнате дежурной по станции с постелью и, заняв стол в товарной конторе, устроил там картежную денежную игру» [22: л. 21]. Еще один характерный пример «дерзкого», с точки зрения советской администрации, поведения китайцев: «6 августа 1926 г. на перегоне Харбин-Ашихе в поезде № 26 китайский офицер 19 полка Чжан-жин-ван, желая получить место для себя и другого офицера, стал толкать пассажира – служащего дороги Чернецкого, требуя, чтобы последний уступил им свое место» [22: л. 76]. Рядовыми были случаи избиения агентов дороги китайцами. Так, 26 мая 1927 г. на станции Мулин комендант поезда Юй в конторе станции «нанес стеком побои дежурному по станции Савченко». 9 июня 1927 г. на ст. Аньда при посадке на поезд № 24 солдатами был избит кондуктор Прокопчук за то, что «не позволил солдату погрузить корзину с курами» и т. д. [22: л. 133–134].

В Управление КВЖД, Дорком, Генеральное консульство СССР в Харбине поступали неоднократные жалобы на избиения советских граждан китайцами. Заведующий опытным полем КВЖД на ст. Эхо А.Д. Воейков вступился за дачницу, с которой грубо обошелся нетрезвый китайский полицейский, ударивший хлыстом ее детей. Тогда полицейский начал избивать Воейкова, позвав на помощь трех китайских солдат. Его «избивали кулаками, пинали ногами и били железной палкой» [13: л. 66]. На ст. Пограничная 8 марта 1925 г. были избиты кондукторы поезда, граждане СССР Ф. Шипилов и

[1] ОРВП – Особый район Восточных Провинций Китайской республики – был образован в 1920 г. Так стала называться полоса отчуждения КВЖД. В 1923 г. здесь проживало 238 тыс. человек, из них китайцев – 133 700 (56 %), русских – 98 994 (41 %), прочих – 5 384 человека [18: с. 3]. Во главе ОРВП стоял Главноначальствующий ОРВП, официальным печатным органом была газета «Гун-бао», издававшаяся на русском и китайском языках.

П. Янко. Китайские солдаты вскочили в пассажирский поезд без билетов, и кондукторы пытались их вывести из вагона. Тогда их стали пинать, избили ремнями, прикладами, отвели в казарму, связали руки за спиной и подвесили к потолку, избивая ремнями. Затем заставили нести носилки с китайскими солдатами до поезда [19: л. 58]. 28 февраля 1926 г. билетер клуба на ст. Аньда Мамаев не пропустил китайских торговцев на киносеанс без билета. За это он, его жена, стрелочник Линник были избиты китайскими полицейскими [20: л. 13]. Подобные случаи были нередки. Вот, например, заявление в Генеральное консульство СССР в Харбине от граждан СССР, проживавших на станции Мяньдухе КВЖД, от 4 мая 1926 года: «Местные китайские власти всячески издеваются над нами. <…> Сплошь и рядом обращение с нами носит характер ненависти и недружелюбия. Терпению нашему наступил конец. < …> Китайские полицейские в стенах клуба ведут себя безобразно. Являясь всей командой, занимают проданные места, во время действия громко разговаривают, курят и ругаются. В клубе не разрешают читать газеты, играть в шахматы и проводить репетиции для спектаклей. <…> Мы требуем заставить их (китайских властей – М.К.) видеть в нас не скотов, а свободолюбивых граждан величайшей в мире Республики, еще не утративших своего человеческого достоинства» [20: л. 37–39]. О подобных случаях – обысках, арестах, избиениях – сообщал в своих телеграммах в Москву корреспондент ТАСС, об этом же много писал в своей книге В. Аварин (В.Я. Аболтин), работавший генеральным консулом в Харбине в 1927–1928 гг. [30: л. 50–176; 2: с. 238–250]. В связи с тем, что советское правительство отказалось от прав экстерриториальности своих граждан на территории Китая, по отношению к советским гражданам применялась китайская юрисдикция и китайское гражданское и уголовное законодательство, а это, в свою очередь, чрезвычайно затрудняло защиту прав советского населения в Маньчжурии.

Нельзя сказать, что китайские власти относились враждебно только лишь к советским гражданам. Генерал А. Сычевский, зам. председателя «Общества русских эмигрантов в Трех Восточных провинциях», писал в 1927 г. об «остром недружелюбии большинства влиятельных китайских властей к каким-либо русским патриотическим начинаниям». «Одинаково нерасположенные к русским как белого, так и красного стана, последним китайцы все же мирволят из-за тех больших материальных выгод текущего момента, которые они, за счет России, легко добиваются у этих "калифов на час", в то время как в белых, несмотря на всю их теперешнюю бесправность, они безошибочно угадывают будущих хозяев великой страны… Китайцы определенно не намерены облегчать работу белых» [17: л. 31].

Пиком обострения советско-китайских отношений был 1929 г. 27 мая 1929 г. в помещение генерального консульства СССР в Харбине внезапно ворвался отряд китайской полиции. Был произведен обыск, в результате которого полиция забрала часть консульской переписки (часть бумаг успели сжечь) и арестовала всех находившихся на тот момент посетителей – 39 человек советских граждан. Среди них были служащие КВЖД (П. Гоцуляк, И. Гончаров, Ф. Станкевич, П. Бидишев, П. Таранов, К. Дробинский, Г. Коляда) и служащие в советских конторах – В. Цимбаревич – зав. Дальгосторгом, К. Петров – коммерческий агент Нефтесиндиката, М. Кандер – управляющий приисками «Союззолото» и другие. На другой день после обыска полиция опубликовала заявление относительно обнаруженного ею «заседания III Интернационала», якобы происходившего в подвале консульства. Позднее в «Обвинительном акте и приговоре по делу советских граждан, арестованных при обыске в советском консульстве» были приведены подробности обыска консульства: «На месте было обнаружено большое количество документов и официальных бумаг и остатки от бумаг сожженных (тайных телеграмм между Харбином и Москвой – содержанием этих телеграмм является предписание о создании в Нанкине и Мукдене и др. местах партии террористов с целью препятствовать объединению Севера и Юга Китая). Помимо этого в канцелярии были обнаружены револьверы, патроны, книги и бумаги для пропаганды коммунизма». Все задержанные были признаны судом «виновными в устройстве незаконного коммунистического собрания, целью которого была разработка ряда действий, направленных против китайской революции» и осуждены на различные сроки каторжной тюрьмы – от 2 до 9 лет [25].

После налета на советское консульство в местной прессе стали появляться статьи о возможном переходе КВЖД в китайские руки. Так, например, харбинская газета «Русское слово» в номере от 2 июня 1929 г. в статье под заголовком «В китайских кругах» отмечала, что «вещественные доказательства и документы, изъятые при обыске в совконсульстве, по убеждению тех же кругов, повелительно выдвигают вопрос о возглавлении управления дорогой китайцем. Данные обыска с неоспоримой убедительностью доказывают, что советский подданный на посту управляющего КВЖД не свободен от преступных посторонних влияний. Хозяйничанье Коминтерна на дороге не только находится в вопиющем противоречии с задачами КВЖД как коммерческого предприятия, но и создают прямую, непосредственную и посто-

янную угрозу государственному порядку и безопасности Китая» [6: с. 3].

Советско-китайский конфликт на КВЖД был последней точкой в нарастающем напряжении между СССР и Китаем. 10 июля 1929 г. китайские власти захватили телеграф КВЖД, прервав телеграфное сообщение с СССР, закрыли и опечатали торговое представительство СССР, а также отделения Госторга, Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. Советские сотрудники дороги, занимавшие руководящие посты, были отстранены от работы, профессиональные и кооперативные организации рабочих и служащих дороги были закрыты, были произведены обыски и аресты граждан СССР. Временно исполняющим обязанности Управляющего КВЖД на основании приказа Главного правителя (Дубаня КВЖД) был назначен член Правления инженер Фань Цигуан [1: с. 203].

Чан Кайши, выступив 15 июля 1929 г. на заседании ЦИК Гоминьдана, подчеркнул: «Между Китаем и Россией имеется много неразрешенных проблем, ожидающих теперь своего решения. Относительно КВЖД советское правительство неоднократно заявляло о своем намерении передать эту дорогу Китаю, но фактически оно только стремилось закрепить свое положение на ней. «Красный» империализм является поэтому более трудным, чем империализм «белый», так как наличность первого более трудно установить. <…> Кроме КВЖД, имеются и многие другие важные китайско-русские вопросы, подлежащие разрешению между двумя правительствами. <…> Мы хотим, однако, взять сначала КВЖД, прежде чем приступить к другим вопросам» [3: с. 313–314].

Китайцев поддерживали местные эмигрантские организации, считавшие, что присутствие большевиков на КВЖД всегда будет раздражающим фактором для Китая, а КВЖД в случае совместного управления будет вечным «яблоком раздора», «пороховым погребом» и очагом конфликтов. Во время конфликта Д.Л. Хорват ответил на вопросы анкеты одной из эмигрантских газет. В числе других вопросов были: «Полагаете ли Вы, что китайцы должны получить полное или частичное управление дорогой?»; «Полагаете ли Вы, что китайцы способны хорошо управлять дорогой без посторонней помощи?»; «Полагаете ли Вы, что советская Россия должна иметь долю в дороге?» и т. д. Отвечая на вопросы, глава русской эмиграции на Дальнем Востоке отмечал, что опыт совместного руководства дорогой показал невозможность такого управления. Во-первых, считал он, никакие доводы не заставят агентов СССР прекратить их «разрушительную работу» в Китае в интересах русской революции, и резкие меры Китая против большевиков вполне оправданы. Во-вторых, Китай не может успешно эксплуатировать КВЖД вследствие незначительности технического персонала. Вообще, лучшим способом разрешения вопроса о КВЖД Хорват считал досрочный выкуп ее Китаем, или восстановление общества КВЖД на прежних основаниях (т. е. до 1924 г.) [9: л. 7].

Конфликт закончился подписанием в декабре 1929 г. Хабаровского протокола и сохранением существующего положения на КВЖД, но отношения между советской и китайской администрацией становились все более напряженными. Дорога становилась источником постоянных конфликтов в Северной Маньчжурии, так что на советско-китайской конференции в конце1930 г. был поднят вопрос о продаже КВЖД Китаю. Но цена, предложенная китайской стороной, не устраивала советских представителей [4: с. 741]. На конференции советской делегацией были подняты все спорные вопросы, которые возникли за период совместного управления: финансовое положение КВЖД, кредитование китайских правительственных учреждений и перевозки охранных войск, деятельность канцелярии Председателя Правления КВЖД, деятельность железнодорожной полиции и нахождение на службе в ней бывших подданных Российской империи, создание нормальных условий работы служащих КВЖД – советских граждан, школы КВЖД, раздел прибылей от дороги, размежевание земель КВЖД, возврат дороге отобранного у нее имущества, зданий и средств, пересмотр устава и контракта на постройку и эксплуатацию КВЖД и другие вопросы [16: с. 788]. Ни один из этих вопросов так и не был решен. Переговоры не были закончены в связи с оккупацией Маньчжурии. Следствием таких отношений была позиция СССР по отношению к оккупации Японией Маньчжурии в 1931 г. Л. Карахан в беседе с Мо Дэ-хоем (Председателем правления КВЖД) 26 сентября 1931 г.а отметил: «Исторически два государства (СССР и Китай – М.К.) близки друг к другу, согласно китайской пословице, «как губы и зубы». За последнее время несчастные инциденты оказали неблагоприятное влияние на взаимоотношения между СССР и Китаем, и это было важным импульсом для Японии. Если бы в отношениях между СССР и Китаем существовали бы контакт и дружба, это, по меньшей мере, должно было бы уменьшить или уничтожить агрессию Японии» [5: с. 544]. Советский Союз заявил о политике невмешательства в события в Маньчжурии, не имея желания и возможностей поддержать китайцев, которые не симпатизировали коммунистическим идеям. С этим было связано также воодушевление части русского населения при встрече японских войск. Таким образом, русские, уставшие от насилия и произвола китайских властей, рассчитывали на наведение порядка японской администра-

цией. Большинство русского населения надеялось, что японский порядок будет предпочтительнее, чем китайский. Однако эти надежды не оправдались. Оккупация Японией Маньчжурии и создание нового государства Маньчжоу-Го привели к началу переговоров советского правительства с Японией о продаже своих прав на КВЖД. Переговоры длились около трех лет и завершились подписанным 23 марта 1935 г. в Токио договором о продаже КВЖД.

Таким образом, заявленное как новый этап в советско-китайских отношениях, совместное управление КВЖД в 1924–1935 гг. привело к дальнейшему обострению отношений между СССР и Китаем. Советский Союз рассчитывал на благодарность со стороны китайцев за отказ от прежних привилегий, но наткнулся на непонимание и раздражение. Более того, расценив политику СССР как слабость, Китай настойчиво стал расширять свои права и при каждом удобном случае напоминать, кто здесь хозяин. Каждая сторона преследовала свои цели, не соблюдая пункты соглашений 1924 г., обвиняя друг друга в нарушении статей договора. Напряжение росло, и привело в конечном итоге к потере КВЖД как китайской, так и советской стороной.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. *Аблова, Н.Е.* КВЖД и российская эмиграция в Китае: Международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.) / Н.Е. Аблова. – М. : НП ИД «Русская панорама», 2004. – 432 с.

2. *Аварин, В.Я.* Империализм в Маньчжурии / В.Я. Аварин. – Т.1. – М.– Л. : Соцэкгиз, 1934. – 415 с.

3. *Алексеев, М.* Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты» (1922–1929) / М. Алексеев. – М. : Кучково поле, 2010. – 608 с.

4. Запись беседы Л.М. Карахана и Мо Дэ-хоя 18 декабря 1930 г. // Документы внешней политики СССР (ДВП СССР). – Т. 13. – М., 1967. – С. 737–742.

5. Запись беседы Л.М. Карахана и Мо Дэ-хоя 26 сентября 1931 г. // ДВП СССР. – Т. 14. – М., 1968. – С. 542–545.

6. В китайских кругах // Русское слово (Харбин). – 1929. – 2 июня. – С. 3.

7. Ван Цзин-чунь. Китайская Восточная железная дорога. // Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ «Петергоф»). – Ф. «Архив музея семьи Бенуа». – ПДМБ 5058-ар. – Л. 1–30.

8. Доказательство миролюбия // Новости жизни (Харбин). – 1925. – 10 марта. – С. 2.

9. Из личных бумаг Д.Л. Хорвата // ГМЗ «Петергоф». – Ф. «Архив музея семьи Бенуа». – ПДМБ 5059-ар. – Л. 1–12.

10. Интервью Наркома иностранных дел СССР Чичерина представителям советской печати 4 февраля 1926 г. // ДВП СССР. – Т. 9. – М., 1964. – С. 75–77.

11. Китайская Восточная железная дорога. К событиям 1929 года. – Хабаровск : Тип. «Книжное дело», 1929. – 45 с.

12. Краткий исторический обзор о Китайской восточной железной дороге. 1896–1935. – Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 323. – Оп. 11. – Д. 1. – Л. 1–120.

13. Личное дело бывшего работника КВЖД А.Д. Воейкова. – РГИА. – Ф. 323. – Оп. 9. – Д. 879. – Л. 1– 205.

14. Материалы по истории работе профсоюзов ОРВП. 1922– 1929. – РГИА. – Ф. 323. – Оп. 3. – Д. 4. – Л.1–15.

15. На КВЖД // Гун-бао (Харбин). – 1927. – 4 января. – С. 2.

16. О работе советско-китайской конференции 1930 г. // ДВП СССР. – Т. 13. – М., 1967. – С. 787–788.

17. Общество русских эмигрантов в трех восточных провинциях Китая. Исторический очерк. 1923–1927 / Сост. ген. А. Сычевский // ГМЗ «Петергоф». – Ф. «Архив музея семьи Бенуа». – ПДМБ 2425-ар. – Л. 1–52.

18. Особый район Восточных провинций Китайской республики. Справочные сведения об административном и судебном устройстве района. – Харбин : Тип. тов-ва «Печать», 1927. – 323 с.

19. Переписка об арестах профработников КВЖД. 1924– 1925. // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 3. – Д. 49. – Л. 1– 162.

20. Переписка об арестах профработников КВЖД. 1926. // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 3. – Д. 31. – Л. 1–173.

21. Переписка с Управлением КВЖД об урегулировании конфликтов с китайскими властями. 1925–1926 // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 4. – Д. 313. – Л. 1–50.

22. Перечень конфликтов, происшедших на КВЖД с 1926 по 1928 гг. // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 4. – Д. 340. – Л. 1–199.

23. Письмо Н.А. Цурикова Н.В. Устрялову 26 декабря 1926 г. // Вопросы истории. – 2000. – № 2. – С. 140–142.

24. Проект соглашения о школах КВЖД для граждан СССР в ОРВП. 1929 г. // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 4. – Д. 428. – Л. 1–15.

25. Процесс 38. Стенограмма процесса 38 советских граждан, арестованных при налете 27 мая 1929 года на советское консульство в Харбине, ОРВП. – Харбин : Изд. «Харбин обсервер», 1929. – 258 с.

26. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Автономных Трех Восточных Провинций Китайской Республики 20 сентября 1924 г. // ДВП СССР. – Т. 7. – М. : Гос. изд-во политической литературы, 1963. – С. 459–465.

27. Список членов железнодорожной полиции КВЖД, враждебных СССР // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 10. – Д. № 41. – Л. 1–251.

28. Справки о паритетном вопросе. 1929 год. // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 4. – Д. № 433. – Л. 1–35.

29. Стенограммы заседаний Правления КВЖД. 1924– 1925 гг. // РГИА. – Ф. 323. – Оп. 4. – Д. 282. – Л. 1–478.

30. Телеграммы ТАСС из Харбина. 1924– 1928 гг. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. Р-4459. – Оп. 2. – Д. 314. – Л. 50–176.

31. *Усов, В.Н.* Советская разведка в Китае. 20– е годы XX века / В.Н. Усов – М.: «Олма-Пресс», 2002. – 384 с.

32. *Фукс, М.В.* Роль региональных властных структур во внешней политике Советской России на Дальнем Востоке 1920-х гг. / М.В. Фукс // Русский исторический журнал. – 1988. – № 2. – С. 172–180.

33. *Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши).* Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет / Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). – М. : Посев, 2009. – 440 с.

34. *Шейнфельд, О.* КВЖД – общее достояние СССР и Китая // О. Шейнфельд / Новости жизни (Харбин). – 1925. – 9 февраля. – С. 3.

35. Third Report on Progress in Manchuria to 1932. 1907–1932. – Dairen : The South Manchuria Railway, 1932. – 235 p.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ АМУРСКОГО КАЗАЧЕСТВА С ФЕВРАЛЯ 1917 ПО АПРЕЛЬ 1918 гг.

О.М. Морозова

Морозова Ольга Михайловна – аспирант кафедры истории Благовещенского государственного педагогического университета.

Контактный адрес: Duginec2008@yandex.ru

В статье анализируются основные тенденции развития политических настроений амурского казачества в период, охватывающий время от падения самодержавия до подавления гамовского мятежа в г. Благовещенске. Автор, привлекая архивные источники и рассматривая положение об активной роли амурского казачества в революционных событиях 1917–1918 гг. в Амурской области, прослеживает основные этапы и формы трансформации взглядов амурских казаков на складывающуюся политическую ситуацию, их участие и роль в событиях данного периода времени.

Ключевые слова: Амурское казачье войско, революционные события, Амурская область, съезды.

К середине XIX в. в результате целенаправленной государственной политики казачьи войска превратились в сложную, замкнутую военно-хозяйственную систему. Амурское казачье войско не представляло в этом плане исключения. Несмотря на то, что амурское казачество в своем развитии прошло сравнительно небольшой исторический отрезок времени и по хозяйственному положению практически не отличалось от крестьянского населения области, оно обладало собственной региональной спецификой, менталитетом, культурой, традициями самоуправления, и к 1917 г. представляло собой своеобразную, достаточно консервативную часть населения области. Но вместе с тем казачество, наряду с другими группами населения, активно откликнулось на революционные события 1917–1918 гг.

К 1917 г. в казачьей среде достаточно четко стало проявляться социальное и экономическое расслоение, а недостаток рабочих рук, усугубляемый тяготами несения службы и непрекращающейся мировой войной, привел к ухудшению хозяйственного положения, усилению недовольства в среде казаков. Поэтому вполне закономерным было принятие амурскими казаками февральских событий 1917 г. в качестве естественного разрешения назревших проблем и признание Временного правительства законной властью [5: л. 1].

21 марта в Благовещенске открылся съезд представителей Амурского казачьего войска, на котором в полной мере проявились революционные настроения казачества. Открыл съезд А.А. Вертопрахов, бывший делегат I казачьего съезда, состоявшегося в 1905–1906 гг., председателем был избран Н.Г. Кожевников.

Работа съезда проходила по радикальной программе: был отстранен от должности наказного атамана и председателя Правления казаков полковник В.С. Филинов, уволен член Правления есаул Г.С. Толстокулаков, упразднялись должности начальников полицейских участков на войсковой территории [8: с. 98].

Центральное место на заседании съезда 11 апреля 1917 г. было отведено обсуждению вопроса о будущем политическом устройстве. Исходя из того, что духовные, экономические и гражданские интересы амурского казачества, а также всего населения Российского государства, тесно связаны с формой государственного устройства, съезд высказался за демократическую республику как форму государственного правления, наиболее полно выражающую принцип народовластия, и созыв Учредительного собрания [3: л. 2].

Приверженность идеям народовластия проявилась и при обсуждении вопроса об отношении к Всероссийскому казачьему съезду. Так, признавая участие во Всероссийском Союзе казаков весьма желательным, съезд заявил о своей готовности содействовать задачам и целям Союза только в том случае, если деятельность казачьей организации не будет противоречить общегосударственным интересам и политическим задачам момента [3: об. л. 2].

В связи с решением об отмене всех сословных ограничений, перед делегатами стояла проблема определения дальнейшей судьбы казачьего сословия. Взгляды делегатов по этому вопросу оказались весьма противоречивыми. Учитывая, что в наказах ничего не говорилось об упразднении казачьего сословия, съезд решил передать обсуждение этого вопроса на места [6: л. 1]. Для проведения референдума среди населения была избрана специальная комиссия во главе с П.В. Поповым, делегатом первого съезда [12: с. 52].

Оценивая работу съезда, следует отметить непоследовательность казачьих представителей в решении ряда вопросов. Так, решением съезда был создан исполнительный комитет казачьего войска, председателем которого был избран рядовой казак С.Ф. Шадрин, однако, сохраняло свою деятельность и Войсковое правление. В связи с тем, что съезд проводился поспешно, многие вопросы казачьей жизни остались неразрешенными. Вместе с тем итоги его работы свидетельствовали о росте

революционных настроений среди казачества, его стремлении слиться с общедемократическим движением. Заметно было стремление части населения войска к расказачиванию, в котором проявлялась надежда рядового казачества на отмену многих сословных обязанностей и улучшение жизни.

Для борьбы с подобными настроениями Временное правительство, видевшее в казаках свою опору, проводило политику всяческой поддержки сторонников сохранения казачества как сословия. Учитывая, что большое значение для казачества имеет земельный вопрос, то 3 апреля 1917 г. в своем воззвании правительство объявило о неприкосновенности прав казаков на землю [10: с. 46–50].

Предваряя решения III съезда Амурского казачьего войска, назначенного на август, в мае–июле 1917 г. население войска активно обсуждало важнейшие вопросы жизни казачества. Среди казачьего населения были проведены хуторские и станичные сходы для выбора делегатов на будущий Войсковой круг и выработки общественных приговоров, в которых должны были отразиться взгляды населения на вопросы: о дальнейшем существовании казачества как сословия, о введении земства в Амурском казачьем войске, представительстве амурского казачества в Совете Союза казачьих войск.

Несмотря на революционные настроения и готовность откликнуться на новые политические условия жизни, казачество в большинстве своем не желало отказываться от своего почетного звания и сословных привилегий. Кроме того, политика Временного правительства, общая ситуация в стране и усиленная агитация сторонников сохранения казачества как сословия повлияли на настроения основной массы казачества, перелом в которых наглядно проявился летом 1917 г.

Изменению взглядов казаков на расказачивание способствовали и решения Всероссийского казачьего съезда, открывшегося в Петрограде в июне 1917 г. На съезде Временное правительство получило всемерную поддержку. Союз выступил за неприкосновенность казачьего уклада, оставление в неотъемлемой и неприкосновенной собственности каждого казачьего войска его земель и угодий со всеми недрами [10: с. 50–51].

В таких условиях, обсуждая вопрос о существовании казачества как отдельной сословной единицы, населением станиц и хуторов Амурского казачьего войска были приняты решения: сохранить казачество (Игнашинский, Николаевский, Константиновский, Поярковский станичный округа, комитеты 1-го и 2-го Амурских казачьих полков); сохранить казачество с предоставлением ему некоторых преимуществ, заключающихся в том, чтобы действительную службу определить наравне с солдатами, но отбывать ее в отношении призыва годов на существующих положениях в казачестве, обмундирование и снаряжение, а также лошадей заводить всецело за счет казны (Черняевский, Михайло-Семеновский станичные округа); сохранить казачество, но с условием содержания снаряжения и обмундирования за счет казны (Екатерининская станица, Кумарский, Албазинский станичные округа); сохранить лишь названия казаков с предоставлением им права служить отдельными казачьими частями с заведением обмундирования, снаряжения и строевых лошадей за счет казны (Иннокентьевский станичный округ); отложить решение этого вопроса до окончания мировой войны и возвращения с фронта казачьих частей (хутор Сгибневский Игнашинского станичного округа); упразднить казачество и слиться со всем населением России (Екатерино-Никольский, Пашковский станичные округа).

Исторически в казачьей среде, независимо от географии расположения отдельных войск, складывались традиции самоуправления, отличавшие его от остального населения. Летом 1917 г. перед казачеством встал вопрос о выборе новой формы управления в войске и области, введении земства. На хуторских и станичных сходах повсеместно было принято решение просить съезд казачьих депутатов ввести земство в Амурском казачьем войске. Население войска высказывалось за различные формы земского управления. Предлагалось ввести свое земство, не сливаясь с крестьянским (Поярковский станичный округ); образовать совместное с крестьянским населением областное и волостное земство в двухстепенном смысле, при этом уничтожить Войсковое хозяйственное правление (Екатерино-Никольский, Албазинский станичные округа); ввести трехстепенные земства (областное, волостное и уездное) (Пашковский, Константиновский, Иннокентьевский станичные округа); создать трехстепенные земства – областное, уездное и станичное (в казачьих округах) с функцией уездного земства при Войсковом Правлении, если казачье сословие не будет упразднено (Кумарский станичный округ); предоставить право выбранным делегатам согласовать этот вопрос на общем казачьем съезде (Михайло-Семеновский станичный округ) [6: л. 15–98].

Таким образом, решения хуторских и станичных сходов, хотя и отразили готовность к реформированию основ самобытной казачьей жизни, но вместе с тем обозначили значительный спад массового демократического движения в казачьей среде под влиянием политики, направленной на сохранение и поддержку казачества со стороны Временного правительства.

6–13 августа 1917 г. в Благовещенске работал III Войсковой съезд Амурского казачьего войска. Проходил он под лозунгом доверия Временному правительству. В работе съезда участвовали 46 делегатов из общего числа 52, в которых 41 являлись представителями от станиц, 10 от фронтовых час-

тей и 1 от запасной сотни. Председателем снова был избран Н.Г. Кожевников, который в приветственной речи указал на третий съезд как учредительный. Этот съезд должен был разрешить назревшие текущие вопросы и выбрать кандидата в Учредительное собрание.

Рассматривая вопрос о дальнейшем существовании казачества как отдельной сословной единицы, Круг заслушал доклад П.В. Попова (делегированного вторым казачьим съездом в Петроград) о работе комиссии по референдуму, решающего судьбу казачьего войска. Все делегаты от округов и фронта высказали пожелание сохранить казачество на основах, выраженных в резолюции делегата Иннокентьевского округа Н.Г. Кожевникова. Съезд постановил сохранить казачество, как особую от прочего населения группу, имеющую свои культурно-бытовые, исторически сложившееся особенности. Принимая это решение, съезд указывал:

- во-первых, российское казачество, в том числе и Амурское, не является сословием с особыми правами и преимуществами;
- во-вторых, казачество как исторически особая бытовая группа, а не сословие, не несет в себе ничего противоречащего задачам и требованиям революции;
- в-третьих, казачество всегда было и будет оплотом вольности, порядка и закона, а в настоящий момент казачество является одной из главных опор государства и нового строя.

Вместе с тем Круг заявил, что амурское казачество, будучи частью трудового русского народа, в деле государственного строительства и защиты свободы и завоеваний революции – пойдет вместе со всем русским трудовым народом [4: л. 19 – об. л. 19].

На заседании 9 августа обсуждался вопрос о введении земства на территории Амурского казачьего войска. Съезд счел необходимым ввести в области, кроме мелких земских единиц и областного земства, еще и систему уездных земств с выделением территории Амурского казачьего войска и вкрапленных в нее крестьянских селений в особое уездное земство. Таким образом, казачий съезд высказался за трехстепенное земство для Амурской области. Впредь до решения вопроса о создании уездных земств в области было принято решение сохранить существующую систему управления войском и поручить Войсковому Правлению и Исполнительному комитету собрать следующий IV Войсковой съезд на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования [4: л. 26–27].

После обсуждения вопроса о выборах в Учредительное собрание, президиуму III съезда Амурского казачьего войска было поручено поддержать перед Временным Правительством ходатайство Совета рабочих и солдатских депутатов и Городской думы о том, чтобы Амурская область была выделена в особый избирательный округ с тремя депутатами.

Председателем Войскового Правления вновь был избран И.М. Гамов. Было решено совместить должности наказного, войскового атамана и председателя войскового правления и впредь именовать «войсковой атаман Амурского казачьего войска». В состав войскового правления были избраны казаки А.М. Воротников, Ф.И. Федотов и И.М. Суриков. Председателем нового состава войскового исполнительного комитета был избран П.И. Киберев. С.Ф. Шадрин еще до съезда сложил с себя полномочия председателя в знак протеста против намерения сохранить войско. Представителем в общероссийский Совет союза казачьих войск был избран А.А. Вертопрахов, а кандидатом во Всероссийское Учредительное собрание Н.Г. Кожевников.

В заключение съезд призвал казаков сплотиться в поддержку Временного правительства, идти в контакт с Советами рабочих и солдатских депутатов, Советами крестьянских депутатов [4: л. 28–36].

Таким образом, в работе и решениях III Войскового съезда Амурского казачьего войска в полной мере проявились изменения в настроениях казачьего населения от ликвидации войска к его сохранению, что явилось итогом активной политики Временного правительства в этом направлении.

В целом казачеству удалось весной–летом 1917 г. преодолеть массовое движение за расказачивание, консолидировать свои силы, повысить свой политический статус. Консервативным элементам войска удалось повести за собой основную массу казачества, сохранить его в качестве опоры Временного правительства [10: с. 58].

Это влияние проявилось и в последовательном отношении к складывающейся политической ситуации. Так, подтверждая свое решение о полной поддержке новой власти в лице Временного Правительства, амурское казачество не поддержало попытку государственного переворота генерала Корнилова в августе 1917 г.

Первый Амурский казачий полк, входивший в Уссурийскую дивизию, направленную в составе 3-го конного корпуса генерала Крымова на Петроград, на станции Гатчина–Товарная, узнав об истинных целях передислокации, взбунтовался и образовал свой полковой комитет, отказавшись выступать на Петроград, офицерам было приказано оставаться в штабном вагоне [1: с. 252–253]. Действия казаков полка явно свидетельствовали о росте в их среде революционных настроений, недовольстве командным составом и нежелании участвовать в перевороте.

31 августа 1917 г. командующим Приамурского военного округа К.Н. Хагондоковым, в связи с корниловским выступлением и его попыткой захватить власть, был объявлен приказ по Амурскому казачьему войску, подтверждающий готовность

поддержать Временное правительство от каких бы то ни было посягательств. Приказ призывал Войска округа поддержать Временное правительство, а Совету солдатских и рабочих депутатов приказывалось содействовать командному составу в проведении в жизнь требований закона и указаний Временного правительства [2: л. 2].

Но Временное правительство быстро теряло авторитет. Власти не предпринимали решительных мер для предотвращения нарастающего хозяйственного кризиса и улучшения жизни населения. Несмотря на явную поддержку казачьей верхушкой правящей элиты, в среде рядового казачества все ярче стало проявляться недовольство войсковой старшиной, пытавшейся навязать свое мнение населению, что выразилось в реакции казачества на победу Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 25 октября 1917 г.

Информация о победе восстания и образовании Советского правительства поступила в Благовещенск с двухнедельным запозданием, так как забастовали служащие телеграфа и практически блокировали распространение сведений о победе революции и образовании Советского правительства. И только 11 ноября в Благовещенск с поездом поступили центральные газеты, из которых стало известно о произошедших в столице событиях.

8 ноября 1917 г. в газете «Амурское эхо» был опубликован приказ наказного атамана Амурского казачьего войска И.М. Гамова: «В виду перерыва связи с центральной властью и неизвестности происходящего в России, войсковое правительство в лице войскового комитета и войсковое правление временно взяло всю полноту власти на себя до восстановления законной власти. Поэтому все распоряжения помимо войскового правительства не исполнять» [13: с. 23].

С поступлением центральных газет в Благовещенске на спешно собранном совещании казачьего войскового начальства, городской думы и правых партий был создан областной комитет общественного порядка (КОП) из трех человек: атамана И.М. Гамова, комиссара Амурской области Н.Г. Кожевникова и городского головы Благовещенска А.Н. Алексеевского. Этот триумвират объявил себя высшим органом власти Амурской области [11: с. 150].

В специально принятом обращении к населению от имени КОПа предупреждалось, что любые выступления против власти и порядка будут подавляться вплоть до применения оружия. Атаман И.М. Гамов взял на себя функции высшей военной власти. Войсковое и областное руководство Амурской области отказалось признавать новую власть [12: с. 90]. Но среди населения войска стали проявляться колебания и, вслед за рабочими и крестьянами области, возрастало число сторонников советской власти. Этому способствовали мероприятия Советов, принятие первых декретов: о мире, земле и другие. Особое внимание казаков привлек декрет от 30 ноября об отмене казачьего сословия. Декрет постановил отменить воинскую повинность казаков и заменить постоянную службу краткосрочным обучением при станицах. Кроме того, этим декретом обмундирование и снаряжение казаков принимались на государственный счет. Земельный вопрос было обещано решить на местах в интересах трудового казачества [10: с. 65]. Декрет отвечал чаяниям основной массы казачества, удовлетворял их требования, выдвинутые еще весной 1917 г., что отразилось на увеличении сторонников советской власти среди казачьего населения.

Когда в декабре 1917 – начале 1918 г. была проведена демобилизация старой армии, среди сорока тысяч демобилизованных, вернувшихся на Дальний Восток, были революционно настроенные солдаты и матросы. Это обстоятельство повлияло на распространение среди широких кругов населения области, в том числе и казачьего, революционных взглядов и убеждений. Одновременно этот период характеризуется и ожесточением сопротивления всех противников власти Советов. Об этом свидетельствует и антисоветская направленность IV Войскового съезда Амурского казачьего войска, проходившего в Благовещенске с 17 января по 3 февраля 1918 г.

Съезд открывался председателем Исполнительного комитета III съезда П.И. Кибиревым. Присутствовало 46 делегатов, в том числе – от станиц 35 и 11 от строевых частей.

Обсудив вопрос о текущем политическом моменте, Круг на первом заседании заявил о необходимости перехода всей полноты власти в центре к Учредительному собранию, на местах – к демократическим органам городского и земского самоуправления, в войске власть должна принадлежать Войсковому самоуправлению и его исполнительному органу – Войсковому правительству. Круг не признал Советской власти как не опирающейся на волю всего народа, а основанной на грубой силе штыков [9: с. 1–3].

24 января 1918 г. после рассмотрения вопроса о форме слияния амурского казачества с областным земством, была вынесена резолюция о необходимости создания Войскового земства, с полной автономией своего хозяйства, а также административного управления [9: с. 12–31].

Было решено составить комиссию, которой поручалось немедленно вступить в сношение с местными органами самоуправления по вопросу об организации временной областной власти в связи с текущими событиями. Круг полностью поддержал предложение областной земской управы создать объединенный народный совет. В будущий орган власти были намечены кандидаты: И.М. Гамов, В.Н. Маньков, Н.Г. Сапожников, П.М. Самсонов, В.В. Лопатин и Г.П. Колесников [9: с. 31–35].

Таким образом, несмотря на ряд демократических решений (упразднение чинов как в строевых частях, так и по отношению к военным чиновникам в войске), на которые Съезд был вынужден пойти в новых политических условиях, руководство IV Войскового круга нацеливало казаков на борьбу против власти Советов, сохранение обособленности казачьего населения. В новую войсковую управу вошли лица, известные своими антисоветскими взглядами: Н.Г. Кожевников, П.И. Кибирев, П.М. Самсонов, И.М. Суриков и И.М. Гамов. Атаманом войска снова был избран Гамов. Он же стал и председателем Войсковой управы. Кроме того, среди казачества произошло размежевание между сторонниками и противниками советской власти, обстановка в войске накалялась. Главными сторонниками признания советской власти были казаки-фронтовики, после возвращения с фронта они составили небольшую, но активную группу. Увеличению сторонников Советов способствовало и ухудшение экономического положения рядового казачества, вынужденного нести все тяготы службы и многочисленные повинности и надеявшегося на улучшения своего положения при новой власти.

В условиях ужесточения контрреволюционной обстановки в области и войске особое значение для окончательного решения вопроса о власти приобрел IV областной крестьянский съезд, работавший в Благовещенске с 25 февраля по 4 марта 1918 г.

Съезд провозгласил переход власти в Амурской области к Советам, осудил деятельность исполнительного комитета областного крестьянского Совета, принял решение об упразднении земства, предложил повсеместно создавать вместо земских органов Советы, наметил обширную программу социалистических преобразований в Амурской области. Был избран областной исполнительный комитет, которому съезд поручил взять в свои руки управление всеми делами области. Представителем исполкома стал большевик Ф.Н. Мухин [8: с. 174].

Решения крестьянского съезда послужили сигналом к вооруженному выступлению контрреволюционных сил 6 марта 1918 г. в г. Благовещенске, опирающихся на реакционную часть амурского казачества во главе с атаманом Гамовым. В результате переворота, подавленного сторонниками Советской власти 13 марта, члены земской и городской управ, войскового казачьего правительства бежали на китайский берег. Выступление и разгром контрреволюционных сил в Благовещенске резко изменили общую политическую обстановку на Амуре, обусловили переход основной массы казачества на сторону Советов.

Через две недели после подавления мятежа 31 марта 1918 г. в Благовещенск прибыли делегаты станиц на V Войсковой круг Амурского казачьего войска. На круге было резко осуждено участие атамана и правления войска в выступлении против Советов, постановлено упразднить казачье войсковое сословие и признать единственной властью Советы крестьянских, казачьих, рабочих и солдатских депутатов. Съезд казаков решил в полном объеме слиться с открывающимся 1 апреля в Благовещенске V областным съездом крестьян Амурской области [7: об. л. 1 – л. 2].

Таким образом, к апрелю 1918 г. с установлением власти Советов в Амурской области и переходом казачьей верхушки на китайскую сторону были ликвидированы решения предыдущих казачьих съездов, амурское казачество формально прекратило свое существование, слившись со всем трудовым населением области. Но, хотя консервативная часть казачества, во многом определявшая решение главенствующих вопросов, была отстранена от участия в работе V Войскового круга, далеко не все казачье население приветствовало основные его решения, в том числе и упразднение казачьего сословия, что предопределило активное участие казачества в последующих событиях революционной борьбы в области.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Амурские казаки. В 2 т. Т. 1 : материалы, документы, свидетельства, воспоминания / отв. ред. А.В. Телюк ; ред.-сост. В.Н. Абеленцев ; науч. конс. Н.А. Шиндялов. – Благовещенск-на-Амуре : Амурская ярмарка, 2008. – 288 с.

2. Государственный архив Амурской области (ГААО). – Ф. 10и. – Оп. 1. – Д. 12.

3. ГААО. – Ф. 10и. – Оп. 1. – Д. 116.

4. ГААО. – Ф. 10и. – Оп. 1. – Д. 119.

5. ГААО. – Ф. 10и. – Оп. 1. – Д. 121.

6. ГААО. – Ф. 10и. – Оп. 1. – Д. 130.

7. ГААО. – Ф. 10и. – Оп. 1. – Д. 146.

8. Дальний Восток России в период революции 1917 года и гражданской войны / ред. кол.: В.Л. Ларин [и др.]. – Владивосток : Дальнаука, 2003. – 632 с.

9. Протоколы 4-го круга Амурского казачьего войска. 17 января 1918. Благовещенск. – 37 с. // Государственный архив Амурской области (ГААО). – Научно-справочная библиотека.

10. *Савченко, С.Н.* Уссурийское казачье войско в Гражданской войне на Дальнем Востоке (1917–1922 гг.) / С.Н. Савченко. – Хабаровск : Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2002. – 279 с.

11. *Шиндялов, Н.А.* Амурское казачье войско в 1917–1918 гг. / Н.А. Шиндялов // Приамурье от первопроходцев до наших дней : материалы региональной науч.-практ. конф. – Благовещенск : Амурский краеведческий музей, 2003. – С. 144 – 153.

12. *Шиндялов, Н.А.* Октябрь на Амуре / Н.А. Шиндялов ; под ред. Е.П. Сычевского. – Благовещенск : Амурское отд. Хабаровского кн. изд., 1973. – 192 с.

13. *Цыпкин, С.* Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке: хроники событий 1917–1922 / С. Цыпкин, А. Шурыгин, С. Булыгин. – М. – Хабаровск : Дальгиз, 1933. – 305 с.

ОБСУЖДЕНИЕ ЯПОНИЕЙ И РОССИЕЙ ВОПРОСА О НАЗНАЧЕНИИ В КОРЕЮ РОССИЙСКОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ю.С. Пестушко

Пестушко Юрий Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры японского языка Дальневосточного государственного гуманитарного университета (г. Хабаровск).

Контактный адрес: yuripestushko@yahoo.co.jp

В статье рассматриваются дискуссии между правительствами Японии и России по вопросу назначения в Сеул российского дипломатического представителя. В работе проанализированы послевоенные мероприятия Японии, направленные на установление контроля над внешней политикой Кореи. Особое внимание уделяется анализу позиции царского правительства, выступившего против выдачи консульского разрешения министерством иностранных дел Японии. Хронологические рамки исследования – сентябрь 1905 г. – май 1906 г.

Ключевые слова: Япония, Корея, Россия, экзекватура, консул, протекторат, Портсмутский мирный договор, международное право.

Корейский полуостров оказался в сфере интересов Японии и России в последней трети XIX в. Оба государства, включившиеся в борьбу за влияние на Дальнем Востоке, рассматривали Корею как важный стратегический пункт, овладением которым являлось необходимым условием для осуществления ближайших и долгосрочных внешнеполитических задач в Восточной Азии.

Японию Корея интересовала не только в качестве объекта колониальной экспансии, но и как территория, необходимая для подготовки военной агрессии против Китая и дальнейшего продвижения на континент. В свою очередь, Россия надеялась посредством закрепления на Корейском полуострове заполучить незамерзающие порты, чтобы круглогодично контролировать акватории Японского и Желтого морей со стороны материка. Таким образом, в указанное время Корея играла ключевую роль в отношениях Японии и России.

Борьба между двумя государствами за политическое и экономическое господство на Корейском полуострове явилась одной из главных причин Русско-японской войны. На первый взгляд, точка в русско-японском противостоянии по вопросу доминирования в Корее была поставлена на переговорах в Портсмуте в августе 1905 г. В соответствии со статьей 2 Портсмутского мирного договора, российское правительство признало за Японией в Корее преобладающие интересы – политические, военные и экономические. Кроме того, Россия обязалась не препятствовать тем мерам руководства, покровительства и надзора, которые японское правительство могло бы счесть необходимым принять в Корее [1: с. 115]. Таким образом, Россия отказалась от дальнейшей борьбы за Корею и признала ее сферой интересов Японии.

Корейская проблематика и ее влияние на развитие русско-японских отношений начала XX в. рассматривались в отечественной и зарубежной историографии. В частности, Пак Чён Хе проанализировал столкновение интересов Японии и России на Корейском полуострове накануне Русско-японской войны, а также развитие корейского вопроса после подписания Портсмутского мирного договора [11: с. 20–32, 232–262]. В.О. Курбанов в одной из своих работ фрагментарно затронул японскую колонизацию Кореи и борьбу корейского народа за независимость на территории Корейского полуострова [8: с. 353–358]. И.Р. Савельев уделил внимание деятельности корейского сопротивления на русском Дальнем Востоке и ее влиянию на русско-японские отношения в 1905–1916 гг. [22: с. 82–103; 20: с. 147–162]. В сборнике «История Кореи в Новое время и Япония» была проанализирована политика японского правительства в отношении Кореи в начале XX в. [21]. В исследованиях Вада Харуки получили рассмотрение история корейской иммиграции на русский Дальний Восток, а также попытки Токио нейтрализовать антияпонскую деятельность дальневосточных корейцев посредством заключения с царским правительством соглашения о взаимной выдаче преступников [23: с. 235–286; 24: с. 86–116].

С одной стороны, проблема Кореи и ее влияние на послевоенное развитие русско-японских отношений получили рассмотрение в российской и зарубежной исторической науке. Вместе с тем отдельные аспекты указанной проблематики нуждаются в уточнениях и дополнениях. Сказанное относится в первую очередь к вопросу назначения в Сеул послевоенного дипломатического представителя России.

В отечественной историографии высказывается мнение, что разногласия между Японией и Россией по вопросу выдачи экзекватуры* носили принципиальный характер, так как решение указанного вопроса сводилось к признанию или непризнанию японского протектората в Корее [10: с. 56; 19: с. 94]. Другими словами, подписав Портсмутский мирный договор, Россия согласилась со свободой действий Японии на Корейском полуострове, а в вопросе выдачи консульского разрешения заняла принципиальную позицию, которая фактически сводилась к непризнанию японского протектората. Такая двойственность политики России в корейском вопросе нуждается в более детальном рассмотрении.

В представленном исследовании предпринята попытка проанализировать обсуждение правительствами Японии и России вопроса о выдаче экзекватуры российскому консулу в Сеуле. В работе рассматриваются послевоенные мероприятия Японии, направленные на установление контроля над внешней политикой Кореи. Особое внимание уделяется анализу позиции царского правительства, выступившего против выдачи консульского разрешения министерством иностранных дел Японии. Источниковой базой представленной работы послужили неопубликованные материалы Государственного архива Российской Федерации (Москва), Архива внешней политики Японии (日本外交史料館 Нихон гайко сирёкан, Токио), а также исследования российских и зарубежных ученых.

Одним из первых послевоенных мероприятий Японии в Корее стало взятие в свои руки международных сношений корейского государства. Подготовку к этому шагу японское правительство начало еще в годы Русско-японской войны. В 1904 г. был подписан Корейско-японский договор о сотрудничестве (в японской исторической литературе – Дайитидзи никкан кёяку 第一次日韓協約, Первый японо-корейский договор), в соответствии с которым, Япония получила право контролировать внешнеполитические мероприятия Кореи.

Подписание указанного договора дало японскому правительству основание потребовать от иностранных держав отзыва «послов из Кореи с сохранением лишь консульских отделов» [9]. Кроме того, корейским дипломатам, находившимся за границей, было предписано вернуться на родину. 6 сентября 1905 г. российский вице-консул в Пекине Г.А. Козаков направил в МИД России телеграмму следующего содержания: «… корейское правительство не имеет уже никакой власти в международных сношениях, иностранные представители отзываются» [18: с. 1].

Своими действиями Япония фактически возложила на себя функции корейского правительства. С одной стороны, в соответствии с вышеупомянутым корейско-японским договором 1904 г., для заключения корейским правительством внешнеполитических соглашений с третьими державами было необходимо согласие Японии [9]. В то же время, на тот момент корейский МИД не был распущен, а сама Корея формально являлась независимым государством. Таким образом, издание Японией распоряжений от имени корейского Министерства иностранных дел не могло считаться законными с точки зрения международного права.

Законность своим действиям японское правительство постаралось придать подписанием в ноябре 1905 г. Корейско-японского договора о протекторате (в японской исторической литературе – Дайнидзи никкан кёяку 第二次日韓協約, Второй японо-корейский договор). В соответствии с условиями соглашения, Япония брала на себя ответственность за выполнение действовавших между Кореей и другими государствами договоров, а Корея обязывалась не заключать никаких международных соглашений, кроме как через посредничество Японии [6: с. 325]. Подписание договора означало передачу Японии заведования внешнеполитическими делами Кореи. В то же время Корейско-японский договор о протекторате не содержал статьи, которая бы предусматривала выдачу Японией разрешения на право осуществлять консульские функции.

После того, как Япония возложила на себя функции корейского Министерства иностранных дел, иностранные миссии приостановили свою деятельность в Корее. Первым из Кореи выехал американский дипломатический представитель, после чего его примеру последовали представители других держав. Одним из последних Сеул покинул посланник Китая – государства, в вассальной зависимости от которого Корея находилась последние несколько столетий.

В декабре 1905 г. российский посланник в Китае Д.Д. Покотилов сообщил находившемуся в Пекине министру иностранных дел Японии Комура Дзютаро о желании царского правительства назначить в Корею генерального консула. В ответ Комура заметил, что России (как и другим державам – *Ю.П.*)

* Экзекватура (лат. exequare – выяснять), в международном праве – официальный документ, удостоверяющий, что правительство принимающей стороны признает иностранного консула (главу самостоятельного консульского учреждения) в этом качестве. Выдачей экзекватуры завершается процесс аккредитации консула для работы в стране пребывания. Экзекватура подразумевает наличие у консула консульского патента, выданного направившим его государством. В тексте экзекватуры могут быть определены границы и состав консульского округа, где действительны полномочия консула.

следует официально поставить об этом в известность правительство Японии, чье согласие будет необходимо в случае этого назначения [25]. Однако, в отличие от Китая, США, Франции, Великобритании и Германии, Россия попыталась отстоять право получать экзекватуру непосредственно от корейского императора. По мнению Санкт-Петербурга, получение согласия императора Коджона на назначение иностранных дипломатических представителей якобы означало сохранение независимости Кореи. Царское правительство также устраивал вариант, если бы «...экзекватура выдавалась японским министерством иностранных дел *от имени корейского императора*» (курсив наш – *Ю.П.*) [3: с. 19].

Свое несогласие с действиями Японии на Корейском полуострове царское правительство обосновывало сложившейся к тому времени практикой выдачи консульских разрешений. До документального оформления японского контроля над внешними делами Кореи в ноябре 1905 г., процедура аккредитации иностранных консулов в этой стране проходила следующим образом. Руководство иностранной дипломатической миссии, в подчинении которой находилось консульское представительство, официальной нотой извещало корейский МИД о прибытии и вступлении в должность нового консула и просило объявить об этом местным властям. После этого корейское внешнеполитическое ведомство извещало миссию об исполнении запроса [15: с. 6].

С точки зрения международного права начала XX в. подписание Корейско-японского договора о протекторате не означало изменения вышеозначенной процедуры выдачи консульского разрешения, так как правила дипломатической аккредитации в протежируемом государстве нигде не оговаривались. Например, в Болгарии, находившейся в вассальной зависимости от Османской империи, экзекватура выдавалась болгарским князем Михду, а не Стамбулом.

Российский агент в Шанхае А.И. Павлов считал возможным направить царского консула с верительным письмом на имя корейского Министерства иностранных дел [15: с. 6]. Правительственные круги России в целом разделяли такой подход, считая, что существующая процедура выдачи экзекватуры оставляет возможность для назначения дипломатического представителя в Сеул в обход Японии. Кроме того, по мнению царского правительства, признание за Японией особых прав на Корейском полуострове не означало упразднения заключенных ранее русско-корейских договоров и изменения правил дипломатической аккредитации: «...Корея не утратила статус независимого государства, ... и Портсмутский договор ничего не изменил в этом отношении» [26].

Однако у Японии было иное мнение на этот счет. В январе 1906 г. японский министр иностранных дел Комура Дзютаро уведомил российскую сторону через посланника в Пекине Д.Д. Покотилова, что прежние российско-корейские соглашения были аннулированы указом императора Коджона от 5 мая 1904 г. Кроме того, Комура отметил, что договорные права России в Корее отныне определяются статьей 2 Портсмутского мирного договора «... в смысле наибольшего благоприятствования» [17: с. 2]. Тем самым министр иностранных дел дал понять, что Япония не намерена ущемлять российские интересы на Корейском полуострове. В то же время Комура Дзютаро напомнил, что в соответствии с вышеупомянутой статьей Россия признала Корейский полуостров сферой интересов Японии и обязалась не вмешиваться в японскую политику в отношении Кореи.

В вопросе о выдаче экзекватуры японская сторона ссылалась на три документа: Портсмутский мирный договор, декрет корейского императора от 5 мая 1904 г. и корейско-японское соглашение 1905 г. Содержание двух последних документов не было известно в российской столице.

17 января 1906 г. правительство России направило поверенному в делах в Токио Г.А. Козакову указания, выяснить у министра иностранных дел Японии детали подписанного в ноябре 1905 г. корейско-японского соглашения [17: с. 2]. Кроме того, Г.А. Козакову предстояло уточнить содержание декрета, которым император Коджон в 1904 г. объявил недействительными все ранее заключенные корейско-российские соглашения. Царский МИД интересовало, затронет ли указанный декрет только Россию, либо недействительными будут объявлены все договора, заключенные ранее между Кореей и другими иностранными державами.

Во время одной из ближайших встреч между Г.А. Козаковым и новым главой министерства иностранных дел Японии Като Такааки последний обещал официально сообщить текст японо-корейского соглашения России, «…если это было сделано для других правительств». Таким образом, со слов министра следовало, что он якобы сам не знал, были ли уведомлены другие иностранные державы об условиях договора, подписанного в ноябре 1905 г. Никаких объяснений относительно соглашений, заключенных между Кореей и другими державами, от министра иностранных дел получить не удалось. Като Такааки ограничился заявлением, что он находит вполне естественным объявление недействительными всех прежних российско-корейских договоров [7: с. 3].

Следует пояснить, что декрет императора Коджона, которым объявлялись недействительными все ранее заключенные Кореей договора, не имел отношения к выдаче консульского разрешения. Японское правительство, вынудившее корей-

ского императора издать вышеназванный декрет, преследовало целью лишить Россию привилегий на Корейском полуострове. Такие привилегии обеспечивали главным образом два межправительственных соглашения: подписанная в 1888 г. конвенция, именовавшаяся «Правила для сухопутной торговли с Кореей» [9] и Русско-корейское соглашение 30 / 17 марта 1900 г. о предоставлении России концессии в Масампо. Конвенция 1888 г. значительно расширяла права российских подданных в корейской части приграничной области с центром в г. Кёнхыне. Соглашение 1900 г. предусматривало предоставление России участка земли на побережье на правах концессии [5: с. 140–141]. В арендованной части Масампо Россия учредила консульство, построила гостиницу, а также установила военный караул. Никто из ведущих держав не имел на Корейском полуострове аналогичных преимуществ. Именно эти преимущества японское правительство было намерено ликвидировать вышеназванным декретом корейского императора [3: с. 20].

19 января 1906 г. Като Такааки сообщил Г.А. Козакову, что новый российский дипломатический представитель в Корее перед прибытием в эту страну должен будет явиться в МИД Японии для получения консульского разрешения. Судя по содержанию письма, сам Г.А. Козаков не имел возражений против выдачи экзекватуры японским министерством иностранных дел. Его лишь интересовал вопрос, согласно ли японское правительство с кандидатурой Г.А. Плансона: «Для того, чтобы избежать возможных недоразумений, я хотел бы знать, будет ли выдана императорским правительством экзекватура Георгию Плансону, который был выбран графом Ламздорфом на должность русского генерального консула в Сеуле» [4: с. 4; 27].

В начале февраля 1906 г. Като передал Г.А. Козакову текст корейско-японского договора о протекторате, после чего документ был отправлен в российскую столицу [12: с. 8]. В соответствии с договором все соглашения, ранее подписанные Кореей с другими державами, сохраняли свою силу. Кроме того, Сеул по-прежнему мог заключать соглашения с другими державами, однако, лишь после их одобрения правительством Японии [13: с. 12]. МИД России посчитал, что содержание корейско-японского договора о протекторате свидетельствует о неправомерности решения Токио выдавать экзекватуру самостоятельно.

В соответствии с полученными из Санкт-Петербурга инструкциями, в середине февраля 1906 г. Г.А. Козаков снова встретился с Като Такааки для обмена мнениями по вопросу выдачи экзекватуры. Г.А. Козаков разъяснил позицию царского правительства, считавшего, что установленное Японией правило выдачи консульского разрешения расходится с общепринятой международной практикой и никак не связано с условиями вышеупомянутого договора о протекторате. Представитель России подчеркнул, что «...консульские экзекватуры даже в странах, не пользующихся полной самостоятельностью, выдаются по общепринятому порядку главою государства» [16: с. 18]. В ответ Като Такааки заявил, что как консул России, так и консулы всех остальных держав будут получать экзекватуру от правительства Японии. В качестве юридического обоснования такого решения японский министр сослался на передачу заведования внешними делами Кореи японскому министерству иностранных дел [14: с. 15].

Российское правительство попыталось заручиться поддержкой ведущих держав в вопросе экзекватуры. Однако США, Великобритания, Германия и Франция не поддержали Россию. Например, госсекретарь США Элиу Рут (Elihu Root) иронично назвал «очень интересными» попытки царского правительства восстановить свой прежний статус на Корейском полуострове и апеллирование Санкт-Петербурга к утратившим силу соглашениям. В беседе с Р.Р. Розеном Э. Рут совершенно открыто сказал, что Россия теряет время, пытаясь изменить предсказуемый результат (выдачу консульского разрешения Японией – *Ю.П.*), тем более что в Портсмуте Россия признала преобладание японских интересов в Корее [28]. Поддержка Японии ведущими державами была во многом предсказуемой. На переговорах в Портсмуте Россия уступила в главном, признав Корейский полуостров сферой японских интересов. Несогласие Санкт-Петербурга с частным вопросом, к которому относилась выдача консульского разрешения, не могло рассматриваться ведущими державами как принципиальная позиция в корейской проблеме.

Таким образом, даже ознакомление с содержанием корейско-японского договора о протекторате не позволило Санкт-Петербургу отстоять свою точку зрения. Для Японии вопрос о выдаче консульского разрешения имел принципиальное значение, а позиция царского правительства рассматривалась ею как попытка вмешаться в корейско-японские отношения. Следовательно, никакие доводы царского правительства не могли заставить Токио оставить прежней процедуру назначения в Сеул иностранных дипломатических представителей. Правительство Японии не смущало даже то, что в качестве юридического обоснования своего решения самостоятельно выдавать экзекватуру оно ссылается на соглашения, не имевшие прямого отношения к консульским вопросам – декрет императора Коджона 1904 г. и Корейско-японский договор о протекторате 1905 г.

Россия могла продолжать до бесконечности апеллировать к «общепринятой мировой практи-

ке», а японская сторона односложно отвечать о «своих правах на ведение внешними делами Кореи». Кроме того, Россия оказалась единственной страной, не согласившейся с изменением процедуры выдачи экзекватуры. Дальнейшее затягивание решения вопроса с выдачей консульского разрешения было бессмысленным. 29 апреля (12 мая) 1906 г. министерство иностранных дел России сообщило своему посланнику в Токио нижеследующую информацию. Российское правительство по-прежнему не считает верной с правовой точки зрения выдачу экзекватуры японцами, но «искренне стремясь к скорейшему установлению доверчивых отношений с Японией, мы были бы готовы ныне удовольствоваться получением экзекватуры для Г.А. Плансона от японского правительства» [19: с. 96].

После согласия царского правительства на получение экзекватуры от Японии Россия стала все больше дистанцироваться от корейско-японских дел. Император Коджон и корейские государственные деятели (Ли Джун, Ли Сансоль Ли Виджон, Ли Бомджин) еще надеялись на помощь Санкт-Петербурга в восстановлении суверенитета Кореи. В июне 1907 г. в Гааге открывалась международная конференция, что позволяло вынести на обсуждение ведущих держав японскую политику на Корейском полуострове. Однако председательствовавший на Гаагской конференции А.И. Нелидов, в соответствии с указаниями А.П. Извольского, не допустил к участию в ее работе представителей корейского императора.

Аннексия Японией Кореи в 1910 г. была встречена совершенно спокойно большинством российских политиков. Заместитель министра иностранных дел России А.А. Нератов прокомментировал это событие следующим образом: «Присоединение Кореи к Японии не явилось для нас неожиданностью: оно было совершено с нашего ведома, и мы не заявили против этого акта возражений. Поэтому мы должны относиться вполне добросовестно к этому факту, отнюдь не поддерживать в корейцах надежды, которые они, может быть, еще питают, и не имеем оснований содействовать стремлению корейцев свергнуть японское владычество» [2: с. 117]. Таким образом, судьба независимости Кореи была окончательно решена с молчаливого одобрения царского правительства. Подобный результат был во многом предсказуем исходя из общеполитического курса Санкт-Петербурга, направленного на послевоенное урегулирование отношений с Японией и соблюдение условий Портсмутского мирного договора.

Заключение

Не вполне верным представляется высказываемое в российской историографии мнение, что Япония с трудом признала право России назначить своего представителя в Сеул [19: с. 94]. Рассмотрение вопроса о выдаче консульского разрешения свидетельствует, что японское правительство не было принципиально против назначения в Корею российского генерального консула. Возражение Токио вызвало намерение России получать консульское разрешение в обход японского правительства. Вместе с тем Япония не собиралась ущемлять российские интересы в Корее и заявляла о готовности соблюдать условия Портсмутского мирного договора, предусматривавшего признание за Россией на Корейском полуострове статуса наибольшего благоприятствования. Как отмечал Г.А. Козаков, не было никаких «... оснований подозревать японское правительство в намерении отказать нам в Корее в правах и преимуществах, которые оно признает за другими державами» [3: с. 19].

В вопросе выдачи консульского разрешения царское правительство апеллировало к практике, установленной в международных отношениях и обыкновенной логике, которой якобы должно было руководствоваться японское правительство. Практика выдачи экзекватуры протежируемым государством действительно существовала, но нигде не была закреплена юридически. С этой точки зрения, самостоятельной выдачей экзекватуры Япония не нарушала никаких норм международного права. Кроме того, японское правительство действовало вполне логично с позиций государства, чьи преобладающие интересы на Корейском полуострове были подтверждены Россией документально. Выдача консульского разрешения корейским императором, на чем настаивало царское правительство, уже никак не повлияла бы на статус самой Кореи, потеря независимости которой была фактически предрешена на переговорах в Портсмуте. Россия не могла не признать установление над Кореей японского протектората, поскольку такой шаг противоречил бы условиям мирного договора с Японией.

Неуступчивость царского правительства в вопросе выдачи консульского разрешения нельзя рассматривать как принципиальное несогласие России с установлением японского протектората. Указанные разногласия скорее отражали общую картину русско-японских отношений первого послевоенного времени, отличавшихся заметной напряженностью. Следует принимать во внимание, что после завершения Русско-японской войны часть российских военных кругов (А.Н. Куропаткин, В.А. Сухомлинов, Н.П. Линевич) не только продолжала рассматривать Корейский полуостров в качестве субъекта русско-японских отношений, но и выступала за проведение там активной политики.

Постепенный переход царского правительства к политике поддержания статус-кво на Дальнем

Востоке и урегулированию отношений с Японией оказал влияние и на позицию Санкт-Петербурга в корейском вопросе. Компромисс в вопросе выдачи консульского разрешения был достигнут после назначения в конце апреля 1906 г. министром иностранных дел А.П. Извольского, являвшегося сторонником соглашения с Японией [19: с. 96]. Кроме того, в указанное время правительствами двух стран были начаты переговоры по заключению первых послевоенных соглашений по торговле, рыболовству и разграничению сфер влияния в Маньчжурии. Успешное решение указанных вопросов было для царского правительства намного важнее, чем не имевшее смысла продолжение противоборства по вопросу выдачи консульской экзекватуры.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Мирный договор между Россией и Японией, заключенный в Портсмуте. 1905 г., 23 августа // Русско-китайские отношения: официальные документы (1689–1916). – М. : Издательство восточной литературы, 1958. – С. 115–118.

2. Временно управляющий министерством иностранных дел – Генеральному консулу в Сеуле Лютшу. 1 декабря / 18 ноября 1911 г. // Международные отношения в эпоху империализма : Документы из архивов царского и Временного правительств 1878 – 1917. – Сер. II, Т. XIX, Ч. 1. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1938. – С. 117.

3. Г.А. Козаков – В.Н. Ламздорфу. 17 февраля 1906 г. // ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 19 – 20.

4. Г.А. Козаков – Като Такааки. Токио, 20 января 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 4.

5. *Гримм, Э.Д.* Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925) / Э.Д. Гримм. – М. : Издание Института Востоковедения, 1927. – 220 с.

6. Японо-корейский договор об установления протектората Японии, заключенный в Сеуле 17 ноября 1905 г. / Ю.В. Ключников, А.В. Сабанин // Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. От французской революции до империалистической войны. – М. : Изд. Литиздата Н.К.И.Д., 1925. – С. 325.

7. Копия с секретной телеграммы Г.А. Козакова. Токио, 19 января / 1 февраля 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 3.

8. *Курбанов, С.О.* Курс лекций по истории Кореи с древности до конца XX в. / С.О. Курбанов. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, 2002. – 625 с.

9. *Курбанов, С.О.* Россия и Коря [Электронный ресурс] / С.О. Курбанов. – Режим доступа: http://www.asia–times.ru/countries/koreas/russia_korea1.htm.

10. *Маринов, В.А.* Россия и Япония перед первой мировой войной (1905–1914 гг.). Очерки истории отношений / В.А. Маринов. – М. : Наука, 1974. – 151 с.

11. *Пак Чон Хё.* Русско-японская война 1904–1905 гг. и Корея / Пак Чон Хё. – М. : Восточная литература РАН, 1997. – 277 с.

12. Секретная депеша Козакова. Токио, 26 января 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 8.

13. Секретная телеграмма Г.А. Козакова. Токио, 28 января / 10 февраля 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 12.

14. Секретная телеграмма Г.А. Козакова. Токио, 3/16 февраля 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 15.

15. Секретная телеграмма действительного статского советника Павлова. Шанхай, 25 февраля 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 111. – Л. 6.

16. Секретная телеграмма Козакова. Токио, 15 февраля 1906 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 18.

17. Секретная телеграмма министра иностранных дел – Г.А. Козакову. 17 января 1906 // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 2.

18. Телеграмма Г.А. Козакова. Пекин. 6 сентября 1905 г. // ГАРФ. – Ф. 818. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 1.

19. *Шулатов, Я.А.* На пути к сотрудничеству. Российско-японские отношения в 1905–1914 гг. / Я.А. Шулатов. – Хабаровск – М. : Издательство Института востоковедения РАН, 2008. – 304 с.

20. *Saveliev, I.* Militant Diaspora : Korean Immigrants and Guerrillas in Early Twentieth Century Russia / I. Saveliev // Forum of International Development Studies. – 26 (Mar. 2004). – P. 147–162.

21. 朝鮮の近代史と日本. － 東京 : 大和書房、1987 年. － ３００ページ =История Кореи в Новое время и Япония. – Токио : Дайва сёбо, 1987. – 300 с.

22. イゴリ R. サヴェリエフ 『移民と国家 : 極東ロシアにおける中国人、朝鮮人、日本人移民』/ イゴリ R. サヴェリエフ. - 東京 : 御茶の水書房 、2005年. － vi、３２３、lviiiページ＝Савельев, И.Р. Иммигранты и государство. Китайская, корейская и японская диаспоры на русском Дальнем Востоке / И.Р. Савельев. – Токио : Отя но мидзу сёбо, 2005. – vi , 323, lviii с.

23. 和田春樹『ロシア領極東の朝鮮人 １８６３—１９３７』/和田春樹 // 東京大学社会科学研究所紀要. - 第６号. - 1989年. - 235- 286ページ＝Вада Харуки. Корейцы на русском Дальнем Востоке, 1863–1937 гг. / Вада Харуки // Бюллетень Исследовательского центра социальных наук Токийского университета. – 1989. – № 6. – С. 235–286.

24. 和田春樹『日露逃亡犯罪人引渡条約付属秘密宣言書』/和田春樹 // 東京大学社会科学研究所紀要. - 第４号. - １９７６年. - ８６- １１６ページ＝Вада Харуки. Секретное приложение к русско-японскому договору о выдаче преступников / Вада Харуки // Бюллетень Исследовательского центра социальных наук Токийского университета. – 1976. – № 4. – С. 86–116.

25. Mutsu, London. 5 мая 1906 г. **日本外交史料館、東京 －** 6.1.3. 16. －在韓国外国領事認可状交付一件 =Архив внешней политики Японии (Токио). – Ф. 6.1.3. 16. – О вручении находящимся в Корее иностранным консулам экзекватуры.

26. Inouye – Saionji, Tokio, April 19, 1906. **日本外交史料館、東京 －** 6.1.3. 16＝Архив внешней политики Японии (Токио). – Ф. 6.1.3. 16. В цитируемом документе Иноуэ ссылается на ноту царского правительства правительству Германии, в которой говорится о несогласии России с выдачей экзекватуры Японией.

27. Legation Imperiale de Russie – His Excellency Monsieur T. Kato. 20 Januery 1906. **日本外交史料館、東京 －** 6.1.3. 16＝Архив внешней политики Японии (Токио). – Ф. 6.1.3. 16.

28. Aoki – Sajonji, Tokio. May 10, 1906. **日本外交史料館、東京 －** 6.1.3. 16＝Архив внешней политики Японии (Токио). – Ф. 6.1.3. 16.

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Я.С. Санцевич

Санцевич Яна Сергеевна – ассистент кафедры образования в области романо-германских языков Школы педагогики Дальневосточного федерального университета (г. Уссурийск).

Контактный адрес: santsevich_yana@rambler.ru

В статье анализируются особенности влияния христианства на политическую жизнь Республики Корея. Анализируя взаимодействие религиозного и политического факторов, а также оперируя данными социологических опросов духовенства Республики Корея, автор указывает на глубокую взаимосвязь религиозного и политического факторов в жизни корейского общества.

Ключевые слова: Республика Корея, христианство, мунизм, политика, вернакулярность.

Религиозность имеет глубокие корни в обществе, так как практически все сферы человеческой деятельности (культура, политика, семья и т. д.) функционируют на основе человеческого поведения, которое базируется на трех элементах – умения, навыков и мировоззрения, отражающих, в свою очередь, базовые человеческие потребности – личные, общественные и жажду преобразований. Совокупность этих трех факторов создает общественные устои, в рамках которых и существует общество. Поскольку преобразующее начало ярче всего реализуется в религии [5: с. 22], то структура большинства современных сообществ основана в том числе и на вероучениях. Ненадолго религия уступила эту свою роль социальным учениям, которые, по своей сути, являются эрзац-религией [7: с. 11], т. е. содержат в себе все элементы вероучений, подменяя лишь названия, оставаясь по сути такой же религией.

Ярким подтверждением мысли о возрастающей роли религии как фактора политической жизни на современном этапе является ислам, в том числе и агрессивный. Множество террористических организаций борются за «установление исламского миропорядка», являя, тем самым, ярчайший пример того, какое масштабное влияние может оказывать религия на политические процессы.

Естественно, что процесс взаимодействия религии и политики очень многогранен, поскольку эти два понятия сами по себе являются сложными общественными образованиями [6: с. 231]. Поэтому из всего многообразия соприкосновения религиозной и политической сферы, мы избрали наиболее, на его взгляд, значимую сторону – влияние христианства на политическую жизнь Республики Корея в прошлом и настоящем.

Здесь следует сразу отметить, что христианство в Южной Корее во всей полноте отражает феномен вернакулярности. В исследованиях, связанных с проблемой региональной идентичности, всё чаще используется термин «вернакулярный район» и его производные. Как правило, при этом имеется ввиду часть территории, жители которой осознают её как собственное обиталище и которая в этом качестве может быть представлена как часть общественного сознания данной социальной группы. Подобное представление сплачивает местных жителей в группу единым отношением к этой территории, на базе которого может строиться единая реакция на воздействие на «их» территорию, что во многих случаях открывает возможность их мобилизации на сплочённые общественные акции.

Южная Корея уникальна тем, что она является одним из немногих азиатских государств, в религиозной жизни которых христианство занимает сейчас доминирующее положение [6: с. 23]. Несмотря на свою сравнительно краткую историю, христианство, особенно протестантизм, стало важным составным элементом современной корейской культуры. Экспансия христианства продолжается в Корее и в наши дни, и есть основания предполагать, что его влияние будет возрастать и дальше [7: с. 54].

Отметим, что корейцы считают себя очень религиозным народом. Одна из диссертаций о Южной Корее начинается словами: «Религиозные чувства корейцев глубже, чем у других народов» [3]. Бесспорно то, что корейцы, в отличие от большинства своих соседей по Восточной Азии, проявляют немалый интерес к вопросам веры. Произошедшая в этом столетии христианизация Южной Кореи относится к числу наиболее любопытных феноменов религиозной истории нашего времени.

К сожалению, процесс христианизации Кореи, достаточно хорошо изученный на Западе, не привлек пока к себе должного внимания со стороны отечественных востоковедов. Кратко осветим историю развития христианства в Республике Корея.

Христианство с трудом завоевывало свои позиции на первых порах. Правительство и значительная часть добропорядочных подданных считали христиан реальными или потенциальными аген-

тами «западных варваров» – европейских держав, ведь их натиск на Корею в этот период постоянно возрастал. Основания для этого были, ведь местные христиане часто сопровождали появлявшихся в Корее отряды колонизаторов, исполняя при них роль переводчиков (а чаще – шпионов). Кроме того, имел место отказ сторонников новой веры участвовать в языческих обрядах жертвоприношений душам предков (известно, что христиане зачастую демонстративно сжигали поминальные дощечки своих предков, хотя этот поступок карался смертью). Эти обряды в Корее всегда считались не просто религиозной церемонией, но и важнейшим проявлением духа «сыновней почтительности» («хё») – основополагающей конфуцианской добродетели [8: с. 112]. Отказ от участия в подобных ритуалах воспринимался людьми, воспитанными в духе традиционной конфуцианской этики, как проявление крайнего аморализма [4].

Если сравнивать Корею с другими странами Дальнего Востока, то можно заметить, что история раннего корейского христианства достаточно нетипична. Во-первых, проникло христианство в Корею без непосредственного участия миссионеров, чисто литературным путем. Во-вторых, его распространение было достаточно быстрым, успешным и, опять-таки, не являлось результатом деятельности иностранных представителей. Успехи корейского христианства находятся в противоречии с той ситуацией, что существовала в тот же период в Китае, где огромные усилия западных миссий не привели к заметным результатом, и где само существование церкви было невозможно без постоянной зарубежной поддержки.

Распространение протестантизма в Корее происходило по более стандартной схеме. Решающую роль в его проникновении в страну сыграли западные миссионеры, деятельность которых началась в Корее в 1880-е гг., вскоре после «открытия портов» в 1876 г. Путь протестантизма в Корее первыми начали японские миссионеры, однако решающую роль в массовом распространении протестантизма сыграли американцы, первым из которых был просвитерианин Гораций Аллен (Horace Allen), прибывший в Корею в 1884 г. В 1885 г. начали свою работу в Корее два других знаменитых американских миссионера – методисты Гораций Ундервуд (Horace Underwood) и Генри Аппенцеллер (Henry Appenzeller) [5].

Протестантство и католицизм в современной корейской статистике часто рассматриваются как две отдельные религии. Вызвано это, отчасти, и лингвистическими причинами: протестанты именуют свое вероучение «кидокк» («Учение Христа»), в то время как католики следуют более ранней традиции, восходящей к периоду первых миссионерских попыток в Китае и именуют себя последователями «чхончжуг» («Учение Небесного владыки») [9: с. 32].

Протестанты сыграли особую роль в процессах модернизации и вестернизации, которые развертывались в Корее на рубеже веков. Надо отметить, что в советских работах по истории Кореи, которые часто писались с оглядкой как на официальные северокорейские оценки, так и на собственные идеологические установки, эта роль обычно принижалась и замалчивалась. Именно миссионеры открыли в Корее первые современные больницы и школы, способствовали распространению современных научных и технических знаний. Христианами (в основном протестантами) было большинство первых корейских «западников», для которых принятие этой религии означало приобщение к столь почитаемой ими евроамериканской цивилизации. Исключительно в миссионерских школах – других женских учебных заведений тогда просто не было – получило образование первое поколение корейской женской интеллигенции. Активным было участие протестантов и в национально-освободительном движении. Например, среди более чем 15 тысяч человек, которые были арестованы японскими властями после первомартовского восстания 1919 г. и религиозная принадлежность которых отражена в документах, протестантов было 3 373 или 21,6 %, в то время как их доля в общей численности населения тогда составляла лишь 1,5 % (участие католиков в движении было куда скромнее – среди арестованных их было только 55 человек или менее 0,3%) [8].

Многие из первых корейских коммунистов, которые обычно приходили к марксизму через радикальный революционный национализм, также были христианами в юности или же происходили из христианских семей (в частности, глубоко верующими протестантами были родители Ким Ир Сена) [9].

После захвата Кореи Японией в 1910 г. корейское христианство столкнулось с немалыми трудностями. Японские колониальные власти с понятным подозрением относились как к самому христианству, опасаясь, что оно может стать источником проникновения западных идей, так и к миссионерам, в которых они видели потенциальных западных агентов [15]. Колонизаторы стремились организационно подчинить корейских христиан японским протестантским церквям. Кроме того, в противовес христианству власти пытались внедрять в Корее японские варианты буддизма, но без особого успеха. Еще меньшего успеха добились колониальная администрация в своих попытках насадить синтоизм, который оставался для корейцев религией глубоко чуждой, если не прямо враждебной.

Однако в тридцатые годы совершение синтоистских обрядов в честь японского императора стало обязательным для всех корейцев. После долгих дискуссий две крупнейшие корейские протестантские церкви – просвитериане и методисты – согласились на то, чтобы их последователи принимали участие в этих языческих обрядах. Их примеру последовали некоторые другие протестантские церкви, но многие корейские христиане решительно выступили против всяких компромиссов. В ответ японские власти в конце тридцатых годов организовали антихристианскую кампанию, в результате которой тысячи священников и церковных активистов были арестованы, а ряд иностранных миссионеров – депортирован [9].

В двадцатые и тридцатые годы с христианством в Корее произошла важная метаморфоза, которая во многом определила его последующую судьбу: оно окончательно стало восприниматься как национальная религия, потеряв тот оттенок западности и чуждости, который был характерен для него поначалу. В этом заключается коренное отличие между судьбами христианства в Корее, с одной стороны, и в большинстве стран Азии – с другой. Во многом это было связано с тем, что в Корее в качестве колонизаторов выступали не европейцы, столь охотно подчеркивавшие в те времена свою приверженность христианству, а язычники-японцы. В Корее, в отличие от колоний европейских держав, западные миссионеры и их местные сторонники воспринимались не как идеологические агенты власти, а, наоборот, как последовательные противники колонизаторов и представители дружественной по отношению к Корее силы. Не следует забывать и о том, что практически вся новая корейская интеллигенция, включая и большинство лидеров антиколониального движения, состояла из людей, получивших образование в христианских учебных заведениях и вышедших оттуда верующими людьми. Наконец, церкви были в колониальный период местами, где продолжала звучать корейская речь, их издания выходили на разговорном языке, набранные корейским алфавитом, а не сложной и непонятной для масс иероглификой.

Таким образом, в Корее христианство (протестантизм) сумело сделать то, чего оно не добилось, пожалуй, больше ни в одной азиатской стране: оно утвердилось в положении ведущей национальной религии [10].

Социолог Ли Чун Ён отметил, что одна из важнейших теологических идей, пользующаяся особой популярностью среди корейских верующих, заключается в том, что «…Корея является центром духовного возрождения и именно корейцы послужат инструментом спасения мира» [11: с. 32]. Подобные воззрения там распространены чрезвычайно, равно как и представления о корейцах, как о «новом Израиле», о народе, избранном богом.

Так, 1945 г. означал кардинальные изменения в судьбах корейского христианства. На протяжении предшествующих полутора столетий христианство было религией либо прямо преследовавшейся, либо же, как минимум, не поощрявшейся властями, но после Освобождения оно приобрело почти квазиофициальный статус. В новых условиях количество христиан в Корее стало стремительно возрастать. Успех этот был во многом развитием тех тенденций, что наметились еще в колониальное время, но он был бы невозможен также и без немалой организационной и финансовой поддержки, которую корейские миссионеры получали из США.

Традиционно главным центром корейского протестантизма был Пхеньян и, шире говоря, северные провинции, однако, после раскола страны на Севере христианская проповедь столкнулась с рядом серьезных ограничений со стороны новых властей, которые проводили политику официального атеизма. Хотя некоторые радикально настроенные священники и поддержали коммунистов, подавляющее большинство клира выступило против новой власти, что не могло не обострить и без того непростые отношения церкви и государства. До конца Корейской войны северокорейские власти разрешали деятельность нескольких приходов, но в конце пятидесятых годов, с укреплением режима единоличной власти Ким Ир Сена (который, напомним, сам был выходцем из семьи протестантских активистов), христианство на Севере оказалось полностью запрещено. Только в середине восьмидесятых годов власти КНДР вновь открыли несколько церквей, деятельность которых, разумеется, жестко контролируется спецслужбами и служит в первую очередь внешнепропагандистским задачам.

На Юге страны в правление Ли Сын Мана (1948–1960) и военных диктатур (1961–1987), отношения христианства и властей были достаточно противоречивыми. С одной стороны, основная масса корейского клира придерживалась последовательно антикоммунистических взглядов, чему, в частности, способствовали и гонения на христиан в Северной Корее. Традиционно крепкие связи корейских христиан с Америкой также сказывались на политической ориентации церквей. Наконец, доля христиан среди корейской экономической и политической элиты в период после 1945 г. была очень велика и, вдобавок, постоянно возрастала, что тоже делало христианские церкви сторонниками сохранения существующей системы. Показательно, что в 1952–1962 гг. доля христиан среди корейской элиты (высшее чиновничество и генералитет) достигла 41 % (32,5 % протестанты, 8,5 % –

католики), в то время как доля христиан в общей численности населения к концу этого десятилетнего периода составляла только 5,3 % [11].

В то же время не следует считать, что корейское христианство в период военных диктатур было чуть ли не придатком светской власти. На практике корейские христиане, особенно (но не только!) католики, сплошь и рядом играли самую активную роль в оппозиционных движениях, а католические соборы, которые в Корее пользовались неофициальным, но на практике довольно строго соблюдаемым правом убежища, часто становились ареной антиправительственных выступлений. Эти действия существенно поднимали авторитет церкви, особенно среди интеллигенции и студенчества.

Конец семидесятых годов вообще стал временем появления нового направления корейской церковной мысли – так называемой «теологии минчжун». Это слово – корейское произношение китайского иероглифического термина minzhong, который в тридцатые-сороковые годы использовался в китайской коммунистической литературе именно для перевода русского слова «массы», столь популярного в советских послереволюционных изданиях. В 1950-е гг. этот термин в китайском языке был вытеснен новым – quanzhong, но в корейском словоупотреблении он сохранил прежнюю семантику. Таким образом, термин «минчжун» имеет вполне определенную политическую окраску: он является важной частью лексикона корейских левых сил, которые употребляют это слово для того, чтобы обозначить «трудящихся», то есть социальные слои, отличные от «эксплуататоров». Корейский теолог Давид Со так трактует значение этого термина: «Минчжун – это политически угнетаемые, экономически обездоленные, социально отчужденные» [14].

«Теология минчжун» возникла как проявление растущих левых симпатий среди корейской интеллигенции, которая в своем большинстве к тому времени была уже давно и прочно христианской. Пик ее влияния приходится на конец восьмидесятых, когда симпатии к марксизму в корейской студенческой и интеллигентской среде достигли максимума. Данное течение во многом напоминало латиноамериканскую «теологию освобождения», определенное влияние которой она испытала, хотя в ней были весьма ощутимы и чисто националистические элементы (вообще говоря, очень сильные в современной южнокорейской общественной мысли). Ее сторонники считали, что церковь должна активно участвовать в политической борьбе, поддерживать движение за демократизацию, против военной диктатуры, солидаризироваться с рабочим и крестьянским движением. Следует отметить, что многие сторонники «теологии минчжун» пытались завязать неофициальные связи с Севером, что часто использовалось Пхеньяном в своих целях, а также вело к репрессиям против этих священников на Юге, где любые несанкционированные контакты с Севером являются уголовно наказуемыми. Сторонники течения воспринимают христианство как учение одновременно революционное и национальное: «Корейские массы восприняли христианское послание как призыв к освобождению... Они поняли христианство как политический призыв, как призыв к борьбе против феодальной эксплуатации и колониальной экспансии западных империалистических держав» [4: с. 52].

Последователи течения не составляли большинства среди корейских священнослужителей, которые, как уже говорилось, в основном придерживались и придерживаются консервативных, правых взглядов. Общая деполитизация атмосферы в Корее и явная дискредитация марксизма (по крайней мере, в его ортодоксальном варианте) также привела к тому, что влияние «теологии минчжун» стало в последние годы сокращаться [8: с. 102].

В целом же семидесятые и восьмидесятые годы стали временем, когда христианство превратилось в доминирующую религию не только среди городской интеллигенции, но и среди населения страны [7].

В Корее бывает достаточно просто посмотреть вокруг, чтобы удостовериться в исключительной активности христиан. Обилие христианских храмов неизменно становится одним из самых неожиданных впечатлений для большинства русских, впервые приехавших в Южную Корею. Их количество действительно поражает. Едва ли можно найти сейчас поселок в сотню домов, в котором бы не было как минимум одной церкви. Кресты, установленные на крышах церквей или зданий, в которых тот или иной приход снимает помещение, бросаются в глаза при самом беглом взгляде на Сеул или любой иной корейский город.

Активны христиане среди молодежи. Для корейских христиан пунктуальное исполнение религиозных предписаний стало частью повседневной жизни. По воскресеньям у протестантских и католических церквей собираются толпы нарядно одетых людей. Посещение воскресной службы – почти обязательная часть жизненного распорядка корейской христианской семьи, так же как и почти исчезнувшая в современной Европе традиция молиться перед трапезой.

Показательно, что и в эмиграции корейские общины объединяются по преимуществу вокруг церквей. В США и некоторых других странах, которые стали центрами корейской эмиграции в сравнительно позднее время, именно корейская христианская (чаще – протестантская) церковь становится для местной диаспоры главным центром встреч и контактов [15: с. 65].

Подтверждение этому можно найти, например, в истории австралийской корейской церкви. Показательно, кстати, что корейские христиане, находясь в эмиграции, не смешиваются со своими иноплеменными единоверцами, а создают собственные, чисто корейские приходы. Корейская иммиграция в Австралию началась в середине семидесятых годов, и в 1974 г. в Сиднее была основана первая корейская церковь. К 1990 г. количество корейских протестантских приходов в этом городе достигло 52.

Надо сказать, что и статистика при более внимательном рассмотрении подтверждает, что христианство является в Корее наиболее активной и влиятельной религией. Во-первых, чем моложе человек, чем больше вероятность того, что он окажется христианином. Если в целом по стране в 1991 г. буддисты составляли 51,2 % верующих, а христиане – 45 %, то в том же году среди верующих в возрасте от 20 до 29 лет буддистов было 40,2 %, а христиан – 56,8 %. Во-вторых, доля христиан существенно выше среди городских жителей, чем среди сельских (в 1991 г. – в полтора раза [7: с. 32]. В-третьих, чем выше уровень образования и социальный статус корейца, тем больше вероятность того, что он исповедует христианство. Так, когда в декабре 1994 г. в Корее было сформировано новое правительство, буддийская газета «Поппо синмун» сообщила о его религиозном составе. Из 22 министров кабинета 11 были протестантами, 4 – католиками, один – буддистом, а 6 – неверующими [17].

Подтверждаются приведенные выше субъективные впечатления и данными социологического опроса верующих, в ходе которого им задавали вопрос о том, насколько часто они посещают религиозную службу. Результаты этого обследования говорят сами за себя. Больше половины (54,2 %) буддистов посещали религиозные церемонии «раз в год и реже», и только 17,2 % всех тех, кто считал себя буддистами, бывали в храмах чаще, чем раз в месяц. С другой стороны, более двух третей христиан (76,1 % протестантов и 67,2 % католиков) посещали храмы «раз в неделю и чаще» [9: с. 101]; 55 % буддистов (против 6,8 % протестантов и 10,6 % католиков) признались, что никогда в жизни не читали священных текстов своей религии [2: с. 54]. Наконец, не следует забывать и субъективной самооценке верующими своих религиозных чувств. В 1983 г. 34,9 % буддистов, но 46,2 % протестантов и 48,7 % католиков охарактеризовали свою веру как «очень глубокую».

Однако отметим, что корейский протестантизм не отличается единством. Он представлен многочисленными и организационно независимыми друг от друга направлениями и группировками, которые часто раскалываются из-за религиозных, финансовых или политических разногласий. Переходы из одной конгрегации в другую являются совершенно обычными. Вообще говоря, склонность корейского протестантизма ко всяческим внутренним раздорам и конфликтам может порою вызывать улыбку у постороннего наблюдателя. В большинстве своем корейские протестантские церкви и секты являются ответвлениями тех или иных американских религиозных течений, но, как правило, обладают организационной независимостью. Самыми крупными из протестантских групп в начале 1990-х гг. были две пресвитерианские церкви, отколовшиеся друг от друга в 1959 г. (в каждой насчитывается примерно по 2 миллиона членов). Кроме того, в стране действует еще 12 крупных (не менее 200 тысяч прихожан в каждой) и великое множество средних и мелких протестантских церквей и сект [2]. Необходимо заметить, что печально знаменитая за рубежом Церковь Объединения Мун Сон Мёна («мунитыы»), которая у многих иностранцев по понятным причинам ассоциируется с Кореей, в действительности, несмотря на корейское происхождение своего основателя, играет весьма скромную роль в религиозной жизни страны.

Корейское католичество, несмотря на всю свою героическую историю, сейчас по своему влиянию заметно уступает протестантизму. Тем не менее как абсолютная численность католиков в стране, так и их удельный вес продолжают расти. В 1984 г. в Корее побывал папа римский, который принимал участие в пышных торжествах, посвященных 200-летию корейского католицизма. Католические иерархи пользуются в стране заметным влиянием (пожалуй, более серьезным, чем руководители протестантских церквей, репутацию которых во многом портят постоянные расколы и скандалы, в том числе и финансовые).

Говоря о позициях христианства в политической жизни РК в период 1945–1962 гг., следует отметить, что 1945 г. принес кардинальные изменения в положении корейского христианства. С этого момента христианство, которое на протяжении почти двух столетий было религией либо прямо запрещавшейся и преследовавшейся, либо не поощрявшейся властями, приобрело полуофициальный статус. Ушли в прошлое запреты, преследования и барьеры для свободного распространения и развития христианства.

Более того, христианская религия стала приобретать черты официальной идеологии, получать государственную поддержку, находиться в благоприятных условиях. В страну вернулись из Америки многие корейские политические эмигранты – по вере убежденные христиане и проповедники, многие из которых заняли ключевые посты в государстве и обществе. После Корейской войны количество христиан в южной части полуострова стало

быстро возрастать. Если в 1940 г. христиане составляли только 2,2 % населения страны, то в 1962 – 12,8 %, а в 1990 – 23 %.

В период режима Ли Сын Мана и последовавших военных диктатур (1948–1987), отношения христианского клира, общины и властей были сложными и противоречивыми. С одной стороны, основная масса корейского духовенства поддерживала идеологию правительства, суть которой заключалась в непримиримом антикоммунизме, к тому антикоммунистические позиции занимал весь официальный западный христианский мир. Прочные связи христианских общин в Южной Корее и США также сказывались на политической ориентации корейских протестантских церквей. Наконец, доля христиан среди корейской экономической и политической элиты после 1945 г. была очень велика и продолжала расти, что тоже делало христианские церкви сторонниками сохранения существующей системы. В то же время корейское христианство не стало придатком светской, политической власти. На практике корейские христиане, особенно католики, играли активную роль в оппозиционных движениях. Католические соборы, которые в Корее пользуются неофициальным, но на практике обычно соблюдаемым правом убежища, часто становились ареной антиправительственных выступлений. Католические пастыри участвовали в антиправительственных демонстрациях, выступали с критикой государственной политики, вставали на защиту преследуемых властями. Такие действия положительно сказались на имидже христианской церкви среди всего населения страны, особенно среди интеллигенции и студенчества.

В XXI в. корейское христианство, в отличие от христианства западных стран, переживает несравнимый подъем, число верующих неуклонно растет, а идеология христианства охватывает все стороны социальной жизни в стране, в том числе политику.

Так, приведем результаты опроса, имевшего место среди духовных лиц в 2007 г. [3: с. 121]. На вопрос «Какая религия, по вашему мнению, оказывает наибольшее влияние на политические круги?» 47 % опрошенных духовных лиц назвали протестантство. На втором месте оказалось католичество (30,9 %), а на третьем – буддизм (20,4 %).

В ответ на вопрос «Какая религиозная конфессия оказывает наибольшее влияние на результаты голосования во время выборов?» около 54 % респондентов также назвали протестантство. Далее следуют буддизм (28,6 %) и католичество (13,9 %).

Ответ на вопрос, политика какой из ныне действующих партий Южной Кореи наиболее близка религиозным взглядам представителей трех ведущих религиозных конфессий страны, дал следующие результаты. В целом около 39 % опрошенных не назвали никакой партии; 24,5 % респондентов отдали свои голоса Демократической трудовой партии (небольшая партия левого толка), около 14 % – ведущей оппозиционной партии «Ханнара», а около 13 % респондентов выбрали правящую партию «Ёллин ури». Вместе с тем, если посмотреть данные по отдельным религиям, то среди протестантских священников больше тех, кто поддерживает политику Демократической трудовой партии (37,4 %). Большинство представителей буддийского и католического духовенства не испытывают особых симпатий ни к одной из политических партий (соответственно 45,1 % и 49 %), однако, среди буддийских священнослужителей оказалось немало приверженцев политических взглядов оппозиционной партии «Ханнара» – особенно по сравнению с другими конфессиями (24,2 %).

На вопрос «Считаете ли вы важным вероисповедание кандидата на выборах для его поддержки?» – 67,5 % респондентов в целом дали отрицательный ответ. Вместе с тем около 57 % опрошенных буддийских священников заявили, что для них религиозная принадлежность кандидата является немаловажным фактором. Среди протестантов таковых оказалось всего 16,4 %, а среди католиков – 26,5 %.

Тем не менее более 84 % опрошенных священнослужителей полагают, что религиозные организации как таковые не должны оказывать целенаправленную поддержку определенному кандидату или политической партии. И это неслучайно. Большая часть жителей страны – христиане, и как диктует их религия они «имеют право свободного выбора» [5: с. 61]. Христианский выбор, сделанный миллионами корейцев, невозможно было предсказать средствами социальной, политической прогностики. Он не был обусловлен никакими культурно-историческими предпосылками. Между страной классического Востока и христианством, за которым прочно закрепился имидж западной религии существовало, казалось бы, очень мало точек соприкосновения. И до начала XX в. деятельность христианских миссионеров в Корее, как и в других странах Юго-Восточной Азии, не была успешной и не имела сколько-нибудь значительных последствий.

Как указывает Ли Дж.Р., «… за несколько десятилетий происходит нечто экстраординарное: по стране прокатывается мощная волна христианизации, сопровождающаяся социальным и экономическим возрождением нации. Трагический, насильственный отрыв Северной Кореи посредством вмешательства коммунистических сил, образовавшийся затем контраст между ней и Южной Кореей еще больше подчеркивают качественные различия двух типов массовой духовности и порождаемых ими политических и экономических последствий» [4: с. 213]. Для Южной Кореи христианство стало главным

духовным основанием выхода из состояния моральной, социальной и экономической немощи, в которое ее ввергло господство японской колониальной политики.

Таким образом, из трех ведущих религиозных конфессий Южной Кореи, включающих буддизм, протестантство и католичество, наибольшим политическим влиянием обладает протестантство.

Говоря о влиянии христианства на политическую жизнь Южной Кореи, следует уделить внимание такому религиозному течению, как мунизм, Церковь Объединения (движение Муна).

Еще в начале 1974 г. Сун Мнунг Мун приехал в США и начал поездку по стране, разъясняя, что Бог рассчитывает на Америку. Несколько конгрессменов пригласили лидера выступить с речью на неофициальном приеме в палате представителей конгресса США.

Муниты усвоили христианскую терминологию и приспособили ее для своего учения. Однако, несмотря на стремление мунистов объединить христиан, сами они не христиане в традиционном, каноническом понимании этого слова.

Движение Муна изначально занималось в США и политической деятельностью. Относительно как минимум одной акции могут быть приведены прямые доказательства того, что ее оплачивала южнокорейская секретная служба (КЦРУ). В это время появились и другие «культурные» и «мирные» организации и фонды. Вначале все они были призваны тем или иным образом представлять интересы Южной Кореи и диктатуры Пак Чжон Хи. Одновременно эти акции были направлены для укрепления роли движения Муна в самой Южной Корее. Движение активно поддерживалось и укреплялось государством. Во многом это объясняется тем, что данное религиозное течение активно критиковало коммунизм. Сун Мнунг Мун объявлял коммунизм прямым порождением Сатаны [6: с. 121]. Однако мунитам было отказано в поддержке как раз в тот период, когда основным элементом идеологии стал не антикоммунизм, а национализм, на фоне которого многие идеологические установки Муна выглядели по меньше мере странно.

Главным недостатком антикоммунистической идеологии Муна было то, что, отделяя Север от Юга, она сливала Южную Корею с остальным блоком антикоммунистических держав, способствуя, таким образом, активной вестернизации страны и размыванию национальной психологии и культуры. Поэтому с укреплением режима Пак Чон Хи антикоммунизм отошел на второй план, уступив место национализму [16]. Его лозунги модернизации родины, национальной реконструкции, экономического роста, национальной мобилизации были заметным новым элементом в корейской политической культуре того времени.

В период режима Ли Сын Мана и последовавших военных диктатур (1948–1987), отношения христианского клира, общины и властей были сложными и противоречивыми. С одной стороны, основная масса корейского духовенства поддерживала идеологию правительства, суть которой заключалась в непримиримом антикоммунизме, к тому антикоммунистические позиции занимал весь официальный западный христианский мир. Прочные связи христианских общин в Южной Корее и США также сказывались на политической ориентации корейских протестантских церквей. Наконец, доля христиан среди корейской экономической и политической элиты после 1945 г. была очень велика и продолжала расти, что тоже делало христианские церкви сторонниками сохранения существующей системы. В то же время корейское христианство не стало придатком светской, политической власти. На практике корейские христиане, особенно католики, играли активную роль в оппозиционных движениях. Католические соборы, которые в Корее пользуются неофициальным, но обычно соблюдаемым правом убежища, часто становились ареной антиправительственных выступлений. Католические пастыри участвовали в антиправительственных демонстрациях, выступали с критикой государственной политики, вставали на защиту преследуемых властями. Такие действия положительно сказались на имидже христианской церкви среди всего населения страны, особенно среди интеллигенции и студенчества.

В XXI в. корейское христианство, в отличие от христианства западных стран, переживает несравнимый подъем, число верующих неуклонно растет, а идеология христианства охватывает все стороны социальной жизни в стране, в том числе и политику.

Обобщив вышесказанное, можно указать на основные положения о влиянии религии на политическую жизнь Республики Корея:

Наибольшее влияние на политическую жизнь Республики Корея оказывает протестантизм.

Показательно, что представители духовенства в большинстве своем не ведут активной политической деятельности.

Представители духовенства, ведущие политическую деятельность, в основной массе выступают сторонниками демократического режима.

В период активной критики коммунизма особое влияние на политику приобрела Церковь Святого Муна.

Христианство в Корее совершенно самостоятельно, оно не является частью светской, политической власти. На практике корейские христиане, особенно католики, играли и играют активную роль в оппозиционных движениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бугай, Н.Ф.* «Третья Корея» : новая миссия и проблемы глобализации / Н. Ф. Бугай. – М. : Центр, 2005. – 272 с.

2. *Бугай, Н.Ф.* Корея в планах США в годы Второй мировой войны / Н.Ф. Бугай. – М. : ИВЛ, 1962. – 140 с.

3. *Ковальчук, Ю.С.* Корейские протестантизм и его миссионерские практики в азиатской части Российской Федерации / Ю.С. Ковальчук. – Новосибирск : ИАЭ СО РАН, 2008. –191 с.

4. *Ли, Джей Рок.* Откровения о вечной жизни в преддверии смерти / Джей Рок Ли. – СПб. : Новое и Старое, 2003. – 342 с.

5. *Мороз, А.* Лжеучение Муна / А. Мороз // Секты в РФ : сб. ст. – М. : Мир, 2006. – 651 с.

6. *Толстокулаков, И.А.* Очерк истории корейской культуры / И.А. Толстокулаков. – Владивосток : Издательство ДВГУ, 2002. – 238 с.

7. Лекции по истории Кореи / Сук-Бэ Чжун [и др.]. – М. : Экслибрис-пресс, 1997. – 96 с.

8. *Adams, D.* Ancestors, Folk Religion and Korean Christianity / D. Adams // Perspectives on Christianity in Korea and Japan / Lewiston, Queenstone, 1995. – P. 96–112.

9. *Grayson, J.* Korea: a Religous History / J. Grayson. – Oxford, 1989. – P. 101.

10. *Han, Gil Soo.* Social Cources of Church Growth / Gil Soo Han // Korean Churches in the Homeland and Overseas. – Lanham : N. Y., L., 1994. – P. 66.

11. *Kim, A.A.* History of Christianity in Korea / A.A. Kim // Korea Journal. – Seoul, 1988. – № 2. – P. 32–38.

12. *Lee, Jung-Young.* Christian Indigenization in Korea / Jung-Young Lee //Asian Pacific Quarterly of Cultural and Social Affairs. – Seoul, 1986. – № 1. – P. 17–24.

13. *Palmer, S.* Korea and Christianity / S. Palmer // The Problem of Identification with Tradition. – Seoul, 1967. – P. 65–72.

14. *Suh, David Kwang-sun.* Minjung Theology : The Politics and Spirituality of Korean Christianity / David Kwang–sun Suh // Perspectives on Christianity in Korea and Japan. – Lewiston, Queenstone, 1995. – P. 145.

15. *Wells, K.* New God, New Nation: Protestants and Self-Reconstruction Nationalism in Korea 1896–1897 / K. Wells. – Honolulu, 1990. – P. 65–69.

16. *Wells, K.* Church Growth in Korea: A Paradigm Shift from Ecclesiology to Nationalism / K. Wells, D. Adams // Perspectives on Christianity in Korea and Japan. – Lewiston, Queenstone, 1995. – P. 32–41.

17. *Yu, Eui-young.* Ethnic Identity and Community Involment of Younger Generation Korean-Americans / Eui-young Yu // Korean Studies: New Pacific Currents. – Honolulu, 1994. – P. 277–278.

РЕЦЕНЗИИ

К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ НАУЧНОЙ КРИТИКИ

(рецензия на монографию Е.А. Первушиной «Сонеты Шекспира в России: переводческая рецепция XIX–XXI вв.»)*

Прошина Зоя Григорьевна – доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

Романова Галина Романовна – доктор филологических наук, доцент Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре).

В монографии профессора Дальневосточного федерального университета Елены Александровны Первушиной представлен развёрнутый историко-литературный обзор отечественных переводов сонетов Шекспира – от XIX столетия до наших дней. Такое обширное и подробное исследование истории русской сонетианы Шекспира предпринято в нашей науке впервые. Отметим также, что Е.А. Первушина самостоятельно разработала периодизацию в истории русской сонетианы Шекспира, обратившись к изучению многих белых пятен в этой истории.

Явление поэтического перевода автор рассматривает как проблему сравнительного литературоведения, производя свой анализ в свете актуальных функционально-рецептивных подходов. Это позволяет ей выйти за пределы узко фактографических подходов в сопоставлении оригинальных и переводных произведений и сделать важные выводы о художественном своеобразии переводной литературы в целом и об особых законах её исторического развития. Важность выполнения исследований в рамках дескриптивного переводоведения, ставящего во главу угла сопоставление переводных текстов («target-orientedness»[1]) для выявления законов связи между переводческими переменными, была подчеркнута известным израильским теоретиком перевода Гидеоном Тури, считающимся создателем этого нового и перспективного направления, зародившегося на рубеже XX и XXI веков, и очень отрадно, что такие исследования с успехом проводятся в нашей стране в переводоведческой школе профессора Р.Р. Чайковского и теперь получили развитие в концепции Е.А. Первушиной.

Следует также отметить серьёзную позицию автора монографии в его взгляде на высочайший потенциал отечественной словесности, представленный не только в оригинальных произведениях русских авторов, но и в переводах иноязычных писателей на русский язык, рассматриваемых в сложном историко-литературном контексте различных художественных систем – от романтизма до постимпрессионизма. Важны намеченные Е.А. Первушиной литературоведческие ориентиры в анализе поэтических переводов, связанные с жанрово-стилевыми особенностями сонета и цикла сонетов. Основной вывод исследовательницы состоит в том, что результатом отечественной переводческой рецепции знаменитых сонетов, которая постоянно открывала нового и многоликого Шекспира, стало созидание выдающегося феномена переводной литературы. Русская сонетиана Шекспира в процессе своего становления и развития постепенно обретала способность в значительной мере быть самостоятельным и самоорганизующимся итогом грандиозного культурно-эстетического диалога. В итоге можно с уверенностью говорить о теоретической значимости рецензируемой монографии, в которой просматриваются новые возможности сравнительного литературоведения.

Работа Е.А. Первушиной уже нашла своих заинтересованных читателей. Её первая презентация состоялась в сентябре 2010 г. на заседании Международной конференции «Шекспировские чтения 2010», после чего Шекспировская комиссия РАН направила в ректорат ДВФУ благодарственное письмо. Книга была удостоена серебряной медали на региональной выставке «Печатный двор» в номинации «Научная монография». В декабре 2010 г. прошла новая презентация для общественности

---

* Первушина Е.А. Сонеты Шекспира в России: переводческая рецепция XIX–XXI вв. : монография. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. 354 с. ISBN 978-5-7444-2387-2.

[1] Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamin's Publ. Co., 1995, p. 25.

Владивостока в Приморском государственном музее им. В.К. Арсеньева[2]. Информация о монографии была представлена на страницах журнала «Вестник гуманитарной науки»[3] и на официальном сайте академического проекта «Русский Шекспир»[4] и др., а в интерактивной энциклопедии «Википедия» к статье «Сонеты Шекспира» появилась ссылка на эту работу[5].

Исследование Е.А. Первушиной заметили и высоко оценили многие авторитетные специалисты, доктора филологических наук: заместитель председателя Шекспировской комиссии РАН профессор И.С. Приходько (ИМЛИ РАН), профессор Ю.Б. Орлицкий (РГГУ), профессор Б.-М. Ингемансон (Вашингтонский государственный университет, штат Вашингтон, США), профессор А.С. Либерман (Миннесотский университет, США)[6] и др. Доктор филологических наук, профессор Н.Т. Пахсарьян (МГУ им. Ломоносова) представила монографию Е.А. Первушиной на страницах «Реферативного журнала» ИНИОН РАН (2011, № 3). Учёный секретарь Шекспировской комиссии РАН, кандидат филологических наук, доктор философии Н.В. Захаров отметил в своей рецензии: «Глубокое и оригинальное исследование Е.А. Первушиной является значительным событием в современной отечественной компаративистике»[7].

Правда, появился и отрицательный отзыв на монографию Е.А. Первушиной, написанный доктором филологических наук О.Г. Дилакторской, которая категорично заявила, что «…солидный по объёму труд весьма немного дал нового для дальнейшего исследования проблемы восприятия сонетов английского классика в русском культурном сознании»[8]. Естественно, столь суровая оценка требовала серьёзных и принципиально обоснованных возражений, однако, в данном отзыве мы их не увидели.

Прежде всего, бездоказательным выглядит утверждение, что автор монографии «не сформулировал собственной концепции». Е.А. Первушина изложила её во введении и в первой, теоретической, главе монографии **(**«Переводная литература как проблема сравнительного литературоведения»), установив методологическую базу своей работы в обращении к проблемам восприятия и функционирования художественного произведения. В монографии представлен обстоятельный аналитический обзор соответствующих научных подходов: герменевтических принципов интерпретации, утверждавших важность категории понимания; идей феноменологии о созидательной открытости в соотношении параметров восприятия («горизонта» текста и «горизонта» интерпретатора); литературоведческого признания диалогической природы литературного творчества и креативной роли читателя в раскрытии и умножении потенциальных смыслов произведения. Известно, что на пересечении названных подходов произошло формирование рецептивной эстетики, направившей исследовательское внимание на изучение творческого характера воспринимающего сознания. В русле именно этого – функционально-рецептивного – направления Е.А. Первушина разворачивает своё исследование, говоря о необходимости изучения переводческого восприятия и преобразующего воссоздания оригинальных произведений, т. е. *переводческой рецепции* одного из самых репрезентативных образцов переводной множественности в русской словесности – отечественной сонетианы Шекспира. На эту проблематику чётко указывает и название работы, первая часть которого уточняется второй: «Сонеты Шекспира в России: переводческая рецепция XIX–XXI вв.».

Но О.Г. Дилакторская неточно прочла авторское название книги: поставив в его центре не

---

[2] См.: http://www.rus-shake.ru/menu/news/9609.html.

[3] URL: http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=623669/

[4] URL: http://www.rus-shake.ru/menu/news/9708.html

[5] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0

[6] «На протяжении последних семидесяти лет литературоведение не заботит читающую публику, – отметил А.С. Либерман в книжном обзоре, направленном в литературно-художественный журнал «Мосты», издаваемый в Германии. – Романизированные биографии в духе Ирвинга Стоуна и Андре Моруа, выяснение того, кто писал под именем Шекспира, расследование обстоятельств дуэли Пушкина и описание верёвки, на которой повесился Есенин, – это ведь не литературоведение». Подобная «теория литературы», продолжает исследователь, «свою судьбу заслужила, ибо слилась с политикой и вырядилась в шутовские наукообразные одежды. Однако и после конца двадцатых годов публиковались глубокие, интересные, даже увлекательные книги по теории литературы. «Сонеты Шекспира в России» Е.А. Первушиной – одна из них».

[7] Сонеты Шекспира в России (Н.В. Захаров) // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 288.

Рецензия Н. В. Захарова размещена также на сайтах научно-информационной базы данных «Русский Шекспир» (http://www.rus-shake.ru/menu/news/9726.html) и электронной энциклопедии «Мир Шекспира (http://www.world-shake.ru/ru/news/4238.html).

[8] Дилакторская О.Г. Реплика по поводу книги о сонетах Шекспира в России // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». 2010. № 4. С. 155. Далее, ссылаясь на текст реплики, мы ограничимся указанием в скобках страницы, на которой расположен цитируемый фрагмент.

двоеточие, а точку. Таким образом, она сделала уточнение другим, отдельным предложением и потому сочла возможными собственные предположения о двух аспектах исследования: «Составное заглавие монографии позволяет предположить два ракурса профессионального исследования и отнести его к области либо зарубежного литературоведения, либо русского. Что является предметом исследования – сонеты Шекспира или русские переводчики со своим восприятием их?» [с. 154]. На наш взгляд, очевидно, автор монографии собирается говорить не о сонетах Шекспира, а о *сонетах Шекспира в России*. Не менее очевидно и то, что *отечественного* исследователя невозможно причислить ни к какой области *зарубежного* литературоведения. Но далее О.Г. Дилакторская обескураживает ещё больше: она попросту не замечает в монографии ни введения, ни теоретической главы и первой называет вообще-то вторую главу книги, к тому же очень неточно представив её содержание[9]. В отзыве совершенно не комментируются категории и понятия, заявленные автором монографии основополагающими, – переводческая рецепция, переводная литература, переводная множественность, переводческие стратегии, жанровая переводческая трансформация, сонет, сонетный цикл и др.

Избегая необходимой в таких случаях научной полемики, О.Г. Дилакторская предпочитает заявить об отсутствии у Е.А. Первушиной концепции и ограничиться назидательным пересказом хорошо известных положений книги Ю.М. Лотмана «Анализ поэтического текста» и упрёками в научной несостоятельности отдельных терминов, используемых в работе. Однако некоторые из этих – кстати сказать, широко употребляемых – слов (реализмоцентризм, шекспироцентризм) вовсе не являются специальными терминами, а протест О.Г. Дилакторской против выражения «текст без берегов» вызывает желание посоветовать автору реплики познакомиться с одним из положений эстетики постмодернизма. Это принцип сплошной текстуализации реальности, известный именно как «теория текста без берегов». «Если термин "реализм без берегов", – утверждает О.Г. Дилакторская, – предполагает "внедрение" реалистических деталей в модернизм, постмодернизм, соц-арт, примитивизм, экспрессионизм и т. д., т. е. очевидно оправдание метафоры "без берегов", то термин "текст без берегов" трудно комментировать» [с. 154]. Как не вспомнить написанное М.В. Вербицкой в её монографии ещё 10 лет назад: «Создаётся впечатление, что весь мир живёт сейчас в безграничном гипертекстуальном, или интертекстуальном пространстве. Была эпоха "реализма без берегов", теперь наступила эпоха "текста без берегов"»[10].

Не менее бездоказательно заявление О.Г. Дилакторской о том, что автор монографии «не выявил новые тексты переводов, не обнаружил в своем анализе новые пути эволюции» [с. 154]. Видимо, автору реплики было проще опять не заметить в книге Е.А. Первушиной обстоятельно развёрнутую хронологическую таблицу (с. 342–353), отразившую историческую картину русской сонетианы Шекспира. Наряду с известными именами, здесь представлено множество новых авторов. Напомним, что в книге впервые предложена периодизация истории русских переводов Шекспира и рассмотрены особые принципы этой периодизации. Научные редакторы сборника статей, выпущенного по материалам международной конференции «Шекспировские чтения 2010», на которой Е.А. Первушина апробировала эти идеи, назвали предложенную ею периодизацию одним из научных достижений автора в области шекспирологии[11].

Отдельного замечания заслуживают библиографические ссылки, приведённые в отзыве. Не заметив названных Е.А. Первушиной имён многочисленных зарубежных и отечественных исследователей сонетов (с. 5) и желая продемонстрировать собственные познания в области шекспирологии, О.Г. Дилакторская называет труды, которые, по её представлению, должны были представить научные достижения в изучении шекспировских сонетов. Но всё это очень давние, созданные ещё на заре шекспироведения работы общего характера, к тому же посвящённые вовсе не сонетам. Англичанин У. Хэзлитт (1778–1830) в произведении, упомянутом в ссылке, писал о характерах драматических произведений Шекспира; французу И. Тэна (1828–1893) интересовало культурно-историческое истолкование творчества Шекспира в целом. Из трудов французского историка, литературного критика и политика Ф. Гизо (1787–1874) О.Г. Дилакторская выбрала для ссылки работу историко-социологического характера – «Шекспир и его время», шекспироведы гораздо больше ценят другие его ста-

[9] У Е.А. Первушиной глава называется «Становление русской сонетианы Шекспира в XIX в.», О.Г. Дилакторская утверждает, что эта глава посвящена «изучению состояния переводческой деятельности в России в XIX в.» [с. 154].

[10] Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов. М.: МГУ, 2000. С. 3.

[11] Шекспировские чтения. Науч. совет РАН «История мировой литературы» / гл. ред. А.В. Бартошевич. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. 404 с. См. также: http://www.world-shake.ru/ru/news/4253.html.

тьи [12] . Датский критик и историк литературы Г. Брандес (1842–1927) – автор биографии Шекспира, о сонетах в ней сказано очень коротко.

Другая подборка библиографических ссылок приведена О.Г. Дилакторской с целью показать, как не нова Е.А. Первушина в доказательстве того, что «Шекспир любовный сюжет своих сонетов адресовал не «смуглой даме», а мужчине», поскольку «этот вывод давно прозвучал в европейском шекспироведении» [с. 154]. Сразу отметим, что Е.А. Первушина упоминает указанные вопросы в свете *литературоведческой* проблемы поэтических адресатов и анализирует, напомним, не сами сонеты Шекспира[13], а их восприятие русскими переводчиками. Но О.Г. Дилакторская указывает в своей ссылке далёкие от литературоведения труды, созданные на стыке психологии и сексологии. Первым примером «европейского шекспироведения» она называет работу *американской* исследовательницы Ив Кософски Седжвик, которую в США считают основоположником изучения гей-культуры.

Наконец, невозможно не заметить, как много неточностей в отзыве О.Г. Дилакторской. Прежде всего в написании оригинальных фамилий и иностранных слов. Так, в фамилии У. Хэзлитта переставлены буквы (вместо «Ha**zl**itt» написано «Ha**lz**itt»), в фамилии Ф. Гизо подменена буква (вместо правильного F. Gui**z**ot написано F. Gui**s**ot); неправильно воспроизведена фамилия Ив Кософски Седжвик: в ней, во-первых, пропущена буква g, а во-вторых, непонятно почему в середине имени этого – одного – человека поставлена точка и вместо «E. Kosofsky Se**dg**wick» в отзыве видим «E. Kosofsky. Se**dw**ick» [с. 154]. Есть у О.Г. Дилакторской и фактические ошибки: искажено название статьи А.Л. Зорина: она называется «**Сонеты** Шекспира в русских переводах», а не «**Сюжеты** Шекспира в русских переводах», как это написано в отзыве. Упомянутый А.Л. Зорин неверно определён открывателем имён переводчиков XIX в. – шекспироведам хорошо известно, что эти имена были установлены не им и гораздо раньше[14]. Видный историк западно-европейской литературы, основоположник отечественной шекспирологии, профессор Н.И. Стороженко, бывший вице-президентом Шекспировского общества в Лондоне и председателем Общества любителей российской словесности в Москве, в реплике переквалифицирован в переводчики сонетов. Библиографический очерк Н.Н. Бахтина назван здесь словарем и пр.

Наверное, О.Г. Дилакторской следовало внимательнее прочесть не только рецензируемую ею монографию, но и собственную рецензию, поскольку в настоящем виде её отзыв исключает возможность корректной научной полемики.

[12] Об этом см.: Реизов Б. Шекспир и эстетика французского романтизма: («Жизнь Шекспира» Ф. Гизо) // Шекспир в мировой литературе. Л. : Худож. лит., 1964. – С. 157–197; Луков Вал. А. Гизо и Шекспир // Шекспировские штудии XIV: Шекспир: разноязычный контекст : сб. науч. трудов. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. – С. 35–40.

[13] Е.А. Первушина не ставила своей целью анализ указанной проблемы, но на с. 92–93 своей монографии указала современных специалистов-литературоведов, осуществивших обстоятельный и системный обзор зарубежной и отечественной исследовательской литературы. См: Луков Вл. А.; Флорова В.С. «Сонеты» Уильяма Шекспира: от контекстов к тексту (К 400-летию со дня публикации шекспировских «Сонетов»). М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. – 94 с.

[14] См.: Шекспир: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1748–1962 / сост. И.М. Левидова; отв. ред. М.П. Алексеев. – М.: Книга, 1964. – 709 с.; Шекспир и русская культура / под ред. М.П. Алексеева – М. ; Л. : Наука, 1965. – 823 с.

СВЕДЕНИЯ О ДИССЕРТАЦИЯХ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ КМ 212.056.04 ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В апреле 2011 г. в Диссертационном совете КМ 212.056.04 состоялись защиты диссертаций:

Васильева Людмила Витальевна **«Исследование модусных категорий в эволюции медиадискурса (на материале американской прессы XX века)».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.04 – германские языки. Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Серкова Н.И.

Никитина Мария Александровна **«Функционирование метафоры в заголовке экономического текста прессы (на материале немецкого журнала «Der Spiegel»)».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.04 – германские языки. Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кан Е.Н.

Полянская Марина Александровна **«Просодия английской фразы в речи носителей китайского языка».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бондаренко Л.П.

Сытникова Татьяна Анатольевна **«Англоязычная компьютерная техническая терминосистема как объект лингвокогнитивного исследования».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.04 – германские языки. Научный руководитель: д-р филол. наук, доцент Пак С.М.

В октябре 2011 г. в Диссертационном совете КМ 212.056.04 состоялись защиты диссертаций:

Ковынева Елена Александровна **«Поэзия Э.М. Ремарка в русских переводах (историко-типологические, стилистико-сопоставительные и переводоведческие проблемы)».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. Чайковский Р. Р.

Максимова Юлия Сергеевна **«Лингвистическое выражение компромисса в культурах Запада и Востока через английский язык как язык-посредник (на материале художественных текстов)».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. Прошина З.Г.

Сычева Анастасия Валерьевна **«Поэзия Булата Окуджавы в переводах на английский язык (исторические, лингвопереводоведческие и типологические аспекты)».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Научный руководитель: д-р филол. наук, проф. Чайковский Р. Р.

Шевчук Нелли Михайловна **«Просодия фразы в корейской региональной разновидности английского языка».**

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Бондаренко Л.П.

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 002.006.02 ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН

В ноябре 2011 г. в Диссертационном совете Д 002.006.02 состоялись защиты диссертаций:

Терехова Евгения Викторовна (ДВО РАН) **«Статус и функционирование рекуррентных конструкций в политическом дискурсе современного английского языка».**

Докторская диссертация по специальности 10.02.04 – германские языки.

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 212.155.04 ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В ноябре 2011 г. в Диссертационном совете Д 212.155.04 состоялись защиты диссертаций:

Николаева Ольга Васильевна (ДВФУ) **«Теория взаимодействия концептуальных картин мира: языковая актуализация (на материале новозеландского варианта английского языка и языка маори)».**

Докторская диссертация по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ: СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»

Общая информация

С 19 по 21 сентября Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет принимал у себя девятую конференцию, посвященную актуальным проблемам социально-экономического и гуманитарного знания, связанным с судьбой Дальнего Востока России.

Международная научно-практическая конференция под названием «Дальний Восток России: сохранение человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения» была организована при поддержке гранта № 11-13-27501г/Т Российского гуманитарного научного фонда, Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук, Правительства Хабаровского края и Еврейской автономной области. Кроме того, помощь организаторам конференции оказало ОАО «Амурметалл». Хочется сказать его руководителю Владимиру Васильевичу Лиманкину огромное за это спасибо.

В конференции приняли участие ученые из Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Биробиджана, Омска, Иркутска, Орла и других городов России. Среди участников 28 докторов наук, профессоров, 39 кандидатов наук, доцентов. Активное участие принимали и молодые ученые, среди них 48 аспирантов и 6 магистров. На конференцию приехали представители одной научной организации (Российская Академия наук, Санкт-Петербургский научный центр) и восемнадцати российских университетов: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет; Благовещенский государственный педагогический университет; Дальневосточная академия государственной службы; Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия; Амурский государственный университет; Хабаровская государственная академия экономики и права; Владивостокский государственный университет экономики и сервиса; Дальневосточный федеральный университет; Хабаровский государственный институт искусств и культуры; Омский государственный педагогический университет; Иркутский государственный лингвистический университет; Тихоокеанский государственный университет; Дальневосточный государственный университет путей сообщения; Дальневосточный государственный гуманитарный университет; Орловский государственный университет; Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Шесть человек представляли предприятия и организации края, страны и мира (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 1; Дальневосточный художественный музей; ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», г. Комсомольск-на-Амуре; Издательство «Наука» (Санкт-Петербург); Администрация г. Комсомольска-на-Амуре; Строительная компании «YIAA.co» (Сирия, г. Дамаск)). Всего в конференции приняло участие 127 человек, из них 65 младше 39 лет. Международный статус конференции был подтвержден участием в ней специалистов из Сирии, Китая, Японии. Тема конференции оказалась интересной специалистам по всем областям социально-экономической и гуманитарной науки: философам и социологам, правоведам и политологам, культурологам и искусствоведам, филологам и историкам, экономистам и психологам, педагогам и антропологам.

Формат конференции представлял собой три пленарные и пять секционных заседаний, на которых представители разных наук вырабатывали общую позицию по существу решения проблемы сохранения населения на российском Дальнем Востоке и повышения качества его жизни. Кроме того, в течение третьего дня конференции был проведен итоговый круглый стол.

Международная научно-практическая конференция была посвящена ключевой проблеме социально-экономического развития Дальнего Востока – выработке технологий сохранения населения и повышения качества его жизни. Обсуждались различные пути и уровни решения данной проблемы. Результаты конференции имеют теоретическое и практическое значение. Теоретическое значение они имеют для экономики, истории, культурологии, социологии, политологии, психологии, правоведения, теории межкультурной коммуникации. Практическое значение – для формирования содержания ключевых дисциплин специальностей социально-гуманитарного и экономического про-

филя, для разработки правовых актов, политики и экономического развития региона. В ходе конференции были высказаны различные, возможно, во многом спорные точки зрения. Но какие бы ни предлагались пути решения, цель одна – стабилизация населения на Дальнем Востоке, а для этого необходимо не только развивать традиционно сложившуюся экономику, ориентированную на военно-промышленный комплекс, но комплексно подходить к решению проблемы, создавая такие условия, чтобы человеку жить здесь было комфортно и интересно.

По итогам работы конференции ее участники приняли совместную резолюцию.

Работа конференции широко освещалась в СМИ города, края и ЕАО. Телевизионные каналы РТР и НТВ, Русское радио, газеты «Комсомольская правда», «Наш город», «Новая неделя», «Ваше право», «Дальневосточный Комсомольск», журналы «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», «Личность. Культура. Общество», информационные порталы Интернета, принадлежащие Комсомольскому-на-Амуре государственному техническому университету, Дальневосточному университету путей сообщения, Российской Социологической Ассоциации представили аналитические обзоры материалов конференции и интервью с ее участниками.

Обзор пленарных заседаний конференции

Программа работы включала в себя три пленарных заседания, касающиеся различных проблем, связанных с сохранением населения Дальнего Востока и повышением качества его жизни: 1) «Социально-экономические и политико-правовые условия сохранения населения и повышения качества его жизни»; 2) «Межкультурная коммуникация и культурно-педагогическая политика как факторы сохранения населения и повышения качества его жизни»; 3) «Исторические и демографические аспекты решения проблемы сохранения населения и повышения качества его жизни».

Первое пленарное заседание включало семь докладов. Оно началось выступлением профессора Рудольфа Львовича Лившица, доктора философских наук, профессора Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета «Российский Дальний Восток в аспекте геополитики». Он сообщил, что население Дальневосточного региона, по данным переписи 2010 г., составляет чуть более 6 млн. человек, или 5 % населения России. Это намного меньше по сравнению с пиком роста в 1990-е гг., когда оно равнялось 8 миллионам. Однако только в одном китайском Харбине проживает около 10 млн. человек. Дальний Восток занимает 30 % территории России, и его потеря может привести к началу распада всей страны, потому что возникнет соответствующая цепная реакция. Утрата Дальнего Востока России возможна как благодаря депопуляции, так и благодаря международной активности. Сейчас на наш регион претендуют США, Китай, Япония. Рудольф Львович подчеркнул возможность мягкой китайской ассимиляции Дальнего Востока России, представляющей собой легальное и нелегальное заселение его пустующих территорий, после чего останется только решить юридический вопрос об их принадлежности. Сегодня, говорил Р.Л. Лившиц, необходимо срочно принять программу заселения Дальнего Востока России. Особой критике подверглась в докладе так называемая «марсианская» точка зрения, согласно которой принадлежность Дальнего Востока не имеет особого значения для России, поскольку он – кладовая всего мира.

Следующий докладчик, Алексей Михайлович Соколов – доктор философских наук, профессор кафедры философии Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии Наук, в своем выступлении «Дальневосточный горизонт Евразии» сразу же указал на метафоричность самого названия «Дальний Восток». Дальность, по его мнению, – главное качество, которым наделяют жители центральных регионов страны наш регион. Это же определяет и отношение к нему властей. На самом же деле Дальний Восток должен выступать как выгодное место встречи востока и запада в современном мире. Алексей Михайлович обратил внимание и на тот факт, что Дальний Восток не был колонизирован, первопроходцы его освоили, сделав не ресурсной базой метрополии, а неотъемлемой частью родины.

Григорий Эдуардович Говорухин, доктор социологических наук, доцент Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, в ходе выступления «Экономические проблемы социальной системы современной России» высказал предположение о том, что большая часть населения Дальнего Востока России является «заложниками» этой территории. Он отмечал, что большинство опрошенных в ходе социологических исследований жителей Дальнего Востока, хотят уехать отсюда, но боятся это сделать, так как никогда не были на Западе. Подобное положение дел, тем не менее, не способствует сохранению населения. Так как этот фактор имеет отрицательный характер.

В докладе Андрея Юрьевича Завалишина «Социально-экономический аспект формирования жизненного пространства дальневосточников», доктора социологических наук, доцента Хабаровской академии экономики и права было проанализировано экономическое положение различных возрастных категорий дальневосточного населения России. Этот анализ позволил автору утверждать,

что экономическое положение дальневосточников не намного хуже, чем жителей других регионов России, а представление о депрессивности этого региона формируется благодаря ничем не оправданной пропаганде подобного положения дел в СМИ.

Интерес вызвал доклад Юрия Владимировича Рожкова – доктора экономических наук, профессора кафедры банковского дела Хабаровской академии экономики и права, «Банковское обслуживание как фактор повышения качества жизни населения региона». В своем докладе он показал, что современная банковская система представляет собой институт сдерживания роста личного благосостояния граждан и развития производства, поскольку проценты по выдаваемым кредитам оказываются настолько большими, что никакая прибыль не в состоянии их покрыть, а проценты по депозитам – настолько низкими, что полностью уничтожаются инфляцией.

В докладе доктора экономических наук, профессора Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Давида Кирилловича Шевченко «Проблемы, приоритеты и механизмы управления стратегической устойчивостью предприятия» отмечалось, что теоретическим основанием решения проблемы депопуляции региона является разработка механизмов прогнозирования банкротства предприятий и стратегических программ их устойчивого развития.

С заключительным докладом «Модернизация в современной России и русская цивилизация» выступил Владимир Михайлович Камнев, доктор философских наук, профессор, главный редактор Санкт-Петербургской издательской фирмы «Наука» Российской Академии Наук. Он утверждал, что в условиях присущей менталитету русского человека бесформенности только жесткая политическая структура способна сохранить русское государство, территориальную целостность и достижения русской культуры от распада.

Второе пленарное заседание включало восемь докладов.

В совместном выступлении профессоров Александра Семеновича Брейтмана (Дальневосточный государственный университет путей сообщения) и Альбины Игоревны Затулий (Тихоокеанский государственный университет) «Экранная культура: от "великого немого" до WEB-дизайна», анализировалось виртуальное пространство Дальнего Востока, созданное в Интернете. Отмечалась неэффективность современного брендинга этой территории, осуществляемого посредством IT-технологий. Особо было указано на утрату новым поколением дальневосточников интереса к книжной и даже экранной культуре, которые благодаря своей профессиональности, способны более эффективно формировать положительный имидж территории.

В докладе доктора философских наук, профессора Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета Ильи Игоревича Докучаева «Культура как социально-экономический фактор» отмечалось, что основным источником депопуляции Дальнего Востока является специализация регионов России, провоцирующая неравномерность социально-экономического развития региона. Только комплексное развитие Дальнего Востока, включающее мощную культурную составляющую, рост сферы услуг и образования, способно остановить отток населения отсюда.

В докладе Ильи Михайловича Ревича, доктора философских наук, профессора Хабаровской академии экономики и права «Гуманитарный этос: между универсальным и партикулярным» было отмечено, что только создание оригинальной культуры на Дальнем Востоке сможет остановить его депопуляцию. Однако эта оригинальность, по мнению автора доклада, сегодня должна носить не партикулярно-отечественный характер, а основываться на универсальных достижениях мировой культуры.

Евгения Валерьевна Савелова, кандидат культурологии, доцент Хабаровского государственного института искусства и культуры, в своем выступлении «К проблеме кризиса ценностных ориентаций в современном образовании» утверждала, что депопуляция Российского Дальнего Востока связана со снижением уровня образования в регионе, которое в свою очередь обусловлено кризисом семьи, являющейся институтом формирования ценности личности и образования.

Проблема снижения уровня образования в регионе также анализировалась в докладе Натальи Ефимовны Седовой, доктора педагогических наук, профессора Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета «Внедрение в процесс обучения гуманитарно-педагогического вуза компетентностного подхода как фактора здоровьесбережения будущих учителей». Докладчик отмечала, что современный компетентностный подход способствует увеличению практических возможностей выпускников вузов в непростых условиях депрессивной и меняющейся экономики региона, что в свою очередь, сохраняет их психическое и физическое здоровье.

Алексей Львович Вольский, доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, в своем докладе «Восток как концепт языкознания, философии и исторической мифологии в Германии» рассмотрел основные варианты мифа о Востоке, сложившиеся в западно-европейской культуре, и предложил пути использования положительных компонентов этих мифов для формиро-

вания привлекательного имиджа Дальнего Востока и пути блокирования влияния их отрицательных компонентов.

Марина Николаевна Рассоха, кандидат филологических наук, доцент Дальневосточного федерального университета в своем выступлении «Другой в процессах идентификации и межкультурной коммуникации» рассмотрела механизмы формирования положительной самоидентификации жителя Дальнего Востока России в условиях межкультурной коммуникации с жителями стран АТР.

В докладе Олега Александровича Бузуева – доктора филологических наук, профессора Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета «Общественно-культурные тенденции формирования толерантных отношений этнических диаспор Дальневосточного зарубежья» анализировались культурное наследие русской эмиграции в Китае и ее опыт формирования высокой профессиональной культурной среды на Дальнем Востоке России.

Третье пленарное заседание конференции включало восемь докладов. Все они были прочитаны учеными из Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Лев Николаевич Долгов, доктор исторических наук, профессор, в своем докладе «Тенденции и противоречия формирования экономического пространства Дальнего Востока России в начале XX века» рассказал об опыте сохранения и увеличения населения Дальнего Востока России, включающем политические и экономические меры царской и советской России. Докладчик отметил, что этот опыт может быть полезным и в нынешних условиях.

Жанна Валерьяновна Петрунина, доктор исторических наук, профессор, в своем докладе «Дальний Восток России в системе экономических отношений со странами Северо-Восточной Азии (XXI в.)» отметила, что современное состояние экономики Дальнего Востока России характеризуется глобальным (около 70 %) снижением показателей ее развития. Кроме того, условия, в которых она сегодня находится, не способствуют выходу из этого кризиса, так как характер международного экономического сотрудничества тормозит рост перерабатывающей и высокотехнологичной промышленности Дальнего Востока России и превращает его в сырьевой придаток развитых экономик США, Канады, Японии, Южной Кореи и Китая.

Ольга Борисовна Горобец, доктор филологических наук, профессор, в своем докладе «Недоразумения и конфликты в межкультурной коммуникации: франко-российские контакты на современном Дальнем Востоке» рассмотрела основные обстоятельства, препятствующие эффективной межкультурной коммуникации между жителями Российского Дальнего Востока и представителями других культур.

В выступлении Татьяны Алексеевны Чабанюк, доктора культурологии, профессора, «Функции институтов культуры как механизмов сохранения человеческого потенциала на Дальнем Востоке России» отмечалось, что состояние основных институтов культуры, расположенных на территории Дальнего Востока России, характеризуется последовательной деградацией и является одной из основных причин снижения самосознания населения, формирования негативного отношения к региону его проживания.

Надежда Юрьевна Костюрина, доктор культурологии, профессор, в своем докладе «Репрезентация ценностей студенческой молодежи Дальневосточного региона в пространстве микроблога» проанализировала лингвистические и ментальные особенности пользователей Интернета, относящихся к новому поколению дальневосточников, и отметила, что современная молодежь разобщена, не имеет общих ценностей, кроме наиболее абстрактных – потребительского отношения к миру.

Александр Георгиевич Никитин, доктор философских наук, профессор, в своем выступлении «Регионализация образовательного пространства: идея университетского округа и его профессионально-этическая матрица» попытался сформулировать основные принципы формирования сети образовательных учреждений, способной вырастить новое поколение дальневосточников, понимающих ценность и уникальность региона, в котором они проживают.

В совместном выступлении доктора экономических наук, профессора Геннадия Ивановича Усанова и доцента Сергея Владимировича Харченко «Интерактивное управление процессами преобразования деятельности предприятий» анализировалась роль IT-технологий в процессах успешного управления современными предприятиями на Дальнем Востоке России. Было отмечена, что она не высока и что от ее повышения зависит повышение уровня промышленного производства и качества жизни населения.

Николай Николаевич Симоненко, доктор экономических наук, профессор, в своем докладе «Расчет и прогнозирование трудового потенциала» рассмотрел возрастную структуру населения Дальнего Востока России и показал зависимость правильной политики его сохранения от научных основ прогнозирования трудового потенциала.

Председатель оргкомитета,
доктор философских наук, профессор
И.И. Докучаев

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ: СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»

Участники конференции единогласно отмечают:

1. Конференция прошла успешно, все ее цели и задачи были достигнуты и реализованы. Необходимо придать ей постоянный характер, и проводить научные собрания по данной проблеме один раз в два/три года, а в промежутках осуществлять заочные или on-line конференции.

2. Тема конференции представляется актуальной как в научном, так и в социально-политическом отношении. Эта актуальность обусловлена высоким объемом и быстрыми темпами депопуляции Дальневосточного региона России, при сохранении которых возможность утраты этих территорий будет осуществлена в ближайшие десятилетия XXI века.

3. Первоочередные меры, позволяющие затормозить процесс депопуляции и вернуть население России на Дальний Восток:

♦ Создание специальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, имеющей как федеральный, так и региональный статус, преследующей в качестве основной цели прекращение депопуляции. Она должна включать в себя программы перепрофилирования населения, которое утратило рабочие места, программы создания рабочих мест для населения пенсионного возраста и др.

♦ Необходимым условием создания и реализации такой программы является ее правовое и финансовое обеспечение, включающее организацию специального фонда защиты населения в условиях банкротства предприятий, который бы амортизировал социальные последствия, вызванные снижением производства на Дальнем Востоке.

4. Для радикального решения задачи сохранения населения на Дальнем Востоке необходимы:

♦ Децентрализация управления регионом и передача отдельных полномочий федерального характера на региональный уровень.

♦ Упрощение и льготирование системы налогообложения в регионе, которое позволило бы оставлять большинство финансовых и иных ресурсов в регионе и расходовать их в соответствии с целями и задачами, которые стоят перед регионом.

♦ Изменение логистических схем в сторону упрощения транспортных путей на Дальний Восток, обеспечивающих проезд граждан и доставку продукции, оптимизации финансовых потоков между регионами Дальнего Востока, исключающей посредников из центра, сокращения расстояний между теми органами, которые распределяют ресурсы, имеющие дальневосточное происхождение, и их потребителями.

5. Необходимым условием программы прекращения депопуляции региона является развитие его социально-культурной инфраструктуры, предполагающей создание комфортных условий жизни человека, улучшение сферы услуг и организации досуга, повышающей социальный престиж и улучшающей имидж Дальнего Востока России, формирующей самосознание жителей дальневосточных территорий, основанное на признании ее безусловной ценности, на любви к своей родине.

6. Социально-культурное развитие должно, наряду с промышленным, стать частью комплексной программы развития региона, предусматривающего создание новых рабочих мест, относящихся к различным сферам занятости и позволяющих реализовать человеческий потенциал в любой его форме.

7. Важнейшим аспектом, позволяющим повысить качество жизни населения Дальнего Востока, является грамотная инвестиционная и кредитно-денежная политика, предусматривающая снижение процентов по выдаваемым кредитам и установление баланса между уровнем инфляции и устанавливаемыми процентами по депозитам организаций и населения.

8. Ключевым аспектом сохранения населения Дальнего Востока является создание программы привлечения новых людей на эти территории, представляющих собой как жителей центральных регионов России, так и соотечественников из бывших советских республик.

7. Научной общественности регионов в качестве приоритетных научных направлений с целью предотвращения депопуляции Дальнего Востока необходимо в качестве приоритетных определить прикладные исследования стратегической устойчивости, недопущения банкротства и инновационной деятельности предприятий.

8. С целью интеграции идей ученых в научное пространство и общественное сознание необходимо создание сети некоммерческих электронных ресурсов, бумажных средств массовой информации и книжных магазинов, публикующих и распространяющих новейшие научные достижения в области разработки основ прекращения депопуляции Дальнего Востока. К этой работе следует широко привлекать ученых, представляющих не только Дальний Восток, но и другие регионы России.

9. Регулярно направлять в краевую и городскую администрации, представителю Президента РФ в регионе результаты научной деятельности, связанные с решением проблем депопуляции Дальнего Востока России.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

1. В журнале печатаются рукописи, как правило, не публиковавшиеся ранее.

2. Все поступившие в редакцию статьи проходят рецензирование.

3. Рассмотрение работ аспирантов и соискателей кандидатской степени осуществляется только при наличии отзыва научного руководителя и рекомендации кафедры по месту их обучения.

4. Для аспирантов и соискателей публикация статей бесплатно.

5. Статьи должны быть в объёме от 0,5 до 1 п. л. (20 000 – 40 000 знаков). В них может быть, как правило, размещено не более трех иллюстраций, графиков или схем.

6. Требования к рукописи, представляемой в редакционную коллегию.

6.1. Направляемые в редакционную коллегию материалы должны быть представлены в электронном и распечатанном видах. Принимаются дискеты размером 3,5» и два экземпляра распечатки текстового оригинала (файлов), имеющегося на дискете. Если дискет две и более, необходимо указать их номера и размещение файла на дискетах (папки). На распечатке должны быть указаны имена файлов. Текстовый редактор – Word. Материалы должны быть подписаны автором на титульном листе около фамилии.

6.2. Титульный лист статьи содержит комплекс элементов, расположенных на странице в следующем порядке. В верхней части страницы располагается заглавие статьи, которое печатается прописными буквами жирным шрифтом. Фамилии авторов следуют после заголовка и печатаются строчными буквами, иные сведения при этом не указываются.

6.3. Ссылки на источники даются в виде алфавитного списка литературы с нумерацией после текста. Сначала идут источники на русском языке, затем на иностранных. В самом тексте (после цитирования) информация об источнике печатается в квадратных скобках с указанием номера по списку. Библиографическое описание источника в списке литературы (фамилии и инициалы авторов печатаются курсивом) составляется в соответствии с действующими нормами ГОСТ 7.1–2003. Шрифт и межстрочный интервал те же, что и в статье.

6.4. Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см; размер бумаги – А4 (210×297 мм); шрифт – «Times New Roman» № 14; межстрочный интервал – 1,5.

6.5. Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и должны иметь сквозную нумерацию.

7. Материалы, не имеющие научного аппарата или неправильно оформленные, не соответствующие указанным выше правилам, не рассматриваются. Рукописи не возвращаются.

8. К рукописи должны прилагаться следующие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы, должность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий телефон, домашний телефон, факс, e- mail.

9. К статье прилагается короткая аннотация в несколько строк на русском и английском языках, ключевые слова (не более 15), а также название статьи на английском языке.

10. Материалы следует направлять по юридическому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), оф. 262. Редакция журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Электронная почта: journal@festu.khv.ru.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Наш журнал распространяется по подписке и поступает в розничную продажу.

Стоимость одного номера – 300 руб. (с учетом НДС). Подписка оформляется банковским или почтовым переводом (образец купона прилагается). Журнал будет выслан по адресу подписчика почтой. Почтовые расходы включены в стоимость подписки. Подписку на журнал также можно оформить по каталогу «Газеты. Журналы» ОАО Агентства «Роспечать». Подписной индекс – 84277.

Просим высылать копии платежного документа и адрес для рассылки по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС). Редакция журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке».

Извещение **Кассир**	Дальневосточный государственный университет путей сообщения УФК по Хабаровскому краю (наименование получателя платежа) 2724018158 № 40503810500001000191 (ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю (наименование банка получателя платежа) **БИК** 040813001 № 06109339920 (номер Л/кс) № 272401001 (номер КПП) подписка на журнал «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» на 2012 год (наименование платежа) Сумма платежа _____ руб. _____ коп. Сумма платы за услуги _____ руб. _____ коп. Итого: _____ руб. _____ коп.
Квитанция **Кассир**	Дальневосточный государственный университет путей сообщения УФК по Хабаровскому краю (наименование получателя платежа) 2724018158 № 40503810500001000191 (ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю (наименование банка получателя платежа) **БИК** 040813001 № 06109339920 (номер Л/кс) № 272401001 (номер КПП) подписка на журнал «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» на 2012 год (наименование платежа) Сумма платежа _____ руб. _____ коп. Сумма платы за услуги _____ руб. _____ коп. Итого: _____ руб. _____ коп.

CULTURAL-LANGUAGE PARADIGM

SEMANTIC INFLUENCE OF AN AUTHOR'S IMAGE UPON CHARACTERS' MICROTEXTS IN A SEMIOTIC GROUP

A.A. Boronin

Boronin, Alexander Anatolievich – Candidate of Science (Philology), Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, University of Dental Medicine; Doctoral Candidate of the Department of English Philology, Institute of Linguistics and Cross-Cultural Communication, Moscow State Oblast University.

E-mail: inloco@inbox.ru

The article summarizes the basic results of the psycholinguistic experiment studying the contextual semantic influence of an author's image upon interpretation of characters' microtexts. The prime communicative categories representing the author's image are distinguished. The specific features of interpretation of certain characters' microtexts are found.

***Key words*:** author's image, character's microtext, interpretation of literary text, psycholinguistic experiment, semiotic group.

UNARTICULATED SOUNDS AS A PART OF AN EMOTIONALLY COLOURED DISCOURSE (BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE)

T.M. Vlasova

Vlasova Tatiana Mikhailovna – Candidate of Science (Philology), Associate Professor of the Department of Foreign Languages for Specific Purposes, Far Eastern Federal University (Vladivostok).

E-mail: vlasova@vimo.dvgu.ru

Emotions are part and parcel of humans' lives and very often determine their behavior. The important means of expressing emotions are through unarticulated sounds, such as a cry, laugh, sob, cough, sigh, grunt, moan, whistle and many others. The author of the article describes the communicative properties and functions of these kinds of sound signals and shows how they are used in the English discourse reflected in imaginative writing.

Key words: communication, paralanguage, unarticulated sounds, discourse, emotives, nonverbal means of communication.

The purpose of human communicative activity is not only to transfer certain information to the recipient, but also to transmit emotions. "The modal plan of utterances expresses human factor the most vividly and allows to speak about human content of all language units, since they inevitably have and…accumulate an evaluative, and hence, personal factor" [17: p. 92]. Emotions are part and parcel of humans' lives and very often determine their behavior. Therefore it is natural that a special science – emotiology – appeared, that is linguistics of emotions that studies the linguistic conception of emotions [29: p. 18].

Emotions are experienced personally, but their manifestations are stereotypical. Each emotion has its own characteristics; the index of them makes up the semiotics of humans' emotions. Every person is able to differentiate emotions according to a number of external characteristics. There are numerous means of expression of emotional states that are determined by a communicative situation and the purposes of a communicant.

According to the means of their expression they may be subdivided into two groups – verbal and nonverbal. The former identifies an emotion, the latter expresses it without naming. To the former group one refers words nominating or expressing emotions (e.g., malice, love, scoundrel, darling, alas!), to the latter – body language and emotional phonetics. During the real-time human communication its verbal and nonverbal codes provide a single communicative process.

Although the emotional type of communication combines verbal and nonverbal cues, during certain communicative acts, especially reproduced in very emotional situations, nonverbal behaviour of communicants prevails [18: p. 66]. The active use of nonverbal cues is caused by the desire of a sender to affect a recipient efficiently in order to express his own emotions or to achieve certain pragmatic purposes [18: p. 94].

This article is an attempt to describe the expression of communicants' emotions with the help of such phonetic means as unarticulated sounds that are the means of auding emotions and the direct representation of these emotions. To the unarticulated emotional reactions one refers nonverbal reactions that involve voice (a laugh, cry, sigh, cough, etc.), betraying a person's emotional state and representing his or her psychophysiological reactions, e.g.:

- "All right," Maggie *sighed*, recognizing the inevitable. "I'll come with you" [13: p. 32].
- Each time a fresh incident occurred, they *whooped* with joy [30: p. 512].
- Leo *snorted*. "If that kid's a kid, then I'm Greta Garbo" [162: p. 139].

Unarticulated sounds, as well as intonation, emotional pauses, exclamations and speech characteristics make up the phonetics of emotions. M. Finocchiaro calls unarticulated sound which people make in speaking or in expressing emotions a paralanguage [12: p. 7].

Traditionally the notion of a paralanguage is interpreted wider: Chang defines the paralanguage as the nonphonemic property of speech that is used to transfer certain meanings. To the paralanguage he attributes a speech tempo, a tone, loudness, a pitch and unarticulated sounds ("tsk, tsk", clicking the tongue, sighing, laughing and sobbing) [5: p. 206]. He calls the sounds of such type "voice noises" [5: p. 203]. W. Dou and the co-authors note that the paralanguage is situated between verbal and nonverbal means of communication; it deals with sounds, but doesn't deal with words. It exists in oral communication only and is connected with speech tempo and rhythm, voice pitch and loudness, logical stress that influences the meaning of a message to a greater degree. Besides voice characteristics the authors include pausation and vocalization in the paralanguage [10: p. 154], i.e., unarticulated sounds that vocalize emotions and also the communicative purposes of communicants. The paralanguage may convey information about humans' emotional states as

well as a person's social status, intellectual level, race, etc [10: p. 154].

There are other approaches to the denomination of this group of communicative signs; for example crying, laughing, sighing, coughing one refers to human *psychophysiological reactions* that together, with speech pauses, make up *extralingustic structure of nonverbal behaviour* connected with the acoustic channel of transmitting information and bordering with a prosodic structure that includes a tempo, a timbre, a pitch and voice loudness [24: p. 296–297].

L. Brosnahan calls such reactions *"vocal reflexes"* [3: p. 88] and also "vocal nonverbal gestures" and "sound gestures" [3: p. 89]. V.I. Shahovskiy writes about non-pnonematic sounds representing the level of emotional reflection [29: p. 53]. In the article of O.A. Alexandrova devoted to the communicative–pragmatic classification of pauses, such unarticulated sounds as a cough, a laugh, clearing one's throat, clicking are called *paralinguistic pauses of hesitation* and are referred to the group of nonverbal pauses of hesitation [1: p. 14]. A.V. Olyanich singles out emotive type of prosodic-phonational presenteme indicating the speaker's state and calls them *affectives* [23: p. 208].

Unarticulated voice signals have the following communicative characteristics:

1. They are the *original* means of expressing emotions (man starts using them since the first days of his life, long before he masters the verbal channel of communication): "We are already born with the ability to vocalize our emotions which creates…bond with our mother" [26: p. 4]. From the point of view of civilization they are original too, since they were one of the first means of communication in the primitive society: mimicry, exclamation and inarticulated sounds ("noises") were used for communication 100, 000 years ago [10: p. 3]. They are usually instinctive and universal. In the emotionally loaded discourse communicants experiencing strong emotions are "speechless" and are able to make only inarticulated sounds, e.g.:

- After the first shock they began to *make noises*, then words came… [32: p. 249].

2. The characteristic feature of unarticulated vocal emotional reactions is their *lack of logical*, propositional *content.* V.I. Shahovskii notes that nonphonemic sounds (cries, moans) represent a level of emotional reflection; they are not passed through mind, neither conceptualized, nor analyzed [29: p. 53]. L.S. Vygotskii also thinks that emotionally expressive speech can hardly be referred to the intellectual activity [33: p. 102].

3. Among the most important characteristics of unarticulated sounds is their *codification*: each of them has its own meaning, formed during the development of mankind and recorded in dictionaries, e.g.:

Laugh – 1) to make the noise with your voice that shows you think something is funny; 2) to show that you think someone or something is stupid and deserves no respect [20].

Sigh – a slow outward breath out that makes a long soft sound, especially because you are disappointed, tired, annoyed or relaxed [20].

4. According to V.I. Shahovskii all emotions are discursive, so one may come to the conclusion of what emotion is expressed in a singular, particular situation [29: p. 19]. In full measure, it is typical of vocal emotional reactions: in order to correctly identify the transmitted emotion, it is necessary to take into account the communicative context. The same sound signal may convey different emotional information, e.g., a laugh can be an expression of both negative and positive emotional reactions. "A laugh is not necessarily an expression of joy and happiness. Like a smile, the laugh often is an expression of being uncomfortable, nervous, and embarrassed" [10: p. 145]. Only the knowledge of the communicative situation provides precise identification of the emotive sound signal meaning. Let us consider the following examples:

- She *laughs* and it is an *honest laugh*, a *laugh that feels good* [21: p. 253].
- "Louise has met with Professor Edgeley," Miriam said…. "Edgeley!" Josie gave a *scornful snort of laughter*. Mo and Gilly *laughed* with her [14: p. 163].

(If in the first example a laugh expresses positive emotions – a kind, joyful, sincere laugh then in the second example a laugh expresses negative attitude to the participant of the communicative act – contempt, a mockery of a slow-witted, deceived wife).

5. Emotional reactions are often unregulated and uncontrollable, e.g.:

- Louise *could feel her laughter rising*. "Oh, she was dreadful! She was a wonderfully dreadful woman!" [14: p. 286].
- Louise *found* she *was laughing* with a wild delight at the thought of the intractable old lady….[14: p. 285] (Uncontrolled reaction in the form of joyful laugh is unexpected for the character herself, she perceives it as if from an outsider's viewpoint).

Being aware that an unarticulated emotive signal that escapes involuntarily may offend or upset a partner, the communicants sometimes try to suppress them by an effort of will, but they do not always succeed, e.g.:

- Her *voice shook* a little on a *suppressed sob* [14: p. 194].
- Despite the seriousness of the situation Phoebe could not *suppress a giggle* [27: p. 73].

6. With the help of unarticulated vocal signals a person can not only express his or her emotions in a codified form but *imitate* or *simulate* them concealing his or her true feelings and attitudes towards an interlocutor or a discussed subject, e.g.:

- "I wish I'd had that opportunity," Toby *sighed, hypocritically hiding* his pride in his own degree [14: p. 47].

- I *had to do a lot of laughing* and had to maintain a stream of unbelieving *Nos* and *you're kiddings*, but I didn't mind [2: p. 82]. (Listening to the stories of his girlfriend's life, the character chooses the means of emotional reaction consciously. They are aimed to produce the best impression, to strengthen and to develop psychological contact with communicative partners).
- "You'll need your head tested too." Toby *managed a pleasant laugh* [14: p. 132] (Not wishing to spoil his relations with Rose, Toby turns her rude remark into a joke).

However fonational imitation of emotions is not always successful because of the fact that experienced emotions are so intense that they overwhelm a communicant and foil the planned simulation of them, e.g.:

- Toby *tried to laugh* again but *his heart was not in it*. "This is ridiculous," he said [14: p. 185].

7. An unarticulated vocal signal may be equal to speech utterance and replace it, e.g.:

- "Go on," he says and *laughs a "this is nonsense" laugh*. "I'm listening" [21: p. 188] (A laugh is equal to the utterance, "What you say is nonsense").

One of the most accessible and widely used means of fixation for both verbal and nonverbal codes of emotional communication is fiction that reproduces life in the subjective-emotional interpretation of the author. Concentration on characters' emotional lives is the precondition of a convincing description of characters and an accurate reproduction of a discourse situation. Fiction texts reflect life full of emotions and characters' emotions are shown not directly, but by special emotive language signs [29: p. 65]. In fiction communication, that is a model of real communication, typical emotional communicative situations are reproduced. If in real-time communication communicants can perceive nonverbal components of speech act directly, in the written text an author should use a certain set of language means in order to reproduce nonverbal behaviour, otherwise it is impossible to reproduce a discourse environment and the characters' moods. The author verbalizes the nonverbal, disguising emotional reactions of communicants, e.g.:

- "You must go and see him." She gave an *impatient click of her tongue*. "I'm not sure I want to see him" [4: p. 112].
- "And you remember it all?" "Remember it?" the old woman *laughed*. "I've got a trunk full of photographs and newspaper clippings" [14: p. 38].

V.I. Shahovskii notices that the ways and means of nonverbal expression of emotions are codified, and they are as semantic as lexicalized forms of expressing emotions [29: p. 39]. Let us consider nonverbal emotional reactions expressed by sound signals that are most often used by modern authors in English fiction.

Laugh

A laugh is the most widespread unarticulated emotional signal represented in fictional discourse. A laugh is usually lexicalized by such words as laugh, chortle, giggle, chuckle and cackle and a particular type of laugh as well as its specific characteristics are codified in each of these words. A laugh is a vocal sound indicating that a person considers something funny, stupid or unworthy and having very noticeable *emotional-evaluative meaning*, e.g.:

- Kids at West High would say, "Oh boy!" in a high-pitched voice and everybody *laughed* [16: p. 138].
- The control room was crowded with engineers who were all *chortling* at something, possibly him [16: p. 268].
- "I have metaphorical pigs. I have theoretical pigs." Louise *giggled*…. [14: p. 243].
- Rose *chuckled* richly. "I published," she said. "I'd have thought a clever lad like him would have looked me up" [20: p. 216] (Rose is laughing at the character's slow-wittedness who could have learnt everything if he had read her publications).

A laugh can also serve as an audisation of *emotions* – both positive (*happiness, joy*) and negative (*bitterness, disappointment, despair, offence*), e.g.:

- I…caught Poppy *howling with laughter* at this latest example of his terrible jokes. Nathan *was laughing*, too, *with pleasure and satisfaction* [4: p. 143] (pleasure).
- "And now he thinks his wife took it, and she's leaving him." Rose *laughed, a thin guiltless cackle*. "He won't forget me, will he?"[14: p. 267] (malice).
- "I can't permit that. Even if there weren't also you." He gave *a short laugh*. "Me? I deserve whatever I get." [25: p. 484] (bitterness).

A laugh can conceal confusion and embarrassment experienced by a communicant when he or she can not decide how to react to the behaviour of his or her partner. In this case a laugh performs an adaptive function and thus prevents a gap in the process of communication, e.g.:

- "I want that one." Toby *laughed* again and looked at her for confirmation that she was *joking*. Her face was completely *serious*. [14: p. 106] (An old lady wants Toby to steal a dressing gown for her; her demand is so absurd that the character thinks it is a joke).
- "Power to the people right now." Andrew *chuckled* suddenly and turned away. [14: p. 271] (Andrew does not know how to react to the communist slogan of his interlocutor, so his reaction is substituted by a short laugh).

A laugh expresses a great number of communicative meanings, that are usually verbalized by the author so that the reader could understand emotional shades of laugh expressed, e.g.:

- Rose gave a *brief sardonic laugh*, and got out of the car [14: p. 107].
- "How did your case go?" Chet gave a *short, scornful laugh* [8: p. 213].
- Louise *giggled irresistibly* and Andrew pulled her gently into his arms.[14: p. 241].
- He gave a *guilty little chuckle* [14: p. 243].

Cry

A cry is usually an expression of negative emotions experienced by communicants such as despair, sorrow, offence, etc. Unlike a laugh that is a voical reaction by nature (voiceless laughter is a deviation) a cry can be sounding and soundless. The latter one is rather kinesical reaction to the behaviour of a partner and is usually expressed by such words as "tears", "cry" (have tears coming from your eyes [20]), "weep" (to cry [20]), e.g.:

- The song made me *weep* though I was a child [16: p. 27].
- "It was a dream, Helena. Daddy's dead now. He died in an accident." Elena shook her head, and *tears began* again, ragged and shuddering [25: p. 479].

The words "tears", "weep" in the given examples do not contain indication of sound; they are reactions perceived visually. However an author can single out the sound constituent of a cry, e.g.:

- It was a hard *rattly* sort of *weeping*, more like *gnashing*, or the *grinding* of a gearbox when the clutch won't engage [16: p. 221].

More often, however, sound representation of intense negative emotions (fear, despair, offence) is expressed by the word "sob" (to cry noisily while taking short breaths [24]), e.g.:

- "I never know what you want. I never know if you're mad or what." Gene *put his face in his hands* and *sobbed* [16: p. 221].
- "I'm sorry," Chris murmured. "I'm so sorry." As he reached for her, Terri crumpled. She *sobbed* against him uncontrollably, her body shuddering [25: p. 488] (Both sound and kinesical signs ("crumple", "shudder") indicate the character's uncontrollable feeling).
- '*Kaaaaaate,* uh,uh,uh, *Kaaaaaate!*' he sobbed. [22: p. 274] (The child was hit. The intensity of his reaction to pain, fright and despair is expressed by the author in clusters, that is: 1) is lexicalized by the word "sob"; 2) is expressed by onomatopoeic words imitating a cry; 3) is marked by the increased length of vowels in the character's name with the help of repetition of a letter; 4) by italicizing of the character's name; 5) by exclamation mark).

Such sound signal as a sniff is connected with a cry too, e.g.:

- "Fine," she mouthed, as mascara tear welled up out of her puffy right eye. She *sniffed*, and reached for her mug with an apologetic smile [2: p. 69].
- "Are you crying?…Listen," I said. "Are you listening?" She *sniffed* and nodded [2: p. 86].

Sigh

This sound signal (verbalized in the English discourse by the word "sigh") usually indicates that a communicant experiences *negative emotions (irritation, disappointment, sadness, regret), e.g.:*

- "Think about how much she suffered when you and Ray walked out on her."

Isabel *sighed* [28: p. 152] (Isabella grew sad when one reminded her of things her mother had had to endure. This sigh also expresses her regret for the fact that she had aggravated those sufferings).

- Art *sighed*. "I hope you make friends here," he said. [16: p. 178] (Art worries about his nephew who starts out in life but who is not well prepared for it).
- '"All right," Maggie *sighed*, recognizing the inevitable. "I'll come with you" [13: p. 32] (A sigh expresses unwillingness to fulfill the partner's request).
- "The trees were so much younger then," the old woman *sighed.* [14: p. 32] (The woman is sad as her recollections suggest that her life is nearing its end).

A sigh may be the indication of relaxation and relief experienced by the participants of the discourse, e.g.:

- On those days Toby had laid his head in her lap and looked up at her face and *sighed*, "This is perfect. I wish I could stay here forever" [14: p. 7].

A sigh also may be an important means of contact that helps to make and maintain contacts and thereby develops discourse, e.g.:

- Maggie *sighed in sympathy* [13: p. 10].
- "Don't you think you could break away for a little while?..." "Oh, I wish I could," Mother said, with a *regretful little sigh* [7: p. 33] (In this situation a sigh is of etiquette type: in order to not offend the guest by her refusal to accompany him the character shows by her sigh that she is very sorry about it and hereby she tries to smooth over any negative effect).

A sigh is attributed to those sound signals that can be simulated easily; moreover a communicant simulates an emotional state that he does not experience, e.g.:

- "And I've got the most wonderful daughter." "Oh, how I envy you." She *sighed theatrically* [28: p. 99] (The modification of a sigh used by the author underlines that the emotional reaction of the character was insincere and was intended to produce superficial effect).

Cough

A cough (cough, clearing one's throat) also may be communicatively loaded in discourse. It is noted in the dictionary that a cough is often used to get someone's attention [20]. In this case it helps to make contact with an interlocutor, e.g.:

- Chet got his coat…and *cleared his throat several times*. Still Jack did not respond. Finally Chet resorted to speech. [8: p. 305] (The character wants to talk so he tries to attract attention to himself by a sound signal).

Besides this, a cough may indicate such emotional reactions of a communicant as *anxiety* and *nervousness*, his or her *embarrassment* and *confusion*, e.g.:

- The killer stared at Andrew. "Well?" he said. "You want to save these girls, mister?" Andrew *coughed.* I watched him. [6: p. 161] (The character's cough indicates his nervousness and confusion).
- Sarah *cleared her throat*. "Then I could get in as a student." [14: p. 165] (Sound signal gives away excitement of the character).
- Tripoli, well – Ryder *gave one of his little coughs* – you had to be careful in Tripoli. [4: p. 39] (The character does not know how to tell his wife that visits to Tripoli are dangerous and at the same time not to give her a cause to worry about him).
- Albert didn't like to sit and he would get to *clearing his throat* if made to wait too long, a powerful BRRAACH-HEM! like a lion letting other lions to know he was here. [16: p. 193] (A sound signal expressing the character's impatience and irritation is lexicalized twice: by direct nomination and by an onomatopoeic word).

A cough is often accompanied by a pause that is used as a sign of anxiety and confusion too, e.g.:

- Again there was a *silence*. Eventually Nathan *cleared his throat*. "You have every right to be angry." [4: p. 57] (The author describes a difficult talk between characters and by the unarticulated signal and silence he expresses character's difficulty with choosing words).
- "Please, Andrew. Maybe we need a change of scenery. A fresh start." *A pause*. He *cleared his throat*. "Yes. All right." [6: p. 238] (The character does not know how to react to his wife's suggestion and his confusion and excitement manifest through nonverbal signs).

This sound signal may be used deliberately in order to conceal other sound manifestations of emotions, for example, a laugh:

- "Are there nest-clearing contractors?" He gave a *little cough to cover his laugh*. [14: p. 147] (A laugh may offend the interlocutor and break the promise so the character disguises a laugh as a cough).

Moan

In the English texts this unarticulated sound is lexicalized by such words as *groan* and *moan*, that are codified in the dictionaries as sounds indicating that a person is *in pain* or *unhappy* [20], that he or she *suffers*, is *upset* or *disappointed* [19], e.g.:

- He *groaned* audibly. He felt like the worst kind of fool. [11: p. 117]
- Toby *moaned softly* and went to the garden gate and peered through the wrought-iron lilies [14: p. 107].
- He stared back at my face and suddenly threw his head back in a roar of black, anarchical laughter. *I groaned halitotically* at him. [2: p. 43]

The communicative-semantic meaning of this signal often combines expression of emotions with the evaluation of communicants' behaviour or of an utterance that caused these emotions, e.g.:

- "We need a holiday." Andrew *groaned*. "Oh, Jesus. A holiday?" [6: p. 238]
- Then Dad jumped up and said he'd like to say a few words. Derek and I *groaned*. Dad's speeches went on for five or fifty minutes, depending on his mood. [22: p. 306]

Since this sound signal is polysemantic the author sometimes verbalizes its communicative meaning in the text, e.g.:

- My *disappointment and fatigue* seemed to prompt a *loud groan*, and I would have uttered it, if Rachel hadn't suddenly been saying: "Oh, Charles, I'd love to, really, but…." [2: p. 72]

Grunt

In the English text a grunt is usually lexicalized by the word *grunt*. The dictionaries single out such emotionally evaluative component of meaning of this unarticulated sound as *disappointment* [20]. Let us consider the examples:

- The thick wheels were too wide to go easily through doorways so there was plenty of *grunting*…. [16: p. 242].
- "I promise you I'll think about it." Rose *grunted in disdain* and stamped into her van and *slammed the door* behind her. [14: p. 133] (Contemptuous attitude to the interlocutor is expressed both by an unarticulated sound and by a gesture).

However in real discourse this sound signal is able to express numerous emotional meanings, e.g.:

- Captain Frome got out (of the car). Andrew gave a *small grunt of annoyance* and straightened his cap on his head. [14: p. 93] (irritation).
- James made a sort of *grunting noise*, kind of like an animal in pain and Katie saw that this news had devastated him. [11: p. 398] (despair, pain).
- Toby got to his feet with a little *grunt of discomfort* [14: p. 119] (awkwardness).

Roar

In the dictionary this sound signal is defined as the noise that a crowd of people make when they are *angry* or *excited* [20], e.g.:

- Suddenly a *roar* went up from the crowd of students. A small SE434 computer was held high from an open window by a rather beautiful bare-breasted girl [14: p. 209].

As the reader is not always able to identify the emotion expressed by this sound so the author lexicalizes it in the text, e.g.:

- There was something like a *muted roar of approval* as he came in [14: p. 252].
- Toby *bit back a roar of rage* at this woman daring to lecture him [14: p. 133].

Snort

This sound is usually lexicalized in English fiction by the word *snort* and means such emotional states as *malice* and *irritation*, e.g.:

- "Who is Matthew Birch?" Lon *snorted*. "On your way out buy a Wednesday Gazette" [32: p. 56].
- "Can you keep awake?" asked Frank. Red *snorted* [16: p. 318].

More often, however this sound signal expresses *mockery* and *contempt* indicating negative evaluation of the communicant's actions, e.g.:

- "I enjoy my work," Miriam said, steadfastly smiling. The old woman *snorted*. "Lady Bountiful," she said *spitefully* [14: p. 77] (Contemptuous attitude to the interlocutor is expressed both by a snort and by voice pitch).
- "There may be more than one poet after all," said Dad, *snorting into his tea*. [22: p. 305] (The character is laughing at his overgrown, poorly educated, rapper son who considers himself very talented).

Cluck

This unarticulated sound is lexicalized in English fiction by the word *cluck* and performs *emotionally evaluative* function in discourse expressing sympathy with a partner, e.g.:

- He could *cluck* sympathetically when a woman told him how badly her ex-husband had behaved. *Clucking* was something he had got really good at [15: p. 176].
- Emma *clucked*. "Poor thing" [16: p. 173].

Besides the above described unarticulated sounds there are also such emotive sound signals as a whistle, a hoot, a scream, a whoop, a hum, a cry and many other unarticulated sounds that are used in English fiction discourse e.g.:

- "How much would you need for that?" "Thirty thousand dollars. Forty thousand. Something like that" Dan *let out a long, low whistle* [7: p. 143].
- The writers snickered and *hooted* at him – it was pure green envy, he told Frank [16: p. 257].
- "He has fallen in love with someone else and has left home."

Poppy's *cry of disbelief* echoed down the phone [4: p. 86].

- You had to stand around in the sun and be bitten by flies while the other team beat the crap out of you and *hooted* and sneered. [16: p. 119] (The boy describes a softball match in the hated summer camp).
- He could only *hum* or *make a soft strangling sound* like a pigeon [16: p. 3].
- Toby gave a *short despairing wail* and dropped from the wall to the street [14: p. 109].
- He uttered a long low wolf *whistle* which embarrassed me terribly [7: p. 76].
- "And their first three choices to succeed Cavanagh are you, you and you."

Adam *let out a whoop* [28: p. 44].

- He made a *sudden exclamation* and stepped back and pulled out from under the van a red can of diesel. [14: p. 281] (The character realizes that someone set fire to the wagon and reacts to this fact by an emotional exclamation).

Nonverbal expression of emotions may be intensified by a verbal component in the form of interjections, e.g.:

- …and his brains sloshed, he *moaned* and said, "*Jesus*, this light is bright" [16: p. 230].
- "I can't get out," she hissed. "There's no ladder this side." Toby *groaned* a little louder. "*Oh, God*!" [14: p. 107].

In the communicative situation where an emotional component is dominant the density of emotives increases: "Emotions are seldom expressed by a single means, they are usually represented in clusters" [29: p. 9]. In this case the author lexicalizes a cluster of sound signals, e.g.:

- "You lucky beggar. You've scored with the sexy farmer." Louise *giggled a rich sensual chuckle*. "More or less." [14: p. 245] (The character's giggle gives away her confusion that is combined with unconcealed satisfaction).
- "Victor's got his cottage for sale…." A *giggle of uncontrolled hysteria erupted from my mouth*. It could as easily have been *sobs*, but it was *giggles* that came out. [31: p. 77] (The news that her uncle not only raised a large loan, but also sold his favourite car and put up for sale his favourite country house causes character's uncontrollable reaction in which her desperate sob blends with a hysterical giggle).
- "I enjoy my work," Miriam said, steadfastly smiling. The old woman *snorted*. "Lady Bountiful," she said *spitefully*. [14: p. 77] (Contemptuous attitude to the interlocutor is expressed both by a snort and by voice pitch).
- Bingham *grunted* a reluctant *chuckle*, but any sign of amusement quickly faded. [8: p. 298] (The character could not help but chuckle though he has a serious conversation and the boss tries to be serious).

"Density of emotions" is the result of their intensity and durability [29: p. 9] and may increase due to the use of other nonverbal cues of emotiveness in the discourse, e.g.:

- She *plopped down, hands to her face*, and *moaned* [16: p. 142].
- "You're balmy, you," she said. "There's never been an orgy in Wistley… Or at least there never was until you came here…." The captain's *forehead turned scarlet.* He *made an odd popping noise in his throat* [14: p. 97].
- "I promise you I'll think about it." Rose *grunted in disdain* and stamped into her van and *slammed the door* behind her [14: p. 133].
- She had told Roy her great dream of pursuing a singing career on the radio…. He *rolled his eyes* and *snorted* [16: p. 31].
- Louise let out a clear and *piercing scream of horror* and *dropped her files and papers* on the floor with a resounding crash [14: p. 183].

Thus the overall content of communication is comprised of both linguistic and paralinguistic means in which unarticulated (non-pnonematic) sounds are of primary importance. One may refer to them a laugh, a cry, a snort, a sigh, a cough, a hem and many other unarticulated sounds that are produced in the process of communication and which have communicative meaning. According to our research, unarticulated signals usually serve as a means of auding emotions experienced by the communicant and perform the function of emotives; in this case they are used unintentionally. But communicants may use sound signals intentionally for example in order to conceal their true emotions or to manipulate their partner. In this case unarticulated sounds do not express but simulate communicants' emotions.

In the emotive discourse where an emotional component is of primary importance the density of emotives increases due to the cluster use of both unarticulated signals and other paralinguistic means (loudness, pitch, pauses, interjections) and emotive kinesical signs.

REFERENCES

1. *Aleksandrova, O.A.* Kommunikativno-pragmaticheskaya klassifikatsiya pauz / O.A. Aleksandrova [The commuinicative – pragmatic classificartion of pauses] // Osnovnye voprosy lingvistiki, lingvodidaktiki i mezhkul'turnoy kommunikatsii: sb. nauchn. tr. po filologii № 2. –Astrakhan': Izd-vo Sorokin, 2008. – S. 5–16.
2. *Amis, M.* The Rachel papers / M. Amis. – London: Penguin Books, 1984. – 219 p.
3. *Brosnahan, L.* Russian and English Nonverbal Communication / L. Brosnahan. – Moscow: Bilingua, 1998. – 120 p.
4. *Buchan, E.* Revenge of the Middle-Aged Woman / E. Buchan. – London: Penguin Books, 2002. – 358 p.
5. *Chang, Z.* Comparative Studies in Language & Culture / Z. Chang. – Qing dao: Ocean University of China, 2004. – 434 p.
6. *Cleave, C.* The Other Land / C. Cleave. – London: Sceptre, 2009. – 378 p.
7. *Cohen, B.* The Innkeeper's Daughter / B. Cohen. – New-York: Beech Tree Books, 1990. – 160 p.
8. *Cook, R.* Contagion / R. Cook. – London: Pan Books, 1997. – 529 p.
9. *Dement'ev, V.V.* Nepryamaya kommunikatsiya [Indirect communication] / V.V. Dement'ev. –M.: Gnozis, 2006. – 375 p.
10. *Dou, W.* Intercultural Business Communication / W. Dou, G. W. Clark, M.H. Prosser. – Beijing, 2007. – 402 p.
11. *Fallon, J.* Got You Back / J. Fallon. – London: Penguin Books, 2008. – 407 p.
12. *Finocchiaro, M.* Foreign Language Testing / M. Finocchiaro, S. Sako. – New-York: Regent Publishing Company, 1983. – 342 p.
13. *Gordon, L.* The Stand-In bride / *L. Gordon* // The 2000 Christmas Collection. – Barcelona: Mills&Boon, 2000. – 186 p.
14. *Gregory, Ph.* Perfectly Correct / Ph. Gregory. – London: HarperCollinsPublishers, 1997. – 294 p.
15. *Hornby, N.* About a Boy / N. Hornby. – London: Penguin Books, 2000. – 278 p.
16. *Keilor, G.* WLT: A Radio Romance / G. Keilor. – New-York: Penguin Books, 1992. – 401 p.
17. *Kolshanskiy, G.V.* Ob''ektivnaya kartina mira v poznanii i yazyke [The objective world view in cognition and laguage] / G.V. Kolshanskiy. –M.: Nauka, 1990. –104 p.
18. *Krasavskiy, N. A.* Emotsional'nye kontsepty v nemetskoy i russkoy lingvokul`turakh [Emotional concepts in German and Russian lingvoculture]/ N. A. Krasavskiy. –M.: Gnozis, 2008. –374 s.
19. Longman Dictionary of Contemporary English. – London: Longman, 1987. – 1229 p.
20. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2002. – 1691 p.
21. *McCorkle, J.* The Cheer Leader / J. McCorkle. – New-York: Algonquin Books of Chapel Hill, 1992. – 268 p.
22. *Moriarty, S.* In My Sister's Shoes / S. Moriarty. – New-York: Penguin Books, 2008. – 314 p.
23. *Olyanich, A. V.* Prezentatsionnaya teoriya diskursa [Presentation theory of discourse] / A.V. Olyanich. – M.: Gnozis, 2007. –407 p.
24. Osnovy teorii kommunikatsii [The basics of communication theory] / obshch. red. M.V. Vasilik. –M.: Gardariki, 2003. –616 s.
25. *Patterson, R.N.* Eyes of a Child / R.N. Patterson // Reader's Digest Condensed Books. – Vol 3. – New York: the Reader's Digest Association, Inc., 1995. – P. 299–496.
26. *Ribes-Gil,* B. Multilingual emotions / B. Ribes-Gil. // Voices. – 2007. – № 198. – P. 4–5.
27. *Rolls, E.* The Unexpected Bride / E. Rolls // The 2000 Christmas Collection. – Barcelona: Mills&Boon, 2000. – P. 1–283.
28. *Segal, E.* Prizes / *E. Segal* // Reader's Digest Condensed Books. – New York: the Reader's Digest Association, Inc., 1995. – Vol 3. – P. 7–160.
29. *Shakhovskiy, V.I.* Emotsii [Emotions] / V.I. Shakhovskiy. –M.: LIBROKOM, 2009. –124 s.
30. *Sheldon, S.* Master of the Game / S. Sheldon. – London: Harper, 2005. – 673 p.
31. *Smith, J.* Capriccio / J. Smith. – New-York: Jove, 1989. – 185 p.
32. *Stout, R.* In the Best Families / R. Stout. – New-York: Bantam Books, 1995. – 256 p.
33. *Vygotskiy, L.S.* Myshlenie i rech' [Mind and speech] / L.S. Vygotskiy. – M.: Prosveshchenie, 1996. –152 p.

WAYS OF TRANSLATION OF JAPANESE IDIOMS WITH ZOOMORPHIC AND ANTHROPOMORPHIC COMPONENTS

V.G. Voloshchenko

Voloshchenko, Valeria Gennadievna – Applicant of the Department of Japanese Philology, Institute of Oriental Studies, Far Eastern Federal University (Vladivostok); Associate Professor of the Department of Methodology and Second Foreign Language, Far Eastern State University of Humanities (Khabarovsk).

E-mail: valeriav21@mail.ru

This paper is devoted to the research of methods for translating Japanese idioms of different types, which contain the-names of wildlife and components of “soul/heart” and “spirit”.

Key words: yojijukugo (four-character idiomatic compounds), zoomorphisms, equivalent, analogue, tracing, explication, the most frequent and the least frequent ways of translating.

THE CONCEPT “TOSKA” IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

I.A. Vorobiyova

Vorobiyova, Irina Aleksandrovna – Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Cross-Cultural Business Communication, Khabarovsk State Academy of Economy and Law.

E-mail: VIA_76@mail.ru

The paper presents the content of the concept “toska” in the Russian language picture of the world; the author distinguishes syntagmatic and paradigmatic ties of the word “toska”; considers a number of synonyms of the word “toska”; and presents the analysis of the word “toska” in Russian and Soviet literature.

Key words: inner form of the word “toska”, semantic meaning, syntagmatic and paradigmatic ties, Russian language picture of the world.

LANGUAGE CORPORA IN LINGUISTIC PEDAGOGY AND RESEARCH (PHONOLOGICAL ASPECTS)*

V.L. Zavyalova

Zavyalova, Viktoriya L'vovna – Candidate of Science (Philology), Associate Professor of the Department of Phonetics of English Language, Post-Doctorate Degree Applicant, Far Eastern Federal University (Vladivostok).

E-mail: zavyal@mail.ru

The present article covers the issues of creating and using language corpora and considers the specificity of speech corpora in terms of different ways of presenting phonetic information. Emphasis is made on the need to use resources of speech corpora (phonetic information) in teaching phonetics/phonology, as well as in integrated multi-level studies in phonology and comparative linguistics. As an example the article describes the practical use of the corpus of English speech samples, produced by native speakers of Russian and Asian languages, in teaching phonetics and translation, as well as in research related to the description of the phonetic systems of the world's varieties of English and to the problems of mastering a foreign language.

Key words: language corpora, speech corpora, phonetic information in speech corpus, use in teaching phonetics/phonology, application in research

A Corpus-Based Approach is a relatively new method of linguistic research. Nevertheless, it is impossible to imagine modern linguistics without referring to massive text corpora presented in the Internet. The cornerstone of the corpus-based method is applied aspects of language studies, research in the function of language in real communicative situations which allows researchers to study texts of wider representativeness in variable use of lexical units and from the point of view of the specificity of different genres and styles [1, 2].

The majority of researchers are unanimous in defining the term "language corporus" as a representative set of electronic texts accompanied with a certain marking (annotation) [5]. According to V.P. Zakharov, linguistic or language corpus of texts is a large, electronic, unified, structured, marked and philologically competent mass of language data, intended for resolution of specific linguistic problems [16]. O.F. Krivnova supposes that language resources or corpora are set up as large collections of linguistic data and descriptions presented in electronic writing and especially organized for development, improvement and assessment of systems and algorithms of processing speech and language material in technological applications [9]. However, some authors consider it possible to define any set of electronic texts accompanied by annotation as corpus irrespective of the number of texts in the set [11].

Corpus linguistics emerged in the 1960s due to the appearance of computers and various computer programs which were multifunctional text editors of different types. The so-called American Brown corpus (The Brown University Standard Corpus of Present-Day American English) is considered to be the first language corpus [12]. The demands of the theory and practice of language served as a powerful development factor for this new direction. Nowadays it is a common feeling that corpora of texts are an effective means for language studies and conducting linguistic research. Methods of corpus linguistics are applicable in the practice of teaching and in the assessment of theoretical aspects of such spheres of linguistic science as lexicology, phraseology, morphology, phonetics and phonology, syntax, semantics, and pragmatics, etc. Corpora allow researchers to obtain statistical data on the frequency of use of certain language units, their collocations and grammar constructions in texts belonging to different genres. Moreover, annotation or marking of texts included in a corpus bears additional meta-text information.

At present, the Internet displays a multitude of electronic corpora of texts in Russian and foreign languages. The most widely known in the world is the British National Corpus (*BNC*) created in the 1990s. When getting ready for and holding classes foreign language teachers have at their disposal resources of the National Corpus of Russian Language, BNCS, The Longman Corpus, corpora of CNN and BBC news, and electronic archives of newspapers and journals (*The Economist, The Times, China Daily*), specified corpora for studying foreign languages (*Learner corpora around the world*).

In spite of the fact that achievements of foreign researchers in creating and employing language corpo-

* The research is conducted within the framework of Federal Special-Purpose Program "Academic and Pedagogic Cadres of Innovative Russia" 2009–2013 under the support of RF Ministry of Education and Science (GK – P733).

ra, as well as applying methods of corpus linguistics are acknowledged as perspective direction in the sphere of linguistic research and teaching foreign languages, they still have not found proper application in the Russian science of language.

At the present stage of the development of corpus linguistics one can observe a turn to the research of oral speech. Despite the fact that linguistics has always recognized the oral form of language function as the primary and determining function, the majority of linguistic descriptions has been based on the material of written texts until recently. The topicality of the analysis of real speech phenomena within the context of natural communication is undisputed. However the formation of corpora of such phenomena becomes possible only under the condition of employment of the latest achievements in the sphere of information and speech technologies. In the opinion of O.F. Krivnova, corpora of sounding speech, in different terms, – speech data bases, are the most important type of language resources [9: p. 81]. A speech corpus is a structured subcollection of speech fragments provided, with programmed means of access to them. A speech fragment as a basic unit of a corpus is a digitalized fragment of speech signal accompanied by associated information of a certain type. O.F. Krivnova notes that creation of speech corpora was caused by the need for speech information during investigations on the development of the programs for automatic speech recognition. It is in this sphere where researchers come across tremendous acoustic diversity of sound units of a language caused by different factors: context variability owing to the laws of coarticulation, psycho-physiological conditions of the speaker, technical characteristics of sound-recording devices, and background noises, etc. [9].

At present, the interest in the creation of speech data bases is preserved as a sequence of the demand for research in automatic speech synthesis. Within the frameworks of the present day approach, while synthesizing speech on a text the principle employed is concatenation of acoustic fragments of different sizes which are taken from massive speech corpora [7]. Concatenation is a patching of objects of linear structure, i.e. it presupposes consequential joining of corresponding sound segments which are retrieved from the sound corpus. Specialists think that a corpus-based approach is of crucial importance for the development of the synthesis technologies, especially when modeling prosodical characteristics of speech and individual specific peculiarities of a speaker. It should also be mentioned that the level of development in the sphere of synthesizing Russian speech is not high enough in comparison with the level of modeling English speech (see as an example the text auding option in the program *Google Language Translation Tool*).

In addition to the demand for improvement of the programs for speech synthesis on a text, there exists a demand for employment of resources of multilevel speech corpora in the resolution of a series of other research problems connected with the analysis and description of oral speech in different languages. Speech corpora are used for both purely scientific and applied research. Similar data bases contain electronic-information resources for conducting fundamental research of world languages. Speech corpora contain rich resources of data on the articulatory variability in a certain language as well as on different speech styles. Structure of corpora may include sound files presenting samples of prepared speech (reading of a written text aloud), quasi-spontaneous speech (a message on a specified topic), spontaneous speech (friendly talks, business meetings), etc. This way, the corpus of varieties of English language which function in the Russian Far East and in the countries of the Asia-Pacific region (*RACE – Russian-Asian Corpus of English*), which is developed in the Far East Federal University, includes samples of English speech used at the international, political, educational and cultural forums held in the Russian Far East and the APR countries, business negotiations, academic environment and other situations of cross-cultural and cross-linguistic communication [8].

An indispensable condition for creating corpora of oral speech is the compilation of transcription of a sound file and/or phonetic marking of this text. In the existing sound/speech databases of English language sound files are transcribed, as a rule, in accordance with the adopted mark-up conventions. The sound file is traditionally accompanied with orthographical recording in textual format which contains a certain marking or is accompanied by a hyperlink with the address of marking. The table of symbols employed in the file is explained in a separately attached file. Choice of marking categories for transcription is determined by the purposes of the database. Thus, the Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE) was developed for the purpose of providing a general basis for studying communication in English as a lingua franca at all language levels. As the major task set up by the developers of this corpus was preserving the balance between theoretical demands, methodological considerations and practical limitation [3], 24 categories of transcription marking are distinguished in the marking of this corpus. These markings include a wide range of markers: from identification of a speaker (*Speaker IDs*) – *S1, S2, SS* and intonation variations (*Intonation*) –*?, .,* to non-verbal feedback (*Non-verbal feedback*) – *<nods>, <shakes head>* and context information (*Contextual effects*) –*{mobile rings}, {S7 enters room}.*

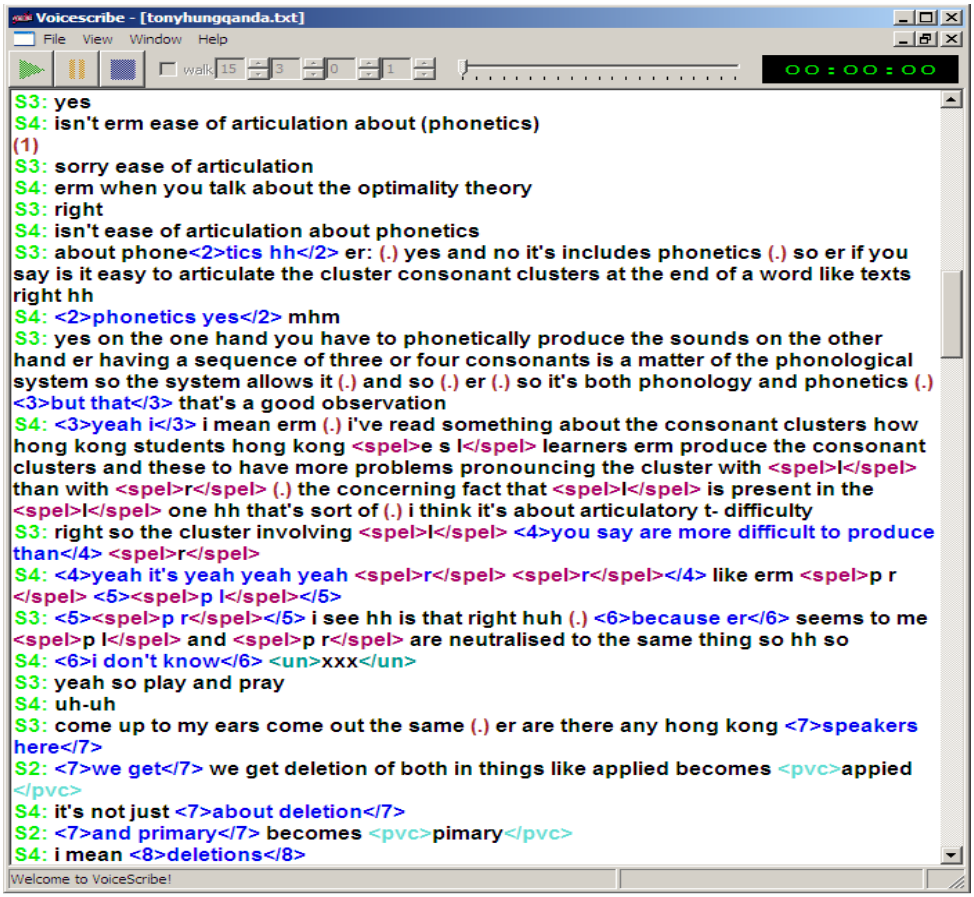

Fig. 1. An example of transcription/annotation of the text in VOICE database with employment of author's (copyright) software VoiceScribe

In the case when a database is developed for educational purposes which assume conducting phonetic research by students, transcribing is often performed with help of the programs for analysis of speech signal in which the fragments are annotated on the basis of the system of the International Phonetic Alphabet (*International Phonetic Alphabet –IPA*). As an example, the English Speech Corpus of Chinese Learners (ESCCL) [4], employs software PRAAT[1], which allows researchers to conduct multilevel segmentation and mark visualized speech signals. Below is an example of transcription in the mentioned corpus which was accomplished at six tiers and presents a combination of British and American systems of annotation of intonational phenomena. (Prehead ¨ *Head* ¨ *Nucleus* – *Tail* and *ToBI* respectively).

The speech corpus RACE (Far Eastern Federal University) employs a complex model of transcribing sound samples which includes marking by a system of symbols in orthographic recording, transcription of fragments with employment of symbols of international phonetic association, as well as multilevel segmenting and transcribing separate phrases with PRAAT software [8].

The application of PRAAT software in the RACE database allows the systematization of multilevel descriptors of articulatory specific features of major regional variants of English speech and, consequently, the description of the whole complex of characteristic phonetic features and prosodic signs of these variants (at segment and suprasegment levels).

The transcription of sound files of databases is of special value for phonologists studying articulatory laws and the variability of acoustic information. The significance of speech corpora for the development of the theory of phonetics and phonology is confirmed by the research of DJ. Prinsloo, and G-M. de Schryver in the field of African languages [13]. The authors note that corpus-based phonetics opens new perspectives for phonetic research [13: p. 112]. Linguists observe the possibility of employing new methods of distinguishing basic phonetic units of languages. Traditionally, phonetic research was conducted exceptionally for phonological analysis. Recently, phonetic research has been conducted to obtain data for comparative charac-

[1] PRAAT – a free computer program for phoneticians, free access at http://www.praat.org

teristics of sound systems of different languages. Description of the phonetic system of world languages is traditionally conducted by analogy with the previously described systems of European languages. Speaking about the incorrectness of an ethnocentric approach to studying phonetic phenomena and the need for elimination of the random factor, researchers suggest that generalizations made for one language should not be extrapolated to any other language and that research of every separate/individual language should be approached empirically, i.e. bottom-up (*corpus-based phonetics from below*) [13].

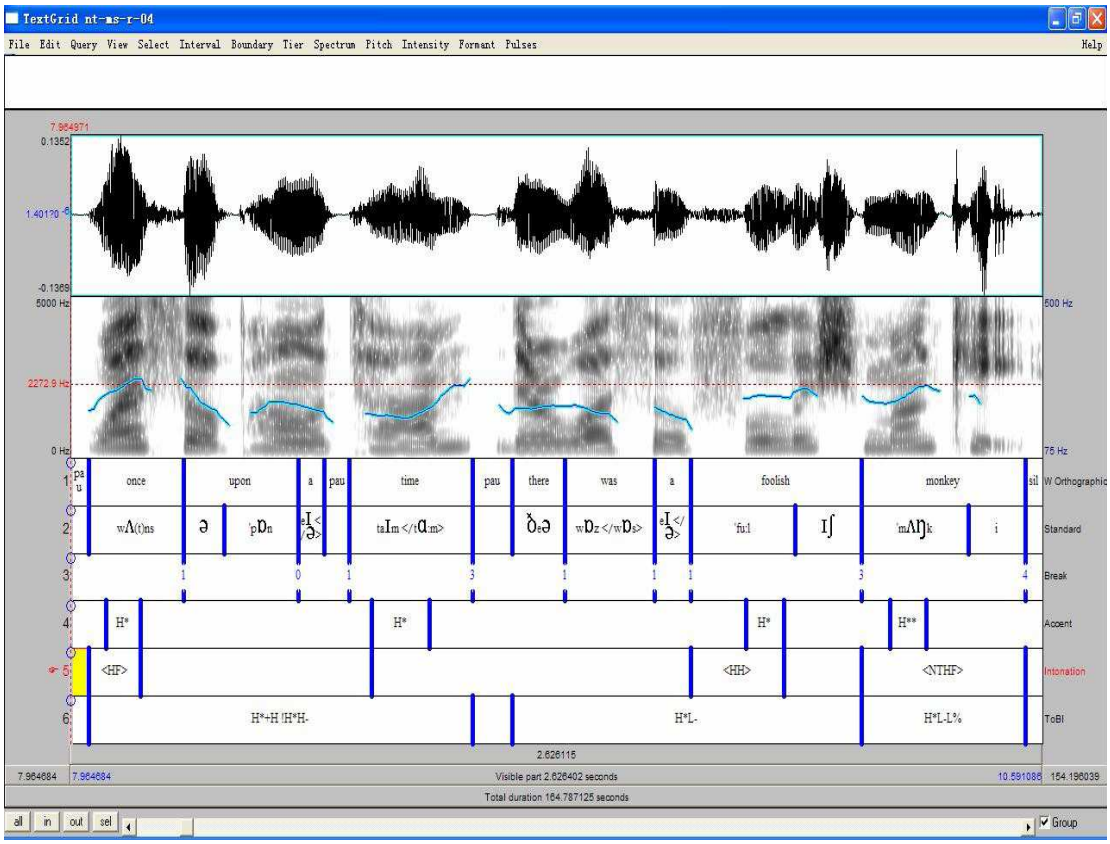

Fig. 2. An example of transcription in ESCCL corpus with employment of PRAAT software

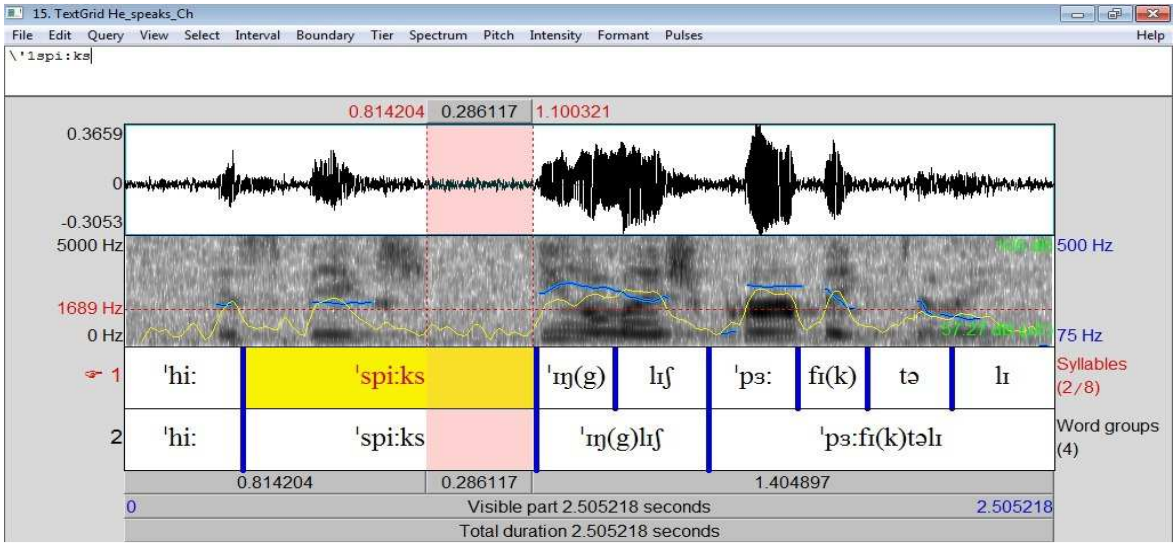

Fig. 3. An example of transcribing a phrase in RACE corpus with employment of PRAAT software (Chinese English). S1Ch: *He speaks/ English perfectly*

Resources of speech databases are also necessary for experts in different fields of knowledge, including specialists dealing with auditory/acoustic speech recognition, psycholinguists, sociolinguists dealing with the issues of influence of age and gender factors on articulatory variability, as well as computer engineers studying the influence of phonetic variability on automatic speech recognition.

At present, the corpora of oral and written texts are successfully employed in foreign language teaching and linguistic pedagogy. A corpus approach demonstrates its high efficiency in world practices, as methods of linguistic research are oriented to applied studies of language with consideration for its function in real environments and texts. The application of specialized educational/study corpora, parallel texts in particular (*Learner Parallel Corpora*), has become topical in translation practices and teaching interlingual/ interlanguage translation to students of late [14, 15]. In corpora of this type, a text in one language is aligned with its translation into other language sentence by sentence. An extensive set of parallel texts in Russian and English languages (English-Russian Parallel Corpus) presented in the National Corpus of Russian language can serve as an example. It is important to note that the sources of parallel corpora are of great value for both teaching translation and conducting multi-aspect research in the sphere of linguistic typology.

Corpora of oral texts are most widely used for teaching phonology [6]. In 1984, in the University of California (Los-Angeles) a large-scale database of sound models was developed under the leadership of I. Maddieson. This database, UPSID[2], contains an inventory of the phonemes of 317 languages of the world. [10]. Compiling electronic pronunciation reference manuals is one of various methods of employing the sources of speech corpora in the sphere of teaching foreign languages. Students can improve their language skills faster if they have samples of phonation of the most common words, word collocations and clichés at their disposal. Thus, conducting fundamental phonetic research of World Englishes is of special importance at present. This research is aimed at defining the specific features of their phonation and using the obtained results for expansion of the perceptive base of the specialist-communicants in the sphere of international communication. The information system and electronic database of Asian pronunciation varieties of World English (including Russian English) (RACE) has been under development of since 2010. This will allow specialists to elaborate a multimedia reference-book on articulatory varieties of English speech for students, post graduates, translators and all those studying English language [8].

To sum up, we can ascertain that the achievements in the sphere of corpora linguistics contribute to the development of linguistic theory on the whole. Resources of corpora of oral and written texts find application in linguistic pedagogy and in the practices of scientific research in different spheres of knowledge. A special role is given to speech corpora accompanied with phonetic marking in teaching phonetics/phonology as well as in conducting multilevel research in comparative linguistics and linguistic typology. Corpora of parallel texts are irreplaceable in teaching translation and interpretation. In addition to that, introducing the methods of corpus linguistics into research and innovation processes in Russian institutions of higher education contributes to students' mastery of the latest world technologies and, in its turn, to schooling competent users of information, able to use the methods of multi-aspect information activity.

[2] The acronym corresponds to the name of the project – *University of California LA Phonological Segment Inventory Database*.

REFERENCES

1. *Asinovskiy, A.S.* Polevaya lingvisticheskaya praktika (Uchebno-metodicheskiy kompleks slozhnoy strustury (UMK SS) [Field Linguistic Practice (Training manual of complicated structure)] / A.S. Asinovskiy, E.A. Arkhipova, N.V. Bogdanova, M.V. Rusakova, A.I. Ryko, S.B. Stepanova, T.Y. Sherstinova. – Part I. – Saint-Petersburg: Saint-Petersburg Publishers, 2006. – 98 p.

2. *Asinovskiy, A.S.* Polevaya lingvisticheskaya praktika (Uchebno-metodicheskiy kompleks slozhnoy strustury (UMK SS) [Field Linguistic Practice (Training manual of complicated structure)] / A.S. Asinovskiy, E.A. Arkhipova, N.V. Bogdanova, M.V. Rusakova, A.I. Ryko, S.B. Stepanova, T.Y. Sherstinova. – Part II. – Saint-Petersburg: Saint-Petersburg Publishers, 2006. – 113 p.

3. *Breiteneder, A.* "VOICE recording – Methodological challenges in the compilation of a corpus of spoken ELF" / A. Breiteneder, M.-L. Pitzl, S. Majewski, T. Klimpfinger // Nordic Journal of English Studies. – 2006. – № 5/2. – P. 161–188.

4. *Chen, H.* A Learner Corpus – ESCCL / H. Chen, Q. Wen, A. Li // Speech Prosody 2008. – Campinas, Brazil, 2008. – P. 155–158.

5. Chto takoe Korpus? [What is Corpus?] [Online]. – Official site of the National Corpus of Russian Language. – Online. Available www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html.

6. *Hume, E.* Corpus-Based Phonology: Exploring Phonological Variation In Conversation / E. Hume // Presentations at Mid-West Conference on Phonology. – University of Iowa, MCWOP, 2001. – 8 p.

7. *Hunt, A.* Unit selection in a concatenative speech synthesis system using a large speech database / A. Hunt, A.W. Black // *ICASSP-96*. – 1996. –Vol. 1.– P. 373-376

8. Korpus obraztsov angliiskoy rechi DV Rossii i stran ATR [Corpus of samples of English speech of the Russian Far East and Asian-Pacific countries]: Russian-Asian Corpus of English (RACE) [Online]: database / compilers: V.L. Zavyalova, S.A. Gorbenko, L.P. Bondarenko, M.A. Polyanskaya, N.L. Ishchenko – Certificate of state registration of the database in the Register of databases of the RF № 2011620408 from 01.06.2011. – Moscow, 2011.

9. *Krivnova, O.F.* Oblasti primeneniya rechevykh korpusov v opyt ikh razrabotki [Spheres of applying of speech corpora and the experience of their formation] / O.F. Krivnova // Akustika rechi. Meditsinskaya i biologicheskaya akustika. Arkhitekturnaya i stroitel'naya akustika. Shumy i vibratsii [Acoustics of speech. Medical and biological acoustics. Architectural and construction acoustics. Noises and vibrations] – Collection of works of the 18th session of the Russian Acoustic Society. – Vol. 3. – Moscow: GEOS, 2006. – P. 81–85.

10. *Maddieson, I.* Patterns of Sounds [Electronic resource] / I. Maddieson. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984. – 432 p. – Available at: http: // www.linguistics.rdg.ac.uk/staff/Ron.Brasington/UPSID.interface/Interface.html.

11. *Plungyan, V.A.* Pochemu sovremennaya lingvistika dolzhna byt' lingvistikoi korpusov [Why should the present day linguistics be corpora linguistics] [Online] / V.A. Plungyan – Transcript of the lecture within the frameworks of the project "Public Lectures Polit.ru", 2009 – Online. Available http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html.

12. *Plungyan, V.A.* Zachem my delaem Natsionalniy korpus russkogo yazyka? [Why are we developing the National Corpus of Russian language?] [Online] / V.A. Plungyan // Otechestvennye zapiski. – 2005. – № 2 – Online. Available http://www.lekcion.narod.ru/articles/philology/linguistics2/plungyan-05.html.

13. *Prinsloo, DJ.* Corpus applications for the African languages / DJ. Prinsloo, G-M. de Schryver //Southern African Linguistics and Applied Language Studies.– Pretoria: NISC Pty Ltd, 2001. – № 19. – P. 111–131.

14.*Sosnina, E.P.* Elektronnye resursy v yazykovom obuchenii [Electronic resources in language teaching] [Online] / E.P. Sosnina – Online. Available http://ling.ulstu.ru/linguistics/resourses/literature/articles/corpus_linguistics_language_teaching/.

15. *Sosnina, E.P.* Ispol'zovanie komp'yuternykh konkordansov pri obuchenii inostrannym yazykam [Use of computer concordances in teaching foreign languages] / E.P. Sosnina // Theses of reports at the 23rd scientific-technical conference "Higher School Science under Modern Conditions". – Part 3. – Ulyanovsk, 2001. – 67 p.

16. *Zakharov, V.P.* Korpushaya lingvistika: uchebno-metodicheskoe posobie [Corpus Linguistics: training manual] / V.P. Zakharov. – Saint-Petersburg: Saint-Petersburg University Publishers, 2005. – 48 p.

APPENDIX
Recommended Corpora

1. National Corpus of Russian Language – http://ruscorpora.ru/.
2. English-Russian Parallel Corpus – http://ruscorpora.ru/search-para.html.
3. English as a Lingua Franca in Academic settings (ELFA), English department of Tampere University, Finland – http://www.uta.fi/laitokset/kielet/engf/research/elfa/.
4. British National Corpus – http://www.natcorp.ox.ac.uk/getting/sampler.html
5. The Longman Corpus – http://www.longman.com/dictionaries/corpus/lccont.html.
6. LIMAS Corpus – http://www.ikp.uni-bonn.de/Limas.
7. Michael Barlow ParaConc: A Parallel Concordancer – http://paraconc.com/.
8. Learner corpora around the world – http://www.uclouvain.be/en-cecl-lcWorld.html.
9. Speech Resources Consortium, "UME-ERJ English speech database read by Japanese students" – http://research.nii.ac.jp/src/eng/list/index.html.
10. ViC (Variation in Conversation) – Corpus of Conversational English http://buckeyecorpus.osu.edu/.
11. Vienna-Oxford International Corpus of English (VOICE) – http://www.univie.ac.at/voice).

INDIAN ENGLISH IN SUBTITLES*

T.A. Ivankova

Ivankova, Tatiana Alekseevna – Candidate of Science (Philology), Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Translation and Interpretation, Far Eastern Federal University (Vladivostok).

E-mail: ivatanya@rambler.ru

Based on sociolinguistic approach and the paradigm of World Englishes, the author describes the status of the English language in India and its part in the country's movie industry. As movies produced in Bollywood are mostly exported, Indian English becomes a significant tool of intercultural communication both in Asia and other parts of the world. In this paper, lexical features of Indian English selected from the subtitles of a movie, are described and classified.

Key words: World Englishes, language contact, subtitles, Indian English.

Variability of the English language as a result of its spread in the world and functioning in countries with different native languages and cultures has been an object of investigation for international and Russian linguists for several decades.

Discussing the reasons for establishing language variantology as a branch of sociolinguistics, Prof. O. Domashnev pointed out that the non-uniformity of a language that has two or more groups of native speakers has led linguistics to acknowledge the variability of such a language, and, in effect, to define this system, which has a sustainability and perspective, as national varieties (variants) of a language [5]. G. Stepanov and O. Domashnev define a national variety of a language as a form of adaptation of a single literary language both to the tradition and current needs of the nation, so, according to them, a national variety is a special form of functioning of a single language [27; 5].

Since the 1930-s the Constitution of India has acknowledged English as an Associate official language [12] along with Hindi, also an official language. English in India is used along with a number of national languages including Hindi, Urdu, Marathi, Tamil and others.

In N. Nikolsky's classification, which distinguishes functional types of language forms according to the spheres of communication, English in India is a borrowed macromediator, because it is the language of former colonial governance, now a national language in the modern developed state [15]. Professor Nikolsky emphasizes that a characteristic feature of borrowed languages-macromediators is the fact that such a language does not perform the maximum range of communicative functions in a particular country. It does not have an ethnic base in this country, that is, there is no social ethnic community which would use it in all domains. His comments that such a language is based on some social strata, mainly, on the upper class of the local population and the intellectuals [15], agree with B. Kachru's description of the functions of Indian English used by the elite in all the domains [8].

An American linguist of Indian origin, Braj Kachru singles out Indian English among other New Englishes. Together with his colleagues and followers Larry E. Smith, Yamuna Kachru, Cecil Nelson and others, Dr. Kachru established a school of linguistic contactology, based on a theory of contact and interaction between various languages in a particular period of the development of society with a special focus on the interaction of English with other world languages [22; 11]. New forms of English emerging as a result of its spread in the world and the influence of the local languages on its system were termed by B. Kachru as *World Englishes* [10]. Zoya Proshina, the initiator of World Englishes studies in Russia, has introduced Russian language terms for such forms of English: *regionalnye varianty i raznovidnosti angliyskogo yazyka (regional variants and varieties of English)* [21; 24].

Given that India has over 1,500 languages and dialects belonging to five different language families and a population of over a billion people [13], it is obvious that bilingualism and multilingualism are quite common in this country. Many Indians speak at least three languages, English being the most prestigious and important for education, science, and politics. Regional languages are used in local education, government and mass media, and "dialects occupy the lowest rung of the linguistic ladder, performing localized interpersonal functions" [26].

It is important that English in India is a source of resolving conflicts between the regional languages; it decreases the risk of death for minority languages because they co-exist in harmony and have distinct functional roles [8]. English is a lingua franca for people living in different regions of the country, whose mother tongues are different. Now English is perceived not as a colonial duty but as a national and international language reflecting educational and economic progress [8]. It is an instrument of decolonization which pro-

* Research is conducted within the Federal target program «Scientific and scientific pedagogical personnel of innovative Russia» for 2009–2013.

vides access to the global economy for the urban poor [28]. According to the opposite point of view, English has retained its colonial color [1] and supports the class division in India and South Asia as a means of access to material wealth [29]. Good education, prestigious positions and jobs, social mobility and access to information are impossible or limited without English, but not everyone can afford to learn it [1]. Without a careful language policy and persistent interrogation and problematization of English, that is "English opening the doors to religious and cultural 'enlightenment', English as a tool of colonial exploitation and consolidation, and English symbolizing the 'killer language' for various languages and cultures" [7] Indian English will be perceived only as a symbol of prestige and elitism. With a carefully planned approach English will be accessible for wide population masses and become an element of the Indians' linguistic competence in the situation of multilingualism.

Though linguists have different opinions about the status of Indian English, there is no doubt of its existence as a single national variety.

S. Parasher defines Indian English as a variety of English learned and used by the majority of educated Indians as a second language [18].

In 1960-s Bansal [2] proposed the term General Indian (GI) as a model of Indian English based on its intelligibility for the world community, but this term did not stick.

There are also localized varieties of Indian English according to the language in contact with English, e.g. Punjabi English, Tamil English, Bengali English, Gujarati English, etc. [14]. Inside bigger language groups there are Indo-Aryan English and Dravidian English [14]. From this point of view, there are as many varieties of English in India as there are languages and dialects. Nevertheless, there are particular language features common for all of these varieties. They are characteristic of Indian English whose norms are fixed in the media, education, politics and other spheres of life in India.

Indian English, as well as other New Englishes, has a number of features which developed as a result of the interference of native languages during language contact. Braj Kachru called this process nativization or Indianization of English in India [9]. Nativization is a productive process which results in all sorts of deviations and innovations at all levels of the language system. They are systematic and typical, spread in common usage and intelligible for communicants with different native languages [21; 23].

In this paper we are attempting to single out the lexical features of Indian English in subtitles, because through the movie industry Indian English becomes not only a medium of national, but also of international and intercultural communication and needs a linguistic description.

English is a primary language in moviemaking and culture. English-language Hollywood, world's leading movie producing centre, releases hundreds of films annually and dominates the global market. However, since the 1970-s international festivals and later Internet and DVDs have brought to the international public products of the national movie industries from Latin America, Africa, Asia and Australia [19]. And India has the world's largest movie industry, which releases over 900 feature films every year, whereas Hollywood produces about 270. Since the mid-1970-s Indian directors have taken an active part in international film festivals [19]. As for national demand, Indian viewers prefer traditional movies produced by Bombay studios, commonly known as Bollywood. Indian movies are also popular in South East Asia, although Asian national movie industries have been extensively developing in recent decades, e.g. in China and Hong Kong where directors specialize in action movies featuring martial arts.

It should be noted that earlier in India films were shot in Hindi or Urdu, but in the recent decade this discrimination has almost disappeared. The protagonists of modern Indian movies do not speak one single tongue, they use several languages and dialects, switching and mixing them, which reflects the current trends in language usage in India. Professor Sigorsky, a sociolinguist who focuses on Hindi areals, points out that Bollywood has developed its own variety of Hindi, which is closest to the concept of Hindustani as the language of Hindu and Muslims and includes that commonality which Hindi and Urdu have regardless of the divergence between the various religions [25]. As the well-known Indian film director Hussain says, "This is the way of life, old languages die and new languages are born. A language is like a person and has the right to change" [4]. English-language movies take a larger and larger place in the Indian movie industry. And English-language films, as well as books, are not so much intended for national viewers and readers as for export [25]. That is why Indian English becomes a medium of intercultural communication.

The research material for this paper is the subtitles of the feature film *Firaaq*. *Firaaq* is a 2008 Hindi movie, produced in Bollywood and set one month after the 2002 violence in Gujarat, India. The film is based on witnesses' stories.

Gujarat riot is a series of religious conflicts between Hindus and Muslim in the Indian state of Gujarat which took place in 2002. The worst clashes happened in Akhmedabad, the state capital. The riot was sparked off by the Godhra train burning. A train with Hindu pilgrims was attacked near Godhra station and 58 people burnt alive. A Muslim was charged with arson and religious hatred was named as a motif for the crime. Revenge attacks started in Gujarat which had

had a long history of communal violence between Hindus and Muslim.

The film won top honors at a number of international film festivals in Singapore, Republic of Korea, Great Britain, Greece, the USA, the Indian state Kerala, Dubai and Russia (Moscow and Vladivostok). In 2009, the film director Nandita Das received The Special Jury Award 'For the director's attempt to raise the concern on the critical social conflict in the Gujarat region' [17].

Before starting the analysis of subtitles it is worth noting that the name of the picture *Firaaq* in Urdu means *separation* and *quest*. Originally, it was planned to give the film a name in English: *In such times*, but it sounded too heavy in Hindi. *Firaaq* is a word from a line by Wali, the poet mentioned in the film, translating into English as *"The separation of Gujarat is killing my heart"*. The film was presented at the Moscow International Film Festival with the title *Razluka (Parting)*, and at Vladivostok Film Festival it was presented as *Raskol (Split, separation)*, which is equivalent to the meaning of the word in the context of the poem.

Lexical features of World Englishes attract researchers in the first place, because they are most visible and give a unique national 'coloring' to the texts produced by the speakers of different varieties of English.

Kingsley Bolton and Susan Butler, known for their descriptions of World Englishes, notably, the lexicons of the new varieties, point out that new lexical items are produced through a number linguistic processes, including 1) the borrowing of words from the local languages, 2) the borrowing from other Englishes, 3) the formation of new words and new compounds in English, and 4) the adaptation of the lexicon brought from the British or American homeland [3]. Lexical features of Indian English identified in the subtitles of the film *Firaaq* include: semantic shift and new combinations of English language lexical items; and borrowings from Hindi and Urdu:

1. Semantic shift. Semantic differences are revealed in the different volumes of meanings and different forms of expressing the same notion, different compatibility and collocations [20]. In the research material there were 6 examples of words which have undergone semantic transformations in Indian English, e.g. *Softly (=quiet(ly)), others will wake up*. Here semantic interference can be observed, because in Hindi the word *aista* means both *softly* and *quiet(ly)*. Another example: *– Hanif, since when did you start smoking? – Recently, out of tension.* The word *tension* in Indian English means not only *a state of mental or emotional strain*, but also *stress* [16]. Indians rarely use the words *stress* commonly replacing it with *tension*.

An example of semantic shift is the usage of *too* with a verb in the meaning *also* and *that too* in the meaning *besides that*. In this case it is both a semantic and structural deviation because it concerns not only the meaning but also the position of the word in the phrase. There were 4 phrases of this type in the material, e.g.: *In any case, we too have had our own share of loss; After marriage you didn't become a Muslim, but your husband has just become a Hindu, and that too with your surname!*

2. Changes in the volume of the meaning and the usage lead to new collocations, which become a particular feature of this variety of English. In the subtitles of *Firaaq* there are 8 examples of new word combinations, e.g.: *Shut the TV and draw the curtains (= "Turn/switch off TV); Don't worry, we'll reach soon (=we'll get there soon).*

3. Borrowings.

The vocabularies of New Englishes, as well as the semantics of their lexical items are largely determined by extralinguistic factors. Etiquette and politeness formulas common in the local community play a significant role among these factors. A large group of borrowings is made up of culturally specific address terms, which become a notable characteristic of Indian English.

Culturally specific address terms include both words and suffixes which express the attitude of the speaker towards the receptor and correspond to the gender, age and status of this receptor. It should be noted that in the subtitles such words and suffixes were written in italics. This category included 39 examples and was the largest of all.

Among the borrowings there were both semantic and structural calques of the lexical items from the languages of India and transcriptions / transliterations of them. E.g: *Uncle, come here.* In this imperative *uncle* is used not as a morpheme attached to the name, but as a separate word, unlike other examples with this lexeme and the term used to address a woman, *aunty*. Compare: *Then Yusuf uncle took me to Shahpur camp; Happy to meet your Anu aunty?*

Indians normally use the words *uncle* and *aunty* to address distant relatives, neighbors, friends' parents, acquaintances and strangers (e.g., shop assistants), and senior people. In the following contexts these terms were used to address neighbors and acquaintances.

Address terms *Sahib / Saheb*, which translate from Hindi as *a friend* or *companion* are equivalent to the English *Mister / Mr.* or *Boss* and express respect [6]. In the film this word was used to address a person with a higher social status: *Didn't Sameer Saheb shelter us all of last month; You know, Doctor sahib, only you were there for the last three music gatherings.*

Bhai in Hindi means *brother* and corresponds to the English informal address terms *man* and *dude* [6]. Protagonists use it to speak to their peers, mainly friends: *You… Sameer bhai, forget who's at fault; Bhai, I really don't know.*

Protagonists also use address terms borrowed from Urdu, in particular, *miyan*, which Muslims use in

the meaning of *husband* or as an honorific term referring to men. In the film *Firaaq* this word is used in its second meaning: *Want to speak to Shafiq miyan?*; *People are killing people, that bothers me, Karim miyan*.

Muslims use *bibi* as an honorific term for women, especially those who are older than the speaker: *And you wanted to help Sakina bibi*.

The address forms *miyan* and *bibi* emphasize the religious identity of the speakers indicating that they are Muslims and thus serving as religious and cultural determiners.

Greeting and saying good-bye in Indian English are also different from other Englishes. Instead of *Hello! How are you?* with a response *How are you?*, Indian protagonists say when they meet each other in the street: *Greetings, Khan Saheb!*, with a respond *God bless you!* The blessing *God bless you!* can also be used in Indian English as the response to parting words, e.g.: *I better go! – God bless you!*

How are you keeping? Is another commonly used Indian English equivalent for *How are you?* When welcoming a guest protagonists use such polite phrases as *Welcome. You'll live a hundred years!* and *I'm going to meet Joshi bhai. Thought I'll stop by. How is he keeping?*

As B. Kachru points out, such greetings and blessings are used in India as opening and closing phrases in the conversation [8].

Hindi is such a rich source of borrowings into Indian English that some linguists single out so-called *Hinglish*, a mixture of Hindi and English, a sociolect, a language of urban middle class, mainly of big cities [25]. In the subtitles of the film *Firaaq* there were several thematic groups of Hindi borrowings:

– Geographical names (toponyms) and names of architectural complexes (connected with the events the consequences of which are described in the movie), 5 examples: *Bloody hen-pecked husband ran away to Surat* (a city in western India, state of Gujarat); *Pamphlets had been distributed in villages that said: "Sarkhej is mini-Pakistan. Finish it off"*. *Sarkhej* is an architectural complex eight kilometers from Ahmadabad.

– Names of people: outstanding cultural figures of India, 5 examples: *Just like Shahrukh! Shahrukh Khan* is a famous Indian movie actor, producer and TV host.

Wali's shrine was here. Wali (1667-1707) is the classical Urdu poet, also known as Wali Deccani.

– Culture-loaded words connected with the culture of India. In *Firaaq* subtitles such lexical items were in most cases transcribed (11 examples): *Don't worry, bindi is there on your forehead. Bindi* (from Hindi *drop*) is a decorative dot that Hindu women draw in the middle of the forehead; a so-called 'third eye'; a symbol of truth in Hinduism.

You weren't going to repair the sofa before Eid? In this example *Eid* is a contracted form of *Eid ul-Fitr*, *'breaking the fast'*, a Muslim holiday marking the end of Ramadan, a holy month of fasting.

A number of culture-loaded words were combinations of a borrowed element and an English word, i.e. half calques (7 examples): *When your maid ran away with all your jewellery, you didn't go and torch the whole Chhara community, did you? Chhara Community* is a group of so-called 'denotified' Indian tribes, widely thought to be criminal.

Now it feels like a henna night. Henna night is a ceremony held one or two days before the wedding in the bride's house where friends and relatives of the girl gather. Henna is applied on the bride's hands and feet and the bridal motifs include symbols of love, loyalty and devotion to the new family.

In the subtitles, geographical and people's names are normally transcribed and followed by a short explanation: *city of Surat* or *poet Wali*. Culture-loaded words usually require an equivalent or a definition. Commonly known words, which are familiar to the viewers and are a part of their background knowledge or the meaning of which can be derived from the context, are included in the subtitles without a commentary. Unknown cultural terms are italicized for easy identification in the text (as in the subtitles of *Firaaq*).

In Indian English Hindi and Urdu borrowings nominating people's names, toponyms, cultural objects and phenomena, that is, equivalent-lacking words expressing ethnic and cultural specificity of the Indian nation, serve to render the unique historical, political and religious context in which Indian English is used.

Based on the literary review and data analysis Indian English can be defined as a variety of English with a mixed vocabulary, composed of lexical items common for all World Englishes and borrowings from Indian languages and dialects (mainly, Hindi), and also English words which have undergone semantic transformations. Lexical innovations of Indian English in the subtitles of the film aimed at the international viewer not only add authenticity to the picture but also render cultural values of the Indian nation.

REFERENCES

1. *Agnihotri, R.K.* Identity and Multilinguality: The Case of India / R.K. Agnihotri // Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts. Lawrence Erlbaum Associates, 2007. – 283 p.

2. *Bansal, R.K.* The intelligibility of Indian English: measurements of the intelligibility of connected speech, and sentence and word material, presented to listeners of different nationalities / R.K. Bansal. – Hyderabad: Central Institute of English, 1969. – 186 p.

3. *Bolton, K.* Lexicography and the description of Philippine English vocabulary / K. Bolton, S. Butler //

Philippine English: Linguistic and Literary Perspectives. Manila: Anvil, 2009. – P. 175–200.

4. *Chopra, S.* Shudh Hinglish / S. Chopra // Screen. – 2003 [Electronic resource] – Available at: http://www.screenindia.com/fullstory.php?content_id=1133.

5. *Domashnev, O.A.* O lexikographicheskom otrazhenii amerikanskogo standarta angliyskogo literaturnogo yazyka [On *lexicographic* description of American English literary standard] // O.A. Domashnev. Lingvisticheskiye issledovaniya. Struktura yazyka i yazykovye izmeneniya [Linguistic research. Language Structure and Language Change]. – Moscow, 1985. – P. 70–79.

6. *Indian English Dictionary* [Electronic resource] – Available at: http://www.amritt.com/IndianEnglish.html

7. *Kachru, B.B.* Asian Englishes: Beyond the Canon / B.B. Kachru. – Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005. – 135 p.

8. *Kachru, B.B.* The Handbook of World Englishes / Edited by B.B. Kachru, Y. Kachru, C.L. Nelson. – Oxford: Blackwell Publishing, 2006. – 811 p.

9. *Kachru, B.B.* The Indianization of English: The English Language in India / B.B. Kachru. – New York: Oxford University Press, 1983. – 140 p.

10. *Kachru, B.B.* Varieties of American English / B.B. Kachru // Language in the USA. – Cambridge: Cambridge University press, 1981. – P. 44–66.

11. *Kachru, Y.* Cultures, Contexts, and World Englishes / Y. Kachru, L.E. Smith. – New York: Routledge, 2008. – 231 p.

12. *Lee J.S.* Symposium on world Englishes in popular culture / J.S. Lee, Y. Kachru // World Englishes. – 2006. – Vol. 25. – № 2. – P. 191–308.

13. *Mallikarjun, B.* Language according to Census of India 2001 / B. Mallikarjun // Language of India. – 2001. – Vol. 1. – № 2. – Available at: http://www.languageinindia.com/april2001/indiancensus.html.

14. *McArthur, T.* The English Languages / T. McArthur. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 247 p.

15. *Nikolsky, L.B.* Sinkhronnaya sotsiolingvistika (Teoriya i problemy) [Synchronous sociolinguistics (Theory and problems)] / L.B. Nikolsky. – Moscow, 1976. – 167 p.

16. *Online Oxford English Dictionary (OED)* [Electronic resource]. – Available at: http://www.oed.com.

17. *Pacific Meridian*. Mezhdunarodny kinofestival stran ATR. Kinoprogramma festivalya 2009 goda. Konkursnaya programma. [International Film Festival of the Asian Pacific countries. Festival program of 2009. Competition]. Firaaq [Raskol]. [Electronic resource]. – Available at: http://www.viff.vl.ru/ru/archive/laureate,8,723

18. *Parasher, S.V.* Indian English: Functions and Form / S.V. Parasher. – New Delhi: Bahri Publications, 1991. – 193 p.

19. *Parkinson, D.* Kino: Perevod s angliyskogo [Sinema: Translated from English] / D. Parkinson. – Moscow: Rosman, 1996. – 160 p.

20. *Pavlova, I.P.* Metodika raboty nad lexikoi angliyskogo yazyka s primeneniem programmirovannyh posobiy (na 2 kurse yazykovogo vuza) : diss. … kand. ped. nauk [Methods of teaching English lexis with programmed textbooks (with second-year English majors): dissertation … Ph.D. in Pedagogy] / I.P. Pavlova. – Moscow, 1991. – 203 p.

21. *Proshina, Z.G.* Angliyskiy yazyk i kultura narodov Vostochnoy Azii [The English language and East-Asian cultures] / Z.G. Proshina. – Vladivostok: FENU, 2001. – 476 p.

22. *Proshina, Z.G.* Lingvokontaktologiya: status, problemy, perspektivy [Linguistic contactology: status, issues, perspectives] / Z.G. Proshina // Sotsialnye i gumanitarnye nauki na Dalnem Vostoke [The Humanities and *Social* Studies in the *Far East]*. – 2005. – № 1 (15). – P. 124–128.

23. *Proshina, Z.G.* Peredacha kitayskih, koreiskih i yaponskih slov pri perevode s angliyskogo yazyka na russkiy i s russkogo yazyka na angliyskiy: Teoriya i praktika oposredovannogo perevoda: posobiye po perevodu [Translating Chinese, Korean, and Japanese Words from English into Russian and from Russian into English. Theory and Practice of Intermediary Translation: Textbook on Translation] / Z.G. Proshina. – 2nd ed. – Moscow: AST: Vostok-Zapad, 2007. – 160 p.

24. *Proshina, Z.G.* World Englishes Paradigm, ili kontaktologiya angliyskogo yazyka [World Englishes Paradigm, or contactology of the English language] / Z.G. Proshina, T.A. Ivankova // Lichnost. Kultura. Obshchestvo [Individual. Culture. Society]. – Vol. XII, №. 1 (53-54). – 2010. – P. 173–174.

25. *Sigorsky, A.A.* Vsyo smeshalos v hindiyazychnom areale: yazyki, dialekty, govory [Everything is mixed in Hindi areal: languages, dialects, and patois] / A.A. Sigorsky // Yazyk do Indii dovedyot [Your tongue will take you to India]. – Moscow: Vostochnaya literatura, 2008. – P. 345–368.

26. *Sridhar, K.K.* English in Indian Bilingualism / K.K. Sridhar. – New Delhi: Manohar Publications, 1989. – 177 p.

27. *Stepanov, G.V.* Ispanskiy yazyk v stranah Latinskoy Ameriki [The Spanish language in the countries of Latin American] / G.V. Stepanov. – Moscow: Vysshaya shkola, 1963. – 203 p.

28. *Vaish, V.A.* Peripherist View of English as a Language of Decolonization in Post-Colonial India / V.A. Vaish // Language Policy. – 2005. – Vol. 4. – № 2.

29. *Verma, M.K.* English in India: Whose English, for whom, and what about Indian languages? / M.K. Verma // IJOAL. – 2002. – Vol. 28. – № 2. – P. 101–120.

PRINCIPLES OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF THE SOCIO-CULTURAL COMPONENTS OF A MODERN ENGLISH LANGUAGE TEXTBOOK

E.V. Karpets

Karpets, Elena Vitalievna – Senior Lecturer of the Department of English Language and Cross-Cultural Communication, Institute of Philology and Journalism, Saratov State University.

E-mail: elenakarpets24@mail.ru

The paper argues that a foreign language textbook is a cultural phenomenon and that is why its representative function becomes essential. The author suggests the cultural approach to such a pedagogical and linguistic category as a textbook. The article introduces principles for the culturological analysis of quantitative and qualitative constituents in the socio-cultural contents of a modern English language textbook. “English Unlimited” (Cambridge University Press) is considered from this point of view.

Key words: English language textbook, representative function, socio-cultural contents, national specific component, polycode texts, English language, culturological analysis.

COGNITIVE APPROACH TO METAPHOR IN SCIENCE VS. SCIENTIFIC METAPHOR: A QUEST FOR A DIVIDE

L.V. Koulchitskaya

Koulchitskaya, Larissa Valentinovna – Candidate of Science (Philology), Assocaite Professor of the Department of Linguistics and Cross-Cultural Communication, Doctoral Candidate, Far Eastern Federal University (Vladovostok).

E-mail: koulchitskaya@mail.ru

With an eye to a cognitive linguistics approach, this paper offers a way to draw a division between metaphors within the generic-level category of metaphor in science (and scientific language) with a focus on proper scientific metaphors. The science-institutionalizing concepts of scientific paradigm and discourse are introduced to support an attempt to differentiate between metaphors. Conceptual metaphor is compared to and contrasted with analogy, model and paradigm. Metaphors in physical science theories are used as study material.

Key words: conceptual metaphor, metaphor in science, scientific metaphor, core metaphor, entailments, metaphorical mental space, paradigm, model, analogy, epistemic and discourse practice, paradigm metaphor, discourse metaphor.

Ever since Aristotel's writings, metaphor was regarded a flowery decoration inadmissible yet defiantly present in scientific language. I. Richards wrote, "…[M]etaphor is an omnipresent principle of language…. Even in the rigid language of the settled science we do not eliminate or prevent it without great difficulty" [38: p. 46]. Shaped in cognitive scientific framework, G. Lakoff and M. Johnson's theory of conceptual metaphor (together with J. Fauconnier and M. Turner's theory of blended spaces), is able to justify convincingly the presence of metaphor in science (see, for instance, [28; 33]), by redefining metaphor and shifting its locus to the mind. However, heated arguments over its epistemic role and pervasiveness show no signs of abating. The explanation seems to be in the fact that metaphor has evolved into an interdisciplinary subject and found itself in the focus of diverse, often contradictory, attitudes. As a result, three major implications relevant to the "scientific" metaphor ensue:

- Continuing arguments over an epistemic role of metaphor and a contentious issue of its admission to science.
- Co-occurrence of the terms "scientific metaphor" and "metaphor in science" as if they were semantically interchangeable.
- Conjugacy and unintentional identification of a metaphor as a mental entity with a scientific model, scientific paradigm and analogy.

According to philosopher E. Gogonenkova, "Profuse talks about metaphorisity of science have become a common issue. The vogue for metaphor borders on poor taste. Metaphors migrate across scientific and quasi-scientific texts leaving us puzzled or even annoyed. Be pervasiveness of metaphor in scientific discourse an acknowledged fact one should still raise the question in what contexts its presence is justified" [17: p. 141]. We assume the point is not in the context. According to N.D. Arutyunova's high-esteemed opinion, "[m]etaphor is in many ways in discord with scientific discourse" [1: p. 15]. The question is rather the pervasiveness of *which* metaphor in science we are talking about. Controversy over heuristic significance of a metaphor and its (in)admission to scientific discourse is underpinned by diverse theoretical claims, but notably by disagreement on the entity termed generically as metaphor.

The focus in this paper is on the distinction between a conceptual metaphor in science, a scientific metaphor and a metaphor in scientific language in so far as they differ from an analogy, a model, and a paradigm. We start with the main ideas of the conceptual metaphor theory, then specify metaphor in science as opposed to an analogy, a scientific model, and a paradigm. Finally, we shall show what kinds of metaphors are used in modern physical theories and their language so that we could say what metaphors are indispensable and rightful in science and scientific language.

It stands to reason to characterize the cognitive linguistic view of a metaphor as it is described in the pioneering theory of the conceptual metaphor by G. Lakoff and colleagues [27; 25; 26; 24] for primary metaphors and complex metaphors "built out of primary metaphors" [26: p. 45–59, 60–73]. Metaphor here is taken to be a mental operation of thinking about one thing in terms of another [26: p. 45], or a "cross-domain mapping from a source domain to a target domain" [26: p. 58]. These mappings are neural bindings that develop through repeated co-activations of the corresponding source and target nodes. A metaphorical mapping is activated in a neural circuit. A metaphor system is grounded mostly in an embodied experience [24]. A conceptual metaphor is assumed to be one of

the leading cognitive tools of human understanding, so its locus is in mind. The mind manifests itself in activities including speech; therefore in terms of the mind-language relation, a conceptual metaphor is what underlies a system of related metaphorical expressions (instantiations). Conversely, metaphorical expressions are instantiations of conceptual metaphors, they indicate to neural processes otherwise inaccessible to direct observation, and help reconstruct (model) a neural network architecture involved in metaphorical thinking. The procedure is as follows. A sampled collection of metaphorical expressions is sorted out thematically by a fragment of the worldview they represent, for example, words used metaphorically to speak about love:

*Look how **far** we've **come**. It's been a **long bumpy road.** We can't **turn back** now. We're **at a crossroads**. Our relationship is **off the track**. The marriage is **on the rocks**. We are **spinning our wheels**. The marriage is **out of gas**.*

The "LOVE IS A JOURNEY" metaphor systematically links the literal meanings of these expressions about travel to corresponding meanings in the domain of love. This is how the master-metaphor is obtained (also core-metaphor, etc.; in the Lakoff – Johnson theory there is no special term). This complex metaphor is made out of simple metaphorical projections called entailments:

LOVE IS A JOURNEY
THE LOVERS ARE TRAVELERS
THEIR COMMON LIFE GOALS ARE DESTINATIONS
THE LOVE RELATIONSHIP IS A VEHICLE
DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS TO MOTION
[26: p. 64–69].

The procedure of finding a master metaphor (a.k.a. metaphorical model) for sampled metaphorical expressions is the reverse of the process whereby a conceptual metaphor is realized in language. A conceptual metaphor is prior to its counterpart in language, so it is *instantiated* in language. A linguistic metaphor is secondary to its conceptual counterpart, so it is *generated* by a conceptual metaphor. The search for conceptual master metaphors tends to be called by some of Lakoff-and-Johnson's followers in Russia "metaphorical modeling", whereas conceptual metaphor and its symbolic notation is a metaphorical model, since the Russian term modeling refers to simulation of mental metaphorical processes (cf. [6; 32]).

Some difference in understanding Lakoff-and-Johnson's theory by Russian and English-speakers is accounted for by semantic difference between English key words and their translated Russian counterparts. Russian has no exact equivalent for *mapping*, therefore a word *проекция (projection)* is used instead. Unlike English mapping, Russian *projection* does not implicate topological structure of neural networks and may mislead one into believing that conceptual metaphor is a mere transfer from a source domain to a target domain, just like in the traditional Aristotelian conception. The English term *mapping* implies a three-dimensional organization of projections. The first Russian researcher who revealed this was M.G. Lebedko; she offered the term "*картографическая проекция*" close to English "topological mapping" [29: p. 91]). There is other evidence that conceptual metaphor is not a transfer. Metaphorical mapping involves an activation of the whole neuronal network that connects source and domain elements. The overall Lakoff-and-Johnson theory of primary metaphor has four parts [26: p. 46-47], in particular S. Narayanan's neural theory of metaphor [26: p. 569-572] and G. Fauconnier and M. Turner's theory of conceptual blending as it was described in 1985 [12]. The latter (a.k.a the theory of conceptual integration) was further developed in the following works [11; 14; 13]; for its interpretation see publications by A.V. Budaev and F.P. Chudinov [7: p. 59-60], J. Taylor [40: p. 197–198], and Z. Kövecses [21: p. 267–284]. These theories contributed to the "integrated theory of a primary metaphor" in the way that the conceptual metaphor is presumed to occur in the blended space as a result of the interaction between two or more input spaces (or domains) related to each other as source and target spaces (or domains). In terms of the neural theory, the blended space is an "activated neural map" [28: p. 20] of the overall neural circuitry. (For a detailed description of the neural theory of metaphor see [28]). Blended spaces are not necessarily projections of source and target counterparts into a third blended space; since blended spaces may involve new elements that are not simple combinations of elements in the source and the target, new knowledge emerges in the blended space. The Lakoff-Johnson theory is not opposed to the Turner-Fauconnier theory, it has initially been part of it. Lakoff's recent references [28] to Turner and Fauconnier's works testify to the relatedness and compatibility of these theories.

At this stage we may assert that the term "metaphor in scientific language" refers to all metaphorical expressions that one may encounter in a scientific text (discourse) regardless of their appropriateness.

Evidence to Support an Epistemic Role of Metaphors and their Acceptance into Science. Claims to support metaphors in science are made by philosophers, linguists and, most convincingly, with the benefit of hindsight, by historians of science. The researcher of scientific metaphor G.S. Baranov writes: "As far back as the latter half of the 19th century Maxwell admitted the methodological role of the figures of speech and mind that helped transfer terms across domains of knowledge and which could be called 'scientific metaphors'. Rare research concerning metaphor in science ended up denigrating its epistemic or heuristic role in discovery" [4: p. 3].

Philosophers of science provide convincing evidence of how metaphors helped to shape what even-

tually would turn to be a theory. R.M. Young, who studied Darwin's metaphors in *On the Origin of Species (*1861), reports that Darwin took much effort rewriting his masterpiece trying in vain to eliminate metaphors. According to Morse Peckham, the man who counted revisions, "Of the 3,878 sentences in the first edition, nearly 3,000, about 75 per cent, were rewritten from one to five times each." [43, p. 375] Darwin had no available literal words for expressing his pioneering idea of natural selection, conceptually metaphorical, though. Physics offers a plethora of similar evidence. Back in time "Leibniz … objected to the law of gravity and claimed that it was opposed to natural religion, because Newton could not show what gravity is" [43: p. 378]. And below: "When Newton applied the concept of gravitas to the relations between bodies, he, too, was speaking metaphorically. Gravitas did not have the literal meaning we now associate with the mutual attraction between bodies. It was a human attribute. And we still have no idea what gravity is" [43: p. 390].

The language of modern physics owes a lot of metaphorical expressions to Newton; this assertion, however, does not implicate Newton put them intentionally into scientific vernacular. What he did was conceptualize a physical phenomenon in terms of what man could know from his sensorimotor experience:

(1) ***Pushmepullyou*** [22: p. 18] **–** *literally "pull-push"*, about universal gravitation force;

(2) [T]he ground ***pushes us*** *when we walk* [22: p. 26];

(3) Action and reaction forces an ***act on*** *different bodies* [22: p. 25];

(4) [T]he table ***pushes back*** *just as hard as we push against it* [22: p. 24];

(5) [T]he earth ***is pulling*** *you* ***down*** *with a force* [22: p. 23];

(6) [T]he ***resistance*** *the two balls* ***offer*** [22: p. 17];

(7) [T]he floor ***presses upward on*** *the chair* [22: p. 25]. The motion of the planets obeys the same metaphor: if simplified, it is ruled by gravitation *(pushmepullyou*) and the centripetal force (from Latin *centripetus: centrum – center, petus – seeking, petere – to seek* [42: p. 150]):

(8) *The gravitational* ***attractive force on*** *a planet must provide the* ***centripetal force*** *needed* ***to hold it in*** *orbit* [22: p. 46].

(9) *Either the law of gravitation, on which the calculations were based, was not accurate, or else some unknown body* ***was attracting*** *Uranus* ***from its*** *predicted* ***path*** [22: p. 60].

Linguistic metaphors (given in bold face) seem to run parallel to the explanation of scientifically proven facts (a pedagogical function of metaphor). However, the metaphors chosen for explication are those that originally made up a hypothetical basement for would-be theories. There is good evidence presented by R.M. Young: "I remember the first physical science course I ever took. On about the third day I went up to my professor and said 'What is a force?' and he said, 'That is a question which you must not ask. The only answer you will get is that it is the product of mass and acceleration; beyond that we do not speak in science.' He was saying this with irony" [43: p. 390]. The settled science can, allegedly, easily dispense with metaphors, yet it retains their conceptual remains. Seemingly dead metaphors are helpful in reconstructing the way scientific thought has covered to gain solid knowledge sustained by empirical proofs or algebraic laws. Metaphorical terms eventually get rigid definitions and die out: "Sooner or later speech practice kills a metaphor" [1: p. 9], but not conceptualization. The concept of *force*, for instance, to date has retained its metaphorical conceptualization, which becomes evident as soon as we consider theories which attempted to explain the physical universe on the ground of unified principles. Among others are, for instance, Newtonian-Maxwellian physics of gravitation and magnetism and modern theories known under the name of Grand Unified Theories (GUTs) 1. GUTs attempt to provide a unified description of three of nature's four basic forces, which govern daily life, – the electromagnetic, strong force (binds protons and neutrons together in the nucleus), and weak force (acts on all quarks and leptons). Gravity is the only universal force. The weak forces are studied by a theory known in its modern guise as superstring theory [9; 10].

Each preceding theory would have a basic metaphor from which to develop. When it died it gave place to another successor. The first conception that sought to offer a unified description of everything , Leucippus and Democritus' Atomism (5th century BC), which could do without the notion of force, asserted that the world consisted of nothing but atoms (from Greek *atomos-impenetrable and indestructible*) [42: p. 54]) which continually moved through the void and stuck randomly to some others thus producing the diversity of material forms [10: p. 2, 4]. The early atomistic conception lost its epistemic implication but, as V.N. Telia observes, it echoes in Russian with such expressions as *до мельчайшего атома* ("*to the minutest atom*", *атомизм восприятия* ("the atomism of perception"), *атомистическая концепция* ("atomistic conception") [18: p. 175].

The scientific language of the present day may preserve, willingly or unwillingly, the rudiments of the previous theories. The electromagnetic theory borrowed the concept of ***electron*** (Greek *amber)* from Thales of Miletus who had experimented with amber about 2500 years ago. "The name *electric charge* is today given to whatever it is that a piece of amber (or

[1] See a Russian translation of *Paul Davies. The search for a Grand Unified Theory of Nature* [6].

hard rubber) possesses as a result of being rubbed with fur" [22: p. 148]. In this case an idea of a newly discovered phenomenon received a metaphorical name (literally, ***amber*** *charge*). Another example is a failed "fluid" conception of electricity and the making of a Leyden jar for collecting this "fluid" [23]. It reminds us of itself by the following expressions:

(11) *The moving electrons are the* ***current****; electric* ***current****; the* ***flow*** *of electrons* [22: p. 159].

Most research disciplines in theoretical physics originated from the presumed similarity between ontologically different entities. ***Quantum mechanics*** and ***quantum*** *electrodynamics* began in 1900 with the suggestion by M. Planck that electromagnetic radiation comes only in discrete ***packets***, or quanta, which we now call photons (RADIATION IS PACKETS) [10: p. 18, 29]. Bohr-Rutherford's more elaborate model of an atom, with an atom no longer being regarded as ***elementary*** (or indestructible), is called the "planetary model" of an atom. It posits the similarity of an atom with the Solar System. Finally, muons, leptons, hadrons and other particles in the subatomic realm are held together by forces likened to elastic bands, hence the name – the superstring theory:

(12) …*the gluon force resembles* ***a string of elastic*** [10: p. 33], ***pieces of elastic*** *joining the quarks* [10: p. 68].

The history of physics is the history of successive stages of unification [10: p. 8], search for a consistent explication of the world based on unified principles, as well as for links and analogies between ontologically different entities. It is evident that the objectivation of nonmaterial entities is a metaphorical process yielding what in the Lakoff-Johnson terminology is called an ontological metaphor, e.g.:

(13) *The complication arises in that unlike electromagnetism, which is a* ***two-body*** *force, the strong force is responsible for binding three quarks together in baryons* [10: p. 28].

The electromagnetic force is likened to a two-body entity (the concept of wave-particle duality). Evidence from history of science about how a researcher managed to ***link*** something nonmaterial or found a ***connection*** between such entities may serve as examples of ontological metaphorization. Maxwell unified mathematically the laws of electricity and magnetism (in the 1850's), and in addition established the ***link*** between the electromagnetic field theory and optics by showing that light consists of electromagnetic waves**,** thus, theoretically unifying, the seemingly incompatible: corpuscular and wave properties. Einstein found a connection between space and time, and energy and mass, and then went on to link spacetime to gravitation. These are the examples of how forces and invisible phenomena are conceptualized metaphorically as if they were tangible things.

Einstein's famous formula $\Sigma=mc^2$ provides an additional example of ontological metaphorical conceptualization of non-tangible entities. It implies mathematically that (under certain circumstances) matter may be replaced by some other form of energy. Conversely, energy might be used to create matter. Before proven mathematically, the idea of equating matter with energy had been a pure metaphor, bordering on a fantasy. The entities brought together by the metaphorical thought are too distant to have sounded true at that time.

These examples are supposed to show the prolific contribution of metaphorical thought to discovery in physics – a scientific discipline which is highly concerned about the verification of its results. In addition they are supposed to bring us to the idea that scientific practice can be viewed in two dimensions: it is aimed at gaining new knowledge (an epistemic aspect) and then disseminating it among the members of a scientific community (a communicative, or discourse, aspect). Taken together, these two aspects turn science into an institutionalized activity. We assume that with science or scientifically-institutionalizing concepts of a scientific paradigm on the one hand and scientific discourse on the other may support our attempt at sorting out metaphors within the generic-level category of the metaphor in science.

Paradigm. In the epistemic aspect, a scientific community is guided by some set of received beliefs that form the foundation of the "educational initiation that prepares and licenses the student for professional practice" [23: p. 5], or, in other words, by "scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of [the] practitioner" [23: p. x] – shortly, by a scientific paradigm. So it stands to reason to speak about paradigm models – sets of scientific assumptions and propositions that define vectors of scientific inquiry. T. Kuhn introduced the term of paradigm as an umbrella term of scientific practice in general with rather discernible epistemic "ingredients" such as: 1) basic assumptions underlying the quest for knowledge, 2) a theory and its objects, 3) instruments and methods, and 4) practical application of the results. We may make use of these paradigm ingredients as tools for distinguishing between specific conceptual items within the heterogenic fuzzy set of "metaphor in science".

The term "paradigm" is closely associated with metaphor, analogy, and model. "Most historians of science admit today the fact that any scientific study is always based on a certain, to some extent metaphorically oriented, paradigm" [44: p. 184]. There is often no discernible difference between a conceptual metaphor and a paradigm, or between metaphor and analogy, or metaphor and model. Literary sources not infrequently resort to the same facts to illustrate either metaphors, or analogy, or models, or paradigms. A linguistic metaphor *the sun rises and sets* may be referred

to as a realization of a *conceptual metaphor* as well as a reflection of the Ptolemaic geocentric planetary *model*. In other terminology it is a reflex of a pre-scientific "paradigm". This stance makes all these things highly confusable. What is clear is that all of them are manifestations of ways in which information can be expressed (linguistic approach) and, as some would argue, is processed in our mind (cognitive approach). We shall offer our interpretation of the interrelations between these concepts so that we could rely on them when we come to the analysis of metaphors sampled from scientific texts.

The Greek word **analogy** (αναλογια) means "proportion", e.g. 2 is to 4 as 4 is to 8. Analogy is understood as pointing to a resemblance between objects or their relations in two different domains, i.e. A is related to B as C is related to D. Analogies can be algebraic and thus totally rational, or they may be hypothetical and then metaphorical. Hypothetical analogies, according to D. Gentner and her colleagues, may be true or initially wrong [16]. In N.R. Cambell's example (1920), cited by D.M. Bailer-Jones [3: p. 111], ideationally, the kinetic theory of gases (the target object) is a hypothesis formulated in terms of a set of propositions. The source object would then be "the motion of a large number of infinitely small and highly elastic bodies contained in a cubical box". In modern terms the small elastic bodies in the box would be considered as a model, although Campbell does not use this term. M. Hesse also proposed that scientific models should be viewed as analogues [19]. She distinguishes between "formal" and "material" analogies. Formal analogies point to relations between certain individuals of two different domains that are identical, or at least comparable. In "material" analogies individuals from two different domains share attributes of their objects [20]. An example of a formal analogy is from P. Seriot. He writes that the ideas of convergent as opposed to divergent development of languages as well as the concepts of *Sprachmischung*, *Sprachbund* and hybridization (used by Trubetskoi) owe their origins to the discussions in biology triggered at that time by Darwin's evolutionary theory. "Without drawing an analogy between objects unlike Schleicher for whom languages are living beings, Jakobson draws an analogy between research methods: the evolution of languages can be studied in the same way as living species are studied" [39: p. 328].

Model. M. Hesse is said to be one of the first researchers to study models in science (1953), about scientific models and scientific metaphors – R. Harré (1960) and M. Hesse (1966) [2: p. 126], while the pioneering idea of drawing analogy between a literary metaphor and a scientific model in 1962 is believed to belong to M. Black (see, for instance, [8: p. 49]). There is some difference between a metaphor and an analogy. According to J. Martin and R. Harré: "A metaphor … is a figure of speech; a model is a non-linguistic analogue. An object or state of affairs is said to be a model when it is viewed in connection with another object or state of affairs. The relationship of metaphor and model is this: if we use the image of a fluid to explicate the supposed action of the electrical energy we say that the fluid is functioning as a model for our conception of the nature of electricity. If, however, we then go on to speak of 'the rate of flow' or 'an electrical current', we are using metaphorical language based on the fluid model…. The model 'spins off', as it were, a number of metaphorical terms (*flow*, *quantity of electricity*, *condenser*, *resistance*, and so on), which we apply in formulating electrical theory". It is clear though that they should be understood "without the intention of a point-by-point comparison" [30: p. 100]. This explanation would be persuasive if metaphor is taken to be a linguistic phenomenon, but it is not, since it does not explicate whether a model should be taken for an altogether mental construct. If model is mental or both mental and material, then within the cognitive scientific attitude, which assigns metaphor primarily to the mind, a conceptual metaphor should coincide with a model.

D.M. Bailer-Jones's attitude, albeit implicit, is closer to that of the conceptual theory of metaphor. She holds that 1) a model may be both mental and material; 2) a model may take a textual form along with many other material forms; 3) a model is closely connected with an analogy. She posits: "The majority of scientific models are … a far cry from consisting of anything material like the rods and balls of molecular models used for teaching; they are highly theoretical" [2: p. 2; 3: p. 109]. A model is an interpretative description of a phenomenon" (objects plus processes) that facilitates access (perceptual as well as intellectual) to that phenomenon [3: p. 108–109]. "Models tend to be partial descriptions only". They are based on analogies but are not analogies: "An analogy is a relationship between things or processes while a model is a type of description about some thing or process" or a material representation (e.g. rods and little balls to represent a molecule) [3: p. 113]. Models come in a variety of forms – sketches, diagrams, ordinary texts, graphs and mathematical equations, to name just a few. "…One form is that of ordinary language sentences written on a piece of paper" [2: p. 2]. Finally, "scientific models are metaphors" [3: p. 114, 118].

At this point we may summarize **the relationship between metaphor, model, analogy and paradigm**.

1) Analogy is a cognitive instrument for processing information in our mind as much as a conceptual metaphor and rational thought. Both metaphorical and rational thought root in analogy. Analogy differs from metaphor in that analogy may also be rational (cf. [5: p. 73]). Metaphor is a mental and neural projection culturally and historically entrenched in mind and as such reproducible on a regular basis.

2) In our opinion, although conceptual metaphor is not a scientific model, they coincide in some respect. A model and a metaphor exist both conceptually and materially, as well as linguistically; if a model is interpreted it has been in mind beforehand. As for their interrelatedness, model and scientific metaphor (but not a metaphor in science!) coincide partially. Since a verbal interpretation of a metaphorical analogy – a text or a discourse – may serve as a model as one of its external representational tools, the whole set of metaphors (part of the total linguistic tools in the text) in a cognitive-linguistic view will yield the coinciding (overlapping) part. The coincidental domain will be a metaphorical, mental (conceptual) space represented by the master (or core, root) metaphor and its entailments with their linguistic representations. From this standpoint, a theoretical scientific model as a mental-linguistic interpretation will be a master metaphor with its entailments. Unlike an analogy, which is a cognitive mechanism, a model is an explication.

3) As soon as an analogy is put in some material form – graphs, algebraic equations, texts, etc. – it becomes a model. Models, if verified and proven to be true, become proper scientific theories, or laws. Some models may have a long way to go before their metaphorical assumptions give epistemic access to scientific knowledge, while others may become extinct as irrelevant to discovery. The material form of analogies (language, for instance) would retain traces (rudiments) of previous metaphorical and now extinct models, or "theories" (e.g. the Greek word *atom* means "indivisible", which sounds incompatible with modern theories).

In the late 20th century a computer metaphor, which likened the human mind operation to that of the computer, was believed to have exhausted its heuristic potential [18: p. 66-67], or even to have been inacceptable [15: p. 113]. The relevance of the computer metaphor, however, has stood the test of time to turn a PC into an integral part of everyday life. Currently, one may again hear objections to the computer metaphor, this time from biologists who promote a new paradigm (cf. [31: p. 149]), and hence, ready to provide, probably, a new metaphor to underlie it and new model problems for a community of practitioners to solve.

4) A material analogy can result in a theoretical metaphor that would refer to scientific objects, while a formal analogy – in a metaphorical conceptualization of a research method (P. Seriot's example [39]).

5) A paradigm is related to a model. It is metaphorical plus rational thinking and analogy, as a whole to its parts, with a model being a counterpart to the theory and its "phenomena" and "assumptions" or paradigm ingredients, as we are going to illustrate with the examples below. It should be borne in mind, however, that the leading mechanism of scientific research is rational thinking whereas metaphorical thinking acts only where it is able to "extend the 'hand' of the intellect" [34: p. 72].

Below are examples of how metaphorical conceptualization may affect a whole theory (numbers 14–19), and, most frequently, its phenomena –objects (15–17) as well as self-activated and forced processes (numbers 15, 18, 19)**:**

(14) ***Superstring theory*** [10: p. 67-69];

(15) ***…****the physical world is* ***made out of*** *nothing but little* ***strings*** [10: p. vii];

(16) *the gluon force resembles* ***a string of elastic*** [10: p. 33];

(17) ***pieces of elastic*** *joining the quarks* [10: p. 68];

(18) ***…****make a solitary quark* ***stick out*** *like a sore particle* [10: p. 25];

(19) *…attempts* ***to smash*** *hadrons by collision* ***into*** *their constituent quarks* [10: p. 33].

These metaphors can be called theoretical. In the light of what was said above about analogies and models, an analogy between forces that act between subatomic particles (target domain) and elastic bands, or strings (source domain) when interpreted and described verbally, turns into a model. The metaphor of physical force as strings is an arch-metaphor (or *core, root, master* metaphor). It is also a paradigm metaphor since it provides a model problem and gives directions for research. The rest of them (numbers 15–19) are its entailments. The arch-metaphor of superstrings together with its entailments forms a conceptual carcass of the model and is related to the ontological paradigm ingredient – "theory and its phenomena" overlapping partially in the above said meaning the mental space of the model. We may assume that a hadron collider as a theoretical and material model will correlate with the instrumental paradigm ingredient – "methods and instruments".

As for metaphors that correlate with the assumption paradigm ingredient, they indicate to what extent the concepts and terms from interdisciplinary areas and theories are involved. This link is mostly rational, which is why researchers when applying a metaphor are likely to justify its presence by referring to its theoretical source as in the examples below (numbers 20–24). (An explicitly expressed admission of assumption is underlined).

(20) In Einstein's theory there is no gravitational force as such (though *we shall continue to refer loosely to the "****force of gravity****"*) [10: p. 16].

Metaphors of the Newtonian mechanics are applied to refer to the potential difference (numbers 21, 22), or weak force (number 23):

(21) *A* ***push behind*** *a current* [22: p. 160];

(22) *We may think of the potential difference between two points as the amount of '****push****' available to* ***move*** *a charge* ***between*** *the points* [22: p. 161];

(23) ***pushing power*** of neutrinos [10: p. 28].

Weak force is conceptualized in terms of electricity:

(24) *It is possible to understand the weak force in terms of a weak '****charge****' and a weak '****current****' in*

many ways analogous to the concepts of electric charge and current [10: p. 53].

It is clear that these metaphors are secondary by the number of conceptions or theories that utilized them.

So we may see that theoretical metaphors of two groups – "theory and its phenomena" and "assumptions" – originate from scientific paradigms and correlate with metaphorical models. They can be termed proper scientific metaphors since they unambiguously expose their engendering paradigm. Relic metaphors, which modern science has bequeathed from now extinct theories and continues to use presently in a different sense from the original (*atom*), may also belong to this category.

Communicative (discourse) aspect. The advent of a novel paradigm gives a boost to scientific discourse practice – a set of communicative acts aimed at exchanging scientific achievements. Inner "dialogues" and intertextuality are properties of scientific discourse. A researcher "has to engage in dialogues with other conceptions, theories and ideas" [11: p. 41]. The writer addresses his inner dialogue on the one hand to a target text receiver, and on the other, to researchers whose views he is going to support, criticize or even dismiss. Intertextuality (for more detail see [8: p. 48-62]) is a system of cross-textual links (references, quotations) that maintain the interrelatedness of all discourse events and the continuity of scientific knowledge; intertextuality turns a collection of thematically-related texts into a common discourse practice that forms an epistemic scientific mental space for those who share in a specific intellectual pursuit. In this approach, the author of this article no longer views a text as an isolated piece of writing but rather, an integral part of the whole cognitive entity, i.e. a component of discourse practice within a settled scientific paradigm. An assemblage of conceptual metaphors in scientific discourse forms a metaphorical mental space that coincides with a model as a verbal description of an analogy.

Epistemic and communicative goals shared by a scientific community make scientific discourse practice require standard verbal tools – a subsystem (register) of language that serves specific communicative purposes – language for specific (or special) purposes (LSP). This register was identified and described within the functional stylistics approach by M.N. Kozhina, N.M. Razinkina, V.L. Naer to mention only a few; and in contrastive and applied aspect by N.K. Ryabtseva [15; 16]. Ryabtseva's combinatory dictionary of scientific usage offers standard ways of presenting knowledge as practiced in English and Russian scientific communities [14]. Among standard lexical units are idiomatic expressions based on metaphors, such as: *I now turn to* ***illustrate*** *P,* ***leaving aside*** *P, to* ***cast light on*** *the ways in which P, the theory* ***hinges on*** *P, etc.*

We think it possible to speak about the metaphoric discursive practice within scientific discourse for the following reason. A scientific community at a given period of time follows some guidelines as to "what a good paper should look like" [37: p. 282], therefore the choice of language tools obeys norms. Obeying should extend to metaphors – the reflections of the part of the metaphorical conceptual space, which has no direct correlation with the paradigm components discussed above. We shall call them communicative-discourse metaphors in contrast to paradigm metaphors.

The language of science has three discernible strata of lexis: (i) terms specific to a narrow field of research; (ii) cross-scientific vocabulary used to service any scientific field, and (iii) general language including metatextual expressions. Terms are connected with an ontological part of a theory (its objects). Cross-scientific expressions refer to general properties of objects irrespective of their specifics: the process of scientific enquiry, data analysis, cause-effect, obtaining results, influence, change, development, etc. Meta-textual expressions characterize the structural organization of the text, transitions, interlinks between the sections (e.g. *first, second, before we go into this problem*), ways to command reader's attention, etc. [37: p. 283 and ff]).

Common sense tells us that each of these groups must contain, along with literal expressions, some metaphorical expressions as well. Cross-scientific metaphors in our sampling were used to get knowledge across in the best fit but standard way. They are THEORY IS A BUILDING (25, 26), A BASEMENT (31), RESEARCH IS PATH (27, 28, 29), THEORIES ARE MATERIAL THINGS (30):

(25) *quarks and leptons represent* **the bottom level of structure** [24: p. 26];

(26) *The* **arrows** *of explanation always* **point downwards to** … [24: p. 4];

(27) *[Quantum physics] ... has a proven* **track record**… [24: p. 18];

(28) *... the problem had to* **be sidestepped** *by assuming that…*[24: p. 64];

(29) *… to offer promising* **avenues** *of investigation* [24: p. 67];

(30) *The theory is* **recast** [24: p. 62];

(31) *Those models* **based upon** *a mathematical conception…* [24: p. 14].

Metaphorical terms and expressions used to refer to links between metaphorically conceptualized objects correlate with the *paradigm "segment*" of the metaphorical conceptual space. Cross-scientific and metatextual expressions correlate with the remaining *communicative-and-discourse* segment of the metaphorical mental space. General language metaphors belong here too. Occurring in scientific discourse, they are unwelcome encounters whose appearance is pragmatically-motivated by an addresser.

Instead of a neutral "*to* ***deprive*** *a theory of its predictive power*" we may encounter a verb with a strong image: (32) ***robbing*** *the theory* ***of*** *predictive*

power [24: p. 66]. There is another example. Particles in the subatomic realm – muons, leptons, and others are called (33) *a **zoo** of objects, particle **species*** [24: p. 21]. It is this group of metaphorical embellishments that are said to "insinuate wrong ideas", "mislead the judgment", be "perfect cheats" and "a powerful instrument of error and deceit" (Locke). A profuse use of these metaphors is unwelcome. Since they do occur in the language of science they can be classified generically as metaphors in science or in scientific language but in no way as scientific metaphors. These metaphors are the butt of harsh criticism in fact. From the conceptual metaphor point of view, linguistic metaphors ***deprive** the theory of something* and ***rob** the theory…* are the instantiations of the same ontological conceptual metaphor THEORY IS A MATERIAL THING. A conceptual metaphor is unavoidable in science – both in producing and disseminating knowledge during epistemic and discourse activities – especially at the budding stage of a paradigm; linguistic forms, in which a conceptual metaphor projects onto the text, though, should obey the scientific register rules. These ones should be met with strict requirements, primarily, by discourse metaphors and then by metaphors that refer to links and relations between scientific objects.

It is an acknowledged fact that scientific language varies from one scientific discipline to another, since it depends on the subject matter it describes (natural science phenomena or linguistic). This observation is also true about a metaphorical component. We may infer that the ratio of a paradigm-related component to a discourse-related component in the metaphorical mental space of natural sciences will differ from that of the metaphorical mental space of linguistics, with a discourse-related component dominating in linguistics.

Taken together, paradigm metaphors and communicative-discourse metaphors form a cognitive-and-linguistic, generic-level category of metaphor in science. Within this category, paradigm metaphors employed for conceptualizing mostly scientific *objects* are proper scientific metaphors in a strict sense. They are metaphorical "carcasses" of scientific models, or, in Harre and Martin's language, a "spinoff" of a model. Only these metaphors can provide an epistemic access to scientific phenomena. Meta-scientific metaphors are discourse-related. They may be called scientific metaphors (in a broad sense) but not theoretical because they are cross-scientific. Meta-textual metaphors as well as general language metaphors are discourse-related but in no sense scientific. General language metaphors are occasional encounters, or at best should be. A group of metaphors used to conceptualize the *relationship* between metaphorically conceived objects are a fuzzy set of elements; these elements may take up an intermediate position between two relatively fixed categories of paradigm–and discourse-metaphors. It is this group of metaphors that are said to "insinuate wrong ideas", "mislead the judgment", be "perfect cheats", and "a powerful instrument of error and deceit" (Locke). Metaphorical relics presently invalid or irrelevant to discover conceptions that every now and then appear in the language of modern science may be referred to as paradigm-metaphors. Paradigm and discourse aspects of science may serve as a divide between proper scientific metaphors, as well as meta-scientific and non-scientific metaphors.

In conclusion, we think it is necessary to say why we took popular science and educational text-book materials for physicists instead of pure theoretical. Sampling metaphors from theoretical writings would have required voluminous materials and an analysis beyond the scope of this article. Educational and popular science writings, though relatively small in volume, provided us with plenty of the metaphors critical for physical science and indicative of paradigm shifts.

REFERENCES

1. *Arutyunova, N.D.* Metaphora i discurs. Vstupitelnaya statja [Metaphor and discourse. Introduction] // Teoria Metaphory [Theory of metaphor]. – Moscow: Progress, 1990. – P. 5–34.

2. *Bailer-Jones, D.M.* Models in Philosophy of Science/ *D.M. Bailer-Jones.* – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009. – 235 p.

3. *Bailer-Jones, D.M.* Models, Metaphors, and Analogies // The Blackwell Guide to the Philosophy of Science / P.K. Machamer, M. Silberstein (eds). – Blackwell publishers, 2002. – P. 108–127.

4. *Baranov, G.S.* Nauchnaya metaphora: modelno-semioticheski podhod. Sovremennie lingvofilosofskie kontseptsii metaphory [Scientific metaphor: semiotic and model approach. Modern conceptions of metaphor in the philosophy of language] – Kemerovo: Kemerovo State University Publishers, 1992. – Part 1. – 112 p.

5. *Baranov, G.S.* Nauchnaya metaphora: modelno-semioticheski podhod. Sovremennie lingvofilosofskie kontseptsii metaphory [Scientific metaphor: semiotic and model approach. Modern conceptions of metaphor in the philosophy of language] – Kemerovo: Kemerovo State University Publishers, 1992. – Part 2. – 200 p.

6. *Baranov, A.N.* Metaforicheskie modeli kak diskursivnye praktiki [Metaphorical models as discourse practices] // Izvestia A.N. Seria literatury i jazyka [Newsletters of the Academy of science: Literature and Language series, 2004. – V. 63. № 1. – P. 33–43.

7. *Budaev, Ae.V., Chudinov, A.P.* Metafora v politicheskoi kommunikatsii: monografia [Metaphor in politivcalcommunication; monograpg]. – Moscow: Flinta: Nauka, 2008. – 248 p.

8. *Chernyavskaya, B.E.* Interpretatsia nauchnogo teksta [The interpretation of scientific texts] – Moscow: DomKniga, 2006. – 128 p.

9. *Davies, P.* Supersila: Poiski edinoi teorii prirody [Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature] / Russian translation by Ju.A. Danilov, Ju.G. Rudoi – Moscow: Mir, 1989. – 272 p.

10. *Davies, P.C.W.* Introduction // Superstrings: A theory of everything? / P.C.W. Davies / Edited by P.C.W. Davies and J. Brown. – Melbourne: Cambridge University Press, 1988. – P. 1–70.

11. *Fauconnier, G.* Mappings in Thought and Language / *G. Fauconnier.* – Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1997. – 219 p.

12. *Fauconnier, G.* Mental Spaces: Aspects of Meaning: Construction in Natural Language / G. Fauconnier. – Cambridge, NY: Cambridge University Press / 2nd edition, 1994. – 240 p.

13. *Fauconnier, G.* Rethinking Metaphor / G. Fauconnier, M. Turner // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought / Raymond W. Gibbs, Jr. (ed). – NY: Cambridge University Press, 2008. – P. 53–66.

14. *Fauconnier, G., Turner, M.* The way we think: conceptual blending and the mind's hidden complexities. – NY: Basic Books, 2003. – 464 p.

15. *Frumkina, R.M.* Jest' li u sovremennoi lingvistiki svoja epistemologia? [Das modern Linguistics have its own epistemology?] // Jazyk I nauka kontsa 20 veka [Language and science at the end of the 20th century]. – Moscow: Rossijski gosudarstvenny gumanitarny universitet, 1995. – P. 74–117.

16. *Gentner, D., Jeziorski, M.* The shift from metaphor to analogy in Western science // Metaphor and thought / A. Ortony (ed), 2nd edition. Cambridge, England: Cambridge University Press, (1979) 1993. – P. 447–480.

17. *Gogonenkova, E. O meste metaphory v nauchnom diskurse: post-neklassicheski podkhod* [On metaphor's place in scientific discourse: post-nonclassical approach] // Vysshee obrazovanie v Rossii, 2005. – № 1. – P. 141–147.

18. *Gusev, S.S.* Nauka i metaphora [Science and metaphor] – Leningrad: Leningrad State University Publishers, 1984. – 152 c.

19. *Hesse, M.B.* Models and Analogies in Science / *M.B.Hesse.* – Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966. – 184 p.

20. *Hesse, M.B.* Models and Analogy in Science / *M.B. Hesse* // The Encyclopedia of Philosophy / Edited by P. Edwards. – NY: Macmillan, 1967. – P. 354-359.

21. *Kövecses, Z.* Metaphor: a practical introduction / exercises written with Réka Benczes et al./ *Z. Kövecses* / 2nd ed. – NY: Oxford University Press, 2010. – 375 p.

22. *Krauskopf, K.B., Beiser*, A. The physical Universe / *K.B. Krauskopf, A. Beiser*. – NY: McGraw Hill, 1986. – 760 p.

23. *Kuhn, T.S.* The Structure of Scientific Revolutions / *T.S Kuhn*. – Chicago, London: The University of Chicago Press, 3d ed., 1996. – 212 p.

24. *Lakoff, J.* The Neural Theory of Metaphor / *J. Lakoff* // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought / Ed. by Raymond W. Gibbs, Jr. – NY: Cambridge University Press, 2008. – P. 17–38.

25. *Lakoff, G.* Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. / *G. Lakoff*. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987. – 614 p.

26. *Lakoff, G.* Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – NY: Basic Books, 1999. – 624 p.

27. *Lakoff, G,* Metaphors We Live by / J. Lakoff, M. Johnson, 2nd edition. – Chicago: University of Chicago Press, 2003. – 276 p.

28. *Lakoff, G. R.E.* Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being / G. Lakoff, R.E. Núñez. – NY: Basic Books, 2001. – 492 p.

29. *Lebedko, M.G.* Vrem'a kak kognitivnaja dominanta kultury. Sopostavlenije amerikanskoi i russkoi kontseptosfer: monografia [Time as a cognitive dominant of culture. American and Russian mental spaces in contrast: monograph]. – Vladivostok: Far Eastern State University Publishers, 2002. – 240 p.

30. *Martin, J., Harré, R.* Metaphor in Science / J. Martin, R. Harré // Metaphor: Problems and Perspectives/ Edited by D.S. Miall. – Brighton, Sussex: Harvester Press, 1982. – P. 89–105.

31. *Maturana, H.R., Varela, F.J.* Drevo poznanija: Biologicheskie korni chelovecheskogo ponimanija [The tree of human understanding] / Russian translation by Ju.A. Danilov. – Moscow: Progress-Traditsia, 2001. – 224 p.

32. *Mishankina, N.A.* Metaforicheskie modeli lingvisticheskogo diskursa [Metaphoric models of linguistic discourse] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Newsletters of Tomsk State University]. – Tomsk: Tomsk State University Publishers, 2009. – № 324. – P. 41–48.

33. *Núñez, R.* Conceptual Metaphor, Human Cognition, and the Nature of Mathematics / *R. Núñez* // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought / Raymond W. Gibbs, Jr. (ed). – NY: Cambridge University Press, 2008. – P. 339–362.

34. *Ortega-y-Gasset, J.* Dve velikie metafory [Las dos grandes metáforas] / Russian translation by N.D. Arutyunova // Teoria metafory [Theory of metaphor]. – Moscow: Progress, 1990. – P. 68–81.

35. *Riabtseva, N.K.* Nauchnaja rech na angkijskom jazyke. Rukovodstvo po nauchnomu izlozheniju. Slovar oborotov I sochetajemosti obschenauchnoi leksiki: Novy slovar'-spravochnik aktivnogo typa [English for scientific purposes. Guide to academic writing. Combinatory dictionary of scientific usage. A new active reference] / *2nd ed* . – Moscow: Flinta: Nauka, 2000. – 600 p.

36. *Riabtseva, N.K.* Teoria i praktika perevoda: kognitivny aspect [Theory and practice of translation: a cognitive approach] // Perevod I kommunikatsia [Translation and communication]. – Moscow: Institut jazykoznania RAN, 1997. – P. 42–63.

37. *Riabtseva, N.K., Plunguan, V.A.* Kompjuternaja sistema "Versia": lingvisticheskaya podderzhka abtorskogo perevoda nauchnykh tekstov ["Version": Computer Assistance in Self-translating scientific papers] // Perevod i kommunikatsia [Translation and communication]. – Moscow: Institut jazykoznania RAN, 1997. – P. 280–295.

38. *Richards, A*. Filosofia ritoriki [The Philosophy of Rhetoric]. Russian translation by R.I. Rosina // Teoria metafory [The Theory of Metaphor]. – Moscow: Progress, 1990. – P. 44–67.

39. *Seriot, P.* Lingvistika i biologia u istokov strukturalisma: biologicheskaya diskussia v Rossii [Linguistics and Biology at the onset of structuralism: the biological discussion in Russia] // Jazyk I nauka kontsa 20 veka [Language and science at the end of the 20th century]. – Moscow: Rossijski gosudarstvenny gumanitarny universitet, 1995. – P. 321–341.

40. *Taylor, J.* Ten Lectures on Applied Cognitive Linguistics / *J. Taylor* – Beijing: Foreign language teaching and research press, 2007. – 292 p.

41. *Telia, V.N.* Metaphorizatsia I ee rol v sozdanii jzykovoi kartiny mira [Metaphorisation and its role in shaping language worldview] // Rol chelovecheskogo factora v jazyke: Jazyk i kartina mira [The role of a human factor in language: The language and the worldview] / B.A. Serebrennikov, E.S. Kubryakova, V.N. Postovalova et al. (eds). – Moscow: Nauka, 1988. – P. 173–204.

42. The Concise Oxford Dictionary of Current English – 7th edition, editor J.B.Sykes. – Bombay: Oxford University Press, 1988. – 1265 p.

43. *Young, R.M.* Darwin's Metaphor and the Philosophy of Science / R.M. Young // Science as Culture, 1993. – № 16. – p. 375–403.

44. *Zill, R.* "Substruktury myshlenia". Granitsy i perspektivy istorii metaphor po Hansu Blumenbergu. [The substructures of mind. Borders and prospects of the history of metaphor according to Hans Blumenberg] / Russian translation from German // Istoria poniatij, istoria diskursa, istoria metafory [Begriffsgeschichte, Diskurs-geschichte, Metaphern-geschichte]. – Moscow: Novoje literaturnoje obozrenie, 2010. – P. 155–188.

A DREAM AS ABYSS, DEATH, AND TEETH: METAPHORICAL COGNITIVE MODELS IN THE INDIVIDUAL STYLE OF EDGAR ALLAN POE

E.Y. Mal'neva

Mal'neva, Ekaterina Yurievna – Post-Graduate Student of English Philology Chair, Senior Instructor, Far Eastern State University of Humanities (Khabarovsk).

E-mail: aspire9@rambler.ru

The conceptual/cognitive metaphor is believed to be the universal cognitive tool enabling the process of human conceptualization of the world. The cognitive metaphor per se tends to shed light upon the innately metaphorical nature of the human mind. A certain scientific principle employed within the confines of Cognitive Linguistics – *Metaphorical Thought* – has proven to be of the utmost significance in various spheres of philological research, especially when applied to the analyses of individual authorial styles. The given principle helps identify the mental constructs typical of the individual style in question, as well as recognize which of the metaphorical mental structures formed upon the basis of the specified concepts may be posited as idiosyncratic, unconventional models of the author's conceptualization of the world.

Key words*: individual style, aesthetic concept, dream, metaphorical cognitive/mental model, conceptual/cognitive metaphor.*

Linguistics, until lately perceived as a somewhat traditional discipline, in the recent decades has undergone considerable changes which led to its identifiably new "face", stance, as it were, which has lost a touch of prior isolationism. This resulted in the new status of the discipline – that of science dealing in the matters of cognition, modes of thinking and mental patterns characteristic of *Homo sapiens*, human methods of interaction with one another and the surrounding world at large; that is, linguistics has become recognizably anthropocentric.[1]

Linguistics has also become *cognitive* by default – and cognitive linguistics, viewed as "a self-conscious intellectual movement" (in the words of the renowned cognitive linguist R. Langacker) [21], opens up new insight around the prospects of analyzing *the belles-lettres*. In its turn, the belles-lettres, fiction serves as a unique window into the human mind; consequently, the knowledge of cognitive processes characteristic of *Homo sapiens* and *Homo loquens* is but a prerequisite for productive reading and interpretation of any given work of fiction.[2]

Text – any text of the belles-lettres – being the creation conceived and born within the artistic aesthetic continuum of an author, his/her artistic world[3] and the product of a distinctive individual mindset, has a priori a particular and distinct *style* – that of its author.

Style as a linguistic category has been dubbed Two-Faced Janus (*das Janusgesicht des Stils*) since it is ambivalent by nature: style inevitably possesses both typical verbal features which are more or less common within the given linguistic community, and certain – at times significant – idiosyncratic parameters [9] which together constitute the paradox of style.

It is precisely those individual features, components of style that determine the functioning of a specific linguistic category labeled *individual (authorial) style.* Individual style presupposes a unique and idiosyncratic – and for the most part subconscious – selection of certain linguistic expressive means. Individual style, or *idiostyle*, always signifies deviation from the norm [25: p. 11].

[1] In fact, modern trends in the humanities have been identified as "New Renaissance", since they reveal characteristically renaissance interest in man and place considerable emphasis on everything *anthropos*-related typical of the Renaissance proper.

[2] W. Dilthey, the forefather of modern hermeneutics, claimed that literature and life is a single unified psychical structure.

[3] The author's artistic world may be viewed as a representation – a mirror of sorts – of the author's *thesaurus* (understood as the hierarchically structured cluster of notions, conceptual priorities typical of the author's aesthetic system, his/her poetic glossary which is associative by nature and presumably fashioned in accordance with the principle "from meaning to the corresponding means of verbalization (that is, lexical units)" embodied in a certain semantic structure which is virtually embodied, materialized in the linguistic, textual form [17]. The textual artistic world is a system of all images and motifs, themes and patterns permeating the given text; thus, the frequency thesaurus of the author's lexicon (or of a certain work of verbal art or a corpus of texts) is precisely what can be considered "the aesthetic world" proper when translated into the philological metalanguage [13: p. 125].

It is perhaps worth noting that many scholars dealing in the matters of style share the belief that the constituent features of idiostyle are not identical to merely linguistic units (see Григорьев, 1983; Фатеева, 2000; Болотнова, 2001; Тарасова, 2004). N. Fateeva, among others, posits that idiostyle is a combination of internal text-generating dominant markers and constants which signal the existence of other, extra linguistic, entities [10: p. 17].

One should bear in mind though that this complex approach is by no means new, nor is it a prerogative of the postmodern era. Artists, poets have long been pondering the fundamental nature of individual artistry and, inescapably, style. Marcel Proust claimed that style (authorial style) is not a matter of some technique but of a person's *vision* [14: p. 79]. William Godwin, a renowned philosopher, hypothesized that "style should be the transparent envelop (sic) of our thoughts" [cit. in 25: p. 202]. Henry Miller, a modernist genius, posited that "a man is revealed in his style, the language which he has created for himself" [ibid: p. 263].[4]

This statement, in turn, cannot but remind us of the almost legendary maxim which belongs to the pen of a famous French naturalist, the giant of natural history of the eighteenth century Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon: *"Le Style c'est l'homme même"*, which means "The Style is the Man Himself". This statement acquires a special significance in view of the *cognitive turn* and anthropocentric "domination" within the confines of the humanities. Ultimately, it is inevitable that the theories which define style as merely a variety of the literary language give way to those which view the former as a sort of *a cognitive program* of text formation [4: p. 28].

All in all, it is quite possible to argue that idiostyle has eventually converted into a somewhat *cognitive category*; this tendency is most clearly revealed in a number of research papers, linguistic articles published of late (see L.O. Butakova, 2001[5]). Idiostyle is defined by Professor V. Pischalnikova, for one, as a system of logical and semantic means of expressing personal dominant conceptual meanings which are manifest in aesthetic verbal discourse [28]. Professor I. Tarasova claims that idiostyle is a system of expressive means which correlates the inner world of an artist, that is, his/her poetic world view, their mental world,[6] with the artistic reality proper, the artistic textual world created by linguistic poetic means [32: p. 50]. Professor N.S. Bolotnova, in her turn, views idiostyle as a system of "conceptually relevant and meaningful principles, aesthetically and communicatively stipulated codes of text formation which ensure and even compel, not only the selection and compatibility (collocation and colligation) of certain linguistic means, but also the choice of particular tropes and figures of speech" [6: p. 64]. Taking all these definitions into account, it is quite feasible to argue that the cognitive approach to analyzing individual styles has been put into practice. The specified cognitive approach to the analysis of individual styles with its primary focus upon the mental components of the linguistic phenomena may be viewed as the development of theoretical premises of A.A. Potebnya, L.V. Scherba, G.O. Vinokur, and V.V. Vinogradov who used to advocate the idea of interrelation of language and mind. "The examination of authorial *style*, the author's poetics, and his/her *mindset* is an unattainable task if one does not consider the nuances of *language* of the latter" [33: p. 6 – italics added]. The juxtaposition of the terms in the reference provided indicates that there exists a distinct correlation between mental and linguistic elements comprising the artistic continuum of a writer.

"The world is essentially what men of genius make of it" [1: p. 267]. The individual authorial style of Edgar Allan Poe, an outstanding American poet, short story writer, philosopher, and a literary critic, is, beyond a shadow of a doubt, a unique and exceptional literary, cultural, and historical (and *historic*) phenomenon, which has been taken on, adopted, if you will, by innumerable later artists[7] in a certain modified per-

[4] R. Barth, paradoxically enough, defines style as a distinctive *organic* phenomenon, presupposing the manifestation of inherent organic qualities of a person [cit. in 11: p. 208].

[5] "Psycholinguistic approach grants the scholar with the necessary methodology, the one that gives an opportunity to shed light upon the inner mechanisms underlying creativity from within, to demonstrate the incentive of the form selection for the representation of concept, and thus define idiostyle as not merely linguoaesthetic and systematic category, but also as both a motivational and action-determined and formal-conceptual one" [7: p. 43].

[6] From a cognitive perspective, *mental world* may be defined as an individual poetic conceptual field or the author's conceptual system [32, op.cit.].

[7] The following are but a few of these legendary names: Ch. Baudelaire, S. Mallarmé, A. Rimbaud, P. Verlaine; Russian novelists F.M. Dostoevsky and V. Nabokov and symbolist poets V. Bryusov, K. Bal'mont, A. Blok; Sir A. Conan- Doyle, J. Verne, H. Wells, R.L. Stevenson, O. Wilde, G.B. Shaw, A.Ch. Swinburne, D.G. Rossetti, W. Whitman, H. Melville, M. Twain, J. London, W. Faulkner, F. Kafka, J.L. Borges, J. Cortázar, Th. Mann, R. Bradbury; famous composers S. Rachmaninoff, C. Debussy, M. Ravel; contemporary rock-legends B. Dylan, The Beatles, The Alan Parson Project; artists G. Doré, E. Monet, E. Munch; film directors – visionaries themselves – A. Hitchcock, F. Fellini, D. Lynch, etc. This gives grounds to identify E. Poe's legacy as an unequivocal intertext, being more precise, the source of intertextual links permeating the linguistic, cultural, and social continuum of today.

sonalized form, thus having influenced a great assortment of artistic trends and literary schools.[8]

The unrivaled reputation of Poe and his true eminence is warranted by his exceptional accomplishments in the sphere of the belles-lettres, the formal and conceptual harmony and the stylistic perfection of his work, let alone originality and truly innovative nature of his pieces. It is a universally recognized fact that Poe fashioned new literary forms which simply did not exist prior to his revolutionary exertions as a literary critic: the genres of a short story, detective fiction, and that of science fiction. He is also credited with creating brand new *intellectual world* (having laid the groundwork for Criminology, Cryptography and having made the dazzling prediction of The Big Bang Theory almost half a century before Albert Einstein).[9]

The most prominent dominant marker characterizing the individual style of Poe is a certain cognitive artefact – the aesthetic DREAM concept.[10] The aesthetic DREAM concept is believed to be one of the primary mental *guidelines*, if you will, shaping Poe's poetics and defining the cognitive infrastructure of his individual authorial conceptual system.

A concept per se is an ideal mental phenomenon, "a quantum of knowledge", a mentifact, cognitive and cultural artefact, a distinct intellectual construct which defines the Cognitive Universum of *Homo sapiens*. A concept is a constituent element of consciousness, which serves as a thesaurus, as it were, of knowledge pertaining to a particular segment of reality. An aesthetic concept, in its turn, may be described as a mental constituent of a poetic consciousness of an author; it presents a synthesis, amalgamation of shared, collective and individual aspects of the authorial conceptual system. An aesthetic concept manifests itself lexically in a specific text or in a range of texts of a particular writer [24: p. 5]. An aesthetic concept is a priori associative by nature; it is also attributed such qualities as *artistic inimitability* and infinite and boundless *unfathomlessness*. It certainly defies linear clear-cut and straightforward interpretations.

In essence, one can describe individual authorial styles with regards to precisely what cognitive constructs and mental models are manifest in the author's texts and which of the former may be posited as unique unconventional models of conceptualization of reality.

The tenets of cognitive linguistics assert that all the knowledge of *Homo sapiens*, all the physical and psychological experience of an individual is virtually embodied in certain products of conceptualization, being more accurate, in metaphorical structures – *idealized cognitive models* [20], which, in their turn, are verbalized in the language via metaphorical expressions, both conventional, the so-called trite metaphors and unique, artistic, idiosyncratic ones [ibid: p. 91]. The given cognitive principle labeled "Metaphorical thought" posits that a metaphor, a *cognitive* a.k.a. *conceptual* metaphor – presents not only a rhetorical figure, a trope, a stylistic expressive means, but, first and foremost, a universal cognitive tool which enables human conceptualization of abstract phenomena in terms of concrete material tangible objects, events and experiences. Moreover, metaphor as a figure of speech has penetrated so deeply and profoundly into human language specifically because it reveals, reflects the systematic and regular habitual processes which constitute the basis of the innately metaphorical nature of the human mind.

The specified cognitive principle – *metaphorical thought* – has proven to be of the utmost significance especially and particularly when applied to the analyses of individual authorial styles. It gains a special momentum when the necessity arises to examine complex abstract *kaleidoscopic* concepts which a priori defy any attempt at logical rationale, Poe's aesthetic concept of *dreams* being the ultimate example of such a construct. The conceptual structure of abstract, emotional, and such concepts essentially comprises the following conceptual ingredients: 1) conceptual metaphors; 2) related concepts; and 3) cognitive models [18]. Consequently, the focal point of linguocognitive analysis is, primarily, identifying and scrutinizing conceptual/cognitive metaphors which tend to form distinct identifiable mental models[11] with the concept under study.

[8] The Pre-Raphaelites are known to have compiled a list of the "*immortals*" who have defined the face of Western civilization as we know it: Jesus Christ, William Shakespeare, Homer, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, J.W. von Goethe, Raphael Santi, Christopher Columbus, Joan of Arc, John Milton, Francis Bacon, Isaac Newton, and Edgar Allan Poe [23: p. 207 – emphasis added]. It is really no surprise that V. Bryusov, an accomplished Russian poet, proclaimed that "One should and even ought to learn English if only with a sole objective to be able to read Edgar Poe in the original" [cit. in 26: p. 386].

[9] "Astrophysicists very recently have commended Poe's *Eureka* for predicting black holes, pulsar stars, and an expanding-contracting universe, and for explaining the paradox of the dark sky at night" [8].

[10] Most state-of-the-art philological papers featuring the cognitive aspect of individual authorial styles display the prevalent functioning of the term individual authorial *aesthetic concept.*

[11] A mental model, a.k.a. a conceptual structure (knowledge structure) is certain knowledge preserved in short-term or long-term memory, the structure of which corresponds to the structure of the represented situation (Johnson-Laird, 1993) [cit. in 34: p. 62].

Regular, recurrent metaphorical models within the confines of a particular aesthetic system (which find lexical representation qua metaphorical expressions in the fabric of a literary text) are believed to mirror the framework of the author's conceptual system. Additionally, the systematic use of a specific metaphorical model tends to reveal an idiosyncratic cognitive habit, i.e. a solely unique individual mode of conceptualization of the world, the personal manner, style, pattern of perceiving reality, comprehension and, consequently, verbalization of information; in other words, a distinctive idiostyle understood, basically, as a *mind style* [31: p. 110].

The metaphorical models explicit in the texts of Poe allow us to surmise that his aesthetic DREAM concept is remarkably metaphorical; many a work by the author are devoted to contemplating the inner logic of a DREAM as a cognitive phenomenon. Poe's aesthetic DREAM concept structures a number of unorthodox cognitive schemata.[12] They may be presented as following metaphorical models: *A Dream is a Fabric; A Dream is a Web; A Dream is a Veil; A Dream is a Painting; A Dream is a Region/Territory; A Dream is a Living Being; A Dream is an Evil Spirit, a Monster; A Dream is an Abyss; A Dream is a Maze; Dreams are Teeth; A Dream is a Woman (Anima); A Dream is Death; A Dream is an Ocean.*

The corpus of Poe's texts demonstrates a definite, unambiguous authorial selection of linguistic items which reveal the conceptual meaning of DREAM. Prior to linguocognitive analysis of the metaphorical models involving the specified aesthetic concept proper, it is essential to assert that in Poe's short stories, poems, and essays a DREAM as a generic notion (which presupposes a great variety of linguistic manifestations) may be verbalized by the following lexical means:

a) Firstly, via the name of the concept proper – that is, DREAM – and the corresponding derivatives and compound words: nouns *Dreamer, Dreaming, Dreaminess, Dream-land, Day-dreamer, Dreaming-book;* adjectives *dreamy, dream-like;* verbs *to dream, to dream away, to dream of, to dream about, to dream a dream, to daydream;* adverb *dreamily.*

b) Other lexical means of representation of the aesthetic concept DREAM comprise:

Verbs: *to fancy, to imagine, to image, to conjure up, to conceive, to apprehend, to slumber, to sleep, to swoon, to muse, to meditate, to speculate, to contemplate, to mesmerize, to contrive, to entrance, to fathom, to delude, to sleepwalk, to sleepwake, to rave, to feign.*

Adjectives / Participles I: *fancy, fanciful, fantastic, phantom, phantasmagoric(al), imaginary, imaginative, imaginable, slumbering, sleepy, sleep-producing, shadowy, spectral, chimerical, illusive, deluding, delirious, lethargic, imaginative, ideal, romantic, visionary, capricious, sublime, grotesque, arabesque, bizarre, fairy, mystical, ethereal, somnolent, cataleptic, mesmeric, mesmerizing, (in/un)conceivable, meditative, contemplative, monomaniac, rhapsodical.*

Adverbs: *fancifully, fantastically/phantastically, (un)imaginably, conceivably, ideally, romantically, deliriously, sleepily, contemplatively, grotesquely.*

Participles II: *fancied, imagined, entranced, (pre)conceived, contrived, (un)conceived, feigned, conjured.*

Nouns: *Reverie, Phantasy (Fantasy), Fantasia, Fancy, Phantasm, Phantom, Phantasmagoria, Imagination, Imagining, Imaginativeness, Image, Idea, Ideality, Conception, Notion, Conjecture, Conjurer, Crotchet, Contrivance, Speculation, Meditation, Musing, Contemplation, Fiction, Impression, Apprehension, Psychal impression, Mind's eye (Eye of the Mind), Illusion, Vision, Visionary, Mental vision, Spiritual vision, Eidolon, Thule, Eldorado (El Dorado), Vagary, Whim, Caprice, Freak, Hallucination, Trance (Tränce), Delusion, Fiction, Figment, Shadow (Shade), Spectrum (Specter), Apparition, Ghost, Chimæra, Incubus, Slumber, Half-slumber, Conscious slumber, Slumberer, Day-dream, Opium dream, After-dream, Waking dream, A Dream within a Dream, Nightmare, Lunacy, Raving, Stupor, Delirium, Lethargy, Sleep, Sleeper, Sleep-walking, Sleep-walker, Mesmerism, Mesmerist, Mesmeric trance, Mesmeric state, Mesmeric process, Mesmeric sleep, Mesmeric condition, Mesmeric perception, Mesmeric exaltation, Mesmeric phenomenon, Sleep-waking, Sleep-waker, Somnolency (Somnolence), Morphine, Opium, Catalepsy, Cataleptic trance, Swoon, Half-swoon, Syncope, Semi-syncope, Monomania, Bizarrerie, Grotesqueness, Nepenthe, Romance, Romancer, Romanticist, Outré.*

Let us examine some of the explicated authorial metaphorical models. The following excerpts contain lexical semantic variants of the noun DREAM, synonyms of DREAM, and verbs relating to particular semantic fields, which shed light upon the nature of Poe's conceptualization of DREAM (that is, they help realize in what specific terms this process is carried out, what characteristic objects and phenomena serve as a *source domain*):

Dream is a Fabric

- "One night….finding every one wrapped in *sleep…*" ["William Wilson" by E.A. Poe, 2006, p. 226]. "…wrapped in a cloud of morbid *speculation*" [ibid, p. 227].[13]

[12] Schema, term in psychology for a mental model by which specific experiences are structured [27: p. 184].

[13] Here and henceforth italics and emphasis are of my doing.

- "And now it was, fairest and dearest, that we wrapped our spirits, daily, in *dreams*" ["The Colloquy of Monos and Una" by E.A. Poe, 1966, p. 597].
- "…yet left him half enveloped in *dreams*" [ibid, p. 600].
- "The whole fabric of our *fancy*" ["Eureka" by E.A. Poe, 1984, p. 1274].

Dream is a Web

- "Arousing from the most profound of *slumbers*, we break the gossamer web of some *dream*. Yet in a second afterward (so frail may that web have been) we remember not that we have *dreamed*" ["The Pit and the Pendulum" by E.A. Poe, 2006, p. 90].
- "…we gave the Future to the winds, and *slumbered* tranquilly in the Present, weaving the dull world around us into *dreams*" ["The Mystery of Marie Roget" by E.A. Poe, 1966, p. 28].
- "As the evening wore away he became more and more absorbed in *reverie*, from which no sallies of mine could arouse him" ["The Gold-Bug" by E.A. Poe, 2006, p. 2].
- "Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking *fancy unto fancy*…" ["The Raven" by E.A. Poe, 2006, p. 294].

One cannot but notice that a DREAM within the confines of the individual style of Poe is identified as a *web* of sorts ("weaving the world into dreams; linking fancy unto fancy; the gossamer web of some dream"), as well as *fabric* ("wrapped in dreams; enveloped in dreams; the fabric of fancy"). This presumably testifies to a particular cognitive habit of the poet; the abstract concept is seen through the prism of solid material physical objects. However, a DREAM categorization may also be accomplished via other metaphorical mappings, less substantial and more elusive. Let us focus on another model – *Dream is an Abyss*, which is represented by Poe's following metaphorical expressions:

- "I…fell into a profound *slumber* forthwith" ["Some Words with a Mummy" by E.A. Poe, 1984, p. 805]. "I fell into *catalepsy*" [ibid, p. 814].
- "I fell into a species of *lethargy*" ["The Narrative of Arthur Gordon Pym" by E.A. Poe, 1984, p. 1037]. "Presently I relapsed into my *stupor*…" [ibid].
- "…my soul sickened and became giddy with the giddiness of one who gazes downward into some dreary and unfathomable abyss" ["Morella" by E.A. Poe, 2006, p. 171].
- "…made me feel sick and dizzy, as if I was falling from some lofty mountain-top in a *dream*." ["A Descent into the Maelström" by E.A. Poe, 1966, p. 116]. "…the sickening sweep of the descent…the sense of falling …" [ibid, p. 117].
- "…the state of seeming nothingness into which my soul had lapsed…" ["The Pit and the Pendulum" by E.A. Poe, 2006, p. 90]. "…down – down – still down – till a hideous dizziness oppressed me at the mere idea of the interminableness of the descent" [ibid].
- "…*the pit*, typical of hell, and regarded by rumour as the Ultima Thule of all their punishments." ["The Pit and the Pendulum" by E.A. Poe, 2006, p. 93].

The renowned cognitive linguist G. Lakoff and no less eminent philosopher M. Johnson claim that a metaphor – being "the language of imagination" – is indispensable for communicating those fragments of human experience which are unique and central to a person's world view. It is worth articulating, perhaps, that Poe was virtually the first among Western intellectuals who came to realize *"how deep the rabbit hole is"*– in the words of Lewis Carroll. He literally established the doctrines of psychoanalysis, having come to realize what underlies our conscious I, what is this stratum that has been labeled Id by S. Freud – the bottomless well of human psyche which embraces irrational fears, prejudices, complexes, all the things which cannot be controlled by reason, nor can they be utterly apprehended in the first place. It is by no means a hyperbole to maintain that these obvious patterns: the frequency of the author's addressing the subject of "a descent into Maelström", "a fall into unfathomable abyss" in addition to the means of manifestation of this cognitive habit (the selection of specific vocabulary items – verbs (*to fall, to lapse, to tumble, to descend*), adjectives (*dizzy, sick, giddy, unfathomable*), and nouns denoting marginal psychical states (*catalepsy, lethargy, stupor*)) testify not only to the significance of this particular mechanism of *metaphorical mapping* in the writer's individual style but, more importantly, to Poe's considerable contribution into the creation of psychological prose as a distinctive literary genre as well as to his laying, in a manner of speaking, the foundation of modern psychoanalytic school of thought.

The specified model – *Dream is an Abyss* – is actually a type of orientational conceptual metaphor *Unconscious is Down* (which forms a binary opposition with another conventional metaphor *Rational is Up*), and *Emotional is Down* [13: p. 41]. Understanding a DREAM in terms of an extremely emotional, excessively disproportionate, unhealthy, and even pathological condition into which a person literally "falls", taking the fall reminiscent that of a non-figurative fall into an abyss is, presumably, another characteristic idiostylistic feature which may be ascribed to Poe. The famous adage belonging to the pen of Friedrich Nietzsche (who never denied what an immense source of inspiration Poe's philosophical conceptions were for him) goes: "If you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you". Modern French philosopher G. Bachelard in his book *L'air et les Songes* postulates the totality of the abyss, "the ontological falling", and the vertical axis of imagination; he hypothesizes that to

lose consciousness, to swoon and to collapse are the grand synonyms of imagination [3: p. 135]. G. Lakoff, in turn, argues that marginal metaphorical mappings manifested in fiction are prone to influence conventional metaphorical models represented in the language of the community, as well as impose structure on real life per se; thus literally generating new connections, relations between objects and phenomena. He claims that having been created in one generation, the latter serves as the basis for this metaphor in the subsequent one [20: p. 226].

It makes sense to analyze another metaphorical model that may doubtless be recognized as idiosyncratic, not typical of the English-speaking linguistic community at large – *Dreams are Teeth:*

"But from the disordered chamber of my brain, had not, alas! departed, and would not be driven away, the white and ghastly *spectrum* of the teeth…They – they alone were present to the mental eye, and they, in their soul individuality, became the essence of my mental life…I shuddered as I assigned to them in imagination a sensitive and sentient power, and even … a capability of moral expression. Of Mademoiselle Sallé it has been well said, '*Que tous ses pas étaient des sentiments*' (that all her steps were feelings), and of Berenicë I more seriously believed *que tous ses dents étaient des idées (that her teeth were ideas). Des idées!*…and I still sat motionless in that solitary room; and still I sat buried in meditation, and still the *phantasma* of the teeth maintained its terrible ascendancy…" ["Berenicë" by E.A. Poe, 1966, p. 175 – emphasis added].

The process of self-identification and self-cognition is, for the most part, a search for the appropriate individual metaphors which grant meaning to our lives. Teeth, the spectral vision haunting Egæus, the protagonist of Poe's tale *Berenicë* are literally the quintessence of his inner world, his imagination. Having ascribed to them a sentient power and a capability of moral expression, the narrator, basically, equates them with *ideas*, stripping, depriving them of material qualities. This total metamorphosis, this transformation of teeth into ideas (specters, hallucinations, dreams) is being carried out via the following metaphorical mappings: Teeth are Ideas → Ideas are Dreams → Teeth are Dreams → Dreams are Teeth, which signify that what we witness is not merely personification, idealization of material physical objects but also dematerialization of ideal, spiritual entities.

The specified instance of the metaphorical cognizance of *idea* (totally unconventional, no doubt) may be viewed as the extension of the category of the so-called *conduit metaphors*. The latter, in accordance with the tenets of the conceptual metaphor theory, make possible the categorization of ideas (as mental constructs) in terms of material objects, being structured via a complex elaborate metaphor – *Ideas are Objects***.** Poe's conceptualization of an idea (DREAM) as teeth is the extreme example of this principle at work, being the projection of the so-called "Fantasy Thinking" (in the words of Lakoff and Johnson).

The metaphorical models which form the framework of the metaphorical system of Poe's idiostyle are numerous and versatile. Some of them tend to construct those cognitive models which fit the niche of the *archetypical conceptual models*.[14] One of the most significant cognitive structures within this class is the model *Dream is Death:*

- "Death approaches; and the *shadow* which foreruns him has thrown a softening influence over my spirit. I long, in passing through the dim valley, for the sympathy… Have I not indeed been living in a *dream*? And am I not now dying a victim to the horror and the mystery of the wildest of all sublunary *visions*?" ["William Wilson" by E.A. Poe, 2006, p. 222].
- "Ah, Death, the *spectre* which sate at all feasts!…Above all, I burn to know the incidents of your own passage through the dark Valley and Shadow" ["The Colloquy of Monos and Una" by E.A. Poe, 1966, p. 594-595].
- "Words are impotent to convey any just *idea* of the fierceness of resistance with which she wrestled with the Shadow" ["Ligeia" by E.A. Poe, 2006, p. 129].

The linguistic analysis helps identify the specific authorial selection of lexical items meant to represent the given model. Lexemes *shadow* and *spectre* semantically correlate with DREAM since they constitute the list of nouns which nominate the concept in question. *Shadow* has a variety of meanings which are related to death as a phenomenon ("Shadow – slight or faint appearance, as a Shadow of Death; terrible darkness;

[14] It would appear that many literary texts possess a special *existential* layer, which unveils the most primal stratum in the structure of the human psyche beyond the personal unconscious – the collective unconscious. One should bear in mind that inherently constituting the term *archetype* notions "the primal image", "the original pattern", "the innate universal form", have definitely contributed to it being widely applied within the domain of the Humanities, especially in the sphere of poetics. Karl Gustav Jung, who actually coined the term, maintained that an archetype is none other than an expression already in use in antiquity, synonymous with Plato's *idea* [16: p. 44]. Jung was also the one who applied the term qua a literary artistic category. He used to emphasize that at the core of any literary work, any artistic conception there lies an aesthetic transformation of the archetype; hence, the collective unconscious becomes accessible to the conscious mind. "One who speaks in archetypes speaks with a thousand voices", claimed the famous psychoanalyst.

trouble or death (Job iii)" [37: p. 1016]); the same is true for *spectre* **(**"Lat. Spectrum, from specto "to behold" – an apparition; the appearance of a person who is dead, a ghost; something made preternaturally visible" [35]). Additionally, there are certain metaphorical and periphrastic nominations of death in the excerpts presented above (*The Dark Valley of Shadow*, *The Dim Valley*) which are, in truth, easily recognized Biblical allusions (Psalm 23: 4, The Old Testament: "…though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me"; Job 10: 24 – "Before I go – and I shall not return – to the land of darkness and deep shadow"). They provide the foundation – both mythological and religious – for the possibility of this innate intrinsic link binding these two phenomena in the mentality of Western civilization.

The a priori universal belief that death is eternal *sleep* while sleep (DREAM) is *semblance* of death encompasses more or less every cultural community in the world, which is yet another verification of the model's archetypal nature.[15] The analogous conceptualization of the two phenomena is also apparent in Poe's work:

- "At length, as often happens to the *sleeper* (by *sleep* and its world alone is *Death* imaged) – at length, as sometimes happened on Earth to the *deep slumberer*, when some flitting light half startled him into awaking, yet left him half enveloped in *dreams* – so to me, in the strict embrace of the *Shadow*…" ["The Colloquy of Monos and Una" by E.A. Poe, 1966, p. 600].
- "I was awakened from the *slumber* like the slumber of Death…" ["Eleonora" by E.A. Poe, 1984, p. 472].
- "A *deep sleep* fell upon me – a sleep like that of death." ["The Pit and the Pendulum" by E.A. Poe, 2006, p. 92].

The following passage vividly demonstrates the direct link existing between these two phenomena in the author's individual style:

"After some days of pain, and many of *dreamy delirium* replete with ecstasy…there came upon me, as you have said, a breathless and motionless *torpor*; and it was termed Death…" ["The Colloquy of Monos and Una" by E.A. Poe, 1966, p. 597].

However, the artistic transformation that the given archetypal model undergoes in Poe's idiostyle consists not only in the broadening of the collocational links of the lexemes which represent the specified mental constructs: "…sad and solemn *slumbers with the worm*…" [ibid]; not only idiosyncratic similes and metonymic nominations of death are fashioned: "…sorrow which is the most lasting of impressions, as the cypress is the most enduring of trees." ["Morella" by E.A. Poe, 2006, p. 171]. (Cypress tends to symbolize sorrow, grief, mourning and – by extension – Death; in ancient Greece cypress used to be considered the symbol of death due to the remarkably dark color, hue of its leaves [12: p. 384]). The death phenomenon per se is granted a specific kaleidoscopic structure by Poe:

- "What we call "death" is the painful metamorphosis… At death, the worm is the butterfly – still material, but of a matter unrecognized by our organs…" [Letter to James R. Lowell by E.A. Poe, 1983, p. 345].
- "The *rationale* of *mesmerism*…an abnormal condition, of which the phenomena resemble very closely those of death…" ["Mesmeric Revelation" by E.A. Poe, 1984, p. 717]; "The *mesmeric condition* is so near death..." [ibid].
- "Had the *sleepwaker*, indeed, during the latter portion of his discourse, been addressing me from out the region of the shadows?" [ibid, p. 727].

Death appears to be a complex, multifaceted phenomenon which the author himself defines as "metamorphosis", transformation, conversion of one condition into another. Specific types of DREAM as a generic phenomenon: *mesmerism*, *sleepwalking*, not only border on death ("The *mesmeric condition* is so near death..."), but, most likely, co-penetrate ("Had the *sleepwalker*, indeed, during the latter portion of his discourse, been addressing me from out the region of the shadows?").

The idea of cross-conceptual interaction within the limits of the archetypical structure *Dream is Death* is unmistakably embodied in the following citation:

"I had *swooned*; but still will not say that all of consciousness was lost. … yet all was not lost. In the deepest *slumber* – no! In *delirium* – no! In a *swoon* – no! In death – no! even in the grave all is *not* lost" ["The Pit and the Pendulum" by E.A. Poe, 2006, p. 90].

The given excerpt which contains nouns having in their semantic structure distinctive semantic markers (semes) – "loss of consciousness"/ "lack of control on the part of consciousness", undeniably sheds extra light upon the inner mechanisms of the authorial conceptualization of the DREAM concept. It would appear that, according to Poe, both a DREAM and Death are two specific forms of a more abstract generic basic phenomenon which does not rule out the possibility of consciousness. It is apparent that unlike those archetypal conceptions featuring *Death as an Eternal Dream (Sleep)* – the most vivid example of these being the ill-famed abbreviation RIP "IN PACE REQUIESCAT" – *Rest in Peace* – Poe presumably considers death as more or less able to endow humankind with the prospect of change, transmutation, as it were, and thus, be-

[15] See, for one, the following quotation from Virgil's Aeneid (70-19 B.C.): "Death's brother, Sleep".

holding the supreme, ultimate Truth: "In Death we have both learned the propensity of man to define the indefinable." ["The Colloquy of Monos and Una" by E.A. Poe, 1966, p. 595].

And finally, the most paradoxical artistic transformation within the cognitive model in question carried out in the individual style of the author, is the total change, the *absolute oxymoron* which equates these two utterly dissimilar, opposing and contradictory physiological conditions:

"When I say that it resembles death, I mean that it resembles the ultimate life …. At *death*, or *metamorphosis*, these creatures enjoying the ultimate life…" ["Mesmeric Revelation" by E.A. Poe, 1984, p. 724-725].

Plainly put, this trope, which helps to paradoxically define *Death as Life*, distorts, violates the archetypical pattern per se; however, it may be explained by the mental models and tendencies of the Romantic world view (it is common knowledge that Poe was one of the most important figures of American Romanticism). Within this artistic aesthetic system death may be perceived and conceptualized not literally, but figuratively, metaphorically; death in romantic legends tends to be a sign not of the end, decease, or demise but, on the contrary, of some profound psychological alteration and modification. This is but a symptom, an indication of the transformation of collective public opinion, a signal of revision of values, for old mental patterns are inevitably annihilated, obliterated, eradicated when the new system of values emerges in any given culture; hence – the prospect of a *new cultural synthesis*. This "demolition" is recognized and identified as death.

The encouraging and rather comforting conclusion that Poe comes up with is the finale that *Dream Defies Death:*

"It was evident that, so far, death (or what is usually termed death) had been arrested by the *mesmeric process*. It seemed clear to us all that to awaken M. Valdemar would be merely to insure his instant, or at least his speedy *dissolution*" ["The Facts in the Case of M. Valdemar" by E.A. Poe, 1984, 841].

The mesmeric process – a variety of DREAM – literally arrested, impeded the approaching dissolution; consequently, *awakening* stands for imminent and inescapable death. This bizarre and uncanny pattern is, clearly, an allegory. It is but a symbolic evidence of the *life of spirit*, it is a veritable testimony to the triumph of the Ideal over merely material, physical. A DREAM is fundamentally "an indication of the vastness of the potential that lies wholly within our minds" [22]. Analogous conceptions characteristic of religious systems and philosophical doctrines which propound the existence of a different, singular reality – undetected by our regular senses – obtain confirmation in the findings of modern neurophysiology and somnology: "Spiritual teachings tell us that we have *a reality beyond that of this world* …. The *worlds we create in dreams*…are as real as this one…the only limit is the imagination…. Freed of the constraints imposed by physical life, expanded by awareness that limits can be transcended, who knows what we could be, or become?" [ibid].

To conclude, it is crucial we reiterate that the power of the conceptual/cognitive metaphor to create new reality rather than simply give us a way of conceptualizing a preexisting reality is at present beyond a shadow of a doubt. Many cultural innovations come into view as an end product of the society's internalization of novel atypical metaphorical models and, obviously, the disappearance of the old, obsolete ones. The ability to conceptualize experience through metaphors resembles other senses, be it sight, hearing, or others; metaphors, for the most part, remain the sole means of perception and conceptualization of the larger segment of our reality [20: p. 253].

Equally important, the analysis of mental constructs carried out in the field of the humanities, particularly in cognitive linguistics and idiostylistics, never fails to demonstrate what an immense role a genius plays in shaping the conceptual systems of nations. Edgar Allan Poe, an inimitable and unsurpassed American Romantic author, long ago passed into US popular imagination as part of the cultural heritage and remains an icon ever since. Some theorists argue that there is undeniably something of Poe, the unique visionary and creative genius, in the structure of contemporary Western culture that contains the fusion of the senses and the purity of poetry, symbolism, and existentialism, the Ivory Tower and *the Ivory Cellar* [5].

REFERENCES

1. American Poetry and Prose / Edited by Norman Foerster; Fourth Edition. Part One. – Boston: The Riverside Press Cambridge, 1957. – 861 p.

2. *Astvatsaturov, A.G.* Pamyatniki i istoriya evropeiskogo romantizma [The Memorials and History of European Romanticism] // Zhirmunskiy, V.M. Nemetskiy romantizm i sovremennaya mistika [German Romanticism and the Modern Mysticism]. – Saint-Petersburg: Aksioma, Novator, 1996. – 232 p.

3. *Bachelard, G.* Izbrannoe: Poetika grezy [La Poétique de la Rêverie]. – Moscow: ROSSPEN, 2009. – 440 p.

4. *Belyaevskaya, E.G.* Kognitivnyie parametry stilya [The Cognitive Parameters of Style] // Voprosy kognitivnoi lingvistiki; edited by N.N. Boldyrev. – Tambov: Izd. dom [Publishing House] TGU imeni Derzhavina, 2010. – № 1. P. 22-29.

5. *Blackmur, R. P.* Afterword // Poe, E.A. The Fall of the House of Usher and other Tales: with an afterword by R.P. Blackmur. – New York: New American Library, 1960. – 384 p.

6. *Bolotnova, N.S.* Kommunikativnaya stilistika khudozhestvennogo teksta: leksicheskaya struktura i idiostil' [Communicative Stylistics of Literary Text: Lexical Structure and Idiostyle]. – Tomsk: TGPU Publishers, 2001. – 331 p.

7. *Boutakova, L.O.* Avtorskoe soznanie v poezii i proze: kognitivnoye modelirovanie [Author's Mind in Poetry and Prose: Cognitive Modeling]. – Barnaul: Izd-vo Altaiskogo universiteta, 2001. – 283 p.

8. *Elder, M.S.* "Never otherwise than Analytic": Poe's Science of the Divine. – Raleigh: The North Carolina State University, 2005. – 88 p.

9. *Eroms H.-W.* Stil und Stilistic: Eine Einführung. – Berlin: Erich Schmidt, 2008. – 255 p.

10. *Fateeva, N.A.* Kontrapunkt intertekstual'nosti, ili intertekst v mire tekstov [Contrapunto of Intertextuality, or Intertext in the World of Texts]. – Moscow: Agar, 2000. – 280 p.

11. *Fateeva, N.A.* Kartina mira i evolyutsiya poeticheskogo idiostilya Borisa Pasternaka (poesiya i prosa) [World View and Evolution of Poetic Idiostyle of Boris Pasternak (Poetry and Prose)] // Ocherki istorii yazyka poezii XX veka: opyty opisaniya idiostilej [Brief History of Poetic Language of XX century: Analyses of Idiostyles]. – Moscow: 1995. – P. 208–305.

12. *Foley, J.* Entsiklopediya znakov i simvolov [Encyclopedia of Signs and Symbols]. – Moscow: Veche, 1997. – 509 p.

13. *Gasparov M.L.* Khudozhestvenniy mir pisatelya: tezaurus formal'niy i tezaurus funktsional'niy [The Artistic World of Author: Formal and Functional Thesaurus] // Problemy strukturnoi lingvistiki: sbornik nauchnyh trudov [The Problems of Structural Linguistics]; ed. by Prof. V.P. Grigorjev. – Moscow: Nauka, 1988. P. 125-137.

14. *Genette, G.* Figury. Raboty po poetike [Figures. Works on Poetics]. In Two Vol. Vol. 1. – Moscow: Sabashnikov Publishers, 1998. – 472 p.

15. *Grigorjev, V.P.* Grammatika idiostilya. V. Khlebnikov [The Grammar of Idiostyle. V. Khlebnikov]. – M.: Nauka, 1983. – 223 p.

16. *Jung, K.G.* Struktura psihiki i arkhetipy [The Structure of the Psyche and the Archetypes]. – Moscow: Akademicheskiy proekt, 2009. – 303 p.

17. *Karpinetz, T.A.* Kontsept kak sposob smyslovoi organizatsii khudozhestvennogo teksta (na materiale povesti A.S. Pushkina 'Metel'' [Concept as Means of Conceptual Organization of Literary Text]; dissertatsiya kand. filol. nauk [Dissertation of Candidate of Philology]. – Kemerovo, 2003. – 223 p.

18. *Kövecses, Z.* Metaphor: A Practical Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 375 p.

19. *Krasnyh, V.V.* Virtual'naya real'nost' ili real'naya virtual'nost'? (Tselovek. Soznanie. Kommunikatsiya) [Virtual Reality or Real Virtuality? Man, Mind, Communication]. – Moscow: Dialog-MGU, 1998. – 352 p.

20. *Lakoff, G., Johnson, M* Metafory, kotorymi my zhivem [Metaphors We Live By]; Ed. and Introduction by A.N. Baranov. 2-nd ed. – M.: LKI Publishers, 2008. – 256 p.

21. *Langacker, R.W.* Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar; 2nd ed. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2002. – 395 p.

22. *Levitan, L., LaBerge, S.* Other Worlds: Out-Of-Body Experiences and Lucid Dreams. – Nightlight 3 (2-3), 1991. – Available at: http://www.lucidity.com/NL32.OBEandLD.html.

23. *Likhachev, D.S.* Russkaya kul'tura [Russian Culture]. – Moscow: Iskusstvo, 2000. – 440 p.

24. *Litvinova, V.V.* Individual'no-avtorskie kontsepty v structure khudozhestvennogo mira Reya Bredberi [Individual Authorial Concepts in the Structure of Artistic World of Ray Bradbury]; avtoreferat dissertatsii kandidata filologitseskih nauk [Dissertation Abstract]. – Volgograd, 2009. – 11 p.

25. *Milic, L.T.* Stylists on Style: A Handbook with Selections for Analysis. – New York, Charles Scribner's Sons, 1969. – 527 p.

26. *Nesterova, E.K.* Edgar Po v Rossii [Edgar Poe in Russia] // E.A. Poe Poems. – Moscow: Raduga Publishers, 1988. – 414 p.

27. Oxford Concise Dictionary of Linguistics; Edited by P.H. Matthews. Second Edition. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 443 p.

28. *Pischalnikova, V.A.* K osnovaniyam psihopoetiki [Foundations of Psychopoetics] // Hermeneutics-in-Russia. Vol. 1. 1998. Available at http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/1998-1/1998-1-57.pdf.

29. *Poe, E.A.* Complete Stories of Edgar Allan Poe. – International Collectors Library American Headquarters; Garden City, New York: Doubleday & Company, 1966. – 737 p.

30. *Poe, E.A.* Prose and Poetry. – Moscow: Raduga Publishers, 1983. – 416 p.

31. *Poe, E.A.* Eureka: A Prose Poem / E.A. Poe // Poetry and Tales; Notes by Patrick F. Quinn. – New York: Literary Classics of the United States, 1984. – 1408 p.

32. *Poe, E.A.* Collected Stories and Poems. – London: CRW Publishing Limited, 2006. – 376 p.

33. *Semino, E.* Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis / E. Semino, J. Culperer. – J. Benjamins Publishing Company, 2002. – 333 p.

34. *Tarasova, I.A.* Poeticheskiy idiostil' v kognitivnom aspekte (na materiale poesii G. Ivanova i I. Annenskogo) [Poetic idiostyle in Cognitive Perspective]; dissertatsiya doktora filol. nauk [Dissertation of Doctor of Philology]. – Saratov, 2004. – 484 p.

35. *Vinogradov, V.V.* O yazyke khudozhestvennoi literatury [The Language of Fiction]. – Moscow: Gos. izd. khud. lit, 1959. – 656 p.

36. *Vorontsova, T.I.* Kontseptual'naya kartina mira teksta ballady (na materiale angliyskih i shotlandskih ballad) [The Conceptual World View of Ballad]. Khabarovsk: IVESEP, 2004. – 139 p.

37. *Webster, N.* An American Dictionary of the English Language. – 1828. – Available at: http://machaut.uchicago.edu/websters.

38. *Webster, N.* Webster's Revised and Unabridged Dictionary of the English Language. – Springfield; Mass.: G & C. Merriam, 1840. – 1486 p.

39. *Webster, N.* An American Dictionary of the English Language; Rev. and enlarged by Ch.A. Goodrich. – Springfield; Mass.: G & C. Merriam, 1847. – 1367 p.

THE PRINCIPAL TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN RUSSIA IN THE 18TH –19TH CENTURIES

T.A. Parshutkina

Parshutkina, Tatiana Alekseevna – Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Foreign Languages for Pedagogical Profile, I.A. Bunin Eletz State University (Eletz).

E-mail: tparshutkina@mail.ru

The principal ways of the development of foreign language education in Russia in the 18th -19th centuries are shown in this article. The author of the article pays attention to the place of foreign languages in school curricula in those times. According to the opinion of the majority of educationists, the role of "foreign languages" as a school subject was to develop moral personal priorities and spiritual characteristics.

Key words: education, gymnasia, communicative, personal-orientated approaches, humane way of education, pedagogical ideas and schooling principles in education.

LEXICAL DIFFERENCES IN VARIEITES OF ENGLISH FROM THE DISCURSIVE PERSPECTIVE

M.N. Rassokha

Rassokha, Marina Nikolaevna – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, Department of the History of English Language, Institute of Foreign Languages, Far Eastern Federal University (Vladivostok).

E-mail: mrassokha@gmail.com

The paper focuses on lexical differences in discursive practices of British and American language communities. The strategy of emphasizing differences in vocabulary within the discourse on English ownership is explored along with some discursive techniques of metalinguistic commentary. These are viewed as a means of translating a separate language identity.

Key words: British and American varieties of English, discourse on language ownership, discursive strategy of emphasizing lexical differences, metalinguistic commentary, language identity.

Lexical differences in British and American English have always been a much-visited topic and can be considered a well-researched linguistic issue. However, one might argue that the lexical divergence of these two national varieties has been investigated primarily as lexicographic material. This kind of research, no doubt, has its value. Meanwhile, the study of peculiarities of British and American lexical systems from the discursive perspective maximizes possibilities for data interpretation. Similarly, J. Cheshire points out that "...lexical and syntactic differences between the two national varieties have long been recognized and described though discourse structure and discourse strategies have yet to be researched" [2: p. 13].

True, there have been a number of studies investigating communicative behavior of British and Americans [3; 12]. These and some other research papers describe a number of particular features of speech behavior typical of the representatives of Anglo cultures. However, discursive strategies and language material which British and Americans employ to realize them still need a comprehensive and detailed study.

The purpose of this paper, therefore, is the issues of Anglo-American interactions and particularly discursive reactions to lexical differences found in the two varieties of the English language.

It was A. Marckwardt who pointed out that lexical differences between American and British English are predictable and well-known when communicative situations deal with phenomena peculiar to one of the cultures. He listed geographical features, everyday culture and lifestyle, political systems, etc. [5: p.27]. Any of these spheres can yield a lot of material for research into cultural peculiarity of vocabulary.

This paper aims to describe the Anglo-American discourse in the sphere of everyday communication. Indeed, this discourse domain provides numerous examples of language differences Americans and British recognize when interacting with each other. The following excerpt from Bill Bryson's Notes from a Small Island [1] is a good illustration of this. This is how the author describes his first day in Dover, England:

Everything that lay before me was new and mysterious and exciting in a way you can't imagine. England was full of words I'd never heard before – streaky bacon, short back and sides, Belisha beacon, serviette, high tea, ice cream cornet... [1: p. 14].

Before the author continues his extensive list of similar examples he makes a footnote in which he comments on the meaning of the listed words and phrases (Respectively, a type of bacon, a style of haircut, ...a fancy name for dinner, and what we would call an ice cream cone) and points out that this type of vocabulary is glossed at the back of the book (For the rest, here and throughout the book, you will find a helpful glossary) [1: p. 14].

The above excerpt is an example of the discourse on language ownership. It is an identifying type of discourse aimed at manifesting language identity (a separate language identity in this case), which is based on a keen awareness of a separate lexical culture. The discourse on language ownership plays a significant role in Anglo-American discourses and is implemented through particular discursive strategies and communicative conventions.

One of the key features of this type of discourse is to present the other through verbal characteristics of his communicative behavior which quite commonly reveals culturally determined stereotypes and perceptions. An intriguing case is that the other is also a native speaker of English, but of a different variety, which brings to the foreground a binary identification opposition of us vs. them (see, e.g., ice cream cornet...what we would call an ice cream cone). Hence, the other cannot but make an impact on the way a native speaker's own English is perceived and his language identity is formed.

Discourse on language ownership, as the discourse indicating a membership in a particular speech community, reflects major directions of identification: either towards accommodating on the basis of common characteristics or distancing due to noticeable differences. This reveals two general strategies of Anglo-American discursive interaction:

- discursive strategy of ignoring differences
- discursive strategy of emphasizing differences.

Generally speaking, any interaction has a tendency to be effective and arrive at tacit and mutual understanding. The purpose of Anglo-American communication, therefore, is not to stress differences but to look for common ground. Despite the fact that the two language systems are partially different, communicative contact is not hampered, and there are no numerous failures in British-American interaction. In these cases the discursive strategy of ignoring differences is applied.

However, the discursive strategy of emphasizing differences is also quite noticeable in Anglo-American discourse. This kind of strategy is based on metalinguistic reflection of language with users regarding differences of the two national varieties. The speakers notice differences not only in sound, vocabulary and grammar but also in discourse structure itself.

The discursive strategy of emphasizing differences began to shape itself in the historical context when British and American English started to diverge, since then it has become a recognizable feature of Anglo-American communication. A significant number of telling examples are highlighted by H. Mencken. Here is an excerpt from Charles Wibley in The American Language published in New York in 1908: "To the English traveler in America, the language which he hears spoken about him is at once a puzzle and a surprise. It is his own, yet not his own. It seems to him a caricature of English, a phantom speech, ghostly yet familiar, such as he might hear in a land of dreams" [6: p. 36–37].

Such texts, no doubt, generated stereotypical perceptions of the *other* speaking English. Clearly, they also indicate the beginning of the tradition of metalinguistic commentary produced to emphasize differences both in pronunciation, grammar and vocabulary as well as uniqueness of discourse structure of a separate language variety. For example, the amount and continuation of communication can differ markedly. In this regard, it is necessary to consider how detailed and lengthy the conversation is, how intensive the communicative efforts of the speakers are, etc. To illustrate this let me quote from Bill Bryson again: "If you mention in the pub that you intend to drive from, say, Surrey to Cornwall, a distance that most Americans would happily go to get a taco, your companions will... look knowingly at each other ...and then they'll launch into a lively and protracted discussion. ... Within minutes the conversation will plunge off into a level of detail that leaves you, as a foreigner, swiveling your head in quiet wonderment. "You know that lay-by outside Warminster, the one with the grit box with the broken handle?" one of them will say. "You know, just past the turnoff for Little Puking but before the B6029 mini-roundabout." At this point, you find you are the only person in the group not nodding vigorously. … <...> "Well, if you follow that road past the reservoir and under the railway bridge, and take a sharp right at the Buggered Ploughman" … –" <...> Give two or more men in a pub the names of any two places in Britain and they can happily fill hours" [1: p. 1-2].

This example convincingly demonstrates the discursive peculiarities of British English speakers' communicative behaviors and the way these peculiarities are perceived by an American. The author of the text, an American, emphasizes that many features of British spoken discourse differ dramatically.

I.A. Sternin points out that verbal behavior is, in fact, a set of traditions and rules of interaction determined by the topic and structural features of speech communication in a particular setting. These include etiquette formulas and situations, conversational topics we bring up under certain conditions, interaction time, pauses and turn taking, frequency of interaction of particular groups and their thematic preferences [11: p. 231]. The example from Bill Bryson's book illustrates the following peculiarities of the British communicative behavior. First of all, a greater focus on details, which results in much lengthier interaction (*protracted discussion, they can happily fill hours*). Hence, the topic *A Ride in a Car from A to B* for British and American speakers is totally culturally loaded with different thematic content as well as communicative involvement determining the time of interaction. The topic is also verbally different: it is full of British place names and Briticisms (*pub, lay-by, grit, roundabout*, etc.), which typically characterize British discourse. Wording of the topic and communicative behavior of the speakers indicate specific linguacultural features of this discourse guided by "the idea that Britain is a big place" [1: p. 1].

It should be stressed that when referring to cultural uniqueness of discourse structure, one should bear in mind that every speech community is characterized by their own popular topics and their specific wording. These topics are tackled with a particular communicative enthusiasm of the speakers involved and, as a result, they have lexically specific discourse structure.

Words of the language are known to mark best one's identity language. It is obvious that in Anglo-American communication two lexical systems interact and are contrasted as they have, on the one hand, a common stock, on the other, lexical lacunae, i.e. words and phrases non-existent in one of the varieties. Apart from that, there are multiple words differing in just one sub-sense or naming differently one and the same phenomenon. These vocabulary differences are a much-covered topic in linguistic literature, which offers a systematic view on differences in lexical systems of the two national varieties of English [5; 6; 10; 13; 15].

As has been pointed out earlier, the British and Americans use the discursive strategy of emphasizing lexical differences in order to overcome them. To gain

that speakers apply a number of discursive techniques. Frequent among them is the technique to clarify the lexical meaning through questions. It is not rare that the speaker translates one's language identity at that. Let us look at the conversation between an Englishwoman, who has recently come to live in the States and a building contractor from Treasure Cove, an American building company. The topic concerns the water coming in the house when it rains:

"When it rains the water seeps through the sliders and down through the roof and it all sort of trundles along somewhere...."

"Trundles?" <...> "Trundles? You English girls, you have such a crazy way of talking. What does trundles mean exactly?"

I paused. When spoken in isolation the word did sound rather odd. "Well, it sort of means the sound wheels make when they move, like the tumbrels trundling along towards the guillotine in the French Revolution."

"Tumbrels trundling? The French Revolution?" He was laughing at me and I didn't blame him. It was rather ridiculous talking about the French Revolution in the middle of a discussion about a leaking roof" [16: p. 205].

On the whole quite a long dialogue (over 700 words) is being held without any particular interactional failures. It features only one situation when the word meaning was not clear and was clarified with the help of questions. Of course, the verb trundles is essential for the topic of communication since the building contractor must know how water comes in, either as a stream or a trickle. That is why the interactant asks for a detailed definition. Yet another thing is relevant here. It is interesting that not only such word immediately catches the attention of the speaker of another variety of English but also it becomes an instrument of linguacultural identification and a means of commenting on the *other's* language. To characterize the *other* the speaker uses generalized and stereotypical images. These stereotyped images were cultivated and adopted by American culture to identify the representatives of British culture by a number of generalized formulas as in the above example: *You English girls*. This discourse, obviously, features a "culturally governed scenario" (Wierzbicka's term) [17: p. 38] of Anglo-American communication aimed at language identification. Importantly, it's not uncommon that this identification act suggest an evaluation – in this example negative (*You English girls, you have you have such a crazy way of talking…*) to mark language and cultural distance between the two nations.

The dialogue continuation also appears interesting: "You got a cellar? Is it dry?" To which she responds, "We have a crawl space, I think it's called. I've never been down there." [16: p.205]. After the speaker expresses his language identity we (Americans) vs. you (English), the other participant of communication becomes particularly sensitive to her language performance. She is not sure whether the name she uses for the place is appropriate (*a crawl space, I think it's called*) and transfers her speech into a modality of approximation showing that she looks at her speech through the perceptions of her interactant [9].

Another common technique of the discursive strategy of emphasizing lexical differences is to define a word or phrase from one English variety with the help of a word or phrase from the *other*. This technique is also very typical of Anglo-American interaction. To illustrate this let us look at the opening sentence of the American professor's speech addressing an English audience: "You probably can't see it from where you sit, but some of you may have noticed that I am wearing a tie clip in the shape of a monkey wrench – or what I believe is called an 'adjustable spanner' in the curious dialect of this country" [14: p. 6]. This technique involves a kind of code switching or rephrasing used for defining words in an English-English dictionary. The speaker using this technique aims at elucidating the phrase meaning supposedly unknown to the representatives of a different culture. This can be done spontaneously or on purpose. In the dialogue below while communication is not at all hampered, the interactant only once conveys the meaning by using a word of the *identifying lexical stock*, which practically does not make an impact on the interactional effectiveness:

Someone tapped on the window of the telephone kiosk. It was the fat man with the fat cigar he had seen in the limousine. … "If you had finished in there," said the fat man, waving his cigar, "I have an urgent call to make." He spoke with an American accent. …

"… Do you have any small change?'

"How much do you want?" said Adam.

"I want to call Denver, Colorado."

"Not that much," said Adam. "You'd need about sixty shillings."...

"… Yes, well…if you want to use the phone." Adam gestured politely to the empty booth. "Perhaps you could reverse the charges."

"Collect? That's a good idea. You're a great nation," said the fat man, as he squeezed himself unto the booth [4: p. 43].

It is evident that vocabulary differences are easily deduced from context. The American speaker discovers the meaning of the Briticism *to reverse the charges* in the situation and his reaction "*Collect?*" (*AmE to call smb. collect*) does not require any answer. Yet this is also a manifestation of a separate language identity.

Discursive interrelationship of lexical material of the two English varieties leads to application of one more technique – that of comparison. The example below illustrates the language experience of an English family in New York. The comparisons of lexical nominations in American and British English varieties they

make are accompanied by highly emotional metalinguistic commentary:

The Churchill Hotel where they were staying had no room service, and so Robert's father went out to buy a kettle and some "basic provisions". When he got back, Robert could smell the fresh whiskey on his breath.

"Jesus," said his father, fishing a box out of his shopping bag, "you go out to buy a kettle and you come back with nothing less than a Travel Smart Hot Beverage Maker."

Like Linda's and Mom's unconstrained tushes, phrases seemed to feel entitled to take up as much room as they could [8: c. 202].

This example demonstrates that not only two lexical systems are compared but also the speakers of a different variety look at the strategies of language use and its pragmatic resources. Obviously, this is also the case of admitting a different language identity. An Englishman in his closing sentence alludes to the size of American nominations – in this example *Travel Smart Hot Beverage Maker* for a kettle to unhealthy obesity of many Americans. Through this identification act the speaker appears to distance himself from the linearity of multi-word lexical expressions full of enthusiasm characteristic of American advertisements.

The discursive strategy of emphasizing lexical differences between the two national varieties presupposes a higher degree of linguistic sensitivity on the part of British English and American English speakers. They, no doubt, are aware of lexical peculiarity of each English variety and of the fact that vocabulary differences may be very numerous. At the same time, the lexical repertoires of British and American varieties overlap and penetrate into one another due to the intensity of intercultural communication between the two nations. This results in the formation of parallel lexical codes to which the speakers turn to if they need to. A different vocabulary is built up in context that eases the meaning deduction, while collocations – quite often similar – facilitate acquiring yet another word or phrase. The English language speakers' lexicon becomes, therefore, richer. It considerably expands due to Anglo-American communication which develops a defining characteristic – that of *lexical synonymy of English language varieties.* The list of such synonyms is widely known: flat-apartment, lift-elevator, autumn-fall, baby buggy-pram and many others. Apart from the fact that this phenomenon enhances sociolinguistic and intercultural adaptability of speakers of varieties of native English who gain a unique linguistic competence, vocabulary units, as has been shown above, are used to indicate a separate language and cultural identity.

In conclusion, or rather instead of it, it is worthwhile to offer yet another telling example perfectly illustrating main ideas of this paper:

A porter in a British hotel comes upon an American tourist impatiently jabbing at the button for the lift.

"Sir, the lift will be here in a moment."

"Lift? Lift?" replies the American. "Oh, you mean the elevator."

"No sir, here we call it a lift."

"Well, as it was invented in the United States, it's called an elevator."

"Yes sir, but as the language was invented here, it's called a lift." [7].

REFERENCES

1. *Bryson, B.* Notes from a Small Island / B. Bryson. – N.Y.: Perennial, 2001. – 325 p.
2. *Cheshire, J.* English around the World: Sociolinguistic Perspective / J. Cheshire. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 684 p.
3. *Kuz'menkova, Yu. B.* Ot traditsii kultury k normam rechevogo povedeniay britantsev, amerikantsev i rossiyan [From Traditions of Culture to Norms in Speech Behaviour of the British, Americans and Russians] // Yu. B. Kuz'menkova. – Moscow: Publishing House of Higher School of Economics, 2005. – 316 p.
4. *Lodge, D.* The British Museum is Falling Down / D. Lodge. – London: Penguin Books, 1983. – 174 p.
5. *Marckwardt, A.* A Common Language. British and American English / A. Marckwardt & R. Quirk. – London: Cox and Wyman., 1966. – 79 p.
6. *Mencken, H. L.* The American Language / H.L. Mencken. – New York: Alfred A. Knopf, 1963. – 777 p.
7. Reader's Digest (The) [Electronic resource]. – Available at: http://www.americansc.org.uk/Online/berube.htm.
8. *St. Aubyn, E.* Mother's Milk / E. St. Aubyn. – London: Picador, 2006. – 279 p.
9. *Semyonova, T.I.* Modus kazhimosti kak sposob representatsii vnutrennego mira cheloveka [Modality of Approximation as a Means of Representation of Man's Inner World] // T.I. Semyonova. Vestnik NGU. Seriya linguistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya, tom 2, vyp. 1 [Papers of Novosibirsk State University. Series of Linguistics and Intercultural Communication, Vol. 2, № 1. Novosibirsk, 2004. – P. 84–89.
10. *Shveitser, A.D.* Literaturny angliisky yazyk v SSHA i Anglii // A.D. Shveitser. – 2-e izdaniye [2-nd edition].– Moscow: Editorial URSS, 2003. – 200 p.
11. *Sternin, I.A.* Normy kommunikativnogo povedeniya [Norms of Communicative Behavior] // I.A. Sternin. Normy chelovecheskogo obshcheniya: Tezisy dokladov [Norms of Human Communication: conference abstracts. –Gorky: Gorky State Teacher Training Institute of Foreign Languages, 1990. – P. 230–232.
12. *Sternin, I.A.* Ocherk kommunikativnogo povedeniya [An Essay on English Communicative Behavior] // I.A. Sternin et al. –Voronezh: Publishing House 'Istoki', 2003. – 184 p.
13. *Strevens, P.* British and American English / P. Strevens. London: Collier – Macmillan Publishers, 1972. – 97 p.
14. *Thomas, J.* Using Corpora for Language Research / J. Thomas & M. Short. – Longman, 1996. – 310 p.
15. *Tottie, G.* An Introduction to American English / G. Tottie. – Oxford: Blackwell Publishing / Peking University Press, 2005. – 293 p.
16. *Upcher, C.* The Asking Price / C. Upcher. – London: Orion Books Ltd., 2000. – 401 p.
17. *Wierzbicka, A.* Ponimanie kultur cherez posredstvo klyuchevyh slov [Understanding Cultures through their Key Words] // A. Wierzbicka. – Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury [Languages of Slavic Culture], 2001. –288 p.

LANGUAGE CONTACT IN FOLK METALINGUISTIC REFLECTION (BASED ON MODERN ENGLISH-RUSSIAN INTERACTION)

A.A. Rivlina

Rivlina, Alexadra Abramovna – Candidate of Science (Philology), Associate Professor of the Department of English Language at the Faculty of Management, National Research University, Higher School of Economics.

E-mail: rivlina@mail.ru

The growing exposure of local languages, including Russian, to global English generates a number of contact-induced linguistic features; one of them is the intensification of metalinguistic reflection by speakers on the subject matter of language contact. This article deals with various aspects of extensive current metalinguistic research, examines the reasons for studying meta-contact linguistics as a separate branch of metalinguistics, defines and classifies different types of lay metalingual commentaries about language contact. It also outlines some of the major directions for future research in meta-contact linguistics, in particular, within the context of the globalization of English research.

Key words: metalanguage, metalinguistic/metalingual reflexivity, Englishization/Anglicization, folk language contact reflection, folk contact linguistics / meta-contact linguistics

Introduction

The growing interest in meta-activities and meta-analysis is evident in all spheres of modern society and research: many scholars stress the importance of reflexive procedures in modern society. Significant in this respect is the title of the book written by Y. Gromyko – "Meta-age…" [2]. In foreign research, involvement in the "meta" subject area is substantiated by the so-called "theory of reflexive modernity", according to which all social institutions and relations are subject to "chronic revision in the light of new information and knowledge" [15: p. 6]. The intensification of lingual reflexivity, as well as the obvious keen interest in its study in modern linguistics (see, for example [1; 8; 13; 15; 23; 24]), represents one facet of the broader social process.

In the narrow sense, metalanguage is seen as the language of research, in relation to which natural human language is treated as its content, or the object-language [3: p. 297]. Research metalanguage is supplemented, in the broader understanding of the term, by the so-called "naïve" (lay, "everyday", or folk) metalanguage, which represents the linguistic reflection of common language speakers. Some metalanguage relates to spontaneous perceptions about language and speech existing in people's minds in the meanings of such lingual units as *language, speech, word, meaning, speak,* etc. [1]. They make a part of the so-called "linguistic worldview" and are usually defined as the "implicit metalanguage". Explicit manifestation of metalanguage and speech phenomena connected with it, such as "metaspeech", "metatext", "metadiscourse", "metacommunication", etc., is associated with Jakobson's metalingual function of language and a specific type of utterances referring to "code" [5: p. 203]. Implicit and explicit speakers' metalingual beliefs and perceptions are defined as folk (lay, or "naïve") linguistics. For overviews and a more in-depth analysis of these and other approaches to metalingual studies and folk linguistics see [8; 13; 15; 24: p. 72-79; 25]. It is the latter, "naïve" type of metalingual reflexivity of lay speakers that will be examined in the article below in connection with language contact.

On the intensification of linguistic reflexivity in modern Russian discourse

The history of communication in general is characterized by consistent intensification of metalingual reflection by language speakers; by constant increase in the number and frequency of metalingual units caused by the growing intellectual and semiotic complexity of social life and by differentiation between forms of communication [14: p. 296]. Moreover, it is argued that both lingual reflexivity of speakers and scholars' interest in its study are enhanced in critical historic periods characterized by accelerated language development. It is exactly the type of condition that the Russian speaking community has experienced at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries: considerable changes in modern Russian lexis generated by changes in social, political and economic life of the country. The reinforcement of personal involvement and general democratization of communication have deepened Russian speakers' lingual reflexivity and have

increased the number of metalinguistic commentaries in Russian discourse[1]. Also, the growing interest of linguists in metalinguistic issues was supported by some intra-disciplinary changes, namely, the so-called anthropocentricity of modern linguistics which is aimed at studying *homo loquens*, or the speaker's language and speech performance [24: p. 7–8].

One of the major factors contributing to the intensification of linguistic reflexivity nowadays is the globalization of English, which places bilinguals on "the border of cultural environments" (to use the expression of S.E. Iachin [4]), or, to be more specific, on "the border of cultural and linguistic environments". The significance of the "border" as "a *sine qua non* for reflexivity" [4: p. 111][2] has been described in detail in cultural philosophy. The growing pressure of global English on all the other world languages, Russian among them, generates a number of new lingual phenomena, such as numerous borrowings from English, contact-induced calques, code switching and code mixing, etc. (which are collectively defined as Englishization/Anglicization of local languages); moreover, it causes an increase in speakers' metalinguistic reflexivity on the topic of these innovations.

Linguistic reflexivity related to contact with global English seems to be universal for speakers of all modern languages; however, the universally acknowledged logocentrism of Russian culture and the traditional hypersensitivity of Russian speakers to their native speech determine the essentially important place of metalinguistic discourse on the global English influence in modern Russian communication.

[1] The larger part of metalinguistic research, including this article, deals with every-day or mass-media Russian discourse, which represents the mainstream everyday type of speech of common speakers of Russian. Nevertheless, as the study conducted by N.A. Nikolina demonstrates, modern Russian literature, including poetry, is also characterized by a significant increase in metalinguistic reflection: in many modern Russian literary works, including poems, new objects of poetic contemplation and additional sources of imagery are found in phonetic characteristics of Russian speech, in the semantics of various words, in different grammatical forms, and in certain linguistic terms, etc. All these facts have led N.A. Nikolina to make the inference that "lingua-centrism" is one of the characteristic features of modern Russian literary and poetic discourse [18: p. 49–79].

[2] There are important similarities between the issue examined in this article and research on the literary works of Russian émigré writers: their literary work is also described as abundant in metalinguistic commentaries and attaching special importance to various linguistic assessments [10: p. 143].

Meta-contact linguistics or folk contact linguistics as a branch of folk linguistics

The "linguistic worldview" is subdivided into separate areas of lay linguistic beliefs and perceptions, most of which correlate with regular branches of sciences and humanities, such as folk astronomy, folk anatomy, folk geography, folk linguistics, etc. Inside these spheres of lay knowledge and perceptions further subdivisions are possible; for instance, the most widely known sphere within folk linguistics is folk etymology, treated as the product of "etymological reflection" (the term of G.O. Vinokur). Some linguists also write about "metagrammar" and "metagrammatic reflection" [18: p. 52], "metapragmatics" [16: p. 173–205], and lay "metatranslation discourse" [8], etc.

As far as contact phenomena are concerned, they are the traditional object of speakers' linguistic consideration: for instance, it is only natural for interlocutors to comment on the meaning of the loan words they use, on the justification of their borrowing and on evaluation of foreign language units in terms of likes and dislikes, etc. This area of lay perception of language is currently expanding due to the increase in global information flows and culture and language contacts. It can be argued that there is an urgent need for the special study of what can be defined as speakers' "language contact reflexivity", or "meta-contact reflexivity"[3]. Moreover, "meta-contact linguistics" can be distinguished as a separate branch of metalinguistics, and folk contact linguistics can be viewed as a separate branch of folk linguistics.

Collected data show that the most frequent object of meta-contact reflection is the most typical contact phenomenon, namely, lexical borrowings. The fact is, common speakers of language tend to ignore distinctions between various contact-induced lexical units (e.g., distinctions between loan words, calques, pseudo-borrowings, hybrids, etc., which usually attract the attention of linguists), and tend to reflect predominantly on the feature which unites all these phenomena, on their "foreignness", or "the flavour of other-languageness", as N.B. Mechkovskaia puts it [14: p. 226]. Of special interest is the fact that in modern Russian linguistics there

[3] Strictly speaking, the term "meta-contact reflection", as well as the term "metalinguistic reflection", is tautological, because the morpheme "meta-", as stated above, implies reflection on a certain subject matter. More consistent is the term "linguistic reflection", as in [24]. Still, considering current terminological practice (cf.: use of the terms "metalinguistic reflection" [14: p. 296] or "meta-grammatical reflection" [18: p. 52]), both terminological variants – "linguistic reflection"/ "metalinguistic reflection", "contact reflection"/ "meta-contact reflection" – seem to be appropriate.

is a tendency to replace the traditional terms "borrowings" and "loan words" by the terms "foreign words", or "foreign lingual units", suggested for these phenomena by L.P. Krysin as far back as the late 1960s [11; 12; 17]. A wider range of contact-induced phenomena can be embraced and this helps to avoid certain terminological disagreements. It can be argued, though, that the term "borrowing" is sometimes used in a similarly wide interpretation, including lexical borrowings proper, so-called grammatical borrowings, semantic and phraseological calques (semantic borrowings), and borrowings of literary plots, characters, genres, etiquette formulae, etc. [19: p. 154]. No matter which term is used, either "a foreign word" or "a borrowing", it is essential that the major focus in their current interpretation is directed towards their metalinguistic deliberation by speakers; in other words, to the very fact that certain lingual units are perceived by speakers as units related to a foreign language. Cf.: "… such broad understanding of other-languageness has been formed in relation to the **perception** of a certain word as coming from a foreign language" [12: p. 23]; "… **other-languageness of a word can be perceived** in the same way as the other characteristics of a lexical unit are perceived, e.g., its derivational history, its euphony, its stylistic colouring, etc." (emphasis added by the author) [12: p. 22]. Thus, the use of foreign language units (as well as the performance of bilingual persons in general), no matter whether they are accompanied by any explicit metalinguistic commentaries, can be defined as metalinguistic activity, because it presupposes greater or lesser degree of metalinguistic reflection upon the units of different language systems being juxtaposed[4].

Contact with global English in metalinguistic commentaries of modern Russian speakers

Meta-contact reflection becomes explicitly evident when bilingual persons resort to special lingual techniques which are intended to specify and clarify the meanings of the borrowings used or to compensate for the inter-linguistic lacunae with the parallel use of such linguistic transformations as translation, paraphrase, the use of synonyms, interpretation, comparison, and analogies, etc. Here are some of the examples based on English-Russian language contact: *Да вы* ***lucky, счастливчик*** / *But you are* ***a lucky man*** (the borrowed unit used both in English and in Russian) (*Let's get married* TV show, the ORT TV channel, March 2011); … ***райдер (список требований звезды – Ред.)*** *у актрисы оказался в пределах разумного*; … *профессиональные американские* ***няни*** *(ожидается от двух до четырех* ***беби-ситтеров****)* /… ***the rider (the list of a star's requirements – Ed.)*** *of the actress turned out to be quite reasonable … professional American* ***nannies*** *(two to four* ***bebi-sitterov*** *are expected)* (the *Komsomol'skaia Pravda* daily, 2010).

Even greater explicitness of contact reflexivity is achieved with the use of special metalinguistic operators or markers, accompanying the metalinguistic tactics of bilingual persons, e.g., *derived from the English word…*, *translated as…*, *Anglicism/ Americanism…*, *in other words…*, *so-called…*, etc. For example: *Об этом свидетельствуют данные экзит-пулов (****это*** *опрос избирателей при выходе с избирательных участков)* / *The results of ekzitpulov (****which means*** *polls of people leaving a polling place, asking how they voted) testify to that* (the *Komsomol'skaia Pravda* daily, 2007); *Чтобы у нас появились дискаунтеры,* ***или, как их еще называют,*** *low cost авиакомпании, нужны большие объемы перевозок / In order to have discauntery,* ***otherwise known as*** *low cost airlines, large-scale shipping operations are necessary* (the *Komsomol'skaia Pravda* daily, 2008); *Пикаперы (****от английского*** *pick-up – «клеить, знакомиться»),* ***если кто не в курсе****, учат парней профессионально снимать девушек / Pikapery (****derived from the English word*** *"pick-up" – "to make contact, to get acquainted"),* ***in case you are out of the swim****, teach guys to pick-up girls professionally* (the *Komsomol'skaia Pravda* daily, 2008). In most cases, such metalingual commentaries are of minimal length, consisting of one or two words or a short subordinate clause, because they make a "metatext", defined by Anna Wierzbicka as "meta-textual threads", which only "clarify 'the semantic pattern' of the basic text" [25: p. 421] and should not distract from the main content of the text. On the other hand, a metalinguistic commentary can become the topic of a separate utterance expressed by a separate sentence, e.g.: ***Их тут называют*** *«лузерами», неудачниками / They are here called "luzery", or failures* (the *Komsomol'skaia Pravda* daily, 2008), or it can even be expanded to make whole passages or separate texts devoted to the discussion of borrowed lingual units and of the social and cultural phenomena defined by those borrowings; for example, there has been a number of published essays and magazine articles devoted to the English borrowing *glamur (glamour)*: «Я планов наших люблю гламурье…» / *"I like the glamuring of our plans…"* by T. Tolstaia (http://scripts.online.ru/misc/news/98/09/10_229.htm) or «Гламур – новая идеология или старые раны?» / *"Glamur – new ideology or old wounds?"* (http://www.drugaya.ru/content/doc592.html).

The content analysis of meta-contact commentaries reveals their basic similarity with all the other types of metalinguistic commentaries, also known in

[4] Cf.: the text translated from one language into another is often defined as a "metatext" in relation to the original text [7: p. 307], while the very presence of any foreign language unit in the text is treated as a "textual meta-component" [17].

some metalinguistic studies as "reflexives". Reflexive lingual units in general are defined as a specific adaptation tool which allows "releasing speech tension in communicative discourse fraught with the danger of misunderstanding and requiring the special linguistic vigilance of speakers" [24: p. 102]. When "linguistic vigilance" weakens, a communicative breakdown takes place and a metalinguistic commentary produced *post factum* helps to make amends and to straighten out the communicative failure. For example: *Нельзя золотовалютные резервы ЦБ называть резервами страны. Иначе они сразу становятся touchable. – Что, простите? – **Я говорю,** на них может быть обращено взыскание в случае принятия соответствующего судебного решения. **Иногда одним иностранным словом легче сказать. Это не от выпендрежа** / The gold-exchange reserves of the Central Bank cannot be called "national reserves". Otherwise, they immediately become* touchable. *– Sorry, what? – **I am saying** that recourse can be taken against them in case of a due judicial decision. **Sometimes it is much easier to express an idea in one foreign word. This is not just an ego trip*** (V. Geraschenko's interview, the *Argumenty i Fakty* weekly, 2001). The English word *touchable* causes a communicative failure, a communicative breakdown (*Sorry, what?*), which is why the interviewee uses the basic meta-textual operator *I am saying* to introduce the definition of the foreign word imbedded into the Russian text (*recourse can be taken against them in case of a due judicial decision*), and then he proceeds to comment on the reason why he has used this Anglicism, claiming that there is no adequate equivalent for this word in Russian (*sometimes it is much easier to express an idea in one foreign word*). He tries to dissociate himself from possible widespread accusations of using borrowings only because of their being prestigious or fashionable (*this is not just an ego trip*). Still, in most cases a metalinguistic comment represents an "anticipatory", "projective" reflexive reaction of a speaker [24: p. 103–104].

The general typology of reflexive lingual units developed by I.T. Vepreva [24: p. 105–110], makes it possible to distinguish the following semantic types of meta-contact commentaries:

a) meta-contact comments of a dynamic type, reflecting the temporal characteristics of word use, the changes in the lexical system of the language, linguistic fashion and preferences and rearrangement of passive and active vocabulary stock, etc., e.g.: ***Они теперь все говорят, как в американских сериалах:*** *«у меня проблемы» и «я сделал это!»* / *Today they all say "I've got problems" or "I did it"* ***like in American TV-series*** (S. Pol'akov, *Mashroom King*);

b) meta-contact comments of a stylistic type, which deal with the stylistic appropriateness of the borrowing in certain contexts, or with its stylistic characteristics as being formal, colloquial, low-colloquial, used by representatives of various social groups, etc. An example is: *Этот чулан, в котором вечно царит хаос, в редакции **принято называть модным и гламурным словом** «фэшнрум»* / *In our editorial office, this closet, reigned over by eternal chaos, **is usually defined by a fashionable and glamorous word*** feshnrum (*Yes!* magazine, 2008);

c) meta-contact comments of a derivational type, which deal with the clarification of the meanings of borrowings, with metalinguistic deliberation on their semantic validity, formal and semantic derivational history, semantic modification and transformation, etc., as in the aforementioned example: *Пикаперы (**от английского** pick-up – «клеить, знакомиться»)…* / *Pikapery (**derived from the English word** "pick-up" – "to make contact, to get acquainted")…*;

d) meta-contact comments of a personal type, which present personal preferences of the addresser or the prospective likes and dislikes of the addressee in the use of borrowings, e.g.: *Чтобы в главе «дела сделанные» поубавилось, а в пункте «свободна», наоборот, выросло, примерь на себя основные правила тайм-менеджмента, или разумного управления временем, **если тебе не милы англицизмы*** / *In order to cut the number of entries in the list "done" and, vice versa, to increase the number of points in the list "free", try some of the basic rules of* taim-menedzhmenta, *or rational management of time, **if you do not like Anglicisms*** (*Yes!* magazine, 2008).

Another important criterion for further classification of meta-contact reflexive units is the communicative modus of the speaker. Speakers can merely provide some information on a certain foreign word or its use in a particular context, or they can express their attitudes to borrowed words. Research indicates, that modern Russian discourse in general is characterized by "enhanced modality of communication" [24: p. 161]; therefore, the corpus of reflexive operators, including meta-contact reflexive operators, includes numerous evaluative utterances. The evaluation of foreign words may be positive, e.g.: *Collaboration… Я **очень люблю** это буржуазное слово. Уж не знаю, чем оно **мне нравится**, наверное, все-таки не фонетическими особенностями, а значением, смыслом* / *Collaboration… **I like** this bourgeois word very much. I don't know exactly what **attracts me** in this word, apparently it is not its phonetic peculiarities, but rather its meaning, its sense* (the *Komsomol'skaia Pravda* daily, 2000) (example borrowed from [24: p. 303]). Nevertheless, in most cases the metalinguistic appraisal of foreign language units is negative, which can be explained in a number of ways. From the point of view of comparative linguacultural studies, as outlined in a number of our previous publications [21; 22], unavoidable subconscious ethnocentrism, coupled with the traditional

reverent and loving attitude of Russian speakers to their native tongue, generates the perception of a foreign word as being alien, incorrect, and menacing to the Russian system of values. Consequently, the foreign word is typically rejected. For example: *А бойфренд у тебя есть? –Бойфренда нет. –Почему? – Потому что бойфренд –* ***это английское слово****. Это* ***что-то чужое****. Оно* ***мне не нравится****. У меня есть любимый человек* / *Do you have a* boyfrend? – *No, I don't. – Why so? – Because* boyfriend ***is an English word. It is something alien. I don't like it.*** *I have a person I love* (*Narodnyi Artist* TV show, the RTR TV channel, 2006). Comparative analysis of culture-related systems of beliefs and values underpinning such evaluations, as well as the analysis of a linguacultural clash realized and registered in the process of meta-contact reflection [22], make a separate fascinating topic of linguacultural meta-contact linguistics.

Unlike the most evident lexical and lexico-stylistic aspects of language contact, other types of Englishization, such as grammatical and phonetic influences, the borrowings of communicative clichés, pragmatic contact-induced innovations, etc., do not often make the focus of metalinguistic awareness and are not so often meta-linguistically evaluated. Nevertheless, when commented on they are also evaluated predominantly in a negative way. For example: *Нерусские дикторы и телеведущие, говорящие с акцентом, картаво, гнусаво и шепеляво…; Дикторы машут ручкой и нагло говорят «пока», как будто все зрители их собутыльники* / *Non-Russian TV hosts and anchors, speaking with an accent, burr, twang and lisp… They wave their hand to viewers and impudently say "bye", as if the viewers are their drinking companions* (example from [24: p. 303]); *Стыдно говорить (и это не западничество, а колониальное просматривается): «новости от Пупкина», «галстуки от Диор». Давайте говорить тогда: картины от Репина, роман от Достоевского, симфония от Чайковского. Я негодую, когда так коверкают великий и могучий русский язык!* / *It is a shame to say (and this is not just a westernism, but rather something of a colonial flavour): "news from Pupkin" or "ties from Dior". Let us then say "pictures from Repin", a "novel from Dostoyevsky" or a "symphony from Tchaikovsky". I am indignant when the great and mighty Russian language is distorted like that!* (I. Glazunov's interview, the *Argumenty i Fakty* weekly, 2005).

Conclusion

To conclude, it should be mentioned that the aspects of meta-contact reflection covered in this article do not exhaust the topic of meta-contact linguistics. Besides the process of Englishization of vernaculars, examined in this article on the example of its meta-contact reflection in modern Russian, folk contact commentaries are utilized in studying other aspects of language and culture contact. Among them are the reflections of bilingual persons on the differences between their native language and English, accompanied by "naïve" attempts at their explanation from the point of view of differences in culture types, e.g. [26: p. 26–27]; personal accounts of communication break-downs caused by misunderstandings in culture-related meanings of lingual units, e.g. [26: p. 9]; attitudes to English as a global language and its correlation with local variants of English, assessment of its influence (positive and negative) on local languages and cultures, e.g. [9: p. 89, 107]; attitudes to nativized variants of English (including their phonetical, grammatical and other peculiarities), in particular, from the point of view of their prestige, e.g. [6: p. 130–141, 180–181; 9: p. 60–61; 20: p. 61], etc. Besides, contact language studies are often based on meta-contact commentaries obtained not only with the help of purely linguistic method of textual analysis used in this article, but also with the help of sociolinguistic methods of participant observation, questionnaire polls, interviews and others [6; 20]. All this confirms the significance of further in-depth analysis of meta-contact reflexivity of language speakers, including the studies of meta-contact reflexivity on modern English-Russian contact.

REFERENCES

1. *Arut'unova, N.D.* Naivnye razmyshleniia o naivnoi kartine iazyka [Naïve Reflections on the Naïve Picture of Language] // Iazyk o iazyke [Language about Language]. –Moscow: Yazyki russkoi kul'tury, 2000. – P. 7–22.

2. *Gromyko, Yu. V.* Vek meta: sovremennye deiatel'nostnye predstavleniia o sotsial'noi praktike i obshchestvennom razvitii [Meta-Age: Modern Activity Perceptions about Social Practice and Social Development]. – Moscow: ARKTI Press, 2006.

3. *Gvishiani, N.B.* Metaiazyk [Metalanguage] // Lingvisticheskii entseklopedicheskii slovar' [Linguistic Encyclopedia] / Ed. by V.N. Iartseva, et al. – Moscow: Sovetskaia entsyclopediia, 1990. – P. 297–298.

4. *Iachin, S.E.* Metakul'tura – mesto tvorchestva lichnosti na granitse kul'turnykh sred [Metaculture – the place of creativity of a personality on the borders of cultural environments] // Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo [Personality. Culture. Society]. – 2010. – Volume XII. Issue 1 (№ 53–54). – P. 108–122.

5. *Jacobson, R.* Lingvistika i poetika [Linguistics and Poetics] // Strukturalism: "za" i "protiv" [Structuralism: pros and cons]. – Moscow: Progress, 1975. – P. 193–230.

6. *Jenkins, Jennifer.* English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

7. *Karasik, V.I.* Iazykovaia kristal'izatsiia smysla [Linguistic Crystallization of Sense]. – Moscow: Gnozis, 2010.

8. *Kashkin, V.B. and Kn'iazheva, E.A.* Kontseptualizatsiia perevoda v obydennom soznanii i nauchnom predstavlenii [Conceptualization of Translation in Everyday Consciousness and in Scientific Presentation] // Vestnik VGU. Seriia: Lingvistika i mezhkul'turnaia kommunikatsiia [Voronezh State University Bulletin. Series: Linguistics and Cross-Cultural Communication]. –2010. –№ 1. – P. 136–141.

9. *Kirkpatrick, Andy.* World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

10. *Kozhevnikova, N.A.* O iazyke khudozhestvennoi literatury russkogo zarubezh'ia [On the Language of Russian-language Literature Abroad] // Russkii iasyk zarubezh'ia [Russian Language Abroad]. – Moscow: Editorial URSS, 2010.

11. *Krysin, L.P.* Tolkovyi slovar' inoiazychnykh slov [Explanatory Dictionary of Foreign Words]. – Moscow: Eksmo, 2007.

12. *Marinova, E.V.* Inoiazychnye slova v russkoi rechi [Foreign Words in Russian Speech]. – Moscow: ELPIS, 2008.

13. *Maschler, Yael.* Metalanguage in Interaction: Hebrew Discourse Markers. – Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2009.

14. *Mechkovskaia, N.B.* Istoriia iazyka i istoriia kommunikatsii: ot klinopisi do Interneta [History of Language and History of Communication: from Cuneiform to the Internet]. – Moscow: Flinta, Nauka, 2009.

15. Metalanguage: Social and Ideological Perspectives / Ed. by Adam Jaworski, Nikolas Coupland and Dariusz Galasiński. – Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2004.

16. *Mey, Jacob L.* Pragmatics. – Malden & Oxford: Blackwell Publishers Inc., 2001.

17. *Nikolaev, S.G.* Inoiazychie kak metakomponent khudozhestvennogo teksta (k voprosu o bilingveme v poezii) [Foreign Language Unit as a Meta-Component of a Literary Text (on Bilingueme in Poetry) // Relga. Nauchno-kul'turologicheskii zhurnal [Relga. Scientific-Cultural journal]. –№ 2 [104]. – 07.02.2005. –Available at http://refrefer.ru/08/dok.php?id=0016

18. *Nikolina, N.A.* Aktivnye protsessy v iazyke sovremennoi russkoi khudozhestvennoi literatury [Active Processes in the Language of Modern Russian Literature]. – Moscow: Gnozis, 2009.

19. *Pan'kin, V.M. and Filippov, A.V.* Iazykovye kontakty: kratk'ii slovar' [Language Contact: Concise Dictionary]. – Moscow: Flinta, Nauka, 2011.

20. *Proshina, Z.G.* Osnovnye polozheniia i spornye problemy teorii variantnosti angliiskogo iazyka [The ABC and Controversies of World Englishes] – Khabarovsk, 2007. – Available at http://www.ffl.msu.ru/img/pages/File/Proshina/the%20abc.doc

21. *Rivlina, A.A.* O iavlenii "glokalizatsii" v semanticheskom razvitii angloiazychnykh zaimstvovanii [On "Glocalization" in the Semantic Development of English Borrowings] // Rossiia i Zapad: dialog kul'tur. Sb. statei XIII mezhdunarodnoi konferentsii [Russia and the West: Dialogue of Cultures. Proceedings of the 13th International Conference]. Issue 15. Part I. – Moscow: Moscow State University Publishers, 2010. – P. 299–308.

22. *Rivlina, A.A.* "Lingvocul'turnyi konflikt" i ego "naivnaia" metaiazykovaia interpretatsiia (na material'e vzaimodeistviia sovremennogo russkogo iazyka s angliiskim) ["Linguacultural Conflict" and its "Naïve" Metalinguistic Interpretation (on the Material of Modern Russian Interaction with English] // Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo [Personality. Culture. Society]. – 2011. – № 4 (in press).

23. *Troshina, N.N.* Kul'tura iazyka i iazykovaia refleksiia: analiticheskii obsor [Language Standards and Linguistic Reflexivity: Analytical Review]. – Moscow: RAN INION, 2010.

24. *Vepreva, I.T.* Iazykovaia refleksiia v postsovetskuyu epokhu [Language Reflexivity in Post-Soviet Era]. –Moscow: OLMA-PRESS, 2005.

25. *Wierzbicka, Anna.* Metatekst v tekste [Meta-Text inside the Text] // Novoe v zarubezhnoi lingvistike [New in Foreign Linguistics]. – Issue 8. Lingvistika teksta [Text Linguistics]. – Moscow: Progress Publishers, 1978. – Pp. 402-424.

26. *Wierzbicka, Anna.* English: Meaning and Culture. – Oxford & New York: Oxford University Press, 2006.

POLYVALENT PHENOMENA IN STUDY OF LITERATURE: TERMINILOGICAL AND FUNCTIONAL ASPECTS

G.A. Tokareva

Tokareva, Galina Al'bertovna – Doctor of Science (Philology), Head of the Department of Literature and Journalism of the Vitus Bering Kamchatka State University (Petropavlovsk-Kamchatsky).

E-mail: tga41@yandex.ru

The paper is devoted to the theoretical problem of describing so-called polyvalent phenomena and their functioning in a literary work/artistic text. A number of terms in the discursive practices of the present day humanities have a different meaning in different poetic epochs. This is determined by the development of consciousness and, correspondingly by different ways of artistic reflection of reality. The paper presents a hypothesis of the appropriateness of formation of the tendency towards the transition of worldview concepts into poetic concepts and their backward transition towards reconstructed forms of archaic poetics. The process is observed in the material of such interdisciplinary phenomena (and inter-discursive terms, correspondingly) as myth, irony, grotesque, parody, and etc.

Key words: polyvalent phenomena, inter-discursive terms, normative poetics, poetic of individual styles, grotesque, myth, irony, parody, macabre motives, reconstructed forms of archaic poetics.

Series of signifier is excessive as the language (sign system)
is always more than the achieved level of knowledge
fixed in the concepts (signifiers).
Gilles Deleuze

The terminology of literary studies, as in many other humanities, is formed on the basis of constant specification of the semantic fields of terms in the process of historical interpretation as well as the reciprocal influence of terminological registers of adjacent disciplines in humanities. What is of principal importance in this case is thorough examination in the process of studying different meanings (including contextual meanings of a term) and consideration of historical transformations of the terms. The experience of research shows that productive analysis of text can be accomplished only after assimilation of all possible meanings of theoretical literary terms and terminological selection implemented by the researcher. Such preliminary work is of extreme importance in order to avoid terminological claims.

Methodological approaches in the present day literary studies change rapidly which leads to radical change in terminology and unreasonable duplication at times, but in some cases necessary specification. This is connected with a slower but no less important factor of development – the development of human consciousness itself, taking into account the change of this consciousness in the process of research of cultural phenomena. Specialists ascertain that the categories of poetics are unstable. Even when they preserve their topicality within a long historical perspective, they change their aspect and meaning from period to period, enter new ties and relations and every time form systems which are special and different from each other [1: p. 3]. The process of changing the content of concepts connected with certain theoretical-literary phenomena takes a long time. The new content is comprehended, as a rule, gradually but can also result from the concrete discovery of a revolutionary status.

A number of famous researchers of the present day have attempted to subdivide the development of literature into three large-scale stages. This subdivision explains the process of transformation of the phenomenon itself and its scientific assessment. In the famous collective paper we referred to before three periods of the development of the poetics are distinguished: archaic, normative (traditionalistic) and individually-creative (historical). In the classification of S. Broitman (which lies at the basis of the structure of the course of historical poetics developed by the author) these stages correspond to the poetics of syncretism, the eidetic poetics and the poetics of artistic modality. At different stages of the development of human consciousness each artistic phenomenon functions differently. However the invariability of a term used at a certain period leads to the necessity to specify its nominative or functional meaning depending on the epoch this term is connected with. This necessary specification is very often forgotten by the specialists which leads to terminological confusion, to conversations about different phenomena as if they are the same. This, as is known from ancient comedy, has always led to the absurd and caused a comic effect.

Therefore, it makes sense to discuss polyvalent artistic phenomena as the basis for terminological differentiation or, at least, specification of the meaning of

each phenomenon if applied to different stages of development of human consciousness which is obligatory for a researcher. Aspiration for improvement of literary terminology with consideration to the above mentioned factors is our major purpose.

The most classical example of terminological "wandering" is the history of the term *myth* and the corresponding change of perception of the phenomenon itself. A certain degree of the conceptual stability that has been traced in science recently allows us to distinguish at least three meanings of the word "myth": myth as a narrative structure, story; myth as a special form of thinking that forms the ideas about the world of the ancient people; and myth as an illusion and a formation beyond science. The latter was very precisely defined by V. Khalizev as a "mythlike phenomenon" [5: p. 13]. We are going to discuss the first two meanings. There is no need to remind anyone that originally the term "myth" functioned in theoretical literary works in its first meaning (narrative structure) and researchers started to consider myth as a special form of the consciousness of the ancient only after myth had become a subject to intensive scientific attention during the period of romanticism.

"Myth is not fiction but the result of a psychological act" [Veselovsky A.N., cited from: [3: p. 347].

"Myth is a necessary category of consciousness and existence in general" [9: p. 25].

"Mythological material was the form of self-expression, the form of thinking and the form of living for the myth-makers" [19: p. 15].

"Myth is …a certain way of experiencing reality" [4: p. 41].

"Myth is a universal and only possible form of perceiving the world at a certain stage of its development" [3: p. 17], etc.

Despite the fact that the "pure … model of mythological thinking probably cannot be documented" [10: p. 533], researchers did their best to restore the basic principles of mythological thinking: pre-logism or a special logics of myth which implies inseparability of subject and object, of subject and its features, ideal and real, natural and supernatural, and etc. – which is defined by E. Meletinsky as "diffusion of consciousness" [11: p. 165]; breach of the rule of excluded third; substitution of the story of creation of the phenomenon for the description of this phenomenon, etc. To achieve this, researchers employed methods of ethnological, culturological and linguistic restoration as well as studies of children's thinking which can be compared with mythological thinking. Myth personifies generic categories, hypostatizes abstract concepts, the ideas are outlived quicker than conceived; human nature features are transferred to the objects and phenomena of the environment. A chronotopical model of the world is also developed in the consciousness of primordial man in a specific way. Space is interpreted as a paradox, homogenous in its local forms and discrete on the whole. Y. Lotman and B. Uspensky talk about "the patchwork character of mythological space" [10: p. 530]. This space is streamlined through the system of binary oppositions (up-down, right-left); a certain point or line (axis) is thought of as the center of the space and acquires various forms: mountain, tree, or pillar. The concepts of "center" and "periphery" reveal their relativity due to the universal idea of isomorphism. The time of myth is cyclic and tends to come back to the source, projecting "today" to "the beginning" and thus transferring to the category "always".

All these stable enough representations of the features of archaic thinking help reveal the most significant characteristics and functional peculiarities of the myth. It is the applied and functional aspect of the phenomenon which allows us to differentiate it from the nominative phenomenon, which is essentially, the product of this functional activity. Loading of the term with new meanings became possible fairly recently after a number of discoveries in different scientific fields dealing with the research of the collective unconscious.

Many philological categories, such as irony, grotesque, paradox, parody, the absurd and many others, lead similar "dual" or even "triple" lives. We suggest discussing the polyvalence of those phenomena which, under the same name, perform different functions at different stages of development of artistic consciousness. We also suggest accordingly giving the name interdiscourse terms to the terms, denoting these phenomena. We are going to appeal to some of these terms and to trace their history in order to at least distinguish the worldview concept from an artistic device.

The concept "irony" is one of the most vivid examples of a polyfunctional concept. It has several meanings even within the frameworks of well-established terminological system. There is no reason to prove the need for distinguishing irony as a philosophical category from irony as an artistic device. Here the researchers are unanimous enough. However, in order to avoid confusion of these two meanings of the term we will cite several most famous definitions of irony as a device, which will help us to come to the worldview concept of romantic irony in a more organic way.

In the philological encyclopedic dictionary irony is defined as follows: "Irony [Greek *eirōneia* – 'simulated ignorance', dissembling] is an evidently pretending representation of a negative phenomenon in a positive way in order to ridicule and discredit the phenomenon through carrying the very opportunity of a positive assessment to the point of absurdity, and to draw attention to the drawback which is substituted by a corresponding virtue in the ironic representation" [7]. In "Literaturnaya Entsiklopedia" (Literary Encyclopedia)

we find the following definition: "Irony is a kind of mocking whose distinguishing features should be acknowledged: calmness and restraint, quite often even a shadow of cold contempt, and, most importantly, the guise of a fairly serious assertion which covers negation of the merit of the phenomenon or person the irony refers to and which gives the irony a special, sometimes destructive power" [6]. M.I. Steblin-Kamensky calls irony one of the most sophisticated kinds of laughter and notes that "irony, i.e. mockery under the mask of approval" is "an intellectual kind of directed laughter" [16: p. 4].

Irony as a device is characterized by some "double-layering" of an utterance and combining oppositions in one point. The distance between the layers of the utterance is of no less importance (to convey this idea in a more precise way, the structure of an ironic utterance implies a distance determined by the "above" principle but not the "between" principle). These structural peculiarities of an ironic utterance give a foundation for distinguishing irony as a special kind of assessment so that laughter has not only an attributive characteristic (benevolent, revealing or bitter) but also a structural ("double-layering") characteristic. The specific feature of the utterance provoked arguments about the message (modus of artistry), which is called ironical (G. Pospelov, V. Tyupa, N. Frye).

The following fact is of principal importance for the life of polyvalent concepts: a worldview phenomenon, being realized in its aesthetic function (as an artistic device), comes back to its most archaic ontological function but now this function is sensible and put into shape within the frameworks of scientific discourse. This can be likened to the process when Molière's character becomes aware that he had spoken ***prose*** all his life without being aware of it. Historical existence of the term "irony" is just one of the vivid examples of such a "return" movement.

Historically the term "irony" is connected with the worldview concept and correspondingly with the phenomenon of gnoseological function, i.e. "Socratic irony". A.F. Losev etimologically traces irony to the semantics of talking, charm exorcism and casuistry. "The word 'irony'(*eiröneia*) derives from the word *eirö*, meaning "I say" / "I talk". The words 'ironik', 'deceiver', 'one who confuses with the help of words', 'one who thinks and says different things' derive from this word" (Lex. Gud. 171) [8, part VIII, ch.11, § 5][*]. During the epoch of formation of romantic aesthetics, Friedrich Schlegel formulated the concept of irony mainly on the basis of gnoseological methods of antiquity. Later this concept was called romantic. As is known, Socrates prompted his interlocutor to the movement of thought asking "simple" questions which provoked a problem situation and in this way he contributed to the birth of an idea. As the German romanticist wrote, Socratic irony was the only case when dissembling is both involuntary and perfectly deliberate at the same time. It is equally impossible to call it forth through artificial effort and to avoid its tone. For those who do not possess irony, it remains a riddle even after the most sincere confession. It should not deceive anyone but those who consider it an illusion are either glad seeing *this magnificent slyness that laughs at the whole world*, or angry, being suspicious that they are not an exception. In irony, everything must be a joke and everything must be in earnest, openheartedly outspoken and deeply pretended. It appears when flair joins the art of life and scientific spirit, and when the completed philosophy of nature coincides with the philosophy of art. It contains and *causes a feeling of unsolvable contradiction between the absolute and* the *conditional, a feeling of impossibility and need for complete utterance.* It is the freest among all freedoms because *it lets man surpass himself* (italics added – *G.T.*). Simultaneously, it possesses all kinds of laws because they are undoubtedly necessary. It should be considered a good sign that harmonious vulgar men do not know how to treat this constant self-parody, when one should believe and not believe by turns, until they become dizzy and they take jokes seriously and take serious things for jokes" [cited from: 8, part VIII, chapter 11, § 5][*].

F. Schlegel saw romantic irony not only as an opportunity to refute any claim on idealness but also as a way to reconstruct the wholeness of the world. The essence of irony is to admit no half-life on the one side and half-life on the other…. Irony wants an integrated life where facts in their prosaism and poetry following them would come together. Irony is an aspiration for the integrated truth [15: p. 238]. It is perfectly clear that Schlegel gives the term "irony" a semantic meaning different from the modern meaning – dialectical-philosophical and correspondingly wider.

Researchers have noted repeatedly that the same concept appears in the works of German romanticists under different names (for example, "irony" – in works of K. Solger and Schlegel, and "humour" – in works of Jean Paul). This testifies to the instability of new terminology. The contents of both these terms are not identical with their meanings in modern philology and modern philosophy. Nevertheless, the idea of the theorists of romanticism is clear: the issue here is a certain worldview concept of romanticists which is connected

[*] Reference to the online source.

[*] Reference to the online source.

with the idea of the infinite striving for the ideal. Romantic irony implies constant verification of the world for the dynamism of its development. Romantic irony determines the impossibility of fixing on an absolute state of a phenomenon and the world on the whole and requires regular destruction of the absolute as the limit of development and calls for continual movement from a destroyed absolute to a new one.

The comic and the tragic are joined in the point of attaining of absolute as destruction of another limit of development and change of paradigm are simultaneously the tragedy of death and joy of renewal. Thus, both tragic and comic types of reflection are appropriate in romantic irony.

The history of culture has a concept of "Homeric laughter", i.e. the laughter of gods at the imperfection of mortals and their deeds. A.F. Losev while interpreting works of Neoplatonist Proclus (412 – 485 BC) took notice of the definition of Homeric laughter given by this ancient philosopher. The latter defined it as "inextinguishable" (asbestos) and interpreted divine laughter as "generous energy directed at everything". Further one can find in the works of Proclus that "Laughter applies to universal and eternally identically moving fullnesses of universal energy" [8: part 9: ch. 1][*] Many of the Romantics were interested in the teachings of the Neoplatonist and obviously perceived laughter as a certain pleroma similar to the material prima with its creative potential (e.g. fire).

Romantic irony in the philosophical tradition of an epoch comes out as a form of enduing humankind with features of god: a romanticist dissociates himself from the low world and assumes the function of a god laughing homerically. But the laughter of Romantic heroes is always tragically anguished which makes it impossible to identify the laughter of a free deity with the laughter of a Romantic hero who is raised above the mortal world of creatures. The laughter of these heroes signifies their spiritual victory over the finite existence of man and Death as the major enemy of mortal corporal man.

By the end of the 19th century, the term "romantic irony" perceived within the context of the dialectic theory of Hegel or the Apollonian and Dionysian concept of Nietzsche was widely understood philosophically and in philology it became a synonym of the dialectical type of thinking. The latter implies *derision* or, in different words, ritual destruction of the previous obsolete system (ideological, social or poetological) which makes specialists preserve the term 'irony" as conceptually significant within the frameworks of new discourses.

[*] Reference to the online source.

Let us give another example of the polyvalent concept, the grotesque. We are going to present the genesis of the concept "grotesque" and, correspondingly, the origin and transformation of the term denoting it. As is known, originally *grotesque* meant a specific phenomenon – a fanciful ornament consisting of the interweaving of forms of a hybrid type. This ornament was found during the excavations of the "Golden House" (Domus aurea) of the Emperor Nero at the turn of the 15th-16th centuries. The ornaments were given the name "grottesche" deriving from the Italian word "grotto" which means grotto or cave. The subsequent broadening of the concept was impetuous and quite predictable, as such a metamorphosis is not a rare thing in the history of the Humanities with their disposition to use concrete definitions in a metaphorical way.

At present the concept "grotesque" includes at least three meanings:

Grotesque –1 – an artifact, ornamented with fanciful forms.

Grotesque – 2 – the character of perceiving reality, when the phenomena of reality appear in hypertrophied and intricate form.

Grotesque – 3 – a device implying exaggeration and confusion of the components of the phenomenon.[1]

Proceeding from definition 3, the grotesque can be defined as a kind of artistic figurativeness (image, style, genre). It is also very important to remember here that grotesque was designated as a character of perceiving reality as well, because the image can be formed in both ways: consciously and unconsciously, relying on the unconscious (archetype figurativeness).

Different researchers tried to distinguish the basic feature of grotesque which could provide the basis for its definition. For the majority of researchers this basis

[1] We would like to draw the readers' attention to the fact that The Big Encyclopedic Dictionary (Rus. БЭС) has an indication to the ontological status of grotesque but this status is not registered as a separate meaning of the term.

Grotesque – (French *grotesque*, literary – intricate, comical),

1) ornament in which decorative and graphic motifs (plants, animals, human forms and masks) are interwoven in a fanciful and fantastic way.

2) A kind of artistic figurativeness that unites and focuses life relationships through intricate and contrasting combinations of real and fantastic, likelihood and caricature. It sharply shifts the forms of life and creates its own artistic world which cannot be understood literally or decoded unambiguously as in allegory: grotesque is directed towards integral and multifaceted expression of the basic cardinal problems of human life. It is characteristic of artistic thinking from the earliest times (mythology, artistic works of F. Rabelais, N.V. Gogol, F. Kafka, M. A. Bulgakov, H.Bosch, P. Bruegel, H. Daumier, M. Shagal and others).

is a combination of alien elements (hybridity) and exaggeratedness of the image. L. Pinsky's statement that "grotesque in arts is kindred to paradox in logics" is cited quite often. [13: p. 120]. No less often, authors refer to the definition of M.M. Bakhtin, who wrote that the grotesque is linked with "eternal unreadiness of existence" [2: p. 40] which assumes an endless sequence of the world's transitions from one condition to another. Neither of the definitions, being out of the author's context, gives unambiguous clarification of the phenomenon "grotesque".

Here is obvious the conventionality of the term "grotesque" which has different contents in different epochs (grotesque archaic and modern, which can correspond to the medieval and the Renaissance grotesque on the in the former case, and to the grotesque in the art of the new time in the latter). Functioning of the term requires invariable specification of the term, i.e. "vitalist" (archaic) grotesque. In archaic grotesque, the phenomenon of corporality or the concept of "generic body" (the term of M. Bakhtin) is of extreme importance.

Grotesque is doubly ambivalent: ontologically (combination of different forms) and receptively (evaluation of a phenomenon on the level of perception – scary or funny, dreadful or ridiculous). The choice of aesthetic reaction of archaic grotesque is predetermined: due to the fact that abundance of flesh and its deformation is not connected with a separate organism but refers to the generic body, the concept of the hideous is smoothed over. Separate parts of the generic body are disharmonic but as a whole it is beautiful because the very idea of turbulent life is concentrated in it. Prominences, incrustations, chasms and blending of forms and demolition of the borders of an individual body are, essentially, the bubbles of ferment in the colossal ***productive*** mass excessively growing on these yeasts.

The vital power of such grotesque images was especially vividly fixed by the culture of the Middle Ages (H. Bosch, P. Bruegel the Elder, F. Rabelais). Intricate forms of these grotesques rather surprise than shock. "Grimaces" of the grotesque figures cause laughter whose healing effect has been known since ancient times. M. Bakhtin linked this phenomenon with the phenomenon of carnival. Heathen atavisms were preserved with a striking persistency in the consciousness of Christianized masses, i.e. in folk culture first and foremost, playing a significant role in such perception of grotesque images.

The grotesque image is a sign of the wholeness of the world at the stage of its transition from one state to another. Simultaneously, activation of grotesque forms is a reminder of the need to restore the volume of the world, the reminder of the world's dialectical unity and the sign of the need for establishment of balance.

The romantic culture observes the change in the content of the concept "grotesque". The more lonely is a character (in Romanticism he is lonely, as a rule) the more impetuously the idea of an ancestral body is destroyed. And, consequently the psychological protection of an individual consciousness which was ensured by the idea of the human involvement in the entire world becomes weaker. Romanticism gives birth to principally different types of grotesque images, tragic and frightful, for another reason: romantic consciousness turns out to be at the joining of the old and the new (time) and the physical and metaphysical worlds (space). The frightful grotesque is the product of reflecting consciousness which doubts the almightiness of the reason.

The blending of the parts of the ancestral body is seen as hideous and frightful: the anomaly of forms ceases to be a promise of new harmony and the world seems to stop dead with a comic grimace on its face. Absence of further movement transforms the mimic grimace of a jester into a mask of horror (F. Goya, E. Poe). Fancifulness of combination in the grotesque of the 20th century, in neo-romantic literature, grows into absurdism that expresses the existential helplessness of man (F. Kafka, F. Sologub, J. Cortazar, S. Dali and others).

The next question is connected with the attribution of grotesque to the sphere of the comical. Theorist architects of the studies of the problem tend to inseparably link the grotesque with the comical and understood it as an artistic device which inevitably led them to recognition of grotesque as a tool of satirical depiction. It was proved convincingly enough lately that the grotesque can be linked with both the tragic and the elevated and not only with the comical. This required the giving up of the identification of grotesque and hideous which could be observed in the speculations about grotesque in the foreword to the drama "Cromwell" of V. Hugo. At the stages of demand for grotesque as a means of satirical depiction the principles of hypertrophy of depiction, intentional exaggeration and outgrowth of some sides of a phenomenon come to the fore. Hyperbolization intensifies the effect of deformity which gives ground to perception of the image as comical because even something very frightful becomes ridiculous when brought up to absurd size. Hyperbolization also contributes to the concentration of negative features of a phenomenon which are invisible in the real situation but become perceptible when enlarged. The realistic grotesque of the modern time is mainly the satirical grotesque. This grotesque can be called "tamed". Grotesque image begins to obediently perform aesthetic functions. It should be noted that satirical grotesque (J. Swift, M. Saltykov-Shchedrin) is no less called for than mystical-fantastic grotesque.

A conclusion suggests itself that the satirical grotesque should be considered as an aesthetic category, and the mystical-fantastic "untamed" grotesque as an

existential category. It is this discrepancy, probably, that generates numerous controversies of philologists about the status of grotesque: whether it is a category of form or content. Co-existence of mystical-fantastic and satirical grotesque in literature and art is possible even within the works of one writer, i.e. N.V. Gogol and E.T. Hoffman.

We have evidence that the term "grotesque" acquires different content at the different stages of its functioning. Analysis of this metamorphosis shows that widening of the semantic field of a term is caused by giving up simple nomination of a phenomenon as in the case with the concepts "myth" and "irony" (as an artifact in case with grotesque or a narrative structure as in case with myth) and its understanding as a worldview category (myth = mythological consciousness) or as parts of the picture of the world (vitality grotesque), or as a worldview principle (romantic irony). All stages of transformation are explained from the point of view of the laws of development of human consciousness: from sensory-concrete perception of the world to abstracting concepts and distinguishing typological laws; and simultaneously from archaic non-compartmentalization of subject and object and corresponding forms of its depicting to formation of valuation/appraisal-aesthetic attitude to the object. At the last stage a phenomenon is recognized a *device* of depiction that corresponds to a certain modus of artistry.

One can draw up the following typological line:

Grotesque (artifact) – grotesque (character of perception of the world) – grotesque (artistic device).

Irony (gnoseological method) – irony (worldview principle) – irony (artistic device).

The same regularities can be traced in the transformation of the terms "macabre" (dances of death), "parody" and some others. In the case of parody (we considered first and foremost the phenomenon *parodia sacra*), it seems that this phenomenon is interpreted aesthetically even at the early stages of the development of arts (i.e., parodia sacra, considered as a *genre* of medieval literature). However one should remember that echoes of ritual-mythological practices are still strong during that epoch, especially in mass literature. In the Medieval period, the latter had an expressed religious orientation and the genre acts as a spontaneously formed artistic structure closely connected with ritual-mythological tradition.

In our judgment, *parodia sacra* in the late Medieval period was a serious attempt to retain this tradition and to preserve the ritual character of laughing in various forms of carnival. This was, maybe, the last effort of the mythological consciousness to preserve its positions. During the subsequent epochs, carnival is gradually pushed aside to the social periphery in the hierarchy of aesthetic values and becomes a marginal phenomenon and a sign of plebian culture. Thus, it was the New Time that formed what we call a literary parody, i.e. the genre itself as an aesthetic category. The suggested triadic structure remains valid within this approach.

Thus, beyond the limits of the archaic period a disintegration of original syncretism takes place and an urgent need for dividing the worldview and aesthetic functions of a phenomenon arises. This simply requires terminological differentiation at least at the grammatical level. For instance, it would be very convenient to nominate the myth in its second meaning *mythological consciousness,* and to nominate *parody,* which would lead to certain semantic specifications.

Such a specific phenomenon in the history of culture as macabre (dance of death) can be considered as a polyvalent phenomenon. It has even larger bases for such consideration as we deal with the interdisciplinary concept that leads us to the general philosophical (or to be more exact to culturological) level.

The motif of "dance of death" endured significant changes when it transferred from a heathen context to the Christian context. Principally different meanings of "dance of the dead" of heathen rites and edifying character of the genre *dance macabre* of the Medieval period allow us to consider this phenomenon as polyvalent, and the term as multifunctional. "Slovar' srednevekovoy kultury" (The Dictionary of Medieval Culture) gives the following definition of the concept *macabre*: «Dance of death (German Totentanz, French dance macabre, Spanish danza de la muerte, Dutch doodendans, Italian ballo della morte, Eng. dance of death) is a synthetic genre that existed in European culture from the middle 15th century to the first half of the 16th century and presented an iconographic story accompanied with verse commentary, *a dance of skeletons with the recently deceased* (italics added – *G.T.*)" [14: p. 361].

Then, the author of the article, M.Y. Reutin, supposes that the iconographic variant of the plot of the dance of death migrated to England from France. He writes: "During the British occupation of Paris the murals of the cemetery of Innocently Killed Infants were copied by a monk John Lydgate. Several years later, about 1440, the Dance of Death appeared in London on the cemetery wall of the St. Paul Monastery and later on in one of the parish churches of Stratford. The Tower has a tapestry with woven silhouettes of the deceased and skeletons" [ibid.]. For the Medieval didactic literature or iconography, the theme of death was a means of moral/ethical comprehension of life and human activities on the basis of the Christian tradition of juxtaposing the body and spirit. We are interested in the *form* of presenting the motif of death – dance – as the form that ascended from the ancient heathen ritual culture and correspondingly indicated its ontological function. In the history of literature and

art, Dances of death were perceived as a genre in connection with the formation of the system of ethic values of Christianity. Essentially, they were an adaptation of heathen ideas of the struggle of life and death to the ethic system of Christianity.

The ancient nature of ritual dances with participation of Death as a personage is obvious. C.G. Nesselstrauss writes: "In 'Dance of death' (Medieval genre is meant – *G.T.*) the echoes of pre-Christian folk superstitions about cemetery dances of deadmen are alive" [12: p. 147]. The motif of the dance and the triumph of joy undoubtedly contain the ancient meaning of the struggle of life with death. Ritual practices of the ancient times provide multiple examples of burials accompanied with dances of a magic nature. The meaning of such dancing might be of two kinds: it was either a martial dance that symbolized opposition to the forces of death, or a dancing ritual which summoned new birth through merriment and lavish drink and food (these two motifs are connected semantically). The latter meaning is wider spread and is given as an example by many researchers of mythological and myth-ritual schools.

O.M. Freidenberg links dance with "light, sunshine, its new birth and then with the sexual act" [3: p. 123]. Dancing and its rhythm are absolutely symbolic and intuitively ontological: rhythm and many figures in dance (i.e. the ancient round dance) are signs of returning activity and a compulsory element of the cyclic model of the world. This rhythm is reminder of the sexual act and conception. The very name "death dancing" is oxymoron in its basis and this fact naturally suggests a thought of the ancient nature of this motif implying ambivalence of this concept. Sorrow and joy, as interconnected (but not mutually exclusive) concepts found their reflection in commemoration rites where lavish food and drink was to symbolize the revival of the flesh. In accordance with the same logic, "feast" becomes a metaphor of death. It is interesting to note the penitential literature that constitutes the basic corpus of the works of the genre of "death dancing" and reminds us of the equality of all living creatures before God contain monologues which remind us of the humorous rhymes at the folk theatres in the town squares. One can find the echoes of ritual dances combining joy and seriousness in both folk theatre and in a comedy drama under this theatrical tradition. W. Thackeray wrote that without music we could not understand the dance of the comedy of the previous century – its strange seriousness and simultaneous joy, its stiffness/primness/standoffishness and shamelessness together [17: p. 59–60].

The Medieval genre macabre can be called an illustration of edifying mystery plays about death and this is noted out by practically all specialist-culturologists. "Dance of death" as some philosophical motif in the works of such romanticists as W. Blake ("Milton" and "Jerusalem") or E. Poe ("Mask of Red Death") lack the edifying quality and mystery and persistently return the reader to the ontological meaning of archaic rites. Heathen round dances unite but Christian moral divides and overrides in the same way as vital laughing unites and creates a distance of satyr (the satirical element is quite vivid in edifying Dances of death).

We receive evidence that even in the history of such a specific phenomenon as the macabre, one can trace the same tendencies as in the history of the whole series of philological terms: the worldview phenomenon gives its name to a poetological phenomenon. In this particular case it becomes the name for the whole genre and its ritual origin with its ontological function is restored during the epoch of destruction of normative poetics as a sign of new understanding of archaic ideas of the laws of existence. And again the triadic principle turns out to be applicable to the history of the cultorological phenomenon now.

Macabre / dance of death (magic ritual) – macabre (dialectic concept of existence) – macabre (genre).

Thus, the three-part structure which is renewed periodically illustrates the designated processes of transformation of consciousness in the system and obviously demonstrates the stages of formation of a concept, "recurrency" of the movement of meanings and inevitable polyvalence of some phenomena as an invariable and inevitable quality.

REFERENCES

1. *Averintsev, S.S.* Kategorii poetiki v smene literaturnyh epoh [Categories of poetics in the change of literary epochs]/ S.S. Averintsev, M.L. Andreev, M.L. Gasparov, P.A. Grintser, A.V. Mikhailov // Istoricheskaya poetika. Literaturnye epohi i tipy khudozhestvennogo soznaniya [Historical poetics. Literary epochs and types of artistic consciousness]. – Moscow: Nasledie, 1994. – P. 3–38.

2. *Bakhtin, M.M.* Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekovya i Renessansa [Creative work of] / M.M. Bakhtin. – Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1990. – 543 p.

3. *Freidenberg, O. M.* Poetika syuzheta i zhanra [Poetics of the topic and genre] / O.M. Freidenberg. – Moscow: Labirint, 1997. – 448 p.

4. *Hübner, K.* Istina mifa [The Truth of the Myth] / K. Hübner. – Moscow: Respublika, 1996. – 448 p.

5. *Khalizev V.E.* Mifologiya XIX – XX vekov i literatura [Mythology of the 19th-20th centuries and Literature] / V.E. Khalizev // Vestnik MGU. Seriya 9. – 2002. – № 3. – P. 7–21.

6. Literaturnaya entsiklopediya: slovar' literaturnyh terminov [Literary Encyclopedia: dictionary of literary terms] In 2 volumes. Vol. 1. / Edited by N. Brodsky, A. Lavretsky, E. Lunin, V. L'vov-Rogachevsky, M. Rozanov, V. Cheshikhin-Vetrinsky. – Moscow; Leningrad: Publishing House L.D. Frenkel, 1925. – 576 p.

7. Literaturny entsiklopedichesky slovar' [Literary encyclopedic dictionary] / Edited by V.M. Kozhevnikov,

P.A. Nikolaev. – Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1987. – 752 p.

8. *Losev A.F.* Istoriya antichnoy estetiki. Itogi tysyacheletnego razvitiya [History of Antique Aesthetics. Resume of thousand-year development] / A.F. Losev // Istoriya antichnoy estetiki, Vol. 8, books 1 and 2. – Moscow: Iskusstvo, 1992, 1994 [Online]. – Available: http://www.philosophy.ru/library/losef/iae8/index.htm.

9. *Losev, A.F.* Filosofiya. Mifologiya. Kul'tura. [Philosophy. Mythology. Culture] / A.F. Losev. – Moscow: Politizdat, 1991. – 525 p.

10. *Lotman Y.M.* Mif – imya – kul'tura [Myth – name - culture] / Y.M. Lotman, B.A. Uspensky // Lotman Y.M. Semiosfera [Semiosphere]. – St-Petersburg: Iskusstvo, 2000. – P. 525–543.

11. *Meletinskiy, E.M.* Poetika mifa [Poetics of the myth] / E.M. Meletinskiy. – Moscow: Vostochnaya literature RAN, 1995. – 408 p.

12. *Nesselstrauss, C.G.* "Plyaski smerti" v zapadnoevropeyskom iskusstve XV v. kak tema rubezha srednevekovya i Vozrozhdeniya ["Dance of death" in the Western-European arts of the 15th century as the theme at the turn of Medieval and Renaissance]/ / C.G. Nesselstrauss // Kul'tura Vozrozhdeniya i srediniye veka [Culture of Renaissance and Medieval Ages]. – Moscow, 1993.

13. *Pinskiy, L.M.* Renesssans. Barokko. Prosveshchcenie [Renaissance. Baroque. Enlightment] / L.M. Pinskiy. – Moscow: RGGU Publishers, 2002. – 829 p.

14. *Reutin, M.Y.* Plyaska smerti [Dance of death] / M.Y. Reutin // Slovar' srednevekovoy kul'tury [The Dictionary of Medieval Culture]. – Moscow, 2003. – P. 360–364.

15. *Schlegel, F.* Estetika. Filosofiya. Kritika. [Aesthetics. Philosophy. Critique]. In 2 volumes. Vol. 1 / F. Schlegel. – Moscow: Iskusstvo, 1983. – 447 p.

16. *Steblin-Kamenskiy, M.I.* Appologiya smekha [Apology for laughing] / M.I. *Steblin-Kamenskiy* // Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka [Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Literature and Language Series]. – Moscow, 1978. – Vol. 37. – Iss. 2. – P. 149–156.

17. *Thackeray, W.* The English Humourists of the Eighteenth Century/ W. Thackeray. – Leipzig, 1853. – P. 57–67.

18. *Toporkov A.L.* Teoriya mifa v russkoy filologicheskoy hauke XX veka [The Theory of Myth in the Russian Philology of the 20th century] / A.L. Toporkov. – Moscow: Indrik, 1997. – 456 p.

19. *Yung, K.G.* Dusha i mif. Shest' arkhetipov [Soul and Myth. Six Archetypes] / K.G. Yung; translation from Eng. – Moscow: Sovershenstvo; Kiev: Port-Royal', 1997. – 384 p.

AMERICAN NEWSPAPER PHRASEOLOGY: THE FORMATION OF EXPRESSIVENESS

V.V. Fyodorov

Fyodorov, Vitaliy Viktorovich – Candidate of Science (Philology), Associate Professor, the Head of the Department of Translation Studies and Oriental Languages, Vitus Bering State University (Petropavlovsk-Kamchatskiy).

E-mail: vvfyodorov@mail.ru

The article reviews the linguistic tools to be used for the formation of the expressivity of American newspaper phraseology.

Key words: newspaper phraseology, phraseological unit, expressivity, imagery effect, metaphor, image, symbol, metonymy

Currently, expressiveness is one of the main demands placed on the language of the press. More than by lexicon this demand is covered by phraseology. In comparison with single words, phraseological units represent notions in specific and imaginative-abstractive form.

In the research of contemporary scientists a narrow lexical approach to phraseology is replaced by the investigation of the world of phraseological imagery which forms expressiveness correlated with typical ethnic situations. The researchers distinguish two objects in the marking of cultural and national specificity of phraseology: its lexico-grammatical composition and the model of its image-motivated inner form. The problem of the study of cooperation between notional information and its linguistic representation is linked with the study of human mental mechanisms for world perception and realization.

Thus, many linguistic problems are treated in the aspect of national world vision which allows us to define the language as a cognitive process included in the general cognitive mechanism as the major form of fixation for knowledge about the world [6: p. 100–150].

The picture of the world of any linguocultural community as a whole is formed by the language as the tool for implementation of various cultural conceptions, stereotypes, symbols, norms, etc. organizing the given community into a society. All that is formed in a language and perceived by a human being passes through cognitive processing – interpretation through the system of extra linguistic information. The information of phraseological unit is interpreted with the help of knowledge, and by means of cognitive procedures. Here belong denotative processing (mental operations with the knowledge about the properties of the nominated object), estimative processing, motivation processing (mental operations with the imaginable or actual image structures), emotive processing (emotional and evaluative response on image structure), and stylistic processing.

In such a manner the language bearer who possesses particular cultural knowledge activates the mental structures holding the required background knowledge. It resolves the problem of variability of interpretation and leads to the implementation of the author's pragmatic goal which is possible only under the conditions of full coincidence of the information sender's and receiver's world pictures, background knowledge and stereotypes.

Phraseological expressiveness is analyzed into two types: usual expressiveness characteristic for phraselogical unit in paradigmatics and occasional expressiveness which could appear in the process of actualization of phraseology in the text. Herewith one must admit the assertion of N.L. Shadrin who considers that "occasional transformation represents itself not as an anomaly, not as an accidental infraction of usual language norms but the actualization of one of acceptable forms of the use of phraseological units and therefore should be treated as a phenomenon lying within the limits of language norm" [7: p. 6].

The analysis of the phraseological units selected from the texts of contemporary American press allows us to come to the conclusion that the most abundant tool forming expressivity is imagery. This fact is explained by the nature of these units themselves: most of them appeared thanks to the transfer of the meaning.

The term "imagery effect" is used to denote "the property of an image as a linguistic expressive tool to create the specific perception of the denotative meaning thanks to the mediate (figurative) expressive and pictorial method of its representation" [3: p. 1].

The imagery effect in most of newspaper phraseological units is implemented by means of the wide use of figures of speech (tropes). Metaphor, which is a pure pragmatic entity, plays one of the leading roles here as far as phraseological units render/call emotive-evaluative attitude of the sender/receiver to the nominated object through the image, through the associative conceptions created by inner form.

The most productive among phraseological units in newspapers are substantive and verbal phraseological metaphors bearing nominative and processional meanings.

The metaphorical process in the language of American press is rich and varied in form. Metaphor rises thanks to the peculiarities of human mentality which grasps the deep interrelations, hidden concepts and regularities in their transformations in the process of utterance organization. To understand newspaper metaphor is to specify which of the nominated object properties are emphasized in it and in what way there are supported by associative complex, what its ideological orientation is.

The analysis of American press phraseological metaphors shows that their dissimilarity with colloquial, scientific (technical) and belles-letters metaphors demonstrates the difference in actualization of single metaphorical (differences in semantic-structural organization and language operation) rather than in their constitutive properties. There is not any specific "newspaper" metaphor which differs fundamentally from other types of metaphors. Newspaper metaphor is based upon the same mechanism of formation as any other. It can perform in the language of press the main functions of metaphor (indicative, cognitive, expressive-evaluative, and expressive). Its research admits generally accepted typological approaches based on semantic, structural, and functional criteria. Newspaper metaphor reflects all main directions and types of metaphorical processes. Finally, newspaper metaphor has a universal anthropocentric character.

According to A.G. Artyomova's definition, "the formation of new meaning of the metaphor is characterized by two entities: its focus or the main subject, referent of metaphor and the filter or supporting subject – image or conception which corresponds to the direct meaning of the lexical unit giving the name to the metaphor" [2: p. 20]. The focus in newspaper phraseology is metaphorically nominated socio-political reality.

Metaphor already on the level of the writer's intention aims to provoke the emotive-evaluative response to the described reality on the basis of the image. It signals that the focus (nominated subject) related to the filter (method of nomination) as if it were the concept corresponding to associations provoked by the image represented in the inner form of phraseological unit. It usually appeals to the intuition leaving room for the creative interpretation of text's addressee. The set of newspaper images as a rule mirrors the correlation between specific national and universal in the minds of representatives of different social groups.

Thus, in the language of the American press there is the a tendency to avoid the use as the metaphor filter abstract images embarrassing its decoding but to employ the images of familiar, "close" to humans physical entities, possesses, and properties. Such images add to the metaphor demonstrativeness, clearness, in some cases "earthliness" simplifying the process of its perception and decoding.

The nominal potential of fauna is widely used in American press. Almost all biological classes become the components of newspaper metaphor: animals: *cat (fat cat; thing cat); dog (top dog; under dog; war dog; watch dog); horse (dark horse; dead horse; man on the horse back; stalking horse; war horse);* birds: *duck (lame duck; sitting duck); pigeon (stool pigeon*); fishes, insects, as well as the nominations of parts of their bodies: *fish (fishing expedition; fish-bowl diplomacy); bee (presidential bee); bug (big bug); paw (cat's paw); etc.*

The use of fauna words is tightly related to the way of life, history, and culture of any nation; with the conceptions and beliefs which are often variants of mythological and biblical concepts, with folklore, legends, and stories. The use of fauna nominations in phraseology by journalists ideates in the mind of the newspaper text addressee the particular image referring to this image conceptions, activates invariable associations defined by the fact of addresser and addressee belonging to the common community, to the common cultural area.

Thus, socio-political reality of the "active" type is associated among Americans with such images as *dog, horse*. These images form the dynamic characteristics of socio-political phenomena, political leaders, procedures, etc.: *man on horse back; stalking horse; top dog; war dog; war horse; watch dog; etc.*

The images of cat, duck, fish, in their turn are indicative for metaphorical nomination of socio-political reality of "non-active" type. Americans associate them with non-dynamism, duality, and secrecy: *fat cat; lame duck; fish-bowl diplomacy; etc.*

Rare for most of language bearers nominations of "petty" and exotic fauna and plants are not widely distributed among newspaper metaphor images. If the image is not habitual it should be characterized by some individuality: it is to be of unusual size, very beautiful, amusing, etc: *kangaroo (kangaroo ticket); ostrich (ostrich policy); etc.*

However the main criterion for image availability to be used as a newspaper metaphor filter is in its habitualness for most of newspaper text addressees. Probably, for this reason most newspaper metaphors are based on images belonging to the thematic group "Human being". In the phraseology of the American press one could find the phraseological units appeared on the basis of figurative use of nominations of the parts of human body and physical parameters of a man: *arm (arm-twisting policy; blood (blood bath); body (body snatcher); brain (brain drain; brain trust); head (head hunting); jaw (jaw boning);* figurative use of nominations of professions, trades, and positions: *ad-*

vocate (advocate of peace); broker (political broker); captain (captain of industry);doctor (spin doctor); etc.

Among metaphorical images are also the nominations of objects used in everyday life by people: things: *bag (bag of ideas); umbrella (nuclear umbrella);* foodstuffs: *carrot (carrot-and-stick policy); potato (hot potato);* одежды: *belt (black belt; corn belt; rust belt; sun belt); glove (kid-glove diplomacy); gum-shoe (gum-shoe campaign); pocket (pocket veto);* premises, constructions, etc: *bridge (bridge of friendship); fence (fence sitting; fence mending); kitchen (kitchen cabinet); room (smoke-filled room); etc.*

The specific national coloring of American press phraseology is given by the images reflecting approach to life of Americans as to fascinating activity peculiar in its dynamism, quickly changed environment, brightness. The images of games (honest and unfair), performances, shows, and actions in general are close to any American and easily found in the cultural background of American nation life. Accordingly, one could find among the components of newspaper phraseological units such lexemes as: *game, goal, play, race, tricks, etc.: big game; congressional race; dirty tricks; goal hanger; name of the game; own goal; presidential race; play of forces; etc.*

The technocratic life of Americans is rendered by phraseological images related to various gear, vehicles, armaments, technical achievements, industrial innovations, etc.: *big gun; big wheel; grid lock; launching pad; loose cannon; salami technique; spook factory; steam roller; etc.*

The typology of newspaper metaphor focus also represents the evident interest. The selected material shows that the subjects of metaphorical nomination primarily are: state policy: *gag law; kid-glove diplomacy; loyalty purge; shirt-sleeve diplomacy; etc.,* characteristic of political leader/party: *all outer; black biter; living legend; merger maniac; page oner; swallow tail; etc,* political leader/party activity: *gum-shoe campaign; political racketeering; to look after one's fence; to play politics; yellow fund; etc,* parliament activity: *floor leader; gag rule; gavel rule,* elections: *fat frying; kiss of death; off years; running mate; solid South; spoils system; watch dog; etc.,* socio-economic problems*: brain drain; corn belt; feather bedding; quality circle; rat race; social escalator; wild cat strike; yellow contract; etc.,* mass media activity: *body snatching; brass check; dope story; flash bulletin; Fourth estate; hot copy; scandal sheet; etc.*

Here it must be emphasized that negativism dominates in the application of metaphorical phraseological imagery.

The use of symbols in American newspaper phraseology is also of special interest. Symbol is wider than image; it leads to the image meaning extension, to the appearance of additional values intimately connected with the image. Thus, the symbolic structure includes objective image and internal value. As A. Shaff notes, "… the deep essence of symbols … is in the fact that they take the abstract notion closer to the man demonstrating to him the abstract content in the image of a material object, i.e. in the form which is easier for mind perception and memory holding" [8: p. 194].

Among the abstract notions expressed by symbol could be such notions as courage, justice, love, jealousy, sadness, etc. The structure of symbolic meaning unites two heterogeneous denotations. One of them presents the definite object (symbolizer) and another – some abstract idea (symbolized).

Thus, the symbolic meaning is a specific variety of word meaning where stable associative or conventional connection of symbolizer and symbolized is motivated by special social function of the latter.

The analysis of American newspaper phraseology allows distinguishing two main groups of phraseological units with symbolic meaning: the units which have got the components with symbolic meaning in their composition and the units which express symbolic meaning by their whole content.

As a rule the phraseology of the first group contains the components with the symbolic meaning borrowed from the system of general linguistic and cultural symbols. For example, *dove* is a traditional symbol of peace and *hawk* – of war. The symbolic meaning of these lexemes is found in such newspaper phraseological units as *doves and hawks* "supporters of peace and progress vs. supporters of radical measures in politics", *hard hawk* "true conservative", etc.

The operation of the adjectives *left* and right in newspaper phraseology is also very interesting. Originally the symbolic meaning of the adjective *left* was "all reactionary forces in society". This meaning stipulated the appearance of the symbolic meaning of the adjective *left* "false, wrong, different from true (right)". The adjective *right,* on the contrary, had the symbolic meaning of "true, correct". However, with the course of time the opposition "rightists-leftists" in the system of American democracy lost its original meaning. Currently both the representatives of extreme right and left movements in the socio-political life of the USA are perceived negatively. In the language of contemporary American press *left* and *right* have got the symbolic meaning of "disloyal to the powers, characterized by radicalism": *right-wing party; right-wing crazies; new left; left-wing activist; to have a swing to the left; etc.*

Some color nominations have also gained symbolic meaning. For example, the black color symbolizes sadness, loss, grief, and yellow – disloyalty, treason. These symbolic meanings lay the basis for such newspaper phraseological units as: *Black Monday; yellow fund.*

The symbolic meaning of gold as the embodiment of highest quality, great value, and importance is also

widely used in the formation of newspaper phraseology: *gold card; golden cross; golden goodbye; etc.*

The phraseological units which express symbolic meaning by their whole content are the unique formations of newspaper speech. Objects and notions directly related to the socio-political practice usually become symbols. Thus, such units as *red button; finger on the red button* symbolize "world instability in conditions of large-scale growth of nuclear armaments, danger which threatens mankind". The symbolic meaning appears on the basis of an imaginary one: a red button – a metaphorical conception of the ability of the head of the state possessing nuclear potential to start an act of war by "pressing a red button" – quick and simple procedure of the classified nuclear codes application, signaling the beginning of nuclear war.

The phraseological unit *red carpet* has got the symbolic meaning "top level" where the traditional attribute of top level summits is a red carpet strip which becomes the symbol of the importance of a political meeting, or of any other meeting. In both cases the symbolic meaning of the adjective *red* "extremely dangerous" or "extremely important, intensive" is actualized.

The newspaper phraseological units containing the component *table* are also interesting. In media phraseology this component is primarily used not in the meaning of "place for eating" but as "place for solution of problems, place for negotiations". The role of negotiations, importance of discussion and solution in the source of talks the urgent contemporary problems are well-known. For this reason the phraseological unit round *table* acquires the symbolic meaning "cooperation and equality" of negotiations participants: *round table conference; round table negotiations; round table talks; etc.*

An important role in the process of symbolic meaning formation also belongs to metonymy. L.B. Savenkova marks that "the metonymic character of symbol cannot be denied, as some actions symbolizing another actions or states originally constantly accompanied them in reality and the metonymy demonstrates the real contiguity (or ordinary connection) between objects and notions in reality" [4: p. 29]. Such phraseological units as *to offer the olive branch; to rattle the saber* are the examples illustrating this judgment.

Y.M. Skrebnev considers that metonymy lies in the basis for formation of symbol in the situations "when some definite notion expressed in the word meaning obtains the new meaning – the abstract one" [5: p. 173]. The following phraseological units of American press with symbolic meaning were formed on the basis of metonymic transfer: *blue collar* – "working class of the USA", *green Beret* –"US Marine corps", *swallow tail* –"high society politician", *White House* –"executive power of the USA", *white collar* – "non-manual workers class of the USA", etc.

The expressiveness of newspaper phraseology is also formed by means of proper names. There is an objective tendency to give proper names to the phenomena of public, social life associated with the particular people, with their public activity, with various geographic nominations. Associations usually appear as a rule on the basis of similarity or contiguity of some features and properties.

Preserving external form in the composition of phraseological units proper names in the result of deonimization transform and come closer to the common nouns which leads to the appearance of new meaning.

The features peculiar to the name-bearer are transferred to the object of socio-political reality characterized by means of phraseological unit arousing at the addressee of the newspaper text the definite feeling-attitude to it through various associations, emphasizing in the field of language mentality the evaluation of the object itself as well as its actions.

For instance, the phraseological unit *Lake Wobegon effect* originates from the title of American writer G. Kalor's novel *"Lake Wobegon days"* (1985), where in the city with the name *Lake Wobegon "the women are strong, the men good looking and all the children above average"* [1: p. 222]. In the language of the press this unit obtained the meaning "to look to exaggeration". *Casper Milquetoast* is the character of famous cartoon serial, and the phraseological unit *Casper Milquetoast* means "a very timid person". *Wall Street* is the name of New York's street where the American Stock Exchange is situated, and the phraseological unit *Wall Street* –"financial world of America".

Among the factors intensifying the expressiveness of newspaper phraseology are also the unusual combination of components in phraseological unit, unusual summation of meanings representing the inner form creating the paradoxical image reflecting this or that attitude of the newspaper text addressee to the nominated phenomenon: *brain wash; honest graft; paper tiger; retail politics; wholesale politics;* as well as the formation of phraseological unit with the help of rhyme, rhythm, and alliteration: *fudge and mudge; high and dry; fishing expedition; etc.*

Summing up, one should admit that linguistic mechanisms of the formation of American newspaper phraseology expressiveness are diverse. The most widely-distributed among them is the creation of imagery effect by means of trope use where metaphor takes the leading role. The system of images and symbols used in American newspaper phraseology is the reflection of American national mentality. National dynamism, technocratic character is embodied in phraseological imagery. The images of games, actions, shows; and images related to the fields of technical progress, armaments, and manufacture are nationally-

marked. They mirror the spirit of American nations. To the tools of the formation of newspaper phraseology expressiveness also belong metonymy, proper names use, unusual combination of components, and presence of rhyme, rhythm, and alliteration.

REFERENCES

1. *Ayto, J.* The Longman Register of new words / J. Ayto. – Moscow: Russkiy yazyk, 1990. – 434 p.

2. *Artyomova, A.F.* Znachenye frazeologicheskikh yedinits i ikh pragmaticheskiy potentsial [The meaning of phraseological units and their pragmatic potential] // avtoreferat dissertatsii … doktora filologicheskikh nauk [The synopsis of the theses …. Doctor of Philology]. – Saint Petersburg, 1991. – 34 p.

3. *Boldyryeva, L.M.* Stilisticheskiye osobennosti funktsionirovaniya fraseologizmov (na material sovremennoi khudozhestvennoi nemetskoi literatury I pressy GDR) [Stylistic peculiarities of phraseological units operation] // Avtoreferat dissertatsii … kandidata filologicheskikh nauk [[The synopsis of the theses …. Master of Philology]. – Moscow, 1967. – 25 p.

4. *Savenkova, L.B.* Fraseologicheskiye yedinitsy, osnovanniye na metonimii [Phraseological units based on metonymy] // Obrazovaniye I fuktsionirovaniye frazeologicheskikh yedinits [Formation and functioning of phraseological units]. – Rostov-on the-Don, 1981. – P. 25–29.

5. *Skrebnev, Y.M.* Stilistika angliyskogo yazyka [Stylistics of the English Language]. – Saratov: Saratov University Publishing House, 1985. – 300 p.

6. *Teliya, V.N.* Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy I lingokulturniy aspekty [Russian phraseology. Semantic, pragmatic, and linguocultural aspects]. – Moscow: Publishing House “School “Languages of Russian Culture”, 1996. – 284 p.

7. *Shadrin, N.L.* Perevod kontekstual’no-preobrazovannykh frazeologicheskikh yedinits kak semantiko-stilisticheskaya problema [The translation of contextually-transformed phraseological units as semantico-stylistic problem] // Avtoreferat dissertatsii … kandidata filologicheskikh nauk [The synopsis of the theses …. Master of Philology]. – Leningrad, 1969. – 22 p.

8. *Shaff, A.* Vvedenye v semantiku [Introduction into Semantics – Moscow: Foreign Literature Publishing House, 1973. – 376 p.

WE IN THE EXPANDING CIRCLE NEED OUR OWN MODELS TOO![*] QUEST FOR EQUALITY IN WORLD ENGLISHES

Nobuyuki Hino

Hino, Nobuyuki – Professor, Graduate School of Language and Culture (Master Level), Osaka University (Japan), a member of the International Association for World Englishes (IAWE).

The author argues that English studied as a foreign language should have the status of a rightful variety similar to the postcolonial transplanted varieties which act as a second official language of their states. The British-American teaching models imposed on English language learners in other countries cannot be conducive to expressing ethnic values and cultures of other nations.

***Key words**:* variant, regional variants, English as lingua franca, English as an international language, model of teaching.

"We will be able to speed up that day"
(Martin Luther King, Jr.)

A New Form of Discrimination Created by the WE Paradigm

In the World Englishes (WE) paradigm, learners of English in the Outer Circle are allowed to enjoy their own models. On the other hand, it has been taken for granted that the model of English for the Expanding Circle should be native speaker English.[1] In other words, if those in the Outer Circle use English differently from native speakers, it is regarded as correct English. In contrast, if those in the Expanding Circle use English differently from native speakers, it is called an error. In short, users of Englishes in the Expanding Circle have been treated like second-class citizens in the WE community. This is a form of unfair discrimination which should be eliminated.

Though the WE paradigm has been playing a significant role in getting rid of the discrimination between the Inner Circle and the Outer Circle, it has also produced, quite ironically, a new type of discrimination between the Outer Circle and the Expanding Circle. In this paper, I will discuss this issue from a Japanese perspective as a member of the Expanding Circle.

Searching for an Original Model of English for the Japanese

Japan has a long history of searching for their original model of English. In as early as 1928, lexicographer Hidezaburo Saito expressed his hope for English of their own in the preface of his Japanese-English dictionary: "The mastery of a language has for its final object the expression of the exact light and shade of meaning conceived by the speaker. In a word, the Japanese speaker of English should be original…..In short, the English of the Japanese must, in a certain sense, be Japanized". (Saito 1928: Preface)

Around 1970, when the Japanese were faced with the growing need for a tool of expressing themselves in international communication, some Japanese scholars pointed out that English could be used as a means of expressing Japanese values rather than Anglo-American culture. Masao Kunihiro, well-known for his proposal for "de-Anglo-Americanization of English," is the one who first used the word "kokusai-eigo" (International English) in Japanese, before concepts such as WE and EIL (e.g. Smith 1976) were proposed in Britain and the U.S. His observation was as follows: "It seems possible to say that de-Anglo-Americanized English, rather than the one deeply embedded in the Anglo-American culture, more efficiently communicates our own feelings and our original patterns of thought"[2] (Kunihiro 1970: 262, Translation mine)/

Takao Suzuki, who put forth his version of EIL which he called "Englic," redefined Japanese English in a positive manner: "It would be strange, as we come

[*] An earlier version of this paper was presented at the 14th Annual Conference of the International Association for World Englishes, City University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China, December 3-5, 2008. This version is printed from: *Hino, N. (Ed.)* Eigo-kyoiku no atarashii riron to jissen (New theories and practice in English language teaching). – Osaka: Graduate School of Language and Culture, Osaka University, 2009. – P. 1–10.

[1] The Outer Circle refers to countries where English is used as a second language, and the Expanding Circle comprises countries where English is used as a foreign language.

[2] In later years, however, Kunihiro stated that he preferred native speaker English as the target while he believed in the value of unique Japanese English (e.g. 1981).

to use English more extensively, if the features of Japanese English were not internationally recognized. When Japanese people begin to make full use of English, it is inevitable that the English they use will be 'Japlish' which is influenced by the Japanese language". (Suzuki 1971: 224, Translation mine)

1980s in Japan saw Takesato Watanabe who also recommended Japanese English or "Japalish" for Japanese learner of English: "As Japanese people use English actively, without regarding the Anglo-American English as the only model, an original means of international communication for themselves will emerge". (Watanabe 1983: 9, Translation mine)

Unfortunately, the Japanese desire for their own models of English did not win any support from the WE paradigm, or the Kachruvian paradigm as it is sometimes called.

WE scholars generally believe that Englishes in the Expanding Circle, including Japanese English, cannot have indigenous norms of their own.

Negative Attitudes of WE scholars toward the Models for the Expanding Circle

Early scholarship in World Englishes was led by the British school of linguistics, which had a tendency of being indifferent to Englishes outside the former British territories. Those researchers were primarily interested in the development and the intranational (domestic) use of new Englishes in former colonies of Britain.

For example, this attitude is evident in Pride ed. (1982), entitled New Englishes, one of the forerunners of WE studies. All the varieties of English discussed in this volume were those of what came to be known later as the Outer Circle, or postcolonial Englishes. Namely, they were Indian English, Sri Lankan English, Singaporean English, Malaysian English, Filipino English, Nigerian English, Zambian English, and Cameroon English. In other words, only Outer Circle Englishes, to the exclusion of Expanding Circle Englishes, were recognized as "New Englishes."

The same attitude by WE scholars are observable also in corpus studies which is an essential part of WE research today. ICE (International Corpus of English) is a salient example. This major corpus project which is aimed at constructing a linguistic database for WE only deals with Outer Circle varieties. Englishes in the Expanding Circle are treated in ICLE (International Corpus of Learner English) rather than ICE. What this fact means is that Expanding Circle varieties are viewed merely as "interlanguages".

Strevens (1980), another forerunner for WE, was clear in making this distinction between the Outer Circle and the Expanding Circle. "EFL (English as a Foreign Language) areas" in the below discourse is synonymous with the Expanding Circle in this context: "In EFL areas there exists no local L2 form of English: consequently, the most suitable pedagogical model is usually a native-speaker model". (Strevens 1980: 90)

When his WE paradigm was in its infancy, Braj Kachru already emphasized the difference between these two groups in terms of the issue of models. In his argument below, "the performance varieties" and "the institutionalized varieties" correspond to what were later referred to as "the Expanding Circle" and "the Outer Circle" respectively. "We can clearly divide, as stated earlier, the non-native uses of English into two broad categories, namely, the performance varieties and the institutionalized varieties. This distinction is extremely useful and is directly related to the question of a model". (Kachru 1982: 38)

A key to the original model for a variety of English is the concept of indigenization, or nativization, which is a sociolinguistic process by which a language changes in accordance with the cultural needs for its local users. In the Kachruvian paradigm, intranational use of English is presumed to be a necessary condition for indigenization to occur, hence in the WE theory the notion of indigenization is applied to Outer Circle varieties, but is not extended to Expanding Circle varieties: "It is important to distinguish between the national and the international uses of English. It is primarily the national uses of the institutionalized varieties which contribute toward the nativization of these varieties". (Kachru 1982: 51)

In the Kachruvian view, intranational use of English is the basis that the legitimacy of indigenous models of English is built upon. It was with this rationale that Kachru defended his own variety, Indian English, as the target for Indian learners of English: "Indian English is used as tool of linguistic interaction by Indians to communicate mainly with other Indians". (Kachru 1976: 235)

Kachru's dichotomy of Outer Circle varieties and Expanding Circle varieties developed into one of the fundamental tenets in the WE paradigm which was described as follows: "Norm-developing varieties (the outer circle): ….They are both endonormative and exonormative….Norm-dependent varieties (the expanding circle): this circle is essentially exonormative". (Kachru 1985: 17)

Over the years, this position was reiterated by Kachru himself, making it an integral part of the Kachruvian framework: "The norm-dependent varieties are used in the Expanding Circle (e.g. Korea, Iran, Saudi Arabia). The norms are essentially external (American or British)". (Kachru 1997: 221)

Following Kachru's views, acceptance of Outer Circle models and denial of Expanding Circle models came to be widely supported by WE researchers: "A speaker of English in the Outer Circle will be careful to speak English in a way that will make his or her cultural identity clear. In the Expanding Circle, on the

other hand, the ideal goal is to imitate the native speaker of the standard language as closely as possible….Keeping a native standard in the Expanding Circle does not seem to present problems". (Andreasson 1994: 401-402)

Contrary to Adreasson's observation, "keeping a native standard" does "present problems" for anyone in the Expanding Circle who wishes to express their non-Anglo-American values in English. For international communication, it is equally important for Outer Circle speakers and Expanding Circle speakers to express their own culture.

Ayo Bamgbose, who is a leading WE scholar from Nigeria, one of the major Outer Circle countries, also endorsed Kachru's position: "The question of a model is often discussed with reference to spoken English and it is usual to make a distinction between EFL and ESL situations. For the former, it is usual to advocate a native model, but for the latter, enlightened opinion will support the need to use a non-native model". (Bamgbose 1998: 8)

Actually, "enlightened opinion" would "support the need to use a non-native model" not only for ESL (Outer Circle) situations but also for EFL (Expanding Circle), as long as the purpose of learning English is to express one's own values rather than Anglo-American patterns of thought.

As we have seen above, WE scholars simply regard Expanding Circle Englishes as norm-dependent, and that is the end of the story. They perceive no need to further consider this matter beyond that point. However, as far as international communication is concerned, it is an obvious fact that Expanding Circle users of English need a means of their own cultural expression as much as their Outer Circle counterparts do. The fact that Expanding Circle users normally do not speak English among their fellow country people, which is emphasized in the WE theory, is not really relevant to the issue of models for expressing oneself in international settings.

The Need for Indigenous Models for Learners of English in the Expanding Circle

Learners of English in the Expanding Circle do need models for their own cultural expression. Taking a case of argumentative writing as an example, this fact will be illustrated in this section. Simply put, if one is to express Japanese values in an argument, an indigenous Japanese model of argumentative writing needs to be employed which is different from that of the American model.

What I call "the American model" of argumentative writing is the style that we are familiar with in so many ESL/EFL writing textbooks, which may be described like this – The passage starts with the conclusion, followed by supporting arguments (typically three), and ends with a reinforced conclusion. On the other hand, what I regard as "the Japanese model," which is a transfer from the indigenous text organization in Japanese, places emphasis on balanced argument rather than a clear conclusion. It is based on traditional Japanese values, that is, belief in harmony. Its construction could be defined as "Opening – Development – Reflection on the other side – Conclusion."

To illustrate the essential difference between these two models, I have written two passages discussing exactly the same topic, one with the American model and the other with the Japanese model.

The American Model

We should change the Article 9 of the Constitution which prohibits Japan from possessing a military.

Firstly, the Constitution was imposed upon Japan by the United States.

Secondly, the Article 9 is overly idealistic. Thirdly, any country has a right to have its own military force.

For these reasons, I am convinced that the Article 9 of the Japanese Constitution should be revised.

The Japanese Model

There is a growing demand among Japanese people for changing the Article 9 of their Constitution.

This movement is based on the idea that this Constitution was imposed upon them by the United States. Many also argue that its Article 9 is overly idealistic and that any country has a right to have its own military force.

However, when we turn our eyes to the roles that the Constitution of Japan has played all these years after the war, the matter may not be that simple. It is a solid fact that Japan has not entered into a single warfare under the present Constitution.

Although I understand the need for reexamining the value of the Constitution drafted over 60 years ago, I suggest that we should carefully discuss if it is really necessary to revise its unique Article 9 right now.

As seen in the above examples, the American model, dominantly practiced in Japan, calls for a one-sided argument. On the other hand, the Japanese model ensures that the argument be balanced by reflecting on the other side of the matter.

In my own classes in Japan, after presenting the above samples, I ask my students to choose any topic they like and to discuss it with those two different styles. Many students are surprised to find that the content of their messages itself radically changes depending on which style they select. The following are some oral comments from those students: "What I wrote with the Japanese model was my original opinion that I really wanted to express. What I wrote with the

American model was different from my own idea. Today, I was shocked to realize that I have been forbidden to express what I really want to say". (an undergraduate at Osaka University, November 2007, originally in Japanese); "Today I have found that I cannot write English the Japanese way very well. I have always been taught by my teachers to clearly take sides in writing English. When I started practicing writing in English several years ago, I first wrote the Japanese way, but then I was told by my teachers 'That's not the way you write English.' I now seem to have psychological resistance to offering alternative viewpoints in writing English, even when it is what I really want to say" (a graduate student at Chukyo University, August 2007, originally in Japanese).

These comments by the Japanese students show that imposition of the American model on them could be a form of mind-control. In my classes, I make a point of telling my students that they do not have to be bound by the American norm in expressing themselves in English for international communication.

Contrary to the premise in the WE theory that indigenization of English occurs only where the language is used intranationally, there is no evidence that indigenization of English does not take place through its international use. Restricting the models of English in the Expanding Circle to native speaker English slows the development of indigenous Englishes in the Expanding Circle.

Alternative Paradigms

Is there a theoretical framework which could serve as an alternative to the WE paradigm? Two other paradigms are briefly considered in this section.

One of the recent high profile approaches to the teaching of English for international communication is ELF (English as a Lingua Franca) proposed by Jennifer Jenkins (e.g. 2000, 2003, 2007). The concept of ELF centers around the Lingua Franca Core which is meant to ensure international intelligibility, with an emphasis on the need for interactions between non-native speakers.

ELF seems to be especially significant on two counts. One is that ELF makes no discrimination between Englishes in the Outer Circle and the Expanding Circle. By exploiting "non-core" features to express their identities, speakers in both circles can equally enjoy their own varieties of English. In fact, as Jenkins herself put it, ELF is "an attempt to extend to Expanding Circle members the rights that have always been enjoyed in the Inner Circle and to an increasing extent in the Outer." (Jenkins 2006: 38) This important philosophy of ELF is also evident in the corpus of English under construction by an ELF group led by Barbara Seidlhofer. This linguistic database known as VOICE (Vienna-Oxford International Corpus of English)[3], unlike the ICE corpus mentioned earlier, makes no unnecessary distinction between Outer Circle Englishes and Expanding Circle Englishes.

In my interpretation, the other salient characteristic of ELF is that this approach would not necessarily presuppose "national" varieties. Under the ELF paradigm, users of English would be free to speak their individual varieties as long as they hold on to the core features to ensure international intelligibility. If this is the case, ELF gives the Expanding Circle a major advantage, since a lot of the discrimination between the Outer Circle and the Expanding Circle comes from the view that the former consists of established national varieties unlike the latter.

However, ELF has its own limitations. A careful look at the Lingua Franca Core reveals that all the core features (e.g. Jenkins 2002: 96-97) in ELF are still based on native speaker English. That is, ELF is, at least in its current form, not exactly free from the native speaker centeredness.

Another paradigmatic framework worth considering in place of WE is EIL (English as an International Language) proposed by Larry Smith (e.g. 1976, 1978). Though Smith himself now considers his EIL to have been merged into the WE paradigm (Smith 2004),

EIL in Smith's original idea was actually different from WE in a decisive manner. Essentially, in the concept of EIL, Englishes in the Expanding Circle were not viewed as norm-dependent. Smith (1978: Reprinted in Smith ed.1983:15) stated that the model for English as an International Language, referring to the Expanding Circle in this context, may be "any educated English speaker (native speaker, local, or regional)."

This stance of EIL is clearly observable in the experiment conducted by Larry Smith and Khalilullah Rafiqzad (1979). In this research which tested international intelligibility of varieties of English, they made no unnecessary distinction between Outer Circle Englishes and Expanding Circle Englishes. This research involved speakers and listeners from both circles, such as India and Philippines from the Outer Circle, Korea and Japan from the Expanding Circle. This philosophy is evident in their conclusion. With no distinction between the two circles, they summarize the significance of the results like the following: "Since native speaker phonology doesn't appear to be more intelligible than non-native phonology, there seems to be no reason to insist that the performance target in the English classroom be a native speaker". (Smith and Rafiqzad 1979, Reprinted in Smith ed. 1983: 57)

[3] For information on this corpus, see: http://www.univie.ac.at/voice/index.php (as of March 2009)

Unlike in the WE paradigm, Smith and Rafiqzad saw no need to discriminate EFL varieties (the Expanding Circle) against ESL varieties (the Outer Circle). In their framework, for Japanese English as well as for Indian English, they recognized "no reason to insist that the performance target in the English classroom be a native speaker."[4]

Building upon this early concept of EIL by Smith, I have been trying to devise a new framework for EIL, a tentative form of which is described in Hino (2001, 2003).

Conclusions

Though denied by the WE paradigm, users of English in the Expanding Circle need indigenous models of English, just like their Outer Circle counterparts, to express their non-Anglo-American values. To achieve this purpose, referring to alternative paradigms such as ELF and EIL could be helpful, though they may not necessarily be the final answer.

Indigenization of English in Japan should be reinforced by designating Japanized English as a model for Japanese learners as long as it is internationally communicative. Otherwise, for many years to come, the Japanese will not have a variety of English capable of expressing their cultural values in international communication.

Whichever "circle" they may belong to, speakers of English are created equal. They should be endowed with the same right to express themselves in the international community.

Acknowledgment:

This research is supported by the Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research (C) 20520548, 2008-2010.

REFERENCES

1. Andreasson, Anne-Marie. 1994. "Norm as a Pedagogical Paradigm" .World Englishes 13:3. 395-409.
2. Bamgbose, Ayo. 1998. "Torn between the Norms: Innovations in world Englishes."
3. World Englishes 17:1. 1-14.
4. Hino, Nobuyuki. 2001. "Organizing EIL Studies: Toward a paradigm." Asian Englishes 4: 1. 34-65.
5. Hino, Nobuyuki. 2003. "Kokusai-eigo Kenkyu no Taikeika ni Mukete: Nihon no Eigokyoiku no Shiten kara" ("Toward a Systematization of EIL Studies for ELT in Japan," in Japanese). Asian English Studies 5. 5-43.
6. Jenkins, Jennifer. 2000. The Phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford University Press.
7. Jenkins. Jennifer. 2002. "A Sociolinguistically Based, Empirically Researched Pronunciation Syllabus for English as an International Language." Applied Linguistics 23:1. 83-103.
8. Jenkins, Jennifer. 2003. World Englishes. London: Routledge.
9. Jenkins, Jennifer. 2006. "Global Intelligibility and Local Diversity: Possibility or paradox?" In Rubdy, Rani and Mario Saraceni (eds.) English in the World: Global rules, global roles. 32-39. London: Continuum.
10. Jenkins, Jennifer. 2007. English as a Lingua Franca: Attitude and identity. Oxford: Oxford University Press.
11. Kachru, Braj B. 1976. "Models of English for the Third World: White man's linguistic burden or language pragmatics." TESOL Quarterly 10:2. 221-239.
12. Kachru, Braj B. 1982. "Models for Non-native Englishes." In Kachru, Braj B. (ed.) The Other Tongue. 31-57. Oxford: Pergamon Press.
13. Kachru, Braj B. 1985. "Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English language in the Outer Circle." In Quirk, Randolph and H.G. Widdowson (eds.) English in the World: Teaching and learning the language and literatures. 11-30. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Kachru, Braj B. 1997. "Resources for Research and Teaching." In Smith, Larry E. and Michael L. Forman (eds.) World Englishes 2000. 209-251. Honolulu: University of Hawaii Press.
15. Kunihiro, Masao. 1970. Eigo-no-Hanashikata (English Works for you, in Japanese). Tokyo: Simul Press.
16. Kunihiro, Masao. 1981. "'Takokuseki-eigo' wo Kangaeru" ("On 'multinational' English," in Japanese). ELEC Bulletin 74. 3-5.
17. Pride, John B. (ed.) 1982. New Englishes. Rowley, MA: Newbury House.
18. Saito, Hidezaburo. 1928. Saito's Japanese-English Dictionary. Tokyo: Nichieisha.
19. (Reprinted in 2002. Tokyo: Nichigai Associates.)
20. Smith, Larry E. 1976. "English as an International Auxiliary Language." RELC Journal 7:2. 38-53. Also in Smith (1983). 1-5.
21. Smith, Larry E. 1978. "Some Distinctive Features of EIIL vs. ESOL in English Language Education." The Culture Learning Institute Report June issue. 5-7 & 10-11. Also in Smith (1983). 13-20.
22. Smith, Larry E. 2004. "From English as an International Auxiliary Language to World Englishes." In Otsubo, Yoshiko and Giles Parker (eds.) Development of a Teacher Training Program. 72-80. Tokyo: Soueisha/Sanseido.
23. Smith, Larry E. (ed.) 1983. Readings in English as an International Language. Oxford: Pergamon Press.
24. Smith, Larry E. and Khalilullah Rafiqzad. 1979. "English for Cross-Cultural communication: The question of intelligibility." TESOL Quarterly 13:3. 371-380. Also in Smith (1983). 49-58.
25. Strevens, Peter. 1980. Teaching English as an International Language: From practice to principle. Oxford: Pergamon Press.
26. Suzuki, Takao. 1971. Tozasareta Gengo Nihongo no Sekai (A Closed Language: The world of Japanese, in Japanese). Tokyo: Shinchosha.
27. Watanabe, Takesato. 1983. Japalish no Susume: Nihonjin no Kokusai-eigo (A Proposal on Japalish: English as an International Language for the Japanese, in Japanese).
28. Tokyo: Asahi Shimbunsha.

[4] Though some researchers may distinguish a "model" from a "target", my position is that these two are inseparable.

LANGUAGE VARIETY DEFINITION IN GENERAL AND SPECIAL LEXICOGRAPHY

I.N. Khokhlova

Khokhlova, Irina Nikolaevna – Candidate of Science (Philology), Professor of English Philology Department, Dean of the Foreign Languages Faculty, Vitus Bering Kamchatka State University (Petropavlovsk-Kamchatskiy).

E-mail: irisha.n.56@mail.ru

The article deals with the problems of the definition of national language variety in general and special lexicography. The definition of the term "national language" is given; its subcategories, such as "dialect", "form", "variety", and "variant" are analyzed, and the ways of formation of the national language and its changes are described.

Key words: language variety, national language, social, professional, territorial dialect, variant.

It is common knowledge, that the status of some languages makes possible the existence of some national language varieties. For many geopolitical reasons national languages of nations which were dominant in the territory of other countries became state languages in them. Close co-existence of the dominating foreign language and the native language (languages) naturally led to the formation of a new kind of language. The English language is a good example of this. Nowadays the English language is represented by many varieties throughout the world, such as American, Australian, South African, Canadian, Indian and others.

There are many examples in history when states gaining independence did not get rid of the dominating foreign language. V.A. Grechko comments on this situation as follows: "Becoming free of English colonial supremacy, the Indian Government took the decision not to abolish the use of English in the country and use it as one of the literary languages (together with Hindi and Urdu). They understood perfectly well that it would cause much damage to national (cultural, economic, scientific and social) interests of the country. The second language in these countries became a means of communication and a means of expressing spiritual values, customs and traditions of the people that were historically closely connected together [4: p. 319].

The appearance of language varieties is connected with many linguistic problems, which are considered differently by linguists. The problem of a language variety arises when the status of the English language in the modern world is defined, when its territorial peculiarities and socio-political conditions of functioning are considered. It is common knowledge, that the English language occupies a special position among national languages in the world due to the number of people speaking it and due to the area of its use.

The term "World Englishes" is becoming more popular nowadays, as it comprises different variants of English both in Great Britain and also abroad. In addition, such terms as "The Family of Englishes" and "World Englishes" are used. Some linguists believe that the use of English language as a means of metacommunication loses its historical roots, because English language varieties have so much difference between themselves that the term "English Languages" can be appropriate.

According to B. Kachru and T. McArthur the term "World Englishes" testifies to the fact that people of the World are very tolerant of the English Language. This term unites all existing and newly arising variants of English as equal members of some "club" –"The Family of Englishes," the plural form of "Englishes" or "Languages" gives special emphasis to it [5: p. 13].

S.G. Ter-Minasova supposes that soon the plural form "Englishes" will be used instead of the singular form "English" [13: p.269].

We may also suppose that the term "Englishes" shows the dynamics of the development of English language varieties, their functions and status. One of the most serious problems of dialectology, variontology and many other linguistic sciences is the problem of terminology.

The national language is a heterogeneous phenomenon, as its different varieties are termed differently in modern linguistics –"dialect", "form", "variant", "vatiety", etc. According to O.S. Akhmanova's dictionary, "…a language variety is any" subdivision of a language: dialect, accent, idiolect, etc. [1: p.378].

The review of dictionaries and linguistic journals shows that the term "dialect" may denote different notions.

In the "Dictionary of the Russian Language" S.I. Ozhegov gives the following definition of this term: "Dialect is a local or social accent" [9: p. 146]. We can see that the dictionary gives the definition of one subdivision of the language through another, as for the linguist the terms "accent" and "dialect" are different no-

tions. In this dictionary the term "accent" is defined as "a local variety of territorial or regional dialect" [9: p. 121]. "The Dictionary of the Russian Language" by S.I. Ozhegov is not a professional linguistic handbook, which is why not all linguistic subtleties are considered in it.

In the professionally oriented dictionary by L.L. Nelyubin the following definition of the term "dialect" is given: "Dialect – variety (variant) of a given language, which is used by a more or less limited number of people, who live in the same territory or are closely connected professionally and who are in constant linguistic contact" [8: p. 45]. According to the above definition, *dialect* is such a subdivision of the language which may appear in a territorial or professional community of people. So we may distinguish *territorial dialects* and *professional dialects* which have certain differences.

Let us compare the given definitions:

"A professional dialect is a variety of social dialect, which unites people of similar professions or any kind of activity" [8: p. 169–170].

"A social dialect is a form of language, which is used by a more or less limited number of people of a special community, who are in direct contact with each other. There are many social dialects in every language" [8: p. 207].

"A territorial dialect is: 1. A dialect spread within a definite area. 2. A form of a language used by a greater or lesser number of people who live in the same territory and who are in direct contact with each other" [8: p. 225].

According to the definitions cited from the dictionary we can see that the term "dialect" has different meanings and can be referred to different spheres of usage. First of all, dialect is a form of language use, which unites people according to some similar features.

In the professionally-oriented dictionary by O.S. Akhmanova the term "dialect" has the following definitions:

"A dialect – 1. A variety (variant) of a given language, used by a greater or lesser number of people, who live in the same area and are closely connected with each other by their professional or social activity and who speak the same language. 2. A complex of similar accents , which have some relevant features. 3. The same as accent. [1: p. 131].

"A professional dialect – a variety of social dialect, which unites people of the same occupation" [1: p. 131].

"A social dialect– a dialect of some social community or a group of people" [1: p. 131].

"A territorial dialect (local, regional) – a dialect within a definite area" [1: p. 131].

From the definitions listed above we can notice that the term "dialect" is defined in the dictionary through the terms "accent", "variety", "variant", thus forming an extensive list of synonyms, which makes it possible to interchange them in use.

A dialect is the key-notion of such linguistic discipline as dialectology. That is why in classical dialectology the terms "dialect" and "accent" differ in aspect and gender. In the textbook "Russian Dialectology" the following definition is given: "…accent is the smallest variety of the language. The accents which have some features in common can represent only a part of the language which is called dialect. The term 'dialect' may be used in both meanings" [10: p. 5].

We should pay attention to the fact that "varieties within one language are called dialects. Sometimes it is very difficult to distinguish between these notions. If we speak about two language systems very close to each other it is sometimes very difficult to say if we deal with two dialects of the same language or with two relative languages" [10: p. 16]. So the term "dialect" in this textbook is considered to be equivalent to the term "language".

If we take into consideration social dialects, we should mention that "social dialects within some language, Russian in particular, differ greatly from territorial ones. While the latter differ between themselves by actual facts, social dialects are characterized by peculiarities of vocabulary, word –usage, phraseological units and mainly by special terminology" [10: p. 17].

Review of general and special lexicography showed that in modern linguistics the term "dialect" is used to denote several notions connected with different language units (according to O.S. Akhmanova) and sometimes it is very difficult to distinguish between them. Being a member of a synonymic group the term "dialect" may be used in speech in the meaning " accent", "variant" or "variety". It is very important to distinguish between these terms and define their correlation with *national* and *literary* language.

As we can see these two terms can be used equally. G. Brook in his book "English Dialects" defines dialect as "any variety of a language, which is associated with a definite group of people using it. This group is much smaller than that using the national language" [3: p. 13]. In accordance to this definition G. Brook considers American English and British English dialects of the English language. We think that such use of this term is too wide.

As to the correlation of the terms "language"– "dialect" – 'variant" we should mention that the difference between *language* and *dialect/variant* can be defined as the difference between *general/specific*. The definition of *dialect/variant* is the specification of the notion "language". This specification is achieved by adding extra-linguistic characteristics to the definition of *dialect/variant*. Such extra-linguistic characteristics may be specification of territorial use and language community. Besides, policy and state play a very important role in the definition of a language variety. This

fact is well illustrated by the following saying: "Dialect is the same as language, but without any army". When we speak about the variant we may speak about the existence of the "army", which means that the term 'variant" is much wider in meaning than the term "dialect".

In addition, the difference between *dialect* and *variant* also depends on the distance from the former metropolis and the number of people speaking it. The South African Republic can be mentioned as an example. It is very far from Great Britain, where the English language was brought from, where the living conditions, climate, flora and fauna greatly influenced the development of the language.

A.D. Shveitser understands dialect as "a territorial variety of the national language, which is limited by the sphere of oral speech and, is thus contrasted to a literary norm" [12: p. 19]. He defines the literary norm as "a territorial variety of one national language" [12: p. 19]. A variant of the national language means "an area-limited variant of the literary language" [12: p. 19].

We consider that " South African English, American English and British English cannot be treated as dialects, as the use of this term in this context makes a wrong impression about the structure of the literary language and dialect language both in England and in the USA" [6: p. 50].

The term "New Englishes" is often used nowadays referring to English language variants. These "New Englishes" remind dialects used within the country, but taken world-wide. Millions of people use them unlike regional dialects, where the number of speakers is limited to thousands of people.

V.M. Shirokikh states, that "The language shows difference in the behavior of national groups and their desire to distinguish themselves from others, which is why different language variants appear. There are variants in all languages and sometimes the process of language learning becomes a more complicated task than it seemed at the very beginning. Linguists pay attention to the fact that the language preserves its similar characteristics only in a limited territory and in definite circumstances" [11: p. 33].

We should also agree with the point of view of L.I. Apollonova, who states that "the formation of a language variant presupposes the change of social conditions of its functioning, changes in ecological background and language basis. Besides, being brought into new conditions, the language continues to change according to the tendencies of its development and under the influence of new extra – and intra-linguistic factors, adapting to new conditions of its functioning" [2: p. 134].

Regional variants which function as a *lingua franca* contribute greatly to the English Language in general. Nowadays we cannot speak about the English language as the language of one culture. It has spread world-wide and has become a means of reflection of world culture.

REFERNCES

1. *Akhmanova, O.S.* Slovar' ligvisticheskikh terminov [Dictionary of Liguistic Terms] // Akhmanova O.S. – Moscow: KomKniga, 2007. – 576 p.

2. *Apollonova, L.I.* Osobennosti leksiko-semanticheskoi sistemy avstaliyskogo varianta angliyskogo yazyka [Peculiarities of lexico-semantic system of the Australian variant of the English Language] // Apollonova L.I. – Leningrad., 1991. – 202 p.

3. *Brook, G.L.* Angliyskie dialekty [English dialects]// Brook G.L. – New York: Oxford,1965. – 323 p.

4. *Grechko, V.A.* Teoriya yazykoznaniya [Theory of Linguistics] // Grechko V.A. – Moscow: Vyssh. Shk., 2003. –375p.

5. *Kachru, B.* Mirovye angliyskie yazyki [World Englishes] // B. Kachru, C. Nelson // Sotsolingvistika i obuchenie yazyku [Sociolinguistics and Language Teaching] // Ed. By Sandra Lee McKay, Nancy H. Hornberger. – Cambridge, New York, Melbourn: CUP, 1996. – P. 71–102.

6. *Khokhlova, I.N.* Sposoby vydeleniya yuzhnoafrikanskogo leksicheskogo komponenta v tekste [Ways of marking South African component in the text] // Vestnik Nizhegorogskogo gosudarstvennogo universiteta, vyp, 8. [Nizhniy Novgorog State University named after N.A. Dobroluybov, vol. 8]. – Nizhniy Novgorog: NNSLU, 2009. – P. 48–63.

7. *McArthur, T.* Angliyskie yazyki [The English languages] // T. McArthur. – Cambridge, New York, Melbourn: CUP, 1998. – 217 p.

8. *Nelyubin, L.L.* Tolkovyi perevodovedcheskiy slovar' [Defining Interpreters' Dictionary] // Nelyubin L.L. – Moscow: Flinta, Nauka, 2003. – 320p.

9. *Ozhegov, S.I.* Slovar' russkogo yazyka [Russian Language Dictionary] // Ozhegov S.I. – Moscow: Russkiy Yazyk, 1990. – 530 p.

10. Russkaya dialectologiya [Russian Dialectology]. – Moscow: Prosveshchenie, 1973. – 279 p.

11. *Shirokikh V.M.* Lingvostranovedcheskaya okrashennost' obshchestvenno-politicheskoi leksiki avstraliyskogo varianta angliyskogo yazyka [Lingustic and regional socio-political vocabulary colouring in Australian English] // Shirokikh V.M. – Moscow., 1998. – 200 p.

12. *Shveitser, A.D.* Sovremennaya sotsiolingvistika [Modern Sociolinguistics] // A.D. Shveitser. – Moscow: Nauka, 1976. – 176 p.

13. *Ter-Minasova, S.G.* Voina i mir yazykov i kul'tur [War and Peace of languages and Cultures] // S.G. Ter-Minasova. – Moscow, 2007. – 269 p.

PROBLEMS OF THE FAR EAST

DRUG ADDICTION IN THE RUSSIAN FAR EAST: TRENDS IN THE YAKUT SOCIETY

S.G. Anisimova

Anisimova, Svetlana Gennadievna – Candidate of Science (Sociology), Associate Professor of the Northern Studies, M.K. Amosov North-Eastern Federal University (Yakutsk).

E-mail: fomas2003@list.ru

The paper is devoted to drug addiction which involves more and more young people and influences the economic, political and cultural development of the society. The author distinguishes the specific features of the drug situation in separate areas of the Russian Federation – the Sakha Republic (Yakutia). These peculiarities are distinguished on the basis of data obtained from a specific sociological project, comparative analysis, and the analysis of mass media and official sources. The data obtained allow the author to determine real risk groups, factors of drug addiction, so-called "familiarization zones and the problems of prophylactics of drug addiction in the Sakha Republic.

Key words: drug addiction, narcotics/drugs, psychoactive substances, narcosituation, the youth, risk groups, prophylactics, non-formal interview, expert poll.

THE DEVELOPMENT OF HEALTHCARE AND SANITATION SERVICES OF TRADITIONAL ETHNIC GROUPS OF FAR EAST RUSSIA IN THE 1950S TO THE FIRST HALF OF THE 1960S.

A.V. Akhmetova
S.V. Bobyshev

Akhmetova, Anna Valinurovna – Candidate of Science (History), Associate Professor of the Department of History and Archival Service, Komsomolsk-on-Amur State Technical University.

E-mail: wyrds@rambler.ru

Bobyshev, Sergey Vasilievich – Doctor of Science (History), Professor, Head of the Department of the Theory and History of State and Law, Far East State Transportation University (Khabarovsk).

E-mail: history@festu.khv.ru

The paper considers the problems of improvement of the healthcare system of the indigenous population of Soviet Far East in the 1950s to the first half of the 1960s. The measures of the Soviet State were directed to decrease the infection and general sickness rate and improve the living conditions of the smaller indigenous peoples of the Soviet Far East.

Key words: medicine, healthcare, smaller indigenous peoples, Soviet State, Far East.

FORMATION OF PERIPHERAL CAPITALISM IN RUSSIA AND ITS CONSEQUENCES FOR THE FAR EASTERN TERRITORIES

A.A. Biryukov

Biryukov, Aleksander Aleksandrovich – Post-graduate Student of the Department of Philosophy and Socio-Political Disciplines, Amur Humanitarian-Pedagogical State University (Komsomolsk-on-Amur).

E-mail: abir-nabir08@yandex.ru

The paper considers the consequences of the inclusion of Russia in the system of the world capitalist division of labor for its Far Eastern territories: deindustrialization, decline of population size, worsening of demographics, degradation of technosphere, and the growth of crime.

Key words: Far Eastern territories of Russia, peripheral/provincial capitalism, source model of economy, deindustrialization, criminalization.

SPECIFIC FEATURES OF THE INTERACTION BETWEEN THE INVESTIGATING OFFICER AND INQUIRY BODIES AT THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF FORGERY OR DESTRUCTION OF AN IDENTIFICATION NUMBER OF VEHICLE

P.A. Zherdev

Zherdev, Pavel Aleksandrovich – Lecturer of the Department of Criminalistics, Far Eastern Juridical Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (Khabarovsk)

E-mail: pashkhv@mail.ru

The paper considers particular issues concerning the interaction between the investigating officer and the inquiry bodies at the initial stage of investigation of forging or destruction of the identification number of a vehicle in the Asia-Pacific Region. The author suggests the way of resolution for the most complicated and less investigated issues of this problem.

Key words: transport vehicles, identification numbers, coordinated action of investigative-task force.

REGIONAL TOURIST LEGISLATION AS A PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF THE TOURIST INDUSTRY

S.V. Zavyalova

Zavyalova, Svetlana Valerievna – Associate Professor of the Department of Civilian Legal Disciplines, the Kamchatka Branch of the Russian State University of Tourism and Service (Petropavlovsk-Kamchatsky).

E-mail: s_zavyalova@mail.ru

The paper is devoted to the analysis of the legal acts of Federal and regional authorities regulating the sphere of tourism (on the material of the Far Eastern Federal District). The author reveals a number of collisions between the norms and presents the position of non-legitimacy of the regional legislation on tourism.

Key words: tourism, tourist activities, legal regulation, legitimacy, collision of norms, abuse of power by a region of the Russian Federation.

ORGANIZATIONAL LEGAL MEASURES OF THE STRUGGLE WITH THE REVOLUTIONARY MOVEMENT AT THE RAILWAYS OF THE RUSSSIAN FAR EAST IN THE EARLY 20TH CENTURY

M.A. Koval'chuk
E.V. Strelkova

Koval'chuk, Mikhail Aleksandrovich – Doctor of Science (History), Professor of the Department of Theory and History of State and Law, Far East State Transportation University (Khabarovsk).

Strelkova, Elena Viktorovna – Post-graduate Student, Far East State Transportation University (Khabarovsk).

E-mail:

The paper provides characteristics of the emergency legislation of Tsarist Russia directed against revolutionary strike movement of the railway workers. The paper presents historical and legislative analysis of this legislation.

Key words: gendarme police administration, emergency legislation, strike, court-martial, law, bylaw.

BORDER PROTECTION OF THE SOVIET-KOREAN FRONTIER IN THE SECOND PART OF THE 20TH CENTURY: PROBLEMS AND THE WAYS OF RESOLUTION

S.A. Kravchuk

Kravchuk, Sergey Aleksandrovich – Candidate of Science (History), Associate Professor, Institute of Coast Guard of the Federal Security Service of the Russian Federation (Anapa).

E-mail: krafff@inbox.ru

The Soviet-Korean border guard after the Second World War was an inalienable part of forming a system of border guard in the Far East of the USSR. The historic experience of the Soviet-Korean border guard relationship is especially valuable for the Russian Federation, building its own modern border guard policy.

Key words: the Far East, Soviet-Russian border, China, border population, Hassan border unit, territorial waters of the USSR.

SOVIET-CHINESE MANAGEMENT OF THE CHINESE EASTERN RAILWAY IN 1924-1935

M.V. Krotova

Krotova, Maria Vladimirovna – Candidate of Science (History), Associate Professor of the Department of History and Political Science, Saint-Petersburg State University of Economy and Finance.

E-mail: mary_krot@mail.ru

Soviet-Chinese management of the Chinese Eastern Railway in 1924–1935 was a rather bold experiment which revealed all dangers and traps of such dual ownership. Each side defended its own interests, and conciliation of these interests was complicated. In the end this had led to aggravation of the Soviet-Chinese relations and the loss of the Chinese-Eastern Railway on both sides, Soviet and Chinese.

Key words: Chinese-Eastern Railway, China, Manchuria, Soviet-Chinese relations.

CHANGES AND DEVELOPMENT OF POLITICAL MOODS OF THE AMUR COSSACKS FROM FEBRUARY 1917 TILL APRIL 1918

O.M. Morozova

Morozova, Olga Mikhailovna – Post-graduate Student, Department of History, Blagoveshchensk State Pedagogical University.

E-mail: Duginec2008@yandex.ru

The paper presents an attempt to investigate the main political and ideological tendencies popular among the Amur Cossacks in the period covering the time from the Russian autocracy downfall up to the neutralization of the Ataman Gamow revolt in Blagoveshchensk. The paper's basic thesis is that the Cossacks played an active role in the revolutionary events in 1917–1918 in the Amur Province. The archive resources used give a review of the main stages in the revolutionary development, political and ideological moods of the Cossacks, tending to get transformed, and their interactive role in the revolutionary events during the period under review.

Key words: Amur Cossacks, revolutionary events, Amur Province, congresses.

RUSSIAN-JAPANESE DISCUSSIONS ON THE ASSIGNMENT OF THE RUSSIAN DYPLOMATIC REPRESENTATIVE IN KOREA

Y.S. Pestushko

Pestushko, Yury Sergeevich – Candidate of Science (History), Associate Professor of the Department of Japanese Language, Far Eastern State University for Humanities (Khabarovsk).

E-mail: yuripestushko@yahoo.co.jp

The paper considers the negotiations between the governments of Japan and Russia on the assignment of a Russian diplomatic representative to Seoul. The author analyses the post-war measures of Japan aimed at establishment of control over the foreign policy of Korea. Special attention is paid to the position of the tsarist government, which came out against issuing consulate permission by the Ministry of Foreign Affairs of Japan. Chronological frameworks of the research cover September 1905 to May 1906.

Key words: Japan, Korea, Russia, exequatur, Consul, protectorate, Portsmouth Peace Treaty, international law.

IMPACT OF THE RELIGIOUS FACTOR ON THE POLITICAL LIFE OF THE REPUBLIC OF KOREA

Y.S. Santsevich

Santsevich, Yana Sergeevna – Assistant Lecturer of the Department of Education in the field of Roman-Germanic Languages, School of Pedagogy, Far East Federal University (Ussuriisk).

E-mail: santsevich_yana@rambler.ru

The paper provides analysis of the impact of Christianity on the political life of the Republic of Korea. On the basis of the analysis of interaction of religious and political factors and data of sociological polls of the clergy of the Republic of Korea, the author indicates deep interconnection of religious and political factors in the life of Korean society.

Key words: Republic of Korea, Christianity, Moon's Church, politics, vernacular.

AUTHORS GUIDELINES

The journal publishes materials which have not been published before.

The articles submitted to the editorial board undergo a reviewing procedure.

Manuscripts of articles and other materials are to be recommended by the faculties of higher schools, laboratories and other structural divisions of scientific research institutions, research-methodological or academic conferences and seminars. Works by post-graduate students are accepted for publishing with references from their academic adviser.

The volume of the article should not exceed 1 publication base (40 000 printable characters). No more than three illustrations, diagrams or schemes can be placed within the article.

5. The following are the requirements for manuscripts submitted to the editorial board:

5.1. The materials submitted to the editorial board must be presented in electronic and in print format. The names of files must be specified in the printed copy. The text-based editor is Word. The materials should be signed by the author on the title page near the name of the author.

5.2. The title page of the article must contain the complex of the elements located on the page in the following order. At the top of the page the title of the article is printed in capital letters bold font. Surnames of the authors follow the heading and are printed by lower case letters. No other data is to be specified.

5.3. References should follow the body of the text in alphabetical order, first the sources in Russian language, then the sources in foreign languages. References to the cited sources, and notes should be incorporated in the text of the article, after the quotation in square brackets, with the number from the list of references. Bibliographical description of the source in the list of references is implemented in accordance with the rules of GOST 7.1-2003. Font and line spacing, is the same as in the article.

5.4. Margins: top – 2 cm; bottom – 2 cm; left – 3 cm; right 1 cm; the size of a paper – A4 (210×297 mm); font «Times New Roman» № 14; line spacing – 1.5.

5.5. Notes and quotations incorporated in the body of the text should be numbered consecutively.

6. Materials without substantiated research support or not corresponding to the rules mentioned higher will not be considered. Manuscripts will not be returned.

7. The following data about the author should be attached to the manuscript: first name, middle name initial, last name, scientific degree, academic status, place of work, postal address, work address, home address, office phone number, home telephone number, fax, e-mail.

8. An abstract of the article of 6-10 lines in Russian and English, the title of the article in English and the list of key words (no more than 15) are to be attached.

9. Please address the materials to the following address: 47, Seryshev Str., Khabarovsk, 680021, Far Eastern State Transportation University (FESTU) Editorial board of the journal «The Humanities and Social Studies in the Far East».

E-mail: journal@festu.khv.ru

<mailto:journal@festu.khv.ru>.

Указатель статей, помещённых в журнале «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» за 2011 год

	№	Стр.
Философия		
Ажимов Ф.Е. Метафизика и онтология: проблема демаркации	3 (31)	42
Антипов А.А. «Живые образы идей» Ф.М. Достоевского: о философской эйдологии творчества писателя	3 (31)	219
Арташкина Т.А. Гибридная идентичность как результат социокультурной революции в России 1990-х гг.	3 (31)	101
Арутюнян М.П. Понятие мировоззрения в дискурсе метафизики	3 (31)	49
Арутюнян М.П., Рудецкий О.А., Лушкина Т.А. Антропология субъективной реальности: к итогам Всероссийской научной конференции	3 (31)	10
Бахитов С.Б. Либерализм и марксизм в зеркале постмодернистского объективизма Х. Уайта	3 (31)	171
Бисовская О.В. Многомерность категории толерантность	3 (31)	107
Герасименко А.П. Амбивалентность правосознания	3 (31)	112
Готнога А.В. К критике метафизических оснований прогнозирования исторического процесса	3 (31)	117
Гребениченко Т.В. Дух в понимании В.В. Розанова	3 (31)	176
Давыдов В.В. О возможности деактуализации психологической перспективы в эволюционно-антропологических исследованиях сознания	3 (31)	54
Давыдов О.Б. Диалектика региональной дальневосточной идентичности в условиях глобализации	3 (31)	122
Докучаев И.И. Основания дедукции метафизических систем и проблема достоверности	3 (31)	60
Дубровский Д.И. Субъективная реальность как предмет философского и научного исследования (некоторые теоретико-методологические вопросы)	3 (31)	14
Зангиров В.Г. Структура и формы человеческого опыта	3 (31)	62
Ким В.В. Фанатизм: к определению понятия	3 (31)	126
Киреева И.О. Реконструкция смыслов понятий «ментальность» («ментальное») и «менталитет» в дискурсе «Интеллектуальной истории» и движения «Анналов»	3 (31)	180
Кормочи Е.А. Язык нерефлексивных форм познания: опыт философского анализа	3 (31)	75
Кузнецова Л.В. Потребление как способ конструирования индивидуальной идентичности	3 (31)	131
Лившиц Р.Л. Иллюзия как феномен познания и практики	3 (31)	135
Марков Б.В. Аналитика телесного опыта	3 (31)	22
Мартишина Н.И. Критерии существования субъективной реальности и ее феноменов	3 (31)	31
Маниковская М.А. От языка искусства к дискурсу художественной культуры	3 (31)	224
Никитенко Т.А. Факторы мифологизации представлений о реальности в современном информационном пространстве	3 (31)	140
Огнев В.Я. Кризис философии и роль неклассической диалектики в его разрешении	3 (31)	84
Пишун С.В. Религиозная метафизика Ф.А. Голубинского: опыт синтеза онтологии, гносеологии и умозрительной психологии	3 (31)	186
Попсуйко А.Н. Теоретико-методологические основы исследования глобальных процессов	3 (31)	145
Потапчук В.И., Потапчук Е.Ю. Две тенденции в понимании государства в отечественной социально-философской мысли	3 (31)	194
Савицкая Т.В. К проблеме гносеологического статуса веры	3 (31)	89
Сердюков Ю.М. Проблема времени в околосмертном опыте	3 (31)	35

Смирнова М.Ю. Эпистемические сообщества как фактор становления общества, основанного на знании 3 (31) 150
Стадник В.Ю. Философские аспекты концепций рационального разрешения конфликтов 3 (31) 158
Туркулец А.В. Психологические аспекты социального познания 3 (31) 96
Тыщенко И.В. Проблема сознания в трансперсональной психологии С. Грофа 3 (31) 203
Шкуркин А.М. Амбивалентность труда в координатах духовности 3 (31) 162
Шурыгина О.В. Отношение к феномену конфликта как критерий разделения философской традиции на позитивистско-рационалистическую и трансцендентно-иррационалистическую в XIX – начале XX вв. 3 (31) 208

Социология, политология, право

Анисимова С.Г. Наркотизация на Дальнем Востоке России: тренды в якутском социуме 4 (32) 115
Бирюков А.А. Становление периферийного капитализма в России и его последствия для дальневосточных территорий. 4 (32) 128
Демьянович И.В. Качество транспортного обеспечения Дальнего Востока: потенциал и перспективы развития 2 (30) 95
Жердев П.А. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 4 (32) 132
Завьялова С.В. Региональное законодательство о туристской деятельности как проблема гражданско-правового регулирования сферы туризма 4 (32) 135
Ким А.С. Этнополитическая конфликтогенность Дальневосточного региона в ракурсе мультикультуралистской политики 2 (30) 66
Ламашева Ю.А. Факторы формирования транснациональной идентичности в Северо-Восточной Азии 2 (30) 42
Ланко Д.А. Представления о региональной структуре мира как геополитика периода конца XX – начала XXI века 2 (30) 33
Ланцова И.С. Корейский полуостров в геополитических стратегиях XX века 2 (30) 60
Лексютина Я.В. Юго-Восточная Азия как арена соперничества за сферу влияния США и Китая 2 (30) 51
Любицкая О.А., Чипизубова О.А. Психосемантический анализ представлений дальневосточников о профессиональном счастье 2 (30) 116
Максимова Ю.С. Реализация компромиссных стратегий в условиях межкультурной коммуникации западной и восточной культур 1 (29) 86
Радиков И.В. Дисперсия современной архитектуры безопасности в АТР: глобальные тенденции и региональные особенности 2 (30) 10
Рудецкий О.А. Интеграционные процессы мира глобализации и этническая структура российского Дальнего Востока 1 (29) 77
Санцевич Я.С. Влияние религиозного фактора на политическую жизнь Республики Корея 4 (32) 172
Смоляков В.А. Интеграция в Европе и Восточной Азии: сравнение принципов и концептуальных подходов 2 (30) 19
Стренаков Д.А. Рациональное и эффективное использование лесов: дальневосточный аспект 2 (30) 131
Терехова Е.В. Рекуррентные конструкции в политическом vs. бизнес-дискурсе (к форуму АТЭС 2012 года во Владивостоке) 2 (30) 75
Тимошенко В.Н. Восточно-Азиатское сообщество и его перспективы для стран Азиатско-Тихоокеанского региона 1 (29) 71
Халикова С.С. Здоровье студенческой молодежи как фактор сохранения геополитического потенциала Дальнего Востока 2 (30) 125
Чурилова Е.В. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений, связанных с производством и сбытом пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в Дальневосточном регионе 2 (30) 134
Ярулин И.Ф. Российский Дальний Восток: геополитика, геостратегия, геоэкономика, геополитические риски 2 (30) 28

История

Ахмыловская Л.А., Барыш А.Ю. Театральный Владивосток в пространстве идеологических преобразований (1922–1941 гг.) 1 (29) 111

Ахметова А.В., Бобышев С.В. Развитие системы здравоохранения и санитарно-гигиенического обслуживания традиционных этносов Дальнего Востока в 1950-е – первой половине 1960-х гг. 4 (32) 122

Баубекова С.А. Организация и деятельность обществ востоковедов на Дальнем Востоке России в начале XX века 2 (30) 106

Дубинина Н.И. Дальневосточная вахта Яна Гамарника 1 (29) 14

Еланцева О.П. Управленец государственного масштаба: к 110-летию со дня рождения Федора Алексеевича Гвоздевского 2 (30) 101

Иванников А.С. Ключевые этапы формирования государственной границы между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 2 (30) 81

Ковальчук М.А., Стрелкова Е.В. Организационно-правовые меры борьбы с революционным движением на железных дорогах Дальнего Востока России в начале XX в. 4 (32) 142

Кравчук С.А. Охрана советско-корейской границы во второй половине XX в.: проблемы и пути решения 4 (32) 146

Кротова М.В. Советско-китайское управление на КВЖД в 1924-1935 гг. 4 (32) 154

Крыжановская Я.С. Рождение Амурского театра (1920–1940 гг.) 1 (29) 58

Кулинич Н.Г. Опыт создания советской праздничной культуры в городах Дальнего Востока в 1920-е годы 1 (29) 25

Морозова О.М. Изменение политических настроений Амурского казачества с февраля 1917 по апрель 1918 гг. 4 (32) 161

Осипова М.В. Научные экспедиции 20–30-х гг. прошлого века на территории Хабаровского края и их значение для отечественной и мировой этнографии (историографический аспект) 1 (29) 50

Пестушко Ю.С. Обсуждение Японией и Россией вопроса о назначении в Корею российского дипломатического представителя 4 (32) 166

Пиотрович А.А., Су Да. Исторические особенности развития железных дорог Китая 2 (30) 88

Пикалов Ю.В. Городские предприниматели на Дальнем Востоке РСФСР в годы нэпа 1 (29) 9

Пичугина Н.А. Становление и развитие туризма в Хабаровском крае (60-е годы XX века) 2 (30) 140

Платонова Н.М. Становление стройиндустрии как отрасли промышленного комплекса на Дальнем Востоке РСФСР в 1965–1970-е гг. 1 (29) 94

Романова В.В. Реализация «биробиджанского проекта» и зарубежное еврейство (конец 1920-1930-е гг.) 1 (29) 40

Трубич О.А. Государственная политика Российской империи по развитию востоковедческого образования на Дальнем Востоке 2 (30) 111

Тужилин С.В. Из истории советской контрразведки: «дальневосточный "Трест"» (1939–1945 гг.) 1 (29) 67

Цуканов С.С. Взаимодействие Дальревкома и Наркомата иностранных дел СССР в процессе подготовки советско-японского соглашения 1925 года 1 (29) 32

Чернов В.А. Становление трактирного промысла как этап развития индустрии гостеприимства (на примере Дальнего Востока) 1 (29) 129

Эфендиева Г.В. «В одном строю с советским поколеньем…»: о творчестве молодых харбинских поэтов 1940-х годов 1 (29) 103

Яхимович С.Ю. Советские граждане в Северной Маньчжурии во время вооруженного конфликта на КВЖД (1929 год) 1 (29) 121

Филология, культурология

Боронин А.А. Персонажный субтекст как средство реконструкции образа автора в семиотической группе 4 (32) 11

Власова Т.М. Неартикулируемые звуки как компонент эмоционально-окрашенного дискурса (на материале английского языка) 4 (32) 16

Волощенко В.Г. Способы перевода японских фразеологизмов с зооморфным и антропоморфным компонентами 4 (32) 24
Воробьёва И.А. Содержание понятия «тоска» в русской языковой картине мира 4 (32) 31
Завьялова В.Л. Языковые корпуса в лингвистической педагогике и научных исследованиях (фонологические аспекты) 4 (32) 39
Иванкова Т.А. Индийский вариант английского языка в кинотексте 4 (32) 45
Карпец Е.В. Принципы культурологического анализа количественной и качественной составляющих социокультурного содержания современного учебника английского языка 4 (32) 51
Кульчицкая Л.В. Метафора в науке и научная метафора в аспекте когнитивной метафорологии: уточнение понятий 4 (32) 57
Мальнева Е.Ю. Dream как бездна, смерть и зубы: метафорические когнитивные модели в идиостиле Эдгара Аллана По 4 (32) 67
Паршуткина Т.А. Основные направления развития отечественного иноязычного образования в XVIII-XIX вв. 4 (32) 76
Рассоха М.Н. Лексические расхождения в вариантах английского языка в дискурсивной перспективе 4 (32) 80
Ривлина А.А. Языковой контакт в «наивном» метаязыковом отражении (на материале взаимодействия современного русского языка с английским) 4 (32) 85
Токарева Г.А. Поливалентные феномены в литературоведении: терминологический и функциональный аспекты 4 (32) 91
Фёдоров В.В. Механизмы создания экспрессивности американской газетной фразеологии 4 (32) 99
Хино Н. Странам «расширяющегося круга» тоже нужны собственные модели! Вопрос о равенстве вариантов английского языка 4 (32) 104
Хохлова И.Н. Понятие «вариант языка» и особенности его вербализации в лексикографических источниках 4 (32) 111

Рецензии

Лившиц Р.Л. Вдохновляющее начало (рецензия на учебное пособие А.Г. Штейнберга «Философия») 3 (31) 229
Прошина З.Г., Романова Г.Р. К вопросу о достоверности научной критики (рецензия на монографию Первушиной Е.А. «Сонеты Шекспира в России: переводческая рецепция XIX–XXI вв.») 4 (32) 180

Редакционная почта

Прошина З.Г. Первый международный форум «Английский как международный язык в Азии» (Макао, 2010) 1 (29) 136

Article Index
«The Humanities and Social Studies in the Far East», 2011

	№	Pages
Philosophy		
Azhimov F.E. Metaphysics and Ontology: The Problem of Demarcation*	3 (31)	262
Antipov A.A. Living Images of Ideas" of F.M. Dostoevsky: about Philosophical Eidology of a Writer's Creative Work*	3 (31)	273
Artashkina T.A. Hyybrid Identity as a Result of the 1990s Sociocultural Revolution in Russia*	3 (31)	266
Arutyunyan M.P. The Concept of Worldview within the Discourse of Metaphysics*	3 (31)	262
Arutyunyan M.P., Rudetsky O.A., Lushkina T.A. Anthropology of Subjective Reality: on the Results of the All-Russian Scientific Conference*	3 (31)	234
Bakhitov S.B. Liberalism and Marxism Reflected by the Postmodernist Objectivism of H. White*	3 (31)	271
Bisovskaya O.V. Multiple Dimensions of the Category of Tolerance*	3 (31)	266
Gerasimenko A. P. Ambivalence of Law and Order*	3 (31)	266
Gotnoga A.V. To the Critic of Metaphysical Foundations of Prognostication of the Historical Process*	3 (31)	267
Grebenichenko T.V. Spirit as Understood by V.V. Rozanov*	3 (31)	271
Davydov V.V. On the Possibility of Deactualization of the Psychological Perspective in Evolutionary-Anthropological Research of Consciousness*	3 (31)	263
Davydov O.B. Dialectics of the Far East Regional Identity under Globalization*	3 (31)	267
Dokuchaev I.I. Foundations for Deduction of Metaphysical Systems and the Problem of Reliability*	3 (31)	263
Doubrovskiy D.I. Subjective Reality as a Subject of Philosophical and Scientific Research (Theoretical and Methodological Aspects)	3 (31)	235
Zangirov V.G. Structure and Forms of the Human Experience*	3 (31)	263
Kim V.V. Fanaticism: to the Definition of the Concept*	3 (31)	267
Kireeva I.O. Reconstruction of Meanings of the Concepts "Mentality" (Mental) and "Mindset" in the Discourse of "Intellectual Hisroty" and the movement of "Annals"*	3 (31)	271
Kormochi E.A. The Language of Non-reflexive Forms of Cognition: the Experience of Philosophical Analysis*	3 (31)	264
Kuznetsova L.V. Consumption as a Method of Constructing Individual Identity*	3 (31)	268
Livshits R.L. Illusion as a Phenomenon of Cognition and Practice*	3 (31)	268
Markov B.V. Analytics of Corporal Experience	3 (31)	263
Martishina N.I. Existence Criteria of Subjective Reality and its Phenomena	3 (31)	252
Manikovskaya M.A. From the Language of Art to Discourse of Artistic Culture*	3 (31)	273
Nikitenko T.A. Factors of Mythologization of the Ideas about Reality in Modern Cyberspace*	3 (31)	268
Ognev V.Y. Crisis of Philosophy and the Role of Non-classical Dialectics in its Resolution*	3 (31)	264
Pishun S.V. Religious Metaphysics of F.A. Golubinsky: Synthesis of Ontology, Epistemology and Speculative Psychology Experiment*	3 (31)	272
Popsuiko A.N. Theoretical and Methodological Foundations for Research of Global Processes*	3 (31)	269
Potapchuk V.I., Potapchuk E.Y. Two Tendencies in Understanding the Government in Russian Socio-Philosophical Thought*	3 (31)	272
Savitskaya T.V. To the Problem of the Epistemological Status of Faith*	3 (31)	264
Serdyukov Y.M. The Problem of Time in Near Death Experience (translated by Tagirova T.N., Hinson A.)	3 (31)	256
Smirnova M.Y. Epistemic Communities as a Factor of Formation of Knowledge-Based Society*	3 (31)	269
Stadnik V.Y. Philosophical Aspects of the Concepts of a Rational Resolution of Conflicts*	3 (31)	269

Turkulets A.V. Psychological Aspects of Social Cognition* 3 (31) 265
Tyshchenko I.V. The Problem of Consciousness in Transpersonal Psychology of S. Grof* 3 (31) 273
Shkurkin A.M. Ambivalence of Labor in Coordinates of Spirituality of Man* 3 (31) 270
Shurygina O.V. Attitude to the Phenomenon of Conflict as a Criterion for Division of Philosophical Tradition into Positivist-Rational and Transcendent-Irrational Traditions in the 19th – Beginning of the 20th Centuries* 3 (31) 272

Sociology, Political Science, Law
Anisimova S.G. Drug Addiction in the Russian Far East: Trends in the Yakut Society 4 (32) 264
Biryukov A.A. Formation of Peripheral Capitalism in Russia and Its Consequences for the Far Eastern Territories 4 (32) 265
Demyanovich I.V. Quality of the Transport Provision in the Russian Far East: Its Potential and Prospects for Development* 2 (30) 186
Zherdev P.A. Specific Features of the Interaction between the Investigating Officer and Inquiry Bodies at the Initial Stage of Investigation of Forgery or Destruction of an Identification Namber of Vehicle 4 (32) 265
Zavyalova S.V. Regional Tourist Legislation as a Problem of Legal Regulation of the Tourist Industry 4 (32) 266
Kim A.S. Ethno-Political Conflict Potential of the Far East in the Light of the Multiculturalistic Politics* 2 (30) 184
Lamasheva Y.A. Factors of Formation of Transnational Identity in Northeast Asia* 2 (30) 176
Lanko D.A. Conceptions of Regional Structure of the World as the Geopolitics of the End of the 20th and beginning of the 21st Centuries 2 (30) 168
Lantsova I.S. Korean Peninsular in Geopolitical Strategies of the 20th Century* 2 (30) 184
Leksyutina Y.V. Southeast Asia as Influence Concurrence Scene of the USA and China 2 (30) 177
Lyubitskaya O.A., Chipizubova O.A. Psyco-Semantic Analysis of the Conceptions of Professional Happiness of Far East Residents* 2 (30) 187
Maksimova Y.S. Realization of Compromise Strategies in Conditions of Intercultural Communication between Western and Oriental Cultures* 1 (29) 197
Radikov I.V. Variance of Modern Security Structure in the Asia-Pacific Region: Global Tendencies and Regional Peculiarities 2 (30) 148
Rudetsky O.A. Integration Processes of the World of Globalization and Ethnical Structures of the Russian Far East* 1 (29) 197
Santsevich Y.S. Impact of the Religious Factor on the Political Life in the Republic of Korea 4 (32) 268
Smolyakov V.A. Integration in Europe and in Eastern Asia: Comparison of Principles and Conceptual Approaches 2 (30) 156
Strenakov D.A. Rational and Efficient Forest Management: Far Eastern Aspects* 2 (30) 188
Terekhova E.V. Recurrent Constructions in Political vs Business Discourse (Towards the 2012 APEC Summit in Vladivostok)* 2 (30) 185
Timoshenko V.N. East Asian Community and its Prospects for Russia and the Asian Pacific Countries* 1 (29) 197
Khalikova S.S. Health of Studying Youth as a Factor of Preserving Geopolitical Potential of the Far East* 2 (30) 187
Churilova E.V. Problems of the Initial Stage of Investigation of Criminal Acts in the Sphere of Production and Sales of Food Products Which Do Not Meet the Requirements of Food Safety in the Far East* 2 (30) 188
Yarulin I.F. The Russian Far East: Geopolitics, Geostrategy, Geo-Economics and Geopolitical Risks 2 (30) 163

History
Akhmylovskaya L.A., Barysh A.Y. Theatrical Vladivostok in the Sphere of Ideological Transformation (1922–1941) 1 (29) 199
Akhmetova A.V., Bobyshev S.V. The Development of the Healthcare and Sanitation Services of Traditional Ethnic Groups of the Far East Russia in the 1950s to the First Half of the 1960s 4 (32) 264

Baubekova S.A. Organization and Activities of Societies of Orientalists in the Russian Far East in the Early 20th Century* 2 (30) 186
Dubinina N.I. Far Eastern Watch of Jan Gamarnik 1 (29) 152
Elantseva O.P. Manager of State Importance: to the 110TH Birth Anniversary of Fedor Alekseevich Grozdevsky* 2 (30) 186
Ivannikov A.S. Key Stages in the Establishment of the State Border between the Russian Federation and the People's Republic of China* 2 (30) 185
Koval'chuk M.A., Strelkova E.V. Organizational Legal Measures of the Struggle with the Revolutionary Movement at the Railways of the Russian Far East in the Early 20th Century 4 (32) 266
Kravchuk S.A. Border Protection of the Soviet-Korean Frontier in the Second Part of the 20th Century: Problems and the Ways of Resolution 4 (32) 266
Krotova M.V. Soviet-Chinese Management of the Chinese Eastern Railway in 1924-1935 4 (32) 267
Krizhanovskaya Y.S. Birth of the Amur Theatre 1 (29) 187
Kulinich N.G. Experience of the Establishment of the Soviet Festivity Culture in the Cities of the Far East in the 1920s 1 (29) 162
Morozova O.M. Changes and Development of Political Moods of the Amur Cossacks from February 1917 till April 1918 гг. 4 (32) 267
Osipova M.V. Research Expeditions of the 1920s–1930s in the Territory of the Khabarovsk Kray and their Impact on Domestic and World Ethnography (Historiographic Aspect) 1 (29) 180
Pestushko Y.S. Russian-Japanese Discussions on the Russian Diplomatic Representative in Korea 4 (32) 267
Pikalov Y.V. City Businessmen in the Soviet Far East during the New Economic Policy 1 (29) 147
Pichugina N.A. Formation and Development of Tourism in the Khabarovsk Kray (in the 1960s)* 2 (30) 188
Platonova N.M. Formation of the Construction Industry as a Branch of Industrial Complex in the Far East of the USSR in 1965-1970* 1 (29) 198
Romanova V.V. Realization of the "Birobidzhan Project" and Foreign Jewry (Late 1920s-1930s) 1 (29) 170
Trubich O.A. State Policy of the Russian Empire on the Development of Education in the Sphere of Oriental Studies in the Russian Far East* 2 (30) 187
Tuzhilin S.V. From the History of the Soviet Counter-Intelligence Service: «Far Eastern "Trust"» (1939–1945)* 1 (29) 196
Tsukanov S.S. Cooperation of the Far Eastern Revolutionary Committee and People's Commissariat of Foreign Affairs in the Process of Preparing the Soviet-Japanese Agreement of 1925* 1 (29) 169
Chernov V.A. Formation of the Inn Business as a Stage in the Development of the Hospitality Industry (on the Example of the Far East)* 1 (29) 199
Efendieva G.V. "In the Same Ranks with the Soviet Generation …": about the Creativity of the Young Poets of the 1940s* 1 (29) 198
Yakhimovich S.Y. Soviet Citizens in North Manchuria during the Conflict on the Chinese Eastern Railway in 1929* 1 (29) 199

Philology, cultural studies

Boronin A.A. Semantic Influence of an Author's Image upon Characters' Microtexts in a Semiotic Group* 4 (32) 193
Vlasova T.M. Unarticulated Sounds as a Part of an Emotionally Colored Discourse (Based on the English Language) 4 (32) 194
Voloshchenko V.G. Ways of Translation of Japanese Idioms with Zoomorphic and Anthropomorphic Components* 4 (32) 201
Vorobiyova I.A. The Concept "Toska" in the Russian Language Picture of the World 4 (32) 201
Zavyalova V.L. Language Corpora in Linguistic Pedagogy and Research (Phonological Aspects) 4 (32) 266
Ivankova T.A. Indian English in Subtitles 4 (32) 208

Karpets E.V. Principles of Quantitative and Qualitative Analysis of the Socio-Cultural Contents of a Modern English Language Textbook*	4 (32)	213
Koulchitsaya L.V. Cognitive Approach to Metaphor in Science VS. Scientific Metaphor: a Quest for a Divide	4 (32)	214
Mal'neva E.Y. A Dream as Abyss, Death and Teeth: Metaphorical Cognitive Models in the Individual Style of Edgar Allan Poe	4 (32)	223
Parshutkina T.A. The Principal Trends of the Development of Foreign Language Education in Russia in the 18^{th}-19^{th} Centuries*	4 (32)	232
Rassokha M.N. Lexical Differences in Varieties of English from the Discursive Perspective	4 (32)	234
Rivlina A.A. Language Contact in Folk Metalinguistic Reflection (Based on Modern English-Russian Interaction)	4 (32)	237
Tokareva G.A. Polyvalent Phenomena in Literary Studies: Conceptual and Functional Aspects	4 (32)	243
Fyodorov V.V. American Newspapers Phraseology: The Formation of Expressiveness	4 (32)	251
Hino N. Countries of the "Expanding Circle" also Need their own Models! The Question of the Equality of the Variants of the English Language	4 (32)	256
Khokhlova I.N. Language Variety Definition in General and Special Lexicography	4 (32)	261

Научное издание

**СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ**

Научно-теоретический журнал № 4 (32) 2011

Под общей научной редакцией Ю.М. Сердюкова

Редактор *А.А. Иванова*
Технический редактор *О.В. Сенчихина*

Подписано в печать 16.12.2011 г. Поз. 12.4. Формат 60×84$^{1}/_{8}$.
Уч.-изд. л. 34,8. Усл. печ. л. 32,3. Зак. 322. Тираж 500 экз.

Издательство ДВГУПС
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.